

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ



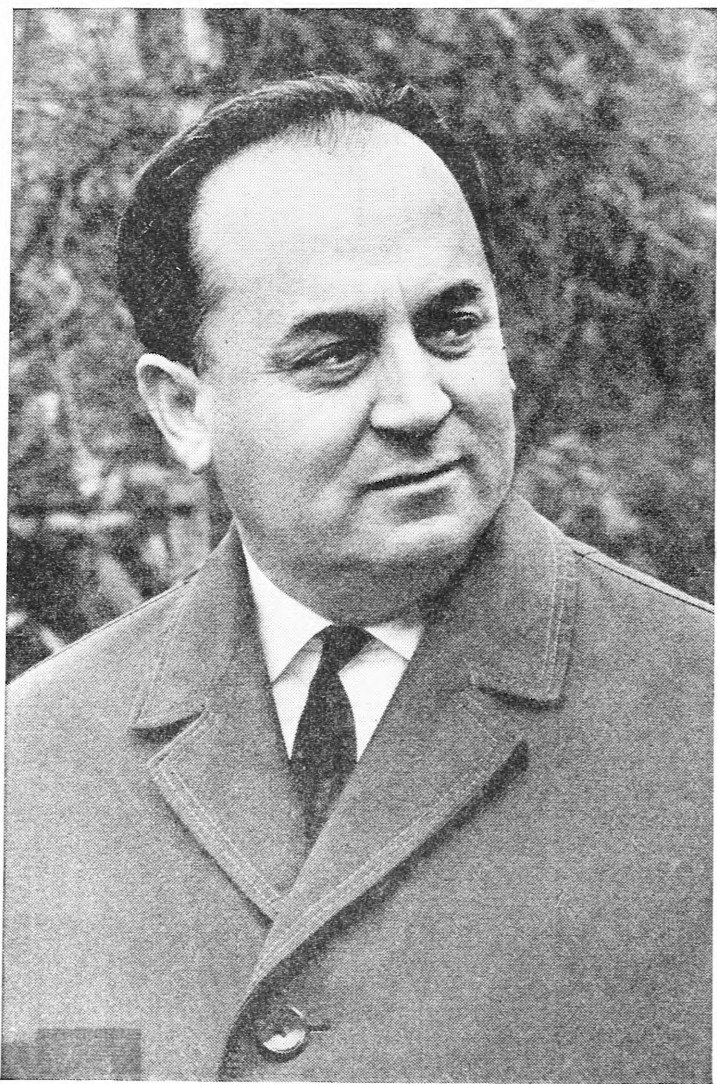
САВВА ДАНГУЛОВ

САВВА
ДАНГУЛОВ



кузнецкий
МОСТ





БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

САВВА ДАНГУЛОВ

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1979

Р 2
Д 11

Художник В. КАРАСЕВ

Д $\frac{70302-002}{074(02)-79}$ 305=79 подписное

Бекетов запер кабинет и, привычно сунув ключик в жилетный карман, зашагал по коридору, но, скосив глаза, заметил свет в дверях Шошина.

— Можно к вам, Степан Степанович?

— Входите, Сергей Петрович, а мы, признаться, говорили о вас... Знакомьтесь: Грабин Аристарх Николаевич...

«Грабин, Грабин...— пронеслось в памяти Бекетова.— Не тот ли, из богомоловского посольства, знаток шотландской старины и автор книги о Бернсе, который, как утверждал Шошин, должен был днями вернуться из Москвы?..»

Бекетов взглянул на человека, поднявшегося из кресла: похож ли он на того Грабина, какого представлял себе Бекетов? Нет, не похож! У того не должно быть бороды с подпалинкой, а этот отрастил вон какой веник. Да и молод ли он?.. Вон сколько седых волос понатыкано! Не та ли это седина, с которой в одночасье бес в ребро?.. Но тогда он не так уж молод: бес не отважился бы на такого...

— А я думаю: что-то мне не спится...— улыбнулся Сергей Петрович.— Кто тревожит сон мой?

— Каюсь: мой грех...— сказал Грабин, с почтительной робостью поклонившись Бекетову.

— Однако не мог бы я знать, что явилось первопричиной греха, а следовательно, покаяния? — полюбопыт-

ствовал Бекетов — ему не хотелось расставаться с весело-иронической интонацией.

— Право, не знаю, как и объяснить...— произнес Грабин и, желая показать, что смущен, зарыл в бороду белую руку.— Пусть скажет Степан Степаныч...

Но Шошин хранил молчание: он заканчивал чтение гранок.

— Французы получили документальную ленту из Африки и хотели показать ее,— произнес Грабин, поняв, что Шошин устранился от разговора.— Приедет генерал...

Была особая интонация, которой сопровождалось это «генерал», когда речь шла о де Голле.

Бекетов сказал, что готов ехать. Нет, не потому, что будет генерал, но в какой-то мере и поэтому. За год его жизни в Лондоне генерал появлялся на людях не часто и слыл человеком трудным. Бекетов видел однажды француза на правительственном приеме в Вестминстере. Сергей Петрович отметил, что генерал покинул прием едва ли не первым и, прощаясь с хозяевами, взглянул на них с такой непобедимой гордыней, какую только позволял его диковинный рост. В Лондоне постоянно выражали недоумение: как этот человек, выброшенный силой обстоятельств на чужой берег, в сущности пока никем не избранный и, пожалуй, не назначенный, как этот человек мог вести себя так надменно? Но, быть может, эта гордыня была щитом, призванным оборонить человека, в этой обстановке слабого?..

Екатерине нездоровилось, и Сергей Петрович отправился к французам один. Он не смог захватить с собой и Шошина: в серии сталинградских новостей Москва обещала очередную, и Степан Степанович был прикован к своему письменному столу. Бекетов прибыл к началу фильма. Не без труда он обнаружил в темном зале пустой стул, надеясь, что его никто не увидит. Да, это был «Торч», знаменитый «Торч», первые эпизоды операции, в которых действовали французы, свободные французы... А потом... что это? Прибытие французских парней в Россию? Заснеженное поле, сверкающее твердым настом, и смуглолицые парни, играющие в снежки (снег сухой, непослушно-рассыпчатый), хорошо утоптанная тропа и те же парни, бегущие наперегонки че-

рез рощу, белые березы которой под стать снегу... И взлетное поле, не столько снежное, сколько сизо-ледяное, и самолеты, уходящие на боевое задание, и лица французских ребят, неожиданно строгие, и строгость в их смолистых глазах...

Фильм закончился. Зал точно сравнивал то, что было на экране, с тем, что он знал об этих парнях и их страдной судьбе. На экране едва ли не ликовали молодые люди, а в зале была тишина. Зал знал то, что молодые люди не знали: финал боев или, вернее, предысторию финала, героическую, но печальную.

— Сергей Петрович, а я с ног сбился! — из боковой двери шагнул Грабин. — Хозяева хотели бы представить нас генералу... Как вы?

Бекетов испытал неловкость: в его сегодняшние планы не входила встреча с генералом.

— Ну что ж... я готов.

Они прошли по коридору, который охватывал зал полукольцом, в небольшую гостиную, смежную с банкетной комнатой, оттуда доносился гул голосов.

Бекетов приметил де Голля по росту да, пожалуй, по характерному профилю, в котором только и было мужского, что нос, все остальное — овал маленькой головы, волоокие глаза с чуть одутловатыми веками, маленький рот, подбородок с вмятинкой, сам цвет лица, нежно-восковой, румянеющий, — было больше женским, даже чуть-чуть девичьим. Это было тем более заметно, что манера держать себя, к которой, как казалось — не без тайного умысла, обратился де Голль и которую можно было условно назвать рассчитанной, вступала в противоречие с его внешностью и должна была показаться не очень естественной. По крайней мере, первое время, пока не привыкнешь.

Когда Бекетов с Грабиным появились в гостиной, толпа, окружающая де Голля, заметно расступилась, образовав некий коридор, который от русских вел к французам. Видно, до того как русские вошли сюда, де Голль и его собеседники говорили о русских кадрах фильма — поэтому так прост для де Голля был переход от одной беседы к другой.

— Вот парадокс нынешней войны: освободительный поход французов начинается едва ли не с Северного полюса, — произнес генерал и улыбнулся. То ли



потому, что улыбался он не часто, то ли потому, что улыбка не очень вязалась со сказанным, смысла деголлеvesкой фразы можно было и не понять. Но все, кто стоял рядом с генералом, улыбнулись, и беседа как бы получила разгон.

— Да, это много севернее Москвы, но там не холоднее, чем в Москве,— сказал Бекетов — ему хотелось придать именно этот смысл деголлеvesкой фразе.

— Это что же... Гольфстрим? — спросил де Голль.

— О, Гольфстрим, Гольфстрим! — подхватили все, кто был подле генерала, — знакомый со школьных лет



Гольфстрим оказался спасительным и сделал все понятным.

Де Голль взглянул на дверь, ведущую в банкетную комнату: у него было желание появиться в этой комнате с русским.

Но прежде чем они подошли к двери, генерал остановился: искушение наклониться к русскому, который был не так высок, как он, и сказать то, что хотел сейчас сказать де Голль, в нем вдруг столкнулось с опасением, как бы это не было принято присутствующими за подобострастие.

— Россия и Франция могут понимать друг друга,— вдруг сказал де Голль, все еще борясь с желанием склониться к собеседнику и мужественно сопротивляясь этому желанию — фраза была лишена нюансов и достаточно точно отражала знание де Голлем английского.

— И они понимают,— тут же реагировал Бекетов.— Не так ли?

— Да, разумеется,— подтвердил де Голль и заметно помрачнел: согласие Бекетова не вызвало в нем радости.— Вы ленинградец? — неожиданно спросил де Голль — без сомнения, у француза был разговор о Бекетове прежде.

— Да, в той мере, в какой Ленинград — город, в котором ты начинал...

— Великий город,— вымолвил де Голль и первым вошел в банкетную комнату, но, пройдя достаточно, оглянулся и был немало смущен, установив, что его спутник не торопится за ним.

2

Бекетов не удивился, когда на следующий день раздался звонок и человек, назвавший себя Мишелем Пермским, странно сочетая русские слова с французской сладкозвучностью, спросил Сергея Петровича, как бы он отнесся к приглашению на обед к французам — на обеде будет де Голль.

Бекетов дал согласие.

Двумя часами позже, со свойственной французам протокольной точностью, прибыл пакет, подтверждающий приглашение.

Прием у французов требовал нынче, как казалось Бекетову, подготовки тщательной. Ко встречам с русскими де Голля побуждали события на африканском континенте. Вот уже второй месяц союзники здесь наступали, и их сподвижником был французский адмирал Дарлан. Да, тот самый Дарлан, внук героя Трафальгарской битвы и вишийский министр моря, которого в мае 1941 года принимал в Берхтесгадене Гитлер и который, обуреваемый чувствами почти верноподданническими, воскликнул: «Не знаменательно ли, что сегодняшней день совпадает с днем памяти Жанны д'Арк — героини Франции, противницы англичан?» Вот какие метамор-

фозы случаются нынче: вчерашний вишиец стал для некоторых из тех, кто относит себя к союзникам, едва ли не товарищем по оружию! Правда, общественное мнение в той же Англии задето за живое, но для де Голля, например, это утешение слабое. Слишком очевидно, вишійский адмирал сделал этот шаг, имея в виду, что у американцев не очень получается с де Голлем. Как подлинно известно де Голлю, адмирала призывали американцы. Весьма возможно, что их посольство в Виши (именно посольство в Виши — Штаты не торопятся рвать с Петеном!) инспирировало переход Дарлана к союзникам. Но тогда какова в новых условиях роль вождя всех тех, на чьем знамени лотарингский крест?

Бекетов пошел к послу.

Михайлов только что вернулся с Пиккадилли, где небезызвестный Эндрю Смит, глава большой издательской фирмы, заинтересованной в выпуске советских книг, дал в его честь обед. Михайлов стоял за своей конторкой и стремительно правил машинописный текст, который, как понял Бекетов, ему только что принесла стенографистка, — видно, посол сразу же продиктовал ей текст беседы со Смитом.

— О, этот Смит — разбойник порядочный! — произнес Михайлов, приглашая Бекетова садиться. — Так обставил нашу встречу: хочешь не хочешь, а согласишься! «Вот что, господин посол, от вас требуется согласие, а за остальное отвечаю я!.. Так, как издадут Горького у нас, его никогда не издавали... Извольте взглянуть!» И пригласил в соседнюю комнату... Ну, что скажешь? Разбойник! Представьте себе мольберты и на каждом папки: будущая книга как на ладони!.. Нет, не только иллюстрации и обложка — титульные листы, эти самые, как там у полиграфистов... буквицы, заставки... «Как же вы можете рисковать всем этим? — спрашиваю я Смита. — А вдруг я скажу «нет»?» — «Не можете вы сказать «нет» — это противоестественно».

— Смит хотел бы монополию на издание нашей книги? — спросил Бекетов.

— Нет, разумеется, но ведь аппетит приходит во время еды. Пока речь идет о плане ограниченном...

— Вы сказали «да»? — спросил посла Бекетов.

— Он рассчитал все безошибочно: я сказал «да», разумеется, в той мере, в какой решение этого вопроса

зависит от меня,— заметил посол и, закончив правку, пошел к письменному столу, держа на ладони трепещущий лист, на котором еще просыхали чернила.— Кстати, в будущую субботу Смит хотел бы говорить с вами. Как видите, мое дело начать, ваше — закончить...

— Хорошо, что в субботу, а не в пятницу...— заметил Бекетов — он искал повода переключить разговор, сейчас французы его интересовали определенно больше англичан.

— «Не в пятницу»? — тут же отреагировал Михайлов — он был чуток к ходу беседы.— Простите, почему «не в пятницу»?

— Французы просят быть...— сказал Бекетов и точно остановил этими словами Михайлова — тот отодвинул стул, но не сел.

— Де Голль?

— Да.

Михайлов пошел прочь от стола — он явно раздумал садиться.

— Мне только что позвонила жена: она приготовила запеканку с яблоками...— Он стоял в дальнем конце комнаты, точно оценивая: проник Бекетов в его, Михайлова, намерения или нет.— Хотите разделить со мной вечернюю трапезу?

Ну конечно же дело было не в вечерней трапезе, хотя запеканка с яблоками была заманчива и для Сергея Петровича.

— Время не такое уж раннее,— воспротивился Сергей Петрович, воспротивился слабо, и это уловил Михайлов.

— Как вы знаете, я не часто прибегаю к силе,— произнес посол и, возвратившись к письменному столу, взял телефонную трубку.— Но тут... не премину...

Он позвонил домой, справился, как поживает запеканка, попросил жену поставить на лед сухое вино, которое накануне привез старик шотландец, снабжавший Михайлова этим разливным вином, недорогим и терпким, еще с той далекой дореволюционной поры, когда Николай Николаевич жил в Лондоне на положении опального, и, сказав, что через полчаса будет с Сергеем Петровичем, положил трубку.

Михайлов жил в апартаментах, в свое время определенных для посла и обставленных мебелью из кавказского бука. Когда-то эта мебель казалась в меру стиль-

ной и богатой, но с годами отяжелела и стала выглядеть громоздкой. Если бы эти кресла и полукресла были заменены прежде, о них могли и не вспомнить и не пожалеть. Но посольские замешкались, и вдруг мебель обрела качества, каких не имела. Подобно томам Британской энциклопедии, купленным на заре посольской истории у антиквара, напольным часам в вестибюле, старому пианино, стоящему в банкетном зале, мебель обрела значение реликвии и как бы стала неотъемлемой от посольства. Одним словом, посол был волен в своих желаниях и вкусах, он мог утром есть только яичницу с беконом, а вечером творог, запеченный с яблоками, но мебель, которая окружала его, не отражая ни его пристрастий, ни его вкусов, была сильнее его и обещала стоять здесь до скончания века.

Михайлов просил поставить электрический камин в гостиную и этим как бы дал понять жене: нет, дело отнюдь не в разливном вине и кулинарных ухищрениях хозяйки дома, — предстоит беседа, сугубо деловая. Жена посла понимала условный язык мужа достаточно, и Бекетов убедился в этом тут же. Михайлов еще прилаживал электрический камин и полушутя-полусерьезно бранил английскую электропромышленность за плохое качество штепселей, когда дверь, ведущая в глубь посольских апартаментов, мягко распахнулась и хозяйка вкатила столик, на котором, как догадывался Сергей Петрович, прикрытая салфеткой, покоилась вожденная запеканка с яблоками.

— Вы сказали: де Голь? — спросил Михайлов, когда хозяйка покинула гостиную.

— Да, мне кажется, приглашение исходит от него, хотя он и будет присутствовать на обеде в качестве гостя.

— Значит, ему необходима эта беседа?

— Мне кажется, да.

— Как вы полагаете, почему?

— Мне хотелось знать ваше мнение, — сказал Бекетов.

Посол поднял салфетку — на квадратном блюде покоилась запеканка, покрытая красновато-коричневой корочкой.

— Извольте, вот мой ответ: его побуждает ко встрече с вами поединок с адмиралом Дарланом.

— Вы уверены, что поединок складывается именно так:— де Голль — Дарлан? — спросил Сергей Петрович. Он назвал имена, желая определить вехи разговора.

— Настолько уверен, что смею высказать такое предположение: если бы Дарлан был сейчас не в Алжире, а в Лондоне, то сегодня вы бы получили приглашение на обед и от него...

— Но какие шансы у сторон?—спросил Сергей Петрович, а сам подумал: не слишком ли грубо он стремится приблизить этот разговор к сути.

— Шансы?..— Михайлов разлил вино, не забыв вынести бокал с вином на свет,— он хотел убедиться, что напиток не замутнен.— Признаться, я имел возможность наблюдать Дарлана лишь издали, в то время как де Голля... Итак, де Голль. Наверно, это анахронизм: аристократ, представляющий одну из самых знатных фамилий Франции, в роли вождя Сопротивления. Говорят, только тот государственный деятель на коне, кто уловил дух эпохи. Его вера во Францию и ее возрождение, а вместе с тем вера в свою личную миссию так непреклонна, что это не может не вызвать уважения. Да, взгляните на этого человека со стороны, взгляните, как он разговаривает с тем же Черчиллем, от которого, как мне кажется, он зависим, и вы убедитесь: то, что недруги де Голля хотели бы назвать гордыней или, тем более, высокомерием, на самом деле щит, который в его нелегком положении необходим... Но вот вопрос: что, в конце концов, призван защитить этот щит?.. Только ли Францию, существующую в воображении де Голля, а поэтому пока еще призрачную, или вполне реальную, если и не похожую на ту, какой она является сегодня, то имеющую отношение к ней. Сегодня де Голль полагает, что свободные французы борются не только за освобождение Франции, но и за грядущие преобразования, не просто за свободную Францию, но за Францию на более справедливых началах. Сегодня де Голль говорит: «Да здравствует революция!» Я сказал: «Сегодня». А как будет завтра? Не испытает ли он завтра неловкости, когда надо будет повторить эти слова, и повторит ли он их? В связи с этим так ли прям де Голль, как свидетельствует, например, весь его физический облик, когда он стоит где-нибудь на приеме, высокий и недоступный, не без гордости и вызова подняв свою маленькую голову.

Михайлов пододвинул бокал — ему захотелось глотнуть вина. Нет, не только вино из подвалов старика шотландца было тому причиной, но и воодушевление, с которым сейчас говорил Михайлов. От усталости бекетовского собеседника не осталось и следа: его лицо, в этот поздний час обычно бледное, тронул румянец, неправдоподобно яркий, — как заметил Бекетов, истинной страстью Михайлова был интерес к проблемам истории, вторгающимся в сферу проблем социальных. Итак, как поведет себя де Голль завтра? Так ли он будет прям и благороден?

— Ну, что можно здесь сказать? — спросил Михайлов и закрыл глаза, он должен был сосредоточиться. — Чтобы ответить на этот вопрос, надо проникнуть в характер, надо почувствовать в нем нечто человеческое, а сие не просто — этот его щит, которым он защищается от Черчилля, уберег его и от наших с вами глаз. И не только. Я как-то слышал рассказ одного француза, который по положению своему должен быть близок к де Голлю: этот щит, оказывается, обращен и против тех, кого можно назвать коллегами де Голля. Люди, знающие де Голля близко, не без озорства называют его символом. Ну что ж, именно это слово напрашивается, но произносить его надо серьезно. Да, действительно, символ и, как каждый символ, лишен черт живого человека и свойственного живому человеку тепла. Но вот что интересно: казалось, желание де Голля окружить себя полосой «ничьей земли», установить расстояние между собой и остальным миром должно было вызвать чувство протеста, по крайней мере у тех, кого генерал считает коллегами. На деле совсем наоборот: это способствовало превращению его в некоего французского будду. Тот же француз сказал с восхищением, как показалось мне, неподдельным: «Я как-то наблюдал его за работой над документом, достаточно сложным. И вот что я заметил: он отливает фразу на бело, не возвращаясь к ней. Да, написал, как сказал: раз и навсегда», — Михайлов рассмеялся с ребяческой искренностью — истинно его позабавил знакомый француз... Посол точно хотел сказать: вот оно, нехитрое человеческое существо, — любит обожествление!..

Михайлов смеялся и махал рукой, его бородака заострилась и свилась на манер штопора. Бекетов заметил, что его собеседник, смеясь, молодеет. Больше того,

в самом его облике вдруг появлялось нечто такое, что было свойственно ему в молодости. Казалось, ты вдруг видишь его на заре жизни: где-то в его родном Поволжье, в шумном купеческом городе с большим портом и кафедральным собором,— вот он бежит по пыльной мостовой в гимназию в синей гимназической фуражке с белым шнуром по околышу и блестящим козырьком, разумеется поломанным. Бежит, не отрывая глаз от неба, в котором кружит тесная стайка голубей. И только диву даешься, как он может уследить за голубями, которые вот-вот скроются за облачко, и сориентироваться в чересполосице припортовых переулков, не наткнувшись на ломовика, что закупорил собой половину улицы...

Михайлов аккуратно отделяет кусочек запеканки, любуясь тем, как проламывается корочка и на тарелку проливается маслянистая влага,— он ест мало, заметно сдерживая стихию стариковского аппетита,— его характер сказывается и в этом.

— Пока победа завоевывается, у всех древко со стягом революции, а вот как будет дальше? Вы когда-нибудь читали его знаменитую работу «За профессиональную армию»? — спросил Михайлов — он подбирался к любимой теме постепенно.— Как ни скуп де Голль на откровения, в этой его работе,— кстати, написанной, если говорить о стиле, превосходно,— можно рассмотреть и его идеал. Формула идеала может быть выражена исчерпывающе в трех словах: характер, авторитет, вера. Как мне кажется, его простота нарочита и объясняется стремлением овесть эту его формулу... Говорят, он любит повторять: «Великое никогда не совершалось в болтовне». И надо отдать ему должное, научился молчать. Но главный вопрос иной: кто такой де Голль и кто есть все те, что составляют главную силу французского Сопротивления, вождем которого он себя считает. Де Голль — аристократ, блестящий офицер, в некотором роде дитя военной касты. А что есть Сопротивление? Портовики, крестьяне, виноградары, рыбаки, лавочники, учителя, актеры, студенты. Следовательно, аристократ во главе армии крестьян и пролетариев? Анахронизм? Да, но для истории это не ново. Важно иное: какая связь у этого человека с теми, кем он руководит? Призрачная весьма. Но, может, идеалы у них одни? Франции и всем тем, кто тянет ее нелегкий

воз, всегда недоставало для полного счастья хлеба и свободы. Значит, хлеба и свободы? А как де Голль? Сегодня де Голль говорит им: нет, не только освобождение, но и свобода, а следовательно, новое устройство, более справедливое,— революция... Говоря так, он точно дает понять портовикам и крестьянам: нет, я только по родовым корням аристократ, а на самом деле я такой, как вы. Вот и идеалы у нас одни и те же — и я говорю: «Революция!» Но это, так сказать, детали... А в остальном де Голль хорош. А Дарлан? Если говорить о мотивах, которые составляют первоядро политической веры французского адмирала, то у меня свой взгляд на это... Говорят, что вера Дарлана покоится на двух китах: англофобия и русофобия. Я не верю в англофобию Дарлана, а вот его русофобия — это убедительно... И дело здесь не в России, а в красной России...

Михайлов сел поглубже в кресле, и Бекетов, взглянув на посла, вдруг заметил, что ноги его не достают до пола. Но Михайлова это не смущало, и, подбрав ноги, он вдруг сделался похож на старого воробья, которого не так-то просто провести на мякине.

— Но чем Дарлан отличается от де Голля, если говорить о корнях социальных? — подал голос Бекетов и, как ему показалось, этим вопросом точно рукой снял весело-благодарное настроение Михайлова. — Скажу больше: дело даже не в корнях социальных...

— Простите, а в чем? — Посол встал и, подойдя к электрическому камину, пододвинул его, без нужды пододвинул — просто ему надо было пройти по комнате, чтобы погасить волнение — Бекетов затронул неожиданный аспект проблемы.

— В их отношении к коммунистам, например... — сказал Сергей Петрович.

Михайлов вернулся было к своему креслу, но не сел, а постоял подле, переминаясь.

— А не находите ли вы, что в данном случае важно и отношение к фашизму? — сказал Михайлов.

— Здесь де Голль и Дарлан антагонисты?

— Мне так кажется. Впрочем, и отношение к коммунистам, как мне представляется, у них не одинаковое.

— Вы хотите сказать, что Дарлан коммунистов ненавидит, в то время как де Голль...— заметил Бекетов — он понимал, что в этой фразе есть некое усиление, но полагал, что такая вольность допустима.

— А вот это, чур, запрещенный прием! — прервал Сергея Петровича Михайлов; он чувствовал, что диалог с Бекетовым время от времени приобретает характер полемики, и это заметно тревожило Михайлова — он бы хотел, чтобы все сказанное им было для Сергея Петровича убедительным.— Я вижу у себя в кабинете Степана Степановича,— взглянул он в пролет открытой двери.— Видно, пришла статья Галуа, редактор «Санди таймс» просил меня посмотреть гранки...

Он позвал Шошина, попросил гранки.

— Ничего не скажешь: умен, бестия! — воскликнул Михайлов и затих — по всему, его увлек очерк Галуа.— Итак, о чем мы говорили? — спросил он, закончив чтение гранок,— в нем еще жило настроение очерка.— Ах, верно... Дарлан! Кто же он, этот Дарлан? Мне трудно ответить на этот вопрос полно — многого я не знаю,— сказал Михайлов и улыбнулся, точно ставя под сомнение только что сказанное.— Но что-то знаю и я... Говорят, что власть Виши — это власть адмиралов. Из этого следует, что глава легальной власти должен быть адмиралом. Если вы спросите, объясняет ли мне это Дарлана, то я скажу «нет». Еще говорят, что он человек бешеного тщеславия, к тому же запоздавший сделать карьеру... Где-то здесь я готов искать ответ, частичный. Тогда что есть ответ главный? Наверно, я буду не очень оригинален, если скажу: Дарлан пошел на службу в Виши, руководствуясь двумя обстоятельствами — классовым инстинктом и убеждением, что победа за немцами. И первое и второе для него было безусловным. Иначе его не повлекло бы в Берхтесгаден к Гитлеру, которому все эти годы он служил верой и правдой... Вот моя концепция.

— Погодите, но концепция не учитывает того, что произошло с Дарланом этой осенью?..— возразил Бекетов, он искал место поуязвимее в позиции Михайлова.

— Нет, почему же?..— воспротивился посол.— Я не вижу здесь противоречий.

— Они очевидны, Николай Николаевич.

— Каким образом?

— Если Дарлан был столь убежденным последователем немцев, если он служил им с такой верностью, то почему он отдал приказ французским войскам выступить против немцев и как он оказался в стане союзников?..

— Я ждал этого вопроса! — едва ли не возликовал Михайлов. — Да, отдал приказ, да, перешел на сторону союзников... Но почему?.. На этом моя информация исчерпывается, и я могу только строить предположения, опираясь на факты, ограниченные, но факты...

— Простите, но что это за факты?.. Дарлан увидел, что победа немцев не безусловна?..

— Да, конечно, это главное — все остальное производное...

— Что именно?

— Несложный роман, который он затеял с американцами в Виши...

— Роман — романом, но это не помешало ему еще раз устремиться в Берхтесгаден и просить аудиенции у Гитлера.

— Да, верно, но он уже не был принят.

— И это ускорило его решение?

— Я почти уверен... Ускорило, но не решило для Дарлана всех проблем.

Бекетов закурил. Надо отдать должное Михайлову, он построил свои доводы основательно, но не шел ли он в этих выводах дальше, чем разрешали ему факты? Сергею Петровичу не доставало фактов — посол должен был убеждать Бекетова и фактами.

— Вы полагаете, что Дарлану у союзников не очень уютно? — спросил Бекетов.

— Я почти уверен в этом: Лондон, например, клокочет от гнева... — заметил Михайлов. — Обороняясь, он говорит: «Я — солдат...»

— И этот довод ему что-то дает, Николай Николаевич?

— Мало. Все знают, что он не просто солдат.

— И американцы знают?

— Знают, но пытаются доказать обратное.

— И докажут? — спросил Бекетов, ему вдруг стало весело.

— Не знаю, не знаю, — воздел маленькие ладони Михайлов.

— Но ведь важнее этого вопроса нет? — настаивал Бекетов.

— Да, конечно, — не сказал, а отсек Михайлов — он вдруг замкнулся. Видно, и он понял: чтобы идти дальше, надо знать больше. — Вы будете иметь возможность уточнить это, Сергей Петрович, у французов... Кстати, это небезынтересно и мне...

Вошла Михайлова и внесла на подносе нечто круглое, празднично румяняющее, сдобное.

— Сергей Петрович, прошлый раз Игорек сказал, что пирог со сливами и ваша слабость: вот я и решила...

— Э, милая, да ты не туда принесла: я хочу показать Сергею Петровичу подшивку «Колокола»... Чай мы будем пить там.

Михайлов действительно показал ему комплект «Колокола», что преподнес посольству один добрый человек, приехавший по этому случаю из Дублина. Да, то был Герцен, его лондонская страда, его набатное бдение по свободе российской. Кстати Михайлов припомнил, что известный пассаж с Горчаковым из «Былого» подтверждают старые лондонцы, помнившие Герцена. Да, Герцен любил повторять рассказ, который он впервые услышал от кого-то из сиятельных русских, наезжавших в Лондон, рассказ о том, как «бескорыстный» Муравьев и «жираф в андреевской ленте» Панин судили и рядили, как укротить «Колокол» и его редактора, а лукаво-иронический Горчаков стоял поодаль и мотал на ус. Муравьев советовал подкупить строптивного редактора, в то время как Панин считал уместнее сманить на службу, а хитрый Горчаков пытался уточнить, на какое место прочтат петербургские мудрецы Герцена, и, услышав, что это место помощника статс-секретаря, улыбнулся снисходительно: «Ну, в помощники статс-секретаря он, пожалуй, не пойдет...» Михайлов припомнил этот рассказ не без удовольствия и, в очередной раз взметнув руки и показав свои маленькие ладони, сощурил глаза: «Надо же, чтобы таких родила земля...» Потом вдруг махнул рукой и разом забыл и «петербургских мудрецов» и «лондонскую звонницу», вернувшись к французской теме:

— Вы полагаете, Сергей Петрович, что в этой дуэли «де Голль — Дарлан» шансы первого весомее?

— Если верить логике, — ответил Бекетов.

— Вам ли надо говорить, Сергей Петрович, что в наше время логика может и не сопутствовать победе... — заметил Михайлов.

3

Бекетов расстался с Михайловым, но, прежде чем подняться к себе, пошел в сад. Тьма была сырой и теплой. Где-то в стороне, во мгле парка, кричали птицы. Бекетов выбрался на поляну, взглянул на небо. Сыпал дождь, негустой и какой-то парной, — он не столько накрапывал, сколько обтекал... И вновь мысли Бекетова обратились к разговору с послем. То, что рассказывал Михайлов, могло бы предварить встречу с де Голлем, если бы Николая Николаевича не несла на крыльях его способность увлекаться, нет, не расцветивать факты, а в своих обобщениях чуть-чуть опережать их... В обычных условиях — невелик грех, послу же надо быть здесь безгрешным. Выводы должны быть аптекарски соотнесены с фактами. А в чем Михайлов опередил факты? В пафосе своих обобщений, в тоне, в настроении, быть может. Он был здесь чуть-чуть импровизатором, а должен быть ученым, например физиком или астрономом, оперирующим величинами определенными... Дипломатии необходимо, разумеется, и вдохновение, но она наука точная. А в остальном Михайлов был хорош, заинтересован, темпераментен, как всегда доброжелателен, неизменно в отличном рабочем состоянии — в чем-то ты можешь его и оспорить, но встреча с ним всегда будет тебе полезна... Кстати, Михайлов прав и в главном: де Голль вызвался говорить с русскими, что с ним, наверно, бывает не часто, намереваясь сообщить им все, что он думает о Дарлане...

Обед был по-французски изысканным и обильным. Разговор шел о пустяках (новая экспозиция Британского музея и отказ администрации Кембриджа принять в ноябре студентов из Дакара), и по всему было видно, что главное должно быть произнесено после обеда. Молчание де Голля, молчание почти неприличное, наводило на эту же мысль — генерал явно копил силы. Кстати, должен был копить силы и Мишель Пермский, которого де Голль избрал в качестве переводчика —

генерал не очень надеялся на свой английский. Как заметил Сергей Петрович, явно в связи с предстоящей беседой прилежный Пермский время от времени извлекал записную книжку и долго вертел ее у толстых стекол своего пенсне, точно желая удостовериться, что зрение не обманывает его и он не забыл книжку,— переводчик полагал, что некоторые повороты беседы лучше записать, иначе их не воспроизвести, а в этом могла быть необходимость.

Тень, в которую укрылся де Голль, не желая участвовать в разговоре, происходившем за столом, была тем не менее не так плотна, чтобы нельзя было рассмотреть генерала. Рост наверно смущал его, и сидя он себя чувствовал гораздо свободнее. От глаз Сергея Петровича не ускользнуло и иное: когда де Голль сидел, он выглядел много красивее,— по крайней мере, так казалось Бекетову.

Кофе подали в соседнюю комнату, которую к приемным залам резиденции де Голля можно было отнести условно: висела топографическая карта западного Средиземноморья, стоял стол для военных игр со множеством указок в колчане, сшитом из телячьей кожи, ярко-рыжей,— такое впечатление, что генерал ввел гостей в класс, где преподавал своим сподвижникам, военным и штатским, основы оперативного искусства. Но зачем ему надо было переносить беседу сюда? Карты и макеты на это указывали точно: юг Франции и север Африки да, пожалуй, море, лежащее между ними. Собственно, если вопрос коснется адмирала, то география дарлановской проблемы тоже здесь.

А между тем гости устроились за прямоугольным столиком, стоящим у большой грифельной доски,— до встречи с русскими за этим столиком не столько пили кофе, сколько записывали максимы де Голля, касающиеся Канн и Аустерлица.

— Простите,— обратился де Голль к Бекетову,— мне не дает покоя эта библейская фраза...— его лицо напряглось, как напряглось оно и у Мишеля Пермского.— Когда один слепец ведет другого, оба упадут в яму?

— На одном из слепцов морской мундир?

— Даже больше: адмиральский.

— Дарлан?

— Предположим.

Сергей Петрович ощутил явственно, что инициатива беседы переходит в его руки,— впрочем, француз не противился этому. Его устраивало, чтобы то, что он намеревался сказать сегодня, он сказал как бы в ответ на просьбу своего собеседника. Поэтому, по мере того как Бекетов завладевал беседой, возникало ощущение все большего контакта.

— Мне хотелось бы знать ваше мнение,— произнес Сергей Петрович, этой фразой подведя черту экспозиции.

Де Голль молчал, положив перед собой руки. Они точно никогда не видели солнца, эти руки, восково-бледные и хрупкие, руки ученого мужа, знатока древних манускриптов. Де Голль молчал — он сознавал ответственность этой минуты.

— Простой вопрос,— наконец начал француз.— Почему адмирал... присоединился к союзникам сегодня? — Он сказал «адмирал», явно не желая называть Дарлана по имени, и этим как бы установил расстояние между собой и адмиралом.— Не вчера, а сегодня? Совершенно очевидно: вчера он верил в победу немцев, сегодня он в нее не верит. Заметьте: не верит. А если в нее не верит даже он, значит, поражение немцев — вопрос времени... Следовательно, крайней нужды в услугах адмирала у союзников нет, и это должно быть ясно даже американцам. Если же они согласны, значит, дело не в услугах адмирала. Тогда в чем? Я склонен ответить на этот вопрос. Американцы думают о послевоенном мире и готовят позиции и кадры уже теперь... Это первое.

Ему нельзя было отказать в искренности и, пожалуй, в прямоте. Он по-своему выстрадал эти вопросы и готов был говорить по каждому из них, обстреливая Бекетова ответами-формулами.

— Я сказал: можно ли в угоду сегодняшней выгоде жертвовать принципами? В самом деле, это война совести. И армия наша — армия совести. Все, кто пошел с нами, сделали это не поневоле, а по велению той чистой и доброй силы, которая зовется совестью. Поставить этих людей под начало человека, который вчера был с Гитлером и всех звал под его знамена, значит поднять руку на самое святое, что есть у них,— совесть. С чем мы пойдем дальше, если призываем сжечь совесть?..

Он встал — сейчас он не стеснялся своего роста. Он стоял над Бекетовым бесконечно высокий, оперев едва

ли не в потолок маленькую голову, отчего она стала даже меньше, чем была на самом деле.

— Американцы могут делать это со спокойной душой. Правда, в программе, которую они обнародовали столь широко, они говорят о том, что идут войной и против колониального мира. Но они помалкивают о том, как намерены изменить принципы того, что есть Америка. Вот вопрос: Алабама останется Алабамой?.. Что касается Франции, мы хотим обновления, больше того, революции... Это под началом адмирала я поведу людей к революции? Если я сжигаю совесть, о какой революции может идти речь?

Бекетов припомнил реплику Михайлова о революции, которую начертал на своих новых знаменах де Голль, — реплику почти ироническую. Да неужели его собеседник полагает, что можно принять на веру его клятву в верности революции, даже в том весьма условном толковании этого понятия, какое имел в виду де Голль? Русскому, искушенному в том, что есть революция? Принять и не соотнести этих идеалов с самим обликом человека, стоящего рядом? Подумал, но не возразил де Голлю, хотя надо было возразить. Гнев де Голля против Дарлана и тех, кто Дарлану покровительствует, был справедлив, но его нынешняя тирада, расчлененная на главы и подглавы, нарочито антиамериканская, была построена так, чтобы возбудить тревогу у русских и, по возможности, обратить их в свою веру... Это было очевидно и вызывало чувство протеста даже у доброжелательного Бекетова, хотя в главном де Голль был и прав... Так или иначе, а прощаясь с французом, Сергей Петрович должен был сказать себе, что француз где-то переусердствовал.

4

Явившись однажды в обеденный час домой, Бекетов застал Анну Павловну, жену Изосима Фалина. Увидев его, она залилась румянцем и была такова.

— Ты был у Фалиных? — спросила Екатерина, когда стол был накрыт и, как это издавна было принято в бекетовском доме, жена заняла место по правую руку от Сергея Петровича, а сын — по левую.

— Да, конечно, вскоре после приезда.

— А почему ты мне об этом не сказал?

— Просто так взял и не сказал.

— Просто так?

Бекетов не ответил, только скосил глаза на сына, а потом на Екатерину, точно хотел сказать: «У нас еще будет возможность поговорить об этом». Но странное дело: этот короткий диалог точно отнял у Бекетовых все слова.

— Шошин только что был у меня; пришла какая-то необыкновенная партитура Хачатуряна,— сказал Сергей Петрович, чтобы что-то сказать. Екатерина второй месяц работала в посольстве, работала со свойственным ей воодушевлением.— Хачатурян — это интересно...

— Да, интересно,— откликнулась Екатерина, она любила говорить с мужем о своих новых обязанностях.

После обеда он надел пиджак, заторопился к выходу, потом остановился у самой двери: его торопливость могла ей показаться подозрительной. Он вернулся, даже взял газету. Она убрала со стола, села рядом, раскрыв книгу. Тишина, казалось, была полна душевного покоя.

— В самом деле, чего Фалина явилась вот такая торжественная? — вдруг отстранил он газету и рассмеялся.

— Не знаю,— сказала она, пряча глаза в книгу и желая скрыть от него улыбку.

— Я вот думаю о Коллинзе — есть в нем этот комплекс, чисто интеллигентский: замолить грех! — произнес он не без умысла.— Он пришел к нам не потому, что не мог не прийти, а потому, что решил замолить грех...

— Замолить?..— спросила Екатерина, обнаружив интерес, который до сих пор в ней не угадывался — ей нравилось, когда предметом их разговора были люди, окружавшие их.— Что... замолить?

— Приветствовал Октябрь, а после осени восемнадцатого открестился вдруг...— заметил он.

— Открестился... это как же понять?

— Не то чтобы открестился, а ушел в тень.

Она вздохнула.

— Будь моя воля, я бы простила,— вдруг вырвалось у нее.— Когда нам худо, ряды их редеют. Все они на один манер...

Он задумался — волнение объяло его. Даже странно: начал этот разговор, чтобы успокоить Екатерину, а потом вдруг забыл обо всем и взволновался.

— Все, да не все,— сказал он, неся в себе эту мысль, эту тайную мысль, что взволновала его.— Вот Шоу, например, он был всегда с нами. Понимаешь, всегда...

Он сказал «Шоу» и точно застал ее врасплох — она онемела.

— Есть смысл специально приехать в Лондон, чтобы увидеть живого Шоу,— произнесла она, смешавшись.— А я вот здесь, считай, больше двух лет: где он, Шоу?..

— Хорошо, в понедельник ты едешь со мной к Коллинзу,— произнес он, встрепенувшись.— Ловлю тебя на слове: будет Шоу!

Она смутилась.

— Нет, мне еще рано видеть Шоу,— попробовала отшутиться она.— Тут нужна храбрость, а мне ее недоставало и прежде... Нет.

5

У Коллинза было семейное торжество — его сын Герберт, археолог, подающий надежды, выпустил свою первую книгу.

— Кто этот старик с бородой лопатой? — спросил Бекетсв Шошина, не без труда рассмотрев человека в темном костюме, вокруг которого толпились гости, спросил и подмигнул: ему-то было известно, что это за человек.

— Его лицо показалось вам знакомым? — спросил Шошин.

— Да, если бы не эти диковинно пушистые брови, которые взвихрил и распушил возраст человека, я сказал бы, что это Шоу...

— Кстати, Коллинз говорил старику о вас, и тот просил нашего хозяина быть посредником между ним и вами...

Если Шоу действительно хотел быть представлен русским, то сделать это было в тот вечер не легко: он оброс людьми, точно магнит металлической стружкой. Судя по всему, они были ему приятны — тем меньше надежд было, что он сумеет от них освободиться. В те редкие минуты, когда Бекетов, увлеченный разговором

с Коллинзом, смотрел в конец комнаты, где находился Шоу со своими собеседниками, он видел краснолицего старика и ловил себя на мысли, что этот старик не во всем похож на Шоу, каким тот вошел в сознание Беке-това. Видно, фотографии Шоу, по которым до сих пор Сергей Петрович составлял представление о знаменитом старике, обладали преимуществом перед подлинником. На фотопортретах не было вот этой простоватости, которая шла от заметно рыжей кожи Шоу, не тускнеющей даже с возрастом.

Судя по тому, как свободно Шоу чувствовал себя в доме Коллинза и в какой мере своим он был в кругу коллинзовских гостей, он здесь бывал и прежде. Наверно, это характеризовало Шоу, но Сергею Петровичу это было важно и для понимания Коллинза. Более чем разборчивый Шоу не пошел бы к Коллинзу, если бы тот не отвечал моральным категориям ирландца. Но дело было не только в отношениях между Коллинзом и Шоу, но и в том, какой пример эти отношения подавали всем, кто пришел в дом Коллинза. Шоу точно говорил им: «Вы как хотите, а я доверяю честности этого человека...» Весьма вероятно, дружба с Коллинзом была так важна Шоу, что она одна могла заставить его пренебречь тяготами возраста и явиться в этот вечер сюда, а возможно, он пришел, чтобы дать понять всем, кто этого еще не понял: он с Коллинзом, с Коллинзом, а поэтому с тем общественным делом, которое в данном случае Коллинз представляет. Новая Россия имела к этому отношение. По крайней мере, с той далекой поры, когда она возникла, Шоу был на ее стороне, и нынешний его приход в дом Коллинза прямо соответствовал тому, что исповедовал и делал Шоу всегда.

Сергей Петрович был представлен Шоу.

— Мистер Коллинз полагает, что нашим знакомством мы будем обязаны ему, не правда ли? — взглянул Шоу на хозяина. — Я говорю: не правда ли? — он явно требовал от хозяина утвердительного ответа, но тот, ожидая подвоха, молчал. — Да не лишились ли вы дара речи?

— Вы хотите сказать, что я присвоил чужие лавры, уже присвоил?.. — вымолвил Коллинз и улыбнулся, явно намереваясь этой улыбкой ввести старика в заблуждение. — Вы идете даже дальше, утверждая, что я бесчестный вор, присвоивший чужие сокровища, так?

— Именно! — не мигая ответил Шоу. — Именно, говорю я, так как знакомством этим мы обязаны русскому послу... Он первый сказал мне о мистере... — Шоу взмахнул рукой, не без досады щелкнул пальцами, точно желая из воздуха выхватить имя, которое ему сейчас было нужно, — память сыграла с ним недобрую шутку: он забыл имя Бекетова.

— Вот вам... великий забияка и строптивец! — возликовал Коллинз. — Спросите это имя у русского посла, а я пас! — Он даже припрыгнул от удовольствия и собрался было удалиться, но Шоу остановил его.

— Вы рано торжествуете победу... — сказал Шоу и поднял ладонь, которую старость изукрасила мудреными иероглифами. — Моего русского знакомого зовут: Бородин...

— Так вам и надо, так и надо, старый строптивец! — Коллинз полез в карман, пытаясь отыскать визитную карточку Бекетова и назвать его полное имя — память Коллинза не воспринимала русских имен, и визитные карточки русских у него были под рукой.

— Вот вы думаете, что некогда у старого ирландца была красная борода, а теперь она белая: ирландец сменил знамена! — произнес Шоу, когда Коллинз, не отыскав визитной карточки, удалился. — Так вы думаете? Нет, признайтесь: так?..

— Я этого не сказал, — возразил Сергей Петрович — ему было не легко воспринять тон Шоу.

— Так вот, пользуюсь случаем, чтобы подтвердить: красный и теперь... (Это было сказано с мягким ирландским выговором: «ged».) А как может быть иначе, когда у моей колыбели был первый красный... Нет, не Маркс, а Энгельс! Но это все равно, не правда ли? Энгельс! Он первый признал Шоу!..

Он улыбнулся, будто прося извинения за самообольщение, слишком откровенное, и, наклонившись к Бекетову, осведомился:

— Простите, но вы полагаете, что эта русская крысоловка на Волге сплетена из крепких прутьев?.. Эти прутья не удастся перегрызть?

— Думаю, что нет, — сказал Бекетов — он был рад новому повороту разговора.

— А вот этот их удар с юга не страшен? — спросил Шоу очень заинтересованно: сейчас перед Бекетовым

был другой Шоу.—Хватит у русских сил парировать его?

— Должно хватить,— улыбнулся Бекетов.

— Скажу вам откровенно: из меня Нельсон плохой и Кутузов неважный, но я чувствую тоже — должно хватить! — почти восторжествовал Шоу.— Вот заметил в себе новую черту: люблю сидеть над военной картой и слушать людей, которые понимают в войне больше меня... И еще: с победами у меня поднимается настроение, даже творческое!.. Приезжайте в Эйот Сен-Лоренс! Вот уж мы с вами посидим над картой!.. Как вы?

— Не скрою, мне было бы приятно,— заметил Сергей Петрович.

Шоу сжал его руку, просто нащупал ладонь Сергея Петровича и сжал, хотя до расставания было далеко,— видно, у старого ирландца была в этом потребность:

— Прошлый раз ваш посол вдруг говорит: «А ведь Свифт тоже был ирландцем!» Нет, что ни говорите, а чудак человек ваш посол, хотя, надо отдать ему должное, он знает литературу, а это в наш век... Одним словом, мне с ним интересно... Надо же такое придумать: Свифт и Шоу!

— А я бы, признаться, сказал то же...— осторожно возразил Сергей Петрович.

— Ну, значит, дело не только в вашем после: оказывается, все вы, русские, любите парадоксы!..

— Поэтому Шоу нам и по душе! — засмеялся Сергей Петрович.

Старик протянул руку и, нащупав в этот раз плечо Бекетова, сдвинул ощутимо — Шоу не мог пожаловаться на отсутствие силы.

Шоу сказал о Михайлове: «Он знает литературу» — и это, как можно было понять, для Шоу имело значение. Для Шоу, а для Бекетова? В самом деле, так ли насуточно для дипломата, чтобы в круг его интересов обязательно входила литература? Ну, какое может быть сравнение: дипломатия, этакая первая дама при дворе, и литература, внебрачная дочь министра почт и телеграфа, которой вход во дворец заказан. Нет, решительно послу ни к чему литература, а все-таки как хорошо, когда у посла еще есть и литература. Хотел этого Шоу или не хотел, но сказал о Михайлове, как кажется Сергею Петровичу, важное. Да, есть у Михайлова эта широта интересов, которая дает ему возмож-

ность поддерживать отношения со множеством людей, при этом таких, которые обычно остаются вне поля зрения посла.

Шоу вскоре уехал, а у Бекетова весь остаток вечера было как-то хорошо на душе. «С чего бы это? — спрашивал себя Бекетов и отвечал, радуясь: — Шоу!.. Шоу!..»

6

Бекетов готовился к поездке на загородную дачу старого ирландца, а получил приглашение посмотреть вместе с автором генеральную репетицию в театре, созданном уже в военное время молодыми рабочими и носящем символическое имя: «Начало». Билет был на два лица, но Екатерина отказалась и в этот раз, — пришлось ехать одному.

Это был действительно один из тех театров, которые вызвала к жизни война. Под театральное здание был оборудован припортовый склад, оборудован самими рабочими, при этом с любовью и тщательностью, какая, наверно, характерна для молодого театрального дела. Чтобы сообщить генеральной репетиции температуру настоящего спектакля, театр пригласил рабочих порта, среди которых, как это понял Бекетов по ходу спектакля, было немало энтузиастов молодого коллектива. Расчет был верным: спектакль шел на ура. Шоу посадил Бекетова неподалеку от себя и мог сказать Сергею Петровичу: «Вам нравится? Хорошо, хорошо...» Или еще: «Вы замечаете, этой актрисе не дается «с»!» Или еще: «Я им советовал убрать эту сцену, но режиссер оставил. Теперь я вижу: прав он, не я». И потом: «Я уж не помню, когда был на премьере, но тут я не мог отказаться. И не жалею...»

Да, он мог сказать: «Не жалею!» Эта встреча с молодым театром не столько отняла у него силы, сколько прибавила. Извечное беспокойство своей природы он старался сберечь наперекор возрасту. Оно, это беспокойство, не просто взбадривало его, оно помогало обновлению всего его существа, смене крови... Как все люди, он, оглядываясь назад, видел свое юношество и даже детство где-то совсем рядом — спасительная память легко наводила эти мосты, хотя заветная пора и отстояла от нынешнего времени едва ли не на столетие.

Поэтому, в отличие от тех, кто смотрел на него сейчас, ему нужно было усилие, и немалое, чтобы увидеть себя таким, каким он стал: сутуло-белобородым, с воспаленными веками и пригасшим взглядом. Нет, все было не просто: ну, например, он окружил себя молодыми людьми, чтобы чувствовать себя молодым, но выглядел рядом с ними даже старше, чем был на самом деле.

После спектакля хозяева устроили нечто вроде капустника, который превратился в чествование Шоу. Угощали виски, настоящим на рябине, и, разумеется, сэндвичами с недорогой красной рыбой, бужениной и сыром, что на жестяном блюде выглядело эффектно, а главное, создавало впечатление изобилия. Читали стихи, много стихов, почти все в честь Шоу. Принесли белые гвоздики, бог весть откуда взявшиеся в эту позднюю пору, и поставили их перед Шоу. Наверно, в длинной жизни, которую прожил он, ему были ведомы и более пышные чествования, но эта полуночная встреча в рабочем театре, казалось, затмила все прежние — он был растроган.

— Ничто так не способно встревожить старого человека, как то, что мы весело-снисходительно зовем рассеянностью, но что есть на самом деле забывчивость, если не склероз в его чистейшем виде, то есть трагический знак старости... Седины, морщины и все прочие симптомы всеобщего распада, называемого старостью, ничто по сравнению с этим: человек перестает быть самим собой, утрачивает последнее, что было его сутью, на что опиралось самое его имя, — память, — он это сказал вдруг, даже не успев загасить улыбки; видно, эта мысль не оставляла его и тогда, когда у него было хорошо на душе.

Бекетову показалось, что все это Шоу произнес как-то жестко, со скучной и обнаженной прямолинейностью, без попытки расцветить мысль — он даже пренебрег парадоксом, который наверняка был у него на кончике языка. Старость — это уже тот берег, а с ним шутки плохи — до парадоксов ли?

Молодые актрисы соорудили нечто вроде венка из сухого вереска и украсили его седую голову — он не противился. Потом они принесли плед и укрыли его ноги — он пробовал возражать, но тепло растеклось по ногам, и он согласился. Да, он сидел в венке из вереска, и его лицо было необычно бледным.

— Когда оглядываешься назад,— заговорил он,— и видишь эту длинную дорогу, называемую жизнью, а по обе стороны дороги людей, которые жили рядом с тобой и даже были твоими друзьями, но которых теперь нет... то такое ощущение, будто бы эта дорога не вся твоя, будто бы кто-то прошел эту дорогу за тебя...

Он произнес все это и поправил плед — он не стеснялся теперь этого пледа, пока он думал о бренности всего земного, он привык к пледу.

— Вы обещали побывать в моем загородном доме, не правда ли? — спросил он, прощаясь с Бекетовым. — Вы обещали, верно?.. Я запасся большой картой России, которую дал своим подписчикам «Ландон мэгэзин», и, разумеется, лупой. Вообразим себя полководцами!.. Итак, я жду вас...

Он уехал, а Бекетов подумал: с той далекой поры, когда этот человек вошел в сознание людей в высоком и, наверно, благодарном качестве основателя театра Шоу, он должен был надеть на себя маску, скрыв ею свое истинное лицо. Он был под этой маской едва ли не всю жизнь, и его новая суть сделалась его истинной сутью. Быть может, это было ему в тягость, а возможно, перевоплощаясь, он испытывал даже некоторое удовлетворение. Вот так бы и прошел жизнь, если бы не вечерняя заря и мысли о тлене. Да, мысли о смерти вернули ему его суть — впервые в жизни у него появилась необходимость быть самим собой.

7

Бекетов приехал в посольство в первом часу ночи и, выйдя в сад, был не очень удивлен, приметив в рабочей комнате Екатерины свет — она еще не разделалась с почтой.

Он пошел к ней.

— Ты что же... полуночница? Не жалеешь себя — пожалела бы меня с сыном.

Она сидела у настольной лампы, подперев голову, которая казалась ему в эту минуту больше обычного седой, — видно, она уже закончила работу, но не было сил подняться.

— Боишься, осиротеете? — она подняла на него свои сизо-мглистые глаза, с ночью они становились темнее.

— Боюсь.

— А ты не бойся, с тобой ничего не будет...— произнесла она, глядя на него исподлобья.

Ему не понравилась ее интонация.

— Потому что таким, как ты... легко,— бросила она и безбоязненно взглянула на него — в ее словах было нечто от вызова.

Он не ответил. Только печально и любяще взглянул на нее.

— Пойдем домой...

— Нет.

Он снял пальто, сел. В том, как он это сделал, была некая готовность принять удар. Но она медлила.

— Россия горит,— наконец произнесла она.— Ты только пойми: горит Россия, и надо, как те ярославские и рязанские страдалницы, что впрягли в плуги да сохи своих буренок... Как те, что без отдыха и роздыха... Понимаешь, дни и ночи вот так, ночи, ночи!..

Он молчал: о, какие слова собрались в ее горящем сердце в эту ночь! Что ни слово, то огонь, попахивающий горьким дымом гнева.

— И твои ночные вахты по этой причине? — спросил он.

Она полыхнула ненастной мглой своих глаз — ох, как же она ненавидела его сейчас.

— А ты как думаешь?.. Именно вахты, именно бдение, без сна и роздыха. Только так и утишишь совесть. Если надо, убить себя этим бдением полуночным, убить... А почему бы и не убить?

Она взяла со стола лист бумаги, оторвала угол, принялась рвать ее на крохи — мудро было изорвать бумагу на такие лоскутки. Она рвала, а у него сводило скулы. «Умоляю: перестань!» — хотел крикнуть он, но остановил себя.

— А зачем вести себя к смерти? Разве смерть — цель?..

— Нет, разумеется, но ведь сама работа приведет к смерти,— произнесла она спокойно, спокойнее, чем можно было ожидать.— Моя работа,— прибавила она, оттенив предпоследнее слово: «моя».

— Твоя? — был его вопрос.

— Ну конечно же не твоя...— сказала она, и он услышал в ее голосе иронию — нет, лицо ее не выразило усмешки, но в голосе она была.

— По-моему, ты чего-то не понимаешь, Екатерина... — сказал он, как обычно, когда разговор с нею принимал крутой оборот, с корректной терпимостью.

— Да, действительно, не понимаю, — согласилась она, и в ее голосе вновь прозвучала ирония. — Ты меня прости, Сережа, наверно, то, что я тебе скажу, надо говорить не мне, но я тебе все-таки скажу...

— Да.

— Вот эти твои нескончаемые рауты, стыдно сказать, когда страна кровью захлебывается... кровью, кровью...

Он лишился языка: такого еще не бывало.

— Чего же ты молчишь, Сережа? Отвечай...

— Пойдем, Екатерина, ты устала...

— Нет, я не настолько устала, чтобы не выслушать тебя. Может, тебе сказать нечего?

Она стояла сейчас прямо перед ним. Та мгла, которую он заметил в ее глазах, сейчас точно сообщила и лицу ее, и волосам, и, казалось ему, голосу Екатерины: все было зыбким, все текущим, все свивалось и растекалось, грозя сомкнуться с ненастным лондонским небом, которое он видел только что, когда смотрел из сада на окно Екатерины.

— Нечего сказать... пойдём.

Они молча пошли. Он — впереди, она поотстав, точно возвращение домой не совсем соответствовало ее намерениям, точно он вел ее насильно. Ну вот, думал он, те тайные и явные силы, что противостояли ему в этом мире, грозила умножить Екатерина. В самом деле, что произошло и почему в разговоре, который был таким элементарным, она вдруг оказалась так далеко? Он винил себя. Слишком обособлен он был от нее все эти годы. Она жила в одном мире, он — в другом, и нечто непреодолимое возникло между ними, возникло само собой. Но был ли он волен над тем, что было прежде? Прежде? Нет. А сейчас? Да, да, и сейчас они все еще жили в разных мирах, и, кроме него, никто не был виноват в этом... Но какой толк, что он это понимает, в этом винится? Он ведь ничего не сделал, чтобы изменить это. А если бы сделал, изменил?.. Нет, в самом деле, изменил бы?

Посол просил Бекетова выехать в Москву, уточнить, чем мог бы помочь ВОКС укреплению культурных контактов с англичанами. Посол рассчитал верно: в эти годы возникли такие возможности для наших культурных дел, каких в будущем, быть может даже в ближайшем будущем, могло и не быть. Не следовало терять времени, и посол просил Сергея Петровича отправиться в Москву, тем более что была подходящая оказия: в один из северных русских городов отправлялась «Каталина» с французскими летчиками.

Всю дорогу, пока тоастьсбрюхая «Каталина» несла в своей утробе тридцать французских парней и русского дипломата, в самолете не стихали песни. Собственно, французских ребят, собравшихся сюда из Шампани, Гаскони и Бретани, не очень беспокоило, что не просто перекричать четыре мотора «Каталины». Не важно, что песня не звучала, важно было ее пропеть. В потребности петь, наверно, сказывалось и желание отвести душу, на которой, прямо сказать, было достаточно смутно при одной мысли, что самолет идет в снежную Россию, и желание сблечь настроение веселой отваги, которое по мере приближения к русской земле могло и поубавиться, и попросту, по-товарищески, поддержать друг друга... Но в те редкие минуты, когда песня стихала, парни пытались отогреть «глазок» в наледи, пскрывшей стекла иллюминаторов, и рассмотреть унылую водную гладь или тем более унылую землю, над которой пролетала «Каталина», вздыхали, неожиданно громко — но крайней мере, четырем моторам «Каталины» не хватало могучести, чтобы заглушить этот вздох. И тем не менее французские парни были хороши и в своей храбрости и в своей робости, которую можно было понять и даже простить, если учесть, что среди них были и двадцатилетние, совсем юные, необстрелянные.

Сергей Петрович был в воксовском особняке на Большой Грузинской, когда туда позвонили из Кремля и сказали, что Бекетова хочет видеть Сталин. С той далекой ночи 1939 года, когда был подписан договор с Риббентропом и встревоженный Сталин, возможно ища поддержки, покинул кабинет и вышел к экспертам, Сергей Петрович не видел его. Все эти годы в Бекетове жил этот расслабленный сталинский баритон: «Все мы

сильны задним умом, все сильны...» Может, поэтому, когда раздался звонок и явно обомлевший председатель ВОКСа, не говоря ни слова, сунул в руки Сергею Петровичу, точно горящую головешку, трубку телефонного аппарата, у Бекетова екнуло сердце.

И хотя до приема оставалось полчаса и у подъезда особняка на Большой Грузинской уже стоял лимузин, некогда черный, а теперь бело-зеленый, пятнистый, Сергей Петрович помедлил с отъездом. Его остановили и припечатали к блестящему voksовскому паркету глаза председателя, выражающие сострадание. Видно, этот профессор живописи был душой хотя и смятенной, но чуткой к беде ближнего, ежели мог вот так принять к сердцу тревогу Бекетова.

Сергей Петрович выехал. Он думал: наверно, Сталину теперь легко говорить с ним, легче, чем некоторое время назад. Может, поэтому встреча не могла состояться прежде и происходит сегодня. Но чего ради Сталину видеть его сегодня, когда всем его вниманием завладела приволжская баталия и рабочий день расписан по секундам? Бекетов ищет здесь замысел, а быть может, все дело в настроении, простейшем.

Нет, машина идет не в Кремль, а в противоположную сторону. Если проследовать от Троицких ворот по прямой, то минут через двадцать — двадцать пять будешь у цели. Место это, в сущности, в черте города, а такое впечатление, что ты в глубоком Подмоскowie, за толстой стеной деревьев.

В приемной Сталина полно военных. И Бекетовым овладели сомнения: если предстоит нечто значительное, до него ли? Но, кажется, военных становится все меньше. Бекетов ухватил из разговоров, которыми была полна комната: «Уран», «Сатурн», «Венера»... Если для масштабов войны земных имен не хватает, хочешь не хочешь, а полезешь на небо. Будущий историк, а может быть, и поэт проникнет в суть кодовых названий и сделает выводы любопытные. У англичан код — плод импровизации, у них всё «факелы», «ураганы» и «смерчи». Да и псевдонимы, которые они присваивают своим военачальникам, отмечены теми же чертами: вот, например, Черчилль зовется «бывшим военным моряком». Да, в этом есть некая поэзия, и в угоду ей принесена даже тайна. У нас все намертво прикреплено к именам

собственным, и, как все конкретное, вопреки кажущейся ясности, непроницаемо...

— Здравствуй, Сережа!..

Он поднял на Бекетова глаза, пасмурные и, как показалось Сергею Петровичу, заspanные (время предобеденное — видно, спал), улыбнулся. Да, он сказал: «Сережа!», а как ответить ему? Никуда не денешься — та же проблема, та же!

— Здравствуйте, — сказал Бекетов, смутившись, сказал больше себе, чем ему.

— Ну, как там наш друг Черчилль?

Слава богу, пронесло! Сам почувствовал неловкость и дал возможность Бекетову опереться.

— Да как сказать: Черчилль?.. Бестия! — произнес Бекетов и тут же остановил себя: «Не так начал! Да и не похоже это на меня... Откуда ворвалось это слово? Сталин как будто бы говорил в ином тоне». — Янус, при этом больше чем двуликий!..

Сталин приготовился слушать. Он указал на свободный стул за столом, сел сам. Теперь было ясно: он пригласил Сергея Петровича, чтобы поговорить о Черчилле. Ну, наверно, он уже достаточно был наслышан о том, что явилось проблемой Черчилля; читал донесения посла, говорил с эмиссарами британского премьера, читал его письма и депеши, наконец, говорил с Черчиллем, даже принимал его дома... Да не здесь ли происходила их встреча, не в этой ли комнате с окнами, выходящими в сад? Но такова уж наша природа: если ты не знаешь человека, он не вызовет у тебя стольких вопросов, сколько их появится у тебя, если ты его узнаешь... Но что он хотел бы знать о Черчилле? Наверно, нечто такое, что не рассмотришь из Москвы. Ну, например, Черчилль и лондонский мир Черчилля, все те, кто сотворил его. И потом психология того, что есть проблема Черчилля. Психология... это всегда значительно.

Итак, Черчилль.

— Кто-то сказал: «Если бы Виктория не скончалась в начале века, а прожила до наших дней, то первым министром у нее должен был стать Черчилль...»

Сталин улыбнулся едва заметно — она погасла, едва родившись, эта улыбка.

— Это как же понять?.. Идея имперского могущества?

— Да, имперского,— согласился Бекетов.— Где-то в недрах их партии есть группа деятельных тори, которых можно было бы назвать викторианцами... Черчилль в меньшей мере лидер партии, в большей — лидер этого меньшинства. Их место даже у тори на крайнем правом крыле,— пояснил Бекетов.

— Правее кливденцев?

— Если не считать их прогерманизма...— заметил Бекетов, задумавшись.

— Прогерманизм кливденцев?.. Так? — спросил Сталин.

— Да, именно,— подтвердил Бекетов.

Волнение, которое Бекетов испытал, когда оказался здесь, почти ушло. Он даже нашел время оглядеться. Ну конечно же незадолго до прихода Бекетова Сталин спал. Быть может, даже вот на этом диване, покрытом чехлом из сурового полотна. Правда, на самом диване не было вмятины, да и ткань была не помята,— видно, встав, он провел рукой по дивану, расправил чехол. Как заметил Сергей Петрович, в нем есть эта привередливая опрятность. Но вот раскрытая книга, корешком вверх, на стуле, придвинутом к дивану, указывает определенно, что он лежал здесь. Кажется, толстовские рассказы. Бекетов помнит этот том: и «Отец Сергей», и «Хаджи Мурат», и, разумеется, «Смерть Ивана Ильича». Есть некая закономерность, что он обратился к этой книге. Не впервые обратился. Его должна интересовать именно эта грань творчества Толстого. Нет, не только сами фигуры — отец Сергей, Хаджи Мурат, Иван Ильич,— но главное, как проник в их души художник. Но, так кажется Бекетову, и фигуры.

— Значит, викторианцы?.. А опора, где опора?

Бекетов не сразу понял Сталина: в его речи Сергей Петрович и прежде чувствовал лаконичность на грани недоговоренности. Это характерно для человека, который пришел к познанию русского как бы извне. «Опора?» Очевидно, хотел спросить: «На кого опираются викторианцы?» Но Сталин заметил замешательство Бекетова, не без раздражения произнес:

— Армия у него? Государственный аппарат? Сити?

— Да, то, что можно назвать черчиллевской цитаделью, именно аппарат и армия, даже больше — флот... высшее офицерство. Все, что на островах преемственно, передается из поколения в поколение и опирается

на эту самую их кость, которая, как они утверждают, у них белее, чем у всех остальных... Они с нами ровно настолько, насколько мы им полезны.

— Но слово они держат?.. Если это аристократизм, то, значит, и честность? — спросил Сталин. — Аристократизм — это и рыцарство. Какое же рыцарство без слова? — повторил он, заметно тревожась — ему очень хотелось, чтобы они держали слово.

— Не знаю, держат ли они слово в своей среде, но обмануть нас они бы сочли за благо, — произнес Бекетов и почувствовал, что это открытие и для него — никогда вот так обнаженно и безрадостно он не воспринимал вероломство тори.

— Значит, то, что сумеем выколотить, — наше?

— Возможно, и так, — согласился Сергей Петрович.

Наверно, нехитрая эта истина была Сталину не нова, но, когда она прозвучала теперь из уст Бекетова, он огорчился заметно. Нет, не по той причине, что это произнес человек, только что прибывший из Лондона, а потому, что это мнение принадлежало Бекетову, — видно, вопреки всему, что легло между ними за эти годы, он внутренне продолжал верить Бекетову; собственно, то, что он ему верил, и привело Бекетова в этот дом.

— Я думаю, надо пообедать, — неожиданно сказал Сталин и направился к двери, намереваясь предупредить домашних. Да, он не спросил Сергея Петровича, обедал ли он. Он решил задачу просто, и это, наверно, тоже было для него характерно: если голоден он, то и гость его голоден. Должен быть голоден.

Внесли металлический поднос, расцвеченный крупными цветами, просторный и крепкий поднос, и на нем все, что необходимо для обеда, вплоть до солонки и горчицы. Супница и салатница из недорогого фаянса, украшенного одноцветным ультрамариновым рисунком (кстати, если память не изменяет Сергею Петровичу, английский фаянс — эта посуда была модна в небогатых русских семьях в прошлом веке), хранили нехитрую еду — борщ и котлеты с вареным картофелем. Видно, семья, в которой прожил он жизнь, была очень русской — это был обед русской семьи. Как отметил для себя Бекетов, достаточно скромный.

Сталин взял тарелку и, раскрыв супницу, налил, как наливают себе в студенческой столовой, неловко и щедро, пригласив Бекетова сделать то же.

Когда с борщом было почти покончено, взял со стола бутылку, которая заметно запотела; там, где он касался ее, как бы обнажилось темное стекло, — возможно, вино принесли из подвала, оно должно было быть холодным. Он разливал вино не торопясь, наблюдая, как бокал покрывается испариной, — вино было малиново-красным, заметно шипучим, как догадывался Бекетов — не крепким.

— Будь здоров, Сережа.

— За ваше здоровье, — отозвался Сергей Петрович и затих, но и в этот раз обошлось — он точно не заметил, что на его «ты» Бекетов ответил «вы».

«Сейчас попрошу за Степана, именно сейчас — лучшей минуты не будет», — подумал Бекетов. Степан Скворцов, институтский товарищ Сергея Петровича, находился в местах не столь отдаленных шестую зиму; как полагал Бекетов, безвинно. «А может быть, не говорить сейчас? Видно, деловой разговор не закончен. Надо подождать».

— Сколько Черчиллю? — вдруг спросил Сталин.

— По-моему, не много, — ответил Бекетов, пораздумав. — Шестьдесят восемь.

Сталин засмеялся: он понял, что, прежде чем сказать «не много», Сергей Петрович соотнес возраст Черчилля и Сталина — англичанин был немногим старше.

— Шестьдесят восемь — это не мало, очень... не мало, — произнес Сталин, и Сергей Петрович заметил, как его улыбающееся лицо стало суровым. — Если он вдруг... уйдет, кто там будет вместо него? — спросил Сталин, и его левая бровь приподнялась, непонятно гневно. — В этом возрасте люди уходят легко, — добавил он — последнюю фразу он произнес, чтобы пояснить это его «уйдет».

— Если он уйдет, может быть Бивербрук.

— Бивербрук — это... лучше?

— Мне кажется.

— Так.

Он отпил вина.

— Не Иден?

— В мирное время, быть может, Иден, сейчас Бивербрук.

Его позабавила эта мысль: «В мирное время — Иден...» — он улыбнулся.

— Иден... параден?

— Да, сейчас нужны... слоны.

Сталин рассмеялся.

— Черчилль — слон?

— Еще какой!

— И Бивербрук?

— Да, помоложе.

Он продолжал смеяться:

— Значит, слон-викторианец?

— Да, можно сказать и так... — произнес Бекетов неожиданно тихо и подумал: услышит ли он, но он услышал.

— Так-то оно так... — сказал Сталин задумчиво — он держал в уме свою мысль, но не упускал и того, что говорил Бекетов, точно фиксируя каждое бекетовское слово, — подчас у людей пожилых при слабом зрении острый слух, но у него и зрение было хорошо — он, видимо, читал без очков; по крайней мере, на стуле, где сейчас лежала книга, их не было. — А по какой линии идут их разногласия с Рузвельтом?.. — спросил Сталин.

— Могут пойти?..

— Пожалуй, так: могут?..

Он не хотел отклоняться в своих вопросах ни на шаг в сторону, он должен был выпустить всю их обойму.

— Наверно, все в проблеме Ганди...

Он обратил на Бекетова глаза, почти недоуменные:

— Ганди?..

— Да, проблема Ганди как проблема... империи.

Сталин допил вино, допил, казалось, чтобы утолить жажду.

— Кому достанется... Ганди, так?

— Да, и радости, и хлопоты.

Он задумался, пошел по комнате — шаг не слышен.

— Самое интересное: как американцы займут место англичан... Экспансия — да, но какая?..

Собеседник Бекетова понимал: грядет смена господств. На смену зре Британии, для которой золотым веком был век царствования Виктории, приходит новое господство.

— Не будем торопиться, подождем... — сказал он и зашелестел мягкими сапогами по ковру, щадя тишину;

он все еще боялся ошибиться, даже в глазах Бекетова.— А как там Михайлов?.. Книжки пишет?..— И, не дождавшись ответа, произнес, почему-то возликовав:— Я не против, я— не против!

Ему захотелось закурить. Он взял табакерку, однако, не успев раскрыть ее, обратил взгляд на столик и увидел две трубки: старую и новую. Он взял новую, покрутил ее. Трубка была сделана не без претензии: светло-коричневое, почти яркое дерево, едва заметный золотой ободок, мундштук длинный и тонкий. Видно, подарок, знак внимания. Но человек, подаривший трубку, плохо знал Сталина. Такая трубка не могла понравиться ему. Нет, дело не в золотом ободке и ярком дереве, мундштук не тот, есть в нем показное изящество... Трубка была явно не во вкусе Сталина. Действительно, он не просто положил новую трубку на место, а бросил ее, бросил и на секунду застыл, выражая всем своим видом пренебрежение. Он сделал это так, будто имел дело не с трубкой, а с человеком— явно за трубкой видел человека. Потом взял старую трубку и, любовно охватив ее, точно согревая, принялся наполнять табаком, вминая его указательным и большим пальцами, при этом, как заметил Бекетов, эти пальцы были темными от табака, особенно большой,— видно, курил он много.

9

— Сегодня утром был в ТАССе,— сказал Бекетов— ему казалось, что английская тема себя исчерпала.— Немцы сообщили, что Манштейн прошиб сталинградское кольцо...— он сказал «сталинградское» и подумал: «А может быть, надо было сказать иначе?..» — Немецкое радио...

— Пусть сообщают! — произнес Сталин почти весело — он взял при этом дымящуюся трубку и резко ее опустил. Дым, как мог, повторил этот извив, зачеркнув то, что сообщило немецкое радио о Манштейне.— Они хотели бы, чтобы было так. Понимаешь, Сережа, хотели бы...— произнес он, стараясь оттенить «хотели бы», и в том, как он выговорил это, Бекетов вновь ощутил акцент, который перестал замечать.— Ты помнишь царщинские балки, Сережа: при обороне они хороши, при наступлении на город... не знаю! — он сказал «ца-

рицынские», и Бекетов вспомнил поездку со Сталиным ветреной степью на запад от города, а потом привал на дне балки, у костра, и неистовый сквозной ветер, который дул и завывал здесь, как в трубе, вздувая золу в костре и разбрасывая искры, которые с наступлением сумерек стали видны, особенно если на балку смотреть со склона. Этот склон был не таким пологим, каким бывает обычно у балки. Сталин вызвал в балку командира кавдивизии, седоусого кубанца в бараньей папахе, с матерчатой звездочкой на папахе, сказал, обратив глаза на склон балки — того гляди, оттуда грохнут гранатой: «Получил фураж? И пшено получил? И масло подсолнечное пять четвертей с половиной? Нет, я спрашиваю: получил?.. Дай отдохнуть дивизии, и людям и коням, а послезавтра на рассвете вперед!..» Последнее слово он произнес почти нараспев, точно отдавая команду: «Вперед!» — при этом губы комдива утоньшились и гневно сузились глаза. «Послезавтра не выйдет, т-т-товарищ уполномоченный... — сказал комдив, — видно, когда он тревожился, становился зайкой. — В дивизии есть раненые, надо подлечить...» — «В атаку пойдут здоровые!..» — Т-т-товарищ уполномоченный!..» — «Я сказал: здоровые!..» — повторил Сталин и посмотрел над собой, не забыл посмотреть. Командир поднес руку к папахе, скрылся во тьме. «Нечего сказать: храбреец!» — сказал Сталин и поднял глаза — комдив в бараньей папахе стоял на краю склона. Он стоял на самом краю, уперев руки в бока: того гляди, выхватит гранату и грохнет — ему было с руки кинуть с этой кручи гранату в балку... Он стоял на краю и раскачивался: то ли ветер качал его, то ли нелегкая дума: не мог решить, бросать гранату или нет. «Может... долбануть лимонкой?» — спросил Сталин, его мысль шла той же тропинкой, что и у Бекетова. «Может!» — засмеялся Бекетов. «Ничего, у нас нервы крепкие...» — сказал Сталин и, поднявшись, подгрел ногой золу к огню, пригасил. — Вспомнил балку под Царицыном? — спросил Сталин. — И костер на дне балки, так?

— Вспомнил... — признался Бекетов.

— Да, было... — произнес Сталин, заметно волнуясь, и этой короткой репликой точно объединил себя и Бекетова, а Сергей Петрович подумал: но ведь между ними лежит не только Царицын, хотя это на веки веков и негасимо и свято, но и те бекетовские годы, что оста-

лись на берегу северной реки, которая непонятно почему в сознании Сергея Петровича отождествляется с рассказом Мамина-Сибиряка «Зимовье на Студеной»... Думает он об этом, а если думает, то какие чувства это вызывает у него и есть ли сознание вины? В самом деле, есть сознание вины или он считает себя невиноватым, больше того, обеленным одним тем, что он вернул Бекетова к жизни?

— Ты бы попросил что-нибудь, Сережа... — сказал Сталин и оборвал течение бекетовских мыслей. «Пришла Степанова минута, пришла, пришла! — подумал Сергей Петрович. — Именно Степанова минута, больше такой не будет! Но как попросить? С чего начать?..» За те почти пятьдесят лет, что лежали у Сергея Петровича за спиной, за те долгих пятьдесят, что успели ссутулить его и выбелить голову, он не помнит, чтобы кого-то о чем-то просил, ну вот убей, не помнит... «Как попросить?»

— О чем просить?.. — спросил Сергей Петрович и робко-внимательно взглянул на Сталина. — О чем? — повторил он.

— Ну попроси хотя бы квартиру...

Бекетов привстал, впервые:

— Нет, квартиру не надо, а вот...

— Да?

— Нельзя пересмотреть дело Скворцова Степана, товарищ Сталин? — подал голос Бекетов и, почувствовав, что холодеет, нащупал стул и сел.

Сталин стоял над ним, и его трубка, зажатая в пятерне, казалось, вместе с огнем погасла.

— Скворцов? Что за Скворцов? — спросил Сталин, и по тому, как он повторил фамилию Степана (в том, что Скворцов не был известен ему, он, как понял Сергей Петрович, винил не себя, а Скворцова), показалось Сергею Петровичу, что дело швах. — Значит, Скворцов? — повторил он, и в его глазах, обращенных на Бекетова, вскипел гнев — скажи ему сейчас слово, и все рухнет в преисподнюю. От великодушия до ненависти — шаг? Даже меньше — полшага, при этом истинная вина или невиновность ровно ничего не значат. — Скворцов так Скворцов! — сказал Сталин неожиданно. Переход от гнева к великодушию свершился. Видно, это имя уже оставило зарубку в его памяти, больше того, никакие новые слова ничего не прибавят к тому, что

он хотел сделать или чего он делать не хотел, все это было понятно Сергею Петровичу, в остальном надо было полагаться на судьбу.— А как насчет квартиры?..

— Квартиры мне не надо...— отозвался Бекетов.— У меня есть квартира... — добавил он, а сам подумал: все-таки есть у тебя сознание вины, есть, есть!.. В конце концов, так было и прежде: награда полагалась или за заслуги, или в искупление вины. Заслуг пока что не было; значит, второе.

— Есть квартира?.. Хорошо, тогда приглашай в гости...

Сергей Петрович затих, не зная, что говорить.

— Ты что же умолк, Сережа? Жена здесь?..

— Нет, в Лондоне...

— Ну что ж, мы можем и подождать... Но имей в виду, я не забываю.

— Да, конечно... — заметил Бекетов, не очень понимая, к чему относилось это «да» и это «конечно», но очень хорошо осознавая: он действительно не забудет и надо готовиться принимать гостя.

Они простились.

Когда Бекетов вновь оказался в комнате, где оставил пальто, она была полна военных, которые встретили его почтительным вниманием и даже чуть-чуть расступились. Исключение составил, пожалуй, человек с массивным подбородком, разделенным едва заметной бороздкой: он при виде Бекетова обнажил волосатое запястье и взглянул на часы, при этом пасмурно сдвинул брови, точно хотел укорить Сергея Петровича: «Надо понимать, мол, какое нынче время, — можно бы и покороче». И решительно, не ожидая приглашения, пошел к двери, остальные последовали за ним, как заметил Бекетов, отнюдь не так смело.

Все время, пока Бекетов шел к машине, его не покидала мысль: «Кто этот военный?» Слишком знакомым показалось ему лицо... И, уже тронув дверцу машины, едва не воскликнул: «Жуков!.. Ну конечно Жуков, да, да, этот подбородок, рассеченный бороздкой, он!» И разом ощутил, как при одном этом имени волнение охватило его.

И еще подумал Сергей Петрович: «А как Степан? Выйдет он на волю?» Но странное дело, сознание, что Сергей Петрович помог другу, смог помочь, сопряглось

с чем-то иным, что было Бекетову неприятно. С чем именно? Да надо ли было давать Сталину этот козырь? Небось вернет Скворцова на свободу и подумает: «Вот какой я справедливый». Это Сергей Петрович дал ему возможность подумать: «Скворцова я не знаю и уже поэтому не могу отвечать за все, что с ним произошло, но, вернув ему свободу, я, естественно, должен его узнать, если не его, то, по крайней мере, имя его. Значит, уже одно, что я не знал его имени, а теперь знаю, свидетельство моей невиновности». У него должна быть потребность в том, чтобы случай с освобождением Скворцова повторился, — где-то здесь тот самый знак, которым отмечена его нынешняя жизнь.

10

Приехал новый советник, и англичане устроили в посольстве на Софийской нечто вроде обеда — разумеется, английского, вечернего. Бардин приехал, когда гости были уже в сборе, и был немало изумлен, заметив белую голову Бекетова. Егор Иванович слышал, что Бекетов в Москве, ждал звонка друга, но не дождался, — такого еще не бывало. Но не бывало и иного: поговаривали, что Бекетов ездил в Кунцево.

— Вот тебе и Сергей Петрович, — Бардин устремился к Бекетову, стараясь двигаться как можно изящнее. — Да неужели я тебя должен ловить на Софийской набережной?

— Тут такое было, не переведешь дух... — молвил Бекетов и взглянул на друга, прося пощады.

— Да уж наслышан...

— Как наслышан? Откуда?..

— Земля слухами...

— Ну тогда — бывай, при случае расскажешь. Кстати, кажется, это посол... Я ему уже представился — твой черед.

Да, это был посол Керр, а если говорить полно — Арчибальд Джон Кларк Керр или лорд Инверчэпель... Эти длинные английские имена, чем длиннее, тем торжественнее, похожи на анфиладу посольских зал, которые выстраиваются перед тобой, прежде чем ты попадешь в кабинет посла. Задача одна и та же: внушить уважение к персоне посла. Надо отдать должное Керру, его длинное имя было в прямом соответствии с длин-

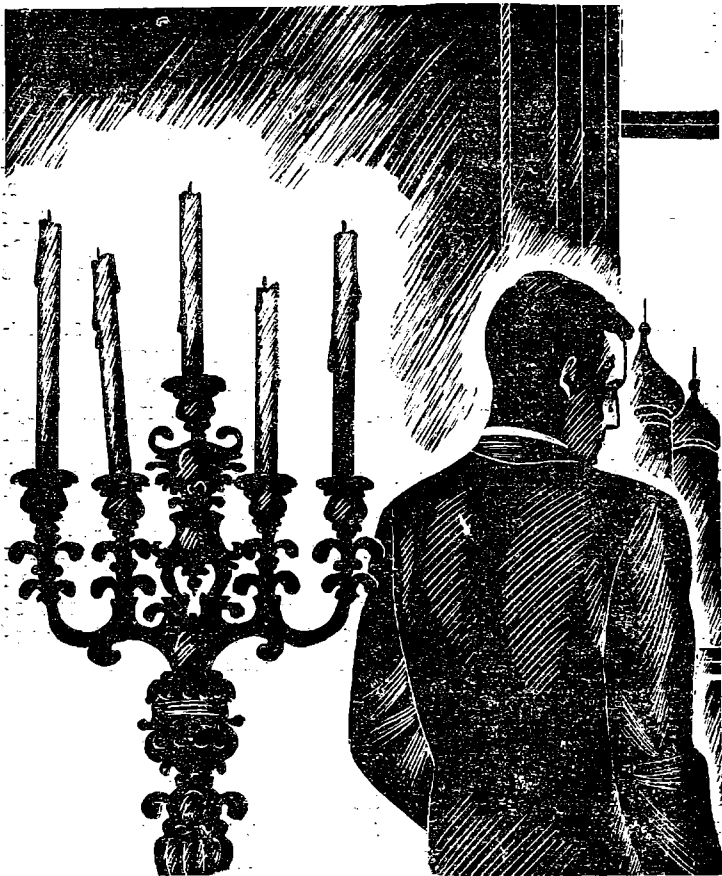
ной дорогой, которую он прошел в дипломатии. Он начал дипломатическую карьеру за сорок лет до того, как получил посольский пост в Москве, при этом первые двадцать лет был на низших должностях, что делает честь Керру — основа железная. Истинно имперский посол: большую часть своей дипломатической жизни провел на Востоке и в Латинской Америке: Египет, Ирак, Чили, Гватемала. Уже в годы войны был послом в Китае, что для его карьеры имело значение решающее — посольскому посту в Москве и в данном случае предшествовало положение ответственное.

Наверно, посол понимает, что сорок лет дипломатической службы должны отразиться на положении человека, переиначив в нем все, что нес он от рождения, и прежде всего — характер. Быть может, посол разумел это и, можно допустить, сопротивлялся этому — невелика привилегия потерять характер, — но он был уже бессилён что-либо сделать. Посла точно заморозило, его лицо как бы остановилось: послу все труднее было выразить сострадание и гнев, внимание, печаль и радость. Оказывается, британская дипломатическая школа обладает единственной в своем роде возможностью мумифицировать человека, не заключая его в саркофаг, больше того, сохраняя за ним какие-то качества существа живого.

Итак, посол Керр.

Бардин шел в банкетный зал и думал: русский дом, даже, быть может, более русский, чем многие дома Замоскворечья (кажется, дом принадлежал известному сахарозаводчику). Как заметна здесь чисто английская черта: желание стилизовать под седобородую и чуть-чуть чопорную старину. Вот это обилие тусклой бронзы, нарочито нечищенной, эта тяжелая мебель, точно налитая сумерками плохо освещенных комнат, хрусталь, горящий в полутьме, гардины, будто из прошлого века, тяжелые, свитые из железной ткани, а заодно и персонал посольства, тоже железный, только железо черное и белое, под цвет костюмов и воротничков.

— Не находите ли вы, господин Бардин, что посол — это время... больше того, слуга времени, — сказал Керр, когда был провозглашен первый тост. — Именно слуга времени, а не наоборот. Только попробуй сделать время своим слугой — и останешься без



головы... Надо уметь улещать время, постараться, чтобы оно было к тебе милостивым...

— Оно к вам милостиво, господин посол? — спросил Бардин.

— Милостивее, чем к моему предшественнику.

— Но, насколько мне известно, сэр Стаффорд Криппс не жаловался на время? — спросил Бардин в том же шутливом тоне, в каком начал этот разговор посол.

— Не знаю, не знаю, — был ответ.

— Так ли, господин посол?



— Нет, я ничего не сказал. Все хорошо, все хорошо... — Он стал серьезным. — Ни один английский посол не был окружен такой симпатией правительства и народа, как я... И это отнюдь не потому, что Великобританию представляю здесь я...

— Время, господин посол? — спросил Бардин.

— Время, — ответил посол серьезно: отпала охота шутить.

Уже после того, как обед кончился и Бардин, пройдя в соседнюю комнату, затененную в этот час, увидел внизу тусклое свечение реки и над нею Кремль, на

память пришел далекий двадцатый год: не в этом ли особняке жил Герберт Уэллс перед своей исторической встречей с Лениным, не здесь ли он разговаривал со знаменитым Вандерлипом, не из этого ли окна он смотрел на Кремль, отправляясь к Владимиру Ильичу, и не в этом ли банкетном зале был накрыт для него и для Вандерлипа стол, а старый лакей вспомнил те достопамятные предвоенные годы, когда в этом доме пел Карузо?

— Необыкновенно эффектен Кремль отсюда, не правда ли? — подал голос Керр — у него была необходимость закончить разговор, начатый за столом. — Об этом вы думаете, мистер Бардин?

— Не совсем.

— Тогда о чем, смею спросить? — Грубая прямота, с которой он задал этот вопрос, свидетельствовала об энергии посла.

— Об Уэллсе, о Герберте Уэллсе — если мне память не изменяет, он жил в этом доме, когда приезжал в Москву, чтобы повидать Ленина...

Видно, густые сумерки этой комнаты были сейчас кстати — иначе послу трудно было скрыть замешательство, которое охватило его при имени Уэллса.

— По-моему, об этом же говорил премьер-министру кто-то из посольских, когда господин премьер был прошлым летом в Москве, — заметил посол.

— И он?.. Что он... премьер-министр?

— Не думал, говорит, что из одного окна с Уэллсом буду смотреть на Кремль.

Бардин поднял глаза на посла. Вот на что способно это английское искусство: с лица исчезли не только мимический знак, выражение, стерлась жизнь — хоть укладывай в саркофаг.

Единственный признак жизни — слово, оно еще было у Бардина на слуху.

Как почудилось Егору Ивановичу, фраза посла была столь лаконичной и такой туманной, что казалось, лишена смысла. Надо было колнуть, да поглубже, чтобы смысл явился.

— Не было ли тут намека? — спросил Бардин.

— Намека?.. Нет, конечно! Впрочем, на что намек?.. — полюбопытствовал посол, и Бардин даже во тьме ощутил, как его собеседник втянул шею в плечи, будто приготовившись принять удар.

— Ну, это известно не только англичанам, но и нам, русским,— заметил Бардин, чувствуя, что посол заинтересован не на шутку.

— Что вы имеете в виду? — спросил Керр.

— Поединок: Черчилль — Уэллс о России... Это для нас факт классический — если он не вошел в альманахи, то войдет...

Наступила пауза.

— Под каким знаком... войдет? — спросил посол тихо.

— Под знаком дружбы таких, как Уэллс,— сказал Бардин.

— У вас есть хорошая поговорка, очень хорошая: «Кто старое помянет...»,— последние три слова Керр произнес по-русски, с особенной силой подчеркивая «р» — оно давалось послу не легко: «Ктэ... стэр-р-р-ое помьэнит...»

— Но разве не надо вспоминать старое? — спросил Бардин.

— Не знаю, не знаю,— сказал посол и, поддерживая Бардина за локоть, пошел из комнаты.— Мои русские друзья — у меня уже есть друзья среди русских — задали мне прелюбопытный вопрос... — Он замедлил шаг, точно стараясь показать походкой, размеренной и едва слышной, что хотел бы сообщить своему рассказу некую конфиденциальность.— Они спросили: а какими вы видите отношения после войны? Нет, не вообще, а в деталях, деликатных деталях. Ну, например, как поведут себя известные лица, которые к этим отношениям имеют, так сказать, касательство?

Посол встретился взглядом с Галуа, встретился неосмотрительно. Галуа по-своему истолковал его взгляд и был тут как тут.

— Какими вы видите известных англичан в их отношении к России после войны? — спросил Бардин Галуа с ходу.— ему хотелось сообщить этому разговору силу.

— Я говорил не только об англичанах... — заметил Керр.

— Надо же с кого-нибудь начать... — заметил Бардин смеясь.

— Черчилль? — тут же подал голос Галуа, он ухватил смысл разговора мгновенно.

— Ну, хотя бы,— согласился Бардин, не обнаруживая заинтересованности, хотя именно эта линия разговора его и увлекла.

— Каким будет Черчилль после войны и пойдут ли ему эти годы впрок? — спросил Галуа по-русски и, взглянув на Керра, почти недоуменно принялся переводить свой вопрос на английский, при этом как бы между прочим опустил многозначительное русское «впрок» — хотя он был и навеселе, мысль его работала четко.

— Ну, тут все ясно,— заметил посол.— Все складывается, слава богу, как нельзя лучше: и то, что мы называем взаимопониманием, будет существовать и после войны.

— Каким будет Черчилль?.. Ну что ж, это не самый легкий вопрос и не самый трудный...

Керр встрепенулся:

— Не самый трудный?

— Да, разумеется,— согласился Галуа.— И в вашей воле помочь мне на него ответить.

— Пожалуйста,— сказал Керр, выражая готовность — он поспешил сказать «пожалуйста».

— Все зависит от того, как мистер Черчилль решит свои проблемы в этой войне,— заметил Галуа.— Итак, как решит?

Керр и Бардин молчали: разговор явно пошел дальше, чем того хотели они. Этот моторный Галуа сообщил диалогу дипломатов скорость, которая была не под силу Керру и Бардину. Разговор грозил оборваться, и первым это заметил Галуа.

— Погодите, но с чего началась ваша беседа? — спросил он. Сообразив, что беседа вряд ли получит развитие, он хотел знать хотя бы ее истоки.

— Мы вспомнили Уэллса... — сказал Бардин.— В двадцатом он жил в этом доме...

— Да, разумеется,— подхватил Галуа.— Именно из этого дома он пошел в Кремль... Но при чем здесь Черчилль?..

— Поединок: Черчилль — Уэллс о России,— сказал Бардин, заметив, что пошел по второму кругу и опасность того, что разговор может непредвиденно накалиться, не миновала.

— Ну, старик заслуживает снисхождения... — вдрут

подал голос Галуа и взглянул на Керра.— Снисхожденья, снисхожденья...

Однако вон как вильнул, подумал Бардин, вот он, Галуа, подлинный Галуа!

— Да, снисхожденья... — подхватил посол воодушевленно и благодарно взглянул на Галуа: истинно, Галуа выручил британского посла в трудную минуту.

11

Бардин покинул посольство вместе с Бекетовым.

— Где ты теперь?.. В Ясенцах или на Калужской?.. — спросил Бекетов, когда они шли к машине, — он полагал, что с наступлением зимы Бардины перебрались в Москву.

— Все не просто... Пришел срок ехать, да Ольга воспротивилась, — он вздохнул. — Что хочешь, то и делай: отправил Иришку с дедом в Солнцево: там школа!..

— Значит, в Ясенцах вдвоем?.. — улыбнулся Сергей Петрович. — По-молодому?

— По-молодому... — согласился Бардин и засмеялся, в охотку, радуясь. — Взясся за гуж, не говори... — добавил он, усаживаясь вместе с другом в машину.

— Да уж, верно: не говори, что не дуж, — отозвался Бекетов.

Машина покатила, и друзья умолкли.

— Погоди, да мы Остоженку проехали! — вострепнулся Бекетов. — Поворачивай, поворачивай...

— А зачем поворачивать? Поехали прямо... — сказал Бардин; видно, в его планы входил этот путь.

— Как прямо? Куда?

— В Ясенцы... Ольга сказала: привези Сергея на олады.

— Погоди, да мы только что ели...

— А, это не то!

Олады сделали свое дело — Бекетов ехал в Ясенцы. Но, приехав в Ясенцы, они не застали там Ольги. Соседка сказала, что Ольга побежала в деревню за молоком и с минуты на минуту будет обратно. Дом был натоплен и как-то по-особому, по-молодому, ухожен. Бекетов не помнит Ясенец такими. Война точно отпрянула: все было вымыто, выскоблено, все сияло и светилося, — видно, энергии и старанию Ольги не было пределов.

— Пока суд да дело, у меня тут есть завалящая бутылка, на черный день... — сказал Егор и добыл из потаенных мест бутылку с длинным горлышком. — Только, прости меня, разыщу бокалы. Вот натура привередливая: не могу пить из стакана...

Он разыскал бокалы, тщательно, с пониманием дела, откупорил бутылку, испытывая немалое удовольствие от самого процесса открывания, разлил вино, при этом лил так, чтобы свет падал на бокалы и золотистый отлив вина, а вместе с тем и его игристость были видны, а когда налил и поставил бутылку на место, подал бокал и, радуясь этой минуте, предвкушая медовый вкус вина, смотрел на друга и точно говорил: «Как славно, что наперекор всем ветрам мы встретились и еще встретимся, друже... Встретимся!»

— Ну, рассказывай... Значит, кунцевская роща?.. Только все по порядку и подробно...

Но по порядку не вышло: темперамент Егора был не тот, чтобы выстраивать все по порядку.

— Значит, Царицын вспомнил, а Печору вспоминать не стал?.. — спросил Егор. — Прости, Сережа, что перебил. Рассказывай, рассказывай...

Но, внимая Бекетову, Егор вновь и вновь возвращался к той же мысли:

— Что ни говори, а человек должен помнить: не отдавай себя во власть страсти, она безглаза, не знает брода...

А когда речь зашла о Сталинграде, нет, не о Царицыне, а именно о Сталинграде, Бардин умолк надолго, потом произнес:

— А не думаешь ли ты, Сережа, что Сталинград вызовет нас из неволи?.. Да, я имею в виду наши отношения с союзниками. Прости за слишком свободное слово: именно из неволи!.. Ты понял меня? Впервые за время войны, ты понял — впервые мы обретаем равенство, какого не имели. Да, равенство, которое даст нам такие козыри, каких у нас не было...

Пришла Ольга, и, окинув ее внимательным взглядом, Сергей Петрович заметил: чем-то она была похожа на свое чистое жилище. Подобно дому, веселая и ухоженная. Вон она, природа человека: будто не было в ее жизни столько бед — явился Егор и точно рукой снял все невзгоды. Истинно всемогущ!.. А Егор, глядя на Ольгу радостно-озорными в прищуре глазами («Если он

ее не любил, то полюбил теперь,— думал Бекетов.— Да, вначале соединил с нею жизнь, а потом полюбил»), глядя, как она в соседней комнате стягивает с себя шерстяной, в бедовых цветах, свитер, как, запрокинув руки, пытается достать у самого затылочка воротник блузы, как отводит голову, чтобы она оказалась в раме зеркала, и нарочито небрежным, а на самом деле рассчитанным жестом приминает и охорашивает волосы, говорил Сергею Петровичу торопливым и сбивчивым шепотом:

— Стыдно сказать, Сережа, никому не скажу, тебе скажу: и жаль Ксению безмерно, и не было мочи моей от ее болячек нескончаемых...

— Постыдись, Егор... — укорял Бекетов друга — знал, что где-то тут прорвался характер Бардина, прорвался вопреки его воле.

— А я стыжусь, Сережа... — признался Бардин, как показалось Сергею Петровичу, легко признался, не раскаиваясь, а Бекетов подумал: наверно, и его, Бекетова, одолели болячки Екатерины, а смог бы он вот так сказать?.. Нет, нет, никогда. Видно, где-то здесь лег водораздел между тем, что есть Бардин и Бекетов. Нет, не просто друзья, а братья кровные, но поди какие разные!

— Вот взгляни, Сережа, что могут сделать руки человеческие... — Егор внес туалетный столик на фигурных ножках, в самом деле сделанный весьма искусно.— Только... осторожно: лак не просох.

— Это чья же работа, Егор? — поинтересовался Бекетов, оглядывая столик — он, этот столик, был так ладно сбит, точно его не сбивали, а вытачивали.

— Моя, разумеется,— произнес Егор не без гордости.

— Твоя? — изумился Бекетов — было непонятно: каким образом медвежьи бардинские лапы явили такое умение?

— А почему бы и не моя?.. — Бардин протянул к свету руки — пухлые, с короткими пальцами, они не столько опровергали сказанное Бекетовым, сколько подтверждали.

— Не верю, не верю, чтобы медведь такое сумел! — решительно, почти в сердцах заявил Бекетов.

— А ты спроси Ольгу,— закричал Бардин.— Спроси... Ольгу!

— Он, Оленька?

Она не без труда вышла из рамы зеркала.

— Он,— подтвердила Ольга.

Бардин укоризненно взглянул на друга:

— И после этого ты не поверил?

— Нет.

— Почему?

Бекетов не ответил.

— Я знаю, что ты думаешь... сказать? — заглянул в глаза другу Бардин.— Нет, сказать?

— Ну, говори... — согласился Бекетов, думая о своем.

— Ты думаешь так: медведь есть медведь и способен только на медвежье, но когда он влюблен, он может работать главным ювелиром... Угадал?

— Угадал! — засмеялся Бекетов.

Ольга накрыла стол на кухне — в этакое ненастье там было уютнее.

Оладьи были хороши и по вкусу, и по размерам — Бекетов любил большие оладьи, да так, чтобы в них было больше яблок.

— Ну, за хозяйку, за семью, за больших и малых,— поднял бокал Сергей Петрович — в эту минуту ему казалось, что нет на свете слов более подходящих, чем эти.

Ольга просияла — в устах сдержанного Бекетова каждое из этих слов было вдвое дороже.

— Спасибо, Сергей Петрович,— произнесла она, радуясь, и, взглянув на Бардина, добавила: — Вы первый, кто это оценил...

— Первый, да так ли? — засмеялся Бекетов.

— Первый, первый... — подтвердила она.

— Насчет малых ты ей хорошо сказал,— заметил Бардин и взглянул на Ольгу без улыбки.— Хорошо, хорошо сказал, Сережа... — Пройдя в соседнюю комнату, он возвратился оттуда с лыжами.— Ну, ты тут похозяйничай, а мы махнем на часок...

— Погодите, да неужели медведя поставили на лыжи? — спросил Бекетов.

— Как видите,— засмеялась Ольга, необычно громко — бокал вина сделал свое.— Вначале все валился, упадет в сугроб и лежит тихо, истинно медведь... Теперь — ничего, ни свет ни заря — все на лыжи. Говорит, что у него нет времени для отдыха, а на лыжах час ходьбы дает энергии на день...

— Лыжи — это хорошо, — согласился Бардин и провёл ласковой ладонью по нежно-смолистой «подошве» лыж.

Они ушли.

Где-то они там ходили сейчас во тьме, скатываясь с пологих холмов, врезаюсь в сугробы, а Бекетов внимал тишине, думал: «По всему видно, счастлив человек, а это, наверно, главное... Вон как он преобразился: светится... Главное, она сообщила ему ощущение того равновесия, которое так необходимо, которое даёт много сил для дела...»

Бардины вернулись часа через полтора, возбужденно-веселые, покрасневшие от мороза и снега, которым были обсыпаны с головы до ног.

— Чаю, горячего чаю!.. — стонал Егор. — Ну и морозище — не продохнешь!..

— Ну, уж ты, царь природы, мороза испугался... у-у! — вымолвила Ольга смеясь — в ней была небабья кряжистость и упорство: такую мороз не возьмет!

Она постелила Бекетову на диване в столовой, у стеночки, за которой была натопленная печь. Бекетов видел, как она достала из бельевого шкафа простыню — бог знает, откуда она добыла крахмал в нынешнее время, но простыня аппетитно потрескивала, схваченная отвердевшим крахмалом, когда она ее не столько раскрывала, сколько распечатывала. Сергей Петрович приметил и то, как на вытянутых руках она пронесла простыню в соседнюю комнату, где топилась печка, чтобы поддержать ее у огня, и возвратилась, все так же удерживая ее на распростертых руках, а к запаху крахмала примешался запах огня, домовитого, отдающего дымком. Уже когда легли и в доме, казалось, стихли все звуки, вдруг явился Бардин.

— Как ты, Сережа, хорошо тебе?..

— Хорошо, Егор, очень... ну, иди, толстый, иди...

— Я не толстый, я — упругий... — молвил Бардин смеясь и, наклонившись, вдруг чмокнул Сергея Петровича в лысеющую макушку. — Люблю тебя, собаку...

— И я тоже, Егор...

— Ты помнишь, я говорил, что Сталинград поможет нам обрести равенство?

— Да, ты так сказал... но я бы сказал иначе: большую независимость от союзников...

— А разве это нечто иное? Ну, пусть будет потвоему: большую независимость,— согласился Бардин, сегодня он легко соглашался.— Я о другом: это нам сейчас очень нужно, по-моему, даже нужнее, чем прежде.

— Не о встрече в верхах ты думаешь? — спросил Сергей Петрович, пытаясь определить, как будет выглядеть третий ход друга,— Бекетов сокрушался, что забросил шахматы, в которые он когда-то играл и даже сумел увлечь этой игрой сына. Ничто не учит так точному расчету, как шахматы,— дипломат должен уметь играть в шахматы, и, желательно, не по-дилетантски.

— Да, я думаю именно об этом: о встрече в верхах. Без Сталинграда нам было бы с ними труднее разговаривать.

— Сталинград надо еще довести до победного конца,— парировал Бекетов — он хотел проникнуть хотя бы в ближайшее будущее отношений между союзниками, видеть партию через три заветных хода, но не торопился с выводами.

— И это верно,— подтвердил Бардин — устами друга глаголила сама мудрость опыта.

Давно Бекетову не было так хорошо, как в этот вечер. Засыпая, он думал о том, почему ему так хорошо, и смог найти единственное объяснение: ему было покойно за Егора. Может, поэтому ощущение радости сообщилося сну, и всю ночь ему снились белокрылые птицы, которые, вернее всего, были голубями и которые не посещали его снов с детства...

Когда на рассвете (рассвет был поздним, декабрьским) Бекетов открыл глаза и услышал гудение печки, а потом учуял запах пирога с картошкой (картошка явно была щедро сдобрена луком), он уразумел, что нынешняя ночь для Ольги была много короче, чем для него, Бекетова, и Егора.

Они псехали на работу электричкой, и по дороге Сергей Петрович вдруг вспомнил — он хотел спросить друга о чем-то таком, что не очень удобно было спросить при Ольге.

— Помнишь, когда я произносил тост за Ольгу, ты сказал что-то такое про малых... Помнишь?

— Это ты сказал про малых, а я сказал, что ты сделал хорошо, вспомнив их...

— Почему?

— Тебе было хорошо у нас, Сережа? — спросил Бардин.

— Да, конечно.

— Ну, и береги это, не порть.

— А если испортить, ну, кроху невеликую?

Бардин задумался — по его расчетам, до Москвы было еще минут пятнадцать.

— Пойми, Сережа, мой старый дом на Калужской — это не просто сорок метров паркета и беленой штукатурки, а нечто живое, что болит во мне и стонет... Нет, я, наверно, сказал не точно: нечто такое, что живет и на что я не могу поднять руку. Понял? Нет? Ну, еще поймешь.

— А мне сегодня ночью снились белые голуби, — сказал Бекетов, когда поезд остановился. — Голуби...

12

С тех пор как Наркоминдел вновь обосновался на Кузнецком, прошло не больше месяца, а было такое впечатление, будто бы все эти двадцать месяцев он и не выезжал отсюда. Будто бы вереницы машин с наркоминдельским скарбом не шли по Владимирскому тракту на восток, будто бы могучие жерла труб не обрушивали на многотерпеливый Кузнецкий, а вместе с ним на Рождественку и Варсонофьевский облака пепла и полуистлевшей бумаги, будто бы ветер не залетал в разбитые взрывной волной окна, не вздувал портьеры, не мел по паркету снежком... Как и некогда, Павел Вологжанин сидел за столом, покрытым ослепительно белым листом бумаги, и на столе, по раз и навсегда введенному порядку, лежали стопки папок с делами, предназначенными для доклада Бардину, англо-русские словари, малый — для текущей работы и большой, к которому Павел обращался, когда малый словарь отказывался отвечать, а в шкафу, справа от письменного стола, лежал пакет с нехитрым завтраком, нет, не бутерброды с колбасой любительской, краковской, полукопченной, как прежде, а две пластинки черного хлеба да три вареных картофелины. Хотя и усох Вологжанин порядочно, но дело у него шло как всегда, работал за троих, был спор и обязателен, а в письменном переводе обрел опыт немалый. В отличие от Августы Николаевны, которая все диктовала на машинку и без машинки

была как без рук, Вологжанин писал от руки. Он полагал, и его можно было понять, что мысли у него не идут, коли он не видит, как слово возникает на бумаге. Если существо человека сходно с его почерком, то Павел был достаточно ясен и в своих помыслах, и в своих деяниях. Как примечал Бардин, у Вологжанина были и хватка в работе, и работоспособность, и память, что для дипломата важно чрезвычайно, и усидчивость, и умение добраться до корней, и понимание сути того, что есть Наркоминдел. В том непростом хозяйстве, которое являл собой бардинский отдел, Вологжанин ведал не столько вопросами метрополии, сколько империи, при этом добрая память его хранила преотлично все, что относится к канадскому хлебу и австралийской шерсти. Как утверждали в Наркоминделе, у Вологжанина был ум не столько аналитический, сколько информационно-познавательный, но это уже было делом десятым. Главное, человек с таким умом был в отделе. Пожалуй, в двух таких, как Вологжанин, в отделе не было бы надобности, но один был нужен наверняка.

Августа Николаевна мало смыслила в канадском хлебе, да и австралийская шерсть ее не очень увлекала, но при необходимости она могла отредактировать статью об австралийской шерсти так, будто бы всю жизнь только этим и занималась; в этом были и ум, и точность, и культура немалая. Но с войной и у Августы Николаевны появилось нечто такое, чего не было прежде, — самоотверженность, чуть фанатическая. Она могла уйти в работу на дни и дни, забыв о друзьях, об отдыхе, который и прежде был нещедр, о радостях, которых и прежде было немного. Видно, эта черта ее имела косвенное отношение к войне и, скорее, возникла в связи с тем сложным, что проистекало в ней самой... И еще в ней появился пристальный интерес к тому, что являла собой нынешняя британская политическая погода и все те, кто эту погоду делают. Августа Николаевна не переоценивала своей роли в этом, справедливо полагая, что она призвана не столько совершать нечто самостоятельное и творческое, сколько помогать этому процессу.

Какое-то время Вологжанин и Кузнецова были теми добрыми пристяжными, которые помогали кореннику тянуть груз бардинского «департамента». По странной

иронии судьбы, пока на фронте было трудно, «департамент» обходился невеликим числом работников, а вот когда полегчало, в бардинском полку прибыло, и он действительно стал напоминать департамент. Появился синклит больших и малых чинов: заместитель, помощник и плеяда референтов, при этом первым из бардинских сподвижников стал бывалый наркоминделец Хомутов, ушедший с первых дней войны на фронт и теперь вернувшийся на Кузнецкий.

— Да надо ли вам вот так, без передыху? — спросил Егор Иванович Хомутова, когда тот явился на работу чуть ли не из госпиталя — его посеченная минными осколками рука была на перевязи. — Я доложу сегодня наркому — дадим вам двухнедельный отпуск.

— Я ведь вас не прошу об этом, — возразил Хомутов резко. — Когда попрошу, тогда и доложите... А пока расскажите, что и как...

Бардину не понравился тон его нового заместителя, но он смолчал. Хомутов сказал, что до войны работал в американском отделе старшим референтом, но Егор Иванович не мог этого припомнить. Очевидно, двадцать месяцев фронта так изменили человека, что мудрено было узнать его. Но ведь не всех же так изменила война. Если это произошло, то зависело не только от человека, но и от того, что он делал на войне. Что делал на войне Хомутов? В иных обстоятельствах Егор Иванович, пожалуй бы, спросил, в данном случае не стал — боялся напороться на грубую прямоту, свойственную Хомутову.

Но столкновения долго ждать не пришлось: через несколько дней Вологжанин сообщил, что Витольд Николаевич (так звали Хомутова) перекроил его справку о японской колонии в Австралии, а когда он, Вологжанин, запротестовал, сказал, что нынче время военное и ставить этого вопроса на голосование он не будет.

Бардин ощутил смущение немалое.

— А может, действительно не надо ставить на голосование? — спросил Бардин и этим поверг Вологжанина в смятение — тот ожидал от Бардина всего, но только не этого.

— А если бы так сказал не Хомутов, а Вологжанин, например, ваше мнение было таким же, Егор Иванович?

Бардин затревожился — умный Вологжанин понял все.

— Простим ему поначалу... — заметил Бардин, не глядя в глаза Вологжанину.

— Простить можно, конечно, но надо ли прощать? — ответил Вологжанин.

— Надо, — коротко струбил Бардин и лаконичным этим ответом дал понять, что предпочитает больше не говорить на эту тему.

Вологжанин ушел: нельзя сказать, что разговор с Бардиным его устроил. Да и у самого Бардина было смутно на душе.

13

Он был изумлен чрезвычайно, когда позвонили из британского посольства и сказали, что с Бардиным Егором Ивановичем хотел бы говорить посол.

Бардин взял трубку и услышал в ней голос Керра, — очевидно, понимая, как нелегко для русского уха его произношение, британский посол говорил медленно и нарочито раздельно.

— Господин Бардин, я хотел бы повторить то, что сказал при нашей встрече на Софийской набережной: позвольте пригласить вас на ланч, да, разумеется, в посольстве...

Бардин поехал. Утро было студеным, в морозном дыму, в ломтях солнца, что лежало на тусклых по военному времени портиках кремлевских дворцов, на деревьях, на куполах соборов. Машина пересекла Манежную площадь и, оставив позади университет и библиотеку, пошла к Каменному мосту. Казалось, в эту зиму уходящего сорок второго года ничто не изменилось в облике военной Москвы: вдоль фасадов еще лежали мешки с песком, а окна были задраены вошеной бумагой, по городу шли нескончаемой цепью военные грузовики, ярко-белые, много ярче городского снега, а над городом зыбились аэростаты, однако возникло нечто новое, незримое, но ощутимо ясное: было больше душевной твердости, больше веры. Бардину хотелось думать, что к людям это пришло с возмужанием чувств, с тем большим, что, например, значила сегодня для всех судьба Сталинграда. Как ни трудно было там, но оттуда шли хорошие вести, и не было человека на большой русской земле, который бы не ощущал в себе частицу сталинградской радости. У победы было много троп, но казалось, что она идет оттуда.

Керр встретил Егора Ивановича, едва тот появился в посольстве, и, жалуясь на московскую стужу, которая проморозила особняк, увел Бардина в глубину дома, куда, как сулил посол, московская стужа не добралась. Действительно, он привел Егора Ивановича в крохотную светелку, похожую на ларец, в которой, по английскому обычаю, пылал камин, а на лакированном столике, придвинутом к камину, стояла батарея бутылок.

Пренебрегая традиционной экспозицией, посол наполнил бокалы и предложил выпить за здоровую русскую зиму, которая силу, отнятую у врагов, сообщает друзьям. Бардин взял бокал и ощутил, как жарок огонь в камине: стекло было почти горячим и приятно согревало руку. Они выпили и сразу приблизились к тому, что заставило их встретиться здесь вопреки январской стуже.

— Вы уже знаете, что в течение этих двух ночей наша авиация бомбила Берлин... — Керр протянул руки к огню, ему все еще было зябко, пальцы подрагивали. — Говорят, костер, зажженный в Берлине, был виден с побережья... Вот оно, возмездие!

Нет, он от экспозиции не отказался: видно, короткая реплика посла о пылающем Берлине и должна была быть этой экспозицией. Но тогда чему будет посвящена беседа, если берлинский костер служит вступлением к ней?

— Вы знаете, что мистер Черчилль намеревается встретиться с турками? — спросил посол и подошел к Бардину, точно расстояние, отделяющее один стул от другого, было слишком большим для беседы, носящей столь конфиденциальный характер.

— Да, мне это известно, — сказал Бардин и отметил про себя: значит, Турция, а вместе с тем наш юг, наш Кавказ — все издавна лежало в пределах черчиллевских интересов. Но тогда при чем берлинский костер, видимый с побережья?

— В Турции происходят процессы, которые точно отражают нынешний этап войны... Турки хотят дружить с союзниками.

Бардин готов был воздать должное энергии посла: он приближался к заветной цели стремительнее, чем можно было ожидать.



— Это что же значит?.. Вступление в войну на стороне союзников?

Посол наполнил бокалы — к лютому московскому морозу прибавился еще холод, которым дышали слова Бардина, — выпитого было явно недостаточно.

— Нет, сочувствие союзникам может быть выражено и иными средствами...

— Какими, господин посол?

— Вам ли говорить, мистер Бардин, — улыбнулся посол. — Иногда нейтралитет дает такую возможность



для помощи, какую не может дать прямое участие в войне.

— Какую именно... возможность?.. — спросил Бардин. Он полагал, посол столь обнажил цель беседы, что конкретный вопрос не прозвучит нарочито.

— Ну, например, предоставление союзникам плацдарма... — заметил посол и умолк.

— Для какой цели? — спросил Бардин. Он чувствовал, как нарастает напряжение беседы, нет, не столь открытой, как кажется, — в ее поворотах упрятан главный смысл.

— Ну, хотя бы для бомбежки Плоешти... — заметил посол и, следуя своей манере недомолвок, затих — он явно опасался сказать больше, чем хотел. Не здесь ли смысл упоминания о берлинском костре? Значит, для бомбежки Плоешти?

— И что турки просят взамен... плацдарма? — спросил Бардин. — Не допускаю, чтобы бескорыстные турки так далеко пошли бы в своем желании помочь союзникам, чтобы они не попросили ничего взамен.

— Они просят вооружить их...

— И англичане готовы это сделать? — спросил Бардин, подумав, — ему показалось, что посол с тревогой уловил его паузу.

— Да, за счет оружия, которое мы отняли у немцев.

— Вооружить... против кого?

— А разве не понятно: против немцев.

— И что же требуется от России?

— Ну, нечто вроде... жеста дружбы по отношению к Турции.

Вот она, черчиллевская дипломатия. Теперь (да, именно теперь!), когда немцы изгоняются с Северного Кавказа и угроза, нависшая над Баку, устраняется, Черчилль вооружает Турцию и готовит бомбежку Плоешти. Но ведь и прежде был некий план дислокации британского воздушного флота на Кавказе? Тогда он был отвергнут, чтобы не вызвать, ненароком, ответного огня на Баку. А какая гарантия, что теперь будет иначе? Вот он, замысел Черчилля: берлинский костер, но только на русской земле. Что же касается Турции, то не к реставрации ли оттоманского палачества на Балканах ее готовят?

Беседа, предшествующая приглашению к столу, длилась столь долго, что впору было забыть: русский гость приглашен на Софийскую набережную к ланчу.

Но все было, как надлежит быть в хорошем дипломатическом доме. Будто хозяин и гость не прошли только что через рукопашную, где было все, что есть в жестокой сече не на живот, а на смерть, и прежде всего кровь и кровь... За овальным столом, накрытым ярко-белой, в крупных, ниспадающих почти до самого пола складках, скатертью, сидели Бардин и Керр. Казалось, посол был не просто удовлетворен беседой, происшедшей только что, а уболагодворен ею.

— Мы славно поработали, мистер Бардин, славно поработали... — произносил посол, а затем вздыхал тревожно, и вздох его означал нечто обратное тому, что было сказано.

14

Галуа просил Тамбиева принять его и, явившись, увидел на столе Николая Марковича свою книгу; из тех, которые Галуа написал о Франции, эта была наиболее документированной и личной. Кстати, лучшие работы Галуа были отмечены этим качеством: в них документ обязательно соотносился со свидетельствами автора-очевидца.

— Откуда она у вас? — произнес он, покраснев.

— Что значит «откуда»?.. Из библиотеки, разумеется.

Галуа засмеялся и, вытянув перед собой руки, потряс ими так, будто бы мышцы в запястье были надрезаны и кисти неуправляемы.

— Только, ради бога, не переоценивайте всего этого!..

— Да уж как-нибудь...

— Именно: «как-нибудь»...

Он сел, задумался, краска медленно сошла с лица; казалось, побледнели даже губы.

— Николай Маркович?

— Да?

— Вы знаете, что передало сегодня немецкое радио?

— Нет.

— Манштейн таранил сталинградское кольцо с юга... и дал возможность Паулюсу уйти.

— И вы верите?

— Чтобы ответить на ваш вопрос, Николай Маркович, я должен быть на месте событий... К тому же...

— Да, я вас слушаю.

— Неужели вы не понимаете, что вам срочно надо опровергнуть сообщение немцев?

— Ну, мы и опровергнем.

— Но ведь вам не поверят... — он смутился: увлекшись, он сказал нечто такое, чего не хотел сказать. — Вернее, вам поверят меньше, чем мне.

— Что же из этого следует?

Галуа точно зашнулся — он явно хотел, чтобы фразу, которую он приготовил и ради которой пришел сюда, произнес сейчас не он, а Тамбиев. Ему стоило немалого труда подвести Николая Марковича к этой фразе.

— Я спрашиваю: что следует, Алексей Алексеевич?

Видно, Галуа тронуло это доверительное «Алексей Алексеевич». Он любил, когда его так звали. То ли ему было приятно, что при этом упоминалось имя его отца, которого он боготворил, то ли иное: за годы немилостивой чужбины его никто или почти никто не называл так.

— Надо ли говорить, что в ваших интересах, понимаете, в ваших, показать мне Котельниково и дать возможность опровергнуть эти... рассказы немцев. Одним словом, скажите Грошеву, что я хочу ехать в Котельниково...

Он встал и еще раз взглянул на свою книгу:

— Нет, кроме шуток: не слишком доверяйтесь этому автору.

Он ушел.

Галуа был по-своему прав. Немцы хотели минировать грандиозную новость, которая стала в эти дни известна миру — если не удастся освободить Паулюса, то хотя бы распустить слух, что он освобожден. Чтобы парировать этот ход немцев, было несколько средств. То, что предлагал Галуа, могло быть не худшим выходом из положения.

Когда часом позже Тамбиев сообщил о беседе с Галуа Грошеву, это привело шефа наркоминдельского отдела печати в уныние немалое. Было даже не очень понятно, по какой причине жизнестойкий Грошев упал духом. Его отчаяние было так велико, что он забыл про кружку с чаем и, отпив, обнаружил, что чай остыл.

— Но, быть может, не все еще потеряно? — спросил Тамбиев с некой дозой юмора.

— Не утешайте меня, Николай Маркович, — возразил Грошев вполне искренне. — Наши с вами дела могли быть и лучше...

— Если это и мои дела, Андрей Андреевич, я хочу знать, почему они плохи? — заметил Тамбиев.

Грошев, пренебрегая тем, что чай остыл, принялся пить его — никогда прежде он не пил холодного чая.

— Принято решение о поездке в Сталинград Гофмана... — наконец признался он. — Представляете, что

будет с Галуа, когда он узнает об этом? Ему покажется, что решение принято как бы в пику ему...

Первая мысль: но ведь Гофман об этом еще не знает, да и Галуа не знает!.. Какой же резон отчаиваться? Здравый смысл подсказывает: надо перерешить и послать их вдвоем. Да, тут же доложить о беседе с Галуа и направить его вместе с Гофманом, нет, не только в Сталинград, но и в Котельниково. Чужак человек этот Грошев, и как ему это в голову не пришло?..

— Но дело поправимо, — едва ли не воскликнул Тамбиев. — Надо перерешить и послать их вдвоем, Гофмана и Галуа... Ну, Гофман будет не в восторге, но смирится как-нибудь, а Галуа определенно будет доволен... Принять новое решение — вот резон...

Но открытие Тамбиева не вызвало радости у Грошева. Более того, Грошев совсем приуныл.

— Вы знаете, кто это решил? — спросил он устало и, подняв указательный палец вертикально, произнес: — Там! Понимаете?..

— Ну и что? — спросил Тамбиев с недоумением. — Там решили, там и перерешат.

Грошев посмотрел на Николая Марковича, как на безнадежного: и чего ради Тамбиев затеял эту игру? Честное слово, не возьмешь в толк: наивен он или хочет казаться наивным?

— Докладывать второй раз?

— А почему и не доложить второй раз, если дело того требует?

— Вы мне представлялись более зрелым, Николай Маркович... Да поймите, что доложить второй раз — значит обнаружить, что первый раз не все было продумано...

— И вы на это не решаетесь?

— Я-то, может быть, и решусь, да вот там такого человека не найти... Понимаете: там...

Истинно, век живи и век учишь: оказывается, нет человека, который бы решился доложить «там»... В природе нет такого человека. Был бы, — может быть, и перерешили бы.

За полночь Гофман был приглашен в отдел печати, и вечнободруствующий Грошев сообщил ему, что, если это все еще соответствует его, Гофмана, желанию, он

может ехать в Сталинград. Самолет вылетает на рассвете. Отдел печати будет представлять Кожавин.

Гофман счастливо хмыкнул и опрометью бросился из кабинета — только по радостному его фырканью можно было понять, что он дает согласие. Часом спустя он уже был на Кузнецком мосту в своем реглане, подбитом мехом, в шапке-ушанке, с вещевым мешком за плечами.

Гофман отбыл, а в отделе печати наступили часы ожидания: казалось, вот-вот появится гневный Галуа, но он не шел.

— Готовьтесь к поездке в Котельниково, — сказал Тамбиеву Грошев. — Кажется, наши хотят, чтобы он поехал, да и военные не возражают...

Значит, Котельниково? Тамбиев развернул карту: Котельниково?.. Задача не из простых.

Он позвонил Глаголеву — в голосе, который он услышал, что-то было празднично-веселое.

— Куда вы запропастились, милый человек? — спросил Глаголев. — Тут за это время такие события произошли, что дыхания лишишься... Приезжайте — я дома...

Глаголев заинтриговал его, но Николай Маркович решил не строить догадок. Знал: все равно не угадаешь. Так оно и вышло. Тамбиев добрался к Глаголевым минут за двадцать и, нажав дверной звонок, старательно вызвонил, как было принято еще при Софе: точка, тире, точка... Дверь открылась, и хозяин дома возник перед Тамбиевым в новенькой форме цвета крепкого турецкого табака и, что главное, при генеральских погонах. Правда, гимнастерка уже была обсыпана папиросным пеплом, но это не столь важно — важнее, что погоны генерал-майора были в порядке.

— Надо предупредить, — еле вымолвил Тамбиев, оглядывая вконец застеснявшегося Глаголева. — Этак можно и рухнуть замертво...

— Да уж будет вам, будет... — произнес Глаголев, закрывая за Тамбиевым дверь. — Ежели устояли спервоначалу, ничего с вами теперь не случится... У меня кофе подоспел... Уж наверно не откажетесь от чашечки?

— Не откажусь.

— Ах, какой кофе! Чувствуете? Сюда донесли! Это мне полковник-чех подарил! По-моему, вы его

у меня видели? Ах, да это были не вы! Одним словом, божественный напиток!

Они поднялись наверх, и, усадив Тамбиева, Глаголев начал разливать кофе.

— Как же это все произошло? — спросил Тамбиев, когда кофе был разлит и Глаголев занял место напротив.

— Вы что имеете в виду?.. Кофе или.. мое генеральство?

— Ну, если хотите, генеральство...

Глаголев рассмеялся, показав темные с щербинкой зубы, и, застеснявшись, по-стариковски закрыл рот рукой:

— Последние три дня только и делаю, что даю объяснения... А потом спохватился: ведь произношу одни и те же слова!.. Никогда не любил повторяться, а тут повторяюсь! Вот сейчас и вам скажу то же самое, что говорил всем остальным. Хотите?

— Прошу вас.

— Извольте. Напечатали этот мой трехколонник: «Русские Канны», а на следующий день позвонил ваш Молотов и этак напрямик: «Глаголев?» — «Да, Глаголев». — «Есть указ Президиума Верховного Совета о присвоении вам звания генерал-майора. Поздравляю». Ну, меня будто на верхнюю полку парной кинуло! А потом, по русскому обычаю, с верхней полки в сугроб снега. Говорю: «Благодарю, Вячеслав Михайлович», а у самого зуб на зуб не попадает. Вот и все. А потом прямо домой прислали из редакции — я ведь приписан к ним — все, что положено, вплоть до хромовых сапог и поясного ремня, — обрядили, точно решили выносить ногами вперед... И смех и грех...

— А почему «грех»?

— Ну, что можно сказать?.. Генералом-то я уже был... — Он помолчал, невесело посмотрел вокруг. — Был, да сплыл... и шашки над головой не ломали, и эпюлетов не срывали, а вот, как видите... Да уж лучше поздно, чем никогда!

— Что-то вы про все это без настроения, — сказал Тамбиев. — Дело-то доброе, не так ли?

— Коли правда кривду покарала, верно, доброе, да годов сколько на это ушло — жаль, и, признаться, не в этом только счастье...

Он сокрушенно покачал головой.

— А в чем?

— В чем счастье для меня?

— Да, для вас?

Он все еще молча качал головой.

— Могли бы вы присутствовать при одном разговоре... деликатном? Предупреждаю: деликатном?

— Я вас не понимаю.

— Я не прошу говорить и, разумеется, принимать мою сторону. Я прошу вас, как бы это сказать, быть очевидцем... Собственно, нас будет трое: вы, я и она...

— Кто она? Софа?

— Да, разумеется. Она сказала, что явится к вам сама, и просила не говорить о своем приезде... Нет, нет, это не то, о чем вы думаете! Она просто опасалась, чтобы мы не оказались втроем и вы бы не встали на мою сторону. Кстати, она должна быть вот-вот.

— Но она может отвергнуть мое участие...

— А я и не прошу, чтобы вы участвовали.

— Но что я должен делать?

— Как что? Молчать.

— Если в этом должно участвовать только мое молчание, представьте, что я с вами и мое молчание с вами...

— Я бы хотел, чтобы вы были — могу я просить вас?

Тамбиеву показалась необычной настойчивость Глаголева. Совершенно очевидно, что предстоящий разговор был важен Глаголеву, но причина этого была неясна, да Глаголев и не намеревался открывать ее.

— Вы хотите знать, о чем пойдет разговор? — с неожиданной решительностью спросил Глаголев. Если бы Тамбиев не возразил, Глаголев мог бы и не задать этого вопроса.

— Вы не разрешили мне говорить, но слушать, наверно, мне позволено? — засмеялся Тамбиев. Ему хотелось эту деликатную фразу обратить в шутку.— Поэтому я не спешу узнать...

— Я вам скажу, пожалуй...— заметил Глаголев, не скрыв, что произносит эту фразу не без сомнений.

— Как вам угодно, как угодно...— произнес Тамбиев и посетовал на себя: надо было как-то уйти от этого разговора.

— Хотите еще чашечку кофе? — спросил Глаголев и, не дождавшись ответа, протянул руку к коробку со спичками, лежавшему на соседнем столике. Будто бы

Глаголев держал сейчас не спички, а сосновый ящик с чурками — так гремел спичечный коробок в руках Глаголева, так он плясал. — Ну вот, хорошо... сейчас только достану другие чашечки... — Он дотянулся до посудного шкафа, и тот тоже загремел от прикосновения дрожащих рук Глаголева.

— Ну, что вам сказать? — начал он, вздохнув, — видно, эти несколько нехитрых слов в нем вызрели, пока он готовил кофе. — Вы, наверно, помните, что в начале ноября брат вызвался в тыл к немцам, на Псковщину, а двумя неделями позже устремилась туда она... Я ей сказал: «Ты отца не бросай...» А она: «Я и не бросаю!» Вы поняли?.. Нет, нет, я вас спрашиваю, поняли?

Тамбиев не признался, что в смысл последних слов ему еще надо было проникнуть, но он не хотел увеличивать страданий Глаголева и смолчал. Он сделал вид, что понял, но ему надо было понять эту глаголевскую фразу об отце, которого бросила Софа, устремившись на Псковщину, хотя, по ее словам, она его не бросала.

— Но, может быть, мы подождем ее все-таки? Она должна быть вот-вот...

— Подождем.

Этот разговор так взволновал и даже встревожил Тамбиева, что он, по правде говоря, забыл, что ехал к Маркелу Романовичу с иной целью. Тамбиев понимал, что сейчас Глаголеву было не до Котельникова и тем более не до поездки к сталинградским южным подступам, но Николай Маркович приехал к Глаголевым именно за этим и намеревался говорить об этом. Поскольку времени на разгон не было, у Тамбиева явилось искушение начать разговор без обиняков, но опыт подсказывал Николаю Марковичу: для успеха беседы немалое значение имеет то, как она начата.

— Вот вы сказали, Маркел Романович, не сегодня-завтра мы перевалим через хребет войны. Не так ли?

— Да, именно так я сказал, — ответил Глаголев и насторожился: он не знал, куда клонил Тамбиев.

— А как же Котельниково?

— Что... Котельниково?

Ну конечно, он понял вопрос Тамбиева, но повторил его, чтобы выгадать минуту-другую и подготовиться к ответу.

— Я имею в виду удар Манштейна по сталинградскому кольцу с юга, — пояснил Николай Маркович.

Глаголев обратил взгляд на стену, увешанную картами: синий карандаш, лежащий подле карты, которым он вычертил наступление немецких танковых колонн, Глаголев, видно, держал в руках еще сегодня утром.

— Вы имеете в виду... это? — он протянул руку к карте.

— Да, Маркел Романович...

Глаголев определенно был рад вопросу Тамбиева — можно было подумать, что, прежде чем произойдет деликатный разговор с Софьей, хозяин дома рад возможности оседлать любимого конька и обрести уверенность.

— Прелюбопытно! — воскликнул Глаголев и быстрыми шагами пошел вдоль карты. — Нет, это не так просто, как вам кажется!.. Ну, хотя бы такой вопрос, с виду нехитрый: в чем смысл этой немецкой операции? Казалось бы, прорыв кольца!

— Минутку, вы сказали: «Казалось бы», — заметил Тамбиев, прервав Глаголева. — Почему?

Глаголев возликовал, и новенький хром его сапог, нет, не головки, а голенища, приятно скрипнул: именно на этот вопрос он провоцировал Тамбиева!

— Да потому, что это главная цель, но не единственная! У этой операции есть вторая цель важная!..

Тамбиев, внимательно следивший за мыслью Глаголева, испытал неловкость — как ни уважал он собеседника, у него было искушение возразить.

— Простите, но вы так говорите, будто бы вторая цель важнее первой!..

— Ну, не важнее, но очень важна!.. И это я вам сейчас докажу: вы только обратите внимание, где немцы собрали силы для контрудара?.. Котельниково! Да, да, Котельниково — это не просто южные подступы к Сталинграду, но еще и своеобразные восточные опоры больших ворот на Северный Кавказ!.. Вы поняли меня теперь?.. Вот, вот! — произнес Глаголев, точно на самом лице собеседника прочел ответ, которого ждал. — Не только прорвать кольцо, но и охранить северокавказские ворота и дать возможность войскам, что стоят сейчас на Тереке и Кубани, выйти!.. Иначе — новое окружение, не меньшее, чем под Сталинградом! Разумеется, первая цель — Сталинград! — является главной, но не исключено, что и вторая цель не просто сопутствует первой, а ставится немцами сознательно!..

Тамбиеву казалось: как ни интересна мысль Глаголева, система его доводов не безупречна.

— Значит, операция при всех вариантах застрахована от неудачи?

— Нет, я этого не сказал, — тут же парировал Глаголев. — Я только сказал, что один козырь здесь бьет несколько карт... — Он взял синий карандаш и крепкой рукой провел пунктирную линию между дельтой Волги и восточным берегом Азовского моря. — Вот это и есть северокавказские ворота! — произнес он почти торжественно.

16

— Мне показалось, кто-то внизу... — прервал его осторожно Тамбиев. — Не Софа ли?

— Быть может, и она — у нее свой ключ... — заметил Глаголев. — На чем мы остановились? — спросил он, стараясь вернуться к разговору, который его увлек, и, сделав невольную паузу, услышал шаги на железной лестнице. — Да, верно: это она...

Тамбиев почувствовал: с ее шагами, которые становились все слышнее, прибывали удары сердца. Оно будто вздулось там, в груди. Да и невозможно было скрыть это дыхание. Тамбиев встал и пошел к карте, что висела на свободной стене. Это была карта Сталинградской операции — видно, Глаголев возвращался к ней каждый день, нет, не потому, что к этому побуждали его новые сообщения, которые шли с фронта. Как обычно, картина отразила раздумья Глаголева, вызванные разговором с коллегами, старыми и новыми, по генштабу (как помнит Тамбиев, их паломничество к Глаголеву не прекращалось и когда хозяин дома у Никитских носил темно-синий, обсыпанный пеплом костюм, и сейчас, когда он надел генеральские погоны), а может быть, и работой над рукописью, что лежит сейчас на письменном столе Маркела Романовича.

Дверь открылась так тихо, что Тамбиев не уловил момента, когда Софа переступила порог комнаты, но услышал ее вздох перед первыми словами:

— У нас гости, не так ли? — Ей со свету было не разглядеть. — Николай, это вы?

Тамбиев обернулся и увидел ее посреди комнаты. Армейский ремень, густо-желтый и широкий, немилос-

сердно стянул ее талию, и от этого она показалась ему такой тоненькой, какой никогда он не видел ее прежде. Что-то убывало в ней там, на Псковщине, какая-то частица ее красоты, ее молодости, а может, не только молодости, осталась там. Никогда прежде Тамбиев не видел ее такой некрасивой (только красивый человек может так внезапно подурнеть) и никогда прежде не чувствовал, как бесконечно дорога она ему.

— Ну, что вы стоите, как перед причастием, садитесь,— сказал Глаголев и вышел. Очевидно, у него не было иного средства победить волнение.

Глаголев ушел так внезапно, что у Тамбиева было ощущение, что его бросили на произвол судьбы. Хотелось, как там, на берегу подмосковных прудов-зеркал, вставших в ночи вертикально, трахнуть по их стеклу, чтобы разом все померкло.

— По-моему, Маркелу Романовичу очень трудно,— сказал Тамбиев, когда они сели: он в одном углу комнаты, она — в другом.— Наверно, то, что я скажу, для вас не ново, но я скажу: за отцом не грех пойти на край света.

Она наклонила голову и спрятала свои ярко-синие глаза.

— А чем был для меня Псков, как не этим?

Она сказала что-то такое, что все переиначивало. Тамбиев не мог не вспомнить только что сказанного Маркелом Романовичем: «Ты отца не бросаю». — «А я и не бросаю». И это глаголевское, смятенное: «Поняли? Вы поняли? Нет, нет, я вас спрашиваю, вы поняли?» Значит, смысл в одном: кто ей отец, как это понимает она... Софа сказала: «А я и не бросаю» — и уехала от отца во Псков, к Александру Романовичу. Здесь ее ответ?

Вошел Глаголев и, оглядев их, понял: было сказано нечто такое, что касается и его.

— Я рад, что мы сейчас здесь втроем,— сказал Глаголев. «Он явно переоценивает мою роль в жизни Софы»,— подумал Николай.— Мне даже кажется, что я ждал этой минуты. Я сказал Софочке сегодня утром: если ты не хочешь меня убить, ты должна вернуться... Могу я ей так сказать, Николай?

— Можете,— сказал Тамбиев.

— Я тебя спрашиваю: могу я так сказать? — спросил Глаголев Софу, но она не ответила.

— Я, пожалуй, пойду,— сказал Николай.

— Я провожу вас до угла,— откликнулась Софа.— Можно?

— Да, конечно, но не дальше — вон как завьюжило,— указал Тамбиев на окно, запорошенное снегом. Он не хотел, чтобы этот диалог, этот жестокий диалог сейчас повторился.

Она застучала сапожками по железной лестнице, чем ближе к концу, тем размереннее — ею овладело раздумье, как могло показаться, тревожное, это отобразил ее шаг.

— Зайдем ко мне, на секунду? — вымолвила она.

Он мигом сообразил: у нее не было необходимости заходить к себе. Шинель ее была тут, на круглой вешалке, что стояла у лестницы.

— Зайдем.

Он быстро пошел вслед за нею, и, когда она открыла дверь, послышался запах свежего хлеба. Запах был добрым: в нем, в этом запахе, было и тепло, и домовитость, и, так показалось Николаю в тот миг, любовь.

— Софа! — не вымолвил, а крикнул он.— Соф...

Она обернулась и, вскинув длинные руки (ой господи, какие же они были у нее в ту минуту длинные — от земли до неба!), бросилась к нему и стала целовать.

— Я там думала о тебе, я думала... — ее горячий шепот коснулся, казалось, его лица, проник в грудь.— Думала, поверь... — Он слышал запах ее губ — было в нем что-то от травы, пригретой солнцем, — теплое и свежее.— Стыдно сказать, я приехала, чтобы взглянуть на тебя, — она засмеялась, точно моля его простить ее, потом заплакала, припав лицом к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы — они были обильны, эти слезы, и бежали направо.

Как же она была сейчас хороша! Эта лучистость, которой были полны глаза и которая, точно пролившись, лежала на ее лице, пригасив его краски, казалось, была только у нее... И певучесть, что была в ее голосе, чуть-чуть грудном и чистом, казалось, тоже напитана этой лучистостью. И смех ее, которого она стеснялась, закрывая лицо руками, тоже был напитан этой лучистостью... Все казалось: в ней должна быть эта верховная и чуть-чуть суеверная могущественность, которая собрала в одном человеке достоинства, каждое из ко-

торых может сделать его сильным... Наверно, Тамбиев внушил себе это, даже наверняка, но ему очень не хотелось отказываться от этой мысли.

— Ты все еще думаешь об этом? — она подняла глаза к потолку — имелся в виду разговор с Глаголевым. — Пойми, умрет Александр Романович — и я умру, как, впрочем, после моей смерти и он жить не будет... Ты понял меня, понял? — Она необычно встревожилась, очень хотелось, чтобы Тамбиев ее понял. — А вот случись так, что меня не станет, Маркел Романович будет жить...

— Если даже так и произойдет, вины Маркела тут нет, — горячо возразил Тамбиев — уж он, Тамбиев, не поднимет руки на Маркела. — Я видел, как он тебя ждал, — это любовь.

— Нет, это не любовь, это одиночество... Прости меня, эгоизм — болезнь апшучая, от нее так просто не отделаешься, хотя сознание, что ты эгоист, это уже хорошо.

— Маркел осознал?

— Наверно, но он тут ни при чем — пришел час, он и осознал.

— Час прозрения?

— Час одиночества.

— В твоих мыслях — порядок завидный, но это не похоже на Маркела. Пойми, он добр.

— А его доброта не враждует с его эгоизмом.

— Доброта ненастоящая?

— Как говорит моя тетка-словачка: «Не важно, считают ли тебя добрым люди, важно, чтобы ты сам считал себя таким».

— Тебе не жаль его?

— Жаль, но я ничего не могу с собой поделать.

— Но у тебя и желания нет... что-то сделать?

Она задумалась.

— Главное для меня отыскать правду: когда я найду ее, я ее раба.

— Правда у Александра?

— Можно сказать и так.

— Она может быть у Александра, если Маркел виноват, но разве есть тут его вина? — спросил Тамбиев, он все еще надеялся защитить Маркела. — Когда ты потеряла мать, Маркел все еще был на колесах, казенных колесах... Эти его военно-дипломатические миссии вна-

чале к славянам западным, потом южным... Куда ему было с тобой?

— Мать, что оставляет свое дитя, уже не мать, а почему должен быть иной закон для отца, тем более что уже нет и матери? — Она усмехнулась. — Военно-дипломатические миссии — это очень много, но в данном случае недостаточно...

— Но согласись: если у Александра не только правота, но еще и доброта, пусть явит он эту доброту — сострадание к брату благо... Не так ли? — настаивал Николай, настаивал теперь по инерции, ее доводы были крепче — ей не надо было импровизировать, ее доводы были определены жизнью.

— А при чем здесь Александр Романович? — спросила она. — Все во мне, все во мне!

Как заметил Тамбиев еще прежде, была в ней участливость, даже душевная мягкость, а вместе с этим непоколебимость железная — все, что она решила однажды, она не перерешала — это было даже чуть-чуть страшно. Наверное, для дела это было хорошо, для жизни, как думалось Николаю, не очень.

— Но когда возникла земля прадедов, Маркел благословил? — спросил Тамбиев, понимая, что не так-то просто ответить на этот вопрос — в самом деле, Маркел благословил ее полет в Словакию, а вот Александр... нет, нет, Александру не просто было дать свое согласие.

— Маркел сказал «да», — ответила она тихо — ну конечно же, смятение объяло и ее.

— А Александр?

Она молчала, только встрепенулись ее ресницы и загасили густую синь глаз, — наверное, и ей не просто сейчас собраться с мыслями.

— Александр не мог сказать «да»...

— погоди, да не тут ли ответ на все вопросы? — спросил Тамбиев осторожно; казалось, он обрел козырь, какого не имел до сих пор, но, странное дело, радости не испытал, напротив, испытал тревогу. — Значит, тот, кто благословил на святое... судим?

Она села подле него на тахту, руки ее дрожали.

— Нет, нет, все не так просто и, прости меня, не так примитивно... Маркел сказал: «Иди», а вот Александру потребовалось больше времени на решение.

«Да готова ли ты к этому?» — спросил он меня... Понимаешь: в его вопросе был страх за меня...

— Он имел право на этот страх? — спросил Тамбиев.

— Имел. Он — отец.

Они вышли из дома. Снег, выпавший в полдень, не успел обрасти настом, и ветер гнал по двору белые вихри.

— Подождем здесь минуту, — она посмотрела на темную стену дома рядом — дом охранял их от ветра.

Они вошли в это кирпичное ущелье и, подняв глаза, увидели: красные стены, выросшие у них за спинами, точно подталкивали их друг к другу, точно говорили: «Глупые, вам все равно не разминуться в этой жизни, у вас одна дорога; а по сторонам стены, вот такие...» И то ли от беспомощности, то ли от злости, которая поднялась в нем и завладела им, то ли от обиды, а может, от отчаяния, ему захотелось взорвать ее снисходительно-безразличное состояние.

— Послушай, Софа, — произнес он. — Нет, нет, дай сказать мне... — он упер руки в противоположную стену, и Софа оказалась точно в ограде. — Вот отец твой, — поднял он глаза — их дом был рядом, — и вот я... — он перевел дух, нет, слов решительно не было. — Что тебе еще надо?

Она засмеялась — в смехе была робость, это он почувствовал безошибочно.

— Тебе нужен человек, который бы нес тепло в эту стужу, — ответила она и этим «тебе нужен» словно указала ему его место — все вернулось к старому берегу. — А я скиталица, и со мной лишь ветер, вот такой...

Она ссутулилась, ей стало зябко. Сейчас и он заметил: в кирпичном ущелье, как в трубе, гудел ветер.

— Только не смейся надо мной: я должна сделать что-то настоящее, — она не без опаски посмотрела на стену, что возвышалась над нею, будто стена грозила обвалиться. — Должна сделать, и ты... меня уже не отвратишь.

— Но могу я тебя спросить: что это — твоя Словакия?

— Ничего не спрашивай.

— Это свершится... теперь?

— Не спрашивай.

— Но ты... по крайней мере явишься, хотя бы однажды?

Она молчала.

— Обещай, что явишься.

Она все еще молчала.

— Я прошу тебя: обещай...

Она подняла вновь глаза на стену и быстро отошла от нее — будто стоять здесь было уже небезопасно.

— Прошу... обещай...

— Хорошо.

...Он пошел на Кузнецкий бульварами: от Никитских ворот к Петровским, от Петровских к Сретенским. Ветер стих, погода переменилась. Сейчас день был солнечным, обильно снежным и нехолодным, одним из тех зимних московских дней, когда наступающая весна угадывается не столько по теплу, сколько по резкости света и особой окраске теней — они лилово-голубые... Ему казалось, что-то было в природе такое, что его сближало с нею, она точно знала, что произошло с ним: и сочувствовала, и сокрушалась, и тревожно настораживала, и воодушевляла... Но вот что интересно: вопреки всем невгодам встречи, жило в нем чувство благодарности к человеку, который подарил ему эту минуту... Его завтрашний день был смутен, но у него был день сегодняшней, и одно это делало его счастливым.

Он шагал на Кузнецкий... Есть в Софе цельность, определившая всю ее жизнь, и не в твоей воле изменить это даже в малейшей степени. Все будет так, как предсказано ее первосутью, а это значит: она решила взойти на свою трудную вершину, и она на нее взойдет. Если попытаешься воспротивиться, только усилишь ее муки. Поэтому смирись и, пожалуй, жди. Преодолеет она этот хребет, не будет вернее друга... Вот Глаголев сказал: «Смерть для них большее благо, чем то великое, ради которого они идут на смерть». В чем-то Глаголеву изменило чувство меры, но всего лишь в чем-то — в формуле Маркела Романовича есть и правда. Поэтому все, что можно сделать, должна пронизать одна мысль: «Заклинаю — остерегись!..» Если ты не успел это сказать, скажи...

Тамбиев выехал в Котельниково на другой день после того, как советское радио передало первое сообщение о том, что попытки Манштейна прорвать сталинградское кольцо успеха не имели. Поехал Галуа, а вместе с ним новое лицо в корреспондентском корпусе: Боб Хоуп.

Поезд ушел из Москвы в предвечерние сумерки, и Николай, предвкушая долгую дорогу, завалился спать. Он не знал, как долго проспал и как далеко проехал, когда в зыбком сне, быть может полуночном, а возможно и рассветном, услышал голос, показавшийся ему необыкновенно знакомым.

— Да мне Тамбиева — он должен быть здесь! — произнес человек и топнул, очевидно обивая с ботинок снег.

Как ни трудно было проснуться, Тамбиев привстал. Казалось, сон набросил на тебя тридцать три одежки, и не просто разметать их, из-под них выбраться. Кто бы это мог быть, да еще бог знает где?

— Николай Маркович, здесь вы?... Живо одевайтесь — у нас нет и получаса!..

Кожавин!.. Ну, разумеется, возвращается с Гофманом из Сталинграда и вдруг узнал, что встречным поездом едут корреспонденты в Котельниково.

— Который час? — спросил Тамбиев, пытаясь, как некогда в красноармейских лагерях на Урупе, одеться будто по тревоге.

— Почти шесть — скоро рассвет! Да вы поживее... Поговорим на воздухе, Николай Маркович, наш поезд рядом! — произнес Кожавин и направился к выходу.

Они вышли. Мороз был крепким — недаром ночь напролет проводники шуровали кочергой в топке. Но до рассвета было далеко — свет пока что был не столько от неба, сколько от снега.

— Удержим Сталинград, Игорь Владимирович? — спросил Тамбиев.

— Ватутин сказал Гофману, что удержим.

— Ватутин?

— Да, Гофман беседовал с ним позавчера на рассвете в Серафимовиче. Ватутин не спал несколько ночей и клевал носом, но, просыпаясь, улыбался; одним словом, настроение у него хорошее. Он даже показал

Гофману карту, которая свидетельствовала: там им крышка!..

— А как Гофман? На что обратил внимание?

— Он все старался ухватить, как много американской техники под Сталинградом, даже пытался вывести процент...

— И вывел?

— Да, конечно. Говорит: немного. Меньше, чем думал.

— А в остальном?

— Странно, но, как мне показалось, у Гофмана своя система наблюдать фронт. Понимает, что приехал на фронт на неделю, а поэтому не в его силах охватить явление, а вот то, что можно назвать признаком явления,— в его силах...

— Солнце — за горизонтом, но облака светятся? — спросил Тамбиев.

— Да, пожалуй. Ну вот признаки явления, которые он засек: немцы обмундированы так же плохо, как под Москвой, да, да, как будто и Москвы не было, ее горького для немцев урока... Или еще признак: у русских появилась уверенность, какой прежде они не знали, кстати, и под Москвой...

— У Сталинграда должно быть продолжение?

— Не знаю, понял ли это Гофман, но мне это очевидно; наши готовы набросить на Сталинград второе кольцо. Вы поняли: второе кольцо! Вы только представьте себе: все войска, которые пытаются пробить сталинградский обруч, должны искать спасения, и вместо того, чтобы рваться на восток, устремятся на запад.

— Но у нас есть силы для второго кольца, Игорь Владимирович?

— По-моему, есть...

— Их и для Котельникова хватит?

— Котельниково — это особо... Эх, жаль, что вас не будет в Сталинграде,— бросил не без огорчения Игорь Владимирович.

— Что так? — спросил Тамбиев.

— На этой самой переправе, где кончается восток и начинается запад, ну там, где вода клокочет от падающих снарядов, как крутой кипяток на огне, и эту воду даже мороз не берет, кого бы вы думали я встретил на этой переправе? Бардинского отпрыска, вот кого.

Нет, узнал его не я, он меня. Если быть точным, то узнал потому, что рядом был Гофман. Одним словом, пока налаживали переправу, как сказал молодой Бардин — третий раз за сутки, нас увели от греха подальше, за бронетранспортер, что, как я заметил, вызвало у того же Бардина улыбку. «Как ни скажи — пулю не обскачешь, — засмеялся он уже в открытую. — Все эти меры предосторожности на войне никого не спасали. «На войне человек становится суеверным?» — спросил я. «При этом так быстро, как это только может произойти на войне», — согласился он смеясь. Я спросил, что надо передать отцу. Он сказал, что на прошлой неделе, когда немцы в очередной раз обратили мост в щепы и он попал в холодную купель, всему этому оказался свидетелем командарм Крапивин. «Э-э-э, так это же твоя стихия! — молвил командарм, когда Бардин вынырнул из-под рухнувшего моста и выполз на льдину. — Быть тебе адмиралом!» «Это как же ад-д-д-ми-рралом?» — спросил Бардин, едва сдерживая дрожь. «Ну вот сменишь одежду, тогда объясню», — пообещал командарм, но в тот раз не договорил. Не успел. По мосту, который был сшит на скорую руку, командарм умчался в Сталинград. Умчался, но обещания своего не забыл — прислал нарочного и уволок Бардина на тот берег реки в блиндаж под тремя накатами. Стуча кулаком по карте, разостланной на столе и время от времени смахивая с карты солому и щебень, что обильно сыпались с потолка при каждом вздохе пушек, наших и немецких, командарм сказал Бардину; «Нет, я не обмолвился — быть тебе адмиралом. Собери с дюжину таких парней, как сам, а мы подумаем о деле. Вон какая длинная дорога впереди: о деле». Командарм дал понять, что сказал все, и Бардин, дождавшись ночи, выполз наружу. Только ночью и можно было добраться до того берега, да еще на четвереньках. Полз и думал: о какой длинной дороге может быть сегодня речь, фантазия, и только! Командарм сказал «адмирал» и не засмеялся, а надо было засмеяться, потому что без смеха такое не произнесешь! Не казалось бы это фантазией, может быть, и встал бы с четверенек на ноги и обернулся назад, туда, где, по словам командарма, и лежит этот длинный путь, а то ведь не было желания встать и обернуться. Вот так и дотянул до того берега — фантазия...

Игорь Владимирович выдержал паузу, припоминая, все ли он сказал Тамбиеву о молодом Бардине или нет, потом молча протянул руку и ушел. А Тамбиев думал сейчас даже не о новых «адмиральских» обязанностях Сережки, а о той первой фразе, с которой начал свой рассказ Игорь Владимирович о молодом Бардине. Да, да, об этих Сережкиных словах: «Как ни скажи — пулю не обскачешь». Наверное, это его и прежде не остерегло, не заставило быть осторожным... Больше того, внушило уверенность: там, где не суждено тебе сложить голову, тебя и артиллерийский снаряд не возьмет, а вот там, где суждено... Попробуй объясни ему, что с этакой верой прямая дорога на тот свет. Но вот что интересно: прежде нам казалось, что человека защищает от суеверия сама его молодость. Да, сама молодость является гарантией того, что человек не подвластен суеверию. Ну, а как объяснить это в случае с Сережкой?

...Поезд Игоря Владимировича ушел на северо-запад, Тамбиева — на юг. Он приближался к Сталинграду. Где-то в этой ночи, отмеченной вспышками артиллерийских снарядов, белым огнем ракет, отблесками неяркого снега или движением холма, заставшего край неба, где-то в ночи лежала Волга, и в ее провале, охраняемый берегами, которые тут выше, чем обычно, — мост. Что он делает сейчас, «адмирал» Бардин, временно прикомандированный к деревянному понтону, перекинутому через Волгу? Гонит машины через понтон, тревожно поглядывая на небо, или дремлет, уперев худое плечо в холодную броню танка?

По мере того как поезд удалялся на юг, степь все больше обретала вид полустепи-полупустыни, какой способно было воссоздать воображение при одном слове «Прикаспий». По просторной равнине, кое-где укрытой островами неглубокого снега, гулял ветер, сгибая метелки высокой и жесткой травы. Казалось, Волга была не только рубежом обороны, но и рубежом жизни — дальше простиралась необжитая земля.

Как ни печальна была степь, когда поезд останавливался, пассажиры выбирались на снег и ветер. Если бы не полуденное солнце, то было бы видно зарево,

неяркое, ощутимо дымное, невысоко стелющееся по горизонту, точно сдуваемое ветром. Но сейчас солнце, и небо на западе серо-желтое, в тон степи. Никаких признаков того, что рядом был Сталинград, разве только полусожженная цистерна, да если прислушаться, не гром, а отзвук грома, что время от времени возникает над степью: ветер с севера, от Сталинграда.

Галуа поднимает глаза к небу, будто бы гром этот исторгнут не землей, а небом.

— Вы слышите, Боб?.. Нет, теперь вы слышите?

Для Боба Хоупа это первая поездка на фронт. Он прибыл в Россию две недели назад в надежде попасть в Сталинград. Хотя его направил в Россию большой нью-йоркский журнал и видимым поводом к командировке была перспектива получить от Хоупа некое впечатление очевидца, американца, судя по всему, больше заботило иное: как Россия и его русские впечатления отложатся в большом блокноте, из которого однажды уже родился роман о войне. На Западе все было проще: Хоуп ходил на подводной лодке к Манилам и дважды участвовал в налетах на Берлин. Он ходил к Манилам, а затем летал на Берлин не ради тщеславия, а потому, что считал: то, что зовется миром писателя, и есть сфера его жизненного опыта. Слово имеет право на жизнь тогда, когда за ним не только мысль, но и опыт бытия. С надеждой раздвинуть и обогатить этот опыт Хоуп поехал и в Россию. На вопрос Грошева, как он представляет свою работу в России, Хоуп ответил: «Так же, как в Лондоне, а еще раньше — в Южных морях». Грошев просил уточнить, и Хоуп сказал, что хотел бы слетать в блокадный Ленинград, а потом просит прикомандировать его к пехотной части, которая войдет в Сталинград и пленит Паулюса. Грошев ответил Хоупу, что просьбу его не просто выполнить, а пока он может предложить ему поездку в Котельниково.

Хоуп принял это предложение далеко не с восторгом, но в Котельниково поехал. Всю дорогу Хоуп молчал, устремив серые с желтиной глаза в окно, за которым лежала степь. Нельзя сказать, чтобы ему было не интересно общество Галуа, к которому он относился с почтительным вниманием, просто он был не очень охоч до разговоров, был начисто лишен красноречия, да и не стремился быть красноречивым. Не

стремился, а поэтому не завидовал тем, кто этим даром обладал, в том числе Галуа. Его любимое занятие, как казалось Тамбиеву, было наблюдать, добираться до сути виденного. Для корреспондентской братии он был отнюдь не своим человеком и не хотел быть своим. Говорят, в пору жизни в Австралии, задолго до войны, он был близок к коммунистам, но вряд ли существовал человек, который рискнул бы спросить его об этом, а иных средств узнать не было. Никто не знал, как он относится к России, по той простой причине, что об этом он никогда не высказывался ни устно, ни письменно, но в его романе был герой, боготворивший Россию и упорно отказывающийся ехать туда, боясь разочароваться. Те, кто знал Хоупа, утверждали, что Боб писал себя. Но Роберт Грин не поехал в Россию, а Боб Хоуп решился. С поездки в Котельниково Хоуп начинал познавать Россию всочию...

Поезд, в котором ехали корреспонденты, стоял на полустанке, заваленном сожженными цистернами, а Галуа и Хоуп молча шли вдоль состава цистерн, время от времени останавливаясь и глядя на покореженное железо.

— Как на склоне вулкана,— сказал Галуа, издали поглядывая на Хоупа.— Кратера не видно, а камни дымятся...

Хоуп обернулся.

— И нас не пускают туда, чтобы, не дай бог, мы не свалились в кратер,— поднял смеющиеся глаза Хоуп.

— Да, можно понять и так,— сказал Галуа, не ответив на улыбку Хоупа.— Я куда ни шло — птица штатская, но вы...— добавил Галуа поспешно...

— Что ни говорите, а обидно сознавать, что в дом, в который ты шел издали, можно сказать даже из далекого далека, тебе не суждено войти, а?..

— Для западного читателя Котельниково — это Сталинград, господин Хоуп,— сказал Тамбиев, приблизившись к беседующим; ему была небезразлична печальная интонация Хоупа.— Если быть точным, даже не только для западного.

— Да, вы правы, вы правы,— произнес Хоуп, стараясь победить печальную интонацию, но это ему плохо удавалось.— По-моему, мистер Галуа говорит с паровозным машинистом...

— Да, с паровозным... Мистер Галуа человек дела!..

Галуа заметил, что машинист сошел с паровоза и, достав кисет с махрой, принялся сооружать самокрутку, сооружать ловко, торопясь это сделать, пока пальцы не одеревенели на морозе.

— Вот тут у меня есть,— Галуа вынул пачку с сигаретами; сам он не курил, но, направляясь на фронт, держал в кармане пачку сигарет — опыт подсказывал ему: ничто так не помогает завязать беседу с человеком, которого ты плохо знаешь, как выкуренная вместе сигарета. И хотя, как все некурящие люди, он обращался с сигаретой неловко и после двух затяжек принимался кашлять, он продолжал курить, понимая, что от этого зависит беседа, которую он начал.

— Да, мистер Галуа говорит,— произнес Хоуп, глядя в конец поезда, где его предприимчивый коллега уже с помощью нехитрой сигареты наладил разговор с машинистом.— Говорит мистер Галуа, говорит...— добавил он, и его серые глаза затуманились: как думал Тамбиев, у этого человека чувство зависти вызвало то, что Галуа говорит по-русски. Он, Хоуп, точно вразумлял Галуа: «Ты даже не понимаешь, неразумный человек, как ты счастлив. Наверно, тебе надо на минуту обратиться в меня, чтобы понять это».

Тамбиеву было интересно наблюдать Хоупа. В мире корреспондентов, где компромисс был божеством, которому поклонялись все или почти все, этот человек, казалось, был бескомпромиссен. Тамбиеву хотелось думать, что, вопреки всем невзгодам жизни, Хоуп завоевал себе право исповедовать веру, которую может соотнести с нормами своей совести. Человек может отвоевать это право, если он храбр и, главное, бескорыстен.

Тамбиев был убежден: если бы об этих мыслях как-то узнал Грошев, то он бы не преминул внушить Тамбиеву: «Вы слишком доверчивы, Николай Маркович...» Многоумудрому Грошеву нельзя отказать в правоте. И все-таки очень хотелось хорошо думать о Хоупе.

Тамбиев стоял у окна вагона и смотрел на белую степь, когда застучали армейские башмаки Хоупа, толстая подошва и подковы которых давали о себе знать, несмотря на ворс ковровой дорожки.

— Вы полагаете, что мы сумеем увидеть не только поле боя, но и кого-то из тех русских, кто... противостоял Манштейну? — спросил Хоуп.

— Да, мне так кажется.

— И, быть может, кого-то из больших русских, кто спланировал... операцию и дал ей жизнь?..

— Очень хотелось бы, но это труднее: у войск новые задачи...

— Я понимаю, понимаю... — заметил Хоуп, стараясь избежать в тоне известной категоричности.

— Можно подумать, что вы суеверны, господин Хоуп?

— Как все солдаты, которых пощадила пуля.

19

На краю села, на отшибе, чуть ли не в открытой степи, стоит школа. Еще не войдя в нее, можно почувствовать, как она светла — так много солнца в это ветреное, по-степному ясное утро, и он, этот свет, конечно, ворвался в широкие окна и заполнил здание.

— Я заметил: когда нас ведут в школу, предстоит нечто значительное, — произнес Галуа, и его лицо, которое он растер холодными ладонями, пламенеет. — Теперь скажите, Тамбиев: беседа?.. Кто он?..

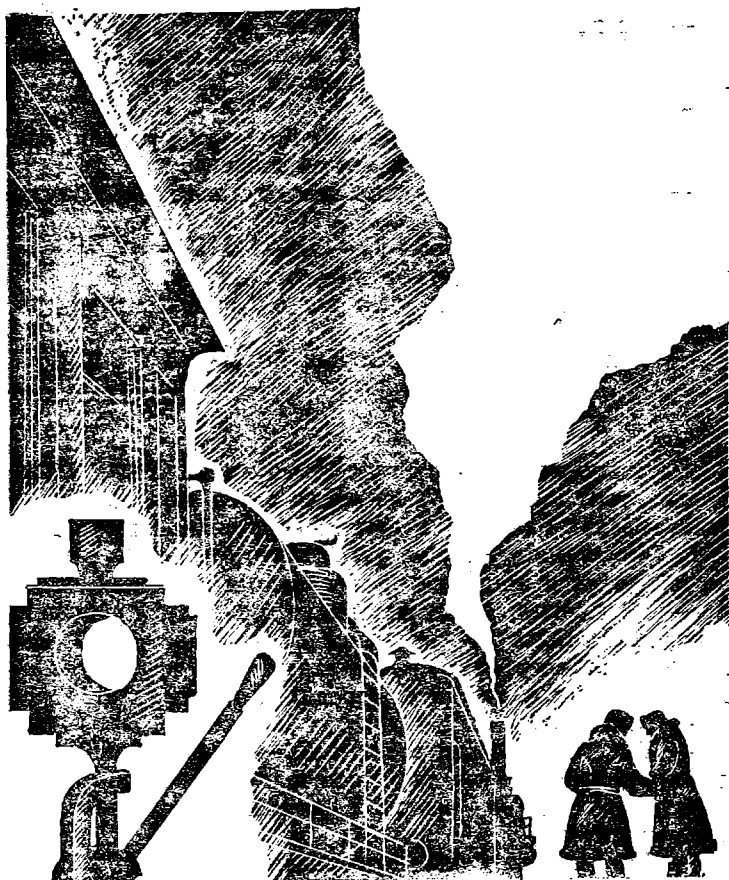
— Малиновский.

— Вот видите! Что я сказал?.. — обращается Галуа к Хоупу, который не торопясь шагает поодаль, перекинув через плечо вещевого мешок. — Вы слышали: Малиновский!

— Да, Малиновский, — улыбаясь повторяет Хоуп. — У всевышнего хороший слух — он услышал наши молитвы...

Оказывается, школа полна не только света, но и тепла... Ума не приложишь, как можно обогреть школу в такую стужу. Видно, печи недавно промазали глиной — запах просыхающей глины, разумеется для крепости сдобренной навозом, а вместе с этим и свежее дыхание чуть подсыревших дров чувствуется в доме.

— Пожалуйста, генерал-лейтенант вас ждет... — лысый, с квадратным черепом полковник приподнял плечи и свел черные брови, отчего лицо его сделалось воодушевленно-свирепым. — Прошу вас... — Он шагнул к двери. — Товарищ генерал-лейтенант, можно к вам?..



Дверь распахнулась, и навстречу корреспондентам шагнул генерал, который, наверно, не только Тамбиеву показался неожиданно молодым.

— Здравствуйте,— генерал поклонился, и его длинные, видно тщательно промытые волосы рассыпались, и их прядь накрыла ухо.— Здравствуйте,— повторил он, протягивая руку, и придержал другой рукой рассыпающиеся волосы.

Большой, с приятно покатыми плечами генерал обошел гостей, и каждый из них почувствовал взгляд его внимательно-пытливых глаз, точно о каждом генерал



котел составить впечатление до того, как разговор начнется, и соотнести это впечатление с тем, что удастся узнать о человеке в ходе беседы. А Тамбиев смотрел то на Галуа, то на Хоупа, думал: как воспринимают Малиновского они и каково мнение одного и другого? Ну, Галуа, пожалуй, может сравнить этого русского с Манштейном, которого русский поколотил только что в этих степях, сравнить и сделать вывод: у русского, пожалуй, меньше фанатизма и больше юмора, меньше лоска и больше душевных сил, а вместе с этим больше трезвости, и скромной осмотрительности, и здра-

вого смысла. А Хоуп?.. Что подумал он о Малиновском? Не иначе, сын русского крестьянина, наверняка думал Хоуп, которому эта приволжская степь чем-то напоминает поле, что возделывал отец или дед Малиновского где-нибудь на Дону или на Днепре, а этот мороз и этот скудный снег воспринимаются им не только в связи с тем, хороши они или нет для русских войск, но и хороши ли для русского хлеба.

Наверно, комната, в которой они находились, была классом географии — у карниза продолжали висеть портреты Пржевальского, Беринга и Седова... То ли руки у немцев были недостаточно длинные, чтобы дотянуться до карниза, то ли они пощадили русских первопроходцев по той случайной и счастливой причине, что те были в эполетах и могли быть приняты за царских сановников.

— Располагайтесь, пожалуйста,— протянул Малиновский руку к некрашеному сосновому столу, стоящему посреди класса,— видно, стол был сколочен недавно, его тщательно оструганные доски пахли смолой.— Хотите по глотку французского коньяка?.. С мороза хорошо! — Он засмеялся, махнул рукой.— Среди тех дивизий, которые отрядил Манштейн, одна была прямо из Франции... так ей мы и обязаны этим!

Прежде чем распечатать бутылку, генерал приподнял ее и, обратив этикеткой к гостям, произнес:

— Настоящий «Конкорд», при этом, как говорят французы... си се ван вье се ле пю мье...

Галуа засмеялся, как всегда в минуты крайнего изумления, беззвучно.

— Вы говорите по-французски?..

Малиновский заулыбался, показав крепкие зубы, вскинул голову так, что пряди сухих волос взметнулись и опали:

— Да, немножко... Прежде — лучше.

— Прежде?

— Да, я ведь был во Франции вместе с русским экспедиционным корпусом...

— Вуалья... пандант ля премиер гэр? — Галуа норвил перейти на французский; кстати, в этой степени французским владел и Хоуп.

Но Малиновский осторожно и твердо возвратил беседу к русскому:

— Что та война в сравнении с этой? — спросил Малиновский. — Ну, хотя бы... танковое сражение под Котельниковом!

— Вам противостоял Манштейн? — спросил Галуа.

— Да, во главе трех пехотных и трех танковых дивизий...

— Простите, а что вы знаете о Манштейне? — это спросил Хоуп.

— Из молодых, стдящих... — произнес генерал, задумавшись. — Говорят, в военном деле, как, впрочем, и в дипломатии (Малиновский взглянул на Тамбиева), есть... мастера прорыва и, пожалуй, отражения!.. Да, в позиционной войне такой человек ничто, а вот когда надо быстро собрать силы и расцечь кольцо, ему нет цены: темперамент, энергия, а может, и авантюризм... вот таким мне видится Манштейн, — он рассмеялся — он был явно иронически снисходителен к немцу.

— Простите, а себя вы причисляете к мастерам иного типа? — спросил Хоуп — ему была интересна психология сражающихся, и он решил начать беседу с этого.

— Да, очевидно, — ответил Малиновский, не переставая улыбаться — он понимал, что беседа началась необычно и не совсем по существу, но не сетовал на собеседников. — Впрочем, не мне судить...

— Мастер прорыва... это что же, умение генерала стукнуть кулаком по столу, а если надо, пустить в ход парабеллум? — спросил Хоуп.

— Да, допускаю, что Манштейн может быть и таким, — сказал Малиновский.

— Но в Котельникове не помог ни кулак, ни парабеллум, не так ли? — продолжал Хоуп: казалось, эти вопросы он заготовил заранее — в них была известная последовательность.

— В Котельникове? — Малиновский рассмеялся, махнул рукой — в этом жесте было и хорошее настроение, и доброе здоровье, и знак того, что дела у генерала в это студеное январское утро идут хорошо... — Ерин... дай мне карту!

Полковник Ерин, тот самый, с квадратным черепом и свирепыми глазами, положил на стол перед генералом карту, на которой Аксай и Сал выглядели большими реками, а Котельниково и Зимовники едва ли не стольными градами. Малиновский взглянул, и тень тревоги, а вместе с тем и тень печали пробежала по его

лицу — карта сберегла о тех памятных днях и ночах такое, что уже уходило в прошлое.

— Наверное, для такого человека, как Манштейн, характерно следующее: операция, которую он задумал, звалась «Бог», при этом первая ее часть — «Зимней грозой», а вторая «Ударом грома»... Как видите, против нас были обращены и силы неба! А если всерьез, то взгляните сюда... — он провел рукой по карте. — Манштейн начал свое наступление двенадцатого декабря по сигналу «Удар грома». Его танки — их было несколько сотен — двинулись компактной и сильной колонной вдоль дороги Тихорецк — Сталинград, — кулак Малиновского, энергично сжатый, очертил полукруг, определив движение танков. — Надо отдать должное Манштейну, его удар был нацелен точно, а наступление велось в темпе, когда скорость удваивает реальные мощности и триста танков могут сойти за шестьсот. Были взяты один за другим два рубежа, — ладонь Малиновского, поставленная ребром, опустилась на карту и как бы разрубила железную дорогу Тихорецк — Сталинград. — Манштейн достаточно развил успех и подходил к Сталинграду, когда мы получили приказ выступить против него, — моя армия находилась в двухстах километрах от места боев... Была пурга, какая может быть только в декабрьской степи: не снег — сухой песок, не вьюга, а песчаная буря. Нет дорог, все вязнет, все буксует, разве вот только ноги человеческие... По сорок километров в сутки, по сорок — вот и получилось, что первой пришла пехота, а потом танки... Да, вначале только пехота, а уже вслед за ней — танки да, пожалуй, авиация... Вот это был контрудар! Но главное даже не в том, что двадцать девятого декабря Манштейн был уже там, откуда за две недели до этого по «Удару грома» он пошел на Сталинград... — Генерал свернул карту и провел теперь осторожной ладонью по столу. — Не в том!..

— Простите, а в чем главное? — спросил Галуа — впервые он поднял глаза от записной книжки, в которую с прилежной дотошностью записал все, что говорил Малиновский.

— В чем главное? — переспросил генерал и взглянул на дверь, куда только что вышел полковник. — Ерин, как с обедом? Прощу вас... это рядом, — принес он, обращаясь к гостям.

В комнате, куда были приглашены гости, стоял такой же чисто оструганный стол, что и в кабинете командующего, но сервированный к обеду: средиземноморские сардины, тонко нарезанная буженина, яйца под сметаной, селедка, разукрашенная крупными кольцами лука,— все свежее, нестерпимо красивое.

Тамбиев смотрел на Малиновского, сидящего во главе стола, и думал: рейд к Зимовникам был трудным, но на лице этого человека нет усталости. Наоборот, весь он, спокойно уверенный, был олицетворением силы, а может быть, и превосходства над врагом, превосходства, которого не было вчера и которое есть сегодня. А Малиновский угощал. Видно, он любил принимать гостей, был хлебосолом, и сейчас, казалось, озабочен только тем, чтобы гости хорошо поели. Но гости хотели продолжения разговора и, пока несли в ярко-белой, опоясанной золотой каймой супнице бог весть откуда появившийся борщ, а потом разливали его, бордово-красный, весь в золотисто-янтарных бликах жира, пока разливали борщ, этот разговор возник.

Тамбиеву казалось: как ни обширна и сложна была беседа, Галуа шел со своей ухватистой киркой одной колеей, в то время как у Хоупа была другая. Хоупу был интересен человек на войне: его вера, психология, степень мужества и степень страха, что он может и что выше его сил. Интересы Галуа были обращены к другому: стратегическое начало войны, как ее понимают одни и другие, чем был отмечен день вчерашний и день сегодняшней, если психология, то в стратегических масштабах, если настроение, то только в том случае, если оно владеет массами.

Беседой завладел Галуа, и она заметно обрела военно-стратегический характер. Казалось, что все время, пока продолжалась беседа в штабе, Галуа копил свои вопросы, чтобы их выложить сейчас. То, что теперь говорил Малиновский, показывало, что усилия Галуа удались.

— Смею думать, в поведении немцев появились черты, каких не было даже в пору Московской битвы,— осторожно начал Малиновский, не отрываясь, однако, от борща, который благоухал всеми своими ароматами — хозяин был южаннином и знал толк в борще.— Пленные показали, как беспорядочны и, пожалуй, извилисты стали их пути на войне за последние

три месяца. Так бывает, когда армии недостает резервов... Но это не все,— он поднял чарку водки, приглашая гостей сделать то же самое, но тоста не провозгласил — видно, у него была потребность выпить, он, как это принято в его родной Одессе, мог пить водку и под борщ.— И вот что характерно: при такой нужде в людях и технике немцы вдруг обнаруживают расточительность, которая им не свойственна: уходя, они оставляют много техники. Можно сказать, что отступающие части плохо вооружены, а по этой причине легко уязвимы... Поэтому если разгром, то разгром полный — такого не бывало прежде...

Галуа слушал Малиновского, склонившись над блокнотом. Как ни аппетитен был борщ, казалось, Галуа забыл и об этом, хотя проголодался порядочно и любил поесть. У него был свой, выработанный годами, метод записывать живую речь, при этом, как однажды он признался Тамбиеву, он предпочитал записывать по-русски, полагая, что перевод может исказить смысл сказанного собеседником. При том знании русского, какое было у Галуа, он успевал следить и за переводом, осторожно уточняя его или даже исправляя. Впрочем, наркоминдельские переводчики всегда учитывали, что рядом Галуа, и сами стремились придать переводу такой характер, чтобы вторжение Галуа было естественным: они как бы приглашали Галуа принять участие в переводе.

— А Красная Армия?.. Как она? — Галуа понял, что Малиновский говорил о самой сути — надо было, чтобы он сказал все, что хотел сказать.— Как она? Что сегодня свойственно ей?.. Именно сегодня?

— Мы ведем наступление в больших масштабах, чем прошлой зимой, и главная наша трудность — растянутость коммуникаций.

— Это трудность немалая,— тут же реагировал Галуа — ему импонировало, что, отвечая на его вопрос, Малиновский начал не с успехов Красной Армии, хотя, казалось, имел на это право.

— Да, немалая, тем более в зимнее бездорожье,— согласился Малиновский.— Если нам удалось сдюжить, то по двум причинам...

— Да, да?

— Реформы, которые осуществлены, так сказать, в структуре армии, укрепили ее. К тому же возросла

стойкость солдата, его способность сражаться. В обстоятельствах, когда солдат прежде отступал, он сегодня стоек...

Тамбиев заметил: Одесса сообщила говору Малиновского свои краски — не строю речи, а именно говору. Они были так характерны, эти краски, что, не зная биографии Малиновского, можно было достаточно точно определить: Одесса.

— Вы имеете в виду танковый рейд Манштейна? — спросил Галуа. Он знал, что на первом этапе наступления, до того как подошли наши танки, советские войска, стоявшие перед танками Манштейна, явили чудеса отваги.

— Да, и это... — подтвердил Малиновский скромно — разговор увлек его, и казалось, единственное, о чем он жалел сейчас, что борщ остыл. — Согласитесь, что, когда в открытой степи на тебя идут сто пятьдесят танков, нужно немалое мужество, чтобы остановить их.

— Их остановили? — Разумеется, Галуа знал, что танки были остановлены, но хотел еще раз услышать это от Малиновского.

— Да, конечно, — подтвердил Малиновский со свойственной ему скромной немногословностью.

— А как по-вашему, что стоит за этой стойкостью, как вы сказали? — подал голос Хоуп — пришло время и ему вступить в беседу. — Вера, которая была поколеблена, а теперь обретенна?

Малиновский взглянул на Хоупа: в этих серо-сизых глазах с желтинкой были и пристальная заинтересованность и мысль.

— Нет, вера не была поколеблена даже летом сорок второго, когда было тяжелее тяжелого, но она росла с опытом... а опыт, нет, не только военный, но и душевный, это много, очень много...

— Но это уже не опыт, а возмужание? — возразил Хоуп.

— А что есть возмужание, как не опыт? — спросил Малиновский.

— А как сорок третий?.. — Галуа пытался вновь повернуть беседу к проблемам стратегическим. — Что ждать от него?

Малиновский наполнил рюмки — он это делал неторопливо, стараясь затратить на нехитрую процедуру

ровно столько времени, сколько требовалось для нужной ему паузы.

— Вы сказали: сорок третий?.. Но ведь это зависит не только от нас.

Галуа оживился:

— Второй фронт? — Он бы сообщил этому вопросу капельку юмора («Мол, извечная проблема, второй фронт!.. Как обойтись без этого в таком разговоре?»), но здесь это было неуместно, явно неуместно. — Этой проблемы без второго фронта не решишь?

— Нет, я этого не сказал, — заметил Малиновский, останавливая Галуа. — Но армия наша хотела говорить об этом круче... — он взглянул на Тамбиева, точно намереваясь сказать: «круче, чем, например, дипломатия». — Вы понимаете меня: круче.

— Круче... с союзниками? — спросил Галуа.

— Да, разумеется.

— В каком смысле?

Малиновский поднял рюмку.

— Союз есть союз, когда слово не остается только словом... Так вот: за союз истинный и за сорок третий год...

Через час корреспонденты простились с Малиновским. Он надел полушубок и вышел вместе с ними из дома. Снегу прибыло, и машина ждала гостей на шоссе. Генерал простился с ними на полпути от дома к шоссе. Они шли, время от времени оглядываясь: Малиновский все еще стоял.

Малиновский... В это январское утро 1943 года, снежно-ветренное и морозное, этот человек, в полушубке и унтах, стоящий на окраине большого донского села, хотя и думал, что ему ведомы пути и перепутья войны, однако обманывался насчет своей прозорливости... Он не знал, что у победы на Дону будет легкая рука. Не вещун и предсказатель грядущего, он, естественно, не ведал, что еще в эту зиму встанет во главе Сталинградского фронта и освободит Ростов, а во главе Юго-Западного — Донбасс и Таврию. Ему трудно было предугадать и то, что через год после этой встречи на Дону его войска, на этот раз собранные под знамена Второго Украинского фронта, дадут бой врагу уже у стен Ясс и принесут заветную свободу Румынии и Венгрии. Не знал он, что уже после победы над Германией пересечет бескрайние просторы России с за-

пада на восток, а кстати и многие из тех мест, где прошел с войсками в страдные дни войны, у далеких наших восточных рубежей даст бой Квантунской армии и вынудит ее просить мира... Но в это морозное январское утро 1943 года человек, в полушубке и унтах, стоящий на окраине донского села, не без надежды смотрел вперед, веря в счастливую судьбу своих войск и в какой-то мере в свою полководческую судьбу...

20

В Котельникове корреспонденты были расквартированы в домах местных жителей. Хоупу была отведена большая комната в просторном глинобитном доме, выходящая тремя окнами на дорогу. В доме хозяйничали молодая женщина с девятилетней дочерью и старик, то ли отец женщины, то ли ее свекор, который, однако, больше находился во дворе, чем в доме, заметно избегая встреч с гостями.

Был он высок, но ходил не сутулясь, в его манере ходить, держать голову, во взгляде темных, тронутых туманом старости глаз было нечто гордо-отрешенное. Казалось, ничто не могло изменить величавого вида, даже его ветхий тулупчик, латаный-перелатаный, даже его сапоги, подошва которых отвалилась и была скреплена проволокой, даже его очки, к которым вместо дужек были приспособлены тесемочки. Да, да, и в этом ветхом тулупчике и в драных сапогах он каким-то чудом умудрялся сохранить стать и достоинство.

Ему надо было много работы, чтобы заполнить долгий день, и он работал. По двору ходили поросенок да три курицы — он их холил, кормил и поил. Когда куры и поросенок были накормлены, принимался колоть дрова. Отдыхал он, присев тут же, на пне, который приспособил для колки дров. Пень стоял неподалеку от штакетника, за которым была улица. Все, кто шел по улице, видели старика.

— Здравствуйте, Христофор Иванович, — говорили прохожие, обращаясь к старику с почтительной ласковостью.

— Здравствуйте, — отвечал старик и снимал ушанку, обнаруживая лысину.

В сарайчике, куда уходил он время от времени за кормом для кур, была у него винтовка. Пятизарядная

старая, выдавшая виды винтовка, образца девяносто первого года, с которой наши предки ходили в начале века на японца, а позднее, в первую войну, — на немца. Христофор Иванович определенно прежде не держал в руках винтовки, да вряд ли он был когда военным. Это легко устанавливалось, когда к вечеру Христофор Иванович уходил в степь — где-то там у него был пост. Взяв винтовку в руки, как берут ее солдаты, наперевес, он, едва выйдя за ограду, клал ее на плечо прикладом назад, — ему, несолдату, так было удобнее.

— Кто наш хозяин? — спросил однажды Хоуп молодую женщину и попросил Тамбиева перевести вопрос. — Кем он был прежде?

Хозяйка сказала, что старик доводится ей свекром. Он учитель, преподавал математику. Хоуп захотел поговорить со стариком и попросил хозяйку сообщить старику об этом, однако тот ответил, что у него нет времени.

Но после встречи корреспондентов с местными старожилками, которая происходила в городской библиотеке и на которую народу собралось много, вернувшись, Хоуп сказал Тамбиеву, что хотел бы все-таки поговорить со стариком. Просьба прозвучала почти категорически, и старик не отвел ее. Он вошел в дом так, будто никогда там не бывал, и сел на венский стул, стоящий у стола, так, точно никогда не сидел на этом стуле. На нем была толстовка, подпоясанная матерчатым поясом, с отложным воротником, сшитая, видно, в двадцатые годы — тогда толстовки были модны. Из небогатого гардероба Христофора Ивановича (можно было сказать с уверенностью) толстовка надевалась только в школу, — видно, математику он преподавал в ней.

— Мне рассказали в библиотеке про немца, что лежит в степи... — произнес Хоуп, с пристальной внимательностью глядя на Христофора Ивановича. — Вы к этому имеете отношение?

Скрипнул венский стул под Христофором Ивановичем.

— Да, самое прямое.

— Что там произошло?

Старый учитель качнул головой один раз, потом второй.

— Если быть кратким, вот что. — Он сказал: «Если

быть кратким». Видно, математика, где все сжато до пределов формулы, приучила его к краткости, подумал Тамбиев.— Вон за тем холмом стоит кирпичный завод, а рядом с ним контора, из кирпича, разумеется, два этажа...— Он сделал паузу, раздумывая, достаточно ли был краток в своем рассказе. Пожалуй, про то, что здание конторы сложено из кирпича, можно было бы и не говорить, а вот про два этажа — существенно.— Уже после того, как прошла наша армия, колхозники подобрали в степи двух немцев: майора, вы можете с ним поговорить, и солдата, а вот с ним уже словом не перемолвишься...— Он помолчал не без печали — не иначе, вспомнил происшедшее.— Поместили их в комнате на втором этаже и дали нашим трем старикам по винтовке, установив очередь дежурств. Наказали: стеречь, а заодно и топить печку — она рядом с дверью, за которой немцы. Моя очередь пала на ночь, и вот тут все и стряслось,— он тронул лоб ладонью и ощутил, что он влажный — не хочешь тревожиться, да растревожишься.— С вечера слышу: беспокойно за дверью. Я-то не силен в немецком, всего только и смог удержать в памяти: «Криг, криг, криг!..» И еще: «Цайтунг, цайтунг, цайтунг!..» И, наконец: «Вассер, вассер, вассер!» Одним словом, идет там поединок жестокий, и кто-то уже просит воды. Вот я и думаю: «Не дело майора с солдатом сажать — правда, она между ними не поровну распределена, у солдата ее больше...» Так я подумал, а печка моя тем часом разгорелась и этак осторожно тронула мне спину... Дело стариковское: меня и повлекло в сонную яму. Только слышу за полночь: «У-у-у-у!.. У-у-у-у!...» Ну вот, еще волков в этакое ненастье не хватало, думаю. А голос еще и еще: «У-у-у-у!» Я-то волков знаю, и голос их зловещий мне знаком — в этакое ненастье они озорные. Волки и волки, с той мыслью и взяла меня опять дрема... Однако что это я? — Он умолк, поймав себя на многоречивости.— Короче говоря, когда поутру пришлось сдавать пост, за дверью у меня не два немца, а один... «Где камарад?» — спрашиваем у майора, а он этак приставил палец к виску и ну дырять: мол, сошел с ума и исчез в белом ненастье... Только тут я и сообразил: это же солдат немецкий выл в степи волком... Когда кинулись, а он тут же лежит, мороз его спек... Вот, пожалуй, все.

Он приготовился встать и уйти, но Хоуп попросил его повременить, — казалось, Христофор Иванович согласился неохотно, его история была исчерпана.

— Как вы понимаете: сошел с ума?..

Христофор Иванович качнул седой головой:

— Трудная задача... Там у них образовалась стычка жестокая: может, и сошел с ума, а может, и нет, — старик на все вопросы отвечал в соответствии с известным правилом: «Бабушка надвое сказала».

— А повидать майора можно? — спросил Хоуп.

— По-моему, можно, — произнес Христофор Иванович и пошел к двери. — Да только это не моя власть... Что не моя, то не моя.

Повидать майора оказалось делом непростым — фронт оторвался от этих мест, он уже шел на немца, этот фронт, где-то под Ростовом. Пришлось тревожить полковника Ерина из штаба Малиновского. Разумеется, разрешение было дано, при этом незамедлительно. Последнее имело значение: после всего случившегося не прошло и двух суток, событие требовало расследования, солдат еще лежал в степи...

Из разведотдела фронта мигом примчался золотобородый подполковник с предписанием устроить встречу немца с корреспондентами и, в зависимости от обстоятельств, направить пленного в лагерь. Золотобородый, как понял его Тамбиев, происходивший из Саратова и выросший в немецкой семье, знал язык настолько, что пробовал писать стихи, а потерпев неудачу, воздвиг литературоведческий труд о немецких поэтах-антифашистах. Разумеется, разведотдел не потребовал знания немецкой литературы, но что-то пригодились и в разведотделе: офицер писал листовки. Все это золотобородый рассказал Николаю Марковичу, пока они ждали «виллис», который должен был доставить их на кирпичный завод, рассказал охотно, почувствовав интерес Тамбиева к себе и к тому, что он делал в разведотделе, да кстати и отрекомендовался: Касьян Сергей Тимофеевич.

Когда сели в «виллис», Хоуп вспомнил про Христофора Ивановича, но старого учителя не просто было уломать, пришлось подполковнику употребить власть: Христофор Иванович поехал.

Близился вечер, и степь казалась лиловой, особен-

но в тех местах, где легли балки, их уже заполнило чернильной полутьмой.

Немец-майор увидел в корреспондентах некое начальство, которое ждал вторые сутки, и, приветствуя, так ударил каблуками об пол, что окно распахнулось, точно приглашая корреспондентов взглянуть на степь, где лежал мертвый солдат.

— В вашем доме я видел вторые рамы,— сказал Хоуп Христофору Ивановичу, указывая на окно.— Здесь их нет?

— Где они есть, а где их нет,— ответил Христофор Иванович в обычной своей манере — в его ответе одновременно были и «да» и «нет». — Где печь послабее, там они есть, а где пожарче...

— Здесь пожарче? — уточнил Хоуп, улыбнувшись.

— Как видите.

Касьян предложил майору сесть. Майор это сделал с робкой готовностью, но лишь тогда, когда сели все остальные.

Золотобородый представил корреспондентов. Майор вскочил и хлопнул каблуком об пол еще раз и тут же обратил глаза к окну — на этот раз оно не открылось, Касьян объяснил ему, что корреспондентам стала известна история с гибелью солдата и они хотели бы задать несколько вопросов,— немец поклонился в знак согласия и поднял несмелую ладонь, дав понять, что намеревается говорить.

— Хочу сказать сразу,— заметил немец, указывая на Христофора Ивановича.— Старик не виноват.

Корреспонденты улыбнулись: немец был не дурак; одним ударом он хотел расположить к себе и Христофора Ивановича и присутствующих. Однако вначале — анкета, самая элементарная. Итак, Ганс Гизе, сорок три года, майор саперных войск, родом из Гамбурга, окончил строительный институт, женат — начал рассказ майор, хотя в этом не было крайней необходимости, об этом можно было и не сообщать.

— Вы... профессиональный военный? — спросил Хоуп, вопрос был для него важен, под этим знаком он хотел рассмотреть происшедшее.

— Да, инженер-мостовик,— ответил немец.

— Вы знали... погибшего прежде? — инициативу диалога Хоуп взял в свои руки — он был заинтересован в этом больше своего коллеги.

— Знал ли я Фейге?

— Его звали Фейге?

— Да, Курт Фейге... Нет, я его впервые увидел здесь,— произнес майор, пораздумав, и посмотрел в угол напротив — там висела шинель Фейге, что свидетельствовало: немец оказался за окном без шинели.

— Сколько вы пробыли с Фейге здесь, простите? — продолжал спрашивать Хоуп.

— Семь или восемь дней... Нет, пожалуй, семь,— произнес Гизе не без смятения — видно, он сейчас не мог решить, куда отнести последнюю ночь: к жизни или смерти погибшего.— Да, семь,— повторил он и с силой оперся о левое колено — Гизе волновался, и колено вздрагивало.

— Что он говорил вам о себе?

Майор взглянул на шинель и тотчас отвел глаза, будто в углу находилась не шинель Фейге, а он сам.

— Он сказал, что ему пятьдесят восемь, что он плотник или столяр, скорее плотник, что его призвали в прошлом году и определили к саперам, что он отец четырех сыновей, трое из которых призваны и уже погибли...

— Кого он винил в их гибели?..

Гизе посмотрел на Хоупа внимательно — он почувствовал в его вопросах некую тенденцию и, возможно, усомнился в том, что перед ним корреспондент...

— Войну, конечно,— ответил Гизе.

— Ваши беседы с ним были... мирны?

— Да, конечно,— поспешно подтвердил немец.— Что нам делить... в нашем положении?

— В ту ночь вы спорили,— сказал Хоуп.— Вот свидетель. Я даже могу сказать, о чем...

Майор взглянул на Христофора Ивановича — не показалось ли немцу, что ключ от того, что произошло, в руках старика,— возможно, что русский нес свою вахту у двери и с этой целью — и он знает немецкий?

— О чем мы могли спорить?

— Я знаю — это был принципиальный спор, о войне,— тут же реагировал Хоуп.

Гизе опять взглянул на Христофора Ивановича, потом на шинель Фейге, висевшую в углу: их было двое — он, Гизе, один.

— Фейге был человеком... как бы это сказать, нервным. Эти три сына, которых он потерял на войне, не

шли у него из ума. Как мог, он старался отвлечься. Вот видите? — он протянул руку к тумбочке. — Нет, нет, не бойтесь, подойдите сюда. Теперь видите? — На тумбочке уместилась стайка птиц, каждая с наперсток, птицы были вылеплены из хлеба, вылеплены с завидным умением и точностью. — Взгляните на это пристальнее, он успокаивал себя этой работой, я скажу больше, спасал... Вот вам доказательство: сумасшедший знает, что он сумасшедший, — он спасал себя.

— Но тогда... какой смысл спорить с сумасшедшим? — сказал Хоуп.

Прежде чем вопрос доходил до Гизе, он должен был обойти Тамбиева и подполковника с английского на русский, а уже с русского на немецкий. Майор ждал, пока вопрос дойдет до него, ждал, запасшись терпением, и только все чаще вздрагивала его левая нога.

— Когда вы в комнате вдвоем, нет иной возможности, как говорить с сумасшедшим, — ответил майор.

— Но вы говорили с ним о проблемах, о которых с сумасшедшим не говорят, — вдруг выстрелил свой вопрос Галуа, выстрелил по-немецки — он знал немецкий, правда, ученически, но его познаний в языке хватило вполне, чтобы задать этот вопрос.

Майор оглянулся на Галуа: немец ожидал всего, но только не этого. Нет, нет, тут определенно мистификация: зачем вопрос совершал едва ли не кругосветное путешествие, если человек, сидящий рядом, говорит по-английски и по-немецки?

— Если хотите знать, мы все сумасшедшие... — произнес Гизе, устремив глаза в окно — не успеешь оглянуться, рванется и выпрыгнет. — И я, и я!..

Хоуп молчал, молчал и Галуа. Света не зажигали, и чернильная мгла, что лежала в степных балках, вышла из берегов и залила снег, добравшись и до комнаты, где они сейчас сидели.

— Но вы были достаточно благоразумны, чтобы не выпрыгнуть за своим товарищем в окно? — осторожно подал голос Хоуп. — Даже когда он кричал в степи... — добавил он и посмотрел на Христофора Ивано-вича.

— Да, он кричал... — сказал Христофор Иванович. Нога вырвалась из рук майора и подпрыгнула.

— Но заметьте: я спасал его по меньшей мере трижды! — вскричал Гизе. — Вот тут... спасал! — указал он на койку Фейге.

— Это каким образом? — спросил Хоуп, оглянувшись; он встал и направился было к двери, но последние слова Гизе остановили его.

— Когда мы попали сюда, он сказал мне: «Майор, я буду кричать ночью, будите меня — иначе я умру. У меня больное сердце, и ночью меня мучит удушье». — Гизе оглядел присутствующих, ища сочувствия. — О, вы не слышали этого полуночного мычания!.. Трижды я будил его...

— И спасли?

— И спас.

— Тогда кто убил его? — спросил Хоуп и, не дождаввшись ответа, пошел к двери. Остальные пошли вслед.

21

Они вышли и оглядели степь. На западе ветер раздвинул тучи, обнажив облачко, освещенное закатным солнцем, — оно давало свет степи.

— Он лежит где-то рядом, Фейге? — спросил Хоуп, поравнявшись с Тамбиевым. — Можно посмотреть?

— А надо ли? — спросил Касьян. — Мертвый, он и есть мертвый... Ну, что тут... особенного?

— Надо, — сказал Хоуп. — Мне надо.

Не оборачиваясь, Хоуп зашагал прочь от дома — он готов был идти в степь и один. Галуа и Тамбиев пошли вслед. Поразмыслив, зашагали и Касьян с Христофором Ивановичем. Американец торопился, он хотел успеть, пока не погасло облачко над степью.

— По-моему, это здесь, — сказал Галуа, останавливаясь, и шагнул от дороги к стожку соломы, стоящему за кюветом.

— Сворачивайте, это здесь! — скликнул Тамбиев Хоупа.

...Немец лежал у стога соломы. Он был так мал, что, если бы не седая щетина, его можно было бы принять за подростка. Лицо не казалось обескровленным, наоборот, оно было странно живым, как лицо уснувшего человека. Видно, он дополз сюда, уже замерзая, — ру-

ки его были разбросаны: умирая, он не ощущал холода.

— Его убил Гизе? — спросил Касьян: у него, разумеется, было свое мнение, но он хотел знать, что думают корреспонденты — для них эта история кончилась, для него только начиналась.

— Гизе убил, — сказал Хоуп. Он давно ответил себе на этот вопрос и сейчас всего лишь сказал об этом вслух.

— Гизе? — переспросил Касьян, но взглянул не на Хоупа, а на Галуа.

— Я должен еще подумать, — сказал Галуа. — Подумать, подумать, — повторил он. — Да важно ли... кто убил?

— А что важно? — остановился Хоуп. В его тоне было ожесточение: он чувствовал, что поединка с Галуа не избежать, этот поединок назревал.

— Важно, что Фейге убит.

Хоуп все еще стоял, хотя все остальные продолжали шагать.

— И не важно, кто убил?

— Подумать, подумать, — произнес Галуа так, будто жестокой реплики Хоупа он не слышал. — Кто убил немца, Христофор Иванович? — спросил старика Галуа, приметив, что старик хранил молчание.

— Ума не приложу... — ответил Христофор Иванович. — Просто ума не приложу.

Они вернулись в село и вошли в дом, надеясь, что молодая хозяйка предложит им чаю.

— Христофор Иванович, что значит «не приложу ума»? — спросил Хоуп, когда они сели за стол, — ответ старика был ему переведен едва ли не буквально. — Майор убил немца?..

Старик не торопился с ответом.

— Я бы поостерегся сказать так... — заметил Христофор Иванович, когда молчать дальше было уже неудобно.

Хоуп встал, зашагал по комнате — его канадские башмаки на толстой подошве, казалось, увеличивали силу шага и сотрясали дом.

— Вы — русский! — вскричал Хоуп. — Как вы можете?

— Ну а что из того, что я русский?

Хоуп склонился над стариком:

— Вы-то должны знать немца лучше... он — убил.

Старик пожал плечами — к тому, что он сказал, ему нечего было добавить.

— Так то же Христофор Иваныч — много вы от него захотели! — подала голос молодая хозяйка из соседней комнаты. — Сказывают, в ту войну, когда красные были и белые, так он на горище под нашей крышей прятал беняка и красняка зараз! Только ширмочку промеж ними поставил, чтобы не поцарапались...

Раздался хохот, не смеялись только Хоуп и Христофор Иванович.

— Ну, а вы что думаете? — спросил Хоуп Касьяна — он видел в русском подполковнике власть, и ему надо было знать его мнение.

— Я думаю, что майор виноват в смерти солдата, но это и для меня пока не доказано... — сказал Касьян; возможно, его мнение было не в такой мере неопределенно, но он не торопился высказывать его.

Часом позже, когда корреспондентам подали «виллис» и они пошли к машине, Хоуп, взглянув на дорогу, ведущую в степь, увидел Христофора Ивановича, — уложив винтовку на плече, как обычно, прикладом назад, старик шел на дежурство — он заступал в ночь.

— Иисус Христос из Котельникова? — поинтересовался Хоуп, не отрывая глаз от долговязой фигуры старика, который замедлил шаг, поднимаясь в гору, — название корреспонденции у американца было готово, оставалось написать ее.

А днем позже, уже в Зимовниках, прерванный разговор возобновился, когда корреспонденты отогревались в наскоро отстроенной будке железнодорожного стрелочника. Чугунная времянка, та самая, какую проводники берут в товарные вагоны, отправляясь в дальнюю дорогу, была накалена докрасна, и Хоуп, сидящий к печке особенно близко, был похож на индейца с Дальнего Запада, откуда, кажется, он и происходил. А Галуа берег сердце и не приближался к печке, однако протягивал к ней тонкие, словно без суставов, пальцы, — как заметил Тамбиев, Галуа был начисто лишен рисовки, но при случае демонстрировал свои красивые руки — руки пианиста: Галуа хорошо играл.

— По-моему, в том, что произошло на кирпичном заводе, есть один знак, — сказал Галуа, опасливо погля-

дывая на раскаленную печь.— Что-то треснуло в душах немцев.

— Нет доверия друг к другу? — спросил Хоуп.

— Больше,— возразил Галуа.— Они смотрят друг на друга с ненавистью.

— Но ведь это можно сказать, если майор убил солдата,— тут же реагировал Хоуп. Он возвращал Галуа к прерванному спору, грубо возвращал.

— Не знаю, не знаю,— был ответ Галуа.

Нет, на этом разговор не кончился — просто он ушел вглубь и в подходящий момент должен был возникнуть с новой силой. Так оно и случилось. Когда корреспонденты готовились покинуть Зимовники, мороз неожиданно спал — видно, переменялся ветер. Вдруг пахло чем-то тоскливым, больше того, тревожным, что характерно для ранней весны. Быть может, ветер, идущий от каспийских пределов, принес эти запахи, а возможно, они были в самой здешней земле, и ветер разбудил их. Галуа увлек Тамбиева на степную тропку, которая, выбежав из окраинной улочки, перечеркивала степь и удерживалась, схваченная крепкой наледью, даже там, где снег стоял.

— Не находите ли вы, что на кирпичном заводе сцепились не двое сумасшедших, а двое несчастных? — спросил Галуа, не скрывая раздражения.

— Вы приняли сторону сердобольного Христофора Ивановича? — был вопрос Тамбиева.

— Мудрого Христофора Ивановича,— уточнил Галуа — он искал случая сказать это Хоупу, а сказал Тамбиеву.

— Как понять — «мудрого»?

— Смысл того, что сказал Христофор Иванович, в этом и состоит: двое несчастных...

— Говоря так, вы оправдываете живого и корите мертвого, не так ли? — настаивал Тамбиев.

— Нет, конечно. Согласиться с Хоупом — значит назвать убийцу, а мы его не знаем,— заметил Галуа — он неспроста увел Тамбиева в степь: у него горела душа, и он хотел разговора.— Все, что сказал мой американский коллега, меня не убеждает — эта его праведность не искренняя.

— Погодите, вы говорите так, как будто бы я не был там,— произнес Тамбиев.— Вы сказали: праведность.

— Он так быстро нашел виноватого, что я, признаться, растерялся,— заметил Галуа.— Я еще был в плену сомнений, а он все решил, а должно быть наоборот.

— Почему наоборот?

— Писатель все-таки он, а не я...

— Если писатель, то сомнение, Алексей Алексеевич?

— Да, сомнение, если даже все ясно. Где сомнение, там нет корысти. Где нет корысти, там и правда.

— Вы полагаете, что в данном случае корысть есть, Алексей Алексеевич?

— Не знаю.

Они шли сейчас вдоль ветрозащитной полосы деревьев — здесь было тише, чем в открытой степи.

— Когда вы говорите «Не знаю», вы себе сказали: «Знаю», не так ли? — спросил Тамбиев.

— Не знаю, не знаю,— повторил Галуа, но и на этот раз его слова прозвучали так: «Знаю, знаю!»

— А коли не знаете, о чем речь?

Галуа остановился, выломал ветвь акации, что есть силы ударил ею по смерзшемуся снегу, один раз, потом второй, третий.

— А вот о чем, вот...— произнес он и перевел дух — пока он бил своей палкой по снегу, сердце его зашлось.— Вам не следует так легко принимать это на веру...

— Значит, дипломат что писатель, Алексей Алексеевич: сомнение?

Галуа обратил к Тамбиеву лицо, и его брови, странно изогнутые, медленно поползли на лоб, еще миг, и очутятся на макушке.

— Именно сомнение. Все, кто легко соглашается, недоговаривают...

— Все, но не Хоуп.

— Не знаю, не знаю,— в который раз сказал Галуа, помрачнев: казалось, он был заинтересован довести этот разговор до конца.— Старик прав: именно двое несчастных,— вернулся он к началу разговора.— Как и те двое, которых он прятал на этом своем «горище», когда были красные и белые,— неожиданно произнес он: не к этому ли итогу он хотел свести разговор? — Да, да, как те двое, но это уже другая тема... Не скрою, старик взволновал меня, он дорог мне, этот Христефор Иванович...

— Хоуп сказал: Иисус Христос из Котельникова,— произнес Тамбиев.

— А Иисус Христос — это не всегда плохо,— заметил Галуа.— Поверьте мне: не всегда...

— Да в Иисусе ли Христе дело? — улыбнулся Тамбиев.— Нет, здесь все сложнее... Одним словом, я бы хотел к этому разговору вернуться... С вашего разрешения, Алексей Алексеевич...— добавил он.

— Да, пожалуйста,— произнес Галуа не без раздумий.— Но вот что интересно: в этой истории я увидел Сталинград и новый знак войны...

— Новый? — спросил Тамбиев.

— Новый,— подтвердил Галуа.

22

Поздно вечером двадцать четвертого декабря, когда Бекетов собрался уже идти домой, позвонил Шошин и сказал, что сегодня в Алжире убит Дарлан.

— Какой-то молодой француз, почти мальчик, стрелял в адмирала и смертельно ранил...— пояснил Шошин, как всегда без видимого интереса к сказанному — казалось, он похвалялся тем, что умеет о самых сенсационных событиях говорить безучастным тоном.— Дарлан, конечно, умер, а вот мальчик чувствует себя героем-избавителем...

Сообщение Шошина будто припечатало Бекетова к стулу: смерть Дарлана в такой мере отвечала устремлениям разных англичан и французов, что, казалось, именно они и приговорили Дарлана к смерти, при этом всякое иное мнение следует еще доказать, а это так очевидно, что его можно только опровергать, а не обосновывать.

Его привел в себя телефонный звонок — звонил посол.

— Зайдите, пожалуйста,— произнес он и положил трубку — наверняка он был не один. В иных обстоятельствах он бы осведомился: «Шошин и вам сказал? — и пояснил бы саркастически: — Ничто так дорого не обходится, как компромиссы с совестью. Жизнь — самая малая цена за это...»

Бекетов пошел к послу.

— Вы уже все знаете? — Посол заглянул в книгу, лежащую на столе,— в нем еще жил интерес, вызван-

ный чтением.— Не исключено, что де Голль вылетит в Алжир — там предстоят события значительные... — Он наклонился к книге ближе, перевернул страницу.— Приготовьтесь и вы, Сергей Петрович. Ваши отношения с французами могут быть нам полезны.— Он решительно отстранил книгу от себя и этим как бы подчеркнул, что разговор с Бекетовым предпочитает всему иному.— Там предстоит баталия, не бескровная...

— У Дарлана были преемники? — спросил Бекетов.

— Да, своеобразные, — отозвался посол.— Тот раз у де Голля был с вами... Грабин из нашего малого посольства? — это почти ласкательное «малое посольство» относилось к второму советскому посольству в Лондоне, аккредитованному при союзных правительствах: Франции, Югославии, Польши, Чехословакии.

— Да, Грабин.

— Весьма возможно, что полетите с ним, — сказал Михайлов.— По-моему, этот Грабин — хроник: везде и всегда опаздывает. Говорят, умный и милый человек, но вот такая странность. Что с него взять, если он, как утверждают, не только дипломат, но и знаток египетских манускриптов. Ему сам бог велел опаздывать. По опыту знаю, что лечить эту болезнь бесполезно — ничего не получится. Главное, что он сам убежден, что в первом случае он опоздал потому, что лопнула пружина часов, а во втором шина автомобиля. В остальном же он на уровне... Ходят слухи, что по-французски говорит, как говорили у нас только в прошлом веке. Нет, вас посылают не для того, чтобы вы страховали Грабина, а просто потому, что верят в вас. И Богомоллов просит очень.— Он опять скосил глаза на книгу, что, очевидно, значило: все необходимое он уже сказал или почти сказал.— Ну, вы, разумеется, недоумеваете: британские дела и вдруг Алжир. Казалось бы, вы правы, казалось бы... Поймите, что это правило распространяется на всех, но только не на дипломатов. Ну, разумеется, и в дипломатии есть восточники и западники, африканисты и латиноамериканисты, больше того, есть, наверно, японисты, китаисты, индологи... Но все это до поры до времени. Бывают обстоятельства, когда дипломат-индолог направляется в Штаты, а латиноамериканист в Японию. Не буду говорить вам, что, посвятив годы и годы изучению Великобритании, я

представлял страну, например, в Японии и Финляндии. К тому же сегодня есть одна проблема, которая обнимает все прочие проблемы: война... В ваше утешение могу сказать, — он улыбнулся не без лукавства, — все мы сегодня в меру наших сил занимаемся французскими делами. Франция — это сложно. Поэтому в путь!

«Да были ли у Дарлана преемники? — думал Бекетов, возвращаясь от посла. — И кто в этой новой обстановке сможет противостоять де Голлю? Почтенный консерватор Жиро? Почтенный консерватор?.. Да применимо ли к Жиро само это определение? Что знает он о Жиро? Генерал не столько от французской метрополии, сколько от колониальной Франции. В мае сорокового был пленен немцами, однако через два года бежал из плена и оказался в Виши. Если учитывать, что Жиро бежал всего лишь к Петену, возникает подозрение: не тот ли это вид побега из плена, когда пленившая армия заинтересована в победе больше, чем сам пленный. Во Франции Жиро был известен как друг Петена — поэтому его «побег» мог быть инспирирован маршалом. А потом состоялся второй побег Жиро, на этот раз более убедительный, чем первый. Жиро, не без помощи американцев, устремил свои стопы в Алжир. Не без помощи американцев? Да, в представлении правоверных американцев де Голль был почти неотличим от Тореза: и один и другой были в маки. Поэтому все, кого можно было обратить против де Голля, против него обращались — старик Жиро не составлял исключения. Позиции Жиро были тем прочнее, чем воодушевленнее де Голль говорил о революции, а он пока что говорил о революции.

Но почему преемником Дарлана, в той мере, в какой это зависело от правоверных американцев, например, мог стать Жиро? Что было у Жиро общего с Дарланом? Просто ли консерватизм или нечто большее: воинственный антикоммунизм, возможно даже антисоветизм? Они призвали этот антисоветизм, чтобы утвердить себя? Ну, например, желание воздвигнуть стену, которая остановит грядущий русский вал? Если рассмотреть факты (только факты!), характеризующие отношения Запада с русским союзником, наверно, признаки этой тенденции будут заметны — чем ближе к Сталинграду, тем заметнее: что-то надо сделать с этим

русским валом,— не успеешь сообразить, накатится и слизнет матушку-Европу. Как это ни парадоксально, все то, что произошло с Дарланом, может устраивать даже американцев. У людей есть память: в своих отношениях с немцами Дарлан пошел дальше того, что может себе позволить деятель, перебросившийся к союзникам. Правда, он мог повести себя так, как повели некоторые его коллеги рангом пониже. «Я был солдатом, и моими действиями руководил приказ...» Но тогда Дарлан не был бы Дарланом...»

Самолет прилетел в Дакар на исходе дня. Меловое солнце, резкое и сильное, казалось, выжугило землю, добравшись до самых потаенных ее складов. Как после утюга, пахло паленым.

Знаток египетских манускриптов, прибывший в Дакар тремя днями раньше, естественно, опоздал к прилету бекетовского самолета, и Сергей Петрович, предупрежденный на этот счет в Лондоне, готовился отбыть в город один.

— О, простите, дорогой Сергей Петрович, прошибло покрышку, а запаски у шофера не оказалось,— произнес Грабин, неожиданно появившись перед Бекетовым, и, полагая, что объяснение, которое он только что дал, вполне достаточно, перешел к сути: — Прилетел третьего дня и верчусь, как та белка, которую приставили к колесу, наказав быть «перпетуум-мобиле»... Тут одно событие за другим!

— История с Дарланом имеет свое продолжение?

— Да, вчера по приказу Жиро казнен этот юноша... Говорят, до последней минуты не мог понять, что происходит... Когда человек, к тому же такой эмоциональный, каким, мне кажется, был этот мальчик, из стана единомышленников вдруг попадает в стан врагов, ему действительно трудно постичь происходящее...

— Но... кого представлял этот мальчик? — спросил Бекетов, оглядывая пустынную в этот час площадь перед аэровокзалом. — Не де Голля?

— Возможно, и де Голля, хотя и не непосредственно...

— Но тогда почему генерал не встал на защиту мальчика?

— Собственно, что де Голль для Жиро?

— Недостаточно влиятелен?

— Допускаю... — ответил Грабин, как показалось Бекетову, нехотя — он предпочитал не обращаться к прогнозам.

— Значит, единоборство будет неравным?

— Так ли? — парировал Грабин. — Еще не сказало своего слова время... Впрочем, время — категория зыбкая...

Они пересекли площадь и вошли в тень двухэтажного здания — стена, у которой они сейчас стояли, все еще дышала зноем.

— Как вы спланировали свое время здесь? — спросил Бекетов — он хотел приблизить разговор к сути того, что его интересовало в Алжире. — Что вы будете делать завтра, например?

— На рассвете в здешний порт вошла французская подводная лодка, и ее командир отдал себя в распоряжение Жиро... Предстоит церемония, на которой, как мне сказали, должны быть представители одной и другой стороны. Правда, второй — не официальной... — Он взглянул на Бекетова и не прочел на его лице воодушевления. — Чисто психологически это будет неинтересно...

— Вторая сторона представляет де Голя?

— Да, разумеется, но пока... символически.

— А достаточно ли этого для нас? — выразил сомнение Бекетов. — Символика хороша, если есть все остальное...

— Что, например? Встреча с лицом влиятельным?

— Если не влиятельным, то хотя бы информированным...

— Из сподвижников де Голя?

— Нет, пожалуй, на этот раз Жиро. Важно увидеть все грани предмета...

Подошла машина Грабина, и они сели, ехали молча — хотелось додумать все, о чем только что шла речь. Машина двигалась теперь вдоль берега моря, и вода была выбелена под цвет земли и неба. Никогда Бекетов не видел такого моря, оно как-то не воспринималось, оно было всего лишь фоном, нужно было усилие, чтобы связать этот фон со всем тем, что владело в этот раз Бекетовым.

Торжество, о котором говорил Грабин накануне, можно было назвать торжеством условно. В конце мола, — он так далеко вдавался в море, что казалось, рассек его пополам и, будь на то желание у явившихся на церемонию, они могли бы пешком добраться до Франции, — возникла своеобразная площадка, размером в три железнодорожные платформы, поставленные рядом. Судьба-насмешница сыграла злую шутку, расположив на этом пятачке анонимно и не анонимно всех, кто связывал себя и хотел связать с завтрашним днем своей родины. Жиро явился собственной персоной, что же касается де Голля, то он здесь присутствовал символически: возможно, его представлял артиллерийский подполковник, бритоголовый и краснолицый, чей желтый, английского образца, планшет свидетельствовал, что артиллерист прибыл сюда из Лондона; быть может, авиационный чин, явившийся на церемонию, возложив на грудь раненую руку на перевязи; а весьма вероятно, генерал в дымчатом френче, высокий и чуть-чуть надменный, дипломат или профессор военной академии, чем-то напоминающий де Голля и, может, поэтому приковавший к себе смятенно-настороженные взгляды свиты Жиро и едва ли не убедивший всех, кто явился сюда, что старому вояке противостоит сейчас именно этот генерал. Кстати, у генерала в дымчатом френче тоже были свитские, при этом в звании не менее высоком, что уже недвусмысленно указывало: он это, он... Иначе говоря, два человека, глядящие друг на друга в упор, должны были делать вид, что не узнают друг друга. Даже если учитывать, что у каждого из них была за спиной школа самого изощренного из протоколов — французского, это было сделать нелегко. Благо еще, они не столкнулись на молу. Случись это — не разойтись! Но и на площадке было трудно: свита не столько разделяла их, сколько подталкивала друг к другу, а они не шли. Короче, только чудо уберегло каменную пряду мола от взрыва.

Как это бывало некогда где-нибудь в прованской или бретонской глуши, так и теперь воинственные птицы, расцвеченные алыми гребешками и перьями, полны были неодолимой решимости исклевать друг друга

в кровь. Впрочем, огонь был надежно запрятан в камне, огонь буйствовал в камне и, быть может, распирал его, но не был виден. Напротив, ничто не могло нарушить непобедимого холода и молчания.

У Жиро была округлая спина, округлая и чуть-чуть сутулая. Быть может, от этого он смотрел слегка исподлобья. Резкие и глубокие морщины, иссекавшие лоб и разбежавшиеся лучиками от глаз, казались глубже оттого, что лицо его было загорелым. Трудно сказать, как стар был этот загар: возможно, он наслоился в ту далекую пору, когда Жиро служил в колониальных французских войсках, а возможно, лег на лицо генерала уже теперь. Так или иначе, а от загара, не столько медного, сколько угольного, лицо Жиро казалось еще более изможденным.

Генерал в дымчатом френче был в сравнении с Жиро аристократически бледнолиц. Это был цвет не столько возраста, сколько касты. Вопреки возрасту, Жиро выглядел строевиком, таким колониальным воякой, чья все еще крепкая рука, сейчас затянутая в перчатку, точно была создана для того, чтобы держать эфес шпаги. Наоборот, весь вид генерала в дымчатом френче свидетельствовал: перед вами именно профессор, стремящийся постичь формы современной войны и соотнести их с принципами Гамелена и Шлиффена. И об этом свидетельствовало не только лицо его, но и его руки, вернее, рука, правая,— как-то особенно величественно и картинно он подносил ее к подбородку, и тогда было видно, как свежа и прозрачна кожа, какой аристократической голубизной отсвечивает она.

Генерал был моложе Жиро лет на пятнадцать, как, впрочем, и те, кто имел честь принадлежать к его свите. На пятнадцать лет, за которые Франция худо ли, бедно ли, но по восходящей сделала шаг от Пуанкаре к Блюму, нет, не к Даладьё, а именно к Блюму,— от Даладьё начинался новый круг, и шел он по нисходящей к Лавалю и Петену. Жиро не годился в отцы молодому генералу — разница в годах была слишком мала, да и разница во взглядах была не такой, чтобы можно было говорить об извечной несовместимости поколений, но идеалы Жиро существенно отличались от идеалов де Голля, то бишь генерала, а в конце концов, если и было во взглядах Жиро и генерала нечто непреходящее, а следовательно, существенное, то толь-

ко идеалы — только они, эти идеалы, могли дать представление о том, как принципиальна борьба и могут ли быть в этой борьбе компромиссы, а следовательно, шансы к примирению.

Если политическая родословная Жиро начиналась с Пуанкаре, то у общественной генеалогии голлистов были иные корни: республика, как она виделась тем, кто стоял у колыбели республиканской Франции. Да, республика, а поэтому французская суверенность, немислямая без союза с русскими. В том отнюдь не равнобедренном треугольнике, в который волею истории вписана французская суверенность, — Россия, Великобритания, Германия, — только союз с Россией гарантирует французскую независимость и государственность, при этом союз с новой Россией в большей мере, чем когда-то с Россией старой, ибо новая сильнее, следовательно — ответственнее.

Поэтому, будь на то воля Жиро и генерала в дымчатом френче, пожалуй, подобру-поздорову тут не разминуться. Но протокол, железный протокол велит улыбаться, и военные улыбаются. Ну, хотя бы вот этот пышноусый генерал от инфантерии в свите Жиро, чем-то похожий на маршала Жоффра, ничего не находит предосудительного, чтобы перемигнуться с молодым генералом в дымчатом френче, перемигнуться почти демонстративно, а затем даже обменяться с ним каламбурами, которые вызвали у одного и другого смех, правда, затаенный, чтобы не поколебать более чем солидных основ, на которых держался мол.

— Вот это тот самый генерал Жардан, я говорил вам о нем... — шепнул Бекетову Грабин — казалось, сам генерал помог Грабину начать разговор, которому сегодня суждено быть продолженным.

— Генерал Жардан, генерал Жардан... да не тот ли это Жардан, что атаковал немцев где-то у люксембургской границы, когда они пошли в обход линии Мажино...

— По-моему, тот...

Они ехали минут сорок по асфальтовой дороге, которая неярко светилась во многозвездной ночи. Потом сошли с машины и неширокой улицей вышли к бело-

стенному особняку, а затем к саду-плантации, достаточно необычному даже для здешних мест. Сад был расположен на дне открытой шахты, служившей для добычи щебня. Выбрав щебень, шахту не засыпали, а высадили апельсиновые деревья.

Генералу Жардану, которому был предоставлен этот особняк, imponировало, что он может рассказать историю сада. Он повел гостей в конец сада — отводя ветви, полные апельсинов (несмотря на позднюю пору, деревья были обременены плодами), генерал рассказывал. История сводилась к тому, что хозяин белостенного особняка, итальянец, видел подобные плантации в Сицилии — они разбиты повсюду, где велись раскопки и старые штольни не сровнены с землей. Эти сады-погребя хороши тем, что там апельсины созревают много позже, чем на поверхности, — для тех, кто владеет этими плантациями, нет межсезонья.

Рассказ о сицилийском саде был хозяину очень нужен, чтобы наладить беседу. Нет, дело было не только в том, что каждому из русских гостей хозяин давал возможность обмолвиться словом о саде-феномене, столь необычном для русского глаза, но и в том, что он позволил перебросить мост к главному.

— Как вам Африка? — спросил Жардан Бекетова. — Африканский зной — это почти так же неприятно, как зимняя стужа, не так ли?

— Не совсем, господин генерал, — возразил Бекетов.

— Возможно, возможно... — согласился Жардан поспешно: первая попытка завязать разговор не имела успеха.

— Но для французов, марсельцев или тулонцев жара ни о чем? — спросил Грабин, он полагал, что не все потеряно.

— Да, пожалуй... все от того, где ты родился! — нехотя отвечал генерал. — Я, например, родом из местечка, лежащего рядом с Каннами, — мне жара не в тягость, а вот генерал Жиро, хотя и прослужил половину жизни в колониальной Франции, нелегко переносит зной...

Вот и имя генерала Жиро названо! Неважно, что оно вызвало паузу, весьма долгую, главное — оно произнесено.

— Генерал служил в колониальных войсках?..— продолжил Бекетов, ему хотелось, чтобы этот факт из биографии Жиро, пока что единственный в устах Жардана, был уточнен.

Но француз понял вопрос пространнее, захотел понять пространнее.

— Что скрывать, до того, как закончится война, Франция должна еще раз скрестить мечи с немцами,— произнес он и оглядел собеседников. Как ни локален был вопрос Бекетова, он, этот вопрос, давал генералу возможность сказать многое из того, что он хотел сказать сегодня вечером.— Хотите вина, нет, нет, не алжирского, а французского...— он засмеялся, махнул рукой.— Французы даже в Алжире стараются пить французские вина. Привычка? Может быть, может быть... Итак, скрестить мечи вновь... Это будет достаточно серьезно, много серьезнее, чем было... Кто поведет французов — вопрос не праздный, отнюдь... Поверьте, я независим в своем мнении и могу ответить на этот вопрос, не оглядываясь... К тому же я солдат, что дает мне некоторые козыри, так сказать... Кто поведет французов?

Он умолк — теперь он мог себе позволить это: первое звено разговора образовалось. Он молчал, разливая вино — оно было терпким и холодноватым, пилося легко, утоляя жажду. Несмотря на то что сицилийский сад расположен на глубине не менее трех-четырёх метров, там было сухо даже в вечернее время. Ваза, стоящая на столе, была полна винограда и яблок, крупных, ярко-белых, напоминающих белый налив. В этом мире citrusовых яблоки были не так обычны.

— Тот, кто поведет французов, должен обладать качествами, которые позволили бы моим изверившимся соотечественникам сказать: я ему верю...— Нет, не вино, которое он пил, будто дегустируя, небольшими глотками, а азарт беседы разгорячил его: он покраснелся.

Сергей Петрович готов был простить Грабину все его слабости — переводил он артистически. Бекетов, который шел к французскому от английского и знал его, как знают институтские профессора, не столько разговорно, сколько в чтении, полагал, что Аристарх Николаевич познавал язык в семье. Бекетов даже убедил себя в том, что знание французского в семье Гра-

бина было преемственно и незримая ниточка вела из дней нынешних в глубину прошлого века, а может, даже века восемнадцатого, к далеким прадедам Грабина, которые могли быть и особами сиятельными... Непонятным было только одно: каким образом предки, передав своему далекому правнуку из века восемнадцатого в век двадцатый свои таланты в знании языков, непредвиденным образом забыли передать остальное?.. Но язык Аристарх Николаевич знал и обращался к нему не без удовольствия: тот самый элемент игры и импровизации, который, как казалось Бекетову, есть во французском в большей мере, чем в каком-либо ином языке, особенно был замечен, когда говорил Грабин.

— Это должен быть человек, которого Франция знает,— первое,— продолжал Жардан.— Именно знает, а это не так мало! Это должен быть солдат, да, солдат, ходивший в атаку на немцев и в ту войну и в эту... Иначе говоря, его должны знать и народ и армия... Я — солдат, и я понимаю: последнее обстоятельство — армия! — очень важно... Конечно, в нашей практике были случаи, когда министром вооруженных сил назначался человек в партикулярном платье, но это к добру не приводило!.. Итак, два требования, да и кандидатов, как мне представляется, два... Но на ком остановить выбор? По-моему, не обязательно произносить имена. Как вы полагаете?

Жардан прервал разговор, когда он коснулся сферы деликатной. Продолжать его было небезопасно, но необходимо... Не следовало забирать инициативу разговора из рук Жардана — пусть рассказ ведет он, пусть даже продолжает ставить вопросы. Казалось бы, начальная скорость его рассказу сообщена и остановка нежелательна. Остановишься и — рухнешь. Но он едва не остановился.

— Да, народ, но по нынешним временам народ вооруженный... — произнес Бекетов — он мог разрешить себе сделать такое замечание. Оно было не обнажено, это замечание, но все, что следовало сказать, в нем предполагалось.

— Вы хотите сказать, что судьбу Франции решит не только армия, но и народ, вооруженный народ? — переспросил Жардан — он пытался нащупать суть вопроса, и, кажется, ему это удалось. — А у вооруженно-

го народа должен быть и соответствующий лидер? — произнес генерал. — Да, ядро вопроса сейчас было в его руках, он все понял. — А не думаете ли вы, что и для этой роли он не совсем подходит?.. — Видно, трудно было продолжать этот разговор, не называя имен. Казалось, Жардана вот-вот прорвет и он скажет: «Ну, разумеется, я говорю сейчас о де Голле... как прежде говорил о Жиро!» Но он зарекся называть имена и хотел довести этот разговор, не нарушив обета. — В самом деле, что в нынешних французских условиях есть вооруженный народ?.. Маки! А что есть маки?.. Коммунисты! Я не склонен умалять достоинств, которые столь явны: ну, например, интеллигентности и даже интеллекта, но в данном случае требуется иное... — Ему стоило труда произнести все это, не назвав имени, но он справился и с этой задачей.

— Непонятно, генерал, что требуется в данном случае? — спросил Бекетов: по мере того как разговор приближался к сути, напряжение росло.

Жардан допил свой бокал, и его щеки, казалось, восприняли цвет вина — они стали гранатово-бордовыми.

— Надо иметь большую фантазию, чем у меня, чтобы увидеть... профессора во главе маки... — не сказал, а пробормотал Жардан (он не без труда отыскал этот псевдоним: «профессор») и, оглянувшись на Бекетова, произнес поспешно: — Нет, нет, я не сказал, что генерал Жиро требует меньшей фантазии...

Он встал, — вечерняя влага, идущая с моря, проникла и в сад — сейчас здесь было так же красиво, как в начале вечера, но уже не так уютно, — Жардан пригласил в дом, кстати, там был накрыт стол к ужину.

— Ну, я не раскрою никаких секретов, если скажу, что усадьба моих родителей была в нескольких километрах от родового дома де Голля, — произнес он, поднимаясь, и, как это было несколько раньше, ссутулившись, пошел через апельсиновый сад. — Наши отцы были дружны и выбирали будущее сыновьям, советуясь друг с другом. Я скажу больше: пробовали даже дружить мы, но характеры!.. — он засмеялся так громко, что казалось, плоды в сицилийском саду качнулись.

— Всего лишь характеры? — спросил Бекетов.

— Да, именно характеры, и это немало, — ответил Жардан.

Он остановился — до особняка оставалось метров пятнадцать, и, хотя ночь была совершенно безлуна, белые стены в разрывах деревьев были мелово-туманны, как на ночных пейзажах Куинджи.

— Не знаю, был ли брошен жребий или нет, но дело уже дошло до рукопашной — полетели головы!.. — вымогнул генерал — он продолжал стоять, давая понять, что разговор не окончен. — Упаси господи попасть в эту мясорубку даже в нашем скромном положении солдат! — он произнес последнюю фразу не без воодушевления — видно, он запасся ею, этой фразой. В самом деле, если есть шансы отстоять позиции Жиро, он готов обратиться к доводам действенным; если эти доводы недостаточны, он готов мигом превратиться из политика, влияющего на дела страны, в солдата. О, это перевоплощение всесильно — оно, казалось, было способно спасти даже Дарлана, был бы чуть-чуть прозорливее. — Это как раз тот случай, когда казнь не истребляет и не устрашает, а родит новых... Они повсюду со своими пистолетами! — он зябко повел плечами, обернулся, не померещилось ли ему, что из апельсиновой полутьмы целится убийца Дарлана?

«Нет, наверно, не только характеры разделяют сторонников де Голля и Жиро сегодня, — думал Бекетов на обратном пути, когда машина неслась к городу. — Но то, что характеры обрели значение, которого они в принципиальном споре никогда не имели, свидетельствует, что разногласия существенны...»

Русское радио сообщало военные новости в одиннадцать по московскому времени. Как ни тяжел был минувший день, все, кто бодрствовал в посольстве, собрались к Шошину — его «Филиппс» был безотказен, как, впрочем, и сам Степан Степанович. Ну, разумеется, рациональный Шошин слушал радио, не прекращая работы: правил гранки, читал вечерние газеты, конечно же, записывал все значительное, что передавало радио Москвы, записывал лаконично: название места, дату, режиссуру — формулу, которой определено главное событие. Ему было легко заниматься вторым делом, так как он

не тратил сил на восприятие новости, как бы значительна она ни была. Шошин всего лишь вздыхал да, пожалуй, быстрее, чем обычно, выкуривал очередную папиросу, устилая обильным пеплом лежащий перед ним лист бумаги, на котором характерным шошинским почерком, разумеется «полупечатным» с такими четкими «р» и «т», вдруг было выписано: «Ростов-Дон».

Бекетову стоило труда дослушать радиосообщение — он оставил Шошина, направился в дальний конец коридора, где была рабочая комнатка Екатерины — она не возвращалась домой раньше мужа.

— Ты слыхала? Наши Ростов взяли! — крикнул он ей с порога, увидев, что, взобравшись на стул, она пытается дотянуться до форточки и закрыть ее.

— Ты бы подождал, пока я сойду со стула, — произнесла она едва слышно, и ее рука остановилась.

— Закрывай, я помогу тебе сойти, — устремился он к ней и, так и не дождавшись, пока она захлопнет форточку, подхватил ее, вдруг изумившись, как она легка. Да, с той далекой поры, когда где-то у Шлиссельбурга, а может, у Стрельни он, перебираясь через ручей, взял ее на руки, маленькую, неожиданно невесомую девочку — ей было тогда шестнадцать с половиной, — он не поднимал ее и не помнил, как она легка.

Его точно кто-то толкнул под сердце — стало невыносимо жаль ее. Сразу подумалось, как ей было худо, когда, оставшись одна-одинешенька, она коротала свое житье-бытье на Остоженке, как жила на свои двести граммов черного хлеба и на соевом масле, как уходила в щели и подвалы, подхватив сына и голубое байковое одеяло, как скиталась по подвалам соседних домов, а когда бомбежка застигала ее в городе, спускалась в ближайшую станцию метро, а потом шла по шпалам от Белорусского до Калужской и дивилась, много раз дивилась, как долог был этот путь. Все это вспомнил Бекетов сейчас, и так сжалось сердце, что, казалось, не выпрямиться, не повести плечом, не шевельнуть пальцем.

А потом они сидели рядом, неожиданно окаменевшие, и она говорила:

— Ну, уж теперь Ростова не отобьют, не отобьют!.. Сорок третий не сорок второй!.. — Она умолкла, но с места не сдвинулась — хотела додумать нелегкую свою думу. — Доживу я до такого времени, чтобы слово мое

было услышано и обращено в дело? «Я, Екатерина Бекетова, сорока шести лет от роду, свидетельствую...»

— Что же ты засвидетельствуешь?

— Что засвидетельствую?..— Она склонила голову, точно мысль, явившаяся сию минуту, сделала ее голову тяжелой.— Слушай меня... В августе сорок первого, когда «хейнкели» приходили в Москву как на дежурство, а я весь день ждала этого часа и думала, как уберегу своего ребенка, в один из этих августовских дней, а вернее, вечеров мы ушли с Игорем на станцию метро... Там еще стояли эти койки деревянные, на которой мать, если она не больше меня, могла уместиться со своим детенышем. И вот в эту ночь я услышала разговор, который помню и теперь. В вопросе, который задала девочка матери, было что-то не просто ребячье, а ученическое, но ученическое с немалым смыслом,— видно, накануне об этом шла речь в школе. Девочка спросила: «Нет, не сейчас, мама, а после победы, что будет для тебя хорошим и что плохим?» Не помню, что ответила мать, но это, наверно, не важно: в сорок первом было до победы много дальше, чем сегодня. Мне запомнился вопрос девочки, возможно, потому, что я услышала его в ту ночь, а быть может, и не только поэтому. Даже наверняка не только поэтому — сущность того, что есть наша тревога сегодня и, может, завтра, я вижу в этих словах.

— Наша тревога и наша забота: победа? — спросил Бекетов.

— Победа будет, а вот за победой... что за победой?

— А что за победой? — спросил он.

— Что за победой? — повторила она.— Человек.

Он смолчал: Екатерина!.. Вот итог ее раздумий.

— Человек?

— Да, человек...— подтвердила она.— То большое, что он призван сделать в этом мире, что хотел сообщить всей сути его наш учитель... Я хочу подчеркнуть это: наш учитель...

Бекетов чувствовал, как волнение, необоримое, овладевает и им: что-то насущное ему почудилось в том, что она сказала сейчас,— был в ней этот совершенный инструментик, который безошибочно вел ее к существованию.

— Ты сказала: призван сделать?

— Да, именно призван, Сережа.— Его внимание бы-

ло и ей приятно, она смягчилась, а это, наверно, сейчас было для нее важно, так как дало большую уверенность в себе, а следовательно, большую свободу мысли. — Как я понимаю это призвание, Сережа?.. В дни Октября наш человек отважился на великое: изменить сам каишат земаи, подвинуть людей к свободе... Создал Республику Советов — то был первый день творчества. Одержал победу в войне — по мне, это и есть вторая заря... А что есть день третий? Ты со мной можешь не согласиться, но вот что я думаю... День третий — это сама наша страна, как о ней мечтали предтечи революции. Помнишь у поэта: «...и трижды, которое будет!» Прости меня, но Октябрь совершился, Октябрь совершается, да, да, создав страну, которую задумали эти самые предтечи, мы и совершаем Октябрь. Но кто создаст эту страну, если не человек? Поэтому нет у нас тревоги большей: человек!.. Его зрелость, а следовательно, сознание, его интеллект, его жизненный и профессиональный опыт, его способность к труду... Поэтому на первый вопрос: «Что будет для тебя, мама, хорошим?» — я отвечаю: «Способность сделать человека Человеком». Можешь со мной не согласиться, но значительными людьми послевоенной поры должны быть те, кто воспитывают человека и в самом широком смысле этого слова могут быть названы педагогами, будь то школьный преподаватель, библиотекарь, университетский профессор, райкомовский лектор, выступающий перед массами... Да, да, я не побоялась бы из людей убежденных и талантливых создать институт ораторов, идущих к народу с большевистским словом и поднимающих народ... Вот моя мысль: реальная ценность нашего человека, количество драгоценного металла, которое в нем есть, если за этот драгоценный металл принять его человеческую чистоту и его верность нашим принципам, должно быть таким, чтобы это соответствовало самому смыслу того, что есть Советский Человек...

Он взглянул на жену и изумился: вдохновение, которое сейчас владело Екатериной, помогло ей прогнать и усталость и хандру. События случилось чудо: к ней вернулась мелодость.

— Но ты этого человека не создашь, Екатерина, не победив плохого... — заметил Сергей Петрович. — Кстати, об этом плохом и шла речь... во второй части вопроса.

— Ты хочешь знать, что я имею в виду, разумея плохое? — спросила Екатерина воинственно. — Изволь!.. Не хочу быть прорицательницей, но есть грибок, я наблюдала его рост даже после войны гражданской... Это страсть, бешеная страсть к накопительству, которая убивает и сознание и душу, не говоря уже об интеллекте, ибо что есть накопительство, как не эгоизм, который пожирает все живое... Да, первым гибнет тот, кто продал душу дьяволу накопительства: как говорил наш институтский профессор, есть алтарь, где гражданин превращается в обывателя — однажды и навечно, это алтарь собственнической страсти. Это превращение тем более заразительно, что оно поощряется иллюзией: человек гибнет, не сознавая этого, больше того, чем он ближе к роковой черте, тем у него вернее ощущение, что он живет лучше..

— Погоди, с какой стати ты заговорила обо всем этом? — усмехнулся он. — Немцы еще на нашей земле, да насущно ли это для нас?

— Насущно, как насущно все, что относится к победе, — ответила она.

— Ты считаешь, что это имеет отношение к победе?

— Самое прямое.

...Человек рядом с тобой, и нет человека неизведаннее, думал он. Было в ней что-то шошинское, жестоко-привередливое, неудовлетворенное, взывающее к совести и ответственности... Ничто не могло смирить ее беспокойства, утишить ее тревоги. Ей нельзя было отказать в знании жизни — этот ее музей, под невысокими потолками которого скрещивались пути тысяч, являл ей такие тайники нашей жизни, какие и Бекетову были неведомы, хотя Сергей Петрович жизнь знал... Остальное в самой природе человека: ей казалось, что даже в Бекетове, вопреки всем его бедам, жило нечто усыпляющее его зоркость, остроту его гражданского зрения. А сказав себе это, она вечно была начеку, сделав своим призванием вот эту тревогу и эту неудовлетворенность. Наверно, ограничив себя этими пределами, она в какой-то мере лишила себя радости жизни... Пафосом ее земного существования были отрицательные эмоции, а на этих эмоциях человек жить не может — природа требовала иного. С жадностью, которая была свойственна ее натуре, она обращалась к музыке, ра-

дось была там... На ее рабочем столе всегда была стопка вырезок с программами симфонической музыки — она шла на концерт, как на богослужение, и возвращалась просветленной... Она должна была нести в себе эту музыку и все жаловалась на то, что «музыка в ней источилась» и ее не хватает до следующего концерта... И тогда она начинала рыться в газетах, отыскивая программу нового концерта, и стопка вырезок на ее рабочем столе росла. Как заметил Бекетов, вернувшись с концерта, она чуть-чуть сторонилась Сергея Петровича: она была не от мира сего. Она говорила, что музыка помогает ей уйти в себя и послушать свои мысли. Послушать мысли?.. Она всегда была с ним откровенной, но он мог и не знать, какие токи пронзали ее, когда она уходила в себя, какие слова шептали ее губы, что у нее было на сердце... В ней жил вечный порыв к самоусовершенствованию... Была в ней еще одна страсть, с каждым новым днем ее жизни в Лондоне все более явная: язык... Ей нравилось учить язык, больше того, это ей доставляло удовольствие. Было нечто общее между ее увлечением музыкой и изучением языка. Она даже убедила себя в том, что в самой природе того, что являли собой музыка и язык, была некая нерасторжимость: обширность самого предмета, богатство и непредвзятость нюансов, дававших удовлетворение чувству... Иногда язык ей казался музыкой, правда, не столько его физическое звучание, сколько многосложность его внутренних ходов, то, что можно назвать сутью языка, его смыслом...

Эндрю Смит, книгоиздатель с Пиккадилли, устроил выставку книжной гравюры, пригласив на вернисаж Михайлова и Бекетова.

Михайлов попросил Бекетова представлять у Смита советское посольство.

— Не уклоняйтесь от контакта со Смитом да скажите о вашем впечатлении, — сказал Михайлов, напутствуя Сергея Петровича. — Личное впечатление может все изменить...

Предприимчивый Смит созвал на вернисаж много гостей.

Еще у подъезда Сергей Петрович обратил внимание на стадо «роллс-ройсов», дремлющих под охраной молодых людей в штатском, — верный признак, что дом осчастливлен посещением лиц не просто привилегированных, а достаточно официальных. Опытному глазу многое может рассказать гардероб, но в данном случае, кроме большого количества конфедераток, что указывало на присутствие в доме польских военных, Бекетов так ничего и не обнаружил, хотя должен был обнаружить больше — количество «роллс-ройсов», окруженных людьми в штатском, указывало на это достаточно определено.

Бекетов разделся и, вступив в пределы выставочного зала и по привычке разыскав взглядом хозяйку и хозяина, был немало изумлен, увидев рядом с ними Идена. Наверно, смятение, которое охватило в это время Бекетова, заметила хозяйка — она оставила имени того гостя и пошла к Сергею Петровичу.

— Вы, конечно, знакомы с господином Антони Иденом, господин Бекетов? — сказала она, приветствуя Сергея Петровича, и в знак особой приязни протянула ему сначала одну, а вслѣд за этим вторую руку.

Выставка представляла работы художников, которых книжный дом Эндрю Смита привлекал к иллюстрированию своих изданий. Видно, это был достаточно широкий круг мастеров графики — экспозиция была большой и, кстати говоря, хорошо организованной; Смит решил эту задачу в духе своего издательства: если и был тут расчет, то он нелегко обнаруживался — убеждала добротность того, что показал на выставке Смит. Это прежде всего относилось к работам, иллюстрирующим английскую классику. Не обойдена была и классика мировая, при этом (и тут как раз Смит выдавал себя) особенно полно — русская... Не без влияния издательства, представленная на выставке графика была чуть-чуть академической, хотя это могло быть определено и подлинниками. Академизм держал художников в известных рамках, это, можно было подумать, мешало графикам обнаружить свою манеру и делало работы чуть-чуть однообразными. Такому ценителю современных школ в изобразительном искусстве, каким считал себя Иден, это, очевидно, было особенно заметно. Так или иначе, а выставка получилась интересной и по именам графиков, и по уровню мастерства, доста-

вив всем, кто откликнулся на приглашение издательского дома, много радости.

Для Идена выставка была событием отнюдь не протокольным — его действительно интересовала графика... Он подолгу останавливался у каждой работы, стараясь рассмотреть ее в разных ракурсах, досадуя, поднимая глаза к рефлекторам, полагая, что они слишком резки и огрубляют рисунок. Он затратил на осмотр выставки больше времени, чем остальные посетители, хотя и не очень был щедр на комментарии, обратив внимание на две-три черно-белые картины. Именно черно-белые, и это было неожиданно, так как англичанин коллекционировал работы импрессионистов и ценил в художнике колориста. Внимание Идена к выставленным работам польстило хозяину, он представил ему и Бекетову некоторых художников, а затем, улучив минуту, пригласил английского и русского гостей в синюю комнату, заметив, что там зажжен камин и есть некрепкое вино.

Только дальтоник мог назвать комнату, в которую хозяин привел своих гостей, синей — она была лиловой, больше того, сиренево-лиловой. Иден предложил русскому гостю расположиться у камина.

— За Сталинградом последует Северная Африка, — сразу начал Иден.

— В этом смысл Касабланки, господин министр? — спросил Сергей Петрович.

— Да, мне кажется, в этом, — согласился Иден.

— Но ведь уже февраль, господин министр, — возразил Бекетов. — Насколько мне известно, Африка приурочена к февралю?

Иден положил руки на колени, — казалось, блики, что легли от камина, впитались в кожу — она розовела.

— Да существенно ли смещение в несколько месяцев? — спросил Иден. — Как свидетельствуют стратеги, важно, чтобы удар следовал за ударом...

— Ну, если говорить о стратегах, то они утверждают несколько иное...

— Что именно?

— Они полагают, что нет для врага положения страшнее того, когда на него обрушиваются удары одновременно... В этом случае враг лишается возможности перебрасывать силы с фронта на фронт...

— Вы хотите сказать: Сталинград и Африка должны были возникнуть одновременно?..

— В этом случае, господин министр, враг испытал бы такой удар, какой он наверняка не испытает в иных обстоятельствах... Или вы полагаете, что враг исчерпал себя? Он недостаточно силен?

— Нет, он силен, но лишен возможности питать один фронт за счет другого...— произнес Иден и тут же заметил: — Так говорят военные.

— Наши военные говорят обратное,— заметил Бекетов.— И у меня нет оснований им не верить.

Иден испытал неловкость — его положение в этом единоборстве было тяжелым. Казалось, нужен был довод, спасительный, чтобы победить неловкость. Нельзя было заканчивать разговор, не найдя этого довода.

— Нет, в этом есть нечто парадоксальное, господин Бекетов!..— Он не торопясь снял с колена руку, протянул, сжав и разжав кулак, точно натягивая перчатку.— Если верить вам, то получается, что английская армия заинтересована в том, чтобы до того, как она пойдет в атаку, немцы имели бы достаточно времени перебросить в Африку резервы и укрепить свои порядки...

Вот он, празднично-картинный Иден! Не так уж он празден, если способен обратиться в трудную минуту к такому доводу!

— Как всегда, англичане верят своей разведке. Господин министр полагает: переброска немецких войск на восток возможна, в обратном направлении — нет?

— Квадратура круга!— заметил Иден — ему было удобно закончить разговор этой фразой.— Как в шахматах: «патовая» ситуация, которая не сулит ни одной из сторон победы... Ну что ж, бывает и так.

Он встал, давая понять, что хотел бы поставить в беседе точку.

Иден уехал.

Что хочешь, то и думай: Иден явился на вернисаж для того, чтобы посмотреть книжную графику или чтобы уединиться с кем-нибудь из приглашенных русских в синей комнате и сказать то, что он успел сказать Бекетову?

Это загадка, но загадка и... для понимания Эндрю Смита. Кстати, вот он, собственной персоной. Миссис Эндрю Смит в сравнении с мужем — чудо природы: и

рост, и стать, и манеры, а уж голос!.. А что можно сказать о мистере Смите? Даже не рыжий, а какой-то рыже-сивый, и эта рыжеватость распространилась и на глаза. И весь он — круглый, красный, едва ли не киселеобразный. Да и в говоре у него эта киселеобразность: слова обмякли и расползлись, вот-вот потекут... Непонятно только одно: откуда эта железность в планах и делах?

— Мистер Бекетов, я знаю, что вы не хотите передавать русские книги в одни руки, даже в такие верные, как эти, — он не без труда нашел это определение «верные» и в доказательство протянул Сергею Петровичу руки-помидоры. — Нет, я не требую от вас ответа на мой вопрос. Я сказал вам об этом, чтобы вы знали, что и я над этим думаю. Благодарю вас за посещение и хочу вас видеть у себя и впредь...

Миссис Эндрю Смит, стоящая рядом с мужем, улыбнулась Сергею Петровичу, точно давая этим понять, что она присоединяется к приглашению.

Нельзя сказать, что встреча с Эндрю Смитом и его супругой позволила Сергею Петровичу составить определенное впечатление о книгоиздательском деле и супружеской чете Смит.

Бекетов был разбужен в восьмом часу: Лондон сотряснулся от колокольного звона. В этом звоне, торопливом, сбивчивом, была, как показалось Сергею Петровичу, радость... Точно захмелевший звонарь, у которого силы вдруг прибыло, пустился на своей заоблачной колоколенке в пляс, и звонкоголосая медь, как могла, попевала за ним.

— Что там такое, Игорек? — спросил Бекетов сына, который, покончив с утренней яичницей, укладывал книги в ранец.

— Мама сказала: победа в Тунисе...

Бекетов сбросил одеяло, встал. Значит, в Тунисе? Пожалуй, первая крупная победа англичан на суше... Не та ли, которая в равной мере была необходима и командованию и войскам перед вторжением? Только так, только так... Иначе какой смысл в этом колокольном звоне, откровенно ликующем, почти пасхальном?

На Кузнецкий словно перекочевал Китай-город с его книжными развалами. Книги, перевязанные шпагатом и шелковой лентой небесной синевы, старательно сложенные в эмалированное ведро и бельевую корзину, книги под мышкой и на ладони, под локтем и на плече, книги в коже и дерматине, в сафьяне, бархате и ледерине, книги, украшенные масляными и винными пятнами, как гербами и медалями, книги, напитанные многосложными запахами, в которых отслоились нелегкие повороты нашей недавней истории...

Книжный базар на Кузнецком воспринял перемены политической и всякой иной погоды — без этих перемен книга, пожалуй, была бы не так желанна.

Наркоминдельцы, поспешающие на рысях в наркомат, прежде чем на пределе заветных девяти часов достичь площади Воровского, должны форсировать книжную преграду. Как ни дефицитны драгоценные минуты (время на ущербе), а ухо наркоминдельца на макушке. Того гляди, смахнешь со лба мыльную пену и переведешь дух: что это?

— Дневник графа Ламздорфа в издании «Академии»! — возвещает дама в чепчике из гаруса. — Российский министр о тайнах царской дипломатии...

— «Смоленская дорога» — книга американца Колдуэлла о событиях сорок первого года, — откликается старик в вельветовой куртке. — Вышла по-английски!

— «Изгнание Наполеона из России» — записки, письма, анекдоты, пословицы в одном томе! — возглашает старушка в плюшевом салопчике.

— Первая и единственная история дипломатии — издана в самый канун войны, — басит парнице в черной кожанке.

— Тарле... «Нашествие Наполеона на Россию»! — вторит ей плюш.

— «Свод распоряжений Российского министерства иностранных дел» — издано для дипломатов! — сообщает вельвет.

— Тарле, «Крымская война», — отвечает кожа.

Надо иметь каменное сердце, чтобы преодолеть книжный оазис, не замедлив шага и не остановившись. Нужно отдать должное тем, кто раскинул здесь свои книжные сокровища, они точно следуют времени. Кни-

ги, появившиеся на Кузнецком, незримо отражают сегодняшнюю сводку, больше того, они идут дальше сводки, предсказывая, каким может быть военно-политический календарь завтра.

А календарь готов учесть перемены наиважнейшие: всё зримее контуры летней битвы сорок третьего года, битвы, которая должна лишить врага последнего шанса. В середине апреля Ставка определила замысел и главные пути грядущей баталии. Разговор был особо доверительным, а поэтому узким предельно. Итоговая формула осторожна: Курск... Замысел: перейти к преднамеренной обороне, истощить противника, завершив тур этих боев наступлением, едва ли не всеобщим. Не надо быть большим стратегом, чтобы угадать в этом замысле прообраз Сталинграда.

Бардин приехал в Ясенцы, когда дом спал. Бодрствовал один Иоанн.

— «Кутузов, как все старые люди, спал мало...» — засмеялся Егор Иванович, входя к отцу. Бардин знал: с некоторого времени Иоанн повторял эту толстовскую фразу не без удовольствия — то ли похвалялся своей любовью к Толстому, которая, впрочем, не требовала доказательств, то ли своей старостью.

— Хлопот, будто у Кутузова перед Бородином, — если даже и хочешь, то не уснешь... — Иоанн, встав из-за стола, пошел к двери, давая понять сыну, что хотел говорить с ним вне дома. Огибая стол, он выдвигал больную руку чуть-чуть вперед, точно оказывая ей почтение, позволяя ей пройти в дверь первой.

Они вышли из дому и тропкой, которая отсвечивала в негустой апрельской траве, прошли к скамеечке, укрытой под тремя березами.

— Ты что же, блюдешь тайну? — спросил Иоанн, усаживаясь с нарочитой скромностью на самый край скамьи и приглашая сына сесть рядом. — Собрался в дорогу и... молчок! Далеко собрался?

Бардин сел: ну конечно, его поездка была для Иоанна только поводом к разговору. Они, эти бардинские поездки, даже самые сложные и внезапные, не очень-то трогали Иоанна — не в них дело.

— Ну, предположим, собрался в дорогу, — согласился Бардин. — Об этом сейчас речь?

— И об этом!.. Отец я тебе?

Бардин засмеялся.

— Отец, отец... — согласился он снисходительно. — Однако говори то, что хотел сказать... Не томи — этак и ооченеешь на апрельском ветру...

— Нет, я не дам тебе ооченеть: внемли, отрок неразумный.

— Внемлю.

Иоанн вздохнул: надо, пожалуй, и дух перевести, и с силами собраться.

— У меня зарок: твои сердечные дела меня не касаются! — произнес он, помедлив. — Женись ты хоть на Красной Шапочке — мое дело сторона!

— А что же тогда... твоё дело?

— Дети!

Вот теперь Бардину действительно стало холодно.

— Пойдем в дом?

— Нет, зачем же! Договорим здесь.

Бардин развел руки: раз, два... Нет, так тепла не наберешься...

— Это как же понять «дети»?

— Сережка пробыл в Ясенцах, почитай, восемнадцать дён, так все восемнадцать просидел в своей каморке от зари до зари — не от великой же радости он сидел там? А младшее твоё дитя... да у тебя глаза есть или нет? Или при её глазах (он с особым удовольствием выговорил это «её») твои ничего не видят?..

Бардин молчал — справа, на уровне островерхой ели, пламенел Марс, но пламя его казалось дымным, точно звезда, догорев, тлела.

— Погоди, я тебя что-то не пойму. Не ты ли мне говорил, что Ольга вначале прикипела к моим детям, а потом уж ко мне? Да кто любил их больше её? Ты любил? Нет, скажи: ты?..

— Э, бессмысленная твоя голова! То было вчера, понимаешь: вчера! А я говорю, что есть сегодня!

— А разве это не одно и то же?

— Нет, конечно. Знаешь, она натура... нерасторжимая. Все, кто с тобой, — против неё. Даже тот, кто был с тобой вчера и кого нет сегодня...

— Ксения?

— Да, она сказала мне позавчера: «С нею он не был счастлив». Пойми: никогда не говорила, теперь сказала. Ну, неживые... они немые, кто за них взывает, а во

живые... они, пожалуй, не дадут с себя шкуру содрать — больно!

— Нет, погоди, ты меня не пугай...— едва не воскликнул Бардин.— Ну, предположим, душу ее смутил сатана, так мы того черта вилами в бок!

— А черт тот не дурак... Может быть, ты его, а может, и он тебя! — ответил Иоанн.

— Да и утро вечера мудренее... — молвил Бардин и решительно зашагал к дому, но, приблизившись к крыльцу, оглянулся: отец не последовал за ним.— Ты идешь или нет?

— Вот и я говорю: утро вечера мудренее,— откликнулся Иоанн.— Да только утро это дальше, чем ты думаешь. Пока оно настанет, как бы ты, как в той песне поется, бабе не уподобился...

Но Бардин вошел в дом еще до того, как Иоанн произнес последние слова, поэтому их обидное значение его миновало.

Пока отец с сыном говорили в саду, Ольга управилась по дому, да и стол успела накрыть. На шипящей сковороде уже жарились оладьи, а в алюминиевом чайнике заиграл кипяток.

— Вот тут я теплой воды согрела, дай я тебе солью, Егор...— Она поливала в охотку и все норовила дотянуться белой ладонью до его косматой руки.— Воды не жалей — у меня ее много.

А подавая полотенце, улучила момент и сама вытерла им шею Егора, вытерла тоже в охотку. И в этом движении ее рук было нечто волшебное: сколько сил потратил старый Иоанн, чтобы посеять сомнение в душе Егора, а она всего лишь коснулась его шеи ладонью и разом сняла всю эту муть. И стало даже жутковато: борьба-то неравна. С одной стороны Иоанн с Сергеем да Иришкой, а с другой — Ольга, и сила — у Ольги. Иоанну нужен замах, а Ольге движение мизинца. Но дело же не в Ольге, а в Егоре, Егоре. Неужели его так ослепило ее бабье могущество, что он утратил способность отличать правду от лжи? А есть ли она, ложь?..

— Погоди, а отец ел?

— Ну конечно, ел... А если бы и не ел? Дай мне побыть с тобой вместе!.. Я уже забыла, какой ты. Ну, ешь свои оладушки и пойдем. Ну, не мешкай, пойдем, пойдем... Ах, господи!

В спальне пахло чем-то чистым и домовитым... В этом запахе было что-то от ее неяркой улыбки, от ее черно-рыжеватых в расчесе волос, от ее тела, на веки вечные засмугленного, крепко сбитого. Странно устроена жизнь: ну нельзя же сказать, что Бардин соединил свою судьбу с Ольгой потому, что жить без нее не мог. Разумеется, все произошло с его согласия, но это, пожалуй, было согласие разума, а не сердца. Именно разума: Бардин словно выполнял завет Ксении. Нет, Ксения ему ничего не говорила, но он слышал ее голос: сколько бы ни было детям лет, им нужна мать. Он брал не жену, он брал мать своим детям. А потом свершилось непонятное: эта женщина будто втекла в него... Господи, да любил ли он когда-нибудь так? Наверно, все свершила ее молодость, ее тридцать два года. Или нет? Что-то было в ее любви беззаветное, напрочь все отметающее, и это побеждало. И потом ее готовность все сделать для него. О таких, как она, говорят: цельная натура. А может, все было в ее радушии, — у нее не было плохого настроения. А возможно, в здоровье или в умении казаться здоровой. У нее хорошо действовали центры, сдерживающие боль: даже тогда, когда иные стонали, она улыбалась или, по крайней мере, старалась не стонать. Но вот задача: все это в ней было от природы или от ума? Иногда ему казалось: был в ней некий расчет, бабий. Знает, где быть открыто-радушной, даже бездумно щедрой, а где зажать сердце в кулак... Но Бардину не хотелось думать о ней худо. Поверить отцу — значит расстаться с любовью, а это уж было совсем ни к чему. Он и прежде, свыкшись с мечтой, умел беречь ее. Он верил своему чувству: когда любишь, надо ли оглядываться? Он прочь гнал все плохое, даже теперь, когда вдруг вторгся Иоани. К тому же он так верил в себя и свое всемогущество, что всякие опасения ему казались нелепыми: сильнее кошки зверя нет? Чепуха!..

В этой спальне все было похоже на нее: культ холодных простынь. Окна настежь, так что от холодной влаги зеркала вспотели, но зато все белоснежное, твердо-крахмальное, напитанное запахами ясенцевского сада, — почитай, белье сушила на ветру. И в хрустальном стакане — первый нарцисс.

— Да запахни ты окна, запахни — выхолодила дом! — взмолился Бардин и едва не отступил из спаль-

ни.— Ты вроде нарцисса,— упер он глаза в цветок, стоящий на туалетном столике,— цветешь на снегу.

Она вскинула голову:

— Жизнь с тобой — мороз?

Рассмеялась — ей было лестно это сравнение.

— Не замерзну и тебе замерзнуть не дам.

Поугру, провожая на работу, а заодно и в дальний путь (он предполагал выехать на аэродром с Кузнецкого — самолет уходил в полночь), Ольга спросила его:

— Кого оставишь вместо себя?

— В наркомате?

— А где же? — рассмеялась она.— Не здесь, разумеется!

— У меня заместителем Хомутов... А что?

Ей не нравился Хомутов, по его рассказам, естественно. Утверждает себя в непрерывных возражениях, и чем больше народу вокруг, тем он упрямее. Иногда возражает по инерции... Очевидно, считает, что согласиться с начальством — значит поступиться своей независимостью. Но откуда это? Не хочет ли он сказать этим: «Пока вы тут загорали под ласковым солнышком Кузнецкого моста, мы били немца». Не похоже. О фронте он вообще ничего не говорит. Даже как-то осек дружка из Протокольного отдела, который в деловом споре апеллировал к своему военному званию, которое было чуть-чуть выше дипломатического. «Нам об этом не обязательно знать...» — сказал Хомутов, мрачней... Но как все-таки одолеть его хроническую страсть к возражениям? Сказать прямо? Чего доброго, даст понять, что ты хочешь подавить в нем критическое начало. До сих пор Бардин полагал: любую предвзятость можно победить доброй волей. А как тут?..

— Не боишься Хомутова? — спросила она.

— А чего мне бояться его? — произнес он так, будто бы все то, что ее настораживало в Хомутове, было вызвано не его рассказами.— Он человек стоящий...

— Ну, смотри... — согласилась она, усмехнувшись, и эта ее усмешка означала явно больше лаконичного «Ну, смотри...».

Егор Иванович сказал о Хомутове: «Он человек стоящий», полагая, что одним махом снимет все сомнения, но они не снимались. Если говорить начистоту, то ему было не очень уютно при одной мысли, что предстоит разговор с Хомутовым.

Он считал, что положение заведующего отделом не дает ему никаких привилегий, тем более привилегии опаздывать на работу, и старался к девяти быть на Кузнецком. Он был на работе и в этот раз вовремя и вдруг обнаружил, что Хомутова нет на месте. Во всех иных обстоятельствах он бы стерпел, но тут ему стало не по себе, он взорвался.

— Почему нет Хомутова? — воззвал он к юной Алевтине Сергеевне, месяц назад закончившей наркоминдельские техкурсы и определенной в отдел секретарем. — Я спрашиваю вас: почему нет Хомутова? — повторил он вопрос, раздражаясь, и вдруг понял, что малодушная Алевтина Сергеевна, у которой от бардинского гнева белые кудряшки точно встопорщились, поймет его сейчас превратно: именно Хомутов вел с нею предварительные переговоры перед тем, как она пришла в отдел. — Ну, что вы молчите? — продолжал он настаивать, понимая, что это совершенно лишено смысла. — Разыщите и... доложите, когда найдете...

К счастью, долго искать не пришлось — позвонил дежурный врач наркоминдельской поликлиники и сказал, заметно смущаясь, что Хомутов только что вышел от него и сейчас будет в отделе — у него возобновились головные боли, — видно, дает себя знать контузия. Бардин не нашелся что ответить, словно пламя объяло его, пламя стыда... Первая мысль — пойти к Хомутову и попросить прощения; потом он отверг эту мысль и даже высмеял себя: «Чего доброго, возомнит, и уж тогда он тебя оседлает дай боже! Нет, нет...» Он еще раздумывал, как он выйдет из положения, когда появилась Алевтина Сергеевна и, не глядя на Бардина (ну конечно же, ей было стыдно за Егора Ивановича, она наверняка думала о нем лучше), вымолвила, что Хомутов уже в отделе. Бардин взглянул на часы и сказал, что сможет принять Хомутова через десять минут. Алевтина Сергеевна ушла, а Бардин спросил себя: «Почему через десять минут, а не сейчас, не сию секунду, не немедленно?» И эти десять минут, эти трижды проклятые десять минут вновь подняли в нем бурю. Вот эти дешевые средства, рассчитанные на ложную значительность, надо ли их применять к Хомутову и тот ли это человек, чтобы с ним вот так?.. Он подумал, как ему будет худо на длинном пути в Америку при одной мысли об инциденте с Хомутовым.

Вошел Хомутов, и Бардина словно ветром взметнуло с кресла, он зашагал ему навстречу.

— Прости, пожалуйста, что потревожил, — си протянул руку смущенному Хомутову. — Не сделал бы этого, если бы не отъезд... — Хомутов опустил свои странно печальные глаза. Видно, голова продолжала болеть, болеть жестоко, веки его стали фиолетовыми. — Поезжай сейчас домой и отлежись, пожалуйста... За хозяина остаешься в отделе ты — еще раз извини...

Хомутов поднял на Егора Ивановича умные глаза — он все понял.

Позже, когда Бардин с Кузнецовой дожидались посадки на самолет, летящий в Вашингтон через Каир, и до отлета оставалось больше часа, они бросили на травке у самолета нехитрый свой багаж и зашагали вдоль взлетной полосы. Хотелось идти неторопливо и осторожно, как по молодому льду.

— Жизнь — это дети, Егор Иванович, — неожиданно произнесла Кузнецова. — Их судьба, их спокойствие, если хотите. Это же счастье — помочь любимому человеку сберечь его детей...

Она сказала все это и умолкла, будто укрылась большим одеялом тишины, столь необычной для аэродрома, а Егор Иванович посмотрел на нее не без изумления: «Вот оно, безошибочное, женское: во тьме неведенья, бессознательно, доверяясь только интуиции, вышла на тропку: «Дети!..» Бардин впервые ощутил в себе нечто, похожее на жалость к Августе... Да, да, вот это ее маленькое личико, неожиданно маленькое и бледное, выражало тайную муку. Муку беспокойства, одиночества, может быть, даже неразделенного чувства, неразделенного и по этой причине неистребимого. Дело, разумеется, не в нем... А может, в нем? Вон как она точно нащупала его боль. Дети... это ведь бардинское, бардинское... Так не в Бардине ли дело?»

Бардин проснулся где-то над Кавказскими горами. Иллюминатор не затянуло льдом, и панорама, открывшаяся глазу, казалась фантастической. Наверно, дело было даже не в хаосе ледников, в которые смотрелась

сейчас луна, сделав Бардина свидетелем этого великолепия, единственным свидетелем, а в душевном состоянии Егора Ивановича... Он думал о том, что история устроила великий экзамен молодой цивилизации Октября. Нет, не только экзамен силе, но и мысли, а это значит — тому истинному, что лежало в самой сути советского эксперимента и было вызвано к жизни революцией. Для того мира риск немалый — позволить нам выиграть это единоборство. Дать нам выиграть его — следовательно, разрешить укрепиться в вере самим и призвать в свидетели, больше того, в последователи тех, кто с немалым любопытством и вождедением взирает на Россию извне. Но если это баталия мысли, то мысли всеобщей, дипломатической в том числе. А что может стать плодом этого поединка дипломатической мысли? Второй фронт?.. Да, разумеется, если даже этот второй фронт возникнет не в те сроки, в какие бы нам хотелось. Но важно и иное: то, что зовется антигитлеровской коалицией и что сегодня стало силой грозной,— плод и советского дипломатического умения. Конечно, союзники пошли на создание этой коалиции, исходя из своих жизненных интересов, но одно дело — интересы вообще, а другое — интересы, ставшие реальной силой: здесь вклад нашей дипломатической школы бесценен... В том многообразии задач, которые встали перед нами, наипервейшая — наши отношения с Америкой. Если быть точным, Рузвельт не тот президент, который бы устраивал Черчилля,— Трумэн или даже Хэлл соответствовали бы Черчиллю в большей мере. Дело даже не в либерализме Рузвельта; в конце концов, и на Британских островах есть свои либералы. Важнее иное: отношение к Британской империи. Ничто в нынешних условиях не способно так сблизить Рузвельта и Сталина, как отношение к британскому колониализму. Нет, не потому, что колониализм противен Америке как общественная формация,— у Америки нет Индии, но есть Филиппины. Не в этом дело — Британская империя противостоит Америке как таковая. Конечно же, велико умение Черчилля создать иллюзию гармонии. Но это именно иллюзия, больше того, миф, необходимый британскому премьеру, чтобы усыпить бдительность России, а заодно и своих политических недругов внутри страны. Но разногласия от этого не становятся меньшими. Они существуют, даже приумножаются.

Все, что относится к разногласиям с Америкой, Черчилль заключил в особо секретную папку. Прелюбопытно заглянуть в его будущие мемуары: пожалуй, во всем он может там признаться, но только не в расприх с Рузвельтом... Но завтра это не задача, а вот сегодня... Да, именно сегодня, когда старый Уинни войдет в овальный кабинет Рузвельта, волоча затекшие ноги (у него походка восьмидесятилетнего), и с грубоватой непосредственностью придвинет стул к письменному столу президента,— о чем пойдет у него беседа с Рузвельтом?.. Немалый простор для догадок. Но догадки, какими бы убедительными они ни казались, пусты. Хотелось бы знать с максимальным приближением к истине: если есть разногласия, то в чем? Второй фронт, сроки первого удара (сейчас самое время) или место этого удара?.. Черчилль считает: Сицилия, потом уже собственно Италия. Нет, не «каблук», а «носок» итальянского сапога. А какова точка зрения Рузвельта? Атлантическое побережье Франции, больше того, берег Ла-Манша?

...Кавказских льдов хватило ненадолго: самолет шел уже над морем. Слева, точно из первозданной плазмы, рождалось солнце. Рождалось нелегко, все в дымном огне, в сполохах зоревого пламени, как показалось Бардину, знойного... Бардин вдруг подумал: какой сегодня день? Воскресенье. Если все пойдет, как предполагалось, в пятницу можно, пожалуй, добраться и до Вашингтона. В майскую жару пятница может быть и неприсутственным днем. Если, разумеется, на вечер посольство не назначило чего-то чрезвычайного.

Но опасения были напрасными: пятница, даже конец дня, оказалась присутственной, русские показывали фильм, полученный после Сталинграда. Накануне ленту демонстрировали президенту, и, как стало известно, дважды. По словам Дениса Крыга, посольского первого секретаря, встретившего Бардина на аэродроме, интерес к фильму большой и завтра его решено показать прессе. Но Крыга сказал Бардину и нечто более важное: Черчилль уже в Вашингтоне, второй день.

— Злые языки утверждают, что Черчилль пересек океан на корабле с немецкими военнопленными,— заметил Крыга, и его левая бровь надломилась.— Черчилль говорит, что оказался на корабле с пленными

случайно, но люди осведомленные полагают: у Черчилля случайность исключена.

— Значит, заставил врага охранять себя? — спросил Бардин.

— Да, похоже, так! Немцы на корабле не сомкнули глаз, пока не доставили Черчилля в Америку! — ухмыльнулся Крыга — его искренне забавляла изобретательность английского премьера. — Иной бы остановился, сказал бы: как-то несолидно для премьера... А он — нет. — Крыга умолк — его бровь выпрямилась. — У них и в дипломатии часто бывает нечто подобное: солидность и авантюра рядом. Не так ли, Егор Иванович?

Бардин перевел взгляд на Крыгу: казалось, тому было небезразлично, чтобы Егор Иванович сказал «да».

— Пожалуй, — ответил Бардин...

Бардин прибыл в посольство, когда съезд гостей уже начался, — до сеанса оставалось с полчаса.

— Я не вижу посла... — сказала Августа Бардину, оглядывая вестибюль и не находя там Литвинова. — Обычно в это время он уже с гостями...

Литвинов шел быстро, с несвойственной человеку его возраста и его комплекции легкостью, стараясь по кратчайшей прямой пересечь холл, пока еще не заполненный гостями, и достичь крайнего столика, за которым устроился Егор Иванович со своей спутницей.

Бардин встал и пошел Литвинову навстречу.

— А почему наши московские гости одни? — вдруг остановился Максим Максимович — он сообщил своему шагу такую энергию, что ему стоило труда остановиться. — Денис Михайлович, вы почему оставили гостей одних? — спросил он Крыгу, стоящего у окна в толпе посольских коллег. — Здравствуйте, здравствуйте... — он склонился над рукой Августы Николаевны, которую она с готовностью, чуть милостивой, протянула Литвинову, крепко, по-мужски сдвигая большую ладонь Бардина. — Ждал звонка Гопкинса... — заметил он, обращаясь к Егору Ивановичу, при этом интонация его обрела значительность.

— Он будет сегодня, Максим Максимович? — спросил Бардин.

— Обещал быть... Кстати, вы его порасспросите... С Черчиллем-то вы разминувшись, Егор Иванович! — улыбнулся Литвинов.

— Он отбыл утром? — полюбопытствовал Бардин.

Литвинов не без умысла обратил разговор к Черчиллю — среди тех вопросов, которые интересовали Бардина в Вашингтоне, миссия Черчилля в американскую столицу занимала большое место, и Максим Максимович, разумеется, знал об этом.

— Да, час назад — Гопкинс звонил чуть ли не с аэродрома... Еще со времен вашей архангельской экспедиции, когда вылетели с ним в Москву и, кажется, обратно...

— Да, и обратно.

— Еще с тех архангельских времен он вспоминает вас постоянно... — заметил Литвинов и, обратившись к человеку, который стоял в стороне, произнес: — Филипп Иванович, по такой жаре я бы предложил гостям по стакану холодного сока... Как вы?..

— А я так и предполагал, Максим Максимович...

— Только не давайте, пожалуйста, ничего с содой, содовая горчит.

— А соду я не держу, у меня все натуральные...

— Вот и хорошо, Филипп Иванович, вот и хорошо.

Как заметил Бардин, этот разговор был для Литвинова характерен. Видно, он принадлежал к послам такого типа, которые дела государственной важности умели сочетать с многосложными мелочами, неизбежными в повседневной жизни большого посольства, умели сочетать и, главное, находить в этом удовлетворение. Не ахти какое дело — выбор колера для окраски банкетного зала или установка новой мебели, но посол старался в этом участвовать. В посольстве, с его многообразием представительских интересов, нет дел второстепенных, полагал посол, и даже мелочи способствуют воспитанию вкуса, а вкус — дело отнюдь не второстепенное, в частности для молодых дипломатов.

— Одним словом, Гопкинс к вам благоволит, — возвратился он к прерванному разговору. — Порасспросите, порасспросите... Кажется, он уже приехал... — добавил он и быстро удалился.

А Бардин не мог не подумать: процесс превращения человека в некую реликвию происходит так стремительно, что сознание не успевает за этим угнаться и тем более к этому приспособиться. Ну вот, например, Литвинов: он наверняка не осознает, что превратился в некое диво нашей истории, настолько заметное, что, казалось, представляет интерес само по себе.

Подошел Крыга — он внял замечанию Литвинова и был среди гостей.

— Кажется, приехал Гопкинс,— сказал Денис Михайлович, опускаясь в кресло, стоящее подле Кузнецовой; он точно хотел дать понять Егору Ивановичу: если Бардин сочтет необходимым удалиться, то он, Крыга, готов остаться с Августой Николаевной.— По моему, я видел его машину...

— Благодарю вас,— произнес Егор Иванович.

Бардин рассчитал точно: Литвинов, встретив Гопкинса, наверняка скажет американцу о приезде Егора Ивановича, и, более чем вероятно, тот выразит желание повидать гостя из Москвы. Психологически Бардину выгоднее, чтобы инициатива этого первого разговора с Гопкинсом исходила от американца. Таким образом, если расчет Егора Ивановича верен, то в ближайшие пятнадцать минут у Бардина должен состояться такой разговор, ну хотя бы вон с тем вторым секретарем, что стоит сейчас у окна, предавшись более чем праздному разговору с американским военно-морским чином: «Простите, Бардин Георгий Иванович? Посол ждет вас у себя, да, кстати, и господин Гарри Гопкинс...»

Но нарочный от Литвинова прибыл даже не через пятнадцать минут, а через пять, да этим нарочным был не второй секретарь, стоящий у окна, а заместитель торгпреда, случайно оказавшийся рядом с послом, когда тот встречал американца. Во всем остальном все было так, как об этом думал Егор Иванович.

Когда Бардина пригласили к Литвинову и Гопкинсу, в руках у них были стаканы с соком (стаканы были особого стекла, искристо-розового, точно тронутого изморозью, и сок в таком стакане тоже был будто тронут изморозью и, как подумалось Егору Ивановичу, должен был казаться холоднее, чем был на самом деле), Бардин обратил внимание, что рука Гопкинса, сжимающая стакан, в отличие от крепкой руки Литвинова, выглядела немощной.

— Мистер... Архангельск! — приветствовал Гопкинс Егора Ивановича и так резко поднял стакан, что чуть не окропил себя апельсиновым соком; разумеется, не следовало придавать большого значения экспансивному жесту Гопкинса и даже экспансивной фразе — как давно отметил для себя Егор Иванович, что-

бы установить, что чувствует в данный момент твой собеседник, соответствующая поправка в Штатах, например, должна быть большей, чем в ином месте земного шара,— там, где европеец едва шевельнет пальцем, американец вскинет руку.

— Мне приятна встреча с вами, господин Гопкинс,— произнес Егор Иванович, пожимая руку Гопкинса.

— Последний раз мы виделись год назад, не так ли? — спросил Гопкинс улыбаясь, при этом его круглые глаза, как заметил Егор Иванович, не восприняли улыбки.— Ровно год... Кажется, не все проблемы решены, а эта весна легче той,— он вновь улыбнулся, и вновь Егор Иванович приметил некую двойственность в его лице: как ни щедра была улыбка, глаза в ней не участвовали.— Не правда ли?

— Признаться, в ту весну я не думал, что мистер... «Нет» так могуществен,— заметил Бардин — он обратился к этому символическому мистеру «Нет», намереваясь без излишних проволочек заговорить о самом существенном.

— Мистер «Нет»? — переспросил Гопкинс.— Это кто же? Не мистер ли Черчилль?..

Литвинов засмеялся, не скрывая хорошего настроения.

— Не столько Черчилль, сколько неким образом лицо собирательное... — заметил он, все еще смеясь.

— Но у этого, как вы говорите, лица собирательного может быть имя? — спросил Гопкинс.

— Да, конечно,— согласился Бардин, пока еще не зная, какой оборот примет дальше этот разговор.

— Например, Черчилль? — повторил американец.

Литвинов обратил смеющиеся глаза на Гопкинса:

— Можно подумать, что вы заинтересованы получить именно этот ответ, господин Гопкинс.

Гопкинс поставил на стол стакан с соком, как показалось Егору Ивановичу, так и не пригубив его, и посмотрел в глубину холла: двери кинозала распахнулись.

— У каждого явления есть свое имя, и разговор выигрывает, если это имя будет названо.

— Да, возможно,— согласился Литвинов и, сказав, что по долгу хозяина будет ждать Гопкинса и Бардина в зале, удалился.

Бардин подумал, что пришла его минута.

— Иногда назвать имя — еще не все назвать, господин Гопкинс.

— Чувствую, что этот разговор нам сегодня не закончить, а жаль, — заметил американец.

— Но кто нам мешает сделать это? — спросил Егор Иванович.

— Мешает? Да в этом ли дело? Кто нам поможет — вот вопрос, господин Бардин! — Гопкинс медленно пошел через холл, увлекая за собой Егора Ивановича. Походка его была нетвердой, Бардину даже показалось, что он, точно колеблемый ветром, чуть-чуть покачивался. — Хэлло, Эдди! — Гопкинс поднял худую руку. — Да ты что, дружище, не хочешь узнавать меня на людях?

Человек, которого окликнул Гопкинс, достал платок и вытер им потное лицо и влажные волосы.

— Прости, Гарри, такая жара, мой «мотор» забарахлил окончательно...

— Тогда зачем же ты пришел, Эдди? Кто тебя nevoлил?

— Как-то неудобно, понимаешь... Говорят, эти русские обидчивы, как дети. — Он перевел испуганный взгляд на Бардина: — Простите, вы не русский? О матери божья!..

Тех десяти шагов, которые оставалось пройти до кинозала, было достаточно, чтобы место и время встречи Гопкинса и Бардина было уточнено. Условились, что они встретятся послезавтра в загородном доме Эдди Бухмана.

Но прежде чем они встретились, в посольстве объявился Мирон и просил передать брату, что ждет его вечером. Бардин поехал, взяв с собой Августу Николаевну, которой был любопытен младший Бардин.

— Он хотя бы похож на вас? — спросила Августа Николаевна, когда машина въехала в затененную душной листвой акаций улочку, в конце которой обитал младший Бардин.

— Почему... «хотя бы»? — улыбнулся Бардин.

— Но это-то... достоинство должно быть у него, — возразила Кузнецова, не смущаясь.

— Ну... ежели это достоинство, тогда похож.

Бардин определенно поставил перед Мироном нелегкую задачу, приехав с Августой Николаевной. Чего ради он это сделал и кто такая Августа? А пока Мирон помог снять Августе Николаевне ее шелковый плащик, помог еще и потому, что так удобней было рассмотреть ее, но догадливая Августа лишила его этой возможности, отступив в тень. И все время, пока они шли по длинной галерее, вдыхая запах красного перца, крупные грозди которого были развешаны повсюду, Августа Николаевна чувствовала на себе этот взгляд, жестоко упрямый и чуть-чуть угрюмый,— что-то было в этом взгляде холостяцкое, бобылье.

— Вот она, моя келья! — сказал Мирон, когда они поднялись на второй этаж.

— Первый раз вижу, чтобы в келье была такая постель! — воскликнула Августа Николаевна, обратив взгляд на кровать Мирона, необычно высокую от перин, положенных одна на другую.

— Одно утешение, что кровать... — захохотал Мирон — ему было приятно замечание Кузнецовой.

— Одно ли? — усомнилась Августа Николаевна без лукавства — ей определенно хотелось продлить этот разговор.

— Клянусь, Августа Николаевна, — произнес Мирон и вновь взглянул на Кузнецову, теперь уже в открытую; в ней не было жеманства, и это ему нравилось.

А Егор не сводил с брата глаз и пытался понять то неуловимое, что свершилось с ним в этот год. Горячее здешнее солнце точно иссушило Мирона, грудь заметно впала, плечи стали уже, лицо — смугло-серым, а губы — как у тетки суздальской... Губы жили сами по себе, они были чутки, эти губы, и уж как выразительны! В них были и гнев, и лукавство, и неприязнь, и страдание, и вызов, и осуждение, и торжество откровенное... Ах, как были восприимчивы эти губы к тому, что в это время творилось в человеке. Чудо: где среброглавый Суздаль и где она, благочестивая Ефросинья, а взглянул Егор Иванович на брата — и будто единым духом преодолела Ефросинья тридевять земель и встала рядом: вот она, храбрая заступница русского бога.

— Как ты, Мирон?.. Воюешь? — Егор облюбовал кресло у дальнего окна. — Небось каждый аэроплан, добытый для войска российского, обходится и нынче

в пуд крови? Гляжу на тебя: отощал, брате, на американских харчах...

— Отощает! — усмехнулся Мирон. — Есть у них в этой ленд-лизовой канцелярии Бобби Пайп — зимой снега не выпросить! Даже чудно, что есть такие американцы...

— Погоди, погоди... — возразил Егор. — А разве в этой канцелярии не Бухман?

— Ты знаешь Бухмана? — Мирона даже подбросило на его плетеном стуле.

— Знаю, конечно.

— Через... Гопкинса?

— Если хочешь, через Гопкинса.

— Имей в виду: это не одно и то же!

— В каком смысле, Мирон? Это тот же Пайп?

Мирон оглянулся на Августу Николаевну, точно спрашивая ее и себя: «Да интересно ли ей все это?»

— Понимаешь, я не могу поверить человеку, который изменил своему призванию.

— Рожден быть Эдисоном, а стал клерком в адвокатской конторе?

— Рожден быть авиаконструктором, а стал Эдди Бухманом...

— И при этом без угрызений совести, так? — спросил Егор Иванович.

— Нет, он угрызается, но важно ли это?

— Важно другое: он с Гопкинсом?

— В зависимости от того, с кем Гопкинс, Егор.

— А это не ясно?

— Меня еще надо убедить, и убеждать надо теперь: на мой взгляд, наступила пора решений. — Мирон смотрел на Августу — ее глаза, незамутненно чистые, внимательные, были тихи и полны мысли. — Как вы полагаете, Августа Николаевна?

Мирон увидел вдруг, как хороши ее руки. Глаза и вот эти руки, с заметно удлиненными кистями...

— Мы сильны людьми, умы и сердца которых сумели завоевать, — сказала она едва внятно. — Соблазнительно иметь больше, но и это немало...

Бардин не проронил ни слова. Но будто говорил, глядя на брата: что же ты умолк? Продолжай, да имей в виду: будешь иметь дело с нею, не со мной — с нею.

— «Сильны людьми»? Гопкинс среди них? — спросил Мирон, глядя на Августу, — в нем росло изумление:

та ли это Августа Николаевна, что четверть часа назад переступила порог его комнаты? Он посмотрел на брата, потом на Кузнецову: смятение охватило его. Что это за женщина и кем она доводится брату?

— Гопкинс? Да, определенно... Простите мое убеждение, чисто женское: нам легче иметь дело с американцами. Нет, не потому, что они в меньшей мере капиталисты, но среди них есть люди, подобные Гопкинсу...

Мирон захохотал — он точно хотел смутить ее этим смехом:

— Он видит в нас своего родителя, который, говорят, был кузнецом?..

— Да, как другой американец... Раймонд Робинс, отец которого, говорят, был рудокопом...

Мирон не сдержал усмешки. Она сказала: «Простите мое убеждение, чисто женское». Но что было женского в ее репликах о Гопкинсе? В том, с какой энергией и упрямством обратила она разговор к Робинсу, был и мужской ум, и нор, тоже мужской. И вновь Мирон не без тревоги взглянул на Кузнецову: кто она?

Да, кто она? — думал Мирон, когда они спускались на веранду, где был накрыт стол. С наступлением сумерек прибыло влажной прохлады, и запах перца, что был развешан на веранде, усилился. Хозяев дома не было, и Мирон накрыл на стол сам. Видно, ему это было не впервой: возвращаясь домой за полночь, он и прежде находил в холодильном шкафу и кусок холодной баранины, и мясо, приправленное луком, и домашние колбасы. Что касается вина, то и оно было в доме: правда, женщине оно могло показаться терпким, но только после первого бокала. Вино было добрым и, как все добрые вина, с каждым новым бокалом казалось мягче, а поэтому и пилось легко.

Августа Николаевна поместилась между мужчинами, и можно было удивляться, как быстро ее глаза свыклись с сумерками.

— Вот ты сказал: «Бухман изменил призванию», — начал было Егор Иванович и умолк, его голос точно вынырнул из ночи и утонул.

— Ну, разумеется, изменил, — подтвердил Мирон. — Летящую лодку, которую он сконструировал перед войной, хвалил сам Игорь Иванович. Так и окрестил его: «Поддающий надежды!»

— Это какой же Игорь Иванович? Не Сикорский ли?

— Ну, разумеется, Сикорский.

Бардин взорвался:

— Поглядите на него: «разумеется»! Ты полагаешь, что я обязан его знать?

— Полагаю, обязан! Игорь Сикорский — звезда первой величины, при этом не только американская, но и русская, даже русская больше, чем американская...

— Да не хочешь ли ты сказать, что он конструктор «Русского витязя» и «Муромца»?

— Хочу.

— Но ведь я это знаю.

— Можешь и не знать, я не настаиваю... — заметил Мирон, смешавшись; не было бы Августы, он, пожалуй, не смешался бы так. Мирон пододвинул домашнюю колбасу и принялся ее резать — надо отдать ему должное, резал он искусно: крепкий кругляш колбасы клал наискось и точно состругивал пластины, продолговатые и прозрачно-тонкие.

— Он так и остался «подающим надежды»!.. На веки веков «подающим надежды»!

— Это почему же «на веки веков»? — спросил Бардин.

— Разве Бухман, вкусив блага директорства, вернется к бессонным ночам творчества? К страде творчества, к мукам?.. Там у него оклад, не коттедж, а усадьба, а вместе с нею и лимузин, и команда адъютантов, и красивая жена... А здесь: страда!

— Погоди, погоди, можно подумать, что красивая жена конструктору... не полагается?

— Нет, почему же? Полагается... теоретически! — воскликнул Мирон. Раздался смех, да такой громкий, что в голубятне, что была рядом, согнанная птица соскользнула с шеста, хлопнув крыльями.

— Но директорство... по крайней мере, ему дается? — спросил Егор Иванович. — Дело-то он знает?

— Ему легко знать, — заметил Мирон не без скептицизма. — Все-таки он конструктор, а все остальные просто так... Но главное не в этом!..

— Не в этом? — почти изумился Бардин. — Тогда в чем?

— В обаянии!.. Да, он вроде того хитрого врача или даже массажиста, который первый раз был приглашен в Белый дом, чтобы снять у Рузвельта боль в пояснице, а остался там в качестве первого советника президента...

— По-моему, ты все упростил, Мирон! — сказал Егор Иванович смеясь — ему нравилось спорить с братом.

— Может, и упростил, но суть от этого не пострадала! — произнес Мирон и протянул руку, чтобы наполнить бокал Августы Николаевны, но она остановила его.

— Нет, суть-то и пострадала! — заметила она, все еще удерживая его руку над бокалом. — Ведь если верить вам, то он так и остался массажистом, то бишь конструктором этих летающих лодок, а на самом деле он советник, и, как мне кажется, недурной...

Мирон затих, скосив глаза на Августу Николаевну. Его недоуменный, больше того, тревожно-недоуменный взгляд будто спрашивал в эту минуту брата: «Послушай, Егор, да не подсадную ли утку ты ко мне пустил в этой тьме кромешной?.. С виду баба, а на самом деле мужик!..»

— Как Оленька там? — направил он вдруг разговор в иное русло. — Ну, что ты смотришь на меня так? Я говорю: как Ольга? Наша Ольга? Как она?

— Все хорошо... — сказал Егор Иванович, помолчав. Только сейчас он сообразил, что брат еще не знает, что произошло в судьбе его и Ольги.

— Значит, «все хорошо»? — переспросил не без иронии Мирон. — Что значит «все» и что значит «хорошо»?

Бардину было трудно, да и Августе Николаевне должно быть нелегко!.. Но как остановить человека: вон какая резвость его обуяла! Возьми да и выложи ему, как Ольга... Ничего в этот миг он не хочет знать, кроме одного: Ольга!

— Ну, что тебе сказать?.. — с трудом промолвил Егор Иванович. — Одним словом, здорова...

Мирон взорвался:

— Значит, «здорова»?.. Вы только подумайте: «здорова!..» Погоди, да что с нею стряслось? — спросил он голосом, в котором слышалось сейчас немалое бес-

покойство.— Я же чувствую, что с нею что-то случилось... Нет, ты у меня не отвертись: отвечай!..

Бардин смотрел на Августу Николаевну. Ему все чудилось: она сейчас поднимется и пойдет прочь. В ее положении иного выхода не было. Но Августа Николаевна думала иначе.

— Я вам отвечу! — вдруг обратилась она к Мирону, и в ее словах послышался даже некий вызов.— Я была в Ясенцах и видела Ольгу Ивановну... Она действительно здорова, больше того, счастлива... Вы удовлетворены?

Мирон осекся:

— Да, конечно.

...Они встали из-за стола через час. Проводив Августу Николаевну к машине и дождавшись, пока она усядется, братья отошли в сторону.

— Вот это да! — мог только вымолвить Мирон.— Кто она?

Егор Иванович рассмеялся:

— Наша, знает японский.

— Да она и без японского сойдет за коренника — сильна, бестия! — Мирон вдруг расхохотался.— погоди,— это были смотрины? — Ему и прежде виделся в поступке брата смысл, в который надо было еще проникнуть.— Разве в такую темень рассмотришь? — Он продолжал смеяться.— Дай знать, когда соберешься в обратный путь,— приеду на аэродром.

— Коли не рассмотрел, приезжай!.. — Бардин пошел к машине.

Шарахнулась тьма — свет вспыхнувших фар показался непривычно сильным.

— Мирон хотел бы проводить нас,— послал голос Егор Иванович, когда машина выбралась из переулочка.

— Он не похож на вас,— заметила Августа Николаевна задумчиво, оставив без внимания сообщение о проводах.

«Не похож на вас... Не похож...» Нехитра фраза, а сутью гораздо. Казалось бы, судьба обделила женщину и должна сделать ее сговорчивой, а нет... Даже практичную Августу не сделала сговорчивой. Видно, практичность кончается где-то в преддверии сердца. Вот он, катализатор чистоты,— сердце. От непорочности раннего человека, от чистоты детства у человека осталось только сердце. Оно и очищает душу...

На другой день Бардин был у Бухмана. (Гопкинс не сумел выбраться, поручив Бардина Бухману.) Егор Иванович полагал, что преуспевающий друг Гопкинса привезет его на загородную виллу, сложенную из цветного кирпича, а Бухман привез Бардина в скромный деревянный домик на краю цветущего картофельного поля.

В столовой висели большие остановившиеся часы — видно, пожилой женщине в темном чепце, встретившей их на пороге, они уже были ни к чему.

На столике, поставленном под часами, Бардин увидел макет города, по всему самодельный, своеобразная архитектура которого выдавала культуру майя.

— Он преподавал географию и раскапывал... поселения древних майя? — спросил Бардин, имея в виду отца Бухмана — Егор Иванович понял, что американец привез его в родительский дом.

— Все верно, — улыбнулся Бухман. — Но только это был не он, а она: отец преподавал физику, а вот мама... Она говорила: если есть на нашем континенте нечто настоящее, то это майя и Бруклинский мост. Занималась раскопками... пока не повредила ногу.

Бардин огляделся: дом хранил следы его хозяев. Такое впечатление, что вот-вот откроется дверь и они войдут: она — бледная, с чуть голубоватыми, как у сына, веками, он — маленький, с седым вихорком. Там, на дальней стене, кажется, висят их фотографии. Отсюда не разобрать, как они выглядят, но Егору Ивановичу они представляются такими.

— Они... ушли недавно? — спросил Бардин.

— Уже шесть лет, — ответил Бухман — он знал, что Егору Ивановичу подсказал этот вопрос сам вид дома. — Будто сговорились, ушли почти одновременно...

— Маме не нравилось ваше увлечение летающими лодками? — спросил Бардин; ему было странно видеть в этом доме Бухмана, он словно никогда не жил здесь, здесь не было следов его присутствия.

— Мама считала это вторичным и отвергала, как все вторичное, а вот отец не был так непримирим.

— Но мнение мамы оказалось... сильнее? — Бардин вспомнил реплику Мирона, что Бухман изменил призванию. — Говорят, влияние матери на сына всегда

сильнее...— вторая фраза явно имела целью смягчить остроту первой.

— Все много сложнее,— произнес Бухман уклончиво.

— Но призвание?

— Призвание? Наверное, конструктор идет на государственную работу не потому, что его призвание ему не дорого...— Бухман украдкой посмотрел на дальнюю стену, на ту самую, где висели портреты его родителей.

— Я вас не понимаю.

— Не понимаете или хотите показать, что не понимаете? — спросил Бухман и поднял глаза на Бардина, неожиданно сумрачные.— Одним словом, расчет такой: пойти на государственную работу, чтобы иметь возможность конструировать летающие лодки, а кста-ти и помогать таким беднякам, как ты сам...

— Вы сказали: помогать беднякам?

— Думаете, у нас их нет? Э-э-э... только те, кто не знает Америки, думает, что у нас их нет... Еще сколько!..

«А к чему все это рассказывает Бухман? — думал Егор Иванович.— Не к тому ли, чтоб завоевать доверие своего русского собеседника и таким образом расположить его ко всему тому, что хочет сообщить далее? Путь к сердцу русского через критику Америки? Можно понять и так».

Бухман пригласил Егора Ивановича к столу, который накрыла женщина, встретившая их у входа. Пока они беседовали, женщина переоделась. Сейчас она была в темном платье, отделанном кружевами, такими широкими и старательно соборенными, какие носили разве только в прошлом веке,— кружева определенно были гордостью хозяйки и перекочевывали с одного платья на другое.

— Тетушка Клара была маминой подругой,— указал Бухман глазами на женщину в кружевах и, обратившись к ней, представил Бардина.— Вот посудите: у нас, чтобы человек творческий сделал имя, должен быть какой-то второй человек, который, собственно, ему это имя делает. Вы хотите сказать: реклама? Да, реклама, но не в смысле светящегося табло на Бродвее, а нечто более хитрое: мнение Сикорского о летающих лодках Бухмана, перелет через Тихий океан со

взлетом у берегов Америки и посадкой ну хотя бы на Филиппинах, государственный заказ... О, заказ — это почти все,— говоря это, он как-то встревожился, и синеватые полудужья у глаз его стали больше.— Так вот, должен быть человек, который это имя сделает. А если его нет? Да, если этого человека нет у Бухмана?.. Кстати, откуда ему быть у Бухмана? — Он остановил взгляд на плетеной этажерке с книгами, и Бардин вдруг увидел, что этажерка была колченогой, у нее не было четвертой ножки.— Откуда? — Он продолжал смотреть на то место, где некогда была четвертая ножка,— очевидно, замысел заключался в том, чтобы обратить внимание Бардина на это.

Тетушка Клара была доброй кулинаркой: все поданное к столу было вкусно и сопровождалось овощами с ее огорода, который был виден из окна.

— Вот этот рецепт мяса в горьком соусе мама узнала у мексиканцев,— заметил Бухман и, взяв тарелку Бардина, положил на нее темно-коричневый, хорошо зажаренный кусок говядины и полил его красным соусом, отчего мясо стало кирпично-коричневым.— Я иногда специально приезжаю сюда, чтобы съесть кусок такого мяса и запить его красным вином... Нет, не это... я налью вам, разрешите?

Бардин не мог не спросить себя: а сегодня он пригласил его сюда, чтобы угостить мясом, приготовленным по-мексикански, или все, как любит говорить Бухман, много сложнее? Не повез же он его в дом, в котором обитает с красавицей женой, а привез сюда. Наверно, в том доме нет колченогой этажерки... Какой в этом замысел? Но ведь он же не выдумал этот дом, в конце концов! Он не стыдится его, наоборот, гордится им. Перед кем не стыдится? Перед Бардиным? А зачем ему стыдиться, когда все это возвышает его в глазах Бардина? Так или нет?.. Помимо всего прочего, он не просто Бухман, он доверенное лицо Гопкинса, и ты узнал его через Гопкинса и, что не менее важно, через Бухмана узнаешь Гопкинса. Кстати, разговор, который сейчас должен начаться, не минет Гопкинса.

— Вам известно такое имя: Раймонд Робинс? — спросил Бухман, когда они выпили по бокалу красного вина.

— Да, я интересовался участием американцев в

русской революции, а поэтому... Одним словом, я имею представление о Робинсе.

Казалось, ответ Бардина обрадовал хозяйна дома.

— А если так, объясните мне, пожалуйста, такое явление...— он пристально взглянул на Бардина, точно желая определить, догадывается ли он, о чем пойдет сейчас речь.— Робинс, делец, финансовый воротила — одним словом, буржуа — и тем не менее друг России, старый и верный...

— Испытанный сенатской комиссией Овермэна! — захохотал Егор Иванович, ему доставило немалое удовольствие уточнить мнение Бухмана о Раймонде Робинсе — известно, что сенаторы, возглавляемые Овермэном, подвергли Робинса жестокому допросу, вменив в вину симпатии к Республике Советов.

— Да, испытанный мистером Овермэном! — согласился Бухман, согласился легко: реплика Бардина и ему доставила удовольствие.— Но вот вопрос: почему буржуа Робинс был другом России, другом настолько искренним, что готов был даже вступить в конфликт с самим Вильсоном?.. Вы скажете: его сделал другом России Ленин, а это всегда прочно? Верно, Ленин, но только ли в этом ответ...

— Если не в этом, то в чем, мистер Бухман?

— Нет, я вас спрашиваю...

— А я вас.

Бухман молчал: он был заинтересован в том, чтобы ответил Бардин.

— Вы полагаете, что все объясняется рабочим происхождением Робинса?

— Да, я так думаю,— ответил Бухман.

— Тогда слушаю вас,— сказал Егор Иванович.

— Я готов, но прежде... Разрешите? — он указал на блюдо с фаршированными помидорами, которое только что появилось на столе.— Вам понравится: тоже мамин рецепт...— Он осторожно положил Бардину, не обидел и себя, задумался.— Простите, но ваша точка зрения иногда мне кажется примитивной. Понятием «буржуа» вы пытаетесь объяснить все. А если вышеупомянутый буржуа, подобно Раймонду Робинсу, происходит из рабочих, тогда как?..

— Вы полагаете, что этого обстоятельства достаточно, чтобы буржуа перестал быть буржуа? — спросил Бардин.

— Нет, оттого, что он происходит из рабочих, он не перестанет быть буржуа... — уточнил Бухман тотчас же — он не терял надежды выиграть спор. — Но я бы на вашем месте это учитывал... На вашем месте, — уточнил он после некоторого молчания.

— И что это мне даст?

— Как мне кажется, много, — заметил Бухман.

— А все-таки? — повторил свой вопрос Бардин.

Бухман встал, окликнул тетушку Клару и сказал, что чай просит подать на веранду.

— Вот вам вопрос на вопрос: Гарри Гопкинс напоминает вам в какой-то мере Робинса? Нет, нет, без отговорок?

— Все относительно, — произнес смущенный Бардин. — Если быть откровенным, у меня он такой ассоциации не вызывал.

— А у меня вызывает! Рабочее происхождение — это не шутка, даже для буржуа!.. А если говорить о России, то Робинс видел ее в октябрьские дни, Гопкинс — в дни войны против фашизма.

Бухман взял стул, с которого встал Бардин, сказав, что на веранде стульев нет, захватил и свой, и они вышли.

— Значит, не напоминает? — переспросил Бухман, когда они оказались на веранде, сейчас темной настолько, что были видны лишь освещенные окна соседнего дома и светлое пятно стола, накрытого скатертью. — А я бы на вашем месте постарался рассмотреть это общее, вы в этом должны быть заинтересованы. Поймите, в среде, делающей сегодня американскую политику, есть влиятельная группа, которую условно можно было бы назвать современными либералами, если бы это слово не было так скомпрометировано... Что характерно для них? Антифашизм и стремление понять Россию.

— Однако что это за люди? Я знаю их? — спросил Бардин — ему не хотелось, чтобы этот разговор был абстрактным.

— Да, разумеется: знаете. Как мне кажется, они не самые богатые, но самые образованные.

— У них есть имя?

— Наверно, есть, но его надо еще найти, — заметил Бухман. — Вы видите это окно? — указал он на свет в соседнем доме. — Там живет друг моего детства... Ах,

какой это добрый и способный малый! — Он зажег свет на веранде, и окно, которое он только что рассматривал, потускнело, а вместе с ним, казалось, погас интерес к человеку, живущему за этим окном. — Да, имя у них есть, но его надо еще найти, — вернулся он к прерванному разговору, вернулся не без намерения его продолжить.

— Но за чем тогда остановка? — Бардин заметно напряг внимание. — Рузвельт и Гопкинс?

— Пожалуй.

— Их способность довести войну до победы?

— Их способность управиться с Черчиллем и со всем тем, что есть империя...

Бардин усмехнулся:

— А это уже интересно.

Бухман вновь бросил взгляд на окно соседнего дома.

— Вот Боб Мун... его зовут Боб, — указал он на окно, свет которого едва просачивался сквозь толстые стекла веранды. — Боб Мун в таких обстоятельствах говорит: «Мудрость — в глазах. Все истинное от увиденного».

— Вы знаете своего Боба — вам легче его понять, — засмеялся Бардин...

31

— Значит, Рузвельт и Гопкинс? — Бардин осторожно возвращал разговор к главному.

— Я бы поменял их местами: Гопкинс и Рузвельт... — Бухман заметно разволновался и говорил с одышкой, которую заметил у него Бардин еще в посольстве. — Слушайте меня внимательно, мистер Бардин... Если мне предстоит сказать вам нечто существенное, я скажу вам это сейчас. — Он умолк, не успокоилось лишь его дыхание, оно продолжало kloкoтaть. — Вы правы: дело, в конце концов, не в происхождении, но я обратился к этому, чтобы вам было ясно явление... О чем я говорю? В современном американском обществе есть группа политиков влиятельных, я скажу больше: влиятельнее, чем вы всегда полагали и полагаете... На последнем я хотел бы настаивать, так как вы плохо учитывали это обстоятельство в наших делах. Меня не удивляет, что эта группа нигде так не сильна, как в Штатах. Наверно, важно тут сказать

о причинах, как понимаю их я. Вот они: мы не знали феодальных отношений. Наша демократия, если говорить о хрестоматийном значении этого слова, возникла в борьбе с рабством, и ее знамя обогрето кровью Линкольна, к которому, смею думать, мы с вами относимся одинаково. И есть еще одно обстоятельство, важное: среди тех, кого мы называем пионерами Америки и кто оказал влияние на все ее будущее, много людей из народа... Вот главное, как его понимаю я. Вы скажете: я идеализирую Америку. Возможно, но тут есть и правда... Так или иначе, в нашей общественной жизни возник тип политика-либерала, для которого идеалом был Линкольн. Когда Америка узнала о русском Октябре, многие из них увидели, — только не смейтесь, пожалуйста, — в Ленине последователя Линкольна. — Он вновь умолк, точно желая молчанием смирить одышку. — Люди, не сведущие в истории, были удивлены: почему после Октября столько американцев слали Ленину свои приветы и симпатии? Нет, не только Рид и Хейвуд, но и откровенные буржуа, вроде Робинса. Почему? По этой самой причине!.. Теперь я выведу одну смелую мысль, подчеркиваю — смелую, но отнеситесь к ней терпимо: Гопкинс — их преемник... Я скажу больше: все, кто считает себя сподвижниками и даже друзьями Гопкинса, — их преемники... Своеобразной батальей, которую дали они своим противникам, явился Рузвельтовский Новый курс. Именно Рузвельтовский курс сплотил их и, если хотите, собрал воедино, дав возможность им увидеть друг друга. В том, с каким воодушевлением они присягали Рузвельту тогда и много позже, был один момент: антифашизм. Не скрою, что тут я особо заинтересован, чтобы мое слово было убедительно, а поэтому не голословно. Личные наблюдения? Да, то, о чем я хочу сейчас рассказать вам, господин Бардин, я видел сам... Разрешите?

— Пожалуйста... — Егор Иванович заметил про себя: «Внимание, он переходит к сути».

— Прежде всего, одно обстоятельство чисто личного характера... вы, наверно, знаете, что одним из учителей Гопкинса был некий Эдвард Стайнер? Тот самый, что был у вашего Толстого в Ясной Поляне и беседовал с великим русским писателем о путях христианства. Стайнер получил образование в Гейдельберге, но потом переехал в Штаты, занявшись препода-

даванием дисциплины оригинальной: «Прикладное христианство». Некоторые считают эту дисциплину чем-то похожим на современную социологию. Я не думаю, что это так... Но не в этом дело! Стайнер не был методистом, но он был близок методистам и по этой причине сошелся с моим отцом, который был в какой-то мере деятелем методистской церкви... Но и это не суть важно!.. Существенно в данном случае иное: Стайнеру был симпатичен Гопкинс не только потому, что старый учитель видел в нем своего ученика. Ему было по душе то, что делал Гопкинс в организации помощи бедным. Стайнер видел в этом подвиг христианина, а Гопкинс? Но пусть мне будет разрешено обратиться к личным наблюдениям. Я обязан Стайнеру тем, что моя семья узнала семью Гопкинса, не столько его родителей, сколько братьев. Как вы заметили, разница в годах между мною и Гарри не очень велика, но я никогда не знал его коротко.

Бухман впервые назвал Гопкинса по имени — видно, не считал удобным называть его так без того, чтобы не сказать нескольких слов о своих отношениях с Гопкинсом,— сейчас, когда он это сделал, ему легко было произнести: Гарри.

— Я уважал его положение, но высокие должности, которые он занимал, не очень отдаляли от него людей... Надо отдать должное Рузвельту: став президентом, он своей «тронной» речью немало встревожил сильных мира сего. Он сказал, что единственно, чего нам надо бояться, это страха. Как утверждал президент, менялы бежали со своих высоких мест и настало время восстановить в этом храме царство древних истин... Президент недвусмысленно дал понять, что, если положение будет критическим, он обратится к конгрессу с просьбой предоставить ему чрезвычайные полномочия, как если бы страна вступила в войну. Гопкинс принимал эту позицию президента в такой мере, что он счел возможным сделать заявление, которое можно было понять так: ему, Гопкинсу, кажется, что Рузвельт будет лучшим президентом, чем Гувер, главным образом потому, что он не боится новых идей и его имя не связывают с крупными капиталистами... Я пришел на работу к Гарри в тот самый момент, когда Рузвельт, став президентом, предложил Гопкинсу возглавить администрацию помощи безработным. Гарри сказал: «Мне эта

работа нравится». Надо только представить, что это было за время! Америка находилась в трагическом положении: семнадцать миллионов безработных, семнадцать!.. Гопкинс занял этот пост, призвав в помощники тех, кого знал, и я был среди них. Америке было не до моих летающих лодок, и я отважился... Вижу первое утро, когда Гопкинс пришел в администрацию. Кабинет еще не был готов, и стол Гарри поставили в коридоре. Да, сидя за этим столом в коридоре, он в первое свое утро послал телеграммы губернаторам семи штатов, сообщив им, что переводит в помощь безработным пять миллионов долларов, как, впрочем, за этим же столом он прочел в следующее утро отзыв в «Вашингтон пост» об этом первом дне в своей деятельности. Если Гарри Гопкинс будет тратить государственные деньги в таком темпе, в каком он начал тратить их в первый день своей деятельности, — гласила корреспонденция, — то ассигнованных ему пятидесяти миллионов не хватит и на месяц. Но это не смутило Гарри. Он повел дело с завидной уверенностью. Помогая, он щадил человеческое достоинство безработных, отменив проверку нуждаемости и анкеты, устанавливающие, к какой партии принадлежат те, кому оказывалась помощь, — речь шла о спасении людей, всех людей... Мне все кажется, что вы прервете меня и скажете: «Ваш рассказ о Гопкинсе пристрастен...» И я, пожалуй, не возражу. Да, я, пожалуй, пристрастен и не чувствую в этом вины. Вы полагаете: пристрастен?

— Пожалуй, и пристрастен, но понять вас можно: вы с ним почти... товарищи по общему делу? Так?

— Никуда не денешься: товарищи... — ответ Бардина был собеседнику приятен. — Если же говорить о стратегии помощи, то у Гопкинса были две задачи. Первая — так распределить средства, чтобы были привлечены и деньги штатов: на один федеральный доллар три местных. Вторая — не пособие по безработице, а предоставление работы. Ну, работа могла быть иногда пустячной: например, сгребание листьев в парке, но и это было полезно в той обстановке, так как сохраняло в человеке потребность трудиться. Правда, враги Гопкинса не преминули эти парковые работы обратить против Гопкинса и злобно прозвали новую администрацию департаментом сгребания листьев. Чем деятельнее был Гарри, тем беспощаднее его атаквали, ползая,

что он использует государственные средства на поддержку тех, кто расшатывает устой американского государства, — ну, тут, конечно, обратили против него и его происхождение: сын шорника в роли американского Марата! Помню, сколько шума наделал демарш тexasского сенатора Джорджа Терелла, который договорился до того, что администрация приведет страну к гражданской войне и революции, если как-нибудь не остановить ее. «Другие конгрессмены могут идти, как стадо бессловесное, — заявила сенатор в ярости. — Но я не пожертвую своей независимостью, какую бы работу мне ни предложили!» Как ни парадоксально, но Гопкинс, как, впрочем, и Рузвельт, должен был считаться с такого рода обвинениями. Поэтому часто сподвижники Гопкинса ломали себе голову над тем, чтобы прогрессивному делу сообщить облик консервативного и таким образом уберечь его. А между тем многое из того, что сделал тогда Гопкинс, обеспечило победу рузвельтовского Нового курса. По-моему, вы скептически улыбаетесь, не правда ли? — спросил Бухман. — Вы, наверно, хотите сказать: «Чудак человек этот Бухман, превозносит обычную филантропию, полагая, что она является лучшим средством борьбы с безработицей. Безработица побеждается не филантропией, а революцией!»? Нет, скажите: это вы хотите сказать мне сейчас?

— Мне бы хотелось вас выслушать до конца, господин Бухман, — произнес Бардин. Ну, разумеется, Егор Иванович мог бы возразить Бухману, но больший резон сейчас был в нем: дать возможность Бухману сказать то, что он хотел.

— Вы спросите меня: почему я столь подробно рассказал о христианской, как назвал бы ее старый Стайнер, миссии Гопкинса? Да потому, что она была генеральной репетицией к тому, что делал этот человек в годы войны: я говорю, разумеется, о ленд-лизе... Но есть одна тема, которой мне хотелось бы коснуться: Гопкинс и Рузвельт... Вам интересно это?

— Да, конечно же, господин Бухман.

— То, что зналось у нас рузвельтовской революцией, должно было делаться такими людьми, как Гопкинс! — продолжал Бухман увлеченно, в своем рассказе он почти достиг кульминации. — Гопкинс импонировал Рузвельту всей своей сутью. В самом деле, человек

из народа, предприимчивый, никогда не знавший государственной службы, а поэтому не испорченный ее благами. Нет, не улыбайтесь, я говорю дело! Вся его сознательная жизнь была отдана благотворительности: вначале он воевал с бедностью, потом с туберкулезом и, наконец, с безработицей! Согласитесь, что человек, избравший себе такой путь, может стремиться ко всему, но только не к обогащению... Бессребреник! Вот это как раз и оценил в Гопкинсе новый президент. Вам не доводилось слышать об этом разговоре Рузвельта с Уилки? Смысл вопроса Уилки был таким: да есть ли крайняя необходимость иметь рядом с собой такого человека, как Гопкинс? И вот что ему ответил Рузвельт — я воспроизвожу, разумеется, его ответ по памяти: «Есть смысл, господин Уилки. Когда-нибудь может случиться так, что вы окажетесь в моем кресле, став президентом. И тогда перед вами будет вот эта дверь, которая сейчас передо мною. И вы, разумеется, будете знать, как знаю сейчас я: каждый, кто входит в эту дверь, входит в нее для того, чтобы вас о чем-то попросить. И вы должны понять: ничто вас не делает таким одиноким, как это. И вам захочется иметь рядом с собой человека вроде Гарри Гопкинса, который, входя в эту дверь, при этом чаще, чем другие, ни о чем вас не просит...» Думаю, что президент уловил нечто важное в характере Гопкинса, хотя молва... О эта молва! Она, например, утверждает, что главное — почти женская чуткость Гопкинса, когда речь шла о настроениях президента. Гопкинс мог быть подчас и умнее и даже прозорливее президента, но он никогда не обнаруживал этого. Но молва шла дальше, и она утверждала: он просто знал, когда надо молчать, когда настаивать, а когда уступить, когда следует действовать прямо, а когда идти кружным путем... Но молва, как обычно, повторяется, если речь идет о человеке сильном, и в том, что я воспроизвел как мнение молвы, нет нового. А как обстоит дело на самом деле? Вот что я думаю: Рузвельт человек широкий, он действует доверяя, а Гопкинс, это правда, не обманывал его доверия, обнаружив ум, бескорыстие и трудоспособность... Никаких тайн тут нет — все! Был бы я на месте Рузвельта, я бы повел себя по отношению к Гопкинсу так же. — Бухман прервал свой рассказ и, пододвинув стакан чая, отпил. — Начиная монолог, нельзя ставить перед собой стакан горячего

чая, если не хочешь выглядеть смешным, а?..— констатировал Бухман смеясь.— Чай остыл, а это значит, я злоупотребил вниманием гостя, не так ли?

— Нет, вы не правы, господин Бухман, это мне было полезно,— возразил Бардин; действительно, рассказ хозяина заинтересовал Егора Ивановича.

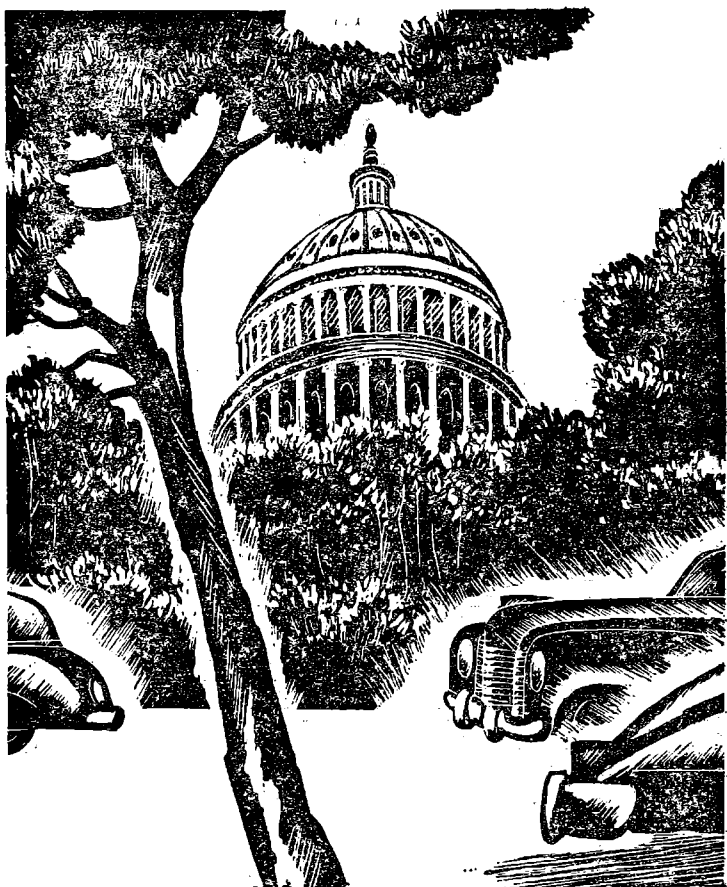
— Как ни пространен рассказ, я не утерял мысль, с которой я начал, и хочу закончить ею же,— заметил Бухман.— Я полагаю, что у русской дипломатии есть достоинство, по поводу которого и друзья ваши в Америке, и недруги держатся одного мнения: вы не витаете в облаках, когда речь идет о делах земных, вы — реалисты... А если вы реалисты, разрешите вам сказать следующее: то, что вы зовете капиталистической Америкой, отнюдь не монолитно. Короче: в той самой капиталистической Америке есть люди, относящиеся к вам лояльно и даже не без некоторой симпатии, при этом степень пользы, которую они могут принести вам, во многом зависит от вас... Мой рассказ о Рузвельте и Гопкинсе я прошу понимать под этим знаком. И самое последнее: мой рассказ о Рузвельте и Гопкинсе, быть может, нов, быть может... Что же касается мысли, которую из этого можно вывести, то она, эта мысль, не нова — уже ваш учитель Ленин это понимал...— Бухман допил чай залпом, как пьют вино,— холодный чай был ему приятен, монолог потребовал от него сил.— Не мог бы я вас спросить, господин Бардин: как бы вы отнеслись к тому, если бы последовало приглашение президента посетить его в загородном доме?

— Вы полагаете, что такое приглашение последует?

— Мне так кажется.

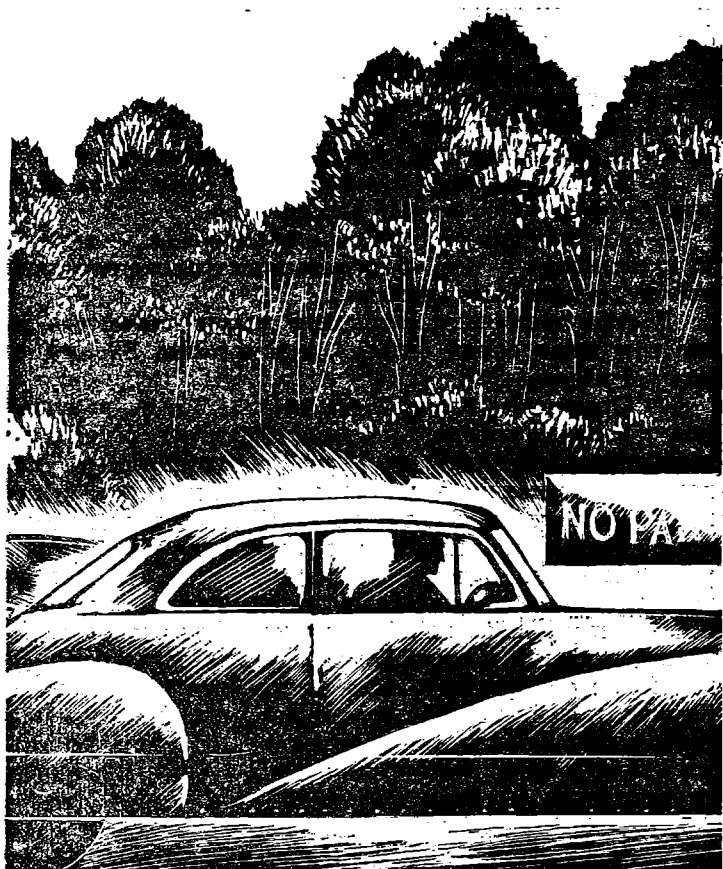
Дом они покидали поздно ночью. Бухман выключил свет на веранде, и вновь, как несколько часов назад, ярче стало овальное окно соседнего дома: Боб Мун бодрствовал.

— Этот Боб... истинный феномен! — неожиданно заметил Бухман, распахнув окно веранды — внизу было картофельное поле.— Кстати, я вам не сказал: он моторостроитель, и способный. Говорят, соорудил мотор, которому цены нет, но никого не хочет к нему подпускать... Мотор, естественно, устаревает, но Боб стоит на своем... Не чудак ли человек? — Он затих, задумав-



шись; они стояли во тьме, глядя на свальное окно.— Цветет картошка, цветет!..— произнес вдруг Бухман и зашагал с веранды.

Бухман заехал за Бардиным и повез его в Гайд-Парк. Перевалило за полдень, жара еще удерживалась. Может, поэтому дорога была относительно свободной и заметно пустынными были улицы, которыми они сейчас ехали. Всем своим видом Бухман свидетельствовал, что он собрался за город. Нет, не только соломенная



шляпа, сандалии из желтой кожи, костюм из незаменимой для вашингтонской жары рогожки, но и корзина с доброй дюжиной бутылок красного вина, которую Бухман пристроил рядом с шофером и которая давала о себе знать на поворотах.

— Вас интересует: всегда ли я беру в Гайд-Парк эту корзину с красным мексиканским? — спросил Бухман Егора Ивановича тоном, в котором явственно слышны были доверительные интонации. — Представьте себе, всегда!.. Это вино, как вы изволили заметить, из коллекции приватной... Одним словом, президент Штатов

уже бессилён раздобыть это вино, а иметь его ему необходимо крайне: особую мягкость, которую президент зовет плюшевой, может сообщить его знаменитым коктейлям только это вино...

— Можно подумать, что президент пленен вашим красным мексиканским? — спросил Бардин смеясь.

— А вы что думали? — вымолвил Бухман, не моргнув глазом. — Так оно и есть!..

— Для каждой страсти свое объяснение... — заметил Егор Иванович. — Чем объяснить пристрастие президента? Я говорю о коктейлях...

Бухман засмеялся, смущенно пожав плечами, — когда ему было очень смешно, как заметил Бардин, он двигал плечами.

— Странность больного человека!.. Вот вчера видел, как человек, у которого не рука, а полруки, играл в эти шары, которые катят по деревянному желобу... Ему важно было показать, что он со своей короткой рукой шары бросает не хуже других... Бросит и глядит вокруг, точно хочет сказать: это вам только кажется, что у меня короткая рука, а она как у всех: вон как у меня получается!.. Он утверждает себя, бросая эти шары. Вот так и у Рузвельта!.. Ему все хочется показать, что у него рука как у всех! Главное — выказать силу!.. Ну какой же он мужчина, если не тянется к спиртному? Короче, президент не представляет своей жизни без того, чтобы не играть в эти деревянные шары, по этой же причине он составляет коктейли, — Бухман засмеялся беззвучно, и у него ходили только плечи. — Именно показать силу!.. Ну, например, в прежние времена, когда к столу собирались гости, ему небезразличные, он хотел, чтобы гвардия его сыновей помогала ему угощать гостей, даже в какой-то мере им прислуживая... Он не требовал от сыновей, чтобы они блистали остроумием, он всего лишь просил их быть предупредительными...

— Не требовал быть остроумными даже после того, как однажды имел возможность слушать Рандольфа Черчилля?

— Именно после этого он и запретил им словесное фехтование! — плечи Бухмана пришли в движение. — Бедное чадо Черчилля так поднатужилось, что старалось разом превзойти и собственного родителя, и американского президента, не говоря уж о его сыновьях.

После этого и был отдан негласный приказ: в доме Рузвельта разрешается быть только самим собой..

— Однако вы меня предупредили вовремя,— громко засмеялся Бардин.— А я уж собрался последовать примеру Рандольфа Черчилля!..

Вот так, переговариваясь, сопутствуемые ветерком, который врывался в машину, когда шофер прибавлял скорость, и мелодичным перезвоном бутылок с красным мексиканским, они доехали до Гайд-Парка.

— Но президент не часто видит своих сыновей вместе? — спросил Бардин.— Чтобы увидеть их, надо пересечь добрую половину вселенной, не так ли?

Бухман подмигнул Егору Ивановичу, точно говоря: «Знаю, мол, о чем говоришь!.. Знаю!»

— Если бы такая возможность вдруг представилась, вряд ли президент ею воспользовался бы... — произнес Бухман и указал взглядом на водителя — не все он мог сказать в присутствии своего «драйвера».

— Да, война делает эту проблему сложной,— бросил Бардин, точно не замечая взгляда Бухмана, обращенного на шофера,— ему хотелось довести этот разговор до конца.

— Нет, не совсем так,— возразил Бухман все тем же тоном.— Американская политика — дело весьма жестокое, при этом ее более чем суровые правила не дают привилегий и президенту. Недруги президента, а их у него немало, не могут простить ему, что сыновья Рузвельта живы... Не дай бог, чтобы это произошло, но смерть одного из сыновей была бы выходом из положения... — произнес он и даже не взглянул на «драйвера» — казалось, он смирился с тем, что тот услышит этот разговор.— Жестоко, не правда ли?

— Жестоко,— согласился русский.

Картину, которую увидел Бардин, прибыв в рузвельтовский Гайд-Парк, он, кажется, видел однажды на фотографии: зеленая поляна, просторная и ровная, а у края поляны, в тени ветвистого вяза, Рузвельт в шезлонге, окруженный гостями. Впрочем, некоторых из тех гостей, которые сейчас были рядом с президентом, на фотографии не было, например Черчилля, но это обнаруживалось не сразу — кресло старого Уинни было скрыто тенью.

— Ну как же, я вас помню по миссии мистера... Бауэра! — заметил Рузвельт, подавая руку Егору Ивано-

внучу и улыбаясь — все еще светящая улыбка президента как-то контрастировала с его маленьким стариковским личиком, сейчас казавшимся еще более угнетенным, чем прежде. — Вы опоздали и должны быть наказаны...

Бардин скосил глаза на Черчилля, полагая, что тот будет застигнут этим взглядом врасплох и не успеет соответственно подготовить свое лицо, взглянул и не ошибся: в сомкнутом рте, в глазах, тоже сомкнутых в прищуре, в морщинах медно-багрового лица (оно было багровее обычного, коктейль, приготовленный Рузвельтом для Черчилля, был много крепче, чем для остальных гостей) сквозило нечто скептическое.

Бардин взял свой бокал и отошел к Гопкинсу — три шага, на расстоянии которых он обычно находился от президента, им были точно отмерены и сегодня. Эти три шага давали возможность Гопкинсу пребывать на незримом пятачке, позволяющем одинаково быстро включаться в беседу и из нее выключаться — последнее подчас устраивало Гопкинса не меньше первого. Устраивало, если удавалось обмануть бдительность президента. Сейчас это не удалось: разрешить русскому гостю уйти — значит поступиться законами гостеприимства.

— Мистер Бардин, Гарри мне сказал, что вы по образованию историк?..

— Да, господин президент: историк.

— Русский, да еще историк — вы мне как раз и нужны! — воскликнул президент и, защитив глаза ладонью, взглянул на предвечернее небо — его желтая ладонь защищала не столько глаза, сколько рот, который тронула улыбка, как показалось Бардину, ироническая. — Что там показывают барометры революции? Когда страна ближе к взрыву: в момент, когда видит в упор лик поработителя или его спину?.. Вы скажете: не спина же деспота может вызвать у народа гнев, а его физиономия, так?.. Молчите? Тогда я вам скажу — именно спина!.. — Он отнял желтую руку от глаз, торжественно замахал ею: — Спина, спина!..

Бардин скосил глаза на Черчилля: его сигара медленно пошла из правого угла рта в левый — не очень-то много можно было прочесть в этот момент на лице британского премьера... А если все-таки попытаться? Что означал вопрос президента и какое отношение он

имел к разговору, который предшествовал приходу Бардина? Очевидно, самое прямое. Барометры революции?.. Какой революции? Очевидно, европейской? О какой же революции можно говорить сегодня, имея в виду бегство деспота? Именно бегство: когда же поработителю показывать спину, как не при бегстве?.. Ну что ж, для Черчилля это, наверно, сегодня проблема номер один, да и для Рузвельта тоже? Но какой поворот мог принять этот разговор, практический поворот?..

— Восстание парижских рабочих в прошлом веке, господин президент, было реакцией на неуспех в войне...

Сигара Черчилля остановилась посреди рта, она сейчас была нацелена на Бардина, ни дать ни взять — ствол гаубицы.

— Вы сказали: Париж? — спросил британский гость.

В самой интонации, с какой была произнесена эта фраза, нечто робко-тревожное, могло показаться даже, паническое. И вновь подумалось: какой поворот способен принять этот разговор, если подобную реакцию вызывает Париж?.. Наверно, гадай не гадай, а к истине не приблизишься. В самом деле, как нащупать зернышко правды, если ты знаешь так мало? Ну, правда может лежать, например, здесь: куда должен быть нацелен удар в Европе, чтобы предотвратить взрыв, тот самый, который имел в виду Рузвельт, говоря о спине деспота?.. Куда нацелен? На Скандинавию, на Балканы или на Францию, которая только что так взволновала Черчилля? Да, правда может лежать здесь, но какая у тебя уверенность, что вот эту обмолвку о Париже надо понимать так, как ты хотел бы ее понять? Нет, твоя, конечно, воля строить некую концепцию и даже тешить себя тем, что построенное тобой прочно, но согласишься, что все это воздвигнуто на том сыпучем материале, который рухнет, как только из него испаряется влага... Может быть, все это обретет смысл, если найти возможность продолжить разговор? Хотя бы с тем же Гопкинсом? Как свидетельствует опыт, то, что он скажет один на один, в более широком кругу он может и не сказать. Да, собственно говоря, в цепи, которую Бардин соорудил, стараясь представить себе разговор, имевший место под старым вязом, недостает двух звеньев, всего лишь двух.

Кстати, чтобы вынудить Гопкинса несколько увеличить расстояние, отделяющее его сейчас от президента, можно воспользоваться хотя бы вот этим: там, где смыкаются купы деревьев, сейчас темные, появились Литвинов и Хэлл, заметно уставшие,— вероятно, их автономное плавание было не легким.

— У хаоса нет правил: никто не может сказать, как он поведет себя,— сказал Гопкинс, когда они ступили с Бардиным на дорожку, ведущую к дому,— видно, он сделал это потому, что на параллельной дорожке появился Хэлл,— могло показаться, что Гопкинс отошел от президента демонстративно, приметив государственного секретаря.

— Хаос... это революция? — спросил Егор Иванович, запрокинув голову: уходящий день был знойным, и белесо-голубое, почти белое небо продолжало дышать зноем, но на недостижимой высоте уже появились ласточки — вечер близок.

— Хаос — это... хаос,— заметил Гопкинс и посмотрел туда же, куда смотрел сейчас Бардин,— можно было подумать, что он отвел глаза, чтобы обойти деликатную тему.

— Ну, предположим, не революция, а хаос... — легко согласился Бардин, опуская взгляд,— Егору Ивановичу казалось, что не было смысла тут спорить с Гопкинсом — главное было впереди.— Что надо, чтобы предотвратить этот хаос?..

— По-моему, вам это должно быть известно не хуже, чем мне... — вымолвил Гопкинс.

— А все-таки? — заметил Бардин и улыбнулся: он точно давал ему возможность превратить свой ответ в шутку, но ответить.

Гопкинс будто внял этой просьбе Егора Ивановича.

— Вам надо было спросить об этом английского премьер-министра... — заметил Гопкинс, теперь уже откровенно смеясь.

— Но ведь он передо мною вопроса о хаосе не ставил... — возразил Бардин.

— Именно он и поставил вопрос о хаосе! — не сказал — отсекал Гопкинс. Это уже было заметным шагом к выяснению истины. Впрочем, не только поэтому сказанное Гопкинсом могло показаться Егору Ивановичу существенным. Это было существенно для определения позиции самого Гопкинса: действительно ли он

пошел так далеко, как свидетельствует его замечание, или это обман зрения: слово сказало больше, чем хотел человек, произнесший его.

— Хорошо, я готов если не понять, то объяснить прежнюю позицию Черчилля — он не хотел второго фронта потому, что это было равносильно оказанию помощи русским, а это могло и не входить в его намерения, — произнес Бардин и посмотрел на Гопкинса: ему был интересен этот человек, всегда интересен, а сегодня больше, чем всегда. — Но сейчас, когда ему надо предупреждать... революцию, то есть хаос, ему никак не обойтись без второго фронта, не так ли?

— Да, но все еще не ясно, где его открыть?.. — Гопкинс точно подзадоривал Бардина ответить и на этот вопрос — интонацию эту заметил и Егор Иванович.

«Если он мог позволить себе маленькую хитрость с подзадориванием, то его реплика о Черчилле и хаосе не обмолвка», — подумал Бардин. А если это так, то он, возможно, готов пойти в этом разговоре и дальше.

— Мистера Черчилля так встревожил Париж, что можно подумать... тут-то он и ждет хаоса? — Бардин не сводил глаз с собеседника. Они вышли из тени деревьев, ровный предвечерний свет ложился на лицо Гопкинса, делая его не таким серым, каким оно было на самом деле, не таким, пожалуй, замутненно-стеклянным, неживым. С той памятной июльской поры, когда Бардин увидел его впервые идущим по мокрой траве северного русского аэродрома, прошло почти два года, тревожных и для Гопкинса. Тогда американец отнюдь не выглядел богатырем, а сейчас... Бардин заметил тогда, как быстро уставал американец, его длинная, какая-то крупнокостная, от худобы крупнокостная, рука все искала предмет, на который могла бы опереться. Но вот прошло два года, а человек, казалось, деятелен как прежде. Видно, годы эти не только не отняли силы, но и дали ему их. Только появилась привычка щуриться — наверно, потому поднасыпало морщин у глаз, да слеза стала какой-то сутуло-округлой, но это могло быть от роста.

— Да, Париж, Париж... — повторил односложно Гопкинс, подчеркнуто односложно...

Вот, видно, она и захлопнулась, крышка откровенности, сказал себе Егор Иванович. Ненадолго ее хва-

тило... Но что сказал он и сказал ли? Не хватало двух звеньев, а сейчас почти двух?..

— В хитрости есть одна опасность...

— Да, господин Бардин?

— Можно самого себя перехитрить.

— Это вы о Париже? — мгновенно реагировал американец, хотя, наверно, хотел сказать иное: «Это вы о Черчилле?»

— Да, о Париже.

— Так-так, Париж, Париж, — произнес он все так же односложно.

Если он не захлопнул заветной крышки откровенности до сих пор, то сделал это сейчас, подумал Бардин и, взглянув на Гопкинса, отметил его прищур, скрывающий глаза: непонятно было, смеется он или хмурится.

— Наши потомки будут любопытнее нас, мистер Гопкинс, — Бардину казалось, что целеустремленность диалога, в какой-то мере жесткая, уже не даст результата.

— Потомки? — переспросил Гопкинс живо — он словно откакался на приглашение Бардина к абстрактному разговору. — Им будет легче: они будут ближе к истине, но от этого они не будут умнее нас.

— Но они сочтут нас косными: за проблемами общими мы не видели проблем человеческих, если эти проблемы были уникальны... — сказал Бардин и подумал: не просто сменить тему беседы, если даже и хочешь это сделать.

— Черчилль! — чуть ли не воскликнул Гопкинс и, сжав руки в кулак, медленно качнул их, качнул, точно трос с литой чушкой на конце, которой, как это однажды видел здесь Егор Иванович, рушат дома — трущобы. — Черчилль... — повторил Гопкинс, продолжая раскачивать руку — кулак был сжат добела, но в голосе уже не было ни силы, ни воинственности. — Главное — знать, что ты хочешь... — заключил Гопкинс, но Бардин вдруг подумал: «О Черчилле он говорит теперь? О Черчилле? А может, о себе?..»

Когда они вернулись под сень старого вяза, солнце уже зашло, но отблеск его удерживался над заставой — может быть, он шел от верхушек деревьев, еще освещенных.

щенных солнцем. Казалось, большая крющонница хозяина бездонна, хотя и емок был половник, которым хозяин разливал свое многоцветное зелье. Впрочем, размеры крющонницы и не могли быть иными, если учитывать, что среди гостей, сидящих подле, был английский премьер. Непонятным было только одно: к чему так осложнена процедура угощения? В самом деле, зачем напиток трижды переливать из одного сосуда в другой, прежде чем он достигнет знатного гостя? Можно ведь прямо, тем более, что емкости, так сказать, одни и те же, да и формы, если это имеет значение, схожи... Да, как у чудо-озера: приник сухим ртом к заветной влаге и пей... Но вот что любопытно: казалось, человек не хмелел. Нет, на самом деле он хмелел: глаза будто плавилась и сигара, знаменитая сигара, достигнув уголка рта, как бы повисала, готовая вывалиться... Но так было не больше получаса, и первый признак отрезвления подавала та же сигара: неожиданно ожив, она возобновляла прерванное путешествие, путешествие, можно было подумать, вечное: из одного уголка рта в другой... В том, как сигара, придя в себя, принималась двигаться, было нечто интуитивное, похожее на поведение того самого черепашонка, который, выкарабкавшись из яичной скорлупы и выбравшись на поверхность сыпучей стихии, устремляется к морю... Одним словом, помимо воли человека соответствующий процесс отработала в нем сама природа, обратив в своеобразные циклы. Можно было подумать, что самочувствие Черчилля, больше того, его настроение прямо соответствовало этим циклам: совладав с хмелем, он ощущал прилив сил, а следовательно, и красноречия — многие из знаменитых монологов Черчилля, монологов-заклинаний, исповедей-молитв, были произнесены в такую минуту.

Наверное, это знал Рузвельт — у него была возможность узнать это. Но он знал и другое: не всегда взрыв вдохновения возникал сам по себе — необходим был толчок, даже не очень сильный.

В самом характере Рузвельта, в его склонности к озорству была способность поощрить и даже спровоцировать собеседника на нечто лихое.

— Послушайте, Уинстон, расскажите почтенной компании, как вы меня приняли за Уэндела Уилки... — произнес президент кротко, обращаясь к гостю.

Черчилль втянул голову так, что над плечами осталась только лысина.

— Как я могу рассказать такое? — произнес он, изобразив испуг; на самом деле испуга не было, была радость, больше того, ликование. — Рассказать — это значит выставить себя на осмеяние, — и он сложил руки на животе.

— Кто не знает старой истины: лучшее средство лишить других возможности смеяться над тобой — самому над собой посмеяться, не так ли, друг Уинстон?

Черчилль оглядел присутствующих, будто говоря: «А может, президент прав?»

— Да так ли это? — спросил он на всякий случай и, изловчившись, сунул толстые ноги под кресло.

— Ну, разумеется, так! — подтвердил президент, напрочь исключая сомнения.

— Если так... — протянул английский гость... Он, конечно, чуть-чуть кокетничал, стараясь показать, что немало смущен и даже робок, — на самом деле он давно решил, что не преминет воспользоваться предложением хозяина и поведаст гостям историю, которая действительно презабавна, — да как можно не воспользоваться случаем, который послан тебе самим небом? — Тогда я, пожалуй, решусь, — сказал он и оглядел слушателей нарочито хмурым взглядом, одним этим вызвав первые улыбки: казалось, у слушателей уже было то состояние, когда веселая история им необходима позарез, и они будут смеяться независимо от того, что расскажет сейчас старый хитрец. — Ну, знаете, есть такая присказка: когда мы приезжаем в страну, мы все рабы нашего посла в этой стране. Как может быть иначе: посол живет здесь, знает или должен знать все — ему и карты в руки!.. Мы говорим: «Посол имел в виду, посол дал понять, посол подсказал» — и это звучит для нас как закон. Независимо от того, что мы думаем по этому поводу, мы делаем так, как нас ориентировал посол... Наш посол в Вашингтоне сказал мне: «Вам надо встретиться с Уэнделом Уилки — он был у нас, он друг Англии!» Я слабо возразил: «Да, но как на это посмотрит президент, — по-моему, сейчас не лучшая пора в их отношениях...» — «Не важно — президент может и не узнать о вашей встрече, ну, встретитесь где-нибудь на полустанке во время вашей поездки по стране...» — «Но кто мне устроит эту встре-

чу на полустанке?..» — «Сами и устройте,— сказал посол.— Мы соединим вас сейчас с Уилки по телефону...» Во мне еще жили сомнения, когда я взял телефонную трубку: связь в Вашингтоне налажена отлично... «Мистер Черчилль?.. Ваш абонент у телефона». Посол так воодушевил меня, что я с места в карьер бросился в атаку: «Я очень рад поговорить с вами. Надеюсь, что нам удастся повидать друг друга. Завтра вечером я выезжаю поездом. Вы не могли бы встретить поезд на какой-нибудь станции и проехать со мной несколько часов? Где вы будете в субботу?» Мой собеседник ответил: «Да там же, где и сейчас,— за моим столом...» Мне стало не по себе, нет, не то что догадка, а нечто такое, что и объяснить нельзя. «Я не понимаю»,— ответил я едва слышно. «С кем, по-вашему, вы говорите?» — спросил человек на том конце провода. «С господином Уэнделом Уилки,— бодро сказал я.— Не так ли?» — «Нет,— был ответ.— Вы говорите с президентом Соединенных Штатов». — «С кем, с кем?» — переспросил я, чувствуя, что ноги мои слабеют. «Вы говорите с Франклином Рузвельтом...»

На зеленой поляне, где сидели гости, будто что-то взорвалось — раздался хохот. Казалось, хохотала сама зеленая поляна вместе со старыми деревьями и облаками над ней... Президент закрыл глаза и готов был закрыть уши, чтобы оборониться от рассказа Черчилля,— сейчас стонало только его кресло.

— Однако что же произошло? — подал голос Гопкинс, когда смех утих.— Не сработал телефон или сработала служба безопасности президента?

— Будем считать, что все эти силы объединились в справедливом гневе, чтобы покарать меня...— смеясь, заметил англичанин.— Я сказал: в справедливом гневе!..— заключил Черчилль — последняя фраза должна была его реабилитировать в глазах президента окончательно — в этой последней фразе был смысл его рассказа.

— А теперь прочтите Уиттиера, которого вы нам читали, когда мы въехали в этот Фредерик и увидели дом Барбары Фритчи. Ну, не толките нас, вы понимаете, о чем я говорю...— Президент как бы держал связку ключей от большого музыкального ящика, называемого Уинстоном Черчиллем. Президент действовал безошибочно, выкашдывая на свою бледную ладонь

эту связку и отбирая нужный ключик.— Гарри, напомните мистеру Черчиллю эти строки,— обратился хозяин к Гопкинсу, ему очень хотелось, чтобы Черчилль прочел стихи.

Гопкинс задвигал худыми плечами — он не намеревался декламировать, а собрался вместе со всеми слушать чтение Черчилля. Но президент просил, и Гопкинс откашлялся:

«Стреляйте в седины моей головы,
Но флага отчизны не трогайте вы!»

Черчилль уже не в силах был совладать с собой — в его взгляде, обращенном на Гопкинса, был молчаливый приказ умолкнуть.

Утром сентябрьским над жнивом полей
Фредерик-город блеснул светлей,—

начал Черчилль,— видно, он читал эти стихи многократно. Вопреки годам, память удержала их, он читал уверенно:

Барбара Фритчи врагам в ответ,
Старуха почти девяноста лет,

Отважилась дряхлой рукой опять —
Мужчинами спущенный — флаг поднять.

И взвился флаг с чердака из окна,
Ему до конца она будет верна!

Отряд свой по улице мимо вел
Верхом на мустанге Джексон Стонвол.

Надвинув шляпу, смотрел он вокруг,
И флаг северян он увидел вдруг.

«Стойте!» — и встал смуглолицый отряд.
«Огонь!» — и грянул ружейный раскат.

Звякнуло в раме оконной стекло,
Флаг перещеченный с древка снасно,

Но грохот ружейный еще не смолк,
Когда подхватила Барбара шелк.

На улицу высупувшись из окна,
Простреленным флагом взмахнула она:

«Стреляйте в седины моей головы,
Но флага отчизны не трогайте вы!»

Бардин обратил взгляд на гостей. Рузвельт согласно кивал головой, пришли в движение и его губы, но голос был невнятен — он читал те же стихи. Литвинов следил за Черчиллем, чуть наклонив голову; взгляд его был печально-торжествен. Хэлл тоже читал стихи, читал, в отличие от хозяина, почти внятно. Он точно говорил этим своим чтением: «Вот вы не помните этих стихов, а я их помню!» Бухман едва ли не встал на цыпочки, стараясь получше расслышать то, что говорил ему в эту минуту многомудрый Гарри. Судя по тому, что Гопкинс смотрел при этом то на Черчилля, продолжающего читать стихи, то на Бардина, речь могла идти и о Егоре Ивановиче. Ну, например, о его беседе с Гопкинсом, касающейся Черчилля, — кстати, повод к тому, чтобы вспомнить этот разговор, был налицо у Гопкинса — Черчилль продолжал читать:

И тень раскаянья, краска стыда
По лицу командира скользнула тогда.

На мновенье задумался он, молчалив,
И победил благородный порыв.

«Кто тронет ее, как собака умрет!» —
Он крикнул, промчавшись галсом вперед.

И целый день проходила войска
По улицам тихого городка,

Но флаг развевавшийся взять на прицел
Никто из мятежников больше не смел¹.

По мере того как чтение продолжалось, лицо Черчилля точно преображалось на глазах — прочь уходило то неодолимое, своекорыстное, что было в лице. Истинно, как гласили стихи, «и победил благородный порыв». Никогда никто не видел такого Черчилля — это был он и не он... Самое интересное, что этот прилив новой крови почувствовал в себе он сам, почувствовал и хотел удержатъ. Но это уже было не в его власти: сейчас его практический ум был занят тем, как употребить на пользу это приобретение. Мрачное состояние, в котором он только что пребывал, как рукой сняло. Его глаза, губы, все его лицо на какой-то миг точно смерзались, сделавшись меньше и тверже: Черчилль действительно был занят тем, как обратить

¹ Перевод М. Зенкевича.

стихи о Барбаре Фритчи в реальные ценности, которые и прежде необходимы были ему в отношениях с американцами, а сейчас много больше, чем всегда.

— Простите, господин президент, но я устал, — неожиданно произнес Черчилль — эта фраза никак не проистекала из того состояния, в котором он только что пребывал. — Если вам будет удобно, я спущусь к вам завтра после полудня...

Президент кивнул в знак согласия.

34

Почти всю обратную дорогу Бухман дремал. Он проснулся, когда машина вошла в Вашингтон. Можно было подумать, что его разбудили уличные фонари, свет которых с ритмичной последовательностью врывается в автомобиль, пробегая по лицу американца.

— Черчилль — это действительно проблема, и человеческая! — произнес вдруг американец, и Бардин подумал: «Да не передал ли Гопкинс своему другу содержание их разговора — там ведь шла речь именно о человеческом аспекте черчиллевской проблемы». — Вот он сегодня резвился так беззаботно и так был красноречив, а на самом деле он точно призвал на помощь свое остроумие, чтобы сладить с ситуацией, которая была для него неблагоприятна...

Бухман намеренно оборвал фразу, ожидая, что Бардин спросит: «Помилуйте, да так ли неблагоприятна?» Но Егору Ивановичу казалось: его собеседник взял инициативу этого разговора в свои руки и так далеко пошел в желании разговор продолжить, что вряд ли был смысл обнаруживать большую заинтересованность, чем явил он сам.

— Не открою никаких тайн, если скажу — замысел таков: немцы и русские обескровят друг друга настолько, что все остальное будет лишь вопросом техники. Замысел, а следовательно, три варианта. Три... — казалось, в темноте Бухман загибает пальцы. Сейчас он загнул указательный, отмеченный шпиром в виде полумесяца. — Союзники вторгаются на Апеннины и ждут своего часа у южных ворот Европы. Второй... — кажется, Бухман поднял в темноте руку, показывая второй загнутый палец. — второй: Балканы, куда

Черчилль хотел бы вторгнуться, это отрезало бы русских от славянского юга и поставило бы под контроль союзников восточные ворота Европы. Третий... — и в свете набегающих фонарей Бардин увидел: палец действительно был загнут. — Третий вариант: Франция, а точнее, собственно Европа... Первый и второй варианты относительно безопасны: обратившись к ним, союзники не рискуют ввязаться в борьбу с основными силами немцев, что было бы для того же Черчилля равносильно катастрофе, так как дало бы возможность русским поменяться с англосаксами ролями. Третий вариант таит эту угрозу... Согласиться на операцию во Франции — это значит пойти на риск единоборства с немцами, почти единоборства... если понять это слово как борьбу один на один. Да, немцы отзывают свои войска из России, а русские стабилизируют фронт и ждут своего часа, чтобы ворваться в Европу. Поэтому с точки зрения Черчилля: все, что хотите, но только не вторжение во Францию. Таким образом, расчет учитывал три варианта и не учитывал четвертого...

— А он был... четвертый вариант? — спросил Бардин. Ему хотелось показать Бухману, что он неотрывно следит за тем, как американец развивает свои доводы.

— Был всегда, а сегодня больше, чем всегда — самый главный...

— Главный?

— Да.

Очевидно, в системе доводов Бухмана действительно возник самый существенный. Бардину следовало и впредь заявлять о себе лишь короткими репликами, всего лишь поощряя беседу, не влияя на ее содержание, не пытаясь изменить ее характер. Бардин заинтересован, чтобы реплика американца как можно точнее отразила его мысль.

— Какой? Извольте: русские могут войти в Европу и без помощи англосаксов... Вы слышите меня? И решить все свои тактические и стратегические проблемы, в частности проблему новой Европы!.. Нет, до того как все это произойдет, надо еще сделать два, три, а может быть, и пять ходов, но Черчилль уже прозрел, при этом... если даже он будет делать самые сильные ходы, он не спасет партии.

— Это каким образом? — спросил Бардин и почувствовал, что он как бы становится в положение Черчилля, он заинтересован на какой-то миг войти в положение Черчилля и вызвать огонь на себя: только так и поймешь, какие у тебя преимущества.— Я говорю: каким образом?

— У будущего Европы, как полагает Черчилль, два пути, при этом оба решительно не устраивающие английского премьера... Создалось положение, при котором союзники не могут вторгаться во Францию и не могут ждать, пока русские войдут в Европу сами.... Не хочу обращаться к сильным словам, но если обратиться к шахматным терминам, то положение англосаксов тут матовое. Не знаю, видел ли Черчилль это прежде, но сегодня он это видит.

— Простите, а каким бы могло быть по этому вопросу мнение мистера Гопкинса? — поинтересовался Бардин, формула была осторожной, но от этого она не стала менее категорической.

Бухман молчал. Снова пробудилась его одышка.

— Вы хотите спросить, говорил ли я с мистером Гопкинсом, так? Нет, не говорил, но я мог бы при известном усилии представить его ответ... Хотите знать, какой?

— Пожалуй.

— Эта ошибка уникальна уже потому, что человеку не хватило ни ума, ни опыта, ни всей его долгой жизни, чтобы ее предотвратить... приблизительно так мог бы сказать Гопкинс.

— Погодите, но разве у Черчилля была возможность эту ошибку, как вы говорите, предотвратить?

— Мне кажется, была.

— Когда?

— Ровно год назад, когда это предлагала Россия... Ну, разумеется, тут был риск; очевидно, он был даже немалым, но он был выходом из положения...

— Простите, это тоже могло быть мнением Гопкинса?

Бухман выдержал паузу, прочную, даже одышку затаил.

— Я так думаю, хотя проблема Черчилля ему сегодня интересна больше человечески... — сказал наконец Бухман.

И Егор Иванович подумал: именно на эту тему сегодня вечером Гопкинс говорил с Бардиным и, как только что подтвердил Бухман, не только с Бардиным. А коли так, разговор Гопкинса с его американским другом мог быть и пространнее: там, где Бухман говорил «мог бы сказать Гопкинс», он, Бухман, должен был бы выразиться более определенно: «сказал Гопкинс». В этот поздний час, воспользовавшись тишиной и уединенностью, не от имени ли своего влиятельного друга говорил Бухман? Бардин полагал, что имеет право допустить это, допустить в той мере, в какой это позволяет проникнуть в суть того, что происходит.

Вот они, наверное, те два звена, которых так не доставало Егору Ивановичу сегодня.

— Хорошо, с точки зрения Гопкинса и, пожалуй, Маршалла, большой десант надо было бы высаживать год назад, но Черчилль продолжает стоять на своем и сегодня, полагая, что время для десанта не пришло. Почему? Он же понимает, что его стратегия терпит крах... — произнес собеседник Бардина в той медленной манере, какую он принял с некоторого времени, давая возможность Егору Ивановичу не упустить нить главного, для Бардина главного, — непросто было Бухману выстроить эту фразу. — На что сегодня опирается расчет Черчилля, его надежда? На случай — он, этот случай, всемогущ. Даже смешно: Черчилль и надежда на случай, да так ли это? Я думаю, так. Все можно предусмотреть, нельзя предусмотреть случай... — добавил он и, кажется, был обрадован, что обратился к доводу, который, ничего не объясняя, дает возможность ему, Бухману, уйти от ответа на вопрос весьма деликатный. — На случай, — коротко повторил Бухман, хотя должен был сказать: на перспективу раскола...

— Однако мы должны благодарить судьбу, — произнес Бардин, заметив, что шофер сбавил скорость — впереди была гостиница. — Было бы положение Черчилля иным, мы, пожалуй, не услышали истории об Уэнделе Уилки!.. Но что все-таки лежит в основе разногласий Черчилля и хотя бы... Гопкинса по русскому вопросу? Почему то, что приемлемо для Гопкинса, неприемлемо для Черчилля?.. — Бардину казалось: эмоционально разговор так накалился, что был смысл спросить Бухмана и об этом. В иных условиях смысла не было, сейчас такой смысл был. — Где тут причина?

— Это и есть человеческий аспект проблемы Черчилля! — произнес Бухман и вышел вслед за Бардиным из автомобиля. — Вот вам анахронизм эпохи: многовековое дворянское древо вещь нешуточная! Я человек не суеверный, но верю в гипнотическую силу предков! Нет, речь идет не о физическом влиянии, а именно о духовном. — Бухман тронул плечо Бардина. — Все эти воинственные роялисты, начиная от Джона Черчилля, который не по приказу, а по своей воле стал автором атласной книги королевской генеалогии, через другого Джона Черчилля, обретшего герцогское достоинство Мальборо и, что не менее важно, четырехтысячную пенсию для всех своих потомков, через Рандольфа Черчилля, отца нашего героя, человека, как утверждают, не без талантов... Эта троица, а может быть, не только она, вместе и порознь сообщила семье такую первоначальную скорость, которую ничто уже не могло остановить... Знала ли Великобритания опасность большую, чем та, которую она пережила только что? Но и она, эта опасность, оказалась недостаточной, чтобы исцелить недуг — видно, он врос в плоть и окончится вместе с жизнью человека... Но вот задача: говорят, что болезнь наследственна.

35

Разговор о ленд-лизе, о котором обмолвился президент, решено был отнести на конец недели — из поездки на Дальний Запад возвращался Александр Александрович Гродко.

Как заметил Егор Иванович по своим прежним встречам с Гродко, тому было свойственно умение вести разговор на свободные темы. Казалось, пути, которыми должна была развиваться беседа, были отнюдь не предначертаны. Она развивалась как будто стихийно, то и дело отклоняясь от главного, даже сбиваясь на забавные мелочи, но когда заканчивалась, было чувство удовлетворения — так всегда бывает, когда встреча с человеком дарит тебе и мысль, и новизну впечатлений. Гродко понимал, что жизнь в такой стране, как Штаты, для человека, умеющего видеть, может явиться своеобразным университетом. У него была жажда видеть новое, встречаться с новыми людьми, в своих наблюдениях добираться до корня. Он выез-

жал охотно, надеясь увидеть нечто такое, что из столицы не рассмотришь, и не обманывался. У него была потребность поделиться тем, что он видел,— это диктовалось не столько желанием оживить увиденное, что всегда приятно, сколько намерением проверить действительность собственной мысли. Он умел читать страну, не пренебрегая тем, что оказывалось у него в поле зрения, независимо от того, мало оно или велико. Ему это было интересно, а следовательно, и поучительно. Он мог вдруг остановить машину у лесопилки, приметив, что пила, которой рабочие режут бревна на двухвершковые доски, необычной конструкции. Ему интересно было наблюдать механизм в работе, а потом дотошно осмотреть его, выразив восхищение, как поставлена система колес и насколько хороша форма пилы... Он мог остановить машину у комбайна, пройти вместе с фермером вдоль нескошенного, а вслед за этим скошенного поля, взять на ладонь колос, погрузить руку в бункер с обмолоченным зерном, теплым и чуть влажноватым, радуясь его добротности... Если бы фермеру вдруг пришло в голову спросить Гродко, кто он такой, а тот бы ответил, что он дипломат, то фермер, пожалуй, выразил бы недоумение: такими дипломаты не бывают...

Да, такими дипломаты не были не только в сознании американского фермера, но и на памяти истории, хотя профессия эта древняя, быть может, одна из самых древних на земле... То, что можно было назвать личностью Гродко, состояло из компонентов, для человека его профессии подчас и необычных: став дипломатом, он не утратил интереса ко всему, что было сутью его прежней жизни. Кстати, нельзя сказать, что это качество не было бы полезно новой профессии. Как он был убежден, прошли времена, когда дипломат был салонным шаркуном. Если ценность его определяется и тем, как хорошо он знает страну, в которой аккредитован, он должен видеть, как выглядит страна не только с парадного подъезда, видеть и, разумеется, понимать виденное. Но, очевидно, таким достоинством обладали не все. То поколение наших дипломатов, к которому принадлежал Гродко, этим свойством обладало. Не ведая о своем дипломатическом будущем и даже в самых смелых своих мечтах не представляя его, оно уже готовило себя к нему.

...Рузвельт принял русских в том самом овальном кабинете с золотым бордюром по карнизу, в котором принимал делегацию Молотова в прошлом году. Был дождь, неторопливо-монотонный, несильный, но окно на зеленую поляну оставалось открытым. В течение получаса, пока продолжалась беседа, ветер дважды или трижды пазнул в окно теплым дождем, окропив даже бумаги, лежащие на столе, но президент предупредительным жестом дал понять, что это его не беспокоит и окно может оставаться открытым.

Гродко только что вернулся с завода, выпускающего машины, хорошо проходящие даже в русских снегах. У русских были свои пожелания, касающиеся конструкции этих машин, и Гродко, посетив завод, не скрыл, что у Красной Армии есть претензии.

— «Видальсы» — не «харрикейны», — заметил Рузвельт. В этой реплике президента была свой смысл, далеко идущий. Как это хорошо было известно русским, «харрикейны», английские истребители, которые соответствующее ведомство Великобритании стало снимать с вооружения еще до начала войны, были отправлены в Россию в качестве щедрой помощи, почти дара британского союзника русскому. — Впрочем, монополия на «харрикейны» не только у англичан? — вдруг обратил свой вопрос президент к гостям, заметив, что первая его реплика о «харрикейнах» не вызвала у его русских собеседников того энтузиазма, на который президент рассчитывал. — Наверно, в природе есть и американские «харрикейны», например транспортные «дугласы», а?

— Нет, к «дугласам» у нас претензий нет, а вот у американских танков и мотор и броня могли бы быть помощнее, — заметил Литвинов, занявший место справа от президента — каждый раз, когда Литвинову приходилось бывать у президента, он обычно сидел в этом кресле, расстояние от гостя до хозяина здесь было ближе, что, учитывая слабевший слух Рузвельта, казалось Литвинову вежливым. — Как вы полагаете, Александр Александрович? — обратился Максим Максимович к советнику.

Гродко сказал, что Советской Армии предстоит тяжелое лето и осень. Весьма возможно, немцы соберут всю свою мощь, чтобы бросить ее на весы войны. Как кажется Гродко, это будет великая битва техники.

В связи с этим важно, чтобы американская сторона выполнила свои обязательства по поставкам. С обстоятельностью, немногословной и точной, которая была свойственна Гродко, Александр Александрович принялся излагать, как американцы выполнили обязательства по договору о поставках, имея в виду главные статьи: автомашины, самолеты, суда, стратегические материалы, продовольствие... Рузвельт слушал Гродко с хмурой серьезностью. Он не впервые слышал Гродко и знал систему его доводов, построенных на цифрах. Наверно, эта система была рациональна и неотвратима, лишала оппонента контрдоводов. Этот дипломат-экономист привнес в дипломатию нечто такое, что делало проблему не очень дискуссионной. Цифры как бы говорили и за оппонента: договор предусматривал такое количество, Россия получила лишь треть — все ясно.

Синяя записная книжка Гродко, в которой с необыкновенной последовательностью шли записи советника, дающие представление об американских поставках, на каком-то этапе беседы извлекалась из бокового кармана и клалась рядом, свидетельствуя: если вы не вняли доводу, к которому обратился ваш собеседник, есть возможность назвать цифры. Эту синюю книжку в рубчатой клеенчатой обложке, туго сшитую и по виду приятно весомую, Рузвельт должен был запомнить по своим прежним беседам с Гродко. Президент знал, что в книжке есть все, что необходимо Гродко для подтверждения просьбы русских, поэтому лучше, если собеседник президента к книжке не обратится. Можно допустить, что Гродко догадывался, какие ассоциации мог вызвать один вид синей книжки у президента, и предпочитал обращаться к ней не часто.

Дождь прошел, глянуло солнце; диковинно преломившись, его случайный лучик проник в кабинет. Рузвельт снял пенсне и поднес его к солнечному лучику, лежащему на столе. Полированное стекло ухватило лучик и бросило его на стену.

— Вы только что из России, — обратился президент к Бардину. — Вы видели фронт в последние месяцы?

Егор Иванович встревожился: то, что вопрос был обращен не к Литвинову и Гродко, а к нему, свиде-

тельствовало, что беседа вдруг пошла не проторенной тропой.

— Да, я видел фронт,— сказал Бардин.

Президент все еще играл пенсне, и лучик на стене контролировал каждое его движение: едва видимое, оно в отражении становилось заметным.

— Когда вы едете фронтовыми дорогами, очевидно, техника, поставленная Штатами, не очень-то бросается в глаза, а?.. Ну, сознайтесь, не очень-то? Ответьте, вы меня не обидите...

— Могла бы быть приметнее,— ответил Бардин.

— Приметнее, значит? Хорошо,— произнес Рузвельт, и непонятно было, что же «хорошо» — казалось, реплика Егора Ивановича должна была не очень воодушевить президента.— Следовательно, если наша техника не так видна на русских дорогах, как нам бы хотелось, значит, ее доля не столь велика, так?

— Да, разумеется,— согласился Бардин, не было резона отрицать очевидное.

— При этом рост русского военного производства идет много быстрее роста наших поставок, не так ли? — был вопрос Рузвельта.— А если так, то доля нашей техники стала еще меньше и нужны сильные стекла, чтобы рассмотреть ее, много сильнее моих? — он потряс пенсне, потряс энергично, так что «зайчик» на стене пустился в пляс.

Бардин перевел взгляд на Литвинова, потом на Гродко. Их глаза точно говорили: «Не смущайся. Ты только что из России. Это дает тебе известные козыри. По крайней мере, во мнении президента. Продолжай». Бардин не спешил ответить. Свой последний вопрос президент задал, пожалуй, нерасчетливо, вопрос обнаруживал тенденцию, которая до сих пор едва угадывалась.

— Не хотите ли вы сказать, господин президент: если поставки так невелики, вряд ли есть резон говорить о них в связи с тяжелым летом? — Важно было осторожно отобрать у президента право задавать вопросы — одно это давало привилегию немалую.— Что они для русского лета?

— Да, я так думаю,— сказал президент, задумчиво глядя на пенсне; он постиг замысел Бардина.

— Но она, наша техника, была бы много заметнее, если бы прибывала на наш фронт в размерах, о кото-

рых идет речь в договоре, не так ли? — спросил Бардин.

Президент положил пенсне на ладонь, медленно сжал ее: лучик на стене погас.

— Нет смысла вам возражать, — произнес он. — Нет смысла, — он оттенил голосом «нет», сделав его категорическим. — Все, что относится к грузовым карам, мы учтем, пожалуй... Только мне бы хотелось... — он зашнулся, в решительный момент его подвела память. — Да, да, память! — произнес он, точно выхватив это слово у собеседников; он вновь взглянул на пенсне, не без увлечения им повертел. — Как бы хорошо, чтобы были своеобразные окуляры... памяти! Надел, — и он действительно водрузил на нос пенсне, — и запомнил на веки вечные!

Литвинов улыбнулся:

— Памятная записка — вот вам окуляры памяти!

Рувельт отозвался не без иронии:

— Записка сгорела, а вместе с нею и память — не совершенно!

— Так и окуляры могут разбиться вдребезги, оставив человека без глаз!

Президент пришел в уныние.

— Но я не так стар, чтобы не закончить мысли, для дела важной, — вернулся он к разговору о грузовых карах. — Прошу вас позвонить моим секретарям завтра, — обратился он к Литвинову, — все возможное мы, разумеется, сделаем. Все несовершенно, все несовершенно по сравнению с молодостью! — Он вдруг взглянул на Гродко, улыбнулся — казалось, в небольшом кругу людей, сидящих сейчас в овальном кабинете президента, только тридцатичетырехлетний Гродко и мог отождествляться с молодостью. — Как вы полагаете, а? — он смотрел на вконец обескураженного Гродко. — Как поживает партизанская республика, мистер Гродко? — вдруг спросил президент — когда у него было хорошо на душе, он любил поговорить с Гродко о Белоруссии, сражающейся и страждущей, называя ее партизанской республикой. — Мне сказал сегодня Гарри, что его друзья из «Нью-Йорк таймс» сообщили ему об убийстве в Минске этого гитлеровского генерал-полицейского, верно это?.. Как там ваши земляки, подтверждают?.. Вам не известно? Не верю! Нет, нет, решительно не верю! Говорят, бомбу

подложили в перину, так он и отправился к праотцам, не успев повернуться с правого бока на левый. Ушел, прихватив и перину, и одеяло, разумеется,— сумеет, шеальма, и на том свете устроиться!..— он засмеялся, достал платок, вытер им шею.— Вот сказали: в Минске полторы тысячи немецких могил, всех тех, кого покосила партизанская пуля... О, партизаны— это грозно! Так?— он продолжал смотреть на Гродко, и во взгляде его было всоудушевление. Ну конечно, он понимал, что все сказанное им нельзя прямо отнести к Гродко, но ему очень хотелось отнести это к нему, прямо к нему. Он знал биографию Гродко и хотел видеть в сыне белорусского крестьянина сподвижника тех безымянных воинов партизанской республики, которые вели сейчас святую войну за свободу своей земли.

— Партизаны... это люди мирных профессий?— спросил Рузвельт, закрыв глаза и задумавшись,— его лицо, как сейчас было хорошо видно, еще хранило следы волнения, вызванного разговором о партизанах.— Мирных?

— Да, господин президент...— ответил Гродко.— Рабочие, очень много крестьян, учителя, агрономы, даже домохозяйки, их много...

— Пробудить гнев в мирных людях, пробудить гнев— вот это и есть, наверное, народная война...— он медленно обвел взглядом всех находящихся в комнате.— Народная, а значит, и справедливая, жестокая, трижды жестокая, но справедливая...

Бардин оказался в машине вместе с Гродко— путь лежал в посольство.

— Говорят, что партизаны, появившиеся в Гатчине, невесть откуда, однажды чуть не проникли в Ленинград... Вы были когда-нибудь на Чудском озере, Егор Иванович?— подал голос Гродко.

— Нет, а что?

— Ничего...— ответил Гродко, как показалось Бардину, рассеянно, а Егор Иванович спросил себя: «Почему он отождествил Гатчину с Чудским?..»

Бардин еще пытался проникнуть в истинный смысл вопроса Гродко, когда шофер подал машину к по-

сольскому подъезду, в дверях которого возник человек в песочном макинтоше.

— Вас не надо представлять Тарасову, Егор Иванович? — обратился на Бардина внимательный взгляд Гродко. — Небось старые знакомые?

— Куда как старые! — Бардин двинулся навстречу Тарасову — тот был спокойно улыбочив, лобаст, крепок в плечах. — А вы.., не однокашники ли по дипломатической школе?

— Да, была такая школа — праматерь нашего опыта, если он есть у нас. — Гродко взглянул на Тарасова, и глаза его потеплели — он был рад встрече. — Значит, озерная Канада что озерная Россия — Атабаска на одной параллели с Чудским? — спросил Гродко Тарасова улыбаясь — он перешел на тот особый язык, который, очевидно, возник не сегодня и на котором он и прежде говорил с Тарасовым, лаконично-условный, ироничный язык друзей.

«Так вот почему спросил Гродко о Чудском озере! — мелькнуло у Бардина. — Не иначе, высоколбый Тарасов, второй год представляющий Советскую державу в Канаде, родом из того именитого края, где ополченцы Александра Невского дали напиток чудской водицы псам-рыцарям».

— Небось морозы на Чудском покрепче, чем на Атабаске? — спросил Гродко — ну, разумеется, и он думал сейчас о ледовой баталии — из пущ белорусских чудское приозерье виделось, пожалуй, севернее, чем оно было на самом деле.

— На Чудском морозы люты, да и на Атабаске хо-роши, — сдержанно ответил Тарасов.

Все понятно: Гродко вспомнил о Чудском озере, зная, что встретит Тарасова.

Бардин оставил их вдвоем, они этой встречи наверняка ждали долго, — вон с какой силой заявило о себе у Гродко Чудское озеро! А сам, уйдя, обратился мыслью к утренней встрече у президента. Ну конечно, Мирон был прав, призывая не идеализировать Рузвельта. Но то, что происходило в эти годы в мире и было войной народов против фашизма, наверное, не отняло у Рузвельта того доброго, что было свойственно его личности. Не отняло, а может быть, и прибавило. Эту мысль можно и оспорить: Рузвельт возник не сегодня. Но существуют факты, они неопровержимы. Есть в

нем симпатии к России и ее народу — их никуда не денешь, эти симпатии, и глупо их не видеть, а тем более закрывать на них глаза. Наоборот, реальный политик их учтет и обратит на пользу стране... Но вот вопрос: Рузвельт в годы войны... это что же, остров? До войны и — если будет жив — после войны один Рузвельт, а во время войны — другой, так? Остров? А если остров, надежно ли это? Не затопит ли этот остров большой водой?

36

Тамбиев знал, что Бардин только что прилетел в Москву и поглощен оперативными делами отдела, тем неожиданнее был звонок Егора Ивановича. В стиле депеши, исключая все вопросы, Бардин попросил Тамбиева освободить вечер следующего дня — приехал с фронта Яков и хочет видеть Николая Марковича.

В условленный час наркоминдельская «эмка», которой была возвращена благородно-вороная масть после того, как ее выкупали в трех водах и смыли непрочную маскировочную известь, повезла Бардина и Тамбиева в Ясенцы.

— Когда ты последний раз видел Якова? — спросил Бардин, приминая на висках больше обычного пышные волосы — видно, американские цирюльники отнесли к ним с большей бережливостью, чем отечественные. — Не во фронтовой ли палатке под Вязьмой?

— В тот раз, — ответил Тамбиев, — а что?

— И времени как будто бы прошло немного, но что-то изменилось в нем такое, на что в иных обстоятельствах потребовались бы годы.

— В ком? — спросил Тамбиев. — В Якове?

— А то в ком? — удивился Бардин. — Вот погляди на него, да повнимательнее, а потом поговорим.

— Поговорим, — согласился Тамбиев.

Их встретил Иоанн.

— Ну, Николай, когда ты видел Якова в последний раз? — спросил старейшина бардинского клана. — Не узнаешь, ей-богу, не узнаешь. Я, отец родной, и то еле узнал. Повстречал бы на улице — прошел бы мимо, так переменялся.

В вопросе Иоанна была ирония, но была, как заметил Николай еще в беседе с Егором Ивановичем, и тревога.

— Это как же понять «переменился»? — осторожно полюбопытствовал Тамбиев.

— Сам увидишь, — произнес Иоанн и пошел прочь, держа больную руку на весу. Он и в минуты волнения теперь не забывал подхватить ее рукой здоровой: видно, сработало время и действовал условный рефлекс. Да, Иоанн так и сказал: «Сам увидишь» — то ли не хотел открыться, то ли не разобрался в происшедшем и предпочитал до поры до времени по-малкивать.

Появилась Ольга. Лицо ее было загорелым и чуть-чуть влажным, а волосы полны сухой листвы — не иначе, обрезала деревья, встав на лестничку. Она почувствовала взгляд мужа, покраснела.

— Ты почему на меня так смотришь? — спросила она. — Не смотри на меня так, пожалуйста, — и быстро ушла в комнату рядом.

— Вот тебе на! — изумился Иоанн. — Гость взглянул, она не смутилась, а муж поднял на нее глаза, так она наутек. Как же это понять?

«В самом деле, как это понять? — думал Тамбиев. — Кажется, ближе человека нет на свете и нечего тебе его стыдиться, а в жизни все наоборот. Только он, близкий человек, и способен вот так смутить и встревожить, привести в такое смятение».

Она появилась вновь минут через пятнадцать и словно преобразилась. Ее светлое платье, слегка накрахмаленное, дышало свежестью, да и лицо точно посветлело, только глаза оставались прежними, влажно-блестящими.

— Не смотри на меня так, пожалуйста, — услышал Тамбиев ее полусшепот, обращенный к мужу, и вновь подумал: это смущение отнюдь не знак размолвки, или, тем более, разъединенности, а наоборот — любви, полноты жизни.

Приехал Яков, задержавшийся в городе, и, увидев Николая, обрадовался.

— А я уж не надеялся тебя встретить, — пошутил он. — Думал: забурел, как взял под свое начало корреспондентский корпус. — Он свел брови, стал строг. — Простите, была сегодня у меня встреча... ответствен-

ная, хочу записать. Память стала не та, боюсь, запамятую! — И, не дождавшись ответа, удалился.

— Видал? — подмигнул Николаю Егор Иванович.

— Теперь видишь? — подал голос и Иоанн.

Минут через двадцать Яков вернулся в столовую.

— Записал своим цыпачьим почерком, — произнес он с неожиданной веселостью. — Послушай, Николай, мне вчера сказали в Генштабе, чтобы я подготовился к встрече с этим вашим... Гофманом. А надо ли, Коля? — Он опустил в кресло и, вытянув свои длинные ноги, подтянул голенища сапог. — Говорят: необходимо мнение военачальника, раздумья о стратегических принципах нынешней поры... Нужны мысли, говорят. — Он хлопнул ладонью по голенищу, засмеялся. — Слышал: «Нужны мысли!»

— Но они есть... мысли-то, Яков Иванович? — улыбнулся Тамбиев.

— Ну, ежели поскрести — найдутся...

— Коли найдутся, с богом.

Яков грахнул кулаком по колену.

— Теперь чую: ты с ними зводно, — встал он над Тамбиевым, взглянул грозно. — Да не ты ли их ко мне направил?

— Нет, Яков Иванович.

Но он, казалось, не услышал ответа — видно, решил говорить с Гофманом, уже решил.

— Значит, мысли? — Он пошел по комнате, не очень стараясь умирить стук новых сапог. — Думал, отдохну в Москве, и вот тебе на!.. — Он задумался — вероятно, он уже видел Гофмана, разговаривал с ним. — Значит, стратегические принципы...

Ольга начала накрывать на стол, и Николай вызвался помочь ей.

— Это почему же ты? — спросил Бардин. — Я помогу, я это сделаю лучше тебя! — произнес он не без обиды и, пожалуй, вызова.

— Нет, нет, пусть это делает Николай, он это умеет, — произнесла Ольга с той ласковой твердостью, какая была свойственна ее тону. Ольга помнила, с какой охотой Николай однажды ей помогал накрывать на стол, именно с охотой. В самом облике стола, накрытого ею, было нечто деревенское. Стол был красен всем тем, чем одарили Ольгу ее добрый огород и сад, не очень, правда, богатые, но хорошо ухоженные и

для далеко не тучной подмосковной земли плодоносящие. Как заметил Тамбиев, Ольга гордилась этими своими огородом и садом и ей приятно было выказать эту гордость Николаю — он был для нее кубанским аборигеном, которому были ведомы дары земли. И Николаю действительно это напоминало Кубань, кубанскую осень и нехитрые радости мамы. Золотой кубанской осенью на большом тамбиевском дворе командовала она: выстраивала такую батарею четвертей с вишневой наливкой, выстилала крышу едва ли не простынями с курагой и яблоками, развешивала по карнизу связки репчатого лука и красного перца, а если был в доме сахар, устанавливала посреди двора черкесскую треногу и варила несравненное свое варенье из груш и айвы... Нет, все, что Николай мог увидеть в погребке у Ольги, хотя было и не столь разнообразно, как на Кубани, но обильно вполне. Но вот задача: чтобы вызвать к жизни такое изобилие, нужны силы. Откуда они? Что-то возникло в этом доме такое, что сделало человека сильным, а заодно и жизнелюбивым. Что-то такое, что объяснить не легко, хотя вот эта скромная наклейка на банке с вишней может привести на мысль верную: «Егорово варенье». Да, так и выведено Ольгиной рукой — «Егорово». Что хочешь, то и думай.

Стол был накрыт. Выпили по чарке яблочной наливки, сладкой, похожей на ликер, вспомнили Мирона и Серегу.

— Один фронт и две армии,— молвил Иоанн задумчиво.— Это что же, каждая армия сама по себе и между ними стена?

Яков помрачнел — в его огород камень.

— Между одной армией и другой стены может и не быть,— отозвался Яков.— Зато между дядей и племянником — стена есть, трехметровая, бей пятитонными бомбами — не порушишь.

«Ну вот, началась бардинская канитель,— подумал Николай.— Сию минуту пойдут друг на друга в кулак».

— А по какой причине эта стена трехметровая между дядей и племянником? — спросил Исанн почти ласково. Он и прежде начинал свои самые жестокие баталии с этой ласковой интонации.— В ком тут закавыка? В дяде или, быть может, в племяннике?

— Дядя не виноват, да и племянника винить не в чем,— подал голос Яков и искоса посмотрел на отца.

— Погоди, коли не виноваты ни первый, ни второй, тогда чья вина? Третьего? — Иоанн уже распалялся.

— Третьего,— ответил Яков спокойно.

— Третьего вина? — недоуменно спросил Иоанн.— Кого?

— Твоя вина, отец,— сказал Яков все так же спокойно.

— А я думал, ты там на войне отучился шутки шутить,— бросил Иоанн, не глядя на сына.— Я тебя серьезно спрашиваю: чья вина? — Иоанн посмотрел на Егора, точно желая вовлечь его в спор.

— Твоя, отец,— все так же невозмутимо ответил Яков.

— Вы там знать друг друга не хотите, а я виноват? — возроптал старик Бардин.— Объясни. Я понимать хочу.

— Виноват ты, коли наделил нас этими характеристиками бардинскими, строптивыми, на которые и у бога управы нет.

— Что вы будете делать, когда меня не будет? — подал голос Иоанн, помолчав.— На кого грехи свои списывать будете?

— Все на тебя же, отец! — отозвался Яков.

От смеха, который в эту минуту раздался за столом, казалось, колыхнулись стены, и в кухоньке, что была в другом конце дома, с гвоздя соскользнуло что-то металлическое, упругое и ударилось об пол, позванивая.

— Это твое, Оленька, шумовка или дуршлаг,— сказал Егор Иванович, не в силах сдержать смеха.

— Мое, мое,— отозвалась Ольга смеясь, но из-за стола не поднялась — ей было хорошо здесь.

— Ну, шутки в сторону.— Иоанн пододвинул к Якову здоровую руку, сжал ее в кулак.

Смех, раздавшийся за столом, не умерил его воинственности, кулак был грозен.

— Тут все дело, наверное, в наших двух армиях: моей и командарма Крапивина. На севере стояли рядом, отвели в резерв, пополнили и вновь поставили рядом. На войне не закажешь, бывает и такое. Но ведь у Крапивина тоже есть Бардин, помоложе, но Бардин.

Вот он где, камень преткновения, — не перескочишь, да и обскакать трудно.

— Это как же понять? — спросил Иоанн. — От одной избы до другой рукой подать, а за целую войну минуты не нашли, чтобы взглянуть друг другу в глаза.

— А это еще зачем? — безбоязненно посмотрел на отца Яков. — Он знает, что у меня все в порядке, да и мне известно, что он, слава богу, жив-здоров.

Ольга встала и вышла, почувствовав неловкость. Приподнялся и Тамбиев, но движением руки, в такой же мере мягким, в какой и расчетливо-твердым, Егор Иванович вернул его обратно.

— Здоров! — воскликнул Иоанн. — И в госпитале за Клином, где он пролежал, почитай, два месяца, тоже был здоров?

— Так ты хочешь спросить меня, почему я не был в том госпитале? — вымолвил Яков. В его голосе уже не было иронии, он становился гневным. — Об этом ты хочешь спросить меня? Я не был там по той самой причине, по какой не был там... ты, — у него наверняка было искушение сказать: «По какой не был там родной отец Сережки», но он вовремя остановился.

Разговор накалился добела.

— А как ты смеешь меня сравнивать с собой? — едва ли не закричал Иоанн, и его больная рука сползла со стола и повисла. — Со мной, стариком и калекой? — повторил он и поднес здоровую руку к глазам, слезы лились у него градом. — Да неужели ты можешь допустить, чтобы я на твоём месте не повидал в эти два года Сережку? — Кулак Иоанна нетерпеливо заелозил по столу, он требовал дела, этот кулак. — С моим сердцем, с моим сердцем... участливым...

— Оно стало у тебя не столько участливым, сколько слабым, — нашелся Яков. — И слезы у тебя от этой твоей возрастной слабости.

— По тебе, горя у меня было недостаточно, так? — не уступал Иоанн. — Ты молишь судьбу, чтобы у меня этого горя было больше, да?

— А я все думаю: куда это делся Иоанн Бардин, и здесь он, и нет его — вижу его, а слышу другого, — заметил Яков невозмутимо. — Ошибся я — здесь он, и речь его не переменилась, и слова его все на месте... Вот что, отец, и у меня там... сердце чуть-чуть послабло. Я и разгневаться могу.

Иоанн поднял кулак над столом и стукнул им что есть мочи.

— Ты что же, меня гневом своим испугать хочешь?

Неизвестно, какой бы оборот все это приняло, если бы голос Ольги, радостно-изумленный и тревожный от неожиданности, не возвестил:

— Егор, Егорушка, ты взгляни только в окно. Нет, положительно есть бог, Егорушка, взгляни...

Она обращалась к мужу, будто происходящее относилось только к нему и, пожалуй, к ней.

Все кинулись к окну, но на какой-то миг Тамбиев успел раньше.

— Сережка!

— Сережка! — первым отозвался Егор Иванович и кинулся навстречу сыну, все сметая на своем пути.

Наступила пауза, только вздрагивала больная рука Иоанна да скрипело плетеное кресло под Яковом.

— Ну, кончай, батя, кончай! — послышался степенно-важный Сережкин тенорок, и сияющий Бардин не столько ввел, сколько впихнул сына в столовую.

— Ну вот, не нашел времени повидать дядю Якова на Волхове и Волге, так мы устроили тебе эту встречу в Ясенцах! — произнес Егор Иванович и осторожно подтолкнул сына к столу, за которым сидели старый Иоанн и Яков. Сережка смешался, не зная, к кому подойти первому — к командарму или к более чем штатскому Иоанну. Сережка пошел к Иоанну.

— Вот он, истинный Бардин, не дал себя усыпить блеском звезд генеральских! — возликовал Иоанн и приник седой головой к Сережкиной груди. — А теперь встань вот сюда, дай тебя разглядеть. Да свету прибавьте маленько, свету!

Зажгли боковой рожок, что был укреплен над диваном, и повернули этот рожок к Сереге. Разом стало темно в столовой. Был освещен только бардинский сын, освещен и несказанно смущен и растерян. Ну что ж, теперь знал не только Серега, но и весь дом: ушел мальчишкой, а вернулся зрелым мужем, что-то сурово-мужественное, истинно зрелое явилось в молодом Бардине. Этой осенью ему должно было стукнуть двадцать один, а казалось, отстучало все тридцать. Нет, дело

было не в щетине, густой и ярко-коричневой, которой он оброс до самых глазниц, не в медно-червонном отсвете его кожи, которым его одарила нынешняя горячая весна, не в бровях, жестких и колюче-горчащих, чуть-чуть выбеленных знойным солнцем. Просто ушла мальчишеская худоба и явилась бардинская могучесть. Уму непостижимо, откуда пришла к нему в эти два года эта тяжелая округлость в груди и плечах, эта хватистость в ручищах.

— Да ты вроде подросток на войне, Сережка? — спросил Егор Иванович и вдруг почувствовал пугающую тревогу. В том, что сын вымахал в этакое красавца мужика, было что-то страшновато-радостное.

— Стыдно сказать, на три с половиной сантиметра, — отрапортовал Сережка.

— Ну, а теперь подойди к дяде Якову, — молвил Егор Иванович, не сумев скрыть особой интонации, которую вернее всего было бы назвать просительной. Он определенно был заинтересован в этом больше Сережки.

Сережка шагнул к Якову, и вдруг стало слышно, как пузырится масло на горячей сковородке в кухне.

— Здравствуйте, дядя Яков, — протянул Сережка руку.

— Здравствуй, Сережа, рад тебя видеть. Садись вот здесь, — Яков пододвинул молодому Бардину свободный стул, но Сережка не сел.

— Я с Николаем, тут попросторнее, — он дотянулся до руки Тамбиева и уже не выпустил ее, пока не сел рядом. Это было похоже не только на знак приязни, но и на расчет — он очень хотел, чтобы Николай выручил его в нелегкую минуту, и был благодарен, что тот понял его.

— Дошел до меня слух, Сережа, что Крапивин тебя сделал, как бы это сказать тебе половчее, адмиралом? — спросил Яков с чуть-чуть ленивой снисходительностью. Казалось, этот факт вызывал в нем немалый интерес, но он не хотел обнаруживать этого.

Сережка покраснел.

— Адмиралом? Не слышал, — решительно и невозмутимо заявил он. Только румянец и выдавал в нем волнение.

— Как не слышал? А взвод, который велел тебе сформировать Крапивин? Взвод, которому приказано

форсировать водный рубеж первым и вступить на тот берег тоже первым. Ты и об этом тоже ничего не знаешь?

— Знаю,— ответил Сергей сдержанно.

— Твой взвод?

— Мой.

— Вот ты и есть адмирал, коли нацелился на Днепр с Дунаем и Бугом.

Сергей помолчал.

— Дунай далеко, да и Днепр не близко.

— Верно, не близко,— отозвался Яков.— Не близко и не легко,— подтвердил он и заметил, выдержав паузу порядочную: — Я вот что хочу тебе сказать, Сережа. Крапивин — твой командарм, и ты должен верить ему, как веришь, предположим, нам. Но у тебя должно быть и свое мнение на этот счет. Слышишь? Своё. Я понимаю Крапивина: он тебя сделал адмиралом, имея в виду Днепр. Не Дон и даже не Волгу, а Днепр. Ты понимаешь, что такое Днепр в середине лета? Тот берег глазом не ухватишь.

Сергей задумался. Нельзя сказать, чтобы он об этом не думал раньше, но в устах старшего Бардина все это обретало и особые масштабы, и особые трудности.

— Командарм Крапивин сказал: «Ну, не нормандский десант, но что-то вроде этого».

Чем-то эта реплика о Крапивине взволновала Якова, он оживился.

— Ну что ж, Крапивин по-своему прав,— заметил Яков; упомянув имя Крапивина, Сергей явно облегчил ему разговор.— Теперь поставь себя в положение тех, кто готовит нормандский десант, и тех, кто ему противостоит. Ведь те, кто готовит десант, ищут место, где берега сближаются и водное пространство заужено. А те, кто десанту противостоит, знают, что все внимание противника будет обращено сюда. Следовательно, мысль одних и других работает в одном направлении, и никакой неожиданности здесь нет, хотя какие-то отклонения от правил возможны и здесь, разумеется. Ты теперь понял, Сережа, что я тебе пытаюсь внушить, понял?

— Что-то понял, а что-то нет,— ответил Сергей со свойственной ему уклончивостью.

— Я хочу тебе внушить вот что: ты совершаешь первый бросок через Днепр, бросок разведывательный и, быть может, диверсионный. Ты полагаешь, что твой замысел для противника неожидан. А на самом деле никакой неожиданности нет, потому что противник, как и там, на нормандском берегу, догадывается, где ты должен нанести удар, и, естественно, тебя ждет и к встрече с тобой готовится. Ну, разумеется, я говорю с тобой об этом не к тому, чтобы ты за это дело не брался. Для тебя этот вопрос решенный. К тому же это дело твоей солдатской чести, твоей совести. Не к этому я говорю.

— А к чему? — полюбопытствовал Сергей. Слова Якова заметно встревожили его.

— Будь осторожен, Сережа, — произнес Яков, и волнение, казалось, тронуло и его голос; видно, это бывало с ним не часто. — Ты вот думал, Сережа, почему это дело, необычное и нелегкое, повторяю, нелегкое, Крапивин поручил тебе? Что показалось ему в тебе подходящим? Ну я знаю, что он видел тебя на Волге в деле и оценил. Нет, не уменье плавать. Таких, как ты, пловцов, да еще в тельняшках, у него там был полк. Не это, иное. Он тебя видел на Волхове, когда вы этот подкоп совершали. А потом здесь, на переправе. Я говорю так уверенно, потому что однажды говорил с ним об этом. Как-нибудь пловцов, и добрых пловцов, он раздобыл бы. Не это он видел в тебе.

— А что?

— Дерзость твою, понял? Даже не храбрость, она, наверное, у тебя есть, а дерзость. А у дерзости, я из опыта знаю, часто нет глаз. Ты понял теперь, к чему я веду? Будь осторожен.

Помолчали. Помолчали бы и дольше, если бы Иоанн не прервал этой тишины нетерпеливым вздохом.

— Можно мне сказать, Яков? — оторвал он больную руку от стола, оторвал не без труда. — Можно? Вот ты сказал Сереге: «будь осторожен». Так ты должен был сказать ему это уже и не раз, и не два. Ты говоришь: зачем вам надо было видеть друг друга на фронте? — вот за этим и надо было видеть, чтобы сказать: «будь осторожен». Из-за одного этого есть резон повидать друг друга.

— Твоя правда, отец,— сказал Яков и встал.

Не просто было понять, что лежало за этим лаконичным «твоя правда, отец» — желание воздать должное правоте старого Иоанна или стремление свернуть разговор, который становился для Якова неудобным.

Михайлов вернулся от Бивербрука и вызвал к себе Бекетова, но у Сергея Петровича были газетчики из Глазго, и он попросил посла отнести разговор на вечер.

В условленные восемь часов Бекетов позвонил.

— А у меня как раз выигрышный эндшпиль против младшего Бекетова. Думаю, двадцати минут будет достаточно, чтобы опрокинуть белого короля. Как вы полагаете, Игорь Сергеевич? (В знак признания шахматного дарования младшего Бекетова Михайлов с некоторого времени стал обращаться к нему на «вы», величая Игорем Сергеевичем.) Впрочем, приглашаю вас присутствовать при капитуляции.

Когда Сергей Петрович явился, белый король, разумеется, не был еще опрокинут, и, как установил Бекетов тут же, такая перспектива ему не угрожала. Решено было выяснение отношений перенести на следующий день. А пока посол водрузил шахматную доску с расставленными на ней фигурами на ладони младшего Бекетова, и тот понес ее, как несут горячий пирог, в соседнюю комнату и, взобравшись на стул, поставил на книжный шкаф: предполагалось, что в доме не было места более надежного, чем это.

— Дай я поправлю тебе воротничок,— Сергей Петрович извлекает воротник из-под пиджачка сына. Бекетов знал: как только сын выйдет за дверь, он спрячет воротник под пиджак, но ему было приятно сделать это. Чем-то этот белоснежный воротник на темном фоне пиджачка напомнил Сергею Петровичу его детство: костюм мог быть и небогатым, но воротник сорочки украшал все,— что может быть благороднее чистой рубашки? И потом: вот Бекетов поправил воротник сорочки на пиджачке сына и точно увидел себя в четырнадцать лет. Это и есть бессмертие — иного нет...— Ну, поди, поди — мама ждет тебя,— сказал Сергей Петрович сыну, приметив внимательный и, как показалось

Бекетову, печальный взгляд Михайлова.— Поди, поди...

Игорь ушел, а Михайлову и Бекетову потребовалось время, и немалое, чтобы сосредоточиться и обратиться к делам, из-за которых они встретились в этот вечер,— по всему, эпизод с белым воротничком, воспринятый, разумеется, каждым из них по-своему, одинаково взволновал обоих.

— Я был у Бивербрука,— издалека, как всегда, начал Михайлов.— У него идея: котел бы послать бригаду «Дейли экспресс», но так, чтобы ее допустили в район будущей летней битвы... Есть ли в этом необходимость?.. Как вы?

Это было похоже на Бивербрука, в этом была и его деятельная натура, и расчет, как обычно скрытый. Однако действительно: есть ли в этом необходимость? Наши военные могут и не дать согласия, и их понять можно. К тому же почему такая привилегия «Дейли экспресс», когда в Москве ждут своей очереди корреспонденты не менее солидных, чем «Дейли экспресс», газет?

— По-моему, это предложение не пройдет, даже если Бивербрук обратится в самые высокие инстанции...

— Какими бы высокими ни были эти инстанции, очевидно, будет запрошено мнение посольства, не так ли? Я это не поддержу... Нет, нет! — замахал руками Михайлов так, будто бы Сергей Петрович настаивал на обратном.— Поддержать — значит рассориться со всеми газетами... Впрочем, спросим Шошина, а? Даже интересно: давайте спросим?

Явился Шошин, как обычно пасмурный, почти недовольный.

— Хотим посоветоваться с вами, Степан Степанович,— начал Михайлов бодро.— Бивербрук просит разрешения направить в Союз Плэйса вместе с бригадой газетчиков, но так, чтобы у них была привилегия видеть район больших боев будущего лета. Как, Степан Степанович? Пустить Плэйса?

— А как вы? — взглянул Шошин на Михайлова, потом на Бекетова.

— Сергей Петрович против, а я, пожалуй, за... Почему не пустить? Прямой расчет: газета с таким тиражом, да к тому же... Бивербрук. Есть выгода.

Михайлов все рассчитал точно: Шошин, конечно, возразит. То обстоятельство, что Михайлов высказался «за», не только не укротит Степана Степановича, а, наоборот, сделает его злее. Чинопочтанием Шошин не отличался и прежде.

— Ну как, Степан Степанович?

— К черту Бивербрука!

— Простите, что значит: «К черту»?

— Я сказал: к черту!

— Ну, а если объяснить, Степан Степанович?

— Получится то же самое! — произнес Шошин без ехидства. — Да вы понимаете, что это такое?.. Он, видите, нас осчастливил! Да в Москве сейчас тридцать таких корреспондентов, как Пээйс!

— Ну, положим, тридцати таких, как Пээйс, там нет, Степан Степанович... — возразил Михайлов спокойно — бразды спора были в его руках.

— Хорошо, пусть не тридцать, а пятнадцать!

— И пятнадцати нет таких, как Пээйс...

— Есть покрупнее...

— Кто?

— Галуа!

— Ну, Галуа, пожалуй, покрупнее. Кто еще?

— Хоуп, Баркер, Джерми...

— Допустим. Кто еще?

— Нет, я отказываюсь вас понимать, Николай Николаевич! Почему вы постоянно требуете от меня доказательств?.. Достаточно того, что вы доверили мне пресс-отдел посольства?.. Доверили или нет?

— Ну, а это уже запрещенный прием, Степан Степанович!

— Нет, я спрашиваю вас: доверили?

— Поймите: это же имеет косвенное отношение к нашему спору. Ну, доверил... В какой мере это делает вашу позицию более убедительной?

— А коли доверили, должны считаться...

— Доводы, только доводы!

— Да поймите: приняв это предложение, вы дискриминируете весь корреспондентский корпус, аккредитованный в Москве!

— О, вот это довод!

— Вы сталкиваете нас со всей британской прессой!

— И это довод!

— Вы разрушаете всю систему наших обязательств

перед корреспондентами, а следовательно, и газетами!

— И это довод. Как вы полагаете, Сергей Петрович?..

Бекетов улыбнулся: нет, в самом деле, ловко Михайлов вызвал огонь на себя, заставив Шошина потрудиться и, пожалуй, добыть доводы, которые нужны были послу, чтобы отвести просьбу Бивербрука.

— Мне представляется позиция Шошина убедительной, Николай Николаевич... — заметил Бекетов, все еще улыбаясь.

— А вот это я понять не могу, — вдруг обратился к Бекетову едва ли не гневный взгляд Шошин, — к чему эти ваши скептические ухмылки, Сергей Петрович?

— Мне на вас просто приятно смотреть, Степан Степанович, — засмеялся Бекетов.

Шошин покраснел.

— Простите, хотел бы продлить вам удовольствие, но не могу — занят! — он поклонился и пошел к выходу.

— А это уже плохо, Степан Степанович, — произнес Михайлов, и в его голосе прозвучали нотки, которых прежде Бекетов не слышал. — Я бы на месте Сергея Петровича обиделся.

Последние слова Михайлова застали Шошина уже у открытой двери.

— Я прошу разрешения у Сергея Петровича продолжить этот разговор позже...

Дверь едва слышно скрипнула — Шошин вышел.

Почти одновременно с Бардиным в Москву прибыл Джозеф Девис.

Наверно, настоящий дипломат должен быть настолько в курсе текущих дел, что одна фраза — Девис летит в Москву — объяснит ему многое. По крайней мере, он определит главное: что повлекло Джозефа Девиса в Москву... Итак, что же повлекло?.. Девис — в прошлом американский посол в Москве. Но не в этом, пожалуй, суть. Девис — единственный из американских послов, который, возвратившись в США, продолжал ратовать за укрепление отношений с СССР, снискав себе репутацию друга Советской России. Как ни

противоречива и в чем-то наивна книга Девиса «Миссия в Москву», она исполнена доброй воли. Есть мнение, что симпатии Девиса к СССР определены расчетом: в том случае, если Девис пойдет против СССР, он станет таким, как многие, а сохранив нынешнюю позицию, он сохранит своеобразие. Первая, мол, позиция не сулит ему никаких выгод, а вторая — выгоды определенные, правда, не материальные — выгоды престижа... Репутация друга СССР упрочилась за Девисом столь определенно, что иногда возникал вопрос: а почему бы не повторить миссию Девиса в Москву, сообщив Девису если не функции посла, то специального представителя президента?

Новая миссия Гопкинса? Да, в известной мере. Но тогда зачем посылать Девиса, когда можно послать Гопкинса? Ведь русские относятся к Гопкинсу не хуже, чем к Девису? Все это верно, но у Девиса известные преимущества: его миссия не так официальна. Последнее может приблизить нас к цели: если неофициальный характер миссии так важен, то что же это может быть за миссия?.. Опыт подсказывает: сделать миссию неофициальной — значит обрести большую «свободу рук». Против кого? Если по методу исключения (именно этот метод и надо применить здесь!) перечислить главные силы, которые могла бы эта миссия встревожить, будь она официальной, то их, этих сил, было бы три. Китайцы?.. Маловероятно, чтобы такая миссия насторожила их, да вряд ли президента это вынудило бы не посылать Девиса в Москву. Французы?.. Исключено абсолютно. Британский союзник, Черчилль? Очень похоже, что именно здесь и зарыта собака.

Если эта догадка верна, ее важно сопрячь со всем тем, чему Бардин был свидетелем в эту свою поездку за океан. С чем именно? Слух — нет, не о разногласиях, а пока что о размолвке между Рузвельтом и Черчиллем верен?.. Если он верен, то есть смысл в миссии Девиса. Но что может быть предметом спора? Будущее империи?.. Индия?.. Возможно, но есть ли резон в связи с этим посылать миссию в Москву? Нет. Что еще?.. Будущее Европы?.. Да, это насущно, но как решить эту проблему без того, чтобы не коснуться проблем второго фронта?.. Второй фронт?.. Э, тут пахнет порохом! Ну, предположим, до потасовки, даже кулачной, далеко, но проложить телефонный кабель из Вашинг-

тона в Москву в виде миссии Девиса есть резон и для американского президента.

Здесь существует одна деталь, заслуживающая внимания: как только необходимость в диалоге Рузвельт—Сталин возникала, старый Уинни обнаруживал беспокойство. У черчиллевской дипломатии тут определенное преимущество: у нее прямой диалог с Рузвельтом и Сталиным. Да, когда у него возникла необходимость говорить со Сталиным, он даже толком не сообщил об этом американскому президенту. Но каждый раз, когда президент обнаруживал желание говорить со Сталиным с глазу на глаз, «бывший военный моряк» поднимал такую тревогу, будто речь шла об угрозе империи. Черчилля понять можно. Нельзя сказать, чтобы у Москвы с Вашингтоном были меньшие разногласия, у них большее согласие. Особенно во всем, что касается Лондона и его великоимперских вожделений. Поэтому если интересам британского королевского дома и угрожает опасность, то она таится в этом кабеле, который может связать Вашингтон и Москву. Черчилль, разумеется, считает своим призванием воспрепятствовать тому, чтобы этот символический провод протянулся в Россию. Но, может быть, есть возможность обмануть бдительность старого Уинни?.. Ну, например, встреча Сталина и Рузвельта где-то там, где континент американский смыкается с русским?.. На Аляске? Ну, хотя бы на Аляске.

А миссия Девиса, в связи с чем же миссия Девиса?

В связи с тем, что, в конце концов, предложение американского президента о встрече может передать и Девис.

Итак, Бардин узнал, что Девис летит в Москву, и попытался представить себе, какую перспективу обретут события. Разумеется, это всего лишь несовершенный рисунок того, что могло бы произойти. Несовершенный. Но чем черт не шутит: быть может, во всем этом есть крупинка здравого смысла, и мысль Бардина не очень отклонилась от того, что предстоит узнать ему о миссии Девиса завтра?

Несомненно одно: если есть кризис сражения, то он грянет. Пожалуй, Сталинград был этим кризисом сражения, но немцы решили своеобразно ревизовать Сталинград и дать новый бой. Не надо обладать большой фантазией, чтобы представить себе, как события

разовьются в ближайшие — не четыре месяца, нет, а два и даже месяц. Выиграй русские летнее сражение, а это может произойти в ближайший месяц, ничто не остановит их на пути к границе, а следовательно, к освобождению родной страны. Но вот вопрос: если русские выиграют летнюю битву, что их заставит продолжать войну?.. Ну, разумеется, в их интересах добить врага, но они могут препоручить эту задачу и союзникам: те у них в долгу неоплатном. В конце концов, это, может быть, даже и справедливо — всякому терпению есть конец. Таким образом, то, что зовется кризисом сражения, не является ли кризисом доверия? Кризисом доверия?

Но миссия Девиса имела для Бардина и иные грани. Хочешь не хочешь, а пошлешь Девиса в Москву... Стремление Девиса понять Россию заслуживало тем большей признательности, что он занял пост посла в Москве после Вильяма Буллита, чей откровенный антисоветизм привел его в стан «американских мюнхенцев». Будущих исследователей немало увлечет эта тема: Буллит и Девис. Было событие, которое размежевало взгляды этих людей: Мюнхен. Именно Мюнхен явился тем пределом, который заставил двух американских послов взирать на мир с противоположных полюсов планеты. Даже интересно: два посла, представляющие одну страну, одно правительство, одного президента, исповедовали веру, которая разнилась в чем-то очень существенном. Видно, в первооснове представления Девиса об СССР было нечто такое, что опиралось на подлинные знания. Это ему принадлежит фраза, произнесенная на другой день после трагического июня и ставшая за океаном крылатой: «Мир будет удивлен размерами сопротивления, которое окажет Россия». Кстати, он был одним из поборников второго фронта — в связи с этим его новая миссия в Москву была закономерным выражением его взглядов на войну.

Смысл того, что являла собой миссия Девиса, во многом был определен и моментом, к которому миссия была приурочена.

В предстоящей битве Россия как бы возвратилась к условиям лета 1941 года, чтобы показать, какую школу она прошла в эти два года. Как тогда, была почти середина лета, сухого и знойно-ветреного. Как тогда,

перед врагом лежала великая русская равнина. Как тогда, у врага был известный простор во времени для накопления сил и разведки... Как тогда... впрочем, многое было и иным. Многие, и прежде всего армия, что стояла сейчас перед боевыми немецкими порядками, имея по правую руку Малоархангельск, по левую Корочу, а впереди себя — Рыльск.

Уже в самой обороне, как построили ее русские до начала битвы, сказался опыт, обретенный в войне. Оборона была многосложной, при этом глубина ее достигала трехсот километров. Больше того, в тылу войск, ведущих боевые действия, были расположены мощные резервные части — Степной фронт. В сочетании с сильной авиацией, которой не было прежде и которая была теперь, наши войска, находящиеся в тылу, обрели возможность маневра.

Итак, Девис уже был в Москве. Тем, кто хотел объяснить русским симпатии американца известным расчетом, в какой-то мере помогал и сам Девис: была в нем некая страсть саморекламы. В Америке это принято, а поэтому и не очень заметно, в России — не могло не обратить на себя внимания. Ну, можно было и не поверить тому, что фюзеляж самолета, на котором Девис прибыл в Москву, был перепоясан белой строкой: «Миссия в Москву». Но было и другое: Девис привез фильм, который своеобразно инсценировал его книгу, фильм, в котором было так много похвал, что они могли показаться и неискренними. Все это не очень соотносилось с характером миссии Девиса и не столько ей способствовало, сколько мешало. Но русские умели отделить главное от второстепенного. В их представлении Девис был другом, и это было самым существенным. Все остальное можно было и не принимать во внимание. Поэтому они даже согласились посмотреть фильм, привезенный Девисом. Посмотрели, посмеялись, сказали несколько добрых слов автору, больше того, благословили широкий показ фильма, — публика, она умна, все поймет, как надлежит понимать, — и перешли к переговорам.

А до этого Сталин принял Джозефа Девиса в своем кремлевском кабинете с тем радушием, на какое мог рассчитывать автор «Миссии в Москву», — книга вы-

шла в свет за год до этого и, конечно, была известна советскому премьеру. Девис сказал, что рад прибыть в Москву в суровую и славную для советского народа пору. Он испытывает удовлетворение и даже гордость, что вынужденная поездка служит упрочению уз дружбы и боевого товарищества, связывающих наши страны. Он горд тем более, что имеет поручение президента к русскому премьеру.

Девис наклонился, взял на колени массивный, сшитый из толстой коричневой кожи портфель, который стоял рядом со стулом, не торопясь, со значением сдвинул медную пуговку замка — портфель тихо вздохнул, распахнулся, и на стол лег конверт с посланием президента.

Сталин слушал послание, положив перед собой смуглую руку. Американец, обращая взгляд на Сталина, видел эту руку. Она была полусогнута, эта рука, и пугающе неподвижна. Кожа между запястьем и основанием пальцев была похожа на ветхую бумагу, так она была суха и нежива. Казалось, рука была старше человека — и старость начиналась с нее.

Рузвельт писал, что направляет это письмо с Девисом. Письмо касается одного вопроса, о котором, как полагает президент, лучше всего переговорить через общего друга. Литвинов является еще одним «единственным лицом», с которым президент говорил по существу письма.

Рузвельт писал далее, что он хотел бы избежать конференции, созыв которой неизбежно сопряжен с участием большого количества лиц и медлительностью дипломатических переговоров. Поэтому, как склонен думать президент, наиболее практичным средством была бы неофициальная и, как отмечено в послании Рузвельта, простая встреча между президентом и премьером Сталиным, которую можно провести в течение нескольких дней. Президент понимает, что ни Сталин, ни он, Рузвельт, не могут отлучиться надолго. Вместе с тем обстановка такова, что «историческая оборона русских, за которой последует наступление, может вызвать крах в Германии следующей зимой». Полагая, что союзники должны быть готовы ко многим совместным действиям, Рузвельт считает, что ему и премьеру Сталину надлежит встретиться этим летом.

Определив таким образом время встречи, Рузвельт

высказал свои соображения и по поводу места встречи. Как полагает он, об Африке почти не может быть речи и при этом... «Хартум является британской территорией». Да, черным по белому в послании было сказано насчет Хартума, и это могло свидетельствовать: встреча для президента потеряла бы смысл, если бы в ней участвовал Черчилль. Исландия, как полагает президент, неприемлема, ибо это связано «как для Вас, так и для меня с довольно трудными перелетами». Но и это не все, если говорить об Исландии. Кроме того (и здесь президент обращается к доводу чрезвычайному), «было бы трудно в этом случае, говоря совершенно откровенно, не пригласить одновременно премьер-министра Черчилля». (Ладонь Сталина медленно сжалась в кулак, сжалась что есть силы, так, что видимая часть ладони стала розоватой.) Было такое впечатление, что здесь, быть может вопреки воле автора, был эпицентр письма. Каким бы важным ни было письмо дальше, оно не могло сообщить ничего более значительного.

Президент предлагал, чтобы встреча произошла на американской или русской стороне Берингова пролива. Пункт, выбранный таким образом, как думает президент, был бы в двух днях пути от Вашингтона и примерно в двух от Москвы. По мнению президента, «никто из нас не пожелает взять с собой какой-либо персонал». Президент, по его признанию, ограничился бы в данном случае Гарри Гопкинсом, переводчиком и стенографистом. Все это, как считает Рузвельт, способствовало бы тому, что он, Рузвельт, и Сталин «переговорили бы в весьма неофициальном порядке и между ними состоялось бы то, что называют «встречей умов». Президент склонен думать, что предмет переговоров может быть положение дел на суше и на море, но нет необходимости делать это в присутствии представителей штабов. Как сообщил Рузвельт, Девис не знаком с военными делами и послевоенными планами правительства и президент направляет его в Москву с единственной целью: договориться о встрече.

Сталин полагал, что на этом письмо заканчивается, и потянулся к коробке с табаком — пауза, которую он выдержал, была достаточно эмоциональной, чтобы одолеть ее без табака. Он взял щепотку, настолько большую, чтобы полна была трубка, и, закрыв короб-

ку, вдруг обнаружил, что письмо не дочитано. Дочитать осталось одну фразу, но фразу значительную. Президент писал в заключение, что положение таково, что Германия предпримет развернутое наступление против России (в письме: «против Вас») этим летом, и американские штабисты («мои штабисты») полагают, что оно будет направлено против центра линии («Вашей линии»).

У Сталина возникло желание возразить. Нет, не потому, что президент был неправ во всем, что касается самого факта наступления или направления главного удара, о котором тоже шла речь в письме. Не поэтому. Желание возразить возникло в нем эмоционально — ему не нравилось, когда кто-то иной позволял себе высказываться столь категорически по вопросам, которые до сих пор он считал своей сферой, в какой-то мере заповедной («...мои штабисты полагают, что оно будет направлено против центра Вашей линии», — мысленно воссоздал Сталин строку письма). Но Сталин не стал возражать — то, что было уместно в иной обстановке, здесь было неуместно.

— Значит, на одном из берегов пролива Беринга? — переспросил он Девиса — ему нравилась эта мысль. Само место было удобным для проведения подобных переговоров, а кроме того, оно как бы знаменовало, что встреча эта — дело русских и американцев: именно здесь едва ли не смыкалась русская земля с американской.

— Да, господин Сталин, пролив Беринга... — подтвердил Девис — он заметил, что голос Сталина потеплел.

— Ну что ж... ну что ж... — сказал Сталин, чувствуя потребность поглубже проникнуть в текст письма и понять некоторые из его поворотов, которые представлялись ему непростыми, в частности поворот с Черчиллем. — Мы все читали «Миссию в Москву»... поздравляю вас, — сказал Сталин, желая, очевидно, закончить пока разговор о письме и переходя к новой теме, чтобы как-то продлить диалог, который был неприлично коротким.

— Благодарю вас, господин Сталин, — просиял Девис; казалось, из тех приятных слов, которые Сталин мог произнести, эти были ему особенно желательны. —

У нас книга встречена с интересом, и мои друзья сделали фильм по книге...»

— А вы бы привезли его, — оживился Сталин — великий затворник, он любил кино, оно создавало иллюзию, что между ним и окружающим миром нет Кремлевской стены.

— Я привез, — произнес Девис, чувствуя, что обретает средство почти магическое, чтобы победить сдержанность Сталина.

Заскрипело отодвигаемое кресло — недокуренная трубка осторожно легла в пепельницу.

— Хорошо — мы посмотрим фильм! — он пошел по комнате; казалось, эти несколько шагов давали ему возможность расплескать избыток чувств и удержать равновесие. — Не будем откладывать — сделаем это сегодня же... — произнес он, неожиданно остановившись; он полагал, что просмотр фильма даст возможность ему продлить паузу — именно паузу. Она необходима была, эта пауза, — письмо Рузвельта лежало на столе.

Тремя часами позже кинозал, в котором обычно царил почтительно-робкая тишина, содрогался от смеха, хотя число зрителей можно было пересчитать по пальцам: показывали «Миссию в Москву». На экране были почти все, кто был в зале, но с той только разницей, что безбородые обрели бороды — если уж русские, то с бородами... Впрочем, курьезы на этом не кончались. Но странное дело, зрители были довольны, при этом Сталин больше всех. Фильм был не силен в деталях, но силен в главном: он был проникнут симпатией к русским, к их великой борьбе. В сочетании с именем Девиса это не могло не подкупать.

...Сталин продиктовал ответное послание президенту. Оно было заметно коротким. Сталин и прежде был подчеркнуто немногословен даже в своей переписке с Рузвельтом. Что же касается черчиллевских писем, то здесь размеры ответных писем Сталина были неприлично коротки: на три странички письма британского премьера зачастую следовало полстранички сталинского. Казалось, среди тех козырей, к которым обращался Сталин в своей переписке с союзниками, этот был дополнительным.

Советский премьер продиктовал ответ Рузвельту, хотя имел обыкновение писать такого рода письма от

руки. Когда письмо было перепечатано и принесено ему на подпись, он вернул его помощнику и просил прочесть вслух. Ему нравилось, когда его письма читались вслух — усердный помощник вносил в это чтение подобострастие, обнаруживая в письме достоинства, которые в нем были и которых в нем не было.

Сталин слушал текст, не отрывая глаз от некрасивого, в грубых буграх и морщинах лица помощника, которое, впрочем, сейчас не казалось ему таким некрасивым. Он точно вновь постигал смысл письма. Он мысленно похвалил себя за то, что письмо получилось лаконичным, — краткость была его достоинством, он ценил краткость. Вместе с тем ему понравилось в письме и иное: упомянув о нехватке самолетов и бензина, он воздержался от просьбы.

Советский премьер согласился с президентом, что этим летом — возможно, в июне — следует ждать наступления немцев. По данным Сталина, противник сосредоточил здесь двести своих дивизий и тридцать дивизий, сформированных союзниками немцев. «Мы готовимся к встрече нового германского наступления и контратакам (Сталин так и писал: «контратакам»), но у нас не хватает самолетов и авиабензина». Как полагает Сталин: сейчас невозможно предвидеть всех шагов, которые придется предпринять советской стороне. Это будет зависеть от развития дел на советско-германском фронте, а также от того, насколько быстрыми и активными будут англо-американские действия в Европе. Из всего этого Сталин делал вывод: его сегодняшний ответ на предложение президента о встрече не может быть определенным.

Сталин был доволен, что в своем послании не отозвался на реплику Рузвельта о Черчилле. Эта доверительность в письме Рузвельта казалась Сталину подозрительной. Доверительность, как был убежден он, не может возникнуть внезапно — у доверия, если оно настоящее, должна быть опора. Здесь этой опоры не было, и доверительность не вызывала желания вести разговор начистоту, хотя стремление Рузвельта выключить из разговора британского премьера было маневром любопытным.

Письмо заканчивалось тем, что предстоящий июнь будет горячим и он, Сталин, не сможет отлучиться из Москвы. По его словам, встреча могла бы состояться

в июле или августе, при этом он уведомит президента о своей готовности за две недели до встречи. Сосражения по поводу места встречи он изложил Девису. Письмо кончалось словами, которые были определены самим фактом, что нынешняя миссия была миссией Девиса: «Благодарю Вас за то, что Вы прислали в Москву г-на Девиса, который знает Советский Союз и может объективно судить о вещах».

Двадцать шестого мая Сталин вручил Джозефу Девису ответное письмо.

— Вы полагаете, что немцы начнут в июне? — спросил Девис, когда пришло время прощаться: он подготовил этот вопрос заранее.

— Могут начать, — сказал Сталин — ему хотелось, чтобы ответ был конкретен лишь в той мере, в какой он не мог обидеть собеседника.

— Удачи вам, господин Сталин... — произнес поспешно Девис, поняв, что на этом разговор должен закончиться.

— Благодарю вас, — сказал Сталин, пожимая руку Девиса.

В этот же день Девис вылетел в Америку.

Он полагал, и, очевидно, не без оснований: независимо от того, суждено состояться встрече или нет, миссия его удалась.

40

Если взглянуть в перспективу Кузнецкого моста с холма, два ряда зданий, возникающих перед тобой, как бы зажимают и не успевают зажать белесое июньское небо. Лучи прожекторов расплескиваются в его полумгле, и синеватый блеск самолетов сливается с его алюминиевым мерцанием. А небо, по крайней мере его юго-восточные пределы, заполнено устойчивым гудением самолетов. Вот уже час, как в Москве объявлена тревога. Да не война ли это нервов?.. Объявить тревогу и разом напомнить июль сорок первого, тот июль... И горящий Вахтанговский театр. И руины на площади Маяковского. И зарево над Красной Пресней. И летящий пепел. И вой пожарных сирен. И спящих детей на станциях метро. Разом напомнить. Наверное, война нервов, но не только. Слишком устойчивым гудением заполнен юго-восток. В этом гудении есть свой



ритм — кажется, что самолеты идут волнами. Волны не вторгаются в Москву, они ее омывают за Крестьянской заставой, за Соколиными холмами, за Сокольническим и Измайловским лесными массивами, за Перовом, Ногинском, Орехово-Зуевом — там зенитки и обстреливают врага.

Однако что это? «Хейнкели» пошли на Горький. В июне сорок третьего пошли на Горький? Да, бомбить автомобильный завод и — чем черт не шутит! — перепоясать мины ремнем Волгу. Дерзнуть на бомбардировку Горького и этим показать, что их боевой дух и



их силы на уровне этой задачи!.. Война нервов? Именно. А если точнее, то все внимание врага приковано не к Горькому, а к Курску... Вон какое расстояние от Горького до Курска, и оно, это расстояние, пожалуй, наиболее точно определяет дистанцию между подлинной силой немцев и тем, какой бы они хотели ее представить, хотя сила, наверное, и велика, очень велика. Рузвельт заметил в своем послании: «...против центра Вашей линии...» Мы тоже понимаем: в центре. Сталин сказал: «Мы готовимся... к контратакам». Вот этим сорок третий год и отличается от сорок первого. Мы

знаем направление главного удара и соответственно готовиться к ответному удару.

Корреспонденты чувствовали приближение событий грозных. Они заметили: в конце июня в Москве не было ни Жукова, ни Василевского... Сам этот факт мог ничего и не значить. Известные советские военачальники и прежде не задерживались подолгу в столице, но в сочетании со всеми прочими событиями этой поры это могло склонить к раздумьям серьезным. У советского командования, стремящегося проникнуть в планы немцев, был один аргумент, раскрывающий замыслы врага почти безошибочно: конфигурация фронта. Рузвельт, писавший Сталину о том, что немцы начнут где-то в центре русской линии, мог даже не пользоваться данными разведки — его могла навести на эту мысль конфигурация фронта. В самом деле, казалось почти невероятным, что немцы пренебрегут преимуществами, которые давал им сам характер линии фронта. В руках немцев было два своеобразных полуострова: Орловский и Харьковский. Два полуострова зажимали третий, занятый Красной Армией, в центре которого был Курск. У немцев, естественно, было искушение, используя выгодное расположение своих войск, перехватить «горловину» русского полуострова со всеми немалыми силами, которые там находились. Ну, разумеется, немцы не обманывались насчет способности русских проникнуть в этот план, тем более что только эти два выступа и давали некоторые преимущества — в остальном линия фронта не обнаруживала больших изгибов. Конечно, здесь мог быть у немцев и иной план: сместить, как говорят военные, направление главного удара, обойдя изготовившиеся силы противника. Но враг полагал, что такой маневр не сулит выигрыша, а ему необходим был выигрыш. Кстати о выигрыше: пленные, оказавшиеся в наших руках, свидетельствовали: в течение лета немцы хотели укрепить оборону и подготовиться к зиме — немцы уже думали о зиме! Как показали дальнейшие события, немцы не помышляли нарастить территорию, они всего лишь стремились к тому, чтобы вернуть инициативу.

Второго июля генерал Ангонов доложил Сталину текст особого предупреждения, которое Генштаб предлагал направить войскам: немцы готовы нанести удар

3—6 июля. Генштаб приказывал: усилить разведку, быть готовыми отразить возможный удар.

...А пока в Москве воздушная тревога и юго-восточный край московского неба в огне: немецкие самолеты идут на Горький...

Поздно ночью Тамбиеву позвонила Софа.

— Я тут, у памятника,— выйдите, пожалуйста. Я не задержу вас.

Тамбиев встревожился: как она могла добраться — в городе тревога. Он взглянул на часы: без десяти двенадцать.

— Выходите, выходите быстрее, «виллис» за углом, сейчас начнет сигналить.

Тамбиев бросился на улицу.

Она стояла у края тротуара в нерусской шинели, схваченной ремнем и портупеей, в пилотке с кокардой, в хромовых полусапожках, тоже нерусских. Он подумал: какая на ней форма? Чехословацкая или польская, нет, все-таки чехословацкая?

— Как я обещала, хочу сказать: я улетаю...

Была в ее лице сейчас какая-то голубоватость, неземная. Это волнение сделало ее такой голубой или мерцающее небо?

— Пройди сюда, Софа, под арку,— сказал он.— Теперь говори.— Он закрыл за собой калитку.

— Сегодня на рассвете я улетаю,— сказала она, отступая — ей было не очень уютно оттого, что он стоял между нею и воротами.— Утром...

— Куда? — спросил он и прислонился спиной к железной калитке.

— Кажется, в словацкие горы,— сказала она, кивнув на свою форму.— Куда-то за Братиславу.

Он почувствовал — рушится что-то очень большое, что он носил в себе все эти годы.

— Но ты понимаешь, что тебя ожидает в этих самых горах? — спросил он.— Ты беспомощна...

Она шагнула к воротам, давая понять, что ей нужно идти, но он не сдвинулся с места.

— Нет, не беспомощна,— ответила она, вскинув красивую голову.— У меня есть моя жизнь, которую я не пожалею.

— Но это не доблесть, отдать жизнь,— бросил он в сердцах.— Надо ее отдать так, чтобы это было полезно людям.

— А почему вы думаете, что я не отдам ее с пользой?— она тронула калитку.— Кстати, это сигналият мне. Я должна идти.

Он не шелохнулся. «Ну, делай же, делай что-нибудь, если ты такой сильный, уходят последние секунды»,— говорил он себе.

«Виллис», стоящий за углом, просигналил еще раз, как бы упрасывая поторопиться.

Он отошел, и она шагнула к калитке, не скрывая радости. Казалось, она сейчас побежит, взмахнув длинными полами шинели, будто крыльями, но она всего лишь обхватила руками прутья калитки, затихла.

— Я хочу сказать,— она умолкла: великое смятение полонило ее, она сейчас никуда не хотела ехать.— Я звонила Кожавину... Скажите ему.

— Скажу.

Вновь просигналил «виллис». Теперь в самом его голосе была интонация требовательная. Даже странно, как можно было сообщить машине способность говорить. «Вышли все сроки,— стонал «виллис».— Пойми: не можем ждать. Не-е мо-о-же-е-м!» Она хотела отнять руки от прутьев, но по железу точно пустили электричество — руки не снимались.

— Если я вернусь, быть может, мы не разминемся.— Будто собрав все силы, она оторвала руки от прутьев.— Если вернусь...

— У тебя там будет дом... в словацких лесах?— спросил он и подумал: да не было ли в том, что он сказал, нотки примирения с происходящим?— Тебя можно найти там? Если крикнуть «Ау-у-у!» — откликнешься?

— Там дубы, говорят, до неба и тьма. Если что, кричите в эту тьму: «Ау-у-у!» — Она улыбнулась, и свет прожекторов удержал ее печальную улыбку.

— Вот это и весь адрес: «Ау-у-у!»?

— Весь.

Она уходила — еще был слышен стук ее сапожек, убыстряющийся,— видно, самообладание возвращалось к ней.

«А почему она вспомнила о Кожавине и была ли

тут связь? — спросил он себя, когда стихли ее шаги. — Она сказала: «Я звонила». Когда она звонила? Теперь, когда позвонила мне, или раньше? Если раньше, то Кожавин знает? А если знает, то к чему ей было просить меня? Нет, Кожавин не знает. А может, все-таки знает?»

Тамбиев видел Кожавина сегодня утром. Похоже, тот собрался в дальнюю дорогу. Куда? На просторы будущей битвы? А может быть, еще дальше?

Да не Кожавин ли это идет? Полуночные тридцать минут прогулки. Есть некий ритм в его быту — все строго целесообразно. С тех пор как Наркоминдел вернулся на Кузнецкий, Игорь Владимирович уходил на эти полчаса на Варсонофьевский, а потом по Рождественке возвращался на Кузнецкий. Смотрит на старые дома и распевает на разные голоса «Князя Игоря» — в русской музыке для него это лучшее... Есть русская суровость в «Князе», без сантиментов, и есть мысль. Для человека зрелого это истинно. Что должно быть интересно Кожавину в этих полуночных походах? Московские кривотупики да кривоулучки с церковками и церквушками, которые Кожавину наверное хочется воспринимать, добыв из глубин памяти «Игоря». Как ни спокойна его походка (и в ней есть величавая простота, свойственная кожавинской сути), Тамбиеву видится в ней сегодня большая, чем всегда, энергия шага.

— Игорь Владимирович, эго вас увлек всеильный Бородин!

— Да нет... какое там! — У Кожавина грудной голос, и Тамбиеву кажется, что в этом голосе сегодня особая приподнятость. — Иное, Николай Маркович...

— Погодите, что «иное»?

Игорь Владимирович засмеялся — необыкновенно светел был его смех в эту минуту, он был счастлив.

— Лечу в Ленинград! — Он засмеялся вновь — было в этом смехе озорство, бравада, восторг совершившегося. — Грошев только что сказал.

— Грошев... да? Решился?

— Представьте, Николай Маркович, уломал я его наконец...

Тамбиев подумал: «Знает ли он о Софиной Брати-славе?.. Спросить или не спрашивать? Если спросить, то

осторожно. Так осторожно, чтобы на одной фразе весь разговор кончился».

— Тут встретил дружка... Говорит: «Необыкновенно заманчиво вздыбить Европу!» — «Это как же вздыбить?» — спрашиваю. А он: «Лечу в словацкие горы...»

Тамбиев смотрит на Кожавина: говорит ему это что-нибудь или нет?

— Словацкие горы? — вдруг остановившись, Кожавин задумчиво посмотрел на Тамбиева. — Это Карпаты?

— Да, Карпаты... словацкие... — уточнил Тамбиев, так и не решив, проник ли он до конца в смысл вопроса.

Они расстались, а Тамбиев все раздумывал над тем, как Кожавин принял его осторожное слово о друге, улетающем в словацкие горы. «Нет, нет, — убеждал себя Тамбиев, — он не знает и не может знать, иначе он не задал бы этого вопроса о Карпатах, таксе спрашивают, когда человек узнает об этом впервые. Но тогда почему он вдруг остановился и отвел глаза — что-то было в этих его глазах... Знает он, все знает... Если знает, что мешало его спросить прямо — в конце концов, в такой ли мере это заветно?.. Нет, не знает, не знает!..»

Утром позвонил Грошев и в тех туманно-неопределенных выражениях, в которых любил говорить в подобных обстоятельствах, сказал, что ему, Тамбиеву, так следует организовать свое время, чтобы в предстоящие пять дней он мог быть вызван в отдел в течение часа... По опыту Тамбиев знал, что предстоит поездка, по всей видимости — в места, где ожидаются события значительные.

Вечером московское радио передало первую сводку о битве у Курской дуги.

Значит, Грошев имел в виду Курск, сказал себе Тамбиев и приготовился ждать. По расчетам Николая Марковича, у него было больше пяти дней — маловероятно, чтобы корреспондентов повезли к Курску до того, как там будет преодолен критический момент битвы. Но неожиданно явился Бардин.

— Вот письмо Якову... Что смотришь на меня так?.. Ты что, еще ничего не знаешь?

— Нет, конечно... — сказал Тамбиев, а сам подумал: «Вот тебе осторожный Грошев — не торопится!»

— Ну, это Грошев замешкался — у него, пожалуй, больше дел, чем у меня, — засмеялся Егор Иванович. — Но я все-таки скажу, Коля: решено тебя послать к этой Курской горловине... Пока без твоей братии: так сказать, разведка!.. Могу ошибиться, но Яков должен быть где-то там. Я сказал: могу ошибиться! — он улыбнулся не без лукавства. — Хорош твой Грошев!..

— А я на Грошева не в обиде! — возразил Тамбиев; он полагал: все, что надо сказать Грошеву, он скажет ему сам. — Дай бог Августе Николаевне такого начальника! — ответил Тамбиев улыбкой на улыбку.

— Что ты сказал? Нет, нет, повтори! А я думал, ты мне друг... Ну, бог с тобой. Держи письмо. Я бы повременил с письмом, да такой случай... Значит, дай бог Августе такого начальника?.. Ну, я это тебе припомню, Тамбиич! — он ткнул Николая Марковича кулаком в плечо и ушел, смеясь.

А Тамбиеву еще долго слышался смех Бардина, его громоздко-тяжелая походка. На душе у Егора Ивановича посветлело. И это было так понятно Николаю Марковичу. Начиналось новое военное лето, наверное тяжкое, однако новое всей своей сутью, лето наше.

За полночь Грошев связался по телефону с подмосковным аэродромом и уговорил взять Тамбиева в самолет, который летел к безвестной деревушке, расположенной на юго-востоке от Мценска, — места заповедные, тургеневские. Тамбиев прибыл на аэродром, когда до отлета было минут двадцать — двадцать пять, моторы уже прогревались. При свете ручного фонарика командир экипажа тщательно проверил документы, подписанные Грошевым, не без иронии взглянул на портфель, который, как показалось Тамбиеву, заметно шокировал командира в сочетании с форменной шинелью и погонами Николая Марковича, сказал, что самолет идет без посадки и будет на месте в четыре утра.

Осмотревшись в самолете, Тамбиев увидел, что фюзеляж заставлен ящиками, размеры и форма которых ему были знакомы, — в таких ящиках в институт, где служил Николай Маркович, прибывали с завода авиаприборы, запущенные в серию. Самолет уже

взлетел и лег на курс, когда Тамбиев заметил, что он не один. В темноте появился человек.

— Пробовал уснуть — не получается! — закричал он что было мочи, хотя нужды в крике не было — моторы не заглушали голоса. — Разрешите представиться: капитан Загуменных... Место посадки известно вам... простите, я не расслышал вашего имени!.. Какой там «район Мценска»? — засмеялся капитан. — Мы летим на Сучью речку! Слышали про такую?

— Нет, не слыхал... — простодушно ответил Николай Маркович.

— А про Поньри слышали? — почти торжествующе спросил собеседник. — Вот там она и есть, Сучья речка...

Да, о Поньрях Тамбиев не мог быть не наслышан — название станции на железнодорожной ветке Курск — Орел уже дважды возникало в сводке как место танковой баталии, какой война еще не ведала. Если взглянуть на Курский выступ на карте, Поньри, а также Ольховатка и Тросны были в правом углу его, в то время как в левом были Прохоровка, Верхопенье, — решив срубить Курский выступ под корень, немцы нацелили удары своих танковых топоров именно сюда: на Поньри — с одного боку мощного курского ствола, на Прохоровку — с другого.

— А что такое Поньри? — спросил Тамбиев, будто ничего не зная, — заманчиво было вызвать капитана на разговор.

— Вы читали заметку в газете «Тигры» горят? Читали? Так я вам скажу по секрету, — Загуменных чуть не коснулся губами уха Тамбиева. — Они, конечно, горят, да не очень! Наши пушки сорокапятимиллиметровые не берут эту броню. Только и спасение: подпустить и подорвать гусеницы! Но подпустить «тигра»... вы понимаете, что это такое?

— Как там наши дела... под Поньрями? — спросил Тамбиев — реплика капитана, прозвучавшая во тьме, показалась Николаю Марковичу тревожной. — Как там... есть шанс? — повторил Тамбиев и взглянул в иллюминатор: солнца еще не было, но предрассветная мгла уже объяла землю.

— Рано еще с выводами! — вновь прокричал капитан; человек эмоциональный, он не мог сдержаться. — Рано еще! — повторил он. — Вы скажете: дело

почти верное потому, что есть обеспечение, какого не было прежде. А я скажу: все точно, но есть еще и риск!

— Это как же — «риск»? — спросил Тамбиев.

— Как понять? А понимай как хочешь!.. — Капитан помолчал. У него было искушение объяснить свою реплику о риске, да он не знал, как это сделать. — Хороших коров в большие стада не стгоняют... Поняли? — Тамбиев молчал — ему хотелось, чтобы капитан выговрился. — Немец вроде все свои стада пригнал к Курску, да и мы не поскупились! Теперь поняли: риск!..

— Риск — благородное дело! — засмеялся Тамбиев. — К тому же наши-то небось прикинули: сколько риска, а сколько верного дела, а?

— Все вы на один манер. Как сказывали наши деды: «При твоих глазах мой ничего не видят!» — вымолвил капитан Загуменных, и Тамбиев почувствовал запах табака, а вместе с ним и тяжкое, с хрипотцой, дыхание капитана.

...Медленно светало, и маленькая фигура капитана, сидящего в стороне, стала видимой. Капитан молчал: то ли забылся в предрассветной дреме, то ли все еще не мог одолеть нелегкую свою думу...

42

На рассвете Тамбиева принял начальник оперативного отдела штаба армии.

— Наркоминдел? — генерал искоса взглянул на Тамбиева. — Признаться, я первый раз вижу вашу форму. Покрой хорош и, пожалуй, цвет, но в ней есть что-то, простите меня, нерусское... Ах да, звонил мне по ВЧ этот ваш директор департамента прессы. — Он не без любопытства посмотрел на погоны Тамбиева: — Это как же понять: два просвета, две звезды?.. Так я говорю, звонил по ВЧ директор департамента прессы. Как его... директора? Фамилия такая денежная?

— Грошев, — подсказал Тамбиев.

— Да, да, именно Грошев... Письмо к Якову Ивановичу с вами?

— Да, разумеется...

— Вам повезло. — Он взглянул на часы. — В одиннадцать ноль-ноль он встречается с командиром резерв-

ной бригады и возвращается к себе, — он подкрутил завод часов. — Все, что можно показать, он вам покажет, хотя у меня сомнения...

— Какое?

— Да надо ли нам сейчас везти сюда мировую прессу?

— Вы полагаете: не надо?

— Рановато... — Он вновь остановил взгляд на погонах Тамбиева. — Значит, два просвета, две звезды, так? Это значит подполковник? А как это зовется у вас? Как, как? Первый секретарь второго класса?.. — он засмеялся. Вытянул руку, рубанул ею, как шашкой. — Не очень!.. Попахивает гуммиарабиком и химическими чернилами, а ведь у дипломатии другой дух!.. Нет, я тебя так не назову, ежели ты мой гость дорогой! Ты у меня будешь подполковником — вот так-то! — Он задумался, произнес едва слышно: — Значит, первый секретарь второго класса? Нет, не очень... Международные дипломатические? Ну, бес с ними — пусть у них там будет так, а нам не надо. Согласись, подполковник: бездарно как-то, а? — Он поймал взгляд Тамбиева, обращенный на карту, висящую на стене. — Хочешь спросить: как у нас? Ну, не робей, подполковник!.. Подробно тебе Яков Иванович объяснит, так сказать, на местности, а я скажу коротко: могло быть лучше, конечно, но и на этом спасибо... — Он вновь оглядел Тамбиева критическим оком. — Сейчас тебе дадут постель и, разумеется, постель: заваливайся спать. Может статься, эту ночь не уснешь. Якову Ивановичу скажу сам. Одним словом, три часа сна — больше не обещаю. Только чур: прежде чем ложиться, запомни, где укроешься при бомбежке. Немцы ищут штаб и бомбят жестоко...

Но все обошлось — Тамбиев проспал не три часа, а пять. Солнце лежало почти на подоконнике, было без малого шесть — на родине Тамбиева, в степном граде на Кубани, в этот час звонили к вечерне.

Явился лейтенант от командарма Бардина — желточубый паренек в пилотке, которая не могла упрятать всего чуба, и сказал, что ему приказано препроводить гостя в штаб.

Яков Иванович вел непростой разговор с командиром резервной бригады, но, видно, предупредил своих адъютантов, чтобы они дали ему знать, когда нарком-

индеец явится в штаб, и, прервав разговор, вышел к Николаю Марковичу. Что-то Иоанново приметил Тамбиев в этот раз в Якове: строгую пристальность нешироко поставленных глаз, привычку нарочито сутулиться, манеру говорить так, что интонация почти не обнаруживалась, при этом в словах была резкость, какой Тамбиев раньше не замечал в Якове.

— Слушай меня, Николай,— сказал Яков, поднимая загорелую руку — этот жест мог быть и приветствием.— Как понимаешь, тут мне не до Наркоминдела. Поэтому аудиенция, так сказать, на колесах. Все, что могу сказать, скажу в машине. Будем ехать всю ночь, и привезу тебя на край света. Нет, ты мне сейчас ничего не говори и письма не показывай... Выедем через час.

Вот это да! Так и сказал: «Письма не показывай!» Что-то с ним свершилось такое, что и объяснить не сразу. Тогда, под Вязьмой, он был человечнее. А тут его заковало в панцирь. Война заковала. Когда железо сшиблось с железом, может, это и нужно?.. Если это его суть, может, и не страшна его немногословность, лаконичная строгость в отношениях с людьми, на грани суровости, контроль над каждым произнесенным словом (не сказать больше, чем того требует дело, никаких исповедей), расстояние, расстояние. Наверно, это характерно для него, что письма не взял: ну, разумеется, он тревожится за отца и брата и хочет знать, как живы Бардины, но он не желает этого обнаруживать — все эти чувства, на его взгляд, удел слабых.

Машина шла минут тридцать, а казалось, что они едут уже часов пять и все, что надо было сказать, сказано.

— Вот тут отец пишет, что Егор был в Америке опять, а про Мирона ничего... — заговорила Яков Иванович, когда письмо было прочитано и спрятано в боковой карман кителя, — видно, с письмом Егора была и Исаннова весточка.

— По-моему, видел.

— Это как же?

— Видел Мирона Егор Иванович, — пояснил Тамбиев.

— Хорошо.

Яков сидел рядом с водителем, Тамбиев вместе с желточубым лейтенантом позади. Водитель наверня-

ка знал нрав командарма, он вел машину в зависимости от того, как был напряжен взгляд командарма, обращенный на дорогу.

— На обочине этот... Толубеев, — сказал водитель и машина пригасила скорость. — И халата старик не снял... — это «старик» было данью человечности, но, казалось, произнесено потому, что под рукой не нашлось другого слова.

— А зачем его снимать, когда ни сна, ни роздыху... товарищ командующий? — нашелся желточубый.

— Знаю, — сказал Бардин и открыл дверцу, лейтенант выскочил вслед за ним; машина, идущая позади, тоже остановилась.

Тамбиев видел, как командарм сошел с дороги и скрылся в роще. Человек в белом халате последовал за ним, как и его спутник, тоже в халате. Желточубый паренек решил было сделать то же самое, но вовремя сдержал себя, точно его остановил предупредительный жест командарма.

— Может, эта минута для него последняя, — вздохнул человек, да так близко, будто бы он и не входил в рощу; видно, это говорил Толубеев — то был голос человека в годах. — Огонь раздел его догала, даже сапоги стянул — с ног оно и началось...

— Только страхов меньше, товарищ главный хирург... — сказал Яков. — Что делать надо?

— Резать! — вновь вздохнул Толубеев. — У него в этих сапогах ноги спеклись...

— Я говорю: страхов меньше... — произнес вновь командарм. — Вам нужно мое слово?..

— Да, конечно.

— Сколько лет полковнику?

— Тридцать четыре.

— Так... И в операции ведь есть риск? — спросил командарм.

— Да, конечно, но риск меньший.

Вторглось гудение машины — она прошла рядом и заглушила голоса говорящих. Когда гул ее стих, Яков уже вернулся.

— Вчера вошел в лесок, побитый артиллерией, — вот она, картина! — вдруг вырвалось у него. — Боюсь, что после войны у войска моего доблестного будет вид, как у этого леса... — добавил он, очевидно вернувшись в своих мыслях к полковнику, у которого

сейчас главный хирург отнимает ногу, уже отнимает.

А машина ворвалась на полевую дорогу, и командарм, наклонившись, поднял ладонь и провел ею от одного края смотрового стекла до другого, точно фиксируя внимание Тамбиева:

— Вот оно, поле битвы минувшей,— сюда смотри, Николай!..

Машина остановилась. Яков вышел на дорогу, однако сойти с нее не решился.

Луна только что взошла, и ее свет был боковым, а потому резким. Был виден не столько предмет, сколько силуэт его, но от этого поле боя не стало менее выразительным. Будто всецельный луч, неожиданно упавший на это поле в самый разгар жестокой баталии, остановил движение, и все застыло на своих местах, воинственно изготовившись, встав на дыбы, намертво схватившись. Странно, но в самом пейзаже этого поля, залитого лунным молоком, было нечто бесконечно древнее. Наверное, таким оно могло быть после побоища мамонтов, для которых дорога, ведущая к полуночной реке, оказалась неожиданно узка... Даже в неярком свете бронебойной стали, в округлости корпусов, в их размерах было нечто явившееся сюда из тьмы тысячелетий, когда великий жернов времени еще не успел истереть и измельчить все живое, и гиганты с маленькими головами властвовали на земле, при этом враждебная человеку сила пыталась утратить его и своими размерами.

— Такого еще не было. Говорят, Курский выступ,— иронически заметил Бардин.— Не то, не дает представления!

— Курский ствол, в который ударили танковыми топорами под самый корень,— сказал Тамбиев. Николаю нравилось качество командарма не принимать на веру общепринятое, все проверить своим умом, отыскать свое определение.

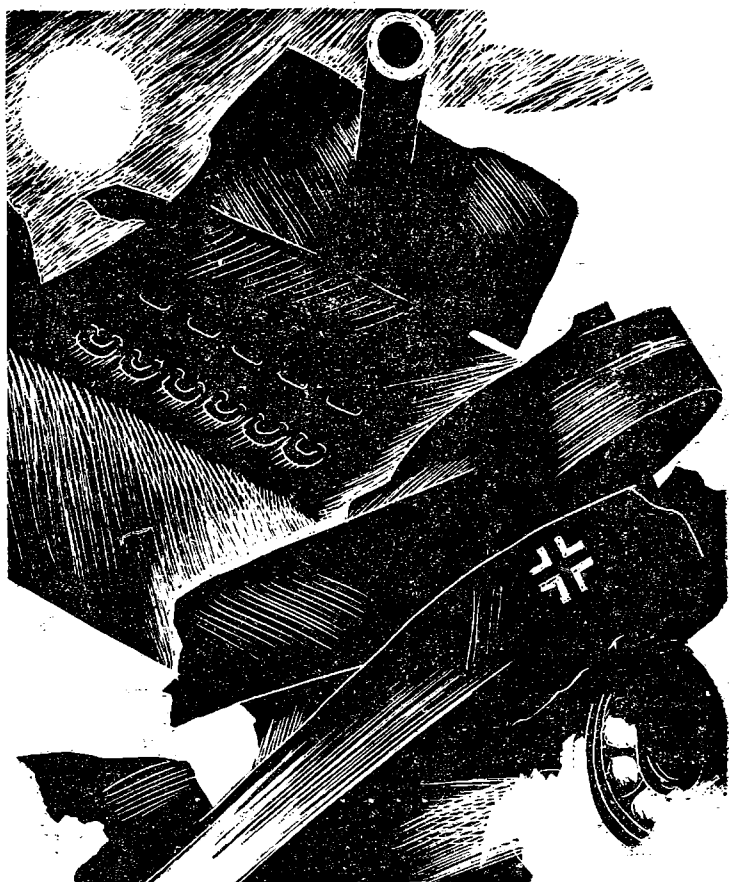
— Ствол... курский? — Яков обратил взгляд на силуэты двух танков у самой обочины дороги — они медленно и яростно поднимались на дыбы, как бы готовые схватиться.— Ствол? Нет!.. Подкова! Курская подкова! — Казалось, он обрадовался, что нашел подходящее сравнение, настолько обрадовался, что даже утратил прежний тон, чуть бесстрастный.— Стянуть кон-



цы подковы и обратить ее в кольцо — вот задача немцев!.. Стянуть железом, тем более что железо это под рукой: от одного края подковы до другого — железнодорожная магистраль, да, та самая, Москва—Харьков... у одного края подковы Прохоровка, у другого — Поньри... Ты видел, как это выглядит сейчас на карте? Самые жестокие бои тут, — заметил Бардин и пошел вдоль дороги туда, где поднялись на дыбы танки.

— Вы знали, что немцы начнут здесь? — спросил Тамбиев, следуя за Бардиным.

— Да, мы знали, — ответил командарм и встал по-



чти вплотную к танку, это была наша «тридцатьчетверка», у нее был большой наклон, а следовательно, упор, поэтому она устояла против тучного немца.— Я скажу тебе больше: немцы знали, что мы знаем...

— Знали и... пошли? — воскликнул Тамбиев.

— Пошли... не без сомнений,— сказал Бардин и поднял глаза — танки были сейчас над их головами.

— Сомнения... какие? Надо ли начинать здесь?

— Броня выдержала... наша броня,— Бардин все еще рассматривал танки — у его мысли сейчас было два течения: Яков отвечал Тамбиеву и думал свою ду-

му.— Да, и немцев раскалывало сомнение: надо ли начинать здесь, коли мы знаем, что они здесь начнут...

— Их сомнения нам были выгодны, Яков Иванович?

— Я думаю, да,— ответил Бардин и, круто повернув, пошел к машине — танки уже были ему неинтересны. Он, как подумал Тамбиев, и во всем ином не мог отдать себя стихии простого любопытства, увлечения — для него любопытство и увлечение были стихиями.

Но Яков не успел войти в машину, броня танка, лежащего в канаве, точно колебнулась — на дорогу выкарабкался человек в исподней рубахе (в лунном свете рубаха едва ли не слепила), а за ним солдаты с автоматами, вначале двое, потом третий.

— Вот разыскали... камышника! — произнес этот третий, оглядывая Бардина и прикидывая, с кем имеет дело. — Зыбкость душевная одолела человека — из танка его уволок!..

— Товарищ командующий! — рванулся человек в белой рубахе — он первым узнал Бардина. — Так я по нужде из танка... — Он тронул ладонью светлые усы, в ночи усы казались сивыми.

— Паскуда! — прервал его автоматчик. — А куда гимнастерку с сержантскими погонами дел?.. В трибунал тебя, паскуду, прямым курсом!

— Он превысил! — сказал сивый. — Не по закону!

— У, мать твою, а руку мою изодрал по закону? — бросил сержант зло и левой, с маху, сунул сивому в скулу — удар был не сильный, левая была слаба у сержанта.

— Ну ты, не надо! — спокойно-осуждающе сказал Бардин, у него не было охоты корить сержанта.

— Вот видите, товарищ командующий!.. — запричитал сивый — ему вдруг стало жаль себя. — Вот видите! Превышает!

— Иди, иди — там разберут! — сказал Бардин хмуро. — Иди... — У него уже сложилось свое отношение к сивому, но он не хотел его обнаруживать, опасаясь, что это поощрит сержанта в его гневе и, чего доброго, сержант действительно «превысит». — Ведите его, — сказал он сержанту строго. — Ведите... — повторил Бардин, самой интонацией показав, что ему больше нече-

го сказать. Сержант поднес было к пилотке согнутую ладонь, но перевязь не пустила.

Поехали дальше. Бардин молчал. Наверно, Бардин понимал, что сержант гневен на него. Идет сейчас по кочкам, держа на весу окровавленную руку, и костит командующего. Не осек бы Бардин сержанта, дошло бы до самосуда. В машине запахло дымом, прогорклым,—справа, за увалом, горело село, огонь выплеснулся в поле, быть может, добрался до скошенного хлеба—край неба был в искрах. Автомобильное окошко, обращенное к селу, посветлело, свет коснулся щетины командарма.

— А вот так собрать на «пятак» всю технику — не рискованно? — вспомнил Тамбиев свой разговор в самолете.

— Наверно, рискованно,—подал голос Бардин, пораздумав.— А как иначе?

— Собрать в тылу и перебросить туда, где будет горячее...— заметил Тамбиев — ему эта мысль казалась убедительной. «Тыл тылом,—думал он,—но первый удар, а этот удар самый сильный, отражает не тыл. Кулак надо отбивать кулаком». Николай обратил взгляд на пожар, сейчас его отблески заметно выбелили дорогу.— Но то, что произошло у Курской подковы, должно иметь продолжение? — спросил Тамбиев — он берег этот вопрос напоследок.

— Если есть сегодняшний день, неизбежен день завтрашний,—ответил Яков уклончиво, а Тамбиев подумал: «Самый осторожный из всех Бардиных; однако почему самый осторожный?.. Характер или все-таки профессия?..»

— Ну, Курск не только подкова, но и весы,—размышляла вслух Тамбиев.—Немецкую силу уравновесить русской, да еще приберечь про запас... У кого останется лишняя сила, тот и возьмет верх...

— Лишняя, чтобы шагнуть дальше? — спросил Яков — он не очень был заинтересован в продолжении разговора и задал вопрос с единственной целью: узнать, как далеко пойдет Тамбиев в своих догадках.

— Да, шагнуть дальше, до Днепра, хотя это уже утопия, не так ли? — про утопию Тамбиев сказал на всякий случай — просто дал шанс Бардину выйти из положения..

— Утопия, утопия!..— всодушевленно подхватил Бардин — его всодушевление было прямо пропорционально его осторожности; сказав «утопия», он точно говорил Тамблеву: «На этом разговор заканчивается — точка».

«Виалис» все еще шел открытой степью. Ветер дул теперь в правый борт машины.

— Повлажнело маленько, видно, Сейм где-то рядом, — сказал Яков. — Сколько у тебя на часах? — обрattился он к водителю. — Два есть?

— Без пятнадцати, — ответила тот.

— Значит, рассветать начнет скоро.

Машина стала забирать все выше — холм был пологим и невысоким, но заслонил добрую половину степи. До вершины холма оставалось еще достаточно, когда показалась встречная машина. Как ни темно было небо, ее черный квадрат был сейчас хорошо виден.

— Кто это еще? — спросил Яков у водителя.

Тот помолчал, очевидно, дожидаясь, когда машина подойдет ближе.

— Не иначе, Крапивин, — заметил водитель. — На радиаторе полна, другой такой машины нет. — Водитель пригнулся, не отрывая глаз от приближающегося «виалиса». — Ну конечно, он станвится на обочину.

— Ставь и ты, — сказал Яков и, не дождаввшись, пока машина остановится, открыл дверцу.

— Крапивин, — повторил водитель, когда два человека, массивный и сдержанно-неторопливый Бардин и ширский в плечах и короткорукий Крапивин, приблизились друг к другу.

Наверное, у водителя было искушение придвинуть машину к говорящим, но он не посмел. Ветер тянул в сторону, и слов говорящих не было слышно, хотя, судя по всему, случайный разговор на дороге был весьма живым. Правда, Бардин, как обычно, был чуть-чуть скепан и больше слушал, чем говорил. Зато Крапивин, казалось, был увлечен беседой. Короткие руки командарма с тяжелыми кулаками часто вздымались над головой — в жестах командарма была некая окончательность.

Бардин возвратился минут через десять, и машины разминулись, каждая пошла своей дорогой.

— Крапивин говорит, что его армия полтора часа назад начала форсировать Сейм,— произнес Бардин, как бы рассуждая вслух. Ему хотелось, чтобы об этом знал Тамбиев, но по какой-то только ему известной причине он не хотел этих слов адресовать прямо Тамбиеву.

— Если начали форсировать Сейм, то без «адмирала» Бардина там не обошлось? — спросил Николай и тут же упрекнул себя. Может быть, и надо было спросить об этом, но не так в лоб — вопрос не в духе Якова.

— Крапивин говорит, что танки пошли бродом, который отыскал Бардин, под огнем отыскал,— произнес Яков все тем же тоном, не обнаруживая ни удивления, ни радости.

— Под Клином я видел Сергея,— сказал Тамбиев осторожно, очевидно, давая понять, что хорошо было бы молодого Бардина повидать и здесь.

— То Клин, а то Курск — разница! — хмыкнул Яков. — Он, Сергей, небось уже за Сеймом, далеко за Сеймом...

Ответ не оставлял сомнений — на этот раз Тамбиев не увидит Сергея.

Где-то впереди немец подвесил с подюжины ракет и осветил поле. Машина прибавила скорость и как бы причалила к роще, что возникла впереди. Немец бомбил. Самолеты ушли, а «фонари» все еще висели над степью, нехотя снижаясь, опускаясь в степь, как в воду. Ветер вдруг стал теплым, как из русской печи, пахнуло горячей золой. Но так было недолго. Машина вошла вновь в открытую степь, и ветер словно остыл. Машина стремилась навстречу утру, становилось все свежее, хотя тьма была еще густой, быть может — предутренняя тьма; говорят, что последний час перед рассветом самый темный.

Из-за поворота опять вылетел «виллис», потом второй, третий. Их будто выпустили из пращи — только ветер взвизгнул да обдало пылью пополам с песком. И по знаку, незримому, а может, неслышному, машины остановились, остановились, судя по звуку, разом. Этот звук ухватил и водитель стремитель-

ной бардинской машины — притормозил и подал машину назад, — кто-то уже шел к ним.

— Бардин? Нет, ты послушай и меня! У бригады свои колеса, и дай им волю. За ночь вон куда бы могла уйти бригада...

Сейчас была видна только спина человека и широко расставленные ноги. В том, как человек встал перед Бардиным, глядя на него в упор, сказывалась сила. Он встал перед Бардиным, будто готовился для удара. В его коренастости, в широко расставленных ногах, в наклоне фигуры, в самой посадке головы, заметно массивной, Тамбиеву чудилось что-то очень знакомое.

— У бригады свои колеса, и иногда надо не очень давить на тормоза! — произнес человек и не без труда сдвинулся с места; пока стоял он, точно вращался в землю, поэтому нелегко ему было сдвинуться.

Слов вышедшего ему навстречу Бардина не слышно, но видно, что у него свое мнение. К тому же то, что знает Бардин, человек, стоящий перед ним, может еще и не знать.

— Бомбят?.. Переезд?.. Но где мы возьмем еще ночь? Осторожность хороша, когда есть еще и действие! Что?

Нет, Бардин не сдастся — сила пошла на силу.

— То, что можно сделать за три ночи, за две не сделаешь. Ну, гляди, с тебя спрос!.. Только с тебя!

Тамбиев увидел, как парень, сидящий за рулем, разыскал на сиденье пилотку и надел ее — явно ему не жарко сейчас.

— Вот оно: Ставка не всегда советует, она и приказывает... — произнес водитель и затих, осмысливая то, что произнес. — Слыхал? — закончил он поспешно, обращаясь к желточубому: Бардин уже садился в машину.

Ставка... Тамбиев не ошибся, решив, что знает человека, с которым Бардин выдержал сейчас нелегкое единоборство. Но как об этом спросишь Бардина, да и надо ли спрашивать? У него нет ни желания, ни потребности рассказывать тебе о происшедшем. Он, кажется, даже не подумал, что его спутникам это может быть интересно.

— Остановись, — вдруг сказал Бардин водителю. — Выйдем... передохнем на ветру. — Он оперся тяжелой

ладонью о сиденье, неловко выпрыгнул из машины, прежде у него получалось это легче.— Скрути мне цигарку,— обратился он к желточубому. По тому, с какой смятенной неуверенностью лейтенантова рука побежала по карманам, стараясь найти кисет, Тамбиеву показалось, что эта просьба для желточубого была неожиданна.

— Ставка? — спросил Тамбиев, он понял, что сейчас самый раз спросить об этом.

— Жуков... это и есть Ставка,— пояснил Яков и посмотрел в ту сторону, где десять минут назад фронтовая дорога свела его с Жуковым, посмотрел и вздохнул...

— Жуков? — Тамбиев вдруг почувствовал, как токи волнения подступили к груди, и поймал себя на мысли, что продолжает смотреть вместе с Бардиным на дорогу, уже замутненную предзоревого мглой. Ну конечно же это был он: и эта коренастость его, и массивный затылок, и эти слова «Осторожность хороша, когда есть еще и действие»,— эти слова его, и никому ты, кроме него, их не отдашь...

Вот она, доля человека! Встретил командарма, сказал ему крепкое словцо и помчался дальше — Ставка! Нелегка дорога, что лежит перед человеком, сколько ни думай, не надумаешь, что ждет завтра. А жаль — разметать бы эту мглу, что прикрыла день завтрашний; может быть, это и дало бы силы, которые так нужны человеку сегодня.

Он не знал и не мог знать точных примет завтрашнего дня. Он не знал, что именно его имя народ отождествит с трижды тернистой дорогой войны. Он мог всего лишь надеяться в эту дымную курскую ночь, что за Курском будет Харьков, старший брат в семье индустриальных городов украинских, а за Харьковом — столичный Киев, колыбель нашего первородства. Не мог знать он и того, что замысел боя, который он даст немцам у большой днепровской преграды, военные историки позднее сопрягут с не менее впечатляющим замыслом битв на окружение, многократно повторяющих стратегию Сталинграда, там будут Кировоград, Корсунь, Минск. Не ведал он сейчас и того, что ударом стремительным и внезапным он опрокинет врага в Друть, Березину, Свислочь, положив начало освобождению партизанской Белоруссии. Он не знал, что на белорусских, а потом польских землях дотянется

до станого хребта гитлеровской мощи, именуемого группой армий «Центр», и сломает его, сломает надежно, чтобы навсегда отнять у врага надежду воссоединить эти армии. В эту беззвездную курскую ночь он еще не ведал и того, что, наращивая удары, приведет войска на берег Вислы, а потом на высокие кручи Одера, чтобы в январское утро девятьсот сорок пятого дотянуться до маленького немецкого городка Кинитц и, взглянув на полевою карту, произнести долгожданное: «До Берлина — семьдесят». В эту ночь, освещенную стелющимся огнем пожара, наверно, он не мог еще представить и того, что под начало его ума и полководческого опыта сражающаяся Республика Советов отдаст сыновей своих и свое разящее оружие, чтобы нанести последний удар по гитлеровской цитадели. Ему не известно, наконец, было и то, что на торжестве Победы, которым будет увенчана священная борьба против супостата, именно ему будет предоставлена честь принять парад победоносного войска. Он мог только догадываться обо всем этом в ту июньскую ночь тысяча девятьсот сорок третьего года, всего лишь догадываться, но, воин и гражданин, он храбро нес солдатскую вахту, понимая, что Отечество и Правое дело — с ним, а следовательно, не так уж несбыточно все, о чем сегодня он не смеет и мечтать...

Яков нетерпеливо бросил себе под ноги цигарку, осторожно принял ее салогом, вскочил в машину.

— Я открыл термос, товарищ командующий... — подал голос желточубый. — По такому утру горячего чаю хорошо, а?

— Нет, спасибо... подъезжаем уже... — Бардин обернулся к лейтенанту. — Вот то, справа на макушке кургана, флюгерок?.. Он?

— Он, товарищ командующий, — произнес желточубый.

Машина свернула направо, вошла в аллею, засаженную тополями.

— Пойдем, Николай, приехали, — сказал Бардин и вышел из машины. — Скажи Годуну, я в штабе, но все... — обернулся он к желточубому.

Старые тополя, не пирамидальные, а большекрон-

ные, какие на юге России зовут серебристыми, нависали над дорогой. Это было не село и даже не хутор — скорее хоромы помещика-степняка, теперь, возможно, усадьба совхоза, — а вот и флюгерок, по которому Бардин издали приметил усадьбу.

Вопреки раннему часу, усадьба жила напряженной жизнью — да и ложились ли спать этой ночью ее нынешние обитатели?

— Товарищ командующий, товарищ командующий! — слышалось отовсюду. Дважды или трижды кто-то рядом отдал команду «Смирно!» и, печатая шаги, направлялся к Бардину, чтобы отдать рапорт, но движением усталой руки Бардин останавливал рапортующего. Тамбиеву было интересно наблюдать Якова Бардина в эту минуту: он точно распространял вокруг себя магнитное поле — оно и влекло к нему людей и удерживало их. Странная и смешная условность, но казалось, они не могли приблизиться к нему вплотную, останавливаясь на расстоянии. Даже в том случае, когда надо было сказать нечто конфиденциальное, им стоило труда встать с командующим рядом. Нет, в этом не было ничего от робости или тем более подобострастия, скорее было уважение к человеку, сознание того, что он старший. Отвергал ли это Бардин? Тамбиев полагал — не отвергал. Быть может, это могло кому-то показаться условно-архаичным, а поэтому ненужным, но Яков, так думалось Тамбиеву, считал это целесообразным, а следовательно, необходимым: нет, он принял это не на веру... Он ничего не принимал в своей жизни на веру — опыт его много-сложного бытия, опыт войны убедил его, что это нужно. И об этом думал Тамбиев.

Они углубились в парк и боковой тропой через заросли дикой груши и крыжовника приблизились к кирпичному домику — то ли уединенному обиталищу старого садовника, то ли конторе бывшего помещика. Новый штаб, о котором говорил Бардин, находился здесь: дом был невелик, но он был точно опущен на дно многослойного озера, если за это озеро принять старый парк. За каменной оградой работали связисты, прокладывая кабель, — Бардин это заметил, это было важно.

Солдаты, несущие охрану штаба, расступились, пропуская командующего в дом. Один из них завел

за спину руку, в которой у него был котелок, быть может с кашей,— котелок был прикрыт краюшкой черного хлеба. Ничего особенного в том, что командующий застал солдата с котелком, не было, но солдат все-таки завел руку за спину.

Бардин прошел по коридору, едва задержав взгляд на распахнутой двери, за которой у просторного стола, усталенного картой, колдовали оперативники.

— Годуна ко мне! — произнес Бардин, не останавливаясь.

Армейские хозяйственники поработали в поте лица: дом был выскоблен и надраен, словно корабль перед флотской инспекцией. Чистота была привередливой, запахи, которые еще удерживались в доме, свидетельствовали об этом: там, где не взяли бензин и карболка, взяла эта привередливость.

Яков Иванович прошел по дому, не остановив взгляда на выбеленных стенах и вымытых полах. Он как бы не замечал этого, точно все это само собой разумелось.

— Товарищ командующий, вы меня просили?

В дверях стоял генерал-майор, возраста куда более почтенного, чем Бардин,— волосы на висках завьились и выбились на виски запятыми — как у старика Раевского, героя той Отечественной.

— Связь переключили сюда?

— Да, еще с вечера... Телефонистов расположили в этой кухоньке, во дворе, к обеду закончат.

Бардин взглянул на стену — карта, как он заметил, отразила изменения, происшедшие за ночь.

— Да, я видел... Кто доложит карту?

— Козицкий,— ответил генерал и взглянул на Тамбиева, на его дикобинную форму.

— Хорошо, не отлучайтесь.

— Слушаюсь, товарищ командующий,— произнес генерал и едва ли не расправил плечи. Тамбиева и это удивило немало: да неужели этот человек находится от Якова Ивановича так далеко, чтобы столь ретиво блюсти форму. Не хотел бы этого Бардин,— наверно, этого бы не было. Но он и это, так можно подумать, считает необходимым. А может быть, и впрямь это необходимо? Дисциплина не терпит исключений — армия сильна, больше того, непобедима всеобщей дисциплиной.

— Жуков говорил с командиром кавдивизии? — спросил Бардин генерала — он произнес это имя впервые, произнес, все еще глядя на карту.

— Да, полтора часа.

— Вы были при этом?

— Никак нет, — отрапортовал Годун и пояснил: — имел ваше приказание не отлучаться.

— Напрасно — надо было быть... Через полчаса всех командиров на провод! — вдруг произнес Бардин, и в его голосе, до сих пор таком обыденном, вдруг прорвалось нечто такое, что хотелось назвать праздничным.

— Есть, товарищ командующий, всех командиров на провод! — повторил генерал, восприняв эту праздничность голоса командующего; он наверняка понимал, о чем идет речь, и был счастлив от одного сознания, что понимает. Он даже чуть-чуть расправил плечи, старый вояка — он привык к этой дисциплине, подумал Тамбиев, она была ему не в тягость. Привык теперь или прежде?..

Тамбиев заметил, что взгляд Бардина все еще был прикован к карте, висящей на стене, — видно, взгляд этот уловил нечто такое, что вызывало беспокойство.

— Ты понимаешь, Николай, как-то несподручно их везти сюда, — он оттенил голосом «их». — А вот возьмем Орел, тогда иное дело! — последнюю фразу ему подсказала карта — он обратил взгляд на нее, беседуя с генералом, и удержал до нынешней минуты, когда речь уже шла об ином, — в другое время Тамбиев не заметил бы этого, а вот сейчас было видно и ему. Ну конечно же Бардин говорил с генералом об Орле, как об Орле он говорил сейчас в иной связи с Тамбиевым, — мысль Якова Ивановича текла не прерываясь. — К тому же что им Поныри или какая-нибудь Ольховатка? — спросил он воодушевленно. — А там, что ни говори, Льгов и Мценск... там леги Макбет! — он улыбнулся не без иронии.

— Письмо будет к Егору Ивановичу? — полюбопытствовал Тамбиев — еще там, в штабе фронта, когда Николай Маркович говорил с генералом-оперативником, он понял, что всецело решил пока сказать Наркоминделу «нет». Наверно, Тамбиев не все знал, но у военных тут мог быть свой резон.

— Письмо?.. Да нужно ли оно, письмо, а? — Яков,

разумеется, уже решил, что писать не будет, но не хотел говорить это сразу.— Одним словом, скажи, что жив, пока жив...— уточнил он, пожимая руку Тамбиеву и улыбаясь.— Передай генералу: с первым самолетом...— произнес он, вызвав желточубого паренька,— улыбку его точно смываю — он был сейчас прежним Бардиным.

Тамбиев явился в Наркоминдел, когда вечер был на исходе. У подъезда, выходящего на площадь, стоял лимузин с флажком на радиаторе — британский посол пожаловал с очередным посланием премьера; с другой целью в столь поздний час не придешь.

Комнату, в отделе называемую гостиной, как обычно в это время, заполнили корреспонденты. Сводка уже получена и откомментирована, но корреспонденты не расходятся: после жестокого тура боев под Курском установилось затишье, грозное затишье.

Кто-то поднял приветственно ладонь, увидел Тамбиева и не удержался от доброго «гуд ивнинг», а кто-то сделал удивленные глаза: слишком дорожный вид был у Николая Марковича...

Тамбиев пошел к Грошеву: только диву даешься, когда спит шеф наркоминдельского отдела печати и где он устраивается, чтобы вздремнуть час-другой? Правда, в кабинете есть диван красоты необыкновенной: красное дерево, расцвеченное медью. Но как опустить брненное тело на такое чудо? Телефонный столик точно является продолжением дивана, а телефоны на этом столике несут неусыпную вахту, не умолкая ни днем, ни ночью. Если неусыпны ТАСС и Совинформбюро, почему должен спать наркоминдельский отдел печати? Да только ли в ТАССе и Совинформбюро дело?.. Жестоко бдителен аппарат, стоящий несколько в глубине, — прежде этот аппарат был черным, сейчас стал нежно-золотым: по нему в отдел звонит Сталин. С тревожной пристальностью косится на аппарат Грошев. Если говорить начистоту, то Грошев предпочитал бы, чтобы аппарат не звонил. Но он звонит, и не так уж редко, и тогда Грошев бросается к нему как лев.

Но сейчас телефон нем, и у Грошева благодушно-восторженное настроение. Он даже склонен посмеять-

ся над Тамбиевым, что бывает, как заметил Николай Маркович, когда у него на душе особенно хорошо.

— Ну, знаю... все уже знаю! — вскрикнул он, едва пожав руку Тамбиеву, — ему очень хотелось показать, что его осведомленность простирается дальше, чем думает информированный Тамбиев.

— Простите, а что вы знаете? — спросил Тамбиев.

— Военные... хотели бы дождаться Орла, не так ли?

— Верно, — сказал Тамбиев — видно, Грошев уже говорил со штабом фронта по ВЧ, да и Яков Бардин не остался в стороне от этого разговора. — Верно, знаете, — подтвердил Тамбиев не без уныния; ему было чуть-чуть обидно, что Грошев повел этот разговор, не дождавшись его возвращения в Москву.

— Но надо ли было так покорно соглашаться?.. — спросил Грошев, пораздумав. — Курск для нас... новое качество, не так ли?

— Да, конечно, — согласился Тамбиев.

— Техническая мощь, которой мы не имели, помноженная на стратегический успех, который тоже для нас важен...

— Пожалуй.

— Теперь задайте себе вопрос... нет, не мне, а себе, себе: по-хозяйски ли это — взять и спрятать этот успех? В наших интересах?

— Нет, разумеется!

— Я вас не понимаю, Николай Маркович!.. Убейте меня: не понимаю!.. — Он встал, и его ватные плечи пошли ходуном — его доброе настроение, казалось, улетучилось. — Там вы поддакивали и тут тоже поддакиваете, а ведь речь, как вы должны заметить, идет о точках зрения прямо противоположных... Что такое?

— Нет, все не так! — засмеялся Тамбиев, ему и прежде удавалось доброй улыбкой остудить собеседника. — Вначале возражал, а потом согласился. Там сказал «да», а здесь говорю «нет». Военные правы.

— Вы так думаете?

— Уверен.

— Тогда объясните...

— Конечно, корреспонденту это очень важно, но победа над немцами важнее, — сказал Тамбиев.

— Погодите, а разве в данном случае одно противостоит другому?

— Военные полагают, противостоит.

Грошев встал.

— Конечно, глупо возражать военным — им виднее... И Бардин... Яков Иванович так думает?

— Именно.

— Значит, и Бардин?

Он прошелся по комнате, держа перед собой кружку с чаем. Наверно, он понимал, что не прав, но ему было трудно признать это. Направляя Тамбиева в Курск, он полагал, что это полезно делу, хотя ему было очевидно — решать будут военные. Сейчас, когда военные сказали «нет», Грошев должен был до конца осмыслить это. Он и в Курске, пожалуй, отстаивал бы свою точку зрения настойчивее, чем Тамбиев, хотя Николай Маркович был уверен, что правота на стороне военных, а не Грошева.

— Ну, вот что: надо выходить из положения, как? — спросил он и поставил кружку на стол. — Поймите, у нас перед ними обязательства, моральные... — он повел головой в ту сторону, где находились сейчас корреспонденты. — Может, и вы не согласны? Вы небось тоже считаете: все враги, всех под корень? — вдруг спросил он, оглянувшись на Тамбиева, и в его глазах блеснула злость, этого Николай Маркович никогда не видел у него прежде.

— Ну, это уже... ни в какие ворота не лезет! — возроптал Тамбиев.

— Простите, я не хотел! Простите, ради бога... — заторопился Грошев. — Жаль, уйдет Курск! Вы понимаете, такого может и не быть... Ах, жаль! — не сказал, а простонал он. — Ну, предлагайте, что будем делать, ну?.. Думайте, думайте! Погодите, идея! Сможете сейчас привезти Глаголева? Да, вломитесь в дом, поднимите с постели и приволоките старика!.. Скажите: обстоятельства чрезвычайные. Нет, звонить не буду! Позвонить — значит дать ему возможность отказаться... Скажите: Наркоминдел просит. Ну, сошлитесь, в конце концов, на меня...

Двадцать часов позже Тамбиев привез к Грошеву настороженного, даже встревоженного Глаголева, как рефрен повторявшего одно и то же: «Да неужели вы были в Курске? Так вы же самый счастливый человек среди нас! Понимаете: самый счастливый! Понимаете?.. Нет, вижу не понимаете!..» Он долго стоял в гостиной

перед огромным трюмо в золотой раме, приглаживая бледными ладонями желтоватые седины, потом вздохнул и заскрипел еще не успевшими обноситься хромовыми сапогами к Грошеву, сдержанно покашливая и поводя плечами, которые по этому торжественному случаю он поднимал выше обычного.

Грошев вышел Глаголеву навстречу, улыбнулся, чуть вбирая лиловые губы, сказал, что является постоянным читателем Глаголева, а статью «Кризис сражения», напечатанную в достопамятную зиму сорок первого, однажды цитировал корреспондентам. Глаголева усадили в низкое кресло, он сидел, выставив худые стариковские колени, и его сапоги, не удерживаясь на тощих икрах, собрались в гармошку и были похожи на солдатские «кирзы». Он давно выкурил папиросу, которой угостил его Грошев, и, перестав улыбаться, замер в усталой печали, ожидая разговора по существу.

— Не могли бы вы встретиться с корреспондентами, Маркел Романович? — спросил неожиданно Грошев, заметив эту печаль на лице генерала. — Нет, не беспредметно, а со своеобразным обзором Курской битвы? — Он сделал паузу, рассчитанно микроскопическую, чтобы, не дай бог, Глаголев не ворвался бы в брешь и не сказал «нет». — Корреспонденты постоянно обращаются к вашим статьям...

— Да не обманываетесь ли вы, голубчик? — спросил Глаголев. — Им подавай... па-де-де (его сапоги неловко притопнули) или там именитого баса, а я кто для них? Так, старый вояка, читающий фортификацию! Я бы на их месте не пошел!

— Нет, нет... Маркел Романович, вы не правы решительно — вы для них имя!.. — прервал его осторожно Грошев. — Мы-то знаем, что им интересно... Глаголев, да еще в сочетании с Курском... какой может быть разговор?

— А вы-то сами придете? — чуть подмигнул Глаголев Грошеву — лукавая искорка вспыхнула в уголке глаза, и он её прихлопнул мохнато-дряблым веком. — Придете?

— Маркел Романович, да как вы могли допустить?

Глаголев подтянул голенища, встал — сапоги, разумеется, упали, собравшись в гармошку.

— Ну ладно, ладно... я подумаю.

— А я, признаться, ждал от вас более определенного ответа... — заметил Грошев, следуя за Глаголевым.

Глаголев решил возвращаться домой пешком, взяв слово с Тамбиева, что тот его проведет и расскажет о своей курской экспедиции, — как ни устал Николай Маркович, он дал согласие Глаголеву — у Тамбиева были свои виды на эту беседу.

Все, что Глаголев хотел знать о Курске, он как бы сравнивал со своими идеями и раздумьями, относящимися к стратегическому аспекту войны.

— Вы сказали: «многослойная оборона»? Значит, резерв, дальний резерв?.. А вы помните наш разговор зимой прошлого года? Что я вам тогда сказал, а? Нет, повторите, что я сказал? — и его нога нетерпеливо и неловко застучала по асфальту. — Повторите, сию минуту!.. Я вам приказываю: повторите! — засмеялся он, засмеялся громко — смех был сейчас какой-то простоватый, плебейский, не его смех. Быть может, виной тому была ночь, но Тамбиеву показалось, что смеется не Маркел Романович, а кто-то иной, кого скрыла темнота. — Я вас хотел еще о чем-то спросить, минуту, минуту... Ах, в моем возрасте нельзя так спешить, все перебудешь!.. Нет, нет, вы не смейтесь, должна быть такая неспешность и последовательность мысли... Логика суть наука для стариков, только они и способны оценить, что есть логическое мышление... Так о чем я вас хотел спросить?.. Вспомнил!.. Вот это наше превосходство на земле и, пожалуй, в воздухе не сообщило ли нашим войскам уверенность, какой нам недоставало?.. — Он ухмыльнулся, не дождавшись ответа Тамбиева. — Согласитесь, что так вас еще никто не потрошил, а?..

Тамбиеву показалось, что Маркел Романович атаковал его сегодня не без тайного умысла: он уже репетировал свое выступление перед корреспондентами...

— У меня слоеный пирог с сыром, как вы?.. — предложил Глаголев, когда они дошли до Никитских; он еще не закончил репетицию. — Перед отъездом Анна Карловна изобразила, прелесть...

— Они уже отбыли? — спросил Тамбиев — разговор о Курске не оставил места для иного.

— Кто... «они»?

— Александр Романович, Анна Карповна... — уточнил Тамбиев, а сам подумал: надо было как-то спросить о Софе, надо было спросить о Софе.

— Да, уехали, — ответил Глаголев, как показалось Николаю Марковичу, с той лаконичностью и даже сухостью, какая до сих пор в нем и не предполагалась, — о слоеном пироге с сыром Глаголев уже не думал — способность удерживать в памяти разные мысли одновременно для него действительно была уже затруднена.

45

Тамбиев условился с Бардиным, что явится в Ясенцы, но, приехав туда, застал только Ольгу.

Иоани был на Остоженке. Иришка все чаще задерживалась в родительском обиталище у Второй Градской — в этом году она заканчивала десятый. Знатные иностранцы увлекли Егора Ивановича с утра в Звенигород, и он обещал быть позже.

Тамбиев был поражен, как изменился бардинский дом и сам строй жизни в нем за эти полтора года.

Прежде сад, в котором хозяйкой была Ольга, был завидно ухожен, а милая обитель Бардиных была во власти веселого хаоса. Но странное дело: как ни чист и привередливо охорошен был сад, гости стремились его побыстрее покинуть, в доме они чувствовали себя уютнее. Ныне равновесие установилось: чистота, почти госпитальная, была и в саду и в доме. Да и Ольга чем-то была похожа на сестру-хозяйку... Большая, холено-пышная, она ходила из дома в сад и из сада в дом тем величаво-спокойным шагом, который обнаруживает и душевный покой, и благополучие, и уверенность в себе, и немножко власть.

Она повела Тамбиева по дому и по участку, будто он попал сюда впервые.

— Вот этот стол смастерил Егор, — указала она на стол, накрытый яркой дачной скатертью. — И где у него это все было раньше?.. А вот это тоже си... — выдвинула она табурет из-под стола. — Только надо похвалить: ну так, не грубо: «А знаешь, Егорушка, у тебя получается!» — горы свернет! Прешлый раз сказала:

«Егор, да неужели ты и косить умеешь?» Взял косу и выкосил участок вместе с кабачками и нарциссами...

Видно, она это рассказывала не впервые. И нехитрый рассказ о милых шалостях Бардина поднимал ей настроение — она повеселела.

— Вот взгляни, какие у меня помидоры! — Она разгребла белой рукой ботву, глянули плоды, изжелта-оранжевые и пунцово-красные. Она сорвала тот, что покрупней, взяла на ладонь — он лежал на гладкой ее ладони сытый и бесстыдно полнокровный. — Ты видишь, какая прелесть... — Она разломил помидор, он распался по едва заметной бороздке, и Тамбиев увидел две его половинки, точно заиндевелившие внутри.

Они возвращались в дом, и она несла на раскрытых ладонях по половинке помидора, точно похваляясь ими перед твоей, перед молодой яблонькой, перед сиреневым кустом, давно отцветшим.

— Мне сказали, у вас там на Кубани земля... «бери — не хочу». А мне было бы не очень интересно там. В самом деле, какой интерес в легкой добыче? А вот когда ум и ум, труд и труд... это счастье. Трудное счастье самое счастливое, не так ли?..

— Кубань — это нечто иное, — печально сказал Тамбиев. — «Бери — не хочу» — это не Кубань...

— Как не Кубань? — возразила она. — Там земля — благодать, всем известно.

— А с нее и спрос как с благодати, — сказал Тамбиев.

— Ну, не спорю, Николай...

— А тут было трудно? — спросил Тамбиев и впервые заметил ее испытующий взгляд; ей померещилось, что Тамбиев спрашивает не только об ухоженных грядках.

— Копать — нелегко, — она сделала попытку вернуть разговор к огороду. — Но я одолела... — Она вошла в дом. — Меня на три таких дома хватит, Николай... — сказала она, пошире раздвигая шторы. — Мне бы хотелось обставить дом по-своему... — она засмеялась, не без смущения. — Стыдно сказать: дом был пропитан этими ее недугами и этими лекарствами!.. — Она взглянула на настенные часы. Тамбиев видел эти часы и прежде. — Видишь часы?.. Так из-за них дом чуть не перевернулся три дня назад... Ну, я хотела перенести

их в другую комнату. Как-то архаично. Девятнадцатый век... Так Иришка подняла такой скандал: «Не надо — пусть все будет, как при маме!» — «Ты понимаешь, Ирина, что мама — моя сестра, при этом единственная! Я ей, если на то пошло, обязана больше, чем матери. Я ее любила...» Знаешь, что она мне ответила?.. «Прежде — любила, сейчас — нет!» Нет, ты подумай: «...сейчас — нет!» А может быть, я не права? Мне надо понять: оттого, что я своя, мне стократ труднее. И потом: Егор... Я скажу только тебе: ему доставляет удовольствие винить себя... А они?.. Сережка пишет Ирине и не пишет отцу или пишет так, от случая к случаю... Чтобы узнать, как там с Сережкой, отец должен спрашивать Ирину. Я же ее вынянчила!.. Поверь, Николай: я вынянчила, не Ксения!.. Так чем Ирина теперь мне отвечает: она ревнует меня к отцу! Ты только представь: этакая мошка... ревнует!

— Ну, а он... как он?

— Что именно... он?

— Видит все это?

— Конечно, видит, но это его... мягкая рука. Понимаешь, Николай, у такого человека рука должна быть покрепче...

— А она у него не крепка?

Она рассмеялась:

— Ну, ты же знаешь.

Приехал Бардин, при этом не один, а с Иоанном — заехал на Остоженку, уговорил поехать, другого такого случая встретиться не будет.

Иоанн увидел Тамбиева, поднял руки, здоровую взвил в охоту, надо было бы достать загривок, добрался и до загривка, а вот больная бессильно дернулась и остановилась у груди, пришлось ее возвращать в прежнее положение с помощью руки здоровой.

— Видел Якова? — спросил Егор Иванович, усаживая Тамбиева против себя. — Рассказывай...

Иоанн сел у окна, странно робкий, на себя не похожий, — казалось, он заранее согласился с тем, чтобы бразды беседы были у сына.

Тамбиев говорил, а Бардин слушал, изредка вставляя словцо.

— Тут был его начмед армии. Ну, известный московский доктор, чинил сердца академикам российским... Так он говорит об Якове: держит армию в стро-

гости и себя не щадит.— Бардин умолк, испытующе посмотрел на Тамбиева: — Ты скажи, Коля, мне, положи руку на сердце. Строг Бардин, а?

— Пожалуй...— нехотя согласился Тамбиев — он понимал деликатный характер этого разговора и не очень шел на него.

— Но чувствуется... командарм, который может поднять армию на немца?

— Мне кажется, да,— Тамбиеву еще не было понятно, куда клонит Егор Иванович.

— Молодец Яков! — вырвалось у Егора Ивановича, и он взглянул на отца, будто приглашая его разделить радость.— Как ты, батя?..

Иоанн молчал — он положил больную руку на ладень здоровой, положил бережно.

— А он там улыбаться не разучился? — вдруг спросил Иоанн.— Ну, он вот так и ходит, сдвинув брови, а? — Что-то нащупал хитрый Иоанн в этом разговоре такое, что его немало заинтересовало.

Тамбиева подмывало сказать старому Бардину дерзость — да есть ли у него право судить того, кто в пекле!

— Главное, чтобы дать немцу по загривку, а там он может и без восторга!..

— Верно, Николай: главное намылить немцу шею, а как он это сделает — не мое дело!..— возликовал Егор Иванович — у него это вызвало такую бурную радость потому, что была возможность дать очередной бой старому Иоанну.

Иоанн смотрел на младшего Бардина не без иронии.

— А по-моему, ты раньше времени колотишь в барабан!..

— Объясни...

— Вот ты послушай меня спокойно... Я чувю: был один Яков, а стал другой! А знаешь, мне люб прежний Яков, честное слово, люб! Ну, я человек штатский, а поэтому все само может показаться тебе словом профана... Не ставь мне это в вину, а вникни в мысль. Знаешь, я скажу: есть две школы воспитания на солдата: прусская и русская... Что такое прусская?.. Суровость, жесткая точность, немногословность, этакая атрофия живого общения с солдатом, атрофия слова живого и смеха... Говорят, что это ближайший путь к командирскому авторитету, а следовательно, к повинению...

По мне, не столько к авторитету, сколько к страху. Есть другая школа: русская. Командир, будь он хоть сам маршал, такой же солдат, как все остальные, а поэтому он может и скоротать с солдатами время на привале, и переброситься с ними шуткой, и съесть с ними котелок каши, и покурить солдата на народе, и похвалить его, тоже на народе... Кстати, Суворов был таким, и Кутузов — тоже, да и у наших Чапаева и Котовского было тут нечто суворовское... Кстати, Чапаеву и Котовскому это было нужно позарез. Ведь мы же армия, которая первый раз в истории человечества знает, за что она борется... А коли знает, ей, как можно догадаться, это объяснили. Ну, прусская армия отродясь не знала, за что она борется, ей и нужен был командир бессловесный... А наша? Нет, нам такой командир не подходит, ежели нам надо до солдатского сердца дойти... Как?.. Теперь скажи: чья правда?

— Якова! — сказал Егор Иванович.

— Это почему же Якова, а не моя?

— А потому, что немца колотит Яков, и хорошо колотит, а все остальное... да имеет ли это значение? Вот ежели он не сумел поколотить немца, то тогда бы я к тебе прислушался... А сейчас он на коне, и правда у него, а не у тебя! Я тебе скажу больше: когда у Якова переломилось?.. Нет, нет, ты скажи: когда? Не можешь? Тогда я скажу: летом сорок второго! Да я так думаю, грешный человек, что не только у Якова!.. А почему?.. А потому, что и шуточек и прибауточек у нас много, а суровой дисциплины, суровой и точной, недостает, а без такой дисциплины мы немца не поколотим... Ты говоришь: прусская. Верно. Но у нее свои достоинства, у этой прусской. Точность и еще раз точность, а это как раз не самое сильное наше качество. Было бы это у нас, может, многие из тех, кто лежит сейчас в сырой земле, смотрели бы на солнце... Я полагаю, что Яков думал над этим больше нас с тобой и понимает в этом больше нас. Что же касается живого слова, то, наверное, это зависит еще от дара, он и прежде не ходил в краскобаях... А потом характер — из него не выпрыгнешь! У тебя один характер, у него другой...

— Ты хочешь сказать, что я краскобай?

— Я же этого не говорил, это сказал ты... А потому: я не думаю, что Яков оборвал все контакты с солда-

том... Просто он понял, что нужна бóльшая твердость, и, я так думаю, не только он... Знаешь, когда надо послать человека на смерть, нужна твердость...

— Ты думаешь, прежде не посылали людей на смерть?

— Нет, посылали. Война всегда была жестокой, но, прости меня, такой жестокой войны не было.. Я скажу тебе такое, с чем ты можешь и не согласиться, но я тебе все-таки скажу: прежних наших доблестей сегодня было бы недостаточно. Ты этого не понимаешь, а Яков понимает. Да это и естественно: он видел смерть, а ты ее не видел.

— Но ведь и ты видел ее не больше моего, отрок мой милый..

— Да, верно, но между нами все-таки есть разница: я понимаю Якова, а ты его не понимаешь.

— Все ясно, не ясно только одно: с чего ты сделался таким умным, ежели тебе отец толику ума своего не ссудил?..

— А дело не в уме.

— В чем же?

— В уважении к тому, что делает Яков. Прежде чем судить его, я, пожалуй, пять раз спрошу себя: да имею ли я на это право?

— Ты действительно не имеешь права, а я имею. Потому что отец Якова я, а не ты.

— Верно, но все дело, как бы это сказать тебе, в такте. Был бы я отцом Якова, я, пожалуй, подумал бы, где я ему судья, а где судья он мне.

— Все ясно: чтобы отец начисто лишил себя возможности разговаривать с вами, он должен сделать одного своего сына командармом, другого дипломатом, а третьего авиамоторным богом, так?..

— Нет, пусть они будут теми, кем они стали, но пусть и отец, как бы это сказать помягче, возьмет в толк: самый легкий путь утратить права отца — это злоупотребить этими правами...

Иоани встал, покряхтывая: видно, нога затекла. Он шел припадая на ногу, потом обернулся, упер в Тамбиева злые глаза:

— А ты чего молчишь? У Курска был ты, а не я! Ну, говори! На чьей стороне? Нет, без этого самого баланса... Вот так прямо: на чьей? Или ведомственная солидарность уста сковала?

Он шел на Тамбиева, окутанный пепельным дымом седин: седая голова, брови, борода — ни дать ни взять врубелевский «Пан».

— Наверно, суров Яков Бардин, да это добрая суровость, — сказал Тамбиев.

— Не ожидал я, что ты так легко склонишь голову перед силой! — взревел Иоанн. — Чему же тебя учили твои предки вольнолюбивые на вольном Кавказе?

— А это уже прием запрещенный! — вступился за Тамбиева Бардин — вступился яро: он понимал, что сейчас, когда Иоанну худо, ему надо нанести последний удар, иначе он оправится от шока и воспрянет.

— Это мой-то прием запрещенный? Два молодых мужика навалились на слабого старца и еще винят его в том, что он бьет не в скулу, а под дых!.. Вот оно, нынешнее рыцарство!

— Что у вас тут происходит — на платформе слышно! — вошла Иришка, лицо ее было печально-усталым, день был долгим и нелегким, но, увидев Тамбиева, она как-то по-особому, по-детски замотала головой так, что глаза округлились. — Давайте чай пить, давайте чай пить!..

Бардин смотрел на нее улыбаясь. Нет, не только Николай, но и Егор Иванович, который видел ее каждый день, замечал, как она повзрослела. В том, с какой небрежностью, чуть показной, она взмахнула своей сумочкой, как, не выпуская сумки из рук, охорошила кудряшки, как она сбросила с ног туфельки на высоких каблуках (да не Ксенины ли это туфли?) и пошлепала босая по комнате, при этом, к удивлению Николая, нисколько не став ростом меньше, Тамбиев почувствовал: она уже стоит на пороге взрослости, еще шаг, только шаг — и она переступит этот порог.

Они пили чай на веранде. Споры отшумели, и, казалось, страсти утикли. На темном поле неба верхушки сосен, что стояли в дальнем углу участка, были едва видны. Тамбиев смотрел на маковки сосен (были видны только маковки), и все казалось, что сосны стоят где-то далеко за бардинским двором. Очевидно, это был обман зрения: истинное расстояние было до ствола, а Тамбиев его измерял до видимой маковки. Хочешь не хочешь, а вспомнишь старого школьного учителя: вот оно, соотношение катета и гипотенузы!.. Разговор за столом ладился — мир в доме!

Иришка съела свой бутербродик с вареным мясом (много ли надо птичке-невеличке?), допила чай, пододвинула стул к отцу, приникла к толстому его плечу:

— Ах ты мой Топтыгин, хозяин русского бора, тебе бы все медок да медок... — Бардину было хорошо, он сладко щурился. Ладонь дочери забиралась в его густые лохмы, схватывала шею, терлась о щетину, ухитрялась даже проникнуть за воротник, но это не раздражало его. — Миша мой добрый...

Иоанн смеялся:

— Слыхали: Миша добрый?.. Попади ему в лапы, он твои косточки сахарные в муку обратит!..

— Не обрattu — я в самом деле добрый! — возроптав Бардин, а Ольга встала и молча вышла — в этом не было вызова, но и большой приязни тоже не было. — Ты куда, Оленька? — спросил Бардин, но она смолчала — в этом тоже не было большой приязни.

Только минуту спустя она вдруг подала голос из соседней комнаты:

— Я хочу хлебушка поджарить, сухарики — сухарики к чаю хорошо.

— А мы уже выпили чай, — нашлась Иришка — конечно, она могла бы смолчать и не обнаруживать неловкости, но для нее, видно, велик был соблазн выказать это на людях.

— А я все-таки поджарю, — в голосе Ольги вдруг прорвалась слабость, какой прежде не было — ее лишила сна эта минута.

Ольга вернулась со своими сухариками, и Бардин попросил второй стакан чаю. Тамбиев тоже попросил — надо было как-то победить эту неловкость...

К платформе Тамбиева провожала Иришка. Все происшедшее за столом нисколько не испортило ей настроения. Она болтала без умолку.

— Вы не поверите, я еще раз видела эту вашу барышню! — вдруг призналась она, когда они вышли за калитку; она была так искренна в своем отношении к тому, что могло связывать Тамбиева с Софьей, и хотела скрыть этот разговор ото всех других. — Нет, нет, это была она — я ее не спутаю ни с кем! У нее такой цвет лица... Но вот что: она была в военной форме... Теперь скажите: она?

— Она, — сказал Тамбиев.

— Ах, какая женщина, какая женщина! — вдруг воскликнула Иришка — не только слова были не ее, сам голос тоже сейчас был не ее — она сказала «женщина», хотя должна была сказать «девушка», — у нее был соблазн сказать именно «женщина». — Есть в ней какая-то тайна, не так ли?..

— Так, — засмеялся Тамбиев, в прошлый раз она тоже говорила о некоей тайне, и Николай не возразил. Вот она и решила, что проникла в суть. Однако где она видела Софу и когда? Неужто в тот день, в канун отъезда Софы?

— Как вы живете, Ирина? — спросил Тамбиев, ему хотелось сменить тему разговора.

— Я?.. Вы обо мне? — Ее это насторожило, она внутренне противилась тому, что разговор о Софе не нашел продолжения. — Вот одолею десятый и пойду учиться на Пирогова. У меня рука крепкая, думаю, удержу скальпель...

Она протянула Тамбиеву руку — он ее принял не без робости, рука была хрупкой, истинно сахарные косточки.

— Это кто же надоумил вас... резать? — спросил Николай.

— Сережка, конечно. «Ты слушай меня: я тут воробей стреляный. Во всей медицине есть одно дело настоящее: нож... Все остальное — мур! Ежели бы меня лечили терапевты, было бы так, как с нашей мамой...»

— У него же осколок был бог знает где! — возразил Тамбиев. — Терапевта ли это дело?..

— Все понятно, но правда в его словах, не в наших.

— Наверное, так надо уметь: черное назвать белым и оказаться правым...

— А у него есть эта истовость, Иоаннова, — сказала она и засмеялась.

— Истовость? Это что же?..

— Свое мнение!.. Разве это плохо?

— Хорошо, когда оно верное...

— Было бы только верное, скучно стало бы жить на земле!

— Вы меня простите, но это не ваши слова, Ирина!..

— Вот это называется консерватизмом мышления! Вы видите, что перед вами взрослый человек.. Глаза видят, а ум отказывается признать. Надо верить тому, что видят глаза...

Тамбиев смотрел на нее не без страха: может, и те слова, о женщине, тоже ее? У нее была потребность сказать: «Какая женщина!» Могла сказать «девушка»; а сказала «женщина». Мера ее взрослости определялась и этим.

...Глаголев выступил перед корреспондентами. Это было слово военного ученого, краткое и емкое. Те сорок минут, в которые он вместил сообщение, были точно сверены с серебряными карманными часами с крышечкой, которые он положил перед собой. Корреспондентам выступление Глаголева было тем более важно, что, как сообщила сводка, на Курской дуге дело не остановилось — наступление продолжалось, и поездка в Орел стояла на очереди.

Грошев был горд, что ему удалось заполучить Глаголева, и его слову предпослал свое, воздав должное всему, что сделал военный писатель прежде и теперь, в пору войны. И не только Грошев, весь отдел печати был на встрече Глаголева с корреспондентами — идея Грошева привлечь Глаголева к разговору с корреспондентами пришлась всем по душе.

Кожавин и Тамбиев не отходили от Глаголева до той самой минуты, когда наркоминдельская машина увезла его домой. Непросто было победить волнение, которое поселилось в них: Курская баталия давала основания для раздумий значительных, и Глаголев воспользовался этим, казалось бы, в полной мере: его анализу Курской битвы была свойственна и сила обобщения, и то изящество стиля, без которого, наверное, нет науки.

— Он спрашивал вас о Ленинграде? — произнес Тамбиев, когда автомобиль с Глаголевым отошел.

— Да, разумеется, — заметил Кожавин печально; с тех пор как Игорь Владимирович вернулся из Ленинграда, он был как-то особенно печален. — Все старался установить, как вели себя солдаты, у которых семьи были в Ленинграде... — Он помолчал, взглянул на небо, мгластое, в многоярусной гряде аэростатов. — Мне нравится, что в его рассуждениях о происходящем военные проблемы неотделимы от человеческих... Кстати о Ленинграде: сегодня я был свидетелем одного разговора...

— Да...

— Галуа будет разрешено посетить Ленинград. Военные дали согласие: дневной полет до Хвойной, потом ночью над Ладожским озером до аэродрома, который где-то в черте города...

Тамбиев затих: «Значит, Галуа. А кто с ним из наркоминдельцев?»

— Вы хотите спросить, Николай Маркович: «Кто будет с Галуа?» Грошев назвал ваше имя.

Тамбиев почувствовал, как его сердца коснулся ветер, какой-то радостно-тревожный. Сколько лет жила в нем мечта о Ленинграде. Она, эта мечта, была как встреча с человеком, которого знаешь и считаешь близким, но никогда не видел. Представлялись милые и добрые приметы, по которым Ленинград узнавался издали: и решетка Летнего сада, и мономахова шапка Исаакья, и, разумеется, радуга, что преломилась в петергофских струях... А будет все суровее и будничнее: Ленинград в блокаде... Значит, дневной полет до Хвойной и ночной над Ладожским?

— Я приготовил для вас адрес нашей ленинградской хаты.— Кожавин достал картонный квадратик с адресом.— Там должны быть соседи, но я их не застал, хотя был дважды. Обещайте зайти...

— Обещаю, конечно... Галуа знает о поездке?

— Не думаю, но догадываться может, вчера он опять беседовал с Грошевым.

Кожавин ушел. Как ни темен был вечер, еще долго был виден форменный костюм Игоря Владимировича — он любил новую форму и умел ее носить.

Галуа позвонил Тамбиеву.

— Николай Маркович? Некто Галуа хотел бы обременить вас своим визитом. Смею надеяться?

Они условились встретиться на другой день поутру.

Ну, разумеется, Галуа может явиться в отдел без того, чтобы цель была определена. Свободный разговор, даже в какой-то мере разговор отвлеченный, необходим корреспонденту. Именно в ходе такого разговора и определяется способность корреспондента понимать, на каком он свете. Но в данном случае у Галуа может быть и определенная цель: Ленинград. Наверно, он не знает о Ленинграде, даже наверняка не

знает, но способен догадаться; такая поездка для него возможна, важная поездка... Тамбиев допускает, что Галуа и не заговорит о Ленинграде, но силу предстоящей беседе даст именно Ленинград. А коли есть такой стимул, может быть, интересно послушать Галуа — у него нюх на политическую погоду редкий. То, что скажет он о делах насущных, никто иной из корреспондентов не скажет. Кстати, эти его монологи о делах обладают преимуществом несомненным: в них есть и осведомленность, и острота анализа, и способность видеть такие грани проблемы, к каким обычно те же корреспонденты не обращаются. Конечно, никто тебя не неволит принимать сказанное им на веру... Больше того, нужно две и три воды, чтобы промыть песок и добыть нечто такое, что потом ляжет на ладонь. Но, наверно, есть смысл менять воды, если на ладонь может лечь доброе...

Галуа вошел, как обычно, чуть-чуть приплясывая.

— Представляете, сейчас встретил этого... турка Фикрета, ну, пресс-атташе посольства... Говорит, что немцы по своей воле оставляют Орел!.. Я ему и говорю: «Господин Фикрет, если вас послать через эту лужу пинком в зад, то вы ее перескочите по своей воле?» Он, конечно, страшно обиделся, да и я пожалел, что сказал... Не надо было, не надо! А с другой стороны, скажите на милость: не олух ли царя небесного? Все-му миру известно, что происходит сегодня под Орлом, а он бегаёт по Москве и говорит бог знает что!..

Он стоял сейчас перед Тамбиевым на одной ноге, согнув правую руку в локте, и махал кистью руки, как крылом, — ни дать ни взять длинноногая болотная птица.

Ему трудно было переключиться с рассказа об «олухе царя небесного» на что-то более серьезное — ну, разумеется, рассказ о турке им был отрететирован заранее, а вот переход не был предусмотрен — ему всегда плохо давались эти «стыки».

— Да в Фикрете ли дело? — произнес он, усаживаясь в кресло и вытягивая длинные ноги. — Остальные не лучше, Николай Маркович!

Ну, разумеется, он был почти уверен, что Тамбиев спросит: «Кто остальные?» Но Тамбиев молчал. В конце концов, то, что хотел сказать Галуа, он скажет.

— Вот она, русская натура!.. Когда ваши были в

прошлом году в Вашингтоне, президент спросил их, кого они хотят видеть из американцев? Знаете, что они ответили? Адмирала Стэндли! Пусть мне будет позволено предположить, что назначение Стэндли на пост посла в Москве последовало не без учета этой фразы... Теперь вы меня поняли, Николай Маркович?..

Не надо было быть слишком осведомленным, чтобы понять Галуа. Интервью, которое дал Стэндли корреспондентам, аккредитованным в Москве, произвело немалую сенсацию. Смысл интервью можно было понять так: Америка оказывает русским столь значительную помощь, что эта помощь равносильна участию американской армии на театре войны. Чтобы иметь возможность требовать открытия второго фронта, русские стремятся приуменьшить размеры и значение американской помощи. Но все это было новостью отнюдь не свежей. Очевидно, Галуа хотел сообщить Тамбиеву такое, что могло быть ему и не известно.

— Но вот что любопытно: произошло нечто парадоксальное, да, один из парадоксов, в высшей степени характерных! — почти обрадовался Галуа, он мало-помалу подвигал разговор к своеобразной линии огня:— Рузвельт, как говорят, был огорчен интервью Стэндли, а Черчилль пришел в восторг!.. Да, президент, направивший Стэндли в Москву, осуждает посла, а британский премьер, для которого Стэндли лицо постороннее, выражает одобрение... Можете проверить меня: дни Стэндли в Москве сочтены, но не в этом дело... О чем говорит этот случай? Черчилль ищет себе союзников в Америке, даже апеллируя к ним через голову президента! Если хотите, здесь собака и зарыта!

— А что такое собака? — спросил Тамбиев, он считал, что все сказанное Галуа было лишь вступлением.

— В самой природе войны есть кризис сражения, как, впрочем, есть кризис доверия...— Он напряг круглые глаза и, отыскав на столе календарь, взглянул на него: 12 июля 1943 года. Календарь его устроил.— У этого кризиса доверия есть своя дата. Ну, я не открою большого секрета, если скажу: те, кто приехал из Лондона, говорят, что парламентариям стало известно некое письмо Сталина от двадцать четвертого июня... Русским, разумеется, известно это письмо? То, что говорят об этом письме, действительно похоже на истину... Посудите сами, письмо воспроизводит все письменные —

я обращаю Ваше внимание: письменные! — обязательства Черчилля, касающиеся второго фронта, в частности знаменитый меморандум, который он вручил прошлым летом Молотову в Лондоне! Ведь там черным по белому написано о высадке миллионной армии в сорок третьем году!.. Уже нынче это было не опровергнуто, а подтверждено, при этом дважды — в январе и феврале... В первом случае речь шла о начале операций в первые девять месяцев сорок третьего, а следовательно, крайний срок сентябрь, во втором случае время точно отнесено на август и только в случае непогоды — на сентябрь... Пришло время держать ответ! — Галуа покраснел — казалось, его гнев был искренним. — Вы помните, как в семнадцатом солдаты, стоящие на часах у Смольного и Таврического, называли пропуски на штыки своих винтовок?.. Нет, вы не помните, вы — молодой! Так Сталин нанизал все эти черчиллевские памятные записки да послания и едва ли не поднес ему к носу. В конце этого послания есть фразочка — я вам скажу!.. Он там ему врубил — поперхнешься! «Нет, не о разочаровании речь, а о доверии к союзникам» — вот смысл этого заключения! И еще речь о том, чтобы миллионы людей в Европе и России не погибли!.. Вот такое послание он ему направил двадцать четвертого... Нет причин думать, что такого письма не было, не правда ли?

— Если его и не было, то, мне кажется, все эти доводы могли существовать вполне, — сказал Тамбиев.

— Но тут есть один вопрос, — произнес Галуа, помедлив; красные пятна на его лице поугасли, а вместе с ними, казалось, пошел на ущерб и его гнев. — Один вопрос...

— Какой?

— Такое письмо не может быть только письмом — за ним должно последовать действие...

— Вы сказали: действие?..

— Да, так кажется мне... Сталин не из тех, кто так просто бросил бы эту фразу о доверии!..

— Погодите, но что вы имеете в виду, когда говорите о действии?

Галуа поднялся и принял свою любимую «птичью» позу — стоял на одной ноге и махал «крылом». У него была необходимость помахать руками, чтобы размять затекшие члены, разогнать кровь.

— Нет, сепаратный мир исключен, разумеется, хотя есть еще такие идиоты, которые полагают: чем черт не шутит! — Он засмеялся с новой силой, при этом его тело продолжало вздрагивать и после того, как он по-утих. — Серьезно, только круглые идиоты могут так думать... Но есть иные меры протеста... Ну, предположим, декларация Верховного Совета или мера дипломатическая... Вы хотите спросить, какая именно мера дипломатическая? Извольте! Есть мнение, что нынешние русские послы в Вашингтоне и Лондоне, которые, как мне кажется, сейчас в Москве, уже не вернутся по месту, так сказать, своей прежней работы и будут заменены дипломатами молодыми... Вы полагаете, что это тоже... проблема Стэндли?

Теперь он уже махал двумя крыльшками, больше того, хлопал одним крылом о другое, издавая тот самый звук, какой издает водяная птица, взлетая, — не высушишь крыльев, не полетишь.

— Предположим, вы правы: Стэндли!.. — произнес он — ему нужно было сейчас обращение к Стэндли — можно было подумать, что он обратился к этому имени в начале беседы, чтобы опереться на него сейчас. — В самом деле, те, кто хочет как-то понять этот факт, пытаются объяснить его таким образом: ну, знаете, эта самая точка зрения на Литвинова, она много раз высказывалась: мол, есть две категории русских дипломатов, нет, не только старорежимных, так сказать, но и нынешних, советских: одни полагают, что России надо искать взаимопонимания с Востоком, другие — с Западом... Если хотите знать мое мнение, то я считаю, что эта теория, может быть, была и верна, когда речь шла о старой русской дипломатии, — только сейчас Галуа вдруг вспомнил, что у него есть рука — она простерлась к окну, вдруг увеличившись даже в размерах. — Да, именно те...

— По-моему, вы не сказали главного, — заметил Тамбиев.

— Да, действительно, не сказал, — покорно согласился он. — Но оно ведь, это главное, и так ясно: отозвав Литвинова, Советское правительство будто заявило: вы не держите слова, вам нельзя верить, и в наших отношениях должен наступить иной этап, а поэтому и кадры должны быть иными. Следовательно, отзыв Максима Максимовича в какой-то мере — протест.

Так считают те, вы поняли меня, те... — он ткнул рукой в направлении окна.

— И выводы «тех» этим исчерпываются? — поинтересовался Тамбиев — ему казалось, что Галуа не использовал всех своих заготовок.

— Нет, конечно, — так же покорно согласился гость. — Они полагают, что все сказанное является своеобразным ударом большого колокола. Он, этот удар колокола, как бы возвещает русское наступление, самое большое с начала войны, при этом, надо подгадать, не только военное...

— Дипломатическое?

— Да.

— И цель его?..

— Занять, так сказать, предмостное укрепление.

— Предмостное?

— Я имею в виду встречу трех — без нее не обойтись.

— Но ведь она... может оказаться и не столь близкой, господин Галуа? — спросил Тамбиев.

— Не столь близкой? — Галуа будто и не заметил нарочитости в вопросе Тамбиева — ему важно было сказать то, что он хотел, остальное неважно. — События торопят, поэтому все совершится скоро.

Уже покинув кабинет Тамбиева, Галуа вернулся.

— Я должен вылететь в Лондон, там в эти дни выходит моя книга. — Он встал в дверях, опершись для устойчивости о косяк. — Вы ничего не хотите мне сказать по этому поводу?

— Я поздравляю вас с выходом книги, Алексей Алексеевич, — произнес Тамбиев, но, разумеется, Галуа ждал от него не этого, хотя если что-то проистекало из того, что только что сказал Галуа, то вот это поздравление.

— Благодарю вас, но я бы предпочитал услышать от вас иное, не это... — произнес он, все еще опершись о косяк с силой — казалось, отнимет руку, и дверь завалится. — Вернее, не только это, — уточнил Галуа; ну конечно, он думал о Ленинграде, желая спросить; в эти три недели поездка состоится?

— Если будет необходимость вас разыскать, думаю, что мы вас найдем и в Лондоне, — заметил Тамбиев.

— Благодарю, Николай Маркович... Но я все-таки оставляю свои координаты в секретариате.

— Пожалуйста.

Галуа ушел. Для Тамбиева наступила минута тишины, та самая минута, когда все только что прошедшее готово вновь воссоздаться в тебе и ты его как бы переживаешь заново. Галуа... Как все-таки остро у него политическое зрение... Кстати, и в его работах. Они одеты в бедные одежды. Их образная система нехитра, а язык более чем примитивен. А потом это разностилье, когда воспоминания перебиваются многоступенчатыми колонками цифр, а потом пространными цитатами — читателю привередливому достаточно, чтобы книгу закрыть на десятой странице, но читатель книгу не закроет, даже привередливый. Велико в книге обаяние мысли, да, мысли и, пожалуй, наблюдательности. Небогат стилист, а как наблюдателен!.. Такое впечатление, что под этим пиджаком лилово-мышинного цвета упряталось по крайней мере трое, при этом способностей недоужинных. Чтобы представить, каковы́ они, эти способности, надо сделать так, чтобы трое разминулись. Да, ценно и единое ядро, но каждое из ядрышек многократно ценнее. Расщепи характер, и открытия, которые ты сделаешь, тебя заворожат. Вдруг явится художник — со своими картинами природы и портретами русских людей, публицист, исследующий событие, ученый, сопрягший его с Историей. Но вещество, из которого создан человек, столь монолитно, а время, которое его творит, действует так могуче, что расщепить характер, наверно, нелегко, да может быть, в этой нерасторжимости есть свои достоинства — в конце концов, человек интересен в той мере, в какой он является слепком природы, а значительнее этого ничего нет. Итак, обаяние мысли... даже подчас тенденциозной, как у Галуа? Да, подчас и тенденциозной — пусть противостоит этой тенденции твой ум и твоя зрелость. Сумеешь преодолеть, обретешь нечто ценное, что обогатит тебя и будет твоему делу полезно.

В первом из больших холлов Вестминстера Бекетов встретил Черчилля.

В парламенте происходили дебаты — обсуждался бюджет, вернее, его статья о социальном страховании.

в военное время. Лейбористы требовали дополнительных средств на улучшение безопасности в шахтах, консерваторы полагали, что надо подождать окончания войны. Черчилль дремал, завалившись в кресле, недремлющим оставался только его левый глаз. Он, этот глаз, то смежался, медленно и дремотно, то вдруг распахивался, оставаясь некоторое время тревожно открытым. Наверно, так было бы бесконечно, если бы на трибуну не поднялся лейбористский лидер. Ну, он был не ахти каким оратором, и в открытом бою Черчилль смял бы его играючи, но проблема, которая сейчас обсуждалась парламентом, давала лейбористу такие козыри, какие он имел не всегда. В перспективе парламентских выборов сорок пятого года это могло многое значить. Победа в войне, как понимает Черчилль, в какой-то мере работает и на победу в выборах, но все это сложно и не следует переоценивать: на родине Черчилля всякое бывало... Так или иначе, а появление лидера лейбористов на трибуне вынудило Черчилля открыть и второй глаз, не без труда, но открыть. За этим пробуждением старого Уинни с увлечением наблюдали со своих скамей и парламентарии, и пресса, и публика, строя предположение — откроется второй глаз или бесславно погибнет в неодолимой дреме. Когда же второй глаз наконец распахнулся, зал чуть не разразился аплодисментами. Но лидер консерваторов разверз свои вежды не шутки ради. Пробудившись ото сна, он мигом сообразил, как ему надлежит действовать. Разумеется, он должен был дать бой лейбористам, но так, чтобы не противопоставить себе горняков. Нет, с горняками надо было обойтись в высшей степени осторожно. Ну, предположим... нужно изобразить этаким крендель, который можно было бы пронести у самого носа лейбористов, посулить горнякам и, разумеется, не дать ни одним, ни другим.

Он дождался, пока лейборист сойдет с трибуны, взглянул на председателя, будто прося у него совета, улыбнулся, пожал плечами, встал, с нарочитой торжественностью застегнул пуговицу на пиджаке, хотя мог этого не делать сегодня, как не делал в подобных обстоятельствах многократно прежде, медленно направился к трибуне. Он понимал, что не имеет права на длинную речь и, как ни глубока яма, которую ему в очередной раз вырыли его старые парламентские не-

Други, перекрыв дрекольем и присыпав дреколью хвостом, он должен не обнаружить ее, эту яму, на глазах почтенного собрания, но сделать так, чтобы его ненавистники оказались в ней.

Он поднялся на трибуну и, не ссылаясь на почтенного оппонента и даже не упомянув его имени, сказал, как он ценит труд горняков и как он много сделал для горняков, будучи министром торговли, морским министром, внутренних дел, военного снабжения, военным министром и министром авиации, колоний, финансов и прочая, и прочая, как он пытался сотрудничать с горняками, и принялся перечислять тех парламентариев, которые исторически представляли шахтерские районы страны, явив завидную память и при этом перечислив не только живых депутатов, но и покойных, даже больше покойных, чем живых... Он готов и теперь сделать все возможное и предложить правительству решить эту проблему, обратившись за советом к самим горнякам и испросив их мнение... Одним словом, если тут и есть проблема, то она касается правительства и горняков, они ее и решат. Что же касается лейбористов, то он, право, не знает, какое отношение к существу дела имеют они... Он сошел с трибуны, сопровождаемый аплодисментами. Местонахождение ямы было установлено точно, при этом не без усилий старого Уинни в нее завалились те, кто ее рыл...

У Черчилля были основания для хорошего настроения. Эпизод, в сущности пустячный, скрасил ему превратности политической погоды в этот день трудного лета сорок третьего года. Больше того, он создал впечатление, что все остальное, большое и многотрудное, решается под знаком этого эпизода. Черчилль, конечно, понимал, что думать так — значит сознательно себя обманывать, но не боялся себя обманывать, если это улучшало его самочувствие.

Бекетов встретил английского премьера через полчаса после выступления. Сергей Петрович не был в зале, хотя о речи премьера уже знал, — в унылом житье-бытье английского парламента, большая часть заседаний которого происходила в полупустом зале, это было событием. Пожалуй, инициатива в разговоре не могла принадлежать Бекетову, — оказавшись неподалеку от премьера, Сергей Петрович мог решиться разве

только приветствовать почтенного тори. Но все произошло иначе: британский премьер издали увидел Бекетова, узнал его (он считал себя физиономистом и полагал, что это его качество основывается на хорошей памяти) и со свойственной англичанину грубоватой непреклонностью пошел навстречу, при этом в самом шаге, больше обычного устремленном, сказалось решительно все: Бекетов был ему нужен.

— Я намерен перекусить и хочу вас взять с собой, — произнес он и ткнул перстом себе под ноги, парламентский ресторан находился в подвале Вестминстера. Даже не столько ресторан, сколько этакая таверна, где обитают дельцы от политики. Вестминстер и таверна? Да так ли это? Как ни необычно это сочетание, но это именно так. — Я хочу, чтобы вы испробовали блюдо, рецептом которого поделился со мной президент.

Когда речь идет об информации, для него действительно нет разницы между премьером и советником, вспомнил Бекетов разговор с Михайловым. Черчилль может пойти на такую встречу и в Вестминстере. Даже готов сделать это чуть-чуть демонстративно. Они пересекали зал по диагонали, и несколько пар внимательных, если не сказать любопытных, глаз сопровождали их. Был бы Сергей Петрович больше известен в Лондоне, можно было бы сказать: подлинно демонстрация. Мол, слухи о размолвке с русскими ложны, на самом деле отношения с Россией вступили в свою золотую пору.

Они достигли лестницы и, держась за перила, стали спускаться. Здесь царствовала мгла, едва подкрашенная неярким электричеством. Маленькие комнаты могли быть приняты за каюты-исповедальни. Преисподняя английской политики, ее сумрачные кулисы. Если в политических делах существовало искусство инспирации, направляющее, корректирующее, точно нацеливающее удар, то оно возникало здесь. Все, что можно назвать кулисами власти, начиналось здесь, как и здесь, наверно, заканчивалось... Здесь, омытый теплой кровью парламентских баталий, появлялся на свет новый премьер, здесь ему резали пуповину, здесь он впервые кричал благим матом, пробуя голос, здесь его со временем обрядят в шелково-дубовый саван, чтобы отправить в мир иной... Но, как ни радостно или, наоборот,

печально событие, оно не должно нарушать здесь ритма жизни. Жизнь продолжается, и колеса должны крутиться, как должно клокотать масло в больших котлах парламентской корчмы, шипеть и исходить запахами и парами говядина, возвращенная на мягких лугах Британских островов, густеть, набирая силы, холодное вино... Жизнь продолжается, и комнаты-исповедальни наполнены винными парами и шепотом, страстным шепотом. Да, такое впечатление, что сюда собрались со всей британской земли заговорщики, которые завтра на рассвете поднимут на воздух громоздкое здание империи. Никому невдомек, что речь идет как раз об обратном...

Как ни сумрачно было в коридоре, Черчилль набрел на свой шесток безошибочно. Явился человек в белой куртке, заученно одарил Черчилля дежурной улыбкой, поклонился Бекетову, присел на ногах-пружинках, отпирая дверь (человек был высок), ввел гостей в комнату, дождался, пока они отыщут в полумгле свои кресла и опустятся в них, извлек блокнот в темной коже и карандашик-спичечку, который держал, ущипнув. Бекетов приготовился услышать некий перечень, который потребует слов вполне земных: баклажан, баранье ребрышко, картофель, малосольные огурцы, лук... а послышалось невразумительное, состоящее из сплошных междометий: «Э-э-э-э!», «Н-э-э-у», «И-и-и-у!» Бекетов готов был спорить, что даже в «Большом Оксфордском словаре» не было этих слов, но самое удивительное, что человек в белой куртке все понял. Больше того, из этого хаоса звуков, из этой протоплазмы мычания, свистания, даже мяуканья, он сумел выловить какие-то слова, если обратился к своей спичечке и что-то нацарапал. И было уже совсем похоже на диво, когда стали появляться блюда вполне съедобные, даже изысканные. Значит, этот ресторанный язык, вызванный к жизни полувековым общением старого тори и его вестминстерского сверстника в белой куртке, накопил какой-то опыт; если, пользуясь одними междометиями, можно накормить гостя и самому как-то поесть.

Итак, стол был накрыт, хотя подвальная полутьма теперь скрывала не только лица собеседников, но и в какой-то мере лакомства, которые предстояло отве-
дать.

— Не скрою, я рад встрече с вами,— произнес старый Уинни, вооружившись вилкой и ножом и приглашая гостя сделать то же.— Ну, разумеется, чтобы внушить партнеру твои мысли, можно обратиться и к посланию, и к меморандуму, и просто к личному письму — жанр, к сожалению, преданный забвению,— но я предпочитаю всему этому беседу... Да, да, вот такую, как сейчас: когда пылает камелек и свет его отражается в глазах собеседника, а на столе шипит жаркое и пенится вино, хотя мне нравится то, что не пенится...— он засмеялся, смех был чуть-чуть гастрономически утробным — ну, разумеется, ему была приятна и предстоящая беседа, но только после того, как он грубо совладеет с голодом, именно грубо совладеет — что там можно сунуть этому жадноустому идолу, что бунтует в тебе: кусок бараньей отбивной да ложку риса, сдобренного красным соусом? — Ну конечно, эти древние египтяне, изобретшие бумагу, сотворили чудо,— продолжал Черчилль,— но, вызвав к жизни свои папирусы, они похоронили нечто более удивительное: живое слово. Я скажу вам сейчас что-то такое, что вызовет у вас желание возразить мне: бумага искажает мысль. Она отдает всю власть словам, а это больше, чем им дано природой. Что есть в своей первосути слово человеческое? Это прежде всего живое слово! А это значит и многое из того, что ему сопутствует, его сопровождает, может, даже ему аккомпанирует. Так вот, я за то, чтобы обращаться к бумаге, когда нет возможности говорить с человеком. Как вы полагаете?

— Я не такой ненавистник бумаги, как вы, но готов признать: в живом общении есть свои преимущества,— сказал Бекетов — он пытался пригасить полемику о бумаге и живом слове, перейдя к сути того, что хотел сказать Черчилль.

— Преимущества бесспорные! — Черчилль воодушевленно выхватил тот кусок бекетовской реплики, который наиболее его устраивал.— А коли так, вот суть того, что я хотел бы сказать... — он задумался, пришла в действие его способность заключить мысль в два-три слова.— Мы на пути к победе! — Он смотрел на Бекетова, пытаясь определить, все ли он вложил в короткую эту фразу и понимает ли его Бекетов.— Нам надо видеть преимущества нашего положения и не осложнять взаимными подозрениями...— пояснил он.

— А разве имеют место подозрения? — спросил Бекетов — он хотел вернуть Черчилля к исходным позициям: пусть начинает от печки, так его легче будет понять.

— Подозрения? — он засмеялся, долил вина Бекетову, налил себе — еще по прошлому разу он знал, что Бекетову за ним не угнаться. Поэтому с молчаливого согласия Сергея Петровича пропорции были установлены так: пока Бекетов единоборствует с одним бокалом, его хозяин побеждает три. В конце концов, ежели гость не может здесь дотянуться до хозяина, надо ли хозяину опускаться до уровня гостя? Так или иначе, а ритм был установлен, ритм, устраивающий хозяина, — для успеха беседы ритм был необходим. — Когда я говорю о преимуществах нашего положения, поверьте мне, я отнюдь не голословен...

Он взглянул на дверь, точно хотел убедиться в том, что она закрыта надежно, отодвинул оконную штору и взял с подоконника коробку размером с книгу среднего формата — жест был заученным, — видно, к коробке, оклеенной темным дерматином, он обращался не впервые.

— Поверьте, то, что я вам сейчас покажу, и для вас явится откровением, я так думаю, ответит на некоторые ваши сомнения...

Он открыл коробку и извлек аппарат с выпуклой линзой, не преминув взглянуть на Бекетова, точно спрашивая его: «Ожидали вы увидеть нечто подобное? Каково, а?» Потом задержал руку над коробкой и рассыпал по столу несколько блестящих цилиндриков туго скрученной пленки и вновь посмотрел на Бекетова: «И это для вас не внове?» Его толстые руки обрели подвижность и сноровку, какая в них не подозревалась, — нет, Бекетов определенно был не первым, кому в полутьме Вестминстера Черчилль демонстрировал свое диво. Пленка скрипнула и послушно вошла в паз, за выпуклым стеклом вспыхнул поток света и растекся по линзе.

— Прошу вас — по-моему, это Гамбург...

В сырую мглу вестминстерского подземелья будто вторгся треск огня: горящий город, горящий от горизонта до горизонта... Клубы дыма, точно из кратера, неожиданно разверзшегося посреди города. Дома с об-

валившейся кровлей, черные стволы труб на оранжевом поле огня, поток искр над водой.

— Не правда ли, убедительно? — Он наклонился, точно хотел отсоединить часть линзы для своего прищуренного ока. — Нет, вы окиньте взглядом панораму города и подсчитайте, сколько домов разрушено!.. Треть? Больше! Половина? Больше! Две трети? Больше! Четыре пятых? Пожалуй! Да, четыре пятых Гамбурга лежит в руинах!.. — Он вдруг рассмеялся — возможно, он хорошо знал эту фотографию и помнил детали. — В левом углу, в левом!.. Бомба утонула в нефтесклад у самого моря... Фейерверк искр!.. Не хочу злорадствовать, но искры над водой — картина почти карнавальная!.. — произнес он, и, как показалось Бекетову, поспешил скрыть улыбку — он еще не решил, как себя вести с русским: дать волю своему восхищению или сдержать его. — Это им за Лондон, Коventри и... за Смоленск с Минском! — вдруг засмеялся Черчилль — он нашел подходящее определение. — Да, за Смоленск с Минском! Я всегда говорил: наше возмездие будет суровым!.. — Он стеснялся своего смеха, пока не вспомнил про Смоленск с Минском — русские города точно окрылили его — вряд ли он произносил их названия прежде, да и теперь он не вспомнил бы их, если бы не Бекетов. — Я хочу послать вот это чудо премьеру Сталину... Это, пожалуй, убедительней всех моих посланий ему. Пусть видит, как мы помогаем нашим русским союзникам... Это, разумеется, не второй фронт, но, согласитесь, в этом сказывается наша мощь, и она значительна?..

— Значительна, — согласился Бекетов, не выказав энтузиазма.

— Вот так, удар за ударом, мы обратим их города в лепешку... — произнес он, заметно игнорируя ответ Бекетова.

— Города... в лепешку? — спросил Сергей Петрович. — Да есть ли в этом необходимость?..

Он молчал, даже дыхание затаил.

— Простите, я вас не понимаю, — произнес англичанин, смутившись. — Вы полагаете: в Германии старики и дети, а армия на фронте, так?

— Если бить по заводам, значит, бить по армии, — произнес Бекетов, пораздумав. — А если бить просто по городам, удар ли это по армии?..

— Бомбовые удары не заменят второго фронта? — спросил Черчилль — он знал: нет силы, которая могла бы свернуть с пути целеустремленных русских, он хотел бы сказать — прямолинейных русских.

— Нет, не только не заменят и заменить не могут... — был ответ Бекетова. — Эти бомбардировки могут создать впечатление, что русские ничего не хотят более. На самом деле не так. Вы это знаете: не так.

— Да, я знаю, — согласился Черчилль и взглянул на стол.

Бекетов уже успел отодвинуть аппарат. В разных концах стола, как-то вразброс, лежали цилиндрики пленки.

— Но я все-таки пошлю это премьеру Сталину... — произнес англичанин, укладывая аппарат в коробку. — Полчаса, которые он затратит на просмотр этих снимков, окупятся с лихвой.

Черчилль убрал коробку на подоконник, убрал не без поспешности, оглянул стол.

— Все остыло, все безнадежно остыло! — произнес он — казалось, слова обрели больший смысл, чем того хотел он. — Не ясно ли, что в этом году мы должны встретиться? — Потянулся к бокалу, воодушевленно его наполнил, будто совершая некое таинство, таинство, в котором участвует только он, осушил. — Похоже на парадокс: события пододвинули нас вплотную к этой встрече, а мы к ней не готовы, человечески не готовы... — уточнил он.

— А это, наверно, важно... подготовиться человечески? — спросил Бекетов — Сергей Петрович хотел услышать это от Черчилля.

— Иначе за стол не сядешь, — заметил англичанин. — Не сядешь, — подтвердил он.

— У этой встречи есть предпосылка, естественная... — сказал Сергей Петрович — то, что он хотел произнести сейчас, возникало постепенно, весь разговор шел к этому. — Что значит «подготовиться человечески»? Сдержат слово?.. Сдержат до конца, а следовательно, ответить делом... Дело, и ничем иным... — против воли он обратил взгляд к подоконнику, где стояла коробка в темном дермати́не.

...Когда Бекетов покинул Вестминстер, на улице был уже вечер, ранний. Запыхал к реке. Видно, прошел дождь — земля стала влажной, да и воздух был больше

обычного свежим — холодная влага унесла хлопья гари, дышалось легко... Встреча в вестминстерском подвале не шла из головы. Ну, разумеется, Черчилль не отступился и не отступится от правила, которое он установил для себя в начале русской кампании: он откроет второй фронт, когда это будет ему выгодно, ни на день раньше или позже. Он и сегодня полагает, что время еще не наступило. Но сейчас такое решение многосложно: оно несет ему отнюдь не только выгоды. Оно было бы верным, это решение, если бы русская армия обескровила не только немцев, но и себя. Однако действительность говорит об ином: немцы обескровлены, что же касается русских, то они, вопреки своим жертвам и потерям, обрели силу, какой у них не было. В этих условиях надо ли откладывать открытие второго фронта?.. Американцы, полагающие, что второй фронт должен быть открыт, возможно, прозорливее... Ну, разумеется, можно невиданно нарастить бомбовые удары, но у русских эти удары по немецким городам не вызывают энтузиазма. Русские полагают, что сегодня в этом все меньше смысла... Лучший для Черчилля вариант: вступление на континент не должно отозваться эвакуацией немецких сил из России. Следовательно, десант, но не через канал. Где?.. Скандинавия?.. Марсель?.. Греческие Балканы?.. Италия?.. Да, удар по Сицилии, потом десант на Апеннины... Это не второй фронт, как понимают его русские, но нечто похожее на второй фронт. По крайней мере, это дает возможность Черчиллю сесть за стол переговоров со Сталиным и отвести обвинения русских в вероломстве... Так думает Черчилль. Так он мог бы думать — его расчеты лежат где-то здесь.

Грабин привел к Бекетову Галуа.

— Слышал о вас много доброго, но не имел, так сказать, чести,— произнес Галуа, и едва заметный румянец волнения выступил у него на щеках.— Все порывался с вами познакомиться, но как-то не удавалось... — Он оглянулся на Грабина, точно призывая его подтвердить, но, сообразив, что Аристарх Николаевич тут ему не помощник, с еще большим воодушевлением устремился к Бекетову.— Правда, однажды был такой

шанс... Ну, зимой в британском посольстве на Софийской, но я, признаться, не решился, хотя у нас там мог быть и добрый посредник, который, как мне кажется, не отказался бы...

— Бардин? — спросил Сергей Петрович.

— Ну конечно же Бардин, Егор Иванович, — подтвердил Галуа. — Ах, какой необыкновенной водкой угощал меня Егор Иванович в этой своей... подмосковной усадьбе в Ясенках!

— В Ясенках! — уточнил Бекетов — память подвела Галуа, но расчет с поездкой на бардинскую дачу был верен, — она, эта поездка, должна была показать осторожному Бекетову, что у Бардина с Галуа знакомство отнюдь не шапочное.

— Да, да, в Ясенках!.. — подхватил Галуа воодушевленно. — Пили водку и закусывали луком, прямо с грядки. — Он засмеялся, и с новой силой запылало его лицо. — Нет, что ни говорите, а Лондон — дыра! Порядочному россиянину и водки выпить негде, так ведь? — обратился он круглые глаза на Грабина. — Или есть где, Аристарх Николаевич?.. Покажем Сергею Петровичу наш «малинник», а?

Грабин протянул к Галуа руку, прищелкнул пальцами, точно желая его остановить:

— Э-э-э, Алексей Алексеевич, хоть бы не выдавали меня!

— Поедемте, Сергей Петрович, не пожалее! — Галуа перевел взгляд на Бекетова. — Значит, придорожный ресторан? Ну, умеете же вы, советские, находить красивые слова! Значит, придорожный? Если хотите знать мое мнение, то это кабак, но только без девок! — Он махнул рукой, засмеялся, ему было интересно, в какой мере его слова о кабаке встревожат собеседников. — Сергей Петрович, скажу вам, как старому петербуржцу: за Невой, на Охте, таких кабаков была пропасть! Открою по секрету: я туда в молодости хаживал!.. Ну, поехали в «малинник»?

— А почему «малинник»? — спросил Бекетов улыбаясь и этим дал понять, что его поездка в некое место, именуемое «малинником», не исключена.

— Там такая малиновая настойка... ой, ой! — объяснил Галуа. — Ну как... решитесь? — Ему очень хотелось, чтобы Сергей Петрович поехал. — Вот ведь вы, недоступные россияне! — Он перестал улыбаться, даже



как-то помрачнел, только румянец еще удерживался на щеках, свидетельствуя, что минуту назад Галуа было весело. — А я вам хотел рассказать об одной своей вчерашней встрече... — Он оглянулся вновь на Грабина. — Аристарх Николаевич знает: я был у де Голя... Ну, решитесь?

— А это вот запрещенный прием! — произнес Бекетов, произнес с видимой строгостью — трудно было понять, действительно ли он обижен или делает вид, что обижен. — Я уж решился ехать, но теперь не поеду.

— Простите, ради бога, Сергей Петрович!.. — вос-



кликнул Галуа. — Обещаю вам забыть де Голля на веки вечные, только поедем!..

— Ну, разве так... — сказал Бекетов, нехотя вставая из-за стола — он не терял надежды послушать рассказ Галуа о де Голле. Но как легализовать это намерение, если Сергей Петрович столь решительно отверг предложение Галуа? — Вот идея: видите, идет полковник Артемий Багрич?.. Ему как раз и будет интересен рассказ о де Голле!.. — произнес Бекетов уже на улице, заметив Багрича, который переходил в это время дорогу, направляясь в посольство. — Артемий Иванович!..

Едва ли не целый час, пока их машина добиралась до загородного ресторана, Бекетов думал об одном: проблема де Голля... Как понимал Сергей Петрович, в единборстве интересов и страстей, которое велось под знаком этой проблемы, наступила фаза критическая. Все, что могли сделать союзники, чтобы сообщить необходимый престиж генералу Жиро, — справедливости ради надо сказать, больше американцы, чем англичане, — было сделано, но это не дало результата, на который союзники рассчитывали. Хочешь не хочешь, а обратишься к де Голлю. Если Галуа действительно был вчера у де Голля, это небезынтересно. Кстати, Галуа — фигура и для де Голля. И дело даже не в подданстве. Очевидно, играют роль книги Галуа о Франции, концепция которых должна импонировать де Голлю. Книжки, которые у Галуа есть и, так можно думать, будут. Последнее де Голлю не безразлично отнюдь: среди тех, кто ратует за де Голля и его дело, Галуа сила заметная.

У Бекетова был план: инициатива беседы должна перейти к Грабину и Багричу. Правда, на Багрича надежды мало. Но, может быть, его увлечет профессиональный аспект проблемы, все-таки де Голль — человек военный, Багричу и карты в руки. Зато Грабин хорош. Если его воодушевить на поединок с Галуа, он может сделать многое. Бекетов сказал себе: «У меня есть план» — и не мог не улыбнуться. Да, уже в том, как он вызвал Галуа на разговор о де Голле, отверг и принял предложение Галуа, а вслед за этим подготовил план атаки, — во всем этом, разумеется, был расчет, который был бы немислим для прежнего Бекетова и, увы, естествен для Бекетова нынешнего. И то, что это было немисливо вчера и мыслимо сегодня, тревожило Сергея Петровича. Тревожило потому, что тут могла быть усмотрена и нарочитость, и притворство, и, возможно, даже хитрость. За свою почти полувековую жизнь Сергей Петрович не помнит, чтобы средства эти были бекетовскими: он не обращался к ним, он убедил себя в том, что в них не было для него необходимости, хотя необходимость, наверное, существовала. А вот дипломатия заставила его обратиться к этим средствам, обратиться едва ли не вопреки желанию... Значит, сама профессия противостоит морали. Значит, профессия вступила в конфликт с тем, что для человека дороже все-

го?.. Ну, разумеется, тут есть щит, всемогущий: Бекетов служит святому... Но, может быть, и здесь есть иные средства и тот же разговор с Галуа надо было построить иначе? Идти к цели без таких извивов «Галуа — Багрич — Грабин», а напрямую — «Бекетов — Галуа»? Да, сказать прямо: «Мне это интересно». Разве, сказав прямо, ты уронишь свой престиж или престиж твоего дела? Так почему же ты не сказал прямо, а избрал такой извив, который, кстати сказать, не дал тебе никаких преимуществ, пока не дал? Ну, например, чего ради ты решил выдвинуть вперед Грабина с Багричем, а сам уйти в тень? Чем ты жертвуешь, если этого не сделаешь? И неужели ты полагаешь, что нехитрый твой маневр будет непонятен Галуа? А если так, то в какой мере этот маневр оправдан? Ведь в этом случае пользы может и не быть, а вред определенный.

То, что друзья окрестили «малинником», на самом деле было трактиром, загородным. Трактир построен по типу староанглийских домов, двухэтажных, облицованных подкрашенной глиной и перепоясанных по фасаду массивными досками, когда-то темно-коричневыми, но под влиянием обильных дождей и времени ставшими почти черными, — если память не изменяет Бекетову, шекспировский Стратфорд состоит из таких домов.

С видом человека, которого здесь знают, Галуа пересек просторную комнату, занимающую почти весь первый этаж дома, и по деревянной лестнице, крепкое дерево которой было сухим и позванивало под ногами подобно январскому насту, повел своих спутников на второй этаж. Прежде чем ступить на лестницу, Сергей Пегрович оглядел комнату, обратив внимание на то, что в комнате этой деревянный потолок опирался на толстые деревянные кругляши — опоры, при этом стены едва ли не до потолка были выстланы деревянными панелями; и потолок, и панели, и опоры, как, впрочем, и мебель, были одного благородно-коричневого цвета и точно дышали теми запахами, которыми их напитывала находящаяся рядом кухня, и прежде всего маслянистым запахом жареной баранины и подгорелого лука.

Гостям была предоставлена угловая комната ресторана, откуда открывался вид на матово-зеленый луг, разделенный спокойным течением реки, тоже матово-свинцовой, мгlistой, под стать здешнему лету с теплы-

ми морозящими дождями. Стол не блистал разнообразием и изысканностью блюд, но был, по крайней мере, обильным: баранья нога, только что извлеченная из духового шкафа, жареный картофель, гора салата и то фирменное, больше того, коронное, что дало друзьям право окрестить этот дом «малинником», — настойка на малине.

Галуа чувствовал себя здесь в какой-то мере главным: приглашал-то он. Он вел непростые переговоры с хозяином ресторана, а затем с парнем в лиловой рубашке, которого откомандировал хозяин прислуживать за столом, вел переговоры с таким увлечением, что казалось, имя генерала де Голля сегодня уже не возникнет. Когда стол был накрыт и вино разлито, Галуа, разумеется, было не до генерала. Он вдруг встал из-за стола и, помахивая кистями рук, немощными, как крылышки у нелетающих птиц, принялся смеяться.

— Вспомнил Охту! — объяснил он. — Никогда не признавался в этом, сейчас признаюсь: уже великовозрастным гимназистом проник в отцовский кабинет и в боковом ящичке письменного стола добыл кредитку, такую хрустящую, а потом повел на Охту дюжину таких же оболтусов, как сам, прощаться... с чем, вы думаете? С невинностью, разумеется! — Он оглядел сидящих за столом, смешался — реакция была не той, на какую он рассчитывал. — Простите, ради бога, по-моему, я допустил нечто неуместное, а?

— Ну, уж бог с вами! — произнес Бекетов, стараясь преодолеть неловкость — ему-то шутка Галуа понравилась не очень. — Признайтесь: вам действительно хочется рассказать про Охту? Нет, будьте искренни. Вижу: хочется... Поручаем выслушать этот рассказ Аристарху Николаевичу, он у нас самый молодой, а сейчас вернемся к тем библейским животным, о которых упоминается в известной французской поговорке... Вот ведь запомнювал: о чем шла речь?

— О де Голле, разумеется, Сергей Петрович, — произнес Галуа, все еще смущаясь — истинно, не постичь Галуа этих советских, не возьмешь в толк, что им нравится и что не нравится.

— Ладно, давайте о де Голле.

— В моих отношениях с генералом есть одно преимущество: они — давние, — начал Галуа не без робо-

сти.— Буду точен; не близкие, но давние... Тут, наверно, необходимо объяснение. Когда я писал свою первую книгу, я обратился к работе де Голля, которая актуальна и сегодня, но это разговор особый. Я имею в виду «Раздор в стане врага». По правде сказать, я был настроен, принимаясь читать его книгу. «Ах эти обедневшие дворянчики, решившие стать военными!..» Но я ошибся. Книга меня заинтересовала, и я решил говорить с автором. Де Голль уже был офицером генштаба, офицером заметным, но меня принял и даже обласкал, правда, своеобразно, по-деголлевски. Одним словом, прежде чем рассказать о себе, он пригласил меня на цикл своих лекций в академии. Не могу сказать, что его лекции произвели на меня впечатление, хотя им было предпослано вступление Петена, для лектора лестное. Лекции были интересны по содержанию, но, смею думать, архаичны по форме. К тому же аудитория, где каждый мнил себя по крайней мере маршалом Фошем, отнеслась к де Голлю не без скепсиса. Аудитория эта была смешна: юнцы с моноклями!.. Панегирик Петена не умерил этого скепсиса, а, пожалуй, увеличил. Таким образом, лекции, вместо того чтобы меня воодушевить, разочаровали, и это заметил де Голль. Человек действия, он тут же передал мне приглашение — на новый цикл своих лекций в Сорбонне. Здесь не было трехсот маршалов Фошей, как в академии, а следовательно, никто не видел в лице преуспевающего военного потенциального соперника. Короче, нельзя сказать, чтобы его встретили на ура, но и не освистали, отнюдь не освистали, даже напротив. Он это тоже отметил точно и подпустил меня ближе... Короче, тут было несколько этапов, о которых говорить скучно. Нет, я не был приглашен в дом де Голля и был принят генералом в генштабе, при этом говорил он, а я слушал... как сейчас за этим столом... — он коротко засмеялся и продолжал спокойно: — Я считаю, что мы — свидетели возвышения человека, которого следует назвать человеком-явлением, назвать, объяснить и понять,— продолжал Галуа: прежде чем коснуться вчерашней беседы с де Голлем, он явно хотел сделать эту предпосылку, судя по всему, чуть-чуть отвлеченную, намеренно отвлеченную.— Говорят, что каждое возвышение начинается с неуспеха, так как только в поражении есть тот самый заряд, который способен толкнуть ракету человеческой жиз-

ни вперед, сообщив ей такую скорость, какую не способно сообщить ей ничто другое. В данном случае речь шла не о жизни человека, а о судьбе страны, но и в этом случае действовал закон о неудаче. Я имею в виду положение Франции, в котором она оказалась после франко-прусской войны. Самые прозорливые говорили тогда: есть один институт, который может оказать армии помощь... Как по-вашему: что это за институт? Финансовая олигархия, земельные магнаты, промышленники, дипломаты, наконец? Ничего подобного! Попы! Да, те самые длиннополые, при появлении которых мальчишки во всем мире кричат друг другу: «Держись за черное!» Попы, вернее, всемогущий институт, называемый церковью, с ее хорошо организованным генералитетом, с ее централизованной властью, с ее дисциплиной и самодисциплиной, с ее действенной системой учебных заведений, с ее системой безоговорочного подчинения. Ну, разумеется, в представлении тех, кто мечтал о сильной Франции. Армия виделась не столько республиканской, сколько монархической. Для них наряду с богом всеобщим было свое божество. Этому вашему принципу об армии, которая сильна сознательностью, была противопоставлена известная формула... кого бы вы думали? Игнатия Лойолы, главы и духовного отца ордена иезуитов. Формула гласит: «Как труп, в руках начальства». Да, степень подчинения, а следовательно, слепоты и безъязыкости должна быть такой: «Как труп...» Как это ни странно, но дорогу в армию проложила де Голлю церковь, при этом не просто церковь, а один из самых воинственных отрядов католичества: орден иезуитов. Именно в иезуитском колледже он принял решение посвятить себя военной службе. Разумеется, стимулом было не просто желание служить Франции, а вера в возрождение величия Франции... У этой веры были свои поэты и ученые, свои властители дум, и прежде всего Анри Бергсон...

— Бергсон и человек, делающий военную карьеру... да совместимо ли это? — ворвался в разговор скептический Грабин.— Не Клаузевиц и Гамелен, а именно Бергсон?.. Да так ли?

— Да, не Клаузевиц и Гамелен, а именно Бергсон,— спокойно возразил Галуа — он знал свой предмет твердо и вел рассказ, не смущаясь.— Уже чтение первой книги де Голля показало мне: их автор не просто про-

фессиональный военный, но и человек литературный... И дело здесь не только в блеске стиля, что для француза характерно, сам строй книги выдает в нем литератора. Вы обращаетесь к жизни де Голля и убеждаетесь: если бы он не был профессиональным военным, он, скорее всего, был бы писателем... Наверно, немногие знают, что он увлекся поэзией и однажды написал драму в стихах, которая была удостоена первой премии на общепольском конкурсе, что его кумиром был Роcтан и «Сирано де Бержерака» он знал наизусть, что он стал военным писателем отнюдь не только из интереса к военному делу, но и к литературе... Одним словом, человеком, оказавшим свое влияние на систему взглядов де Голля, был не военный, а писатель. Смею утверждать, что, будь Бергсон не писателем, мастером формы, а социологом или даже историком, де Голль прошел бы мимо него. Надо сказать, что учение Бергсона похоже на тот универсальный кухонный котел, из которого при желании можно извлечь и куропатку, и говяжью грудинку. Де Голль искал в его учении свое и, как это ни странно, нашел. Что же он нашел?.. Один из принципов Бергсона гласил: «Жизнь так богата, что нет категории мышления, которая бы прямо соответствовала явлению жизни». Из этого следовал вывод: руководство к действию — не учение, а собственное «я», при этом самый совершенный инструмент не ум даже, а сочетание ума с тем подсознательным, что способно породить интуицию. Система взглядов, в основе которой лежит столь зыбкий принцип, как интуиция, не может быть мировоззрением. Поэтому марксист Михайлов, как утверждают люди сведущие, спросив генерала, как бы он решил энный вопрос в одной ситуации, второй и третьей, поставил достаточно точный диагноз: «У него нет мировоззрения».

— Наш бы Шошин сказал: «Отсутствие мировоззрения тоже мировоззрение», — неожиданно съязвил полклавистый Багрич.

— А что бы сказал в этом случае сам господин полковник? — отреагировал Галуа, устремив веселые глаза на Багрича.

Багрич смешался, а невозмутимый Грабин тут же парировал реплику Галуа:

— Господин полковник еще скажет свое слово...

— Ну что ж, нам будет интересно мнение господина полковника, — нашелся Галуа и продолжал: — Мне трудно сказать, как добытое у Бергсона было реализовано, если иметь в виду главный идеал — «Францию», но смею думать, что де Голль сообщил этому понятию свой смысл, при этом иезуиты и Бергсон тут играли не последнюю роль... Надо отдать должное де Голлю, в его всенном подвижничестве был свойственный иезуитам элемент самоотречения: и в том, как он учился в Сен-Сире, и в том, как он отслужил обязательный для сирака год в нелегком качестве рядового, и в том, с какой самоотверженностью он сражался в первую войну, заслужив орден Почетного легиона, и в том, как он готовил побег из плена через своеобразный тоннель и только скала остановила его...

— И в том, как он легионером сражался против Красной Армии, не так ли? — неожиданно подал голос Багрич — он не заставил себя долго ждать, его удар был неотразим.

На какой-то миг Галуа лишился языка, да, сладкоустый Галуа, которому это было совершенно неизвестно, вдруг онемел.

— Верно, — сказал он, овладевая собой. — Верно, но в оправдание де Голля надо сказать, что тут он был дезинформирован, полагая, что большевики вместе с немцами и он, де Голль, сражается не только против красных, но и против немцев... Даже не столько против красных, сколько против немцев. Не думаю, чтобы он ставил себе в заслугу этот эпизод своей жизни...

— Но орден он принял за доблести в Польше? — полюбопытствовал Багрич — он был неумолим.

— И орден вряд ли ставит себе в заслугу... — ответил Галуа и не без робости посмотрел на советского военного — отныне он внушал ему уважение. — Был такой грех, и никуда тут не денешься, — заметил Галуа. — Был грех, был...

— Был так был... — согласился отходчивый Багрич. — У нас иного выхода нет, как простить его, хотя помнить это и надо.

— Надо, конечно, помнить... — согласился Галуа, помедлив — у него было ощущение контузии, нелегко ему продолжить разговор. — Если бы вы не заговорили об этом польском эпизоде, я бы, пожалуй, сказал сам! — вдруг произнес Галуа, глядя на Багрича; не

очень-то просто было ему выйти из положения, в которое он неожиданно попал, но, кажется, он нашел выход: — По-моему, ему не дает покоя этот польский эпизод, ему даже кажется, что русские сдержанны по этой причине. Не думаю, что многое из того, что он делает для взаимопонимания с Россией, определено этим, но известное беспокойство тут есть... Если же говорить о сущности де Голя сегодня, то, как мне кажется, он лучше относится к России, чем к Великобритании и тем более к Штатам, хотя логичнее было бы обратное...

Галуа оглядел гостей не без укоризны — их бокалы остались полными, в то время как бокал Галуа был осушен. Он не торопясь наполнил свою емкую посудину и поднял, дождавшись, пока это сделают другие.

— Господин Галуа полагает, что теперь, когда он так заинтересовал нас своим рассказом, мы не разбежимся? — спросил Бекетов смеясь — он ждал от Галуа обещанного: встречи с де Голлем.

— Именно, — поддержал Бекетова Грабин. — Мне даже кажется, что наш рассказчик сейчас поднимется из-за стола и, сказав «продолжение следует», сядет в машину и уедет в Лондон, не так ли?

Галуа довольно улыбнулся: слушателям определенно был интересен его рассказ.

— Пожалуйста, я продолжу, тем более что я не рассказал еще о разговоре, который был у меня вчера... — произнес Галуа. — Не знаю, право, к счастью или несчастью, но судьба уготовила мне своеобразное амплуа: русские видят во мне француза, а французы — русского. Очевидно, беседуя со мной, де Голль руководствовался обстоятельством, которое определено моим своеобразным положением: французы видят во мне русского... и серьезно полагают, что в беседах с ними я едва ли не представляю Кремль. По крайней мере, они почти убеждены: все, что они скажут, я не премину сообщить русским...

— Поэтому что-то говорится специально для того, чтобы узнали русские? — спросил Бекетов с тем спокойно-безразличным видом, который должен был как бы не выказывать иронии, а на самом деле обнаруживал ее в полной мере, — раздался смех, и Галуа смеялся больше остальных.

— Да, конечно, при этом де Голль не составлял исключения — как я понял, сегодня это для него очень

важно... Итак, что он сказал?.. Он сказал, что из тех, кто возглавляет антифашистский Запад, только он, де Голль, является профессиональным военным, а поэтому только ему ведомо, как весом вклад Красной Армии. Он достал тетрадь и показал тексты своих радиовыступлений на Францию. Он любит цветные карандаши, мягкие, фаберовские, и у него всегда их полный стакан. Он взял фиолетовый карандаш — я заметил, ему нравится этот цвет — и отчеркнул те места своей речи, которые касаются России. «Нет ни одного честного француза, который не приветствовал бы победу России» — так или приблизительно так сказано у де Голля. Но эта фраза естественна, и меня она не удивила, меня поразило другое место в его речи. Смысл этого пассажа примерно таков: завтра Россия будет в первом ряду победителей, а это дает Европе и всему миру гарантию равновесия, чему Франция будет радоваться больше, чем кто бы то ни было. Да, так именно сказано: больше, чем кто бы то ни было! Если бы это было неискренне, вряд ли он обращал бы эти слова к Франции, а?.. Он сказал, что хотел бы подкрепить свои слова делом и просил СССР принять французскую дивизию. По-моему, это не красное словцо. Он действительно хотел направить дивизию на советско-германский фронт, и только сопротивление англичан помешало сделать это. Он не считает, что авиаполк «Нормандия — Неман», сражающийся на советской земле против немцев, компенсирует отсутствие дивизии, но он просит русских верить: все, что он делает для советско-французских отношений, он делает искренне... Он сказал, что его разногласия с англичанами и американцами столь серьезны, что у него было намерение оставить Британские острова, переместив центр борьбы из Лондона в Москву, однажды он даже дал понять об этом послу Богомолову... И последнее: он, де Голль, сознает, в какой мере последовательную антифашистскую и антивишистскую позицию занимает Россия, и призывает ее воспрепятствовать тому, чтобы во главе сил Сопротивления были поставлены вишисты...

Галуа кончил, однако, как показалось Бекетову, не сказал главного.

Сергей Петрович заметил, глядя на свой бокал с «малиновкой», которую он еще как следует и не попробовал:

— Все то, что вы нам поведали, господин Галуа, и что, не скрою, мне, например, интересно, имеет смысл только в связи с обстоятельством, вами не удостоенным внимания...

— Язык-то, язык какой изысканный! — воскликнул Галуа и залился смехом. — Значит, «не удостоенным внимания»? Ну, сказали бы запросто: «А не привираешь ли ты, друг Галуа?» Честное слово, я бы не обиделся: и прямо и по существу!.. Что вы имеете в виду, Сергей Петрович?

— Что мы имеем в виду? — спросил Бекетов Грабина: он хотел, чтобы в разговоре участвовали все.

Неторопливый Грабин посмотрел на Бекетова, точно стараясь прочесть в его глазах мысль, которая им владела.

— Пусть это будет мое мнение, только мое... — произнес Грабин, поразмыслив. — Такой вопрос: с какой целью де Голль рассказал вам это именно теперь?

— Я уточню ваш вопрос, Аристарх Николаевич: в связи с каким событием?.. — произнес Багрич. — Помоему, должно быть событие... так? — обратился он взглядом на Сергея Петровича.

— Так, конечно.

Галуа отодвинул свой бокал — «малинник» и «малиновка» потеряли смысл, сейчас было не до них.

— Де Голль, так кажется мне, летит в Африку... — сказал Галуа. — Если есть тут некий выбор, он должен быть сделан там...

— Все тот же выбор: Жиро — де Голль? — улыбнулся Грабин.

— Да, конечно...

Они возвращались уже вечером...

— А про Охту так и не хотите послушать? — вдруг подал голос вздремнувший было после малиновой водки Галуа. — Ну ладно, так и быть: пощажу... А то, может быть, рассказать?

Коллинз пригласил к себе Бекетова с женой. Повод, как всегда у Коллинза, не очень обычный: выход в свет нового издания его книги «Человек живет все дольше».

Екатерина пыталась убедить Сергея Петровича, что это будет не столько семейное торжество, сколько

праздник ученых и вряд ли есть смысл ехать ей, но Бекетов настоял. С некоторого времени он взял за правило: если Екатерину приглашали, не ездить без нее. Приемы, даже вот такие, как этот, были полезны Екатерине уже потому, что приобщали ее к тому, чем жил Бекетов. Было и нечто иное, что могло явиться действенным лекарством против «недуга» Екатерины: она заметно сторонилась людей, нет, не только англичан. Возможно, этот процесс начался прежде: ей было хорошо одной. Правда, ее работа не очень способствовала этому. Напротив, она ей мешала сбересть одиночество, но рядом был общительный Бекетов, и при случае он мог прийти на помощь. Бекетов это заметил не сразу, а заметив, решил: не помогать ей. Изучение ею английского продвинулось. Робея и радуясь, она дважды или трижды попробовала заговорить по-английски, и Бекетов осторожно похвалил ее. Измени ему здесь чувство меры, она это заметила бы, и тогда все пошло бы прахом. Он знал: она наблюдательный человек... У нее было особое чутье на фальшь, — казалось, в недрах ее существа природа поместила хитрый инструмент, который берет на пробу именно это качество человеческой природы и безошибочно определяет его. То, что она говорила Бекетову о людях, подчас приводило Сергея Петровича в замешательство — она не оставляла места иллюзиям, как бы ни хотелось их сохранить. Ее вывод был всегда чуть-чуть безжалостен.

Сергей Петрович понимал: время — особенное, все русское в моде. Но до того как понял это он, это уразумели тысячи творящих имя и деньги, делающих то, что в этом мире называется «движением в сферы». Казалось, выгодно ставить на русскую лошадку. Выгодно, даже если через некоторое время придется отречься. За отречение здесь тоже платили, даже больше, чем за приятие. Выгодно ставить на русскую лошадку. Трижды жестокая правда: человек принимал сегодня, зная, что завтра отречется. Хочешь не хочешь, а станешь знатоком человеческих душ.

Предметом их постоянного спора был Коллинз.

— Честность строптива, — нередко говорила Екатерина, имея в виду Коллинза. — Она лишена одежд привлекательных, которые так любят люди.

— Я люблю? — спрашивал Бекетов.

— Нет, — отвечала она. — Но с Коллинзом тебе не-

легко найти общий язык... С другими было бы легче, не правда ли?

Он смеялся:

— Я этого не сказал.

В какой уже раз они обращались к этой нелегкой теме.

Вот уже больше года, как Коллинз был вице-президентом общества, посвятившего себя упрочению советско-британских культурных контактов.

Он пошел на эту работу не без желания, но, когда выборы состоялись, захотел видеть Сергея Петровича. «Мистер Бекетов, вы знаете о моем избрании?» — «Да, мне сказали третьего дня... Я вас поздравляю». — «Но вы согласны с этим?..» Бекетов смутился: «Вы хотите спросить: пришелся ли этот выбор мне по душе? Несомненно». — «Нет, я хочу именно спросить вас: вы согласны?» — «Если вопрос поставлен так, я отвечаю: это решение ума коллективного, которое я уважаю». — «Но вы знаете, что наши с вами взгляды не во всем тождественны... Я могу отказаться». — «Да, я имею представление и об этом», — сказал Бекетов. «И, несмотря на это, вы приветствуете?» — «Да, я приветствую это решение мистера Коллинза...» — «Вы, конечно, можете приветствовать этот мой шаг, мистер Бекетов, но имейте в виду: без меня вам было бы спокойнее».

С тех пор как произошел этот разговор, минул год, очень трудный год, и Бекетов не однажды убедился, что разговор этот возник не случайно...

Было в русской победе нечто чистое, что в сознании людей хорошо сочеталось с именем Коллинза. Наверно, были и такие, которые шли на приятие, имея в виду отступничество, но не они призваны были взять Трою. Трою брали сподвижники Коллинза, и это было радостно, хотя последняя фраза Коллинза: «Без меня вам будет спокойнее, мистер Бекетов» — обескураживала и даже обезоруживала. С Коллинзом было непросто, настолько непросто, что не однажды Бекетов спрашивал себя: «Да был ли смысл начинать с Коллинзом?»

Итак, Коллинз пригласил Сергея Петровича с женой, и супруги Бекетовы поехали.

Съезд гостей едва ли уже не закончился, когда польский автомобиль подкатил к подъезду двухэтажного особняка, столь знакомого Сергею Петровичу по его предыдущим поездкам в Оксфорд.

Видно, Коллинз заметил отсутствие Бекетовых и ждал их — по долгу гостеприимного хозяина он пошел им навстречу, едва они появились.

— Послал на всякий случай тридцать приглашений, не питая надежды, что явится половина, а они взяли да и явились все!.. — произнес он, наклонившись к Бекетову — он мог себе позволить такую вольность в разговоре с Сергеем Петровичем. — Пришлось перестраиваться на ходу, — засмеялся он; хитрый Коллинз сделал это признание не без умысла. Оно, это признание, как бы сближало его с русским гостем. — Накормить бы их!.. — созорничал англичанин — он сказал «их» и этим вновь как бы отделил Бекетовых от прочих гостей.

Бекетов окинул гостиную взглядом человека, годами работающего за границей, пусть в том же Лондоне, когда перед ним толпа англичан, но, как ни чрезвычайный повод, собравший множество людей, каждый остается самим собой и очень хорош для наблюдения. Бекетов готов был поверить Коллинзу, что тот не ожидал такого наплыва гостей, но, приглашая их, отнюдь не импровизировал: он созвал тех, кто представлял сегодня ветвистое древо английской культуры. Явившись сюда, эти люди воздавали должное Коллинзу — ученому и человеку. Но, искушенные в делах житейских и чуть-чуть в политических, гости не могли не учитывать и общественного положения хозяина дома, в частности всего, что он делал для упрочения культурных контактов с Россией. И это последнее, наверно, было самым показательным, по крайней мере для Бекетова. В умах английской интеллигенции, в ее отношении к России поистине были сдвинуты стопудовые камни, которые недвижимо лежали годы и годы. Стоит ли говорить, что уже в этом смысле время было необыкновенным. Оно было в какой-то мере похоже на великое противостояние: воспользуйся близостью Солнца к Земле и сделай все, что ты намерен сделать. Завтра будет поздно.

...Дверь в кабинет распахнута, и он выглядит как бы продолжением гостиной. Шоу устроился в кабинете хозяина, усталом медвежьими шкурами. Как задорно завилась и разлохматилась белая борода старого ирландца. Есть в нем сейчас нечто от нашего Павлова, как он изображен на известном нестеровском портрете в Колтушах. Вот сейчас вытянет руки, сжав их в кулаки, — Павлов, ни дать ни взять Павлов!.. И прямоуголь-

ная борода, и эти усы, беспорядочно торчащие, и брови, точно глыбы смерзшегося снега, нависшие над окнами деревенской хижины... Наверно, для Шоу превеликие доблести хозяина дома на ниве биологии много значат. Можно допустить, что их связывает нечто большое и в совместной борьбе за права науки отечественной, но не только это... Среди тех первых, кто протянул России руки дружбы, был Шоу. Поэтому нет ничего необычного, что он сегодня в доме Коллинза, более странным было бы его отсутствие.

Шоу сидел у журнального столика, и чашка с кофе дымилась перед ним. Длинные ноги, которые он вытянул перед собой, уперлись едва ли не в противоположную стену. Собственно, он чувствовал бы себя в кабинете с медвежьими шкурами преотлично, если бы не эти ноги. Шоу не знает, что с ними делать: длинные, плохо гнущиеся, они решительно ему мешают — хоть отрубай!.. Так или иначе, а почтенный старец облюбовал не самое жесткое кресло в кабинете с медвежьими шкурами, что свидетельствовало о том, что он не думал покидать его тотчас. У кабинета возникла очередь, какая возникает в пасхальную ночь на пути к патриаршему трону: заманчиво было разбить заветное яичко с его святейшеством. Бекетов пошел к Шоу, когда очередь поубавилась — не говорить же с Шоу, стоя в очереди.

Его глаза под снеговыми глыбинами бровей показались Бекетову темней обычного.

— Меня вчера спросили: «Мистер Шоу, что сделают русские, когда войдут в Европу?» Однако хитрецы, не правда ли? Знают, кого спрашивать! Я им ответил: «Коли вы спрашиваете меня, вам надо поставить вопрос иначе: что сделал бы я на месте русских, войдя в Европу?» Ну, разумеется, они тут же утратили интерес и ко мне и к Европе. Им-то известно, что бы сделал я, войдя в Европу, а вот что сделают русские — это действительно вопрос!

— Простите, мистер Шоу, а что бы сделали вы на месте русских?

Он принялся мять бороду, при этом его длинные ноги заплясали под столом.

— О нет! Скажите вы: что сделали бы русские?.. Мне необходимо это для дублинской газеты!

— У русских одна цель: освобождение! — произнес Бекетов.

Старику не просто было справиться со своими ногами, они плясали сами по себе.

— И я говорю: освобождение! Но вот вопрос: освобождение... от кого?

Казалось, ответ Шоу позабавил и его самого: он даже вытащил ноги из-под стола, чтобы легче было смеяться...

— Но вы не спрашивали Шоу о его больной жене? — полюбопытствовал Коллинз, когда Бекетов вышел из кабинета. — Ну, слава богу. — Он махнул рукой, произнес едва слышно: — Я предупредил всех, а вас забыл... Как же я вам благодарен, и старик, наверно, оценил: как он смеялся!.. — он посмотрел на Бекетова, потом обратил взгляд на группу гостей. — Вы видите вот этого господина... без шеи? Ну, в белой манишке, не столько рыжего, сколько белесого. Да, это Эндрю Смит, тот самый, что до войны затеял выпуск этих мировых классиков, нечто похожее на издания Брокгауза. Я прошу не очень торопиться покидать нас сегодня, я хочу рассказать вам о Смите.

— Простите, мистер Коллинз, но я с ним знаком и имел честь быть у него дома.

— Не на выставке ли книжной графики? О, тем лучше!

Бекетов понял: не иначе, Смит обратился к Коллинзу с деловым предложением. Такая идея могла прийти на ум деятельным лондонцам, полагавшим, что так легче уломать несговорчивых русских. Впрочем, в данном случае не было оснований для тревоги: если «человек без шеи» выпустил Ибсена, им руководили отнюдь не коммерческие интересы: на Ибсене в Великобритании не наживешься.

Как того хотел Коллинз, Бекетов дождался часа, когда начался разъезд гостей. Кстати, миссис Коллинз, очевидно зная намерение мужа, увела Екатерину в дальний конец дома, где находилась лаборатория, — видно, она не впервые была гидом в таких экскурсиях — научные интересы мужа были не чужды хозяйке дома: до того как стать миссис Коллинз, она была лаборанткой.

— Вы, наверно, догадываетесь, мистер Бекетов, что Эндрю Смит обратился ко мне с предложением весьма заманчивым... — начал Коллинз, отгибая кресло, в котором за полчаса до этого сидел Шоу, и поглядывая на

кресло так, будто предложение исходило не от Смита, а от Шоу. — Он сказал, этот Смит: «Я понимаю, что издание русских книг имеет для вас известный смысл, но зачем вам уговаривать издателей порознь? Передайте это право мне, и я вам гарантирую выпуск такого количества книг и таким тиражом, какого вы не имеете и, поверьте, иметь не будете... А о том, как я умею издавать, пусть скажет мистер Шоу...» Ну, в подтверждении Шоу не было нужды, я сам знаю, как издает книги Смит, но Шоу подтвердил: «Смит — это марка...»

Коллинз умолк и взглянул на кресло — его взгляд был столь настойчиво-просительным, что казалось, еще мгновение — и кресло произнесет: «Смит — это марка».

— Как вы, мистер Бекетов, а?..

Бекетов был немало озадачен: что ответить Коллинзу? Экспансивный Коллинз наверняка не удержался от того, чтобы сообщить почтенному издателю свое мнение. Каким могло быть мнение Коллинза?.. Ну, разумеется, не отрицательным. «Передайте это право мне, и я вам гарантирую издание такого количества книг...» Однако надо ли сосредоточивать все в одних руках? Наверно, есть обстоятельства, когда такая мера оправдана, но в данном случае решительно нет нужды делать это.

— Чтобы банки с медом были целее, их надо держать в небольших ящиках,— произнес Бекетов.

— Простите, но это гастрономическое сравнение как-то не дошло до меня... — Англичанин принялся тереть левую щеку — когда он волновался, она у него немеда.

— Есть ли смысл в том, чтобы отдавать все в одни руки? — придав своему мнению форму вопроса, Сергей Петрович, как казалось ему, сделал это мнение не столь категоричным.

— Есть смысл, мистер Бекетов,— воодушевился Коллинз, то, что Бекетов все еще спрашивал, ободрило англичанина.— Поверьте моему опыту: мы сможем выпустить в два, в три раза больше! — Он увлекся, растирая щеку, щека стала белой, потом розовой.— В конце концов, какая вам разница, кто будет издателем... Перечень книг и нерушимость текста мы оговорим, не так ли?..

— Да, конечно, оговорим, мистер Коллинз, — согласился Бекетов, он хотел избежать крутых поворотов в этом разговоре. — Сейчас наши книги выпускают многие издатели, среди них немало добрых друзей... Поймите, отобрать у них это право и отдать в одни руки, справедливо ли это?

— Ну, разумеется, справедливо, — возразил Коллинз убежденно. — Цель оправдывает средства! Цель — издание книг, ей должно быть подчинено все... Когда речь идет об интересах дела, какие могут быть обиды, наконец?.. И потом... отказав в одном, мы сможем поощрить их в другом, не так ли, мистер Бекетов?

— Вы правы, мистер Коллинз, вы правы, но есть ли резон обижать наших друзей?.. — слабо возражал Сергей Петрович; главное, чтобы возразить не резко. — Нам надо высоко нести престиж нашего дела, никакой монополии, хотя мистер Смит лицо, по всей видимости, уважаемое, если его большим замыслом была библиотека мировой классики.

— Ну, как знаете, как знаете, мистер Бекетов, — произнес недовольно Коллинз, застегивая пиджак на вторую пуговицу и этим как бы говоря: «Выше моих сил проникнуть в эти ваши доводы... Выше моих сил».

...Бекетовы возвращались в Лондон около одиннадцати.

Минувший день был хотя и дождливым, но жарким. Близость моря, обилие зелени вокруг сделали свое дело — с приходом вечера повеяло прохладой. В автомобиле открыли окна — ехать было приятно.

— Мне показалось, что Коллинз как-то скис под конец... верно? — был вопрос Екатерины.

— Верно показалось...

— Что так?

Бекетов объяснил.

— Поверь мне, он знает Смита не больше, чем знаю его я, но как сказать ему об этом? — продолжал Бекетов. — Смит — это солидный делец, но нужен ли нам в данном случае делец? Завтра он отстранится... в какое положение он поставит нас? И с ним каши не сварим, и с добрыми людьми рассоримся... Нет, лучше так, как сейчас: книг действительно не очень много, но надежно...

— Погоди, но ты ему объяснил?

— Как мог... объяснил,— бросил Бекетов и умолк. Машина огибала рошу, что темным увалом возникла слева.

— Что значит «как мог»? Ты ему сказал то, что сказал сейчас мне?

— Ему это нельзя говорить, Екатерина,— обидится. В конце концов, какие я имею основания не доверять Смигу?

Она приутихла.

— Неверно,— сказала она, помедлив.— Понимаешь, неверно.

— Но я не могу ему сказать так, как говорю тебе.

— Должен был сказать вот так, как ты сказал мне... А получилось плохо: он, как думаю я, почувствовал, не мог не почувствовать, что ты недоговариваешь, а следовательно, ему не доверяешь. Ты сказал ему «нет», не обосновав своего ответа, и он вправе был заподозрить, что ты недоговариваешь, а это уже плохо. Поверь мне, плохо. С Коллинзом так нельзя, Сережа...

Он ничего не сказал ей. Ему надо было все хорошенько обдумать и решить; но одно было несомненно: в ней работал тот самый «инструментик», которым природа снабдила ее. Она сказала: «С Коллинзом так нельзя, Сережа». Он мог продолжать разговор, но главный ее довод, касающийся сути Коллинза, не было смысла оспаривать. Речь шла даже не о том, что думала о Коллинзе она, более важным было другое: что определял этот ее «инструментик», а он, как ему известно, действовал безошибочно.

Явившись к себе, Бекетов принялся было за разбор диппочты, прибывшей накануне, когда пришел Шошин. Его волосы были тревожно вздыблены, галстук лежал на лацкане пиджака.

— Сергей Петрович, разрешите? — произнес он, открывая дверь.— Я к вам минут на пять,— пояснил он, увидев, что письменный стол Бекетова и стол рядом завалены пакетами с почтой.

Что-то приберег строптивый Шошин чрезвычайное, коли явился, предварительно не позвонив, такое с ним бывало редко.

— Заходите, Степан Степаныч,— сказал Бекетов, вставая и переходя с Шошиным в дальний конец кабинета — великое половодье почты не дошло туда.

Они сели.

— Сегодня явился гонец из книгоиздательской фирмы на Пиккадилли, — начал Шошин, опустив глаза; он и прежде начинал разговор вот так, опустив очи, коли хотел возразить Бекетову.

— Пиккадилли — это... Смит? — спросил Бекетов — он начинал понимать, откуда ветром потянуло.

— Да, Смит и компания... — пояснил Шошин, не поднимая глаз — в разговоре, который попахивал огоньком, эти опущенные глаза помогали ему отстраниться, враждебно отстраниться. — Говорит, что его шеф беседовал вчера с Коллинзом насчет некоей издательской монополии на русские книги и Коллинз, не без вашего одобрения, сказал «да»...

— Все точно, — заметил Бекетов, сдерживая улыбку. — И Коллинз и я именно так и ответили... — Он дождался, пока Шошин поднимет глаза — ему было нелегко поднять их сейчас. — А разве надо было сказать «нет»?

— Именно надо было сказать «нет», — произнес Шошин, обратив на Бекетова горящие глаза — никогда он не презирал Бекетова так, как в эту минуту.

— Погодите, а почему надо было сказать «нет»? — спросил Сергей Петрович примирительно.

— А потому, что этот самый Смит — адвокат дьявола, понятно?

— У вас есть основания, Степан Степанович, называть почтенного издателя с Пиккадилли адвокатом дьявола?..

— А у вас есть основания считать его христосиком? Есть основания?..

— Я верю Коллинзу, а он, согласитесь, Степан Степанович... — произнес Сергей Петрович с самым невинным видом, хотя смех клокотал в нем и рвал его на части.

— Я не знаю, какой ваш Коллинз биолог, но он Манилов чистой воды!.. — едва ли не взревел Шошин, и его сорвало со стула и бросило в противоположный конец кабинета...

— А если все-таки перевести этот разговор на язык доводов... что вы имеете против такого предложения, Степан Степанович?

Шошин затих сейчас в противоположном конце кабинета, не зная, стоять ему или садиться.

— Да неужели вам нужны еще доводы? — спросил Шошин — он был полон гнева.

— Представьте, нужны... — был ответ Бекетова. — Такова уж привычка: не терплю голословного...

— Чтобы доверить Смигу такое, надо его знать лучше, чем знаем его мы! — не произнес, а выкрикнул Шошин — он понимал, что предложение Смита лишено для нас смысла, а об остальном у него не было ни времени, ни желания думать.

— И это все?..

Шошин сел, — ему было очевидно, что тут эмоциями не отделаешься — нужны доводы.

— Этот Смит, возможно, по-своему честный человек, но он всего лишь коммерсант... — заговорил Шошин, пытаясь взять себя в руки; казалось, что доводы, которые требовал Бекетов, возникали у Шошина сию минуту. — Всего лишь коммерсант: он с нами, пока ему это сулит прибыль. Не думаю, чтобы он относился к нам даже терпимо. Завтра погода изменится, и он сочтет за доблесть бросить нас. Какой же смысл передавать ему наше дело, отнимать у людей не столь богатых, но добрых и передавать ему... Нет смысла, решительно нет смысла.

— Ну, это уже довод, — сказал Бекетов. — Тут я вас готов понять, Степан Степанович.

— Но тогда какой смысл в вашей согласии? — спросил Шошин. — Вы дали его?

— Нет.

— Не дали?.. Ну, тогда увольте и ведите-ка все эти переговоры со Смитом сами...

— А я готов, Степан Степанович, ей-богу, готов...

Шошин вздохнул тяжело, но, к изумлению Бекетова, не поднялся. В иных обстоятельствах он, пожалуй, устремился бы к двери и, чего доброго, хлопнул бы дверью, а сейчас продолжал сидеть недвижимо — не иначе, он сказал Бекетову не все, что хотел сказать.

— Сергей Петрович, — произнес Шошин с несвойственным ему смущением, — тут я слышал краем уха, да не знаю, верно ли это... Хотел смолчать, а потом подумал: не могу скрыть от вас, не имею права.

— Коли не имеете права, тогда говорите.

— Одним словом, молва утверждает, — он умолк и печально и как-то просительно взглянул на Сергея Петровича. — Молва утверждает, что наше посольство

в Вашингтоне возглавил молодой Гродко, да и у нас будет новый посол. Говорят, из Канады.

— Тарасов?

— Кажется. Не слышали?

Бекетов, разумеется, знал об этой новости, но хранил ее в тайне, полагая, что до поры до времени это необходимо.

— Да, я слышал, но не был уверен...

— Можно закурить?.. Ну, чего вы приуныли? Я же вас не виню, что не сказали. Не сказали,— значит, не надо было говорить.

А Бекетов думал: хороший человек Шошин. Вот ты, Бекетов, ему не сказал и даже не подумал сказать, а он, едва услышал, пришел, да еще пытается оправдать тебя.

— Новый посол — новая политика, Сергей Петрович? — произнес Шошин, мгновенно заполняя кабинет клубами дыма.

— Ну, новый человек — это всегда нечто... новое,— ответил Бекетов и, подняв руку, разметал ею дым — иначе мудрено было увидеть Шошина.

— Значит, новое? — Шошин задумался. — Все-таки человек по природе своей чуть-чуть ретроград... Вот, казалось, идет новое, может быть даже доброе новое, а тебе как-то тревожно. Нет причин для тревоги, а тревожно. — Он взглянул на сигарету и, точно поразившись, как быстро ее выкурил, осторожно положил в пепельницу. — Но какво Тарасову, а? — спросил он и внимательно посмотрел на Бекетова.

Действительно, какво Тарасову? Бекетов вспомнил свою поездку в Канаду и подумал, что в дорогах, которые иногда дарит судьба, есть некая предначертанность. Или мы полагаем, что это едва ли не воля рока, а на самом деле все закономерно? Просто земной шар сегодня так мал, что трудно разминуться двум людям...

Над Кузнецким мостом взвились ракеты первого салюта.

«Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины — Москва — будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двадцатью

артиллерийскими залпами из 120 орудий... Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким оккупантам!»

Это было похоже на вызов: немцы находились на расстоянии какого-нибудь получаса лёта до русской столицы, а Москва, презрев опасность, вздымала к небу торжественный фейерверк, при этом сообщив о нем заранее...

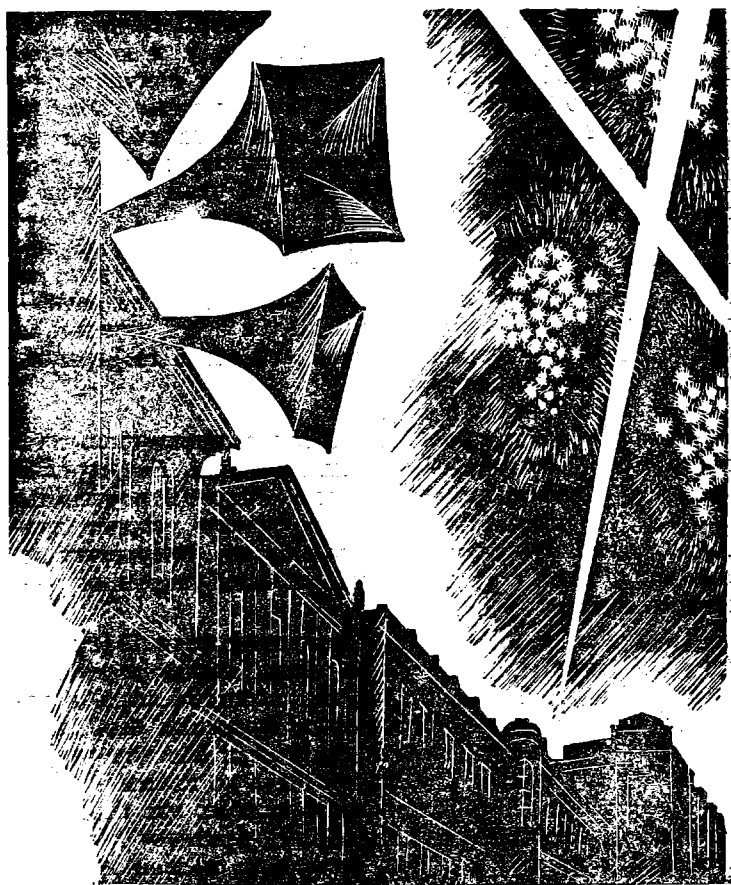
Чего было в этом больше: озорства русского, замешенного на лихой и веселой храбрости, сознания силы или презрения к самонадеянной немецкой рати,— мол, сунься, коли не сробеешь! Если это психическая атака, то она никогда не была такой открыто дерзкой, такой демонстративной.

«Сегодня, 5 августа, в 24 часа...»

Не просто удар по психике врага, травмированной в это лето 1943 года,— это был праздник. Нет, приказ обходил слово «первый», но оно было в подтексте: «Первый салют». А это значило: отныне устанавливалась традиция — каждой победе будет сопутствовать салют. А коли есть традиция, то есть уверенность — победы будут.

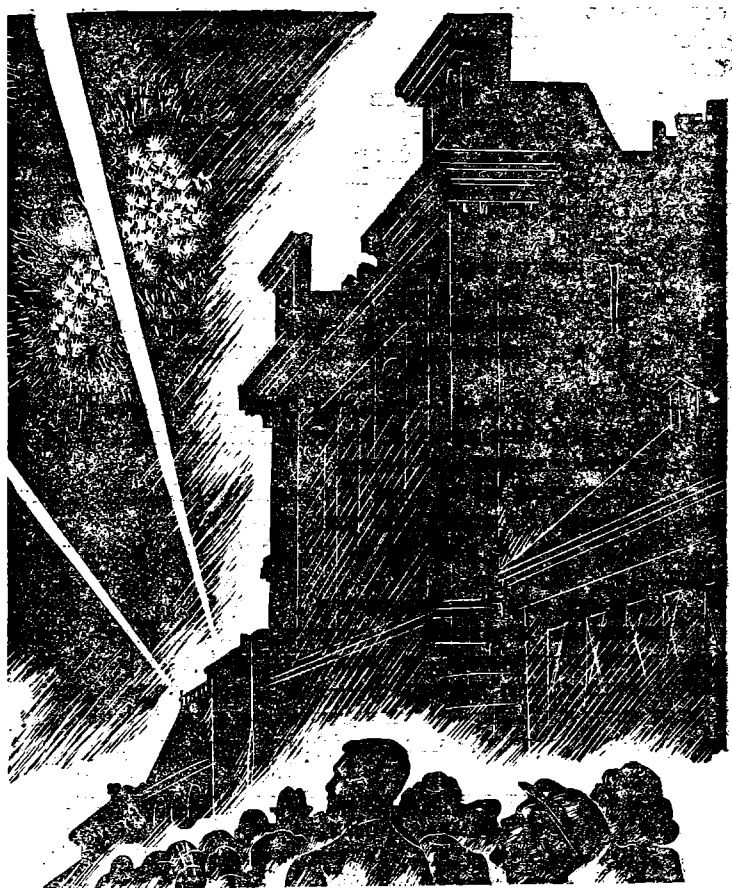
Наверное, впервые с той июньской ночи 1941 года, когда Москва погрузилась во тьму, город вышел на улицы, вышел безбоязненно, как выходил лишь в далекое мирное время. Собственно, праздник был даже не в многоцветном пламени, не в нем: Москва увидела себя в эту ночь такой, какой была до войны. Конечно же это было торжество всего народа, это был праздник тех, кто приписан к доброму братству Москвы. Всех, кого призвала война, определив в свои полки и батареи, занявшие позиции вдоль фронтового предела, протянувшегося от Белого моря до Черного. Всех, кого война бросила в таежную глушь Севера, за уральские камни, на холмистые просторы Закаспия,— добытчиков угля, железа, леса, хлеба, чьим трудом поддерживалось экономическое могущество сражающегося народа. Казалось, волны московского салюта докатились и до мглистого Лондона, до знойно-влажного города на Потомаке, до прохладного Стокгольма, до тех далеких и не столь далеких мест земного шара, где несли свою вахту и солдаты дипломатического фронта.

Если Сталинград был ударом по престижу врага, то Курск — разящим тараном военной мощи.



Уже ближайшая стратегическая задача — освобождение Левобережной Украины — казалась грандиозной, но она, эта задача, была всего лишь ближайшей. Наступление набирало силу: армии готовились форсировать мощную днепровскую преграду, обрести оперативный простор, армии требовали простора.

Это движение советских войск на запад имело и внешнеполитические последствия. Предстояла встреча трех, а следовательно, разговор важности первостепенной: что еще надо сделать для победы и какой она будет, эта победа? Еще уточнялись дата, место и поря-



док дня встречи, но несомненным было одно: встречу предварит конференция министров иностранных дел. Черчилль обусловил: «Если будет Молотов, мы пошлем Идена», а это означало, что Штаты представит Хэлл. Предложению англичан провести конференцию в Лондоне русские противопоставили Москву, и англичане уступили...

А пока Москва салютовала освобождению Орла и Белгорода...

И Наркоминдел, прервав свое полуночное бдение, вышел на Кузнецкий смотреть салют. Нет, в этом дей-

ствительно было нечто от подлинного чуда: над Кузнецким мостом взвились ракеты первого салюта...

Ложась спать, Тамбиев ставил телефонный аппарат рядом с кроватью: Грошев мог позвонить и ночью. Тамбиев давал себе на сборы десять минут: пять на одевание, пять на дорогу — с шестого с половиной этажа, где он жил, до подъезда отдела печати за пять минут управишься вполне.

В этот раз телефон зазвонил, едва Тамбиев лег.

— Николай Маркович, да неужели вы уже спите? — голос Грошева, казалось, лишен юмора. — Честное слово, позавидуешь вам: еще часа нет, а вы уже на боковую...

— Что... в отдел? — спросил Тамбиев, пытаясь нащупать в темноте кнопку настольной лампы, — в этом вопросе было нечто заученное.

— Какой там «в отдел»? К Глаголеву! Впрочем, вначале в отдел! Надеюсь, вы уже одеты?..

— «Одеты»! Я уже стою на площадке и запираю дверь...

— Ну, ну, эти ваши шуточки...

Грошев да неусыпный секретарь Вера Петровна с дежурной папиросой в желто-коричневых пальцах, разумеется давно погасшей, — вот и весь отдел печати в этот поздний час — сразу видно, что на фронте стало легче, раньше, что полдень, что полночь, все одно...

Губы Грошева стали совсем фиолетовыми, точно он вымазал их химическим карандашом.

— Погодите, что вы так смотрите на меня? Новохоперск. Вам это о чем-нибудь говорит? Новохоперск, я спрашиваю, говорит о чем-нибудь? — Однако вы слышаны достаточно о Новохоперске? — восклицает Грошев с нарочитым удивлением. — Так, может, вам и к Глаголеву ехать не надо? Ну, я от вас не ожидал таких познаний. Новохоперск на Дону!.. Погодите, может быть, вы еще что-то знаете о Новохоперске?

— По-моему, бригада Свободы, не так ли?..

Грошев едва удерживает свою кружку с чаем.

— Ну, а вот этого я от вас действительно не ожидал!.. Значит, бригада Свободы? Только подумать: такая эрудиция! Ну, Николай Маркович, вы меня удивили... И все-таки поезжайте к Глаголеву... Чем черт не

шутит, может быть, он обогатит даже ваши познания, а? Только вот непонятно одно, решительно непонятно... — Грошев снимает очки и принимается их протирать. — Глаголев как-то смутился, когда узнал, что едете вы... Не причуды ли возраста? Возможно, и причуды! С богом, с богом!

— На вас креста нет: второй час ночи, — возроптал Тамбиев.

— Ничего, поезжайте! — произносит неожиданно бодрый Грошев. — В отличие от вас, Глаголев ложится поздно... Я ему, разумеется, позвонил, попросил разрешения... Поезжайте!

Глаголев действительно не спит. Как некогда, на нем сиций пиджак, обсыпанный папиросным пеплом, — пепел белый, под цвет глаголевских седин. На столе оттиск газетного трехколонника. Трехколонник выправлен только что — Глаголев не успел убрать ручку с газетного листа.

— Этот ваш Грошев вроде меня: сам не спит и другим спать не дает! — смеется Глаголев. — Погодите, к спеху ли эта поездка? — спрашивает он и смотрит на Тамбиева испытующе, точно хочет сказать: «Что-то вы затеяли непонятное, друг милый. Не многочтимый ваш шеф, а именно вы...»

Тамбиев решительно отказывается что-то понимать, и потом эта реплика Грошева насчет того, что Глаголев смутился, узнав, что едет Тамбиев... Нет, тут есть над чем подумать...

— По-моему, вы хотите открыть мне тайну, не так ли? — спрашивает Тамбиев.

Глаголев мрачнеет.

— Однако начнем!.. К делу! — он хочет повернуть разговор к сути. — Ну, что вам сказать о Новохоперске? Чехи летят с вами? По-моему, должны лететь. Там ведь эти учения... перед уходом на фронт, не так ли? Значит, Новохоперск?.. «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет».

Он задумался. Ну вот, пришло в движение это его чисто профессорское качество: коротко изложить суть дела. Грошев все рассчитал верно. Так, как знает эту проблему Глаголев, никто ее не знает. Сейчас он докажет это. Глаголев говорит...

Истинно, сшиблись в донской степи страсти роковые. Почин сделали чехословацкие коммунисты: они

послали в батальон своих товарищей. По правде говоря, их была горстка: человек тридцать. Все, кого жестокой волной прибило к русскому берегу. К ним присоединились волонтеры из чехов и словаков, проживавших в России. Их было у нас не так уж много, но они были. Возник батальон, тот самый, знаменитый, что был в деле на Мже, под Харьковом, а если быть точным, то в Соколове... Вот эти чехи и словаки, хлебнувшие лиха в Соколове, и составили ядро бригады, что стоит сейчас в Новохоперске. Но там ведь ныне не батальон, а бригада. Кто остальные?.. Все больше пленные, но не только они. Дали знать о себе лондонские чехи — сподвижники Эдуарда Бенеша. В Новохоперске сейчас есть и они. Глаголев видел некоторых в Москве; впрочем, среди них были и такие, которых он знал еще по Праге. Наверно, к чехословацким военным не очень подходит этот термин: «военная аристократия», но иного Глаголеву сейчас не найти. Именно военная аристократия, берущая начало в событиях за Уральским хребтом... Впрочем, тогда называли их определеннее: белочехи... И они попали сейчас в Новохоперск через Лондон. Возможно, их там и не превеликое множество, но они там есть, и все, что происходит в Новохоперске, для них грозно.

— Не смейтесь, пожалуйста, надо мной, я все-таки скажу, что думаю,— сказал Глаголев в заключение.— Да, этот степной городишко, называемый Новохоперском, сегодня очень точно отражает завтрашний день Европы. Кстати, человек наблюдательный там увидит и Чехословакию, какой она будет завтра, а может, послезавтра. У вас преимущество передо мной — я имею в виду возраст. Используйте это преимущество в полной мере и проверьте старика.— Он поднял ладонь, дав понять, что сказал не все, и, пройдя к письменному столу, сел.— Как джентльмен я должен вас предупредить: если вы полагаете застать в Новохоперске Софочку, вас ждет разочарование, ее там уже нет...— Он склонился над листом бумаги, писал торопливо, стараясь успеть к уходу Тамбиева.— Письмо передадите в Новохоперске, для Софы...— произнес он, подняв глаза на Тамбиева, неожиданно пристальные, таких глаз у Глаголева не было.— По-моему, это не сложно — там все друг друга знают,— добавил он и, выдвинув большой ящик стола, не без труда разы-

скал там конверт, странно выцветший, бог весть сколько пролежавший в столе.— Буду благодарен...— протянул он письмо, когда адрес был написан, а письмо запечатано.

И вновь Тамбиев ощутил взгляд его пристальных и, так показалось Николаю Марковичу, недобрых глаз. Именно недобрых... Что-то Тамбиеву открылось в нем такое, что было не понято прежде. Ну конечно, он увидел сейчас в Тамбиеве сторонника Александра Глаголева и заподозрил бог знает что... Нет, тут скрестились не любовь к Софе и безразличие к ней, скрестились понимания того, что есть Софа. Но вот вопрос: если Глаголев так уверен, что поступил верно, откуда тревога, которую заметил в Глаголеве Тамбиев?

Казалось, самолетные винты были запущены не на полную мощность, и чешская речь, которая сейчас звучала рядом, речь чем-то понятная и вместе с тем труднодостижимая, создавала впечатление своеобразного мира. И Тамбиев вдруг подумал: а ведь отныне это Софин мир. И потому, что эта мысль явилась к нему, он вдруг почувствовал, что мир этот не так уж безнадежно отдален от него, больше того, он ему и близок, и дорог, как, наверно, есть незримые, но ощутимо прочные узы, которые связывают его с этими людьми и со всем тем большим и добрым, что является их сутью.

Когда самолет взлетел и настала пора дорожных разговоров, Галуа, занявший место неподалеку от Тамбиева, заметил, что их спутниками являются «видные чехи». Из тех, кого назвал Галуа при этом, Николай Маркович знал в лицо только Зденека Нееды — профессор после оккупации Праги жил в Москве, преподавал в Московском университете и подчас выступал с публичными лекциями в университетском клубе. Дважды лекции профессора слушал и Тамбиев.

— Вчера московское радио передавало сметановского «Далибора», профессор...— сказал Тамбиев, останавливаясь подле Нееды.

Профессор улыбнулся — ему было приятно замечание Тамбиева, он все понял.

— Вы, как я понимаю, слушали мою лекцию о Сметане, молодой человек?

— Слушал, профессор.

— Благодарю вас, благодарю... Да что вы стоите? Присаживайтесь.— Он обратился к своему соседу, который, склонившись над газетой, дочитывал статью: — Товарищ Клемент, вот молодой человек... дипломат слушал мою лекцию о Сметане...— Он дождался, пока его сосед оторвется от газеты и взглянет на Тамбиева,— глаза у соседа, как заметил Николай Маркович, были строго внимательными, даже чуть-чуть испытующими.— Вы не знакомы? — спросил Неедлы Тамбиева.— Товарищ Готвальд, Клемент Готвальд...

Человек привстал, пожимая руку Тамбиеву.

— Вы бывали в Новохоперске? — Готвальд положил газету на колени, дав понять, что не торопится ее дочитать.

— Впервые, товарищ Готвальд.

— Новохоперск для нас важен,— заметил он — его речь была экономной отчасти и потому, что ему трудно было говорить по-русски бегло.— По-моему, здесь вся мировая пресса,— сказал он и обвел взглядом корреспондентов.— Мы возлагаем надежды на... Новохоперск,— он посмотрел вперед, точно увидел перед собой степной город на Хопре.— Очень хорошо, что вы это организовали, товарищ...

— Очень хорошо,— подтвердил профессор и, заметив, что Тамбиев еще не сел, произнес: — Садитесь, товарищ... Можете сесть вот здесь,— он показал на место рядом с собой...

— Вы читали... простите,— указал Тамбиев на газету в руках Готвальда.

— Ничего,— Готвальд неторопливо поднял газету, углубился в чтение; голос у него был устало-глуховатый, неторопливый. Он будто бы избрал такую интонацию и такой темп речи, чтобы иметь возможность каждое слово как бы взять на ладонь, взвесить. Вот и сейчас он сказал то, что должен был сказать: «Очень хорошо, что вы это организовали, товарищ...» — и возвратился к газете, поручив собеседника Неедлы.

Профессор оглядел Тамбиева, любуясь его новой формой.

— О, вы... дипломаты! — произнес он восхищенно.— В наше время только вы и способны на чудо! Что вы так смотрите на меня? Я знаю, что говорю: только вы!

Он был очень забавен в эту минуту: в его круглую, точно очерченную циркулем, голову были вписаны круглые оправы роговых очков, а из них, из этих оправ, были обращены на Тамбиева удивленно-робкие глаза, тоже совершенно круглые.

— Это как же понять... «чудо»?

Неедлы засмеялся:

— Чудо в самом классическом его виде! Разве не понятно? Похоронить человека, а потом его... воскресить!

— Был такой случай!

— Конечно же.

— С кем?

— Со мной. И воскресили меня вы...

— Э-э-э... Профессор, теперь вы от меня не отдаетесь: я хочу, чтобы вы рассказали, как я это сделал...

Неедлы посмотрел на своего соседа: тот был занят чтением. Видимо, профессора это устраивало. Он потер подбородок, как показалось Тамбиеву, нервно: в том, что хотел рассказать профессор, видно, было не так уж много веселого.

— Знаете, есть понятие, вызванное к жизни даже не человеком, а живой природой: свой — значит, родной; посторонний — следовательно, чужой... — произнес Неедлы. Он свободно говорил по-русски, слова ложились легко, только способность тонировать речь была не русской — как заметил Тамбиев, эта интонационная манера у каждого языка была своя, — но перенеси эти слова на бумагу, и, пожалуй, не обнаружить, что их произнес чех.

— Вы сказали: свой и чужой? Значит, того, чья судьба тебе безразлична, бросишь, а того, что у тебя вот здесь, у сердца... наверно, оставить не просто, так? — спросил Тамбиев — любопытно, какими тайными тропами шла сейчас мысль профессора.

— Если бы вы знали, товарищ, как близки вы к тому, что я хотел бы вам рассказать... — заметил Неедлы, воодушевляясь, и опять посмотрел на Готвальда. — Смысл того, что есть для Чехословакии Мюнхен, истинный смысл, где-то здесь, товарищ...

— Мюнхен? — повторил Тамбиев и умолк, задумавшись: вспомнил сентябрь тридцать восьмого, мюнхенский сентябрь, авиаинститут, где служил в ту пору,

ощущение предгрозя, — признаться, Николай Маркович думал тогда, что войны в тот год не избежать — мы готовы были помочь Чехословакии. — Я могу вам этого и не говорить, но коли вы заговорили сами, скажу, профессор...

Неедлы встревожился — он знал, что в разговоре возникло нечто значительное:

— Да?

— Я был в тот год в армии: мы готовы были выступить...

— Значит, своих не бросают? — спросил Неедлы, помедлив.

— Не бросают.

Неедлы потер подбородок.

— Теперь самое время рассказать о том, как вы меня воскресили, товарищ...

Он долго молчал, шевеля губами. С каждым движением губ щеточка усов будто становилась жестче, колючее — он волновался.

— Это было в тот самый день, когда наци вошли в Прагу, в тот самый день... — начал он чуть внятно. — Позвонили из вашего посольства: «Профессор, что вы намерены делать? Что?.. Тогда немедленно приходите в посольство». Это было небезопасно, но я пошел. В Праге было тепло, но я оделся, хорошо оделся, как будто мой путь лежал не в посольство, а много дальше... Одним словом, я дошел. «Профессор, не вам объяснять, надо ехать...» — «Каким образом?» — «Это мы возьмем на себя. Вы готовы?..» У меня не было выбора. «Да, я готов». И вот тут меня уложили в гроб, пообещав воскресить. Ну, это был не гроб в обычном смысле этого слова. Просто меня уложили на дно грузового автомобиля и зашили досками — второй пол! Смею думать, эти молодые интеллигенты из посольства сами были когда-то плотниками, они это сделали чисто, потому что наш грузовик прошел Чехословакию и благополучно пересек границу, хотя по нему стучали кулаками и прикладами через каждые пять километров. Вот так меня и воскресили. Повторяю, посол к этому не имел отношения, все сделали эти молодые люди, мастера по части чудес. Если попросить хорошенько вас, вы, пожалуй, тоже способны отправить в преисподнюю, а потом возвратит как новенького, а?

Он даже не улыбнулся. Действительно, в рассказе

было не так уж много юмора, хотя речь шла о воскрешении, как это воскрешение сотворили дипломаты, которые, если верить профессору Неедды, были еще и хорошими плотниками.

— Когда Даладье возвращался из Мюнхена в Париж, он увидел с самолета аэродром, заполненный людьми... Ему показалось, что Париж пришел его бить, и он просил летчиков сделать еще два круга над городом, чтобы заготовить речь в свое оправдание... Нашептывая нечто бессвязное, он сошел с самолета и отдал себя во власть толпы, которая подняла его на руки, приветствуя... Оказывается, она и не думала бить его, она пришла его чествовать...

Как ни велика была эта толпа на аэродроме Ля Бурже, она еще не была Парижем. Даже больше: не она была Парижем. Семьдесят один коммунист, все семьдесят один проголосовали против. Правда, вместе с ними поднял руку антикоммунист де Кериллис, строптивец де Кериллис, но на это хватило только его... Вот вам задача для раздумий: древний ритуал заклания... и свобода, которую заклание не дает. Когда говорят, что Мюнхен это пакт, я смеюсь. Мюнхен — это религия, это знак, который отличает одного человека от другого. Мюнхен — это вера, которую вызвал страх, при этом не только перед фашизмом и не столько перед фашизмом... Я скажу больше: Мюнхен будет жить даже после того, как фашизм погибнет. Да во Франции и во французах ли дело? Те, кто сделали Мюнхен своей верой, есть даже в Чехословакии.

— В Чехословакии Мюнхен? Вы не ошиблись?

— Нет, не ошибся. Не могу ошибиться... Ну вот Новохоперск, подходящее ли место для тех, кто исповедует Мюнхен, но осмотритесь хорошенько...

— Они есть там?

— Есть.

Подошел Баркер. Он издали наблюдал за разговором Тамбиева с профессором, стараясь улучшить минуточку и подойти, — из тех корреспондентов, кто летел сейчас в Новохоперск, никто не знал чехословацкие дела так хорошо, как Баркер, — годы, прожитые в Праге, были дороги ему. Весьма возможно, что Баркеру был знаком и Неедды.

— Здравствуйтесь, профессор, — он почтительно и осторожно пожал руку профессора, с нескрываемым

любопытством обратил взгляд на Готвальда и, встретившись с ним глазами, поклонился.

— Друг Баркер, жил в Праге...— сказал Неедлы, представляя его соседу,— Клемент Готвальд.

— Тот, кто жил в Праге, не теряет надежды туда... вернуться,— произнес Готвальд по-русски — последнее слово далось ему с трудом.— Не правда ли?..

— Правда, благодарю вас,— подхватил Баркер, радуясь встрече.

— Вы выдаете нашего Бедржиха, пан Баркер? — спросил Неедлы: человека, которого профессор назвал приятельски фамильярно «наш Бедржих», очевидно, близко знали оба.— Пришел как-то в марте ко мне. «Хочу в армию!» — «Ну где тебе, Бедржих? Вот мне шестьдесят пять уже, а тебе, пожалуй, все семьдесят, а?» — «Семьдесят два, профессор».— «Ну вот и сиди и пиши свои книжки о моравских ячменях».

— Хорошая душа Бедржих! — воскликнул Баркер.

— Хорошая душа, хорошая! — согласился профессор.

— Вы и по-чешски не поговорили, а вам, наверно, хотелось поговорить по-чешски...— сказал Тамбиев, откланиваясь; щадя самолюбие Тамбиева, Неедлы и Баркер не могли себе позволить говорить по-чешски.

— У нас еще будет время поговорить и по-чешски, и по-русски,— сказал профессор и наклонился, всматриваясь в иллюминатор.— По-моему, Новохоперск где-то уже рядом.

— Простите, это Готвальд? — спросил Тамбиева Клин, когда Николай Маркович возвращался к своему месту. Клину была введена в Москве дорога к знойному солнцу, он ухитрился загореть в Москве так, как никто не загорал,— загореть и похудеть — его темно-коричневые щеки ввалились, и от этого как-то увеличился глаза и белки стали ярче обычного.

— Да, Готвальд, а рядом Неедлы, профессор Зденек Неедлы,— заметил Тамбиев, еще не очень понимая, почему сидящие вдалеке чехи возбудили в Клине такой интерес...

Самолет приземлился, и с десятков «виллисов» умчались корреспондентов на окраину белостенного степного города, с пыльными акациями и колодцами на скрещении улиц, с подсолнухами на огородах, по-августовски тяжелоголовыми. Только вот чешская речь, не обильно пересыпанная такими славянизмами, смысл

которых нами не столько понимался, сколько угадывался, только чешская речь да непривычная форма военных, на западный манер просторная, не обремененная металлом и кожей, форма, которую военные носили со штатской свободой и непосредственностью, делали этот южнорусский город не совсем русским. А потом все пошло как по маслу. Корреспонденты были приглашены на учения бригады, которая действовала с покоряющей точностью и отлаженностью: атака невидимого противника, взаимодействие с соседом слева и соседом справа, отвлекающий удар и удар истинный...

И в качестве заключительного аккорда — парад войск, участвующих в учении. Движение войск дух захватывало: эта новенькая форма, этот строй, который был так верен, точно вначале был вычерчен на ватмане, этот шаг, одновременно и свободный и твердый, создавали впечатление монолитности, профессиональной, моральной, всякой иной, — не хотелось думать, что многие из тех, кто составлял эту армию, взяли в руки оружие раньше, чем хотели бы. А если уж суждено было его взять, то, может быть, был смысл сделать это не здесь... Между тем оркестр был полон огня, всесильный барабан и звонкоголосые литавры отбивали такт с такой страстью, а трубы, подхватывающие мелодию, увлекающие марширующих, были так ладны, певучи, что, честное же слово, не хотелось думать о великих тяготах войны.

Одним словом, праздник удался, и русские хозяева белостенного городка по законам гостеприимства, столь щедрого в этих степных местах даже в нынешнюю тяжкую пору, увели гостей в рощу, возникшую в открытой степи. Эта роща с озерцом в центре возникла так неожиданно и столь резко контрастировала со степным характером здешних мест, что казалась рукотворной.

Почтенное общество, состоящее из корреспондентов и военных, еще сидело за столом, поставленным в тени дубов и лип, когда Тамбиев разыскал медсанбат и темно-русую девушку в крахмальном халатике, подпоясанном бинтом.

— Вы Прохазкова? — спросил Тамбиев и, дав понять девушке, что хотел бы с нею поговорить наедине, произнес: — Вам — письмо...

Девушка искоса взглянула на Тамбиева прищуренными серо-синими глазами.

— Письмо? — переспросила она, не двигаясь с места. — Письмо... — Она взглянула на адрес. Он ей ничего не сказал. Взяла со стеклянного столика длинные медицинские ножницы и отстригла краешек конверта. — Вы... Тамбиев? — спросила она, улыбнувшись.

— Да.

— Я узнала вас по форме... сразу.

Тамбиев обрадовался: значит, Софа говорила о нем.

Они вышли и побрели вдоль домов. Дома были одноэтажные, кирпичные, под крашеным железом. Белая тройка, утоптанная до блеска, вела к крайнему дому.

— Вы... увидите ее? — спросил Тамбиев.

— Да, еще в августе.

— И у вас будет там адрес?

Девушка засмеялась: в вопросе не было ничего смешного, но ее реакция была бурной.

— Будет. Вот он: а-у-у-у!

Тамбиев не мог не улыбнуться: все понятно. Софа рассказала ей о полуночном разговоре там, на Кузнецком, у Софы было желание рассказать, а это, наверно, говорит о многом. Он хотел верить: о многом.

— Что она вам сказала еще? — спросил он и не мог не упрекнуть себя: эта торопливость, пожалуй, могла ее встревожить.

— Она сказала что чувствует себя виноватой... — произнесла Прохазкова. Он не заметил в ее говоре акцента.

— Перед кем?

— Перед вами... Она пробовала писать вам, но потом все изорвала... — Прохазкова обратила взгляд на степь, что стлалась перед ними, ровная, предвечерняя, затканная пыльным солнцем. — Какая-то она... особенная, таких нет сейчас! — произнесла девушка, как что-то сокровенное. — Был у нас тут офицерский вечер, так она надела голубое платье с блестками и серебряные лодочки — прелесть! А когда начались танцы, надо было видеть Софу. Принцесса в серебряных туфельках! Да что Софу? Надо было видеть в эту минуту чешское офицерство!.. Есть у нас русский, капитан Прохоров, помогает чехам осваивать наши парашюты,

так он сказал ей: «Сонечка, вся вы какая-то... бывшая!» Ну, Прохоров Прохоровым, а я бы сказала по-иному: есть в ней что-то старомосковское — тот век!.. — Девушка все еще смотрела в степь, над которой удерживалось, становясь золотистее от закатного солнца, предвечернее марево. — А потом этот Прохоров взял ее вместе с парнями и девушками на свой фанерный самолетик и сбросил на парашюте вот над этим выгоном... Принцессу в серебряных туфельках! А вечером, когда собрались ужинать, села она рядом и, тыча своим острым плечом, шепчет: «Мне не страшно, только сердце не могу остановить после прыжка... дрожит, как лист на ветру!» А собралась в дорогу, ничего с собой не взяла, только платьице с блестками и туфельки...

Степь уже дымилась предвечерними дымами, теплыми, пахнущими пылью и осенней благодатью. Где-то в стороне шло пыльное облако и хлопал кнутом пастух, устало покрикивая: «Го-о!.. Го-о!»

— У нее была толстая тетрадка — она просила отослать ее отцу...

— В Москву?

Девушка помедлила с ответом:

— Нет, на Псковский.

— Эта тетрадка должна была... все объяснить Александру Романовичу?

Она остановилась:

— По-моему, да.

— Он... не знает? Он ничего не знает?

— Мне кажется, нет, — ответила Прохазкова.

Значит, все свершилось без ведома Александра Глаголева. Без его ведома и, быть может, вопреки ему...

Солнце уже нацелилось на свою закатную отметину, когда в степи у бронетранспортеров, поставленных так, чтобы защитить гостей от ветра, началась пресс-конференция.

Перед корреспондентами выступил командир Людвик Свобода, которого все наши на русский манер звали Свобода, недвусмысленно показывая, что они хотели бы видеть в его имени некий символ. Весь день Свобода был с войсками и явился на пресс-конференцию, не успев сменить полевой формы, которая,

казалось, еще дышала степной пылью и привядшими августовскими травами. Свобода говорил с тем благородством и простотой, которые так были свойственны его облику. Он говорил о делах чисто военных, полагая, что корреспондентам это должно быть интересно: как возник чехословацкий батальон и как он выступил на фронт, как батальон получил свое первое боевое задание и что этой боевой задаче сопутствовало... Не минул он и того, что звалось у военных боевым опытом. Командиру казалось важным подчеркнуть, насколько этот опыт (Свобода назвал его скромным) был использован бригадой. Свобода, можно было подумать, понимал, что у проблемы, которой он коснулся, был политический, даже больше — политико-дипломатический аспект, но он не считал нужным его касаться. Одним словом, перед корреспондентами выступал военный, для которого не было задачи насущнее, чем та, которую ему предстояло решить. Он словно говорил: допускаю, что есть и иные проблемы, но мне пока не до этого.

Свобода говорил сжато — через три дня бригада должна была выступить, и времени у него было немного, — но, закончив, сказал, что готов ответить на вопросы. Жара спала, и можно было выйти из тени, Свобода отошел к столу, по степному обычаю врытому в землю, когда-то здесь определенно был полевой стан. За таким столом хорошо перед закатом вечером: пить холодное молоко с серым пшеничным хлебом, резать крупными скибами арбуз-астраханец, а то и дыню-зимовку, в паутинке трещинок, со сладкой зеленоватой сердцевинкой. Беседа ладилась не споро, но живой интерес давал ей силу: те несколько человек, что сидели сейчас рядом со Свободой, хотели разговора. Но разговора хотели не только они. От площадки, где стояли бронетранспортеры, по степи разбежались тропы. Корреспондентам даже не требовались переводчики. Те из офицеров, кто приехал из Лондона, знали английский достаточно. Что же касается тайны, то степь безбрежная, казалось, готова была на веки веков похоронить тайну того, что в этот сумеречный августовский вечер было произнесено...

Вылетели в полночь, рассчитывая быть в Москве на рассвете. Как ни тяжел был день, корреспонденты не спали. Все прошло настолько тихо и мирно, что не бы-

до причин для волнения, но волнение было, как было и беспокойство. Справа по борту самолета высвечивала луна, крупная, на взлете.

Тамбиев теперь сидел с Баркером у той передней стойки, где по дороге из Москвы в Новохоперск разместился профессор,— чехи остались в Новохоперске, и сейчас стойка была свободна.

— Вы заметили: там кровь течет рекой...— сказал Баркер Тамбиеву.— Там...— он ткнул большим пальцем через плечо в хвост самолета.

— Вы имеете в виду... Новохоперск? — спросил Тамбиев.

— Конечно-о! — Тамбиев заметил, что Баркер любил русские слова, оканчивающиеся на звонкую гласную и по возможности могущие заменить фразу,— при том запасе русских слов, который был у англичанина, это было важно.— Армия — вот... задача-а-а! Какой она должна быть...

— А какой она должна быть? — улыбнулся Тамбиев.— Даже интересно: какой?

— Вот эти... лондонские чехи, лондонские!..— он не без удовольствия повторил «лондонские!» — он был рад этой своей находке.— Армия должна быть в большей мере профессиональной и не такой откровенно политической, говорят они.

— В большей мере профессиональной, а значит, в большей мере кастовой, военно-аристократической, вроде той, какая однажды была в России? — спросил Тамбиев, он полагал, что может сказать это Баркеру.

Баркер молчал; сравнение, к которому обратился Тамбиев, было резким, но оно было верным.

— Такой армии не будет? — спросил Баркер.

— Может быть, она и будет... где-то, но в Новохоперске ее не будет,— засмеялся Тамбиев, да так громко, что из полутьмы возник Галуа.

— Над кем смеетесь? — спросил Галуа весело:— Надо мной смеетесь?

— Если в той армии, которая хотела завоевать Сибирь, у тебя были родственники, тогда смеемся над тобой! — ответил Баркер.

— Были, разумеется, как у каждого русского буржуя!..— засмеялся Галуа — ему понравилась баркеровская реплика.— А если кроме шуток, то эти лондонские чехи в панике... Не правда ли?..— он вонзил в

Тамбиева свои глазки — ему очень хотелось вклинить-ся в разговор, и он это сделал не без искусства. — Что же вы молчите? Я спрашиваю вас: не правда ли?

— А чего им быть в панике? — спросил Тамбиев.

— Как чего? — почти возмутился Галуа. — Как чего?..

— Действительно, чего им быть в панике?.. — повторил свой вопрос Тамбиев.

— Ну, вы... так и не понимаете, да? Не понимаете? Нет, Красная Армия еще не войдет в Чехословакию, она только появится в Кошице или там в Банска-Бистрице, а чешские рабочие дадут этим самым лондонским чехам такого пинка, что они этак сделают кульбит и опустятся в Лондоне!..

— Значит, кульбит? — засмеялся Баркер. — Это хорошо: кульбит!

И уже Клин, упираясь вытянутыми руками в потолок и как бы вышагивая ими, подобрался к скамье, где сидели Тамбиев, Баркер и Галуа.

— You have said: «Кульбит!» Is it about me? Вы сказали «Кульбит!» Это обо мне?.. — ткнул он кривым перстом в Баркера.

Галуа усмехнулся, мигом встал на одну ногу, опершись для прочности ладонью в потолок.

— Глуп ты, Клин, как пробка! — произнес он по-русски. Весь фокус был в том, что фраза была непонятна Клину, — по-английски, пожалуй, Галуа сказать так не решился бы.

— What is it «пробка»? Что такое «пробка»? — спросил Клин, трезвея.

— Please, take a sit here!.. Присядь вот здесь, пожалуйста! — сказал Галуа Клину и даже дотронулся до его плеча, но Клин продолжал стоять. — Please... — Он подергал плечами, точно пытаюсь согреться. — Речь идет о чехословацкой армии... понимаешь? — заговорил Галуа по-английски. — Там ведь разные люди, в этой армии. Одни хотят быть Красной Армией Чехословакии, а другие не хотят...

— Нет, нет, погоди, Галуа, о какой Красной Армии ты говоришь? — вдруг вспыхнул Баркер. — В Новохоперске мы видели армию республики, не так ли?..

— Все ясно... — мрачно произнес Клин, глядя на Баркера. — Вот это и есть «кульбит»!.. Я говорю «кульбит»!

Баркер встал.

— Что вы имеете в виду?

— А то, что для тебя, Баркер, безразличны муки этих людей, ты понимаешь, муки... — он держал у груди Баркера палец, точно дуло пистолета. — А ведь это наши друзья...

— Это твои друзья, Клин. — Баркер ушел.

— Что ты сказал? Повтори! — Клин рванулся в сторону Баркера так, что самолет, казалось, накренило.

Встал Хоуп, оторвавшись от книжки, которую читал. Казалось, этот человек не произнес за всю поездку ни слова: в самолете был прикован к книге, которую впитывал с хмурой сосредоточенностью, там, внизу, в степном городке, не столько говорил, сколько слушал да смотрел, тоже с хмурой пристальностью.

Встал Хоуп. — было не очень понятно, как он проник в смысл того, о чем говорили Клин и Баркер, — книга, которую читал, должна была лишить его слуха.

Он встал и решительно приблизился к Клину.

— Вот что, Клин: видишь люк? — он указал себе под ноги. — Люк открывается. Ты понял меня? Спусти и даже парашют не дам в дорогу! Спусти, и никто тебя не защитит. Можешь спросить у них: никто. Ты понял меня?

Клин онемел. Лунный луч все еще врвался в самолет, пересчитывая тех, кто сидел на железной скамье.

— И вы не защитите? — взглянул Клин на Тамбиева.

— Мне, пожалуй, не справиться со всеми, — сказал Тамбиев, улынувшись.

— Понятно.

...На рассвете самолет приземлился в Москве.

Тамбиев появился в отделе, когда не было еще шести утра.

Вера Петровна, серая от бессонницы, прыгла черным сухариком, пытаясь с его помощью совладать и с голодом и со сном одновременно.

В кабинете Грошева тихо — точно загипнотизированные, безмолвствовали телефоны.

Грошев спал, прикорнув на диване. Он спал, не снимая форменного пиджака, аккуратно сложив ноги,

чтобы не помять тщательно отутюженных брюк. Его роговые очки сползли на кончик носа, отчего он разом стал старше. Смуглые руки он беспомощно-робко держал у груди, как держал их, наверно, еще в утробе матери. Не иначе, засыпая, человек забывает, кто он есть, и принимает позу, какую принял, сделавшись человеком. Вопреки возрасту, вопреки опыту жизни, вопреки знаниям, которые накопил, вопреки положению, которого достиг и не забыл обозначить на погонах, чтобы, так можно подумать, во время сна, когда он не в состоянии это помнить, другие помнили. И оттого что он принял эту позу, не сняв пиджака с погонами, хотелось улыбнуться. Всего лишь улыбнуться, потому что над Грошевым грех было смеяться — он был человеком добрым...

Тамбиев не помнил, долго ли он просидел поодаль от дивана, глядя, как спит Грошев, но тот вдруг проснулся.

— Вы... уже приехали?

— Как видите.

— Хорошо.

Он сел.

— Вы помните, я как-то говорил вам: отдел должен знать, где вы находитесь, и в том случае, когда вы в Москве?

— Помню.

— Я повторяю вам это еще раз — это важно.

— Ленинград... Андрей Андреевич?

Грошев смешался.

— Я этого не сказал...

— И на том спасибо.

Тамбиев откланялся, вышел и едва не столкнулся в дверях с Кожавиным. В одной руке у Игоря Владимировича карандаш, в другой — инкоровская телеграмма.

— Николай Маркович, поздравляю: вы летите в Ленинград.

— Но Грошев не подтвердил.

— Ну, сделайте ему приятное: пусть думает, что это все еще секрет, — произнес Игорь Владимирович и посмотрел на дверь грошевского кабинета, из которой только что вышел Тамбиев. — Иначе ему не интересно.

Вот он, Грошев! Убедил себя: его пост тем важнее,

чем большим числом секретов он владеет. Не имеет значения, что половина этих секретов уже известна. Главное верить, что это секреты...

У Бекетова возникла возможность поехать в Москву вместе с Екатериной, впервые после того, как она обосновалась в Лондоне. Обидно было не воспользоваться этим. Если три года являются тем сроком, которым часто отмерено пребывание дипломата за рубежом, то у Бекетова этот срок медленно приближался к концу. Был резон приехать в Москву уже теперь, побывать на старой квартире, в которой все эти годы царил превеликое запустение, может быть, дать работу штукатурам и малярам...

Бекетовы поехали, попросив чадолюбивых Компанийцев присмотреть за Игорьком. Те согласились: было известно, что Игорь вполне самостоятелен и присмотр за ним особых хлопот не составит.

Они прилетели на исходе дня и отправились на Остоженку, надеясь отдохнуть после дороги и уже завтра сообщить о приезде близким, тем более что завтра было воскресенье. Но наивные Бекетовы обманывались, полагая, что об их приезде никому не известно. Был уже одиннадцатый час вечера, и они готовились лечь спать, когда раздался стук, сдержанно-корректный, но настойчивый.

— Бекетов, Сергей Петрович?.. Вас просят: машина внизу.

Екатерина заметалась. Однажды это уже было, почти так же.

Сергей Петрович взглянул на жену: лицо ее стало красным.

— Да ты что? В феврале, когда меня... пригласили, всё было, как теперь.

— Нет, в феврале было не так.

Он ушел. Он был почти уверен: ничего чрезвычайного не произошло. Непонятным было только одно: зачем это надо обставлять таким образом?

— Куда едем... в Кремль или, может быть, в Кунцево? — спросил Бекетов, садясь в машину.

И после долгой паузы:

— В Кунцево, Сергей Петрович.

Ну, слава богу. Кунцево, пожалуй, важно, но важнее последнее: Сергей Петрович. И вновь вспомнилась Екатерина. Как она там сейчас?

Машина свернула на Большую Садовую и старым Можайским трактом устремилась из Москвы.

Кунцево.

— Сергей Петрович? Придется подождать. Генштаб: вечерний доклад. Слыхали, наши Смоленск взяли? Чаю не хотите?.. Могу предложить с лимоном. Нет?

Распахнулась дверь: в самом деле, выходили генштабисты. Нет, дело даже не в картах, которыми они были вооружены. Была, как заметил Бекетов, в генштабистах некая щеголеватость, которая с неудачами, казалось, покинула наших военных прочно. Может быть, потом она возвратится, эта щеголеватость, и к другим военным, но теперь вот, в эту осень сорок третьего, Бекетов приметил ее в генштабистах. Ну что же, главное, чтобы она возвратилась. Сама по себе она, возможно, ничего и не значит, эта щеголеватость, но как признак иного душевного состояния важна. Когда на сердце камень, козыряться не будешь, да и на форму не обратишь внимания. Коли стал замечать на себе форму, значит, камень сброшен, а это уже хорошо.

— Заходите, пожалуйста, Сергей Петрович.

Последний из них оставил дверь полуоткрытой, точно приглашая Бекетова войти, — видно, Сталин обмолвился о Бекетове, может быть, даже сказал, что ждет его.

— Заходи, заходи, Сережа... — произнес Сталин, идя Бекетову навстречу, — собственно, Сергей Петрович уже wszel, и в словах этих не было необходимости, но Сталину нужно было их произнести — в словах была мера радушия. — Вот листал сейчас «Витязя»... Чаю хочешь, Сережа? Дайте нам чаю! В свое время я читал отписки этой книги и обратил внимание... на эту строфу... Они же пронумерованы, эти строфы. Сейчас скажу точно... Вижу: не то! — Он поднес книгу к свету, наморщил нос, выражая крайнюю степень брезгливости. — Не по-русски! Давно не писал стихов, а тут решился! Понимаешь, Сережа, взял и перевел! Вот послушай...

Он прочел, захлопнул книгу, небрежно опустил ее на стол:

— Ну как, Сережа, а?

— Тут необходимо слово поэта...— сказал Сергей Петрович, помедлив, чувствуя, сколь пристален обращенный на него взгляд.— Поэт бы оценил!

Сталин хмыкнул.

— Значит, поэт бы оценил?— переспросил он без иронии— ему особенно не понравилось бекетовское «оценил».— Ну, бог с тобой, хитрый Бекетов! Хитрый...— Он подошел к столу и отодвинул книгу на середину, давая понять, что она его уже не интересует.— Послушай, Сережа, а как себя чувствует этот человек, за которого ты просил тот раз, а?.. Ну, этот... Сорокин или Воронин, а?..— Ему надо было переключить разговор со стихов на что-то такое, где бы они были в большем согласии,— надо было сохранить контакт для разговора, ради которого он пригласил сегодня Бекетова. Он полагал, что этому будет способствовать диалог о стихах, но ошибся.

— По-мсему, он работает, и хорошо работает,— сказал Бекетов.

— Да, он хороший работник и хороший человек,— произнес Сталин; похвала эта, если учитывать, что он обратился к ней без крайней надобности, могла показаться чрезмерной. И Бекетов подумал, наверно, не впервые: если между гневом и великодушием нет даже и одного шага, то причины для гнева не могут быть серьезны. А если они не серьезны, то каково человеку, который стал жертвой гнева, каковы его земное существование, его судьба, наконец?— Вот военные говорят, что необходим удар на Киев,— указал Сталин взглядом на карту, лежащую на столе,— он все еще считал, что диалог «о Сорокине или Воронине», к которому он обратился из откровенно тактических целей, еще не создал того контакта с Бекетовым, который бы позволил ему перейти к главной проблеме сегодняшней встречи, и пошел по третьему кругу: военные дела должны были дать ему эту уверенность, он охотно обращался к ним и чувствовал себя здесь крепко.— Главное— преодолеть Днепровский рубеж. Если удастся, к весне мы выйдем к границе...

— Великое дело выйти к границе... товарищ Сталин,— произнес Бекетов; это «товарищ Сталин», как понимал Сергей Петрович, здесь было не очень уместно, но что делать, если он все еще не решил, как называть своего собеседника.— Это даст такие силы, каких нет и сегодня...

— Тут есть один вопрос, Сережа...— произнес Сталин, приглашая Бекетова пересесть поближе к настольной лампе,— оказывается, «товарищ Сталин» его не покорило, оно его воодушевило. К тому же, как он точно рассчитал, от разговора о выходе войск на старую границу к тому, о чем он хотел говорить сегодня с Бекетовым, было рукой подать — мост следовало наводить теперь же, и он не преминул этим воспользоваться.— Не исключено, что в конце года я встречу с Рузвельтом и Черчиллем: надо договориться о самой сути, понимаешь, о самой сути. Как ты полагаешь, о чем могла бы идти речь?

Он и прежде умел сказать несколько слов и выразить ими существенное. Итак, о чем могла бы идти речь? Надо сказать так, как сказал он: коротко.

— Тут много проблем...— произнес Бекетов, как бы размышляя вслух.

— Много мне не надо.

— Если не много, то три,— заметил Бекетов.

— Три — это хорошо,— тут же отозвался Сталин.— Первая? — Он положил на стол руку у самой настольной лампы. Свет был ярким, и была хорошо видна тыльная сторона ладони, поросшая крупными волосами.— Первая? — повторил он требовательно.

— Все зависит от окончания войны, все проблемы. Немцы еще в Новороссийске... Первая: что надо сделать, чтобы добить немца...

— Да, да,— это первая,— подтвердил он — конечно же он понимал не хуже Бекетова, как важна эта задача, но хотел услышать это от Бекетова.— Вторая?..

— Границы...— сказал Бекетов.— Конечно, никакая граница не может быть сегодня щитом, но это важно... Граница — щит.

— Да, граница — щит,— подхватил Сталин — все емкое было ему по душе.— Третья? — он старательно загнул средний палец — при трех загнутых пальцах ему трудно было удержать остальные два,— оставаясь

полусогнутыми, они вздрагивали, рука была не такой крепкой, как казалось.

— Судьба Германии, Европы, мира,— сказал Бекетов,— заодно и судьба Британской империи и будущего колониального мира.

— Значит, три?.. Так. Очень интересно.

Казалось, разговор только начался и ничего такого, что Сталин не знал, Бекетов пока еще не сказал, тем не менее собеседник Сергея Петровича произнес воодушевленно: «Очень интересно!» Можно было подумать, что слова эти соотносились не столько с тем, что было сказано, сколько с тем, что будет сказано. Сталин должен был подойти к этому постепенно. У него была способность анализа логичного. Если бы он играл в шахматы, он был бы силен в позиционной борьбе. У него был план, и он умел, как говорят шахматисты, накапливать преимущества. Не будучи трибуном, он в открытом споре силой логики мог одолеть оппонента опытного. Было безнадежно сломить его, единоборствуя с логикой его доводов. Много легче давалась победа над ним с помощью средств, которые его недоброжелатели звали «средствами эмоциональными»: он мог отдать себя во власть неприязни, истинные причины которой не всегда были известны даже ему, подобострастия. Даже интересно, как столь примитивные средства могли действовать на него. Нечто вульгарное способно было сбить мысль и опыт, место которых, казалось, в природе всесильно. Чтобы усвоить нехитрые эти средства, не требовалось большого таланта. Бездарность единоборствует с опытом, больше того, над опытом берет верх, если есть особые условия. Наверно, эти условия были, при этом в самом человеке.

— А что будет для нас самым трудным, Сережа?— Сталину определенно нравилось произносить «Сережа» — казалось, оно возвращало к молодости, создавало иллюзию, что ничего с тех пор не изменилось, при этом и в отношениях с его сегодняшним собеседником.

— Наверное, разговор о границах,— сказал Бекетов не задумываясь.

— Значит, о границах?.. Так.— Он любил это «так» — оно как бы закрепляло в сознании мысль.— А что говорят об этом... там?

— Там говорят, что Сталин потребует новые границы в обмен на неоткрытие второго фронта.

Это его развеселило.

— Значит, взамен на неоткрытие второго фронта?.. Формула! — Он задумался. — Тут нам важно даже не мнение Черчилля, а мнение Рузвельта... Не так ли?

— Да, конечно, — согласился Бекетов. — Рузвельт будет возражать, тут у него особые причины, но он наиболее близок к тому, чтобы нас понять...

— Поймет он нас или не поймет? — произнес Сталин так, будто бы ему противодействовали не только Рузвельт с Черчиллем. — Тут мы будем стоять, как на Мамаевом кургане...

Бекетов подумал: это в его устах не шутка: «Как на Мамаевом кургане». Он сумеет дать бой и отстоять. Сумеет.

— Что еще? — спросил Сталин, — беседа набрала известную энергию, и Сталин мог спросить более чем лаконично «что еще», и собеседнику это должно было быть понятно.

— Германия... Режим Германии, — сказал Бекетов. — Тут у нас сильные козыри, и нам надо их пустить в ход, — добавил он даже чуть-чуть агрессивно. — Нужны гарантии, надежные, чтобы ее третий поход на Россию был исключен, да и не только на Россию...

— Германский вопрос? — задумался Сталин. — После первой войны ничего не придумали.

— Надо собрать германистов и придумать, — отозвался на реплику Сталина Бекетов. — Тут должна быть и у нас ясность... Наверное, мы знаем, что хотим, но как преломить это наше желание... и нам не очень ясно.

— Не ясно, — согласился Сталин — ему, наверное, было не просто вот так пойти за Бекетовым и сказать «не ясно», но он сказал. Он полагал, что даже тогда, когда ты со своим собеседником согласен, тебе не следует показывать это слишком очевидно, — каждое такое согласие как бы косвенно свидетельствует: твой собеседник обнаружил нечто такое, что не сумел обнаружить ты, а это уже плохо, поэтому независимо от сути беседы меньше «да», больше «нет». — Что еще?

— Важно видеть наши отношения с американцами

в деталях: не только разногласия, но и согласие... Может быть, согласие здесь даже более важно, ибо делает реальными наши требования...— сказал Сергей Петрович.— Если умело это использовать, выгоды могут быть заметными.— Бекетову не очень нравилось торгашеское словечко «выгоды», но у него не было времени искать другое.

— Какой вопрос? — спросил Сталин.

— Британская империя, судьба Британской империи,— заметил Бекетов.

— Колонии... Индия? — В его представлении, как и в представлении других людей его возраста, Индия была синонимом проблемы колоний.— Ну, у американцев свои причины, у нас свои...— возразил Сталин — в нем возникало желание оспорить какой-то из доводов Бекетова. Проблема колоний давала ему эту возможность — он считал, что проблема колоний какой-то гранью соотносится с другой проблемой, познанию которой он посвятил годы: национальный вопрос.— Это вопрос вопросов, Сережа...— Он задумался, должны были сложиться доводы, их он хотел сейчас высказать.— Пойми меня правильно,— произнес он, все еще не решаясь высказать сути, а Бекетов подумал: наверно, не часто он говорил своим собеседникам: «Пойми меня правильно», а вот сейчас сказал — что так? Знак уважения или веяние новой поры? — Наверное, неизбежно, что власть в колониях унаследует национальная буржуазия, всякие там индийские, индокитайские и индонезийские буржуа, и нам придется иметь с ними дело, а иногда и помогать им, но как это сделать, чтобы они не обратили нашу помощь против коммунистов?.. Я иногда думаю об этом — это не просто,— он сказал «это не просто», и Бекетов подумал, что это действительно не просто сегодня и куда как не просто будет завтра.— Конечно, Британская колониальная империя отправляется к праотцам, и мы с Америкой, пожалуй, заинтересованы, чтобы она быстрее оказалась у этого предела, но по разным причинам... Пойми, Сережа, по разным.

— По разным,— ответил Бекетов.— Но сама процедура разговора по этому вопросу дает нам некоторую возможность, чтобы искать контакта непосредственно с Рузвельтом, минуя Черчилля.— Он взглянул на Сталина, желая убедиться, что думает об этом его со-

беседник, но тот молчал.— Мне кажется, мы заинтересованы в таком контакте...

— Не наоборот? — улыбнулся Сталин.

— Нет.

— Хорошо...— Он встал, давая понять, что время беседы истекло,— давняя привычка расписывать свой день по минутам выработала у него это чувство времени, и часы ему нужны были разве только для того, чтобы отличить утренние сумерки от предвечерних. Текущее же время, он брал его как бы на слух. Эти своеобразные куски времени — четверть часа, полчаса, час — он определял безошибочно.— Вот сегодня лежал тут и вспомнил,— он небрежно указал на диван, некрепкие пружины которого как бы берегли едва заметную вмятину; это его замечание «лежал вот тут» призвано было как бы сблизить его с Бекетовым, показать, что и ему не чуждо все человеческое, ну, например, полуденный сон на старом диване, при этом даже вот таком старом и неприглядном, как этот.— Тут лежал и вспомнил оружейника Нила Травушкина. Ты помнишь, какие он делал ружья, Сережа?.. Как воронил, как гравировал, а? А из чего?.. Из труб водопроводных! И закалит, и отладит, и нарежет! Какой был способный человек! И куда он делся?..

Был первый час ночи, когда Бекетов покинул дачу в Кунцеве... Какой-то новой гранью предстал перед Бекетовым в этот поздний сентябрьский вечер Сталин.

В том, как он проанализировал большие проблемы дипломатии, проанализировал и призвал Бекетова сделать то же, было желание познать проблемы, разобраться в них. Наверно, он всегда был близок к дипломатии, но взирал на нее со стороны, сегодня же дипломатия вошла в обиход его повседневной жизни — он вел переговоры.

В начальную пору войны он вынужден был заниматься этим (приехал Гопкинс — с ним надо было говорить), сегодня у него появилось нечто вроде потребности.

Дипломатия была в его представлении родной сестрой политики, а политика — делом его жизни. Мало сказать, что к ней лежала его душа, это была для него сфера в какой-то мере творческая, и известная изощренность ума здесь была от уверенности.

...Когда Сергей Петрович вернулся домой, Екатерина сидела все там же, на диване, привалившись плечом к кафельной печи; она как будто не изменила позы с тех пор, как он ее оставил.

— Это ты? — едва вымолвила она.

— Я, разумеется.

— А я-то...— она умолкла, не dokonчив фразы, но смысл недосказанного был понятен: «А я-то думала: все началось сначала».— Что ты делал там?

— Слушал стихи,— улыбнулся он.

— Погоди, стихи слушал, так?

— Ну, разумеется, так: слушал стихи.

Ее дыхание стало вдруг шумным.

— Я тут на углях, на углях, а он... стихи... Господи!

Бекетов вдруг понял: в том, что ему казалось смешным, ничего смешного не было... От того, что ему казалось смешным, можно было бы и умереть...

— Ты прости меня, Екатерина,— произнес он, опускаясь с нею рядом, и вдруг тревога, какой не было всю эту ночь, охватила его: запомнил едва ли не о самом главном!.. Да, это можно было назвать и главным — Сталин, очевидно, ждал, что Бекетов выполнит свое обещание и приглашение в гости последует сегодня же, ждал и не дождался... Сразу и не разберешься, что подвело Сергея Петровича: нервы или, быть может, память? Нет, все-таки нервы, напряжение этой ночи. Только сейчас Сергей Петрович понял, скольких сил стоила ему эта ночь и как он устал. Помнится, тогда Сталин сказал Бекетову: «Имей в виду, я не забываю». И оттого что Сергей Петрович вспомнил эту деталь, ему стало еще тяжелее, и он не утаил вздоха.

— Да не случилось ли там такого, что ты не хочешь мне сказать? — спросила Екатерина, стараясь побороть волнение.

— Нет, все было, как я сказал...— возразил Сергей Петрович.

— Тогда ложись, спи, спи — сон все переборет,— произнесла она.

Грошев считал, что этот разговор он должен провести одновременно с Кожавиным и Тамбиевым.

Кожавин явился не сразу, и Грошев встал и прошелся по кабинету. Тамбиев внутренне усмехнулся:

профессор китайской философии, человек и знаний редких, и ума недюжинного, а походка какая-то несолидная — сеет шажками.

— Две поездки, ответственные... — произносит Грошев, дождавшись Кожавина, и направляется к письменному столу. — Все как было условлено: вы — в Ленинград, Николай Маркович... — обращается он к Тамбиеву. — Полетите с Галуа, да, только с ним, нет, не сейчас, а через две недели, после возвращения корреспондентов из Харькова... Вы, Игорь Владимирович, — в Харьков, вся группа корреспондентов, вылет послезавтра... За старшего в группе — наш новенький... Михаил Константинович.

Тот, кого Грошев назвал «новенький», пришел в отдел в начале года... Для Тамбиева, да, пожалуй, и не только для него, его возраст был уже почтенен. Перебравшись на Кузнецкий, он в своих мыслях не порывал с Наркомвнешторгом. Он все еще устраивал пушные аукционы, гнал лесовозы в Гамбург, поставлял орловских рысаков в Англию и грозился устроить выставку самоцветов в Сизтле. Узнав, что в отделе печати его прозвали купцом, он принял это не без гордости, но с одной поправкой: рабоче-крестьянский. Это определение — рабоче-крестьянский купец — было будто создано для него. В его облике было нечто кондовое, мужичье и в то же время — благородное. Приземистый, крутоплечий, с короткими и сильными руками, он был похож на карагач, выросший в скалу, который не в силах свалить ни ветер, ни разлившийся поток, ни лавина, потому что он вошел своими корнями в камень и сам в какой-то мере стал камнем... Выяснилось, «новенький» был отцом большой семьи, но об этом можно было только догадываться. Когда в наркоминдельской столовой к чаю давали сладкие сухарики, он извлекал из пиджака точно припасенный для этой цели аккуратный сложенный лист бумаги и, завернув в него сухарики, прятал в карман. Кто-то поинтересовался, как велико чадо, которому предназначены сухарики, и был немало удивлен, узнав, что чадо не одно, при этом даже младшее достаточно великовозрастно... Он все еще считал себя на Кузнецком «новеньким», не без юмора относился к своим обязанностям в отделе печати, полусерьезно-полушутя заявляя, что ему еще предстоит узнать, что есть дипломатия...

Грошев сказал «вылет послезавтра» — и завертелось, закрутилось большое колесо: началась подготовка к поездке. Тут же были оповещены корреспонденты, в отдел явились генштабисты, на столы легли военные карты... Да, за наркоминдельские столы, по всему виду штатские, департаментские, сели на какое-то время военные, и в жизнь отдела вторглось нечто генштабистское: «Нет, в Белгород везти не стоит. Белгород — это еще сфера огня. Встретить где-то в Волчанске и машинами...»

В канун отъезда, когда Тамбиев пришел в отдел, генштабистов уже не было, да и отдельные уже разошлись. Только неутомимый Грошев воевал по телефону со штабом ВВС (отдел должен знать, когда самолет прибудет на место) да Кожавин сидел над картой...

— Записка с ленинградским адресом при вас, Николай Маркович? — спросил Кожавин, с трудом оторвав взгляд от карты. — Дайте мне на минутку... Хочу вписать адрес еще одних наших соседей в Ленинграде. На всякий случай. Если первых не будет. Вот так... — он вернул картонный квадратик. — Когда я впервые собрался в Москву, у меня было такое ощущение, что я там уже был, — сказал он улыбаясь. — Шел по Москве и ловил себя на мысли: я уже был здесь, я уже был... — Он тщательно сложил карту, засмеялся громко. — Как это получилось, не пойму. Наверно, книги... — Он смотрел на Тамбиева, и свет настольной лампы словно напитал его волосы — обычно матово-русые, даже пепельные, они сейчас были почти золотыми. — А у вас как с Ленинградом?.. Так же?

Он спросил как-то вдруг, а надо было собраться с мыслями. В самом деле, как у Тамбиева?

— Наверно, мы все в плену у памяти... Поэтому все так лично... — сказал Тамбиев. — Лето ли, осень ли, вижу тот январь, тот далекий январь... И Черную речку, и дом на Мойке, и толпы людей, что день и ночь стояли перед тем домом с непокрытыми головами. Вот приеду — и все кажется, что пойду на Мойку... Пушкин, Пушкин...

Кожавин погасил лампу, и разом потускнели его волосы. Золотой отблеск, что лежал на его лице, точно схлынул.

— А я ходил на Мойку осенью,— заметил Кожавин с печальной отрадой.— «Есть в осени первоначальной...»— прочел он певуче, почти пропел.— На Неве какая-то звонкая осень, именно звонкая... Там и август дышит осенью. Нет поры желаннее, и Пушкин весь в этой поре, да и Чайковский это очень точно почувствовал. Во вступлении к «Онегину» есть тема русской осени, которая звучит в опере, как рефрен, очень пушкинская... Помните? — и он попытался напеть... или как бы наиграть — звучал не голос, а рояль — пианист, он воспринимал мотив, как его воссоздавал инструмент, который он привык слушать, на котором играл.— Помните, помните? — Он все еще имитировал рояль.— Та-ра-ра-ри-ра!..

Они расстались, а Тамбиев все слышал его голос; казалось, ничто его не может размыть, выветрить...

А потом минула ночь, день, еще ночь.

Когда поутру, как обычно, Тамбиев пришел в отдел, первое, что он увидел: мокрое от слез лицо Веры Петровны. Тамбиев взял ключ и хотел уже уйти, когда фраза, произнесенная Верой Петровной — она говорила по телефону,— точно припаяла его к металлической ручке, которой он коснулся, чтобы открыть дверь. Видно, человек на том конце провода был во власти не меньшего отчаяния, и Вера Петровна произнесла: «Здесь еще никто не знает». Тамбиев обернулся. Телефонная трубка уже была на рычажке, и на него были устремлены глаза Веры Петровны, из глаз лились слезы.

— Что-нибудь случилось?

— Да.

Она провела по лицу руками и взглянула на них как-то беспомощно, не зная, что с ними делать — они были мокры.

— Разом... Игорь и Михаил Константинович, этой ночью, мины..

Тамбиев вышел в коридор, плотно закрыл за собой дверь,— казалось, она способна была защитить от страшных слов Веры Петровны. «Есть в осени первоначальной... Есть в осени первоначальной...» — жил в памяти голос Кожавина. И еще: «Какая-то звонкая осень, именно звонкая...»

Грошев сидел в кресле, придвинутом к окну, охватив живот руками.

— Не помню уже, когда вот так болело... Разверните, пожалуйста, вот этот порошок... Нет, можно без воды.

Тамбиев слышал, что Грошева мучают приступы, жестокие, большей частью полуночные, сшибающие напрочь, но никогда он не был свидетелем этого. Да вряд ли в отделе кто видел это, хотя для Грошева дом на Кузнецком был и работой и домом. Грошев стыдился своей болезни, полагал, что не имеет права обременять ею других. А когда приступ валил его с ног, он, собрав силы, тащился к двери и запирал ее изнутри. В отделе говорили: «Тише, пожалуйста, Грошев лег отдохнуть». А на самом деле жестокий приступ корежил Грошева, корежил до тех пор, пока лицо его не становилось угольно-черным. Что вызывало приступ? Одни говорили: бессонница, другие — недомогание. Но было, как это увидел сейчас Тамбиев, нечто третье.

Грошев свернул бумагу желобком и ссыпал порошок на язык, хотел вытянуть ноги, но потревожил боль и не удержал стопа. И вновь Тамбиев увидел маленькие руки Грошева, которые он робко сложил на груди.

— Посидите, пожалуйста. Мне сейчас будет лучше.

Но все произошло не так быстро, как обещал Грошев. Будто сердце набирало силу, согревая кровь: лицо светлело.

— Вот оно, вот оно! — его голос стал внятнм.— Там, в этой степи, такая тьма — глаз выколи! — вдруг воскликнул Грошев, слова его были беспорядочны, торопливы.— Где там наши мины, а где немецкие, никто не знает и, наверно, знать не может. Эта степь под Харьковом!.. О боже.. она, говорят, переходила из рук в руки раз пять! — Он собрался с силами, чтобы произнести последнее: — Говорят, дорога поворачивала под прямым углом, понимаете, под прямым... — он раскрыл ладонь левой руки и указательным пальцем правой изобразил прямой угол.— Одним словом, шофер первой машины возьми и срежь этот угол... Та, что срезала, проскочила, а вторая пошла вслед и подошла к взрыву.— Он замолчал; казалось, еще мгновение, и лицо его потемнеет.— Наши были во второй... — Он подтянул ноги, вновь как-то собрался, лицо его тронула эта угольность, какую Тамбиев увидел в

самом начале.— Говорят, Кожавин еще жил минут двадцать, но рана была велика, крови не осталось... И все двадцать минут будто не меркло сознание. Очень просил сделать что-нибудь...— Грошев вдруг оперся о подлокотники, попробовал встать, но, видно, сил не было.— Завтра туда вылетает группа наркоминдельцев. Вы представите отдел, Николай Маркович. Поклонитесь праху...

— Семья Михаила Константиновича знает?

— Нет, разумеется... Надо сказать — может, жена захочет поехать с вами.

Вечером они собрались на Мещанскую — где-то у самой выставки стоял большой дом Наркомвнешторга, Михаил Константинович жил там.

Пока ехали от Кузнецкого до выставки — не проговорили ни слова. Как войти в дом и что сказать?.. Тьма сгустилась внезапно, и один за другим проплывали мимо траурные дома.

Машина остановилась: здесь.

Вышли. Сделали два шага — что-то не идет. Минута тишины. Вот сейчас и начинаешь понимать, что это такое. Надо отыскать какие-то слова. Их должно быть немного, и, наверно, среди них не должно быть самого горестного...

Подъезд без света, да и площадки на этажах тоже затопила тьма. Звонок, короткий — не встревожить бы самим звонком.

— Кто это? — женский голос, заметно усталый.— Простите, одну минуту! — вот оно, смятение, началось...— Входите, входите, пожалуйста,— у женщины мокрые руки, и она их заметно стесняется — стирала, в открытую дверь видна ванночка с бельем.

Темноволосая женщина. Взглянула — все поняла и все осталось в глазах, в них уже поселилась тревога.

— Заходите, пожалуйста... Вот сюда.

Дождалась, когда сядут вошедшие, села сама. В комнате мало света, и мокрые руки женщины, горестно сложенные, которые она забыла вытереть, заметно отсвечивают.

Как ни мало слов, которые должны быть произнесены, их надо сказать, и самое страшное: то, что следует сейчас сказать, должно напрочь исключить это

слово, это страшное слово, но не должно быть неправдой.

— Произошла авария... Кажется, ранение... С рассветом вылетаем... Быть может, вы с нами?

— Да, конечно,— сказала женщина.

Тишина. И в комнате рядом — тишина.

Железо прошло по живому... а женщина, что сидит напротив с мокрыми руками, вся ушла в себя.

Стыдливо ее горе.

...Утром, когда на ветреном поле аэродрома, уже по-сентябрьски желтом, стоял самолет с запущенными моторами, принесли газету.

Четвертая полоса «Известий». Сто строк. Чтобы вот так увидеть в траурной рамке имя человека, которого ты не только в сердце, но и в сознании своем считаешь живым... Газета обошла всех, кроме женщины в темном пальто, что одиноко стоит в стороне. Какой у нее была эта ночь и как она поняла те несколько слов, что были произнесены вчера?.. Все так же сурово-прекрасно и как будто спокойно ее лицо, только в глазах страх.

А потом три часа полета. И темно-зеленое море леса, и желтое море сентябрьских полей, уже сжатых.

Оно еще простиралось, это поле сентябрьское, без видимых признаков аэродрома, когда самолет пошел на посадку.

И вот такое, наверно, запомнишь на всю жизнь.

Тамбиев видел, как в этой степи у каждого нашлась своя тропа. Она, эта тропа, наверно, была очень нужна человеку, чтобы остаться со своими мыслями. Была эта тропа и у женщины в темном пальто. Когда женщина вернулась к самолету, в руках у нее была газета; как думает Тамбиев, та самая газета, что не показали ей в Москве и показали здесь... По всему, сама степь охранила тебя от чужих глаз. Ты едва ли не одна на эту степь. Высвободи беду — дай волю крику!.. Но горе женщины было немо — она точно заковала его в сердце своем, если вырвется, то взломав броневой панцирь.

А потом был степной поселок: улицы, мощенные булыжником, дощатые заборы, в эту сентябрьскую сушь серебристо-серые, невысокие дома под железом,



тронутым ржой, дежурная труба кирпичного завода... И на свежавырытой земле, еще рыхлой, не успевшей обветриться, три гроба. Два заколоченных, один открытый... Бледное лицо, неестественно бледное, и шея с родинкой у самой мочки уха, и матово-русые волосы... Если бы не кровь, запекшаяся на губах, можно было бы подумать, что они сейчас раскроются.

Тамбиев достал кожавинский картонный квадратик, тот самый бледно-лиловый — карандаш не стерся. Видно, Игорь Владимирович волновался в ту минуту — карандаш вдавился в картон, и на обратной стороне



запись как бы повторилась... «Есть в осени первоначальной... первоначальной...— вдруг возник голос Кожавина.— Есть в осени первоначальной...»

Они вернулись в Москву на другой день, но грошевский кабинет оказался пуст — так бывало не часто. В последний приступ Грошева увезли домой — не было бы приступа, пожалуй, и дорогу забыл бы к родному дому.

Тамбиев позвонил ему.

— Похоже, что я выйду дня через три, а дела, как я понимаю, не ждут... Приезжайте.

Кто-то рассказывал Тамбиеву: жена у Грошева — этнограф. Одно это уже чуть-чуть экзотично, а в сочетании с исследованием, которому она посвятила себя, экзотики не убавилось, а прибавилось: американские индейцы. Вот так: древняя китайская философия и американские индейцы. Интересно побывать в таком доме.

Но дом, казалось, не показывал увлечений своих хозяев. Он, этот дом, будто говорил: до древней ли китайской философии и до американских индейцев ли нам, когда огонь так силен, что осыпались стекла и пламя грозит ворваться сюда.

Да и хозяйка за те два часа, которые Тамбиев пробыл у Грошева, виду не подала, что в мире есть американские индейцы, — может, на ее взгляд, не та степень знакомства, хотя Тамбиев не мог пожаловаться на недостаток приязни. Даже наоборот, Николай был встречен так приветливо, что, откровенно говоря, подумал: об отношении к тебе хозяина надо судить по хозяйке. Может быть, и это она как-нибудь скрыла бы, да всевышний не наделил ее наркоминдельской сдержанностью.

Итак, Тамбиева встретила тоненькая женщина, молодая, кажущаяся почти юной — благодаря статности, гибкому стану. Во взгляде, которым она как бы невзначай скинула Тамбиева, Николай Маркович уловил участие, испытующе печальное. Будто женщина хотела понять, как все то, что произошло в донской степи, воспринял человек, пришедший к ним, воспринял и сберег.

— Андрей Андреевич просит вас.

От обилия белых простынь, в которые окунули Грошева едва ли не с головой, лицо его кажется землистее обычного, да и губы лиловее, чем всегда.

— Садитесь вот сюда, Николай Маркович, тут я вас буду хорошо видеть... — он усаживает Тамбиева против окна, к которому сам лежит спиной. — Вернулись?..

Он слушает Тамбиева, и его веки смежены. Рассказ не пространен, да и чего ему быть пространным.

— Эта минная... степь,— говорит Грошев, не открывая глаз.— Через нее и днем проложить дорогу мудрено, а каково ночью?..— Он натягивает одеяло едва ли не до подбородка — его определенно знобит.— Накануне того, как это стряслось, нарком говорит мне: «Наше посольство в Лондоне вновь просит отпустить к ним Кожавина...» — Он кладет руки на одеяло — оттого что они так смуглы, они кажутся Тамбиеву хуже.— Согласитесь, Николай Маркович, чем-то он напоминал молодого Горчакова, не правда ли, похож, а?

Даже интересно: разные люди, наверняка не сговариваясь, говорят об одном и том же.

Входит хозяйка с подносом. На нем никелированный кофейник и фарфоровые чашечки. На такой же, как чашки, тарелочке — сухарики. Все так интеллигентно, что скудность грошевских припасов даже не обнаруживается.

— Простите, Николай Маркович, не хотел вас тревожить, да иного выхода нет,— говорит Грошев, прихлебывая кофе.— Надо лететь в Ленинград...

— Надо так надо,— говорит Тамбиев, понимая, что деятельный Грошев пригласил его к себе, имея в виду ленинградскую поездку.— Надеюсь, не сегодня, Андрей Андреевич?..

— Послезавтра.

— Послезавтра — так это целая вечность!.. Я готов.

Грошев допивает кофе, приподнимается, чтобы поставить чашку на стол — он это хочет сделать сам.

— Нарком полагает, что ленинградская поездка Галуа в нынешних условиях была бы полезна,— замечает он, снова натягивая одеяло; кофе согрел его, и с лица ушла землистость.

— В нынешних условиях?..

— Да, в нынешних...— Глаза Грошева выражают легкое изумление. «Разве не понятно?» — точно спрашивает он.— Мир должен знать и на примере Ленинграда: проблема границ не праздная наша выдумка.

— У конференции в Москве есть свой пролог?

— Можете назвать это и прологом к Москве...— говорит Грошев.

— Вы полагаете, что Галуа способен сделать здесь погоду? — спрашивает Тамбиев — в самом деле, не преувеличивает ли Грошев возможностей Галуа.

Казалось, Грошева это воодушевляет.

— Очень хорошо, что вы об этом заговорили, Николай Маркович...— произносит он, по мере того как в нем растет интерес к беседе, недомогание отступает.— Мне все время хотелось вам сказать, да как-то не удавалось...— Он задумывается.— Мне нравится, что ваши отношения с Галуа носят в какой-то мере и личный характер, при этом он допускает, как я понимаю, разговор с вами на свободные темы... По-моему, это надо сберечь. Теперь о самом Галуа. Действительно, так ли важна его поездка в Ленинград и не обманываемся ли мы, когда думаем, что это важно, важно всегда и особенно сейчас?.. По-моему, не обманываемся... Мнение Галуа о том, что происходит сегодня в России, для европейского читателя авторитетно, как ни одно другое мнение, если говорить о мире западной прессы... К тому же Ленинград для Галуа нечто большее,— Грошев плотно смыкает губы — сомкнул так крепко, что они перестали быть лиловыми; по все-му, он намеревался сказать сейчас нечто значительное.— Если в итоге поездки Галуа в Ленинград будет книга, а он, как вы помните, не оставляет этой мысли, она обойдет половину земного шара...

— Галуа уже знает?

— О вылете? Нет, разумеется. Можете сказать ему сами... Даже хорошо, если это скажете вы.

Тамбиев решил действовать в том темпе, какой сообщил этому делу Грошев: явившись в отдел, Николай Маркович попросил секретаря соединить его с Галуа.

Телефонный звонок из отдела печати для Галуа — явление не столь уж редкое, но нынешний звонок встревожил его порядочно. В иное время он бы еще пожеманился, дал бы волю и меканью и беканью, подумал бы, допускает ли такую поспешность протокол, и, чем черт не шутит, заставил бы работать на себя время — пауза, она весь всегда спасительна. В иное время... но сегодня! Разумеется, если нужно, он будет в отделе тут же.

Тамбиев взглянул на часы и подумал: Галуа сию секунду тоже смотрит на часы. Если идти пешком, то от «Метрополя» до большого дома на Кузнецком доберешься минут за двадцать... Двадцать минут — это же бог знает сколько! У Галуа нет причин так думать, но за двадцать минут белое может стать черным, «да» —

обратиться в «нет», поездка в Ленинград — в поездку по Подмоскovie...

Галуа родился в городе на Неве и покинул его, когда стал почти взрослым. Мир этого города, в сущности, олицетворял для него большой мир России. Приезд Галуа в Москву еще не был для него возвращением в Россию. Может, потому, если было у человека сильное желание, желание, которое шло за ним изо дня в день, из ночи в ночь (сон не давал избавления), то это было возвращение к «хладным невским берегам». Чужбина, постылая, обострила все мысли о России и сделала возвращение в Россию, а ею был Ленинград, трижды желанным. Для Галуа Россия — родина, а тот мир чужбина? Тамбиев был убежден, что все было именно так, а не наоборот, хотя, когда это касалось Галуа, любая формула должна сопровождаться оговорками.

Николай Маркович еще раздумывал, какие мысли сейчас одолевают Галуа, когда раздался стук, особый, скребущий — так стучал только он. Дверь распахнулась, и на пороге возник Галуа, тяжело дышащий, едва ли не загнанный, с этим своим ребячьим румянцем, ярко-розовым, непорочным, который точно в насмешку дала ему природа.

— Ох, сердце зашло — дайте попить!.. — Он пил с неутолимой жадностью, жилистая шея напряглась, вода булькала. — Верите, мчался, ног под собой не чуя... точно стал я коренником в птице-тройке!.. — он вдруг расхохотался, беспричинно и счастливо. — Ну, летим в Ленинград, Николай Маркович?

Тамбиев смутился: ничего не скажешь — проник Галуа...

— Но я вам об этом не говорил.

— Не говорили, так скажите сейчас: летим?..

— Летим, Алексей Алексеевич.

Он как-то косолапо притопнул, захромал к Тамбиеву, протянул руки:

— Спасибо, большое спасибо...

— Это не меня надо благодарить! — возразил Тамбиев.

— Ну, передайте там кому надо — спасибо, одним словом... — Он опустил в кресло. — Фу, устал и как-то поглупел... Миготом обратился в дурака! Ну, это от доброй вести... Простите, пожалуйста. — Он закрыл

глаза, как на молитве, скорбно замотал головой. — Господи, как же долго я ждал этого дня... — Он взглянул в упор на Тамбиева: — Очевидно, перелет будет не простым, а? Ночью, через линию фронта, посадка в черте города, да?

— Возможно, и так...

Тамбиев знал: если бы дорога к Неве лежала через ад, то и в этом случае Галуа дал бы согласие.

— Скажите: я на все согласен...

— Я уже сказал.

— Спасибо и за это.

Они вылетели часов в десять утра.

... День был ясным и каким-то светло-русым с красинкой — осень принялась в этом году рано, сколько было доступно глазу — пламенел клен, его текучий огонь не могла притушить даже высота, на которой шел сейчас самолет.

К полудню были в Хвойной.

— Это и есть «подскок», Николай Маркович?

— Именно.

— Значит, ждем ночи, а потом над водой?..

— Наверное.

Когда до полуночи оставалось минут сорок, самолет взлетел. Похоже, что шел он над оврагом или поймой высохшей реки — по одну и другую сторону почти отвесно стоял лес. Как только самолет не коснулся кончиком крыла деревьев!

Галуа сидит где-то в хвосте. Там, пожалуй, болтает посильнее, чем на носу, но он терпит. Тамбиев пробовал его уговорить: «мессеры», мол, бьют в хвост, но у того свой взгляд: «По мотору». Внизу вода, свинцово-черная, литая. Когда летели над сушией, самолет точно искал защиты в неровностях суши, а как над водой? Будто можно скрыться в свинцовой пучине, а потом вновь возникнуть над ее гладью? Или расчет в ином: самолет так слился с водой, с ее цветом и движением, что его не заметишь ни с фланга, ни снизу? А как шум моторов? Куда упрячешь его? Звук не гасится водой. Наоборот, ударяясь о ее поверхность, он точно разбрызгивается по сторонам. Озеро, как чаша римского театра, резонирует.

Галуа покинул насиженное место, подсел к Тамбиеву.

— Вспомнил сейчас: когда мы уезжали из России, я был не таким уж несмышленьшим, и отец мог сказать мне: «Алексей, ты понимаешь, что делаешь?.. Ты уезжаешь навсегда. Пойми: навсегда».

Он, видно, долго обдумывал эти слова, прежде чем произнести их сейчас. Видно, середина Ладоги во фронтовую полночь стала и его исповедальней.

— Я ответил отцу: «Понимаю», а сам был, простите меня, олух олухом! Я тогда не мог взять в толк, чем явилось для меня мое невское детство, как и он, я думаю, не понимал. Человеку кажется, что он волен делать с природой что хочет, что он перехитрил ее. Ерунда! Память, например... Есть такое свойство памяти: она в детстве как чистый лист бумаги — все воспринимает и все запоминает навсегда... Вот человек, подобно мне, убедил себя, что сбежал от своего детства... Иллюзия! Во мне нет сил сбежать от своего детства! Я это чувствовал всегда и сию минуту больше, чем всегда...

Нужно усилие, чтобы проникнуть в эти его философские этюды. Часто этюды — иносказания и призваны маскировать нечто такое, о чем ему говорить неудобно. У этих его этюдов есть своеобразный ключ. Чтобы расшифровать этюд, надо нащупать его ключевое слово и заменить его, как сейчас, например... Он говорит «детство», а должен был бы сказать «Отечество». Замените одно слово другим, и все встанет на свое место тут же.

— А может, это больше чем детство?

Он встревожился:

— Родина?.. — и умоак. — У меня была нелегкая жизнь, Николай Маркович, — произнес он мрачно. — Не хочу, чтобы вы меня считали лучше, чем я есть на самом деле, да вас и не убедить в этом, но в свое оправдание скажу... Я видел такое, что не дай бог вам увидеть, и жизнь меня ласкала жестоко...

Вот на какую высоту его надо было поднять, чтобы он сказал это. Второй раз уже не скажет. Все определено этой ночью, а она не повторится.

Самолет приземлился...

Последние полчаса самолет шел в темноте — истинно хоть глаз выколи. Как он нащупал землю и вышел

к аэродрому, который, как это было видно сейчас, находился в самом городе, просто чудо. Как ни точны приборы, они не всеильны. Вернее, всеильны, если есть опыт и капелька интуиции — она необходима.

Под ногами земля, каменистая, прикрытая скудной травой, аэродромная, и артиллерийский гул; да, он именно под ногами — прежде чем его отразит небо, от него вздрагивает земля — он будто идет из самого чрева ее.

Тамбиеву кажется, что Галуа окаменел: где доказательства, что это Ленинград? Для Галуа доказательства? Нельзя же принять за Ленинград неясную гряду облаков, которая очерчивается слева при свете слабых зарниц, да очерк деревьев, что можно разглядеть на краю взлетного поля, если напрячь зрение. Где доказательства, что это Ленинград?

Аэродромная проходная осталась позади, и, судя по всему, автомашина вошла в город, — наклонившись, можно рассмотреть дома, темные и с виду нежилые.

— Простите, какая это улица? — Галуа наклоняется к шоферу.

— Проспект Обуховской обороны...

— А раньше как он назывался?

— Раньше? Убейте меня — не знаю.

Галуа с еще большим напряжением всматривается во тьму. Блеснула трамвайная колея, на остановке застывший трамвай...

— А эта улица?

Шофер медлит с ответом — боится ошибиться:

— Кажется, Марата...

— А ее... старое название?

Шофер обескуражен:

— Ей-богу, не знаю!

Галуа вздыхает, пригибаясь все ниже, устремив взгляд вперед: там в неверной мгле отсвечивают плоские камни широкой мостовой.

По всему, Галуа что-то узнал: он вздохнул, вздохнул и заметался. И, точно откликаясь на его тревогу, вспыхнула зарница зенитного огня, одна, вторая.

— Смотрите, смотрите: шпиль Адмиралтейства! Шпиль, шпиль! О господи: Невский!.. Остановите, ради бога, остановите!

— Не положено здесь...

— Я вас прошу.

Машина остановилась.

Галуа стоял посреди улицы. Зенитки умолкли. Тьма была глухой — ничего не видно. Но он видел, а может, убедил себя, что видит.

— Невский, Невский... — твердил он, как молитву.

Вновь стал слышен артиллерийский гром, теперь явственный, накатывающийся волнами.

Машина двинулась дальше, медленно повернула.

— Вы нас везете в «Асторию»?

— Да, велено в «Асторию»...

Машина подошла к гостинице — Галуа ринулся во тьму, там маячил Исаакий, потом остановился.

— Все как было, все как было...

Лестница, точно лесная стежка, повела их в гору. Именно точно лесная стежка: по одну и другую сторону от лестницы было темно и, казалось, необжито.

Только на третьем этаже засветился огонь поярче и повеяло дыханием обжитого очага.

Галуа тревожно озирается: «Астория» ли это?.. Белая, с золотом, чуть тускловатый, мебель... Видно, «Астория». Если он бывал здесь прежде, должен был запомнить: эта мебель здесь с давних времен.

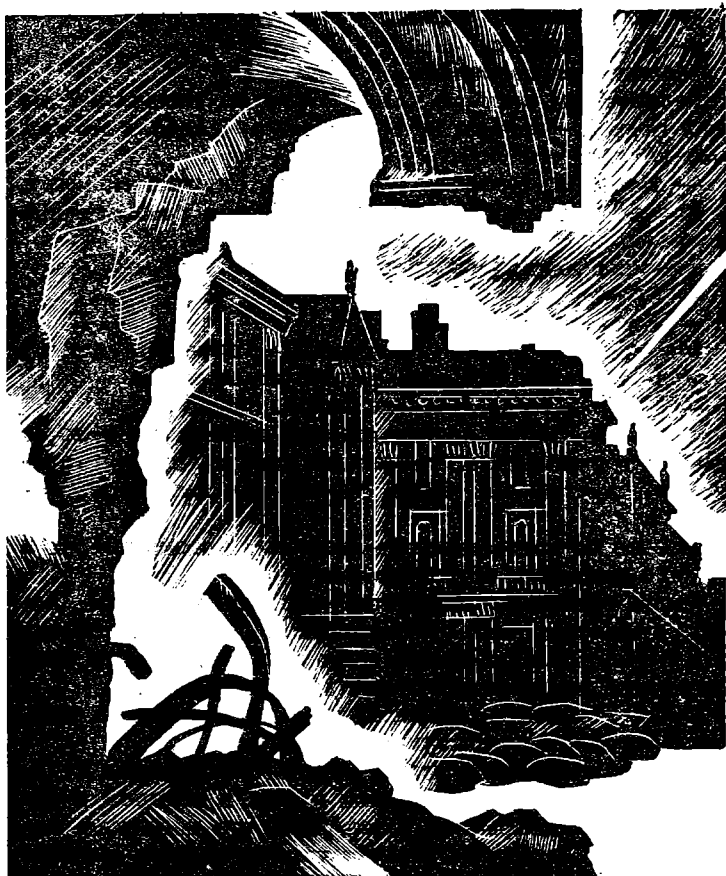
Галуа опускается в кресло, забыв снять пальто, смотрит на кровать, укрытую тяжелой парчой.

— Там, понимаете, там... — он тычет пальцем куда-то в стену, — там моя Моховая и дом, в котором я родился... — Он закрывает глаза, лицо его поблекло, погас румянец, да и губы, обычно ярко-пунцовые, побледнели. — Можно было бы побежать туда, да как побежишь?.. Вот... — он прислушивается: бьет артиллерия, бьет с ритмичной последовательностью, точно отсчитывает страдные минуты, — немецкая артиллерия. — А знаете, о чем я сейчас подумал?.. Накроет снаряд, и Моховой не увидишь...

— А если накроет после Моховой? — смеется Тамбиев.

— Согласен, честное слово, согласен... — Галуа взглянул на часы. — Три часа до рассвета, целых три часа...

Все еще бьет артиллерия, кажется, снаряды ложатся все ближе: перелет, недолет, перелет, недолет... Не



иначе, немцы взяли под обстрел и «Асторию»... Но сон полонит все больше, вопреки методическим ударам немецких пушек, полонит.

Только Галуа и сон не берет. На рассвете он будит Тамбиева:

— Не могу ничего с собой поделаться, пойдёте скорей на Моховую...

Нет, они не идут, они почти бегут. Прохожие останавливаются и смотрят вслед: что-то странное в этом беге, такое, что понять мудрено.

— Все осталось, как было прежде,— говорит Галуа,



переводя дух. — Как-то неожиданно: все как прежде.

Это он себе внушил: как прежде. А на самом деле так ли было? В городе будто нет штатских: гимнастерки, гимнастерки... «Опасно: эта сторона улицы обстреливается!» — краска свежая. Зенитное орудие посреди скверика, грозный перст ствола устремлен в небо... В двух шагах от зенитки женщина роет картошку.

Они вбегают на мостик.

— Моховая! Моя Моховая... Вот сюда, пожалуйста... ста...

За решетчатой оградой на солидном каменном цоко-

ле многоэтажный дом — такие строило страховое общество «Россия».

— Вот здесь сидел швейцар! Сюда, пожалуйста...

Он хотел бы взлететь по лестнице с прежней легкостью, но останавливает нога, да и не только нога, — видно, не пускает и сердце.

Третий этаж — дверь в квартиру открыта.

— Господи, здесь... — Перед ними не коридор, а скорее холл, в который выходит несколько комнат. — Здесь была наша гостиная, а это — детская, папин кабинет, столовая... Погодите, а это что? — К двери прикреплена записка, тетрадная обложка с таблицей умножения, буквы вразброс: «Варя, был во вторник. Буду жив, явлюсь в субботу. Глеб».

— «Буду жив»? — Галуа смотрит на Тамбиева ошеломленно. Увидел бы эту записку где-то в ином месте — может, и не обратил бы внимания. Но здесь, рядом с «папиным кабинетом»... — Как вы полагаете, Николай Маркович, солдат написал?

— Может, и рабочий... со «Светланы» или там... Путиловского.

— Живет на заводе?

Кажется, солдатская записка возвратила его в нынешний день.

Они пошли вниз — он устал и больше обычного заносил ногу, спускаясь с лестницы.

— Я вам говорил, что здесь сидел швейцар... Говорил?

— Да.

Во дворе играют дети — детский сад вышел на прогулку. Галуа устремляется к ним.

— Дети, дети... спойте песенку! — просит он, оживившись, это не очень похоже на него, этакая сентиментальность.

Дети подходят к нему, смотрят с хмурым любопытством — просьба его, пожалуй, и для них необычна.

— Спойте...

Лица детей, и без того хмурые, становятся строгими: да и в голосах суровости хоть отбавляй — сбивчиво, но упрямо, на той горькой ноте, на какой пели в незабываемую ту пору, дети выводят слабыми своими голосами:

— Пусть ярость... Пусть ярость благородная...

Они выбирают из каменного дворика, Галуа стоит, держась за ограду, — силы разом покинули его.

— Вот оно, воспитание под Верденом! — вдруг пронесит он, и Тамбиев видит, что глаза его застала предательская влага. — Значит: «Буду жив — приду в субботу», да... — Он хочет заговорить о чем-то ином и овладеть собой, но ему не удастся. — Вот сейчас подумал... хочу на завод, тот, что держит оборону. Ну, хотя бы на Путиловский, можно?

— По-моему, это совсем рядом с фронтом, — говорит Николай Маркович. — Немцы — в трех километрах.

Они возвращаются той же дорогой, какой пришли на Моховую. Но в этот раз Галуа видит все: и обилие военных на улицах, и зенитки в тени деревьев, и свежую краску на фасадах — «Опасно — эта сторона обстреливается», и картошку посреди скверика... Возвращение из Петербурга в Ленинград совершилось.

— Значит, от завода до немцев — три километра?

— Три.

С завода прислали машину: коли иностранный гость хочет на Путиловский, готовы принять.

А немецкие пушки бьют с неумолимой последовательностью: га-ах! га-а-х!

Уже за Нарвскими воротами машина останавливается.

— Видите? Нет, повыше возьмите, повыше. Ну, не Иван Великий, а все ж таки высоко... Вон там, на макушке, — пункт наблюдения. И завод и немцы как на ладони.

Лестница ввинчивается в небо. Чем выше, тем громче эти вздохи: га-ах!

Вот и площадка.

Не труба подзорная, а пулковский телескоп.

У трубы — желтоволосая девушка. Ест яблоко — не на ленинградской ли земле оно вызрело, такое смугло-красное?

— Огонь откуда?

— Все с завода... пишущих машин.

— Можно посмотреть?

— Да, пожалуйста...

Девушка отложила яблоко. Оно лежит на крутом боку. Когда ветер напирает, яблоко вздрагивает.

— Путиловский... там, где сожженное деревцо?

— Да, это и есть наш литейный цех.

Галуа приникает к стеклу.

— Через поле от литейного — немцы?

— Через поле.

Он не отрывает глаз от стекла — ему надо соотнести расположение наших и немецких позиций.

— А быют они оттуда, где эти руины?

— Дождитесь выстрела... Видите? Облачко едва приметное?... Теперь быстро обернитесь, да, да, на город! Видите, столб сизого дыма? По-моему, это тот самый снаряд.

— Это что же... снаряд описывает кривую у вас над головой?... — спрашивает Галуа.

Девушка берет недоеденное яблоко, принимается за него без прежнего аппетита:

— Да, конечно.

Галуа вздыхает.

— Сколько вам лет?

— Пятнадцать с половиной.

— Семья... в Ленинграде?

— Отец был... в литейном завалило, — она оперлась о парапет, охвативший площадку, взглянула вниз — завод был там. — В феврале... — она положила яблоко — теперь уже не было силы доесть.

Вст и завод. Ворота распахиваются, едва машина приближается к ним, будто в самой машине есть нечто такое, что способно открыть их на расстоянии.

Галуа выбирается из машины, не без тревоги смотрит вокруг:

— Вот он какой, Путиловский... Гроза!

Да, он так и сказал: «Гроза», вложив какой-то свой смысл в это слово. Быть может, вспомнил то, что отодвинуто больше чем на четверть века. И тогда ведь Путиловский был грозой... Октябрь, как его увидел мир в девятьсот семнадцатом, возник где-то на булыжных площадях Путиловского.

Они заходят в кабинет директора.

— Господин Галуа?... Честь имею: Николай Пузырев — директор... — Мужчина поворачивается к Тамбиеву: — Знал бы, что буду принимать иностранного гостя, побрился бы... Вчера у нас такое было — ох господи!..

Щетина у него действительно знойная, да и только

ли в щетине знойность? В бровях, чуть сросшихся у переносья, в губах, заметно коричневатых, в плитках румянца, в отливке кожи.

— Пожалуйста... прошу вас,— это опять к Галуа.— Курить будете?

Пузырев докурил папиросу, дотянулся до пепельницы, с привычной небрежностью загасил, вдавив в дно.

Галуа взял пепельницу: осколок снаряда в виде желоба.

— Немецкий снаряд?

Пузырев взглянул с иронической неприязнью:

— Да, ребята из литейного обнаружили в бочке с водой. Упал и вскипятил чайку на целый цех.

Галуа улыбнулся невеселой шутке.

— Я ходил с конвоем в Мурманск, так на корабле такой осколок угодил в кухонную кастрюлю.

— С конвоем, говорите?

— Да, а что?

Нет, не бледность, а тревожная беловатость тронула небритые щеки Пузырева.

— Нет, ничего.

Но Галуа забеспокоился:

— Мне показалось, вы хотели что-то сказать...

— У меня жена ходила с конвоем,— произнес Пузырев.

Галуа засмеялся: казалось, невелика причина для радости — жена Пузырева ходила с конвоем. Галуа точно преодолел рубеж, разделявший их с Пузыревым. После этого разговор может пойти легче.

— Что говорит... мадам Пузырева?

Пузырев смутился.

— Говорит, что народ нас понимает лучше...

— Лучше, чем кто? — тут же реагировал Галуа.— Лучше, чем... Черчилль?

Пузырев погрозил гостю пальцем — ему хотелось свести этот разговор к шутке, иного выхода не было.

— Нет, о Черчилле мы тот раз не говорили,— сказал он, усмехаясь.— Одним словом, народ лучше понимает.

Пузырев встал: все предварительное было сказано, надо было переходить к делу.

— Может быть, начнем с передовой?.. — спросил он.

— В каком смысле? — легкое беспокойство объяло Галуа.

— В прямом: пойдём в литейный...

— Ну что ж... а я, признаться, хотел вас просить об этом.

— Ну, тогда тем более.

Они пошли. Пузырев хочет идти вровень с гостями, но нет, нет, его выносит вперед.

— Литейный... выдвигается утесом?

— Да, пожалуй, утесом.

— А нельзя ли было его отодвинуть вглубь?

— А зачем? Отодвинуть вглубь — значит выдвинуть кого-то вперед... Надо же быть кому-то впереди, верно?

Галуа вздыхает. Иносказательный смысл последних слов Пузырева понятен и ему.

— Верно.

Они идут по цехам.

— Прежде много женщин было на заводе?

Пузырев невольно осматривается: гость точно приметил — редко встретится мужчина, все женщины.

— Нет, Кировский держался на мужиках. А потом, в начале войны, сколотили Кировскую дивизию — ах, какой народ ушел с завода! Знаменитые бои под Лугой и Пушкином в сорок первом — это все наши, кировцы!.. А потом пошли самолеты на восток, тоже поулетали — один другого лучше! Кто остался, будто врос в завод, да об этом я расскажу... К старикам пришли новенькие — а знаете, у женщин есть такое, что для завода бесценно, особенно в эту нелегкую пору...

— Свободны от мужских пороков? — засмеялся Галуа, но Пузырев как бы не принял его улыбки, не хотел принимать — жило в нем сейчас что-то такое, что отвергало шутку Галуа.

— Тут все много сложнее: чувство долга, душевные качества, хотя сил у нее меньше, чем у мужика. Заметьте: и душевные. Вы скажете: «А мужчины?» Все верно, но есть тут и беззаветность, и рвение, и беспамятство, и прилежание, и дерзость, часто доходящая до крайности, и робость. Как ни ладится дело в руках женщины, как легко ни дается оно ей, втайне она, так смею думать я, считает себя младшей, а это не так плохо: скромность отсюда, а согласитесь — это не самое худшее из человеческих качеств. У женщины путь длиннее, чем у всех других: ей надо утвердить себя

еще и в своих глазах. Тут есть своя психология... не надо отворачиваться от нее...

Тамбиеву было интересно наблюдать Пузырева, все более пристальным было и внимание Галуа. Все происшедшее на заводе в эти военные годы сообщило его мысли и его зрению нечто такое, что давало ему возможность видеть в человеке потаенное, скрытое от других. Когда он говорил о том, что от психологии не надо отворачиваться, он имел в виду и это.

Литейный цех встретил их лиловой тьмой и мерцающим огнем печей.

— Поберегись!.. — только по голосу и поймешь, что женщина, однако сколько ей лет?.. Тьма да густой слой сажи скрыли все. В неярком свете, что проник в цех через открытую настежь дверь, большой кусок земляного пола, казалось, взрыт заново, взрыт и выровнен, старательно, только утрамбовать не успели.

— Вот оно...

— Снаряд?

— Да. Вчера на исходе дня.

— Обошлось?

Молчание.

— У нас кладбище на заводе...

Галуа обернулся: из тьмы на него глядели глаза, немигающие... Они точно родились из тьмы и стали рядом.

— Кто-то из ваших подруг? — вопрос обращен туда, где возникли глаза.— Да?

Тихо, только слышно, как шумит огонь в печи.

— Ну, скажи... Лиза, скажи,— это Пузырев, он всех здесь знает по именам.— Ну?

— А что говорить?.. Верить, товарищ директор, все опостылело: и руки опустились, и душа ни к чему не лежит...

— Вот что, Лиза: а может, тебе отдохнуть на природе? Поди в завком, скажи, что я просил...

— Не надо, я уж со всеми...

Глаза как возникли из тьмы, так и исчезли.

Но Пузыреву уже трудно идти дальше.

— Все от этого,— глядит он на вскопанный пол.— Как грохнет, как тарарахнет, все идет кругом. Если даже кости соберешь, все одно ни на что не способен... Вот так ходит во тьме и плачет. Нет, это я верно насчет природы: пусть отдохнет... — Он кричит во тьму: —

Петр Тимофеевич, где ты?.. Колесникова кликните там! Пусть скажет в завкоме, чтобы путевку Лизе дали... — Он обращает взгляд на Галуа: — Вот так-то... мужик бы совладал с бедой легче, правда?.. — Он ведет гостей в конец цеха. Там провал в стене — видно, снарядом проломил. — Видите?.. Даже не поле, а пустырь, при этом не такой уж неоглядный, а?.. По ту сторону пустыря — немцы. Вот она, передовая... Истинно под дулом немца ковали оружие, причем немцы об этом знают... — Он отыскивает кирпичи, складывает нечто вроде скамеечки себе и, точно приглашает сделать это же гостей, усаживается не без удовольствия — путешествие по заводу стоило ему немалых сил.

Приходит Колесников. Наверняка только что стоял у огня — светозащитных очков не успел снять. Увидел гостей, поклонился сдержанно.

— Что это у тебя, Петр Тимофеевич, с Лизаветой?.. — Колесников — ни слова. Хотел было снять очки, да, взглянув на руки в саже, оставил. — Я говорю: что с Лизаветой?

— Так что скажешь?.. Среди тех, кого вчера покосило, подружка у Лизы была... Ну, эта... Римма, что в тельняшке все ходила, да у нас меньше ее не было. Вот вчера ее... осколочком. Осколочек с грибенник, чиркнул, и все. Она в том углу шихту сгребала. «Где наш матросик?» Ее матросиком величали. А матросик упал на шихту ничком и притаился. Перевернули — понять не можем. Вроде целая, а не дышит... Потом приметили — след от этого грибенничка... Вот Лизавета после этого какая-то не своя. Заберется в угол и плачет. Благо, углов темных много... Дом отдыха? Да поможет ли?.. Дом отдыха, он ведь не от всех болезней лечит...

Пузырев достал карманные часы — они лежали у него на ладони, толстые, прикрытые гравированной крышечкой, чуть помятой. Видно, директор гордился своими часами.

— Вчера они начали бить по заводу в семь. — Он нажал на кнопочку, часы неохотно полуоткрылись, поддел крышечку указательным пальцем, глянул на циферблат, неожиданно новый — крышечка сберегла. — Значит, у нас есть еще минут сорок тишины.

Галуа сел на невысокий кирпичный парапет и, отодвинувшись к краю, уселся рядом Тамбиева.

— Женщины не уйдут в убежище?

— Не всегда можно уйти, — отозвался Пузырев. — Печи держат...

Поле, открывшееся сейчас в пролете разрушенной стены, казалось темным, травы было мало — и ее не пощадила огонь. Стояла сосенка с отсеченной макушкой — макушка была срезана чисто, — видно, осколок был острым. Очерчивались в сумерках руины кирпичного сарая — по всему, в сарае был бидон с мазутом, кирпич обгоревшего сарая стал антрацитным. С сосенки снялась сорока, старая, не без труда несущая свое громоздкое тело, и перелетела на кирпичную стену, потом вернулась обратно — было чуть-чуть странно, как сорока уцелела на этом поле, которое огонь перепыхал так основательно.

— Вот говорят, что на фронте слово «окружение» действует на молодых бойцов гипнотически... — произнес Пузырев. — Да и история говорит о том же: весть об осаде нередко вызывала среди осажденных смятение. А вот тут произошло иное, хотя было все много тяжелее, чем обычно... Осада была полной, и все, чем отмечен наш быт, свидетельствовало об этом: полная, полная, хотя во всем был свой железный цикл, своя очередность... Будто кто-то бил кувалдой по рельсу: раз, два, три! На заводе погас свет — раз, ушла вода, а с нею и тепло — два!.. Признаться, когда ушла вода, на какой-то момент объяло смятение: без воды на заводе невозможно... Проложили трубу к заливу, стали качать: да разве этой воды будет достаточно, когда на завод сыплются зажигалки... Пошел в ход снег, да как пошел — ни один цех не сгорел... Но главное, конечно, хлеб. Был лозунг эпохи военного коммунизма: «Они хотят задушить нас костлявой рукой голода». Ну, лозунг как лозунг. Пока он был лозунгом, как-то и не воспринимали его, даже, может быть, втайне считали слишком обнаженным: костлявой рукой!.. А теперь почувствовали весь его зловеющий смысл... Уже в одной этой норме ленинградского хлеба — рабочим четверть килограмма, остальным — сто пятьдесят граммов — для многих была перспектива конца... Правда, мы стали варить суп из дрожжей. Говорили, что это суп, а на самом деле — вода, почти вода, в своем роде психотера-

прия... Человека мы могли обмануть, смерть — хитрее... — Он вновь щелкнул крышечкой часов, но, чтобы рассмотреть циферблат, должен был поднести часы к свету.— Как бы немец не накрыл мировую прессу в литейном,— указал он взглядом на поле.— Одним словом, кладбище на заводе возникло, когда перешли на эти блокадные граммы. А потом немцы взяли Урицк и начали бить по заводу прямой наводкой. Это было так прицельно и так систематически, что не было сомнений: они знают, что значит сегодня завод. И вот тот же вопрос: осада... Наверно, были и такие, кто хотел отдать город на милость врагу, я так думаю, могли быть, хотя я таких не знаю. Представляете, в большом городе есть разные люди и, я так думаю, есть и такие, о которых мы говорим сейчас. Были эти ленинградские сто пятьдесят граммов и перспектива смерти и не было клятвопреступников?.. Если и были, то их была горстка ничтожная. В том, что можно было назвать миром Ленинграда, этих людей нельзя было рассмотреть в самые мощные стекла... Духовный климат города не мог быть столь надежным, если бы в основе этого не лежали жизненные принципы... Каковы они, эти принципы?.. Я вам скажу сейчас, но не считите это за нечто заученное — я об этом думал. Конечно, чувство общей беды — когда горит сосед и горишь ты, прежние обиды побоку!.. Чувство ленинградского патриотизма — мы и по прежним временам знали, как это неодолимо... Но даже если эти качества в людях были бы намного сильнее, чем на самом деле, ленинградцы бы ничего не сделали!.. Значит, было нечто большее, что руководило людьми, что вело их — не будем бояться этого слова — на подвиг, что сделало их такими сильными, какими они не были никогда прежде и, простите меня, в этой жизни могут и не быть... Что же это за всесильное чувство? В двух словах, чувство того, что ты веришь в нечто справедливое. Ощущение того, что нет более правого дела, чем то, какое нынче является делом твоей жизни... Вот оно, вечное, и вот оно, святое!

Они не успели услышать взрыва в поле, а на крыше, как при сильном ветре, загрело железо — начался обстрел. Земля застонала,— снаряд, потом другой упали рядом с заводом... Потом резануло по железу и посыпались стекла. «Это уже долбануло по заводу!» — крикнул кто-то из тьмы. Потом один за другим, с не-

правильными интервалами, начали падать снаряды на поле и пахло дымом и пылью.

— Ну вот, на этот раз обошлось,— сказал Пузырев.— Он сделал движение рукой, точно разгребая пыль.— Первый признак близкого разрыва — вот эта труха! Вздыбит ее, словно мир только из нее и состоит!..— Он взглянул в провал кирпичной стены — над покалеченной сосенкой появилась сорока.— Сорока вернулась — значит, и в самом деле отгрело...

Лицо Пузырева, только что угнетенное, вдруг посветлело: казалось, прочь отступило все горестное, что накопилось у человека за эти годы и что воспринял сам облик его.

— Вот верите... едва мы отправили наших на Урал, стали идти оттуда письма: верните в Ленинград!.. Да, да, в Ленинград, блокадный, холодный, голодный. Вы скажете: речь могла идти в письмах не о заводе, а о Ленинграде, а это не одно и то же. Нет, именно о заводе, даже больше — о литейном цехе, который стал ленинградской передовой и где по сей день льется кровь... Ну, вот хотя бы Колесников, Петр Тимофеевич...

— Я заметил: он очки свои не снимает... Так? — спросил наблюдательный гость.

Пузырев приумолк, печально посмотрел на Галуа:

— Верно заметили...

— Что так?

— Он вернулся без глаза... — произнес Пузырев, выдержав паузу.— Глаз оставил там,— указал он на поле, лежащее за проломом.— И куда вернулся? В литейный! Он эти очки снимает не часто. Вот когда придет сюда, чтобы взглянуть на поле, тогда и снимет. Взглянет одним своим глазом, скажет: «Похоже, немец будет нынче дубасить...» Вот так.

Они вышли из цеха, и облака, показавшиеся им белее обычного, и небо, синее обычного, и сам воздух, в котором была сентябрьская сухость и сентябрьская золотистость, точно объяли их.

— Товарищ директор!.. Вот Тимофеевич... одолел со своим домом отдыха — господи, до дома ли отдыха нынче?

Так вот они, глаза, что появились в полутьме литейки. Светло-серые с синевою. И вся она какая-то синень-

кая, просвечивающая, напитавшаяся этого холода и темноты. Только светло-русые волосы не восприняли темноты.

— Эта Римма, твоя подруга... пришла к нам теперь или была уже в ту зиму? — спросил Пузырев.

— Была... — ответила она, и губы ее задрожали. — Да вы ее должны помнить, в тельняшке, в тельняшке и летом и зимой!.. — Она умолкла, все пыталась сомкнуть губы. — В ту зиму, когда меня свалило, она выходила!.. Я за нею как за судьбой своей ходила. Все наказывала: «Римка, не отходи от меня!» Да разве удержишь, когда удержишь не дано...

Она ушла, и молчание повисло надолго.

— Вы сказали: не было клятвопреступников... Так? — спросил наконец Галуа — интересно, что в простом рассказе Пузырева он обратил внимание именно на это место.

— Да, я так сказал, — заметил Пузырев, насторожившись.

— Но ведь Ленинград — это не только улица Стачек, но и Невский с Каменноостровским, а там жил, простите меня, не рабочий народ с Путиловского и «Светланы», а все те, кто представлял деловой и служивый люд... Ну, могу допустить, что самих этих людей уже нет, а как их чада? Я воспитан на всеильном скепсисе и считаю его великим достоянием истинного интеллектуала. Поэтому да будет разрешено мне спросить: и они, чада этих старопетербуржцев, на общих началах входили в ленинградский монолит, не нарушив его алмазной твердости и неуязвимости?..

— Право, я об этом не думал, — произнес Пузырев — вопрос Галуа застал его врасплох. — Но, может быть, и характерно то, что я об этом не думал! Значит, жизнь не давала повода к этим раздумьям, а следовательно, соответствующие факты были не столь обильны?

— Вы правы, пожалуй, вы правы, — неожиданно согласился с ним Галуа и, обратив взгляд на Пузырева, заметил: — Я только хочу сказать, был не только Петербург революционный, но и контрреволюционный, именно Петербург, при этом мне еще надо доказать, что на Невском, Каменноостровском, Дворцовой набережной, на Литейном и Садовой, на Кировой и Фурштатской, на милой моему сердцу Манежной и про-

чая, и прочая, и прочая жили сплошь революционеры... Как они, те самые, что и во сне и наяву, при этом не только в восемнадцатом, но и, как мне доподлинно известно, много позже, единственно чего желали, так это гибели Советской власти?.. Как они повели себя, когда возникла ситуация, в высшей степени благоприятная для осуществления их намерений?..

Нет, он не поколебал Пузырева в его решимости, но смутил порядочно.

— Мне действительно не известно подобное, хотя я допускаю, что нечто аналогичное могло иметь место, но вот масштабы?.. — Пузырев смотрел на Галуа пристально. — Но масштабы, масштабы? Если бы они были такими, как представляете себе их вы, я бы, несомненно, знал об этом...

— Значит, Манежная приняла советское подданство? — смеясь, спросил Галуа.

— Можно понять меня и так... — ответил Пузырев не без радости — ему дался этот спор с трудом. — Насколько мне известно, вы еще пробудете в Ленинграде — проверьте меня...

— Простите, вы старый питерец? — взглянул на Пузырева Галуа.

— Хотел бы считать себя старым.

— Тогда должны знать... Тут все друг друга знают! Что вам говорит такое имя: Толь Александр Николаевич?

Пузырев заулыбался: ну, разумеется, Галуа попал в яблочко!

— Знаю, конечно, только не Александра Николаевича, а Дмитрия Александровича, архитектора... Но не думайте, что я один такой хороший в Ленинграде: Толя тут знают все... но именно Дмитрия Александровича... Вы не ошиблись?.. Дмитрий.

— Нет, не могу ошибиться... Сколько лет вашему Толю?

— Ну, мы, ленинградцы... опередили время лет на десять. Если он выглядит на сорок, значит, ему тридцать... Тридцать лет!

— Ну, а моему Толю лет пятьдесят... Все верно: сын!.. Э-эх, хорошо бы нам встретиться всем вместе... Как вы?

— Я могу дать слово только на послеблокадное время... Раньше — зарез!

— Однако вы не щедры... Вы о Толе Дмитрие Александровиче слышаны или знаете... лично?

— Лично, разумеется.

— По работе? Завод свел?

— Нет, не завод — Ладога, ледовая трасса.

— Толь... ледовая трасса?

— Да, в декабре сорок первого. Наши машины там работали, а Толь Дмитрий Александрович стоял с фонарем на льду...

Галуа внимательно и долго посмотрел на Пузырева:

— Я бы хотел повторить свою просьбу, настоятельную: мы должны встретиться.

На этом и расстались. Всю дорогу, пока машина добиралась до «Астории», Галуа повторял:

— Слышали: «стоял с фонарем на льду...»?

57

Вечером, когда Тамбиев пришел к Галуа, в номере его не было света.

— Вы спите, Алексей Алексеевич?

— Нет, конечно... до сна ли?

Тамбиев помедлил, не зная, оставаться или уходить.

— Вот думаю сейчас: голод — это не только голод, но и апатия, вот этот обстрел и гибель близких, изо дня в день гибель... тоже, наверное, апатия, а следовательно, безразличие к смерти: есть она, эта апатия, или нет ее? Говорят, что не было троянского коня... Так вот, эта апатия и есть конь троянский, которого незримо заслал враг в осажденный город, не так ли?..

— Хотите, пройдемся... в Летний сад? Ведь он вот тут, рядом, а? И Марсово поле, и Дворцовая набережная, и столп Александрийский, и Всадник Медный — все рукой подать, а?..

Галуа усмехнулся:

— Знаете, Коля, мне сегодня не до столпа Александрийского...

Тамбиев ушел один. Шел, думал: «Истинно, не до столпа Александрийского». Вспомнил картонный квадратик, что дал ему Кожавин перед своим отъездом в Харьков. Отыскал его, — как ни густы были невисские сумерки в августе, четкий кожавинский почерк победил их: «Проспект Стачек». Где он, этот проспект Стачек? Решил шагать и шагать — благо охранный бумага

в кармане, не совсем пропуск, но от ночного дозора убережет. Шагал и твердил, как стихи: «Проспект Стачек». Ленинградские прямые версты, пожалуй, не так долги, как крутые московские, но и они не коротки. Часа за полтора дошагал. Дошагал и только тогда понял: а ведь пришел туда, откуда ушел за полдень: Кировский-то завод — рядом. И тут, неожиданно народившееся, твердо ткнулось в сердце: да не может быть, чтобы Кожавин жил за Нарвскими воротами, Кожавин, которого он считал белой костью, аристократом, в какой-то мере невским денди, и вдруг — ворота Нарвские?.. Нет!.. Да и дом не похож на тот, что должен быть домом Кожавина: двухэтажный, точно такой, как справа и, пожалуй, слева от него, стандартный.

— Простите, квартира Кожавиных здесь?

— Да, вы не ошиблись.

— Вы Клавдия Николаевна?

— И это правильно... — Она взглянула на картон с адресом не без любопытства, угадала руку Кожавина. — А вы от Игоря? Письма от него не привезли?

— Нет.

— Жаль. Жду с начала месяца... Припоздал. Видно, повез американцев русскую войну смотреть?.. А вы небось товарищ по работе, да? Форма у вас, как у Игоря...

— Но ведь вас не было, когда Игорь приезжал?

— Да, я жила на Охте у дочери, но мне рассказали соседи.

— Игорь жил здесь?

— Рядом... Мы получили вместе. Еще дед Кожавин был жив... Заводская квартира!

— Вы сказали «заводская»?..

— Да, конечно, заводская... Хотите взглянуть? Пойдемте.

— Нет... зачем же?

— Не стесняйтесь: там у меня порядок. Игоря теперь из Москвы не выманишь, а бабушка, надо думать, вернется... ключ-то у меня.

Ей хотелось показать квартиру Кожавиных.

Тамбиев пошел. Ему казалось: дом скажет о человеке больше, чем успел сказать сам человек. Может, дом как раз и способен договорить недосказанное.

— Вот сюда, пожалуйста... Тут все как при них... — Она вдруг оглянулась на Тамбиева, точно хотела за-

стать его врасплох, взгляд ее был строго-внимателен.— Странно: едет человек, а он и письма не передал.

Соседка открыла одну дверь, вторую, открыла, помедлив: мысль, которая ее встревожила, еще жила в ней.

— Вот вся их династия!.. — указала она на стенку над комодом.— Вот тот, слева,— дед... еще при Путилове начинал, а рядом Владимир, отец Игоря, тоже путиловский пролетарий, а дальше Игорек... узнаете? Вот так оно по цепочке и идет, от деда к сыну, от сына к внуку... Все наглядно, все как на ладони.

Тамбиев едва удержал вздох: как же он не разузнал всего этого прежде?.. И откуда тогда этот кожавинский аристократизм, породистость, благородство манер, и это необыкновенное умение носить костюм, и его английский, в знании которого была не ученическая правильность, а блеск, откуда рояль и умение импровизировать, откуда все это врожденное, кожавинское, что побуждало разных людей говорить одно и то же: есть в нем что-то от Горчакова!..

Оказывается, Горчаков-то с проспекта Стачек и прародитель его, и родитель — путиловские пролетарии... Нет, но тогда откуда все-таки этот кожавинский аристократизм?.. Это же так вдруг не выстреливается? У всего этого должна быть родословная?.. Да, да, на этой вот стене должны висеть портреты по крайней мере трех поколений интеллигентов?.. Нет, не обязательно, чтобы они были людьми голубой крови... А может быть, всему объяснение — Ленинград! Да, мир этого города, сам его воздух, его свет, его дворцы и соборы, его набережные, его мосты... Человеку достаточно жить в этом городе, чтобы то прекрасное, что есть здесь, переселилось в человека, стало его сутью... Ну и семья не стояла в стороне. В том-то и дело, что это была семья старых русских рабочих, философов-самоучек и поэтов-самоучек, доморощенных интеллигентов, выросших на любви к книге...

Тамбиев ушел. Как ни долог был обратный путь, не хватило времени осмыслить все это... Не тешь себя мыслью, что понял все, что проник в суть: думай, думай.

— Где вы были? — Галуа не спит, на нем шапочка, связанная из гаруса, он возит ее за собой повсюду — у него, как заметил Тамбиев, мерзнет голова, даже ле-

том.— Спыхватился, а вас нет... Решили побыть без меня. Признайтесь, так?

— Я разыскал дом... Кожавина Игоря Владимировича, он ведь ленинградец.

Галуа забеспокоился.

— Креста на вас нет, Николай Маркович, взяли бы меня?

— Мне показалось, что вы устали — далеко это...

— Ну, не в Царском же?..

— На проспекте Стачек.

— Где, где? — Галуа тряхнул головой, и шапочка не удержалась, съехала набекрень — очень он смешон в этой своей шапочке из розового гаруса, но не замечает этого.

— На проспекте Стачек, за Нарвскими воротами...

— Так это же у самого Кировского, он там жил?..

— Да, он и сам из потомственных путиловцев: и дед, и отец...

Галуа замолкает и будто погружается в раздумье — вот его ум сейчас торит эту мысль, упорно торит.

— Была в нем этакая изысканность... петербургская. Кто-то сравнил его с молодым Горчаковым, и это, так я думаю, очень точно... Но вот то, что вы сейчас сказали о его родословной, для меня, признаться, неожиданно. Значит, Горчаков с проспекта Стачек, так?..— Только сейчас он почувствовал на голове свою нелепую шапочку, снял и быстро спрятал ее под подушку — не забавы же ради он возит эту шапочку за собой, он лучше спит, когда на голове эта шапочка.— Был у меня час назад мой приятель, Толь Александр Николаевич, школьный учитель с Охты. Презабавная фигура... в таких штиблетах... Истинно чеховский персонаж! А штиблеты-то!..— Толевская обувь вызывает у него гомерический смех.— Господи, каких только причуд за людьми нет! — повторяет он умиленно, будто бы не он только что упрятал под подушку свою нелепую шапочку из гаруса.

— А у него небось иных нет... штиблет-то,— произносит Тамбиев строго.— Это — Ленинград.

Галуа окаменевает с полуоткрытым ртом.

— Простите, ради бога, я как-то не подумал...— ему стоит усилий шевельнуть губами — их в самом деле точно заморозило.— Вот и прощения попросил, а, наверное, не надо бы...

— Почему... не надо?

— А потому, что Саша Толь — буржуй, как вы говорите...

— Это как понять?

— Ну, не буржуй, а сын буржуа... Его отец был компаньоном моего отца по Китайско-Восточной железной дороге... Одним словом, завтра я повезу вас к нему в школу. Кстати, он чудом сберег коллекцию черно-белой графики, коллекцию редкую... И вот что прелюбопытно, они живут в своей старой квартире, в той самой, где собирались акционеры КВЖД и где не однажды бывал у них... Кто бы вы думали? Витте! Да, не открою большой тайны, если скажу: он покровительствовал и Толям, и моему отцу... Кстати, сын Саши, Дмитрий Толь, фигура здесь достаточно известная...

— Так вы спрашивали у Пузырева о Толях?

— Да, именно о них... Попомните: откажетесь ехать — это невосполнимо. Надо ехать... Едете? Ну вот...

И он извлек из-под подушки свою гарусную шапочку, с нежностью погладил — ему очень хотелось ее надеть.

Тамбиев откланялся, Галуа обратился к черно-белой графике не без умысла: ему хотелось показать Тамбиеву семью Толей. Тем более это было интересно Николаю Марковичу: посещение Толей не просто открывало нечто невиданное в том, что было миром этого города, но позволяло проникнуть в жизнь Галуа, познать такую ее грань, которая до сих пор могла быть и не очень видна.

Поутру, когда Александр Толь явился к Галуа, Николай Маркович увидел долгового человека, седого, но буйноволосого, обутого действительно в штиблеты со штрипками, при этом штрипки были необычно длинными и торчали так демонстративно, что их можно было принять за бантики, которыми повязали человека у щиколоток, точно коня.

— Саша, — обратился Галуа к другу, — вот это Тамбиев, которому я обязан счастьем встречи с тобой. Ну, что вы нахмурились, Николай Маркович?.. Я ведь правду сказал.

Толь поздоровался и тут же отвел руки за спину — они были у него розовые, будто он только что извлек их из мыльной пены, перестирыв гору белья.

— Я пригласил Алексея Алексеевича посетить нашу школу и был бы весьма обязан... Одним словом, окажите честь.

— Оставь ты эти свои китайские церемонии, Саша,— возроптал Галуа.— «Окажите честь»! Я уже все сказал Николаю Марковичу, и он с радостью согласился, не так ли?.. Едем!

Уже после того, как отъехали от гостиницы и улицы, точно страницы оставленной на ветру книги, зацепстрели и замелькали перед глазами, Галуа спросил:

— Послушай, Саша, не могу понять, почему наши с тобой родители жили не в собственных домах, а? Ты думал над этим?

Толь тронул красной ладонью белый воротничок и, убедившись, что он в порядке, ответил:

— Думал, разумеется, Алеша... Для того круга людей, полуимущих-полуслужащих, к которым принадлежали наши с тобой родители, это звучало неким образом архаично... Понимаешь, собственный дом обременял, сковывал энергию, он, попросту говоря, был невыгоден, да и не так комфортабелен, как те дома, которые уже умели строить в начале века и которыми сплошь, например, застроен Каменноостровский, да и твоя Моховая в какой-то мере... А ты как думаешь?

— По-моему, ты прав, хотя доводы твои выглядели бы основательнее при одном дополнении.

— Я тебя слушаю.

— Наши старики были буржуа, но, как истинные дети своего времени, заметь — дети умные, понимающие дух времени, они не кичились своей буржуазностью... Поэтому люди, чей капитал определялся миллионами, жили если не в доходных домах, то в таких, которые были выстроены на паях, как наш, например... Убедительно?..

— Да, конечно, хотя в природе существует такая деталь, которой мне не хотелось бы пренебречь... Наши отцы были людьми особенными в России. На взгляд русского, они были немцами, хотя могли быть и шведами, и французами, и финнами, и англичанами... Если бы это было при царе Алексее Михайловиче, то их бы нарекли безбородыми и поселили за рекой или

оврагом. Так вот, Каменноостровский как раз и был за рекой, а там свой климат...

— Климат двадцатого века?

— Можно сказать и так.

Галуа засмеялся — то ли ему показался забавным довод друга, то ли пришла на ум иная мысль, которую без ухмылки не воспримешь.

— А вот теперь ты мне скажи, Саша. Только, чур, не кривя душой: когда ты первый раз обнарудовал, что твоя отец — буржуй?

Толь снисходительно улыбнулся: причуды Алексея Галуа!.. Он и прежде выделял такие антраша!.. Ну что ему, право, скажешь?.. Ведь спросил он все это не из интереса серьезного, а так, из озорства.

— Что же ты умолк?

— В тридцатых годах уже не боялся, Алеша...— Толь все еще снисходительно улыбался.

— Только в тридцатых? А до этого небось мороз за пазуху забирался, да?

— Все было, Алеша, но ведь это в прошлом...— и Толь невольно прикинул к окну: машина замедлила ход.— Ну, вот мы и приехали, наша школа...— И в этот самый момент раздался очередной взрыв, грохнул снаряд где-то совсем рядом,— видно, школа была недалеко от немецких позиций.

Толь дождался, пока гости выйдут из машины, повел их к пыльной осинке, точно эта осинка была способна защитить от снаряда.

Сейчас они стояли в тени дерева, и им была видна школа, как и дома рядом со школой.

Это был новый район города, неведомый Галуа. Новый, однако жестоко разрушенный немецкой артиллерией. Здание школы было иссечено осколками снарядов, некоторые окна были заколочены фанерой, кровля, сколько доступно глазу, была в заплатах.

— Четыре снаряда,— сказал Толь, указывая на дом.— Последний упал на школьном дворе этой весной...— Он продолжал смотреть на школу; казалось, то, что он вспомнил сейчас, никогда не приходило ему на ум прежде.— Это одна из тех наших школ, которая работала все время. Вы понимаете, все время...

— И в ту зиму? — спросил Галуа, его игровое настроение точно рукой сняло.

— И в ту зиму,— подтвердил Толь и взглянул на Га-

луа — понимает ли он? — Не было случая, чтобы занятия отменялись... — пояснил он. — Отцы многих наших детей в окопах, под Ленинградом... Кто-то жив, кто-то уже погиб, матери — на заводах... — Он продолжал смотреть на друга — понимает ли он? — В самое тяжелое время, да, да, в ту зиму, в ту зиму перешли в убежище и продолжали заниматься там... Где-то разобрали сарай, где-то забор и старый дом, топили печки, сшитые из кровельного железа. Детей кормили в школе — разумеется, как могли... Они занимались в ту зиму так, как никогда прежде не занимались. Но в психике их произошло нечто такое, что еще надо понять: они замкнулись, стали молчунами, все пережитое сделало их в большей мере взрослыми... Вот говорят: боль умудряет. Именно так, детство кончилось раньше, чем обычно...

Галуа смотрел на Толя странно строгими глазами; казалось, лишь сейчас он и увидел его, лишь сию минуту и произошла встреча — до этого он его будто не видел, не проник толком в его существо.

— А как дети, Саша, многие умерли? — спросил Галуа.

— Из тех, кто ходил в школу... никто не умер, — ответил Толь. — Учителя умирали, дети — нет.

Толь шел впереди. Была в его походке скорбность, на нем точно лежал сейчас отсвет этих последних его слов. Да и во взгляде Галуа, обращенном на друга, как заметил Тамбиев, было необычное: тревожное внимание, почтительность, может быть, даже настороженность, чуть-чуть торжественная.

Они вошли в школу. До перемены было далеко. Кто-то за дверью ожесточенно стучал мелом по доске.

— Александр Николаевич, какой вы сегодня нарядный! — девушка, возникшая словно из-под земли, приснула и исчезла, может быть, молодая учительница, может, пионервожатая.

— Вот сюда, пожалуйста, это мой класс... — Толь открыл дверь, пропустил гостей.

Окна были заложены выбеленным кирпичом. Свободной оставалась лишь верхняя часть — через нее и пробивался в класс солнечный лучик, заметно пыльный. Он падал на стену: там висел брюлловский Пушкин. Школьный художник, сделавший копию, переложил охры, и бакенбарды поэта, подсвеченные этой

охрой и падающим на стену отблеском солнца, казались красно-коричневыми.

— Вот я сейчас вам покажу... по-моему, этому цены нет,— сказал Толь. Взяв из стола ключик, открыл стоящий в углу шкаф и, нагнувшись, вытащил нотную папку.— Тут «замок» с секретом... одну минутку,— он пустился длинными пальцами распутывать стянутый узлом шнур.— В том, как увидели это дети, есть и страх, и, простите меня, жажда возмездия...

Галуа раскрыл папку, и нечто похожее на оцепенение объяло его: это были рисунки блокадных детей, рисунки, которые были детскими по суматошности красок и пропорций, но отнюдь не по содержанию. В содержании была та недетская устремленность и та молчаливость, тоже недетская, о которой уже говорил Толь.

На рисунках был Ленинград, но не было смерти, хотя дети, без сомнения, смерть видели. Были еще на рисунках гнев и чувство презрения к врагу и к смерти, а следовательно, сознание силы. На рисунках была Красная Армия: пехотинцы, танкисты, летчики, все с красными звездами на шлемах и пилотках. Были на рисунках школьные классы, много детей и учителей, все больше пожилых, с печальными и добрыми лицами.

— Много ли учителей... погибло?

— Много... В ополчении, один у Пулковских высот, другой под Кингисеппом... В бою, как солдаты. Некоторые умерли, готовясь к урокам, от голода... Были и такие, что умерли потом, когда стало легче,— видно, смерть уже поселилась в них...

Толь повел их через школу, в тот ее дальний конец, где был спуск в бомбоубежище.

Они прошли через физкультурный зал, там дети занимались на брусках и шведской стенке. Толь подзвал их, представил гостям.

— Это наши старшекласники,— сказал Толь, оглядев ребят с видимой гордостью.— Стали старшекласниками... теперь...— уточнил он.— В ту зиму они были уже взрослыми и помнят все...— Он протянул руку к мальчику в вязаной куртке.— Пойдемте с нами, дети, вы нам поможете... И ты, Нина, ты обязательно...— сказал он девочке, стриженной едва ли не наголо; видно, девочка вернулась в школу после болезни и волосы

не успели отрасти. Девочка сняла с брусьев косынку, она стеснялась своих стриженных волос.

— Ксана, идем с нами! — крикнула она подружке, которая, оставив свои тапочки на полу, приблизилась к шведской стенке.— Пойдем, пойдем! — повторила она.

Толь был доволен, что удалось расшевелить детей, хотя они все еще заметно робели.

Они дошли до каменной лестницы, ведущей в подвал, и мальчик в вязаной куртке храбро ринулся в темноту, чтобы включить свет. По тому, как он шагнул в сырую тьму подвала, казалось, что вспыхнут сто солнц, а зажглась лампочка с детский кулачок, засиженная мухами. Но ребят это не смутило: истинно, мальчик в вязаной куртке зажег сто солнц.

Это был подвал, сырой, невысокий (вытянув руку, можно было коснуться потолка), совсем глухой — когда-то в нем были окна, теперь замурованные. Достаточно обширный, выстроенный с размахом, он мог стать склепом, угоди сюда снаряд или бомба. Но дети, спустившиеся сюда по каменной лестнице, не были настроены так мрачно. Напротив, они стояли сейчас вокруг жестяной печки, скроенной по образцу тех «буржоек», которые были в ходу на заре революции, и вспоминали блокадную зиму.

— Все началось с того, что стали трамваи, и первый раз я пошел в школу пешком,— сказал мальчик в вязаной куртке.— Мой дом по ту сторону Невы. Если бы не пурга, куда ни шло, а тут еще пурга... Снег сухой и сыпучий, точно песок, думаешь, что идешь, а на самом деле ни с места. Я это хорошо запомнил, когда стали трамваи... А без школы я не мог. Все думал: перестану ходить в школу и помру. Однажды простоял шесть часов в очереди за хлебом, и меня выморозило до костей. Пришел домой и слег. Вот тогда страх меня взял: конец, думаю... Но прошел день, другой: нет, думаю, надо мне до школы дойти, а там справлюсь... Встал и пошел. Нет, не пошел, а пополз!

— Печка была спасением! — сказала Нина и вдруг сняла с себя косынку, сейчас ей было не важно, что она стриженная.— Самое лучшее место, у дверцы, отдавалось учителю: он следил, чтобы печка горела. А потом хорошее место было под трубой, но его можно было занять, если придешь пораньше... Как бы жарко

ни горела печка, она давала тепло только тем, кто сидел совсем рядом. Уже в следующем ряду зуб на зуб не попадал... Ребята сидели в пальто и шапках, даже если надо было писать мелом, варежек не снимали...

— У меня было задание следить вот за этой лампой,— сказала Ксана и показала керосиновую лампу— очень смешную, пузатую, из белой жести, увенчанную трехлинейным стеклом, тоже пузатым.— Я должна была наливать в лампу керосин, а фитиль хорошо обрезать. Когда близко падали снаряды, первой вздрагивала наша лампа, у нее по всему телу шло такое дрожание... Все уже успокаивались, а она дрожит, бедняжка,— девочка говорила опустив глаза и все смотрела на свою правую ногу, которую как-то ловко вынимала из туфельки, приподнимала и, пошевелив пальцами, вновь всовывала в туфельку — нога у нее была небольшой, точеной, и девочка проделывала эту операцию не без кокетства, она знала, что у нее красивые ноги, и хотела, чтобы это видели другие.— Однажды лампа опрокинулась, и керосин едва не вспыхнул. Пришла наша школьная сторожиха и сказала, что снаряд упал через дорогу от нас...

— Снаряд — это страшно, но в окопах было страшнее,— сказал мальчик в жокейской кепочке, до сих пор молчавший.— Немцы уже подошли, и окопы пришлось рыть под пулеметным огнем... Мы, желторстики, и то не дали деру! И так было не день и не два, а двадцать пять дней!.. Вот там несколько наших ребят полегло. У меня дружка скосило, друг был что надо!.. Звали его Геной — два метра! Ну, два метра, конечно, преувеличение, а метр восемьдесят наверняка! Он был старше нас... Нина, ты помнишь его! — обратился он к стриженной девочке, и она с участием, грустным и чуть стыдливым, кивнула ему в ответ.— Его рост подвел, не так просто спрятать метр восемьдесят... Но окопы мы вырыли, и немцы стоят там, у наших окопов, до сих пор...

— Вот и все, что мы могли показать,— сказал Толь, когда они вернулись к машине.

— А вы показали не мало,— отозвался Галуа и вдруг, заметив среди провожающих мальчика в вязаной куртке, оживился.— Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос.

Мальчик попытался сомкнуть борта своей вязаной куртки.

— Если смогу.

— Вот скажи мне, пожалуйста...— необыкновенное воодушевление отразилось на лице Галуа, его действительно увлекла возможность задать этот вопрос советскому школьнику.— Веришь ты в добрую волю союзников?..

Мальчик в смущении продолжал тянуть курточку.

— Вам важно, что думаю об этом я? — спросил он.

— Очень важно,— подтвердил Галуа.

Мальчик точно собрался в комок — ему не очень хотелось отвечать.

— Иногда мне кажется, что я верю...

— Иногда? — тут же реагировал Галуа.

— Да, иногда...— подтвердил мальчик, осмелев.— Когда англичане топили «Бисмарка», я верил...

Галуа захохотал, обвил длинной рукой хрупкие плечи мальчика:

— Ты очень хорошо ответил, молодец...

Такой ответ приободрил не только Галуа — Александр Николаевич, на которого вопрос друга порядочно напал хмари, тоже воспрял духом.

— Я везу вас к себе, не правда ли? — спросил Толь не без робости.— Я покажу вам, Николай Маркович, коллекцию графики...

— А мы уже сказали, что принимаем твое приглашение,— тут же отозвался Галуа — он явно хотел предупредить возможный отказ Тамбиева.

— Вы сказали, я — нет,— ответил Тамбиев, смеясь.

— Ну, я от вас не ожидал... Александр Николаевич свидетель,— ринулся в бой Галуа.

Но деликатный Толь был не столь напорист.

— Мне казалось, что Николай Маркович не откажется, если я попрошу.

Тамбиев сказал, что готов ехать.

Что-то было в этом доме от того стиля, который восприняли быстрорастущие русские города в начале века. Дома стояли впритык, им явно не хватало места на земле, и они, как забродившая опара, лезли прочь из макитры, искали простора наверху. Может, поэто-

му у таких домов были узкие окна, узкие двери и сами они были узкобедрыми, как та молодуха, которая всем хороша, кроме одного: рожать ей трудно. И все-таки дом был красив: прошло столетия, как он был построен, а, казалось, выглядел он современным. Эта современность была прежде всего в фактуре материала: использовались простые породы и камня и дерева, благородных темных тонов, также благородно приглашены по колориту были и мозаика, и обливной кирпич на стенах, и витражи на лестничных клетках...

— Вот наш мужской монастырь,— сказал Толь, нащупав в полутьме, заметно красноватой (солнце было по ту сторону дома, и витраж давал мало света), дверной замок.— Да дома ли он? — Александр Николаевич, обратившись к звонку, не столько просил сына открыть дверь, сколько предупреждал, что гости пожаловали.

На звонок никто не откликнулся, и, достав колечко с ключами, Толь отпер дверь.

— Не скрою, что все утро был занят уборкой, но успел сделать далеко не все,— произнес он и зажег свет.

На круглой вешалке висела шуба черного сукна, подбитая рыжей лисой,— многопудовая шуба, в которой, можно было подумать, как в фамильной люльке, набиралась тепла, выросла и окрепла едва ли не вся династия Толей.

Коридор был долог, и по обе стороны его стояли шкафы с книгами, закрывая стены от пола до потолка.

— Полагаю кощунством выставлять книги в прихожую, но был вынужден это сделать, иначе бы сам очутился в коридоре,— произнес хозяин, заметив, что книжные шкафы привлекли внимание гостей.— Меня размеры квартиры устраивают, а вот у книг иное мнение...

Они прошли в конец коридора и оказались в комнате, которая раньше могла быть в доме Толей гостиной. Точно апоплексияхватила этот дом на каком-то жестоком рубеже, и все разом остановилось, где стояло: и полудюжина гарнитурных стульев, и кресла и полукресла, и диван, и ломберный стол с полуистлевшим зеленым сукном, разве только большие напольные часы с медной тарелкой циферблата и медной бляхой маятника не охватило оцепенение — часы продолжали идти, отсчитывая в середине века двадцатого

те же медленные, с придыханием, допотопные секунды, какими они были в середине века девятнадцатого.

— Вот взглянул на ломберный стол и все увидел явственно,— произнес Галуа и погладил ветхое сукно стола.— Вот тут они сидели, как заговорщики!.. Внешне все обстояло благопристойно: они играли! На самом деле ничего от игры — они работали! И как работали, азартно! Без пиджаков, в одних жилетах — работа!.. И только отец мой не снимал пиджака. Мне так казалось, что ему было небезразлично, как на него взглянет хозяйка... Одним словом, в пиджаке недостатки его фигуры были не так видны. За те шесть часов, в течение которых они оставались за столом, совершалось нечто эпохальное, хотя человек непосвященный мог и не понять происходящего. Вот это типичное для картежников: «Ваш ход, коллега», «Я — пасс», «Беру, разумеется», «Ваша игра», «Мимо» — было пересыпано чем-то таким, что к картам имеет отношение косвенное: «Мазут», «Сосна», даже «Горбыль» и «Кругляк». Прости меня, Саша, но ваш дом, как и наш, стоял на зеленом сукне. Ты полагаешь, что было не так?

Но воспоминания Галуа не зажгли воображение друга — Толь оставался безучастным, больше того, воспоминания эти нагнали на него скуку.

— Смотрю на Александра Николаевича и глазам своим не верю: учитель! — вдруг обратился Галуа к Тамбиеву.— Ну, мог представить его директором банка, президентом лесоконцерна, ну, наконец, хозяином донецкого антрацита, но учителем?.. Моего воображения на это не хватило! Не мог представить, чтобы вот этакий дом, с его предприимчивостью, с его, прости меня, комбинационным даром, с его страстями, родил учителя. Я ведь знал Николая Самойловича. И хватка его железная мне была ведома. И вдруг акула родила, ты не обижайся на меня, кроткого дельфиненка. Аномалия, какой природы не ведаешь!.. Ты думаешь о своей школе, Сашенька? — спросил он, обратившись к хозяину.

— Представь, я думаю о школе,— признался Толь и покраснел.— Я думаю: почему я пренебрег всем, что было традициями этого дома, и стал учителем? Нет, не потому, что подули иные ветры и погода переменилась. Меня увлекла сущность того, что есть учитель и дети... Вот подходит ко мне малышка-первоклассни-

ца и говорит: «Александр Николаевич, послушайте, прилетают сегодня три моих лисенка и говорят: «Мама, ты должна вернуться к нам!» Ну, с точки зрения здравого смысла у малышки явно послабили пружинки. На самом деле иное: у тебя ослабили эти самые пружинки, если ты так думаешь о ребенке. Даже смешно, как ты, став взрослым, мог в такой мере забыть, что есть мир детства. Это прежде всего мир, в который переселился ребенка его фантазия. Кстати, она ничего общего не имеет с фантазией взрослого человека. Взрослый, отдавая себя во власть фантазии, ни на минуту не расстается с землей. Именно фантазируя, он особенно твердо чувствует землю под ногами. Ребенок, отдавшись фантазии, напроочь отрывается от земли. Поэтому, когда малышка говорит мне, что крылатые чада ее, в образе лисят, зовут к себе, я, чтобы не разрушить мир образов ребенка, должен ответить: «Лети к своим лисятам, детка. Лисят нельзя оставлять одних». Окажись я на секунду человеком ума здравого и дай понять ей, что ставлю под сомнение существование ее крылатых младенцев, я для нее не учитель и, простите меня, не человек — мы не пойдем друг друга ни сегодня, ни завтра...

Он говорит, а Тамбиев думает: что творится в душе Галуа, слушающего рассказ Толя о малышке-первокласснице и крылатых лисятах? Не уподобился ли сам Толь этой малышке-первокласснице? Ну, в самом деле, что может сравниться с аномалией, которую наблюдает сейчас Галуа? Можно ли представить, чтобы Толи с их предприимчивостью, их комбинационным даром, с их страстями, с их жадной обогаченности родили кроткого дельфиненка?.. Дело, в конце концов, и не в Толях. Если взглянуть на Александра Николаевича из мира жестоких страстей, в котором жил и все еще живет Галуа, каким выглядит отпрыск Толей, и какова его способность создавать реальные ценности, и что есть эти ценности реальные?.. Кем мог стать отпрыск Толей в том мире? Текстильным, мебельным, пшеничным или спичечным магнатом. А кем он стал?.. Фантазером храбрым. Война кончится, наступят будни, и когда место человека в жизни будет определяться его способностью создавать ценности, в которых на-суточно заинтересованы люди, как себя покажет Толь!.. Но дети, дети, к воспитанию которых имеет отноше-

ние Александр Николаевич. Что может быть ценнее этого? Кто воспитал этих детей? Толь? А если их воспитал все-таки Толь, не сообщил ли он им частицу наивного фантазерства, которое в наше жестокое время, честное же слово, не делает человека сильнее?

— Да, это он! — просиял Александр Николаевич, устремившись вдруг к входной двери. — Звонит, как все и все-таки не как все: я всегда знаю — он!

Вошел Дмитрий Толь.

Не хочешь так думать, подумаешь: вот она, династия Толей на ущербе! О чем мог думать сейчас Галуа? Да, если верна эта мысль о мельчании человеческих дел, призваний, идей, личностей, есть ли они вообще, эти личности, то вот оно, все это, всочию. Кажется, был старик Толь — косая сажень в плечах, да Александр куда ни шло, а вот этот... Откуда только взялись эта плешь — ведь все Толи обильно волосаты, эта рыжеватость, нет, не в волосах, которых нет, а в коже, коже, эта малорослость, эта манера хмуриться и вонзять в тебя взгляд?.. Пожал руку так, будто хотел сказать: не в лысине и не в рыжей коже дело!..

— Простите, пожалуйста, что опоздал. Не рассчитал с трамваем. — Он взглянул на отца: — Ты, конечно, еще не кормил гостей?.. Тогда я пойду на кухню — у меня это получится чуть-чуть быстрее...

— Дмитрий Александрович архитектор-градостроитель? — Галуа пылал любопытством, человек вошел, и через минуту уже сто вопросов готово. — Николай Маркович говорит: Толь — известное имя! — подмигнул Галуа.

— Возможно, — согласился старший Толь.

Галуа вздохнул — не очень поймешь, вздох ли печали безысходной или облегчения.

— Но ныне пора не столько созидания, сколько руин, верно?..

— Я в этом мало понимаю, — ушел от ответа Александр Николаевич. — Вот Дима — другое дело...

— А он думает по-иному?..

Толь усмехнулся.

— Дима, ты слышишь наш разговор? Ты думаешь по-иному?..

— Сразу и не ответишь, — подал голос из кухни младший Толь.

На кухне застучал нож, засипел чайник.

— Семья... не в Ленинграде? — спросил Галуа полупшепотом, очевидно поймав себя на мысли, что не задал этот вопрос раньше.

— На Волге, с заводом.

— И дети? — младший Толь не на шутку заинтересовал Галуа.

— Девочка, — ответил Александр Николаевич и добавил: — Одиннадцати лет.

— Значит, ему лет тридцать?

— Тридцать два.

— Можно успеть к тридцати двум что-то сделать?

— Можно, если очень захочешь, — засмеялся Толь, он испытывал неловкость и хотел дать понять другу, что сказал о сыне почти все. — Дима, как у тебя там?

— А у меня уже все готово... Я накрыл в кабинете.

— В кабинете так в кабинете. — Толь встал. — Прощу вас... Чем бог послал, разумеется.

Они пошли за хозяином.

— А вот эту комнату я помню, пожалуй, получше! — возликовал Галуа, едва переступив порог. — Здесь висел портрет Сперанского, не правда ли?

Старший Толь расплылся в улыбке — ему была приятна эта деталь:

— Верно, отец любил Сперанского.

Галуа скользнул испытующим взглядом по стенам:

— Вот здесь висела карта Донецкого бассейна, так?..

— Верно, — подтвердил Александр Николаевич. — Она и сейчас цела, но перекочевала на шкаф.

— А вот эта фотография стояла на письменном столе и прежде, — Галуа обратил взгляд на женский портрет в фигурной раме.

— Мама, — подтвердил Александр Николаевич. — Ее портрет всегда стоял здесь... И это все, Алеша?..

Галуа оглядел комнату еще раз:

— Лампа!.. Лампа с атлантами из папиного кабинета! — Он кинулся к письменному столу и, схватив тяжелую, бронзового литья лампу, приподнял ее над головой. — Ну, помню, помню... вот видите!..

Хозяин был счастлив не меньше гостя.

— Перед отъездом... туда твой папа одарил половину Петрограда, — произнес старший Толь. — Нам предполагались эллинские вазы, что стояли у вас

в прихожей, но наши взяли лампу — куда нам греческие сосуды, размах не тот... Кстати, Дима, зажги ее — пусть она нам посветит.

Лампу зажгли, и ее свет, золотисто-оранжевый, усиленный отблесками бронзы, лег на небольшой, покрытый скатертью, белой с сине-туманной каймой, стол.

Толи были счастливы, что в нынешнюю, более чем страдную для Ленинграда, пору имеют возможность принять гостей и при этом поставить на стол старую фаянсовую масленку с маслом, добрый кубик сыра, влажного, ноздреватого, только что извлеченный из банки валик консервированной колбасы, нарезать хлеба, свежего, обсыпанного коричневатой мукой, заварить чаю.

— Ну, вы тут в своей Ганзе заречной живете побуржуйски, такого изобилия в Ленинграде мы еще не видели!.. — возликовал Галуа и, обратившись к Тамбиеву, спросил: — Верно ведь, Николай Маркович?..

Галуа ел, нахваливая и сыр, и колбасу, и чай, заваренный младшим Толем. Хваля, он смешно шевелил своими редкими бровями. «Ну, Николай Маркович не даст мне соврать, ведь вкусно же?» — восклицал он, обращаясь к Тамбиеву. «Все вкусно, очень...» — подтверждал Тамбиев и ругал себя за то, что не сказал этого до Галуа. Хозяева, конечно, понимали, что похвалы гостей могли быть и преувеличенны, но хозяевам было приятно.

— Погодите, а вот этого в восемнадцатом году определено не было! — воскликнул Галуа, обратив внимание на лист ватмана с карандашным рисунком некоего сооружения. — Это что же... римские бани или греческий амфитеатр?..

— Это проект стадиона на Крестовском острове.

Тонкие губы Галуа пришли в движение, хотя он и кончил есть.

— Простите, когда же этот проект сделан?.. — спросил он мрачно, так мрачно, будто не был заинтересован в том, чтобы такой проект существовал.

— Проект старый, стадион начали строить до войны, но вернулись к нему уже в блокадное время.

Галуа встал и, подойдя к стене, тщательно рассмотрел рисунок, не преминув прочесть и все надписи;

которые его сопровождали. Повернувшись, он задел рисунок плечом, упала кнопка, и угол ватмана упруго загнулся.

— Да нет ли тут, простите меня, прожекторства, а? — Галуа упер водянистые глаза в младшего Толя. — А вдруг немцы войдут в Ленинград?

Младший Толь поднял кнопку и медленно вдавил ее в стену.

— Немцы не войдут в Ленинград, — сказал он — тема исчерпывалась, дальше можно было и не задавать вопросов. Наверно, Галуа проник в смысл этого тотчас — его просьба к молодому Толю свидетельствовала и об этом.

— Погодите, а это что такое? — произнес Галуа без иронии. — Не Петергоф ли?

— Петергоф — план восстановления... — пояснил спокойно Дмитрий.

— Но... в Петергофе немцы. Они, в конце концов, могут не уйти, — рассмеялся Галуа.

Улыбнулся впервые и младший Толь.

— Они уйдут. Должны будут уйти, — уточнил он.

В вопросах Галуа, как это почувствовал Тамбиев, была некая категоричность, как и категоричность, но иного порядка, была в ответах Дмитрия Толя. Наверно, столкновение нельзя было отворотить, если бы Галуа не спохватился и не пошел вовремя на мировую. Сделал он это, надо отдать ему должное, весьма изящно:

— А не могли бы мы с вами съездить на этот ваш стадион? По-моему, это было бы интересно, правда, Николай Маркович?

Тамбиев согласно кивнул.

Сын взглянул на отца:

— Я готов.

Галуа встал; обращаясь к старому другу, он заговорил в той интонации, в которой начал день:

— Мы с Николаем Марковичем, Саша, бесконечно благодарны тебе за все, что ты сегодня для нас сделал. И вас мы благодарим за все ваши хлопоты сегодня и за все, что будет завтра, — отнесся он к младшему Толю. — А теперь разрешите откланяться...

Они условились завтра в одиннадцать утра встретиться на улице Зодчего Росси.

Те два часа, которые оставались у Галуа до сна, он, как полагал Тамбиев, хотел использовать, запротоколировав сегодняшний день. А что для этого протокола было бы характерным? Толь, его судьба, а следовательно, судьба самого Галуа, если бы в тот заповедный день восемнадцатого года он бы вместе с отцом не пересек пределы красной России, имея, правда, в кармане официальное разрешение правительства Советов, но разрешение это ничего не меняло — оно всего лишь легализовало поступок, который в иных условиях мог быть и не в такой мере легальным. Итак, Толь не последовал за Галуа, он остался в России, остался затем, чтобы сегодня дать понять другу, что стало бы с ним, Галуа, если бы он Россию не покинул. Итак, что стало бы с Галуа? Ну, можно допустить, что Толю повезло и он, чудак и недотепа, был удачливее других на крутых поворотах наиновойшей истории российской. Но ведь судьба Толя опирается не на удачу, а на нечто непреходящее, постоянное, вечное... Судьба Толя и его чада, который тоже есть Александр Толь, но как бы доживший до шестидесятых и семидесятых годов, когда отца уже может и не быть...

Но чем определяется результат этого единоборства? Положение на жизненной лестнице, возможность влиять на судьбы людей, благополучие, или не первое, не второе и не третье, а то неуловимое, но всемогущее, что может вызвать у такого человека, как Галуа, чувство зависти? В самом деле, есть эта зависть у Галуа, а если есть, то к чему?.. Ну, не к тому, конечно, что Толь одушевил и одухотворил этих крылатых лисят, и даже не к тому, что у Александра Толя есть Дмитрий Толь?.. Не к этому, вернее, не столько к этому, а к тому, что есть мир человека, который частица неизмеримо большего мира, зовущегося Отечеством. Если у человека может быть нечто похожее на удовлетворение прожитым и содеянным, то только это: ты не поступился высокими целями людей, собранных в великое сообщество, именуемое Родиной. Ты победил с ним, этим сообществом, все невзгоды и остался верен ему.

Эта великая привилегия Толя, и возразить тут нечего. Это та сила, которую ты представляешь, и та, кото-

рая представляет тебя. Вот Толь прошел с Россией весь ее путь тернистый, вот он прошел с Ленинградом весь его трижды тяжкий путь. Это и его крест, и его счастье. Это есть у него, но этого нет у Галуа. И есть ли у Галуа ощущение, что ему этого недостает? Да, в том протоколе сегодняшнего дня, который возникает у него сейчас в уголовном номере «Астории», есть эта заветная строка: где он, тот путь библейский, который ведет сына блудного в отчий дом? Хочет ли сын этого возвращения, а если хочет, то каким оно видится ему?..

Поутру на улице Зодчего Росси они поставили машину поодаль от подъезда и пошли пешком — в кои веки была возможность пройти по такой улице. А потом все случилось как во сне: загудел, заскрежетал воздух, и каменная мостовая словно расколосась. Это произошло так внезапно и опасно близко, что не успела сработать интуиция. К счастью, снаряд не взорвался. Он точно был вмят в камень — мостовая расступилась и приняла стальной цилиндр, она будто была готова заранее уловить снаряд и не дать ему взорваться.

— Деда в этом случае сказали бы: «Родился в сорочке», — прошептал Галуа, наклоняясь к снаряду.

— Не рано ли вы пустили в ход эту поговорку? — улыбнулся Тамбиев.

— Вы полагаете, это не тот случай?

— Мне просто кажется, что деда повременили бы.

Как ни счастлив был исход эпизода со снарядом, он нагнал на Галуа порядочного страху. Все время, пока машина, в которой кроме Галуа и Тамбиева был Дмитрий Толь, мчалась на Крестовский остров, Галуа будто порывался сказать: «Черт побери, а час назад я был едва ли не на том свете...» Казалось, настроение Галуа сообщилось молодому Толю, рыжие пятна на его лице точно уплотнились, стали не в такой мере прозрачными.

— Тут дома все еще с печными трубами, как в Лондоне, — сказал Галуа, заметив трубы над старыми постройками.

— Да, с печными, хотя пора от этого и отказаться, — возразил Толь, несколько не стараясь смягчить возражение.

Как заметил Тамбиев, говоря с Галуа, молодой Толь

был спокойно-доброжелателен, но особых знаков почтения не выказывал.

Они въехали на остров и вдруг ощутили край ленинградской земли. Тут было неожиданно ветрено и ненастно. Из серой воды поднимались дюны будущего стадиона. Если бы эти дюны не были такой правильно овальной формы и если бы слишком явно не обнаружился в этих навалах земли амфитеатр, все это можно было бы и не принять за дело рук человека, так это было первоначально по размерам и облику своему. Но все это создал человек, вызвал к жизни еще до того, как первый снаряд упал на осажденный город, чтобы теперь для этого города олицетворять будущее — трудно сказать, когда это сооружение нужно будет городу и в какой степени оно ему нужно, но теперь городу необходим был символ. Одно сознание, что архитекторы продолжают работать над проектом стадиона, чтобы при первой возможности строительство было возобновлено, давало людям жизнь. Никто не скажет, что эти архитекторы были одержимыми, но мы-то знаем, что они были одержимыми. Один из них был сейчас здесь.

Если верно, что карлик избегает встречи с Гималаями, чтобы не казаться карликом, то наш знакомый вел себя непонятно. Он точно явился к этим холмам, чтобы утвердить свое превосходство над ними. И холмы дали его речи силу; скажи человек все, что сказал сейчас, в ином месте, возможно, это не обрело бы того смысла.

— Вот вы сказали там, у нас на Каменноостровском: «Немцы под Ленинградом», — произнес младший Толь, оглядывая сизые холмы — слова тоже были какими-то сизыми, их можно было произнести только здесь. — Ваши слова можно было понять так: «Немцы под Ленинградом, а вы ведете себя так, как будто их здесь нет. Иначе говоря, ваша вера построена на отрицании здравого смысла. Это фанатизм, в котором, как в каждом фанатизме, многое лишено смысла». Не хочу сказать, что в ваших доводах нет известной логики, но они, эти доводы, не принимают в расчет мелочи — психологии нового россиянина, для которого понятие «здравый смысл» не всегда положительно... Но не буду голословен. То, что вы видите сейчас, было остановлено войной, остальное значилось в чертежах. Так вот,

мы не оставляли этих чертежей ни на один день. Даже в ту зиму, когда погасло электричество, лопнули трубы и на наших хлебных карточках возникла цифра «125 граммов» и появились саночки, на них горожане везли трупы своих близких, которым ленинградская беда оказалась не по силам... Не хочу сказать, что мой паек был большим, но у меня было к пайку еще вот это...

— Это спасло вас?

— Да, несомненно... Знаете, тут человек решал задачу иную. Чтобы внутренне собрать себя, надо, чтобы тебя не покинуло чувство долга. Я знал женщину, которая приготовила себя к смерти, написав завещание и успев отдать все распоряжения. Единственно, что ее связывало с жизнью, это ее шестилетняя дочь, но дочь в какой-то мере была устроена — в заводском детском саду. Итак, женщина приготовила себя к смерти и даже рассчитала, когда это произойдет. Раньше всех умирает человек, свыкшийся с мыслью о смерти. Поэтому не исключено, что женщина умерла бы в тот день, в который загадала, если бы к ней не пришел ее отец, живший через дорогу, а это по тем временам было не близко. Все, что он сказал, можно было вместить в несколько слов: устыдись, у тебя дочь, и ты не можешь ее оставить. Видно, это были те самые слова, единственные из существующих в природе, которые могли поднять женщину, приготовившуюся к смерти, и заставить жить — она выжила. Итак, для нее этими единственными словами были слова о дочери, для меня вот это, — сказал он и поднял глаза на холмы — их серо-синий отблеск точно лег на его лицо. — Впрочем, не только это...

— А что еще? — спросил Галуа.

— У каждого был свой пост: у одного на крыше дома, у другого на подшефном заводе, у третьего на Ладоге...

— У вас?

— У меня была Ладога, правда, недолго... — Он поднял глаза на Галуа. — Не знаю, тем ли путем вы прилетели в Ленинград, но та дорога шла через Губу. Это было в декабре сорок первого, а что мы знали о Ладоге в ноябре сорок первого? Мало, меньше, чем нам необходимо! А надо было знать много: как прочен лед на больших глубинах и малых, как важны для прочности

льда и ветер, и температура... Ну, там были все: и гидрологи, и дорожники, и просто коммунальщики!.. Наверно, нашлось бы дело и для градостроителя, но я взял фонарь и вышел вместе со всеми на трассу. Сколько помню, там с фонарями на льду стояли и актеры из Большого, и искусствоведы из Русского музея, и даже сам Пушкинский дом Академии наук!.. Легко сказать: взял фонарь! Тридцать километров льда были разбиты на тридцать кусков, и ты становишься как бы хозяином отрезка, ледовым станционным смотрителем. Морозы первое время были не так сильны, лед не нарос, он не выдерживал тяжести машин с грузом. К тому же враг засек линию дороги и начал жестоко обстреливать и бомбить, при этом и ночью не было передышки! Там, где лед сам не ломался, ему помогали бомбы и снаряды. Наверное, взять фонарь и стать на вахту посреди ледового поля было мужеством, но это было ничто — по крайней мере, так кажется мне — в сравнении с трудом шофера. Вот они где, и человеколюбие, и сострадание. Говорят: шофер — это и бедовость беспричинная, и безрассудство!.. Нет, нет!.. Эти люди с бородами, как у каторжников, часто с седыми бородами, — там много было людей далеко не молодых, — ведущие машины через адову тьму, наперекор и пурге — такой пурги, как на Ладоге, я не видел, — и огню, и полыньям, — вот он, подвиг души, а следовательно, человеколюбия... Именно человеколюбия: сознание, что ты один можешь вернуть к жизни тысячи людей, вело их на этот подвиг! Или это чувство локтя, когда беда собирает людей в единое братство... Загораются машина посреди льда, и люди начинают ее гасить, вначале сняв полушубок и телогрейку, а потом едва ли не сами бросаясь на пламя, чтобы сбереечь мешки с мукой, — это настоящее... Или грузовик проламывает лед, и люди в считанные минуты освобождают его от груза, а потом едва ли не на руках выхватывают из пучины... Вот я часто думаю: как ни сильна память людская, она не сможет сбереечь всего. А жаль: то, что люди явили в эту войну, это и есть бездонный кладезь доброты, его хватило бы человечеству на века. Надо помочь памяти, надо помочь памяти...

— Здесь, пожалуй, тише, чем у Нарвских ворот... — сказал Гауа и посмотрел на белесое небо над головой.

— Да, тише,— согласился младший Толь.— Но это ничего не значит...— он, видно, вкладывал какой-то свой смысл в это невразумительное «ничего не значит».

Они взобрались на холм — вода смыкалась с небом.

— Финляндия прямо? — спросил Галуа и простер руку прямо перед собой.

— Нет, надо взять правее,— сказал Толь.

— Финны говорят, что они... защищают Ленинград с северо-запада от немцев? — спросил Галуа и затаился.

Толь молчал. Только брови его пришли в движение. Что он думает сейчас о Галуа? Через пять минут после разговора о священной Ладоге этот вопрос о Финляндии, который не должен произноситься на земле Ленинграда. В самом деле, кто не знает, что финны держат кольцо и в трагедии Ленинграда несут свою долю вины? В связи с этим все, что сказал Галуа, достойно, как сейчас, гневной немоты. А может, взгляд на это должен быть иным? Галуа — корреспондент, и ему необходимо видеть все аспекты проблемы, он требует диалога, подчас острого. К тому же надо понимать, что это Галуа, и для разговора с ним необходимо не столько гневное молчание, сколько доводы... Но это должен сказать Алексею Галуа не Тамбиев, а Толь, а сказать ему сейчас нелегко: вон какое пламя объяло его — не успеешь бровью повести, сожрет человека, и пепла на серых холмах не оставит.

— Можно подумать, что финны снабжают блокадный Ленинград хлебом, чтобы не дать погибнуть его детям...— сказал Толь, не утаив гнева, который сейчас клокотал в нем.

Теперь пришла очередь молчать Галуа.

— Но сомнение такого рода существует, и мне надо ответить на него, убедительно ответить...— сказал он, когда уже молчать было нельзя.

Казалось, теперь это понял и Толь.

— Ну, тут есть такое мнение,— начал он, и его лицо, только что такое неистово-рыжее, обрело и спокойные краски, и спокойное выражение.— Тут есть мнение... Ну, кое-кто считает — о степени участия финнов в блокаде надо судить по количеству снарядов, выпущенных по городу. Может быть, в иных условиях этот подсчет что-то и значил бы, но это же блокада, поймите, пожалуйста, блокада... Финны участвуют в

осаде города, а следовательно, воздвигли часть стены, которая преградила Ленинграду путь к хлебу. Поэтому, когда речь шла о том, чтобы отодвинуть границу от стен Ленинграда, это действительно было насущно...

— Вы полагаете, все, что происходит сегодня, имеет прямое отношение к этому? — Галуа, прищурившись, всмотрелся вдаль — ветер освободил воду от тумана, залив просматривался далеко.

— Именно прямое. Война не опровергла этой истины, она ее подтвердила...

Ну, разумеется, желая смягчить удар, Галуа мог сказать, что он корреспондент и говорит не столько от своего имени, сколько от имени тех смятенных и тревожно-колеблющихся, которых много в западном мире. Так мог сказать Галуа, и так он говорил, но действовал он и от своего имени, а сомнения, высказанные им, были и его, Галуа, сомнениями. Тогда почему же младший Толь должен был наставлять Галуа на путь истинный? Это что же, извечная борьба поколений — мудрый юноша учит старца, впавшего в детство, — или нечто большее? Больше... это что? На одном берегу отец и сын Толи, а на другом Галуа, а между ними нечто бездонное?.. Почему бездонное, когда они люди одного корня?

— Вы... знаете Пузырева, директора Кировского завода? — вдруг спросил Галуа Толя.

— Ну конечно, знаю...

— Вас свел завод? — спросил Галуа и заинтересованно заглянул в глаза Толю.

— Завод... это было потом, а вначале Ладога, — ответил Толь.

Галуа задумался: его замысел мог удался.

— Не скрою, мы были на заводе и говорили о вас...

— Мне симпатичен Пузырев, — признался Толь с неожиданной откровенностью.

— А не заглянуть ли нам сейчас к Пузыреву? — спросил, неожиданно посветлев, Галуа. — Ручаюсь, что ему будет приятно...

Толь склонил набок голову — такой прыти он не ожидал от Галуа:

— А удобно ли, вот так... неожиданно? Как он на это посмотрит, а?

— Кто нам запретит попробовать?.. — возразил Галуа. — Откажет — не обидимся, а если удастся? Нет,

нет, вы только представьте, если удастся?.. Ну, сделайте это для меня! — просил он; разумеется, он уже видел встречу молодого Толя и Пузырева в своей будущей книге. — Николай Маркович, что вы молчите?.. Я прошу вас, наконец... Попробуем, а?

— Попробуем.

Через полчаса заводские ворота распахнулись перед Галуа и его спутниками, но Пузырев не вышел к гостям: немцы начали обстрел, и директор был в литейном. Галуа был смущен, да и Тамбиев с Толем смешались заметно. С настойчивой и методичной последовательностью ложились немецкие снаряды, ложились где-то совсем близко. Однажды даже было слышно, как высыпались стекла и повалил дым, повалил плотно, застав окно так, что в кабинете смерклось, как при затмении солнца.

Они увидели его после отбоя. Его щетина в эти три дня отросла и точно заиндевела. Он невысоко поднял руку, улыбнувшись, как могло показаться — не столько потому, что у него было хорошо на душе, сколько по долгу хозяина.

— Рад, очень рад, — произнес он устало. — А к вам, Дмитрий Александрович, у меня даже есть дело: пришло время думать, как мы будем восстанавливать завод, что будем строить... — Он не без робости посмотрел в конец цеха, где рабочие торопливо забрасывали землей и шихтой воронку. — Вот так и живем, — произнес он, не отводя взгляда от воронки, сейчас откровенно горестного. Он уже решил, что эта воронка все сказала гостям, все, что он еще сказать не успел.

— Обошлось?.. — спросил Толя. — Обошлось... на этот раз? — повторил свой вопрос Дмитрий Александрович.

Пузырев дотянулся рукой до седой щетины, не поглядел, а жестко ее смял.

— Помните Новгородову? Елизавету? — он обратил глаза на Галуа. — Ну, ту, что в дом отдыха не хотела?.. Ее очередь!.. Го-о-о... вот так и живем, мать твою! — он выругался что было силы. — Простите, ради бога, — вновь посмотрел на Галуа, потом перевел глаза на Толя. — Хорошо, что еще не на льду живем... — он имел в виду ладожскую эпопею, — земля, как ни говори, прочнее льда — не проваливается...

Тамбиев и Галуа оставались еще в Ленинграде одиннадцать дней и в такую же, как первый раз, полночь, точно размеченную ритмичными ударами артиллерийских орудий, покинули город, взяв курс на Хвойную...

— Ладога,— сказал Галуа и приник к иллюминатору. Да, самолет шел над озером. Догорала гроза, несильная, уже осенняя. Когда молния тревожила небо, видна была вода и под самым крылом тень самолета — мгновение, и самолет совместится с тенью, зарывшись в воду.

— Некуда спускаться, а такое впечатление, что никогда ты не был так высоко...— голос Галуа дрогнул, он наклонился — как ни темно было в самолете, он не хотел, чтобы Тамбиев видел его лицо.— Я не знал, что может быть... такая мера горя,— что-то спеклось у него в груди. Ленинградские дни собрались в комок и стали в горле, ему трудно было дышать.— Вы помните это... котельническое всепрощение?

— Христофор Иванович?

— Не представишь Христофора Ивановича в Ленинграде. не так ли?

— Верно, но тогда непонятно иное,— возразил Тамбиев, возразил не без желания и ободрить и раззадорить Галуа.— Что такое любовь к человеку?..

Галуа трудно поднял голову:

— История моих Толей — вот что такое любовь к человеку...

Самолет оторвался от воды, которая словно его держала, пошел все выше — озеро осталось позади.

Наркоминдел распахнул двери прямо на Кузнецкий мост — открылся старый наркоминдельский клуб.

Лестница, отнюдь не обремененная мрамором и чугунным литьем, устремлялась на второй этаж, в зал с шестью окнами, выходящими на Кузнецкий... Зал невелик, но домовит в той мере, в какой милые детали его обстановки и сам он говорят о наркоминдельской истории... Следуя традиции, установленной еще в начале двадцатых годов, с трибуны этого зала выступали послы, как говорили в Наркоминделе, «прибывавшие на побывку». И темпераментный Красин, и малоречивый

Штейн, и негромкий Трояновский, и весело-ироничный Карахан, и неизменно остроумный Литвинов, и Довгалеvский, и Аросев, и Суриц...

И не только они: с трибуны наркоминдельского клуба любил разговаривать с дипломатами Чичерин. Он приходил в клуб, накинув на плечи демисезонное пальто с плюшевым воротником, и, сбросив его на ближайший стул, шел к трибуне, не забыв извлечь из жилетного кармана часы и положить их перед собой. В его манере говорить было нечто от века девятнадцатого: это была не речь, это была, как выражались в ту пору, конференция... Конференция была рассчитана на то, что оратора слушают. Поэтому Чичерин мог пройти и по авансцене, пододвинуть стул и опереться на сиденье коленом, вдруг остановиться перед наркоминдельским старожилом, сидящим в первом ряду, и произнести: «Петр Никифорович, вы должны помнить лучше меня: это было как раз в ту весну, когда наркомат прибыл в Москву и обосновался в итальянском особняке у Спиридонья?..» Он не любил гладких речей и как бы творил выступление, уточнял фразу и повторял ее в новой редакции, не стесняясь экскурсов чуть-чуть личных, вступал в диалог с залом, обращался к воспоминаниям, принимался читать стихи на латыни и греческом, чаще на немецком и французском, охотно и щедро обращался к русской классике, которую знал безупречно... Если бы рядом стояло пианино, он бы, говоря о музыке, не остановился перед тем, чтобы сесть за него и воочию, так сказать, воссоздать пассаж...

Его рассказы о дипломатических диалогах воскрешали и температуру беседы, и настроение, и характер собеседника. Многих из тех, кого наркоминдельцы знали по именам, они запомнили по рассказам Георгия Васильевича. И сурово-романтического Фритьофа Нансена, и беспокойно-полемичного Линкольна Стеффенса, и всю плеяду расчетливых немцев, во главе с Виртом и Штреземаном, которых посетил Георгий Васильевич по дороге в Геную, и, конечно, Ллойд-Джорджа и Барту, поединком с которыми явился тем значительным, что вошло в нашу дипломатическую летопись под именем Генуи...

И вот Наркоминдел распахнул двери своего клуба, чтобы воедино собрать всех, кого разметала по своим

дорогам война; казалось, нехитрое дело, большое наркоминдельское собрание, а как велико волнение при одной мысли о том, что три этих года остались позади...

До того как Бардин увидел Хэлла, он заметил в группе лиц, сопровождающих государственного секретаря, Бухмана. Да, деятельный Бухман, товарищ и доброжелатель Гарри Гопкинса, появился в Москве, и в этом не было ничего удивительного. Больше того, это было закономерно, если учитывать, что Гопкинс в Москву не прилетел, а Хэлл был здесь, — в конце концов, у Гопкинса нет возможности узнать о том, что произойдет в Москве, иным путем, как через Бухмана.

Так или иначе, а Бухман был в Москве, и Егор Иванович имел честь его лицезреть.

— Первое ощущение: легко дышится! — сиял Бухман. — После мокрого вашингтонского солнца сухая прохлада Москвы исцеляет... Вот куда надо было бы поместить мое бедное сердце, чтобы оно набралось сил...

Бардин полагал, что этой своей репликой Бухман как бы определил место их встречи; Егор Иванович решил повезти гостя в сосновое Подмоскowie.

— Не хочу ни Вашингтона, ни Африки, — произнес Бухман, когда Бардин остановил машину на берегу канала где-то у Тишкова, и они оказались вначале на прибрежной круче, высокой и ветреной, а потом на лесной тропе.

— Африка тоже была?

— Ну, разумеется, — Алжир...

— Алжир — это де Голль?

— Да, у государственного секретаря была встреча с генералом.

— И генерал... победил неприязнь государственного секретаря?

— Генерал сказал: «Я завидую вашей поездке в Москву. Не теряю надежды побывать там...»

— Ну, такими средствами он, пожалуй, не победит неприязни, наоборот, он ее упрочит... — был ответ Бардина. — Он полагал, что может рассчитывать на искренность, если будет прям.

— А вы думаете, что неприязнь Хэлла... к де Голлю... существует? — спросил Бухман — он не без умыс-

ла оттенил именно эту часть фразы — «...Хэлла... к де Голлю...», ведь, говоря о неприязни, которой полно сердце государственного секретаря, можно было иметь в виду иное.

— Я слышал, что американцы противятся приезду в Алжир нашего Богомолова из боязни, чтобы это не усилило де Голля... — Егор Иванович не был голословен в этом своем утверждении: тот же Хэлл прямо сказал нашему послу в Штатах, что появление Богомолова в Алжире сделает де Голля сильнее, а это созда́ло бы угрозу... американским коммуникациям в Северной Африке. — Не смешно ли это?

Бухман улыбнулся, как показалось Егору Ивановичу, испытав немалое смущение:

— Смешно, действительно... — Они сейчас шли по тропе, огибающей водохранилище, солнце было у них позади и тропа скрыта тенью. — Неприязнь огуляет и людей, простите меня, более одаренных, чем Хэлл... Не отдавай себя во власть неприязни!

— Черчилль — это неприязнь, а Рузвельт — это трезвый расчет? — засмеялся Бардин. — Как сказал один добрый малый, это в любви расчет — порок, а в политике — благо. Не так ли?..

Афоризм понравился Бухману.

— Я это должен взять на вооружение, относительно расчета в любви и политике, разумеется, с вашего согласия, — заметил Бухман.

— Нет, это вы к нему за согласием, а я тут всего лишь посредник! — отозвался Бардин, все так же смеясь.

Они медленно вошли в сосновый бор. Его сосны были прямыми и рослыми, корабельные сосны. Даже странно, как он уцелел, этот бор, на таком ветреном холме. Когда ветер набегал, а он шел на холм валом с озера, сосны начинали раскачиваться. В их движении было что-то от полета птиц-исполинов, собравшихся к холму и затенивших своими крылами небо. В шуме сосен была своя стихия, своя музыка. Она, эта музыка, была величаво-проста и благородна, как сама природа, — ее можно было слушать бесконечно...

Бухман поднялся на холм и невольно вскинул руки, точно в его власти было дотянуться до вершин деревьев.

— Такое чувство, будто меня окрылили и мое бед-

ное сердце окрылили!.. — произнес Бухман сияя. Он все еще тянулся короткими руками к вершинам, не теряя надежды достать их. — О, мистер Бардин, вы знали, куда меня привезти!.. — Он неожиданно ударил ладонью о ствол сосны и побежал по склону, покатился, того гляди — соскользнет в воду. — Значит... расчет? — Вдруг встал он в трех шагах от озера, точно вкопанный; как ни велик был восторг Бухмана перед очарованием леса, он не утерял в своем практическом уме мысль о расчете. — Вы знаете, что такое расчет по-американски?..

— Нет, не знаю, мистер Бухман, что такое расчет по-американски... — заметил Бардин, было очевидно, что Бухман намеревался привести разговор к существенному.

— Президент сказал: если вы думаете, что я буду идти к победе над Японией, занимая все сто островов, лежащие на пути к Японии, то вы ошибаетесь... Думаю, что в природе есть кратчайший путь к победе, и я его стыщу!.. Вы поняли меня?

— Хотел бы понять, мистер Бухман.

— Америка сделает все, чтобы приблизить русскую победу, а Россия поможет Америке одержать верх над Японией — вот это и есть расчет по-американски...

— Погодите, я что-то не пойму... — произнес Бардин, наморщив лоб. Он, конечно, проник в замысел Бухмана больше, чем старался обнаружить, важно было, чтобы Бухман сказал все или почти все. — Россия ведет войну на Западе, а Япония, насколько мне память не изменяет, — на Востоке... Вы учитываете эту географическую подробность?

Бухман сжал губы — ну конечно же, Бардин, избрав недоумение, сделал это не очень искусно — он, что называется, переложил красок.

— Вам непонятно, мистер Бардин?

— Нет, понятно, но я бы хотел понять лучше, — уточнил Егор Иванович.

— Извольте: Россия заканчивает войну и, перебросив свои силы на Восток, таранит армию японского императора... Теперь понятно? — Он пошел вдоль берега, медленно, не без умысла фиксируя каждый шаг. Он, этот осторожный бухманский шаг, точно повторял: таранит, таранит, таранит. — Расчет? Да, существенный...

Не поняв его, ничего нельзя понять ни сегодня, ни завтра...

— Вы имеете в виду встречу глав, мистер Бухман?

— Да, конечно.

Вечером они вернулись в Москву.

Бардин не был среди тех, кто встречал Идена, и беседовал с ним уже на Кузнецком, когда тот явился с протокольным визитом к Молотову.

Весь вид Идена точно говорил: «Все идет не так уж плохо — вот мы и добрались до той самой главы наших отношений, которая знаменует собой апогей».

На Идене был темный строгий костюм. Искусство английских портных в сочетании с безупречными линиями фигуры министра производило впечатление. Маниеры Идена были достаточно просты, но его внешность как бы единоборствовала с этой простотой, она была сильнее, постоянно заявляя о себе и как бы предупреждая каждого, кто имел дело с Иденом, чтобы тот не обманывался насчет кажущейся простоты английского министра.

В его рукопожатии, как отметил Егор Иванович, были и почтительность, и бдительное внимание, но начисто было исключено подобострастие, — возможно, в иных обстоятельствах и его спина сгибалась, но тут он держал ее прямо. Англичанин понимал, что подобострастие могло быть принято за слабость, а это нарушало сам принцип игры, который он принял.

— Да, я думал, что Хэllu будет трудно прибыть в Москву — он старше всех нас, — он подчеркнул «всех», — но старик справился...

Он произнес это так, будто бы у него не было иного повода обнаружить хорошее настроение.

— Министр Хэлл не часто отваживается на такое, — произнес Бардин, желая как-то откликнуться на реплику Идена.

— Именно, — горячо подхватил Иден. — Тем это ценнее! — Он точно хотел сказать: «Вы, русские, конечно, недолюбливаете его, но он тем не менее заслуживает похвалы».

Бардин видел Хэлла мельком и заметил, что у старика в ноздрях было по кусочку ваты, — видно, с последствиями перелета в Москву надо было еще справиться.

— Но министр Хэлл здоров?

— Вы имеете в виду это? — британский министр коснулся кончиками длинных пальцев носа, коснулся почти брезгливо, будто вата была не у Хэлла в носу, а у Идена. — Все будет о'кэй! — этим специфическим американским «о'кэй» Иден точно хотел дать понять, что имеет в виду американского государственного секретаря.

— Значит, мистер Хэлл здоров и последнее препятствие на пути к успеху преодолено... — Бардин намеренно придал фразе иронический характер.

— Да, разумеется, жезл победы в наших руках, — произнес Иден и взглянул на дверь молотовского кабинета, которая медленно открылась — британский министр приглашался к наркому.

Иден направился к кабинету. Стоящий сбоку Бардин не мог не обратить внимания: лицо англичанина с точным и чеканным профилем мгновенно стало и торжественным и, странное дело, неживым. Иден будто приготовил его, чтобы тут же перенести на мемориальную медаль.

Характерно, что Иден был у Молотова до того, как к тому пожаловал Хэлл. Британский министр определенно решил... своеобразно реализовать преклонный возраст своего американского коллеги и восполнить его малую маневренность. Ну, разумеется, дежурный визит, который Иден решил нанести советскому наркому иностранных дел, может и не дать существенных преимуществ, но в таком визите есть свой знак. Какой? За пределами этого визита Иден явит свои сорок шесть лет, не может не явить. В этой связи, только в этой, следует понимать щедрость, с которой Иден расточал похвалы в адрес Хэлла.

А Хэлл? Не трудно представить, как был рад президент, направив в Москву государственного секретаря. Более чем деликатную ситуацию, которая сложилась между Хэллом и Гопкинсом, в какой-то мере создал президент и должен был с нею считаться, поездка Хэлла в Москву давала Рузвельту выгоды немалые. Направив Хэлла в Москву, президент отводил обвинение в дискриминации государственного секретаря, обвинение, которое раздавалось все чаще и которое сплотило всех явных и тайных недругов Рузвельта.

Но было и иное, что сделало для президента проблему Хэлла в тот момент актуальной. Именно в сентябре сорок третьего, то есть в канун конференции в Москве, многолетняя тяжба между Хэллом и его заместителем Сэмнером Уоллесом достигла точки кипения. Уоллес, человек деятельного ума, мыслящий и динамичный, был и единомышленником, и в какой-то мере другом Гопкинса. Хэлл знал это и ревниво следил за тем, что делает Уоллес, дожидаясь своего часа, чтобы свести с ним счеты. Случай представился в канун конференции в Москве. Уоллес, возможно не без участия Гопкинса, дал понять, что хотел бы быть в Москве вместе с Хэллом. Государственный секретарь увидел в этом руку Гопкинса и решил дать бой, избрав своеобразным третейским судьей президента.

Многомудрый президент мог и уклониться от того, чтобы быть посредником в столь деликатном деле, но Хэлл предусмотрел и этот вариант: он подал президенту прошение об отставке. И хотя президенту очень хотелось принять отставку Хэлла, Рузвельт дал отставку не Хэллу, а Уоллесу. В этом решении президента не было ничего необычного. Хэлл обладает значительным влиянием в сенате, а это, как свидетельствует американская история, достаточно грозно и для президента, выигравшего или выигрывающего войну. Ближайший пример: Вудро Вильсон. Выиграв войну, он считал все остальные проблемы для себя решенными и жестоко просчитался. Нелады с сенатом стоили ему президентского кресла... А вообще благополучие президента или, тем более, премьера, казалось бы, является производным от большой победы, но это отнюдь не всегда так. Если бы Рузвельту суждено было обратить взгляд на Европу середины 1945 года, то он увидел бы, что Вильсон в этой своей участи был не одинок...

Послав Хэлла в Москву, президент получал возможность отвести его кандидатуру на поездку в Тегеран, что имело для Рузвельта значение немалое. Внешним поводом к такому решению президента мог явиться возраст Хэлла — две поездки в столь отдаленные концы, притом с интервалом в месяц, не утомительно ли это для старого человека? На самом деле суть в ином. Рузвельту надо было взять в Тегеран не Хэлла, а Гопкинса, который держал в своих руках если не иностранные дела Америки, то, во всяком случае, все дела

президента, касающиеся иностранных дел, а это не меньше... Правда, было одно препятствие к тому, чтобы этот узел был развязан так, как его хотел развязать президент: англичане. Они послали в Москву Идена и, судя по всему, в Тегеран хотели послать тоже Идена. Намеренно или нет, они этим жестом точно подчеркивали, что преемственность тут обязательна. Но президент мог и не посчитаться с этим — участие Хэлла должно было ограничиться поездкой в Москву, что же касается Тегерана, то отстранение государственного секретаря должно быть точно рассчитано и разыграно. Просто похвалы в адрес Хэлла по возвращении его из Москвы будут чуть-чуть щедрее, чем обычно. Остальное совершится само собой.

...Протскольная беседа Идена с наркомом, как и надлежит беседе протокольной, продлилась минут тридцать, но то, что имело место во время беседы Идена, так казалось Бардину, было отнюдь не протокольным.

— На моей родине склонны думать, что наш апеннинский десант неотделим от десанта французского и действительно служит делу союзников, — произнес Иден уходя и, встретившись взглядом с Бардиным, замолк, точно ожидая от него поддержки.

— Именно неотделим, господин министр, — отреагировал Егор Иванович, как бы осторожно опершись на слова Идена. — Апеннины без Франции и недостаточны и не полны...

Иден улыбнулся:

— Ну что ж, будем считать, что конференция началась.

Он ушел, дав понять, что не обманывается насчет главной проблемы конференции, как понимают ее русские: второй фронт.

Как ни дежурен был визит Идена к наркому, англичанин достаточно проник в суть предстоящих переговоров.

Если бы англичане, участвующие в конференции, были людьми суеверными, они, узнав, что конференция происходит в особняке Наркоминдела на Спиридоновке, пожалуй, сочли бы это за предзнаменование отнюдь не доброе: именно здесь летом 1939 года советская сто-

рона заявила посланцам Чемберлена и Даладье, что вправе сомневаться в искренности их намерений бороться с Гитлером и гитлеровцами. Надо было Западу пройти через испытания этих четырех лет, чтобы его делегаты сели едва не за тот же самый стол, исполненные решимости покарать Гитлера и гитлеризм.

Итак, встреча, которой суждено было отныне именоваться Московской конференцией министров иностранных дел союзных держав, открылась в особняке Наркоминдела на Спиридоновке 19 октября 1943 года. Три флага, укрепленные в центре круглого стола, представляли участников конференции: СССР, США, Великобританию. Соответственно каждую делегацию возглавляли Молотов, Хэлл, Иден. Не предопределяя повестки дня заранее, решено было обсудить тот круг вопросов, который делегаты сочтут необходимым вынести на обсуждение.

Так уж повелось на таких переговорах: непосредственно у стола занимали места нарком и его заместители, во втором и третьем рядах — советники и эксперты. В том случае, если среди наших делегатов были военные, они старались держаться в тени. Место в третьем ряду, которое облюбовал Бардин, обладало достоинствами несомненными: зал не был скрыт от глаз Егора Ивановича, в то время как Бардин был не на виду, что устраивало его вполне, учитывая не только размеры его фигуры.

Предстояло избрать председателя, и Иден, очевидно в соответствии со сценарием, определенным заранее, взглянул на Хэлла, который тотчас взял слово. Нет, не только потому, что так велела традиция, но и потому, что этот жест соответствовал намерениям самого Хэлла, американский делегат предложил кандидатуру Молотова. Поступая так, Хэлл точно говорил: «Вы считаете меня чуть ли не главой антирусской партии в Штатах, а председательский колокольчик, если в таком колокольчике была бы необходимость, ваш министр должен получить из моих рук». Иден поддержал американца, не преминув воздать должное и новому председателю, и, разумеется, Хэлли, который, предлагая кандидатуру русского, удивительным образом сумел явить качества, которые, на взгляд Идена, в подобных обстоятельствах не удавалось обнаружить никому другому: проникательность и еще раз проникательность. Впредь

комплименты в адрес американского делегата будут бесконечно варьироваться Иденом; внешне это будет выглядеть как дань опыту и сединам, на самом деле — дань могуществу Америки, от которой, увы, сегодня так зависит всемогущая владычица морей.

А между тем вновь избранный председатель приступил к делу и предложил вниманию глав делегаций своеобразную записку своего правительства, первый пункт которой, что называется, брал быка за рога. Иден, который недавно стал пользоваться очками и, судя по всему, не любил этого делать, извлек кожаный бочешник и, достав из него крупные, в роговой оправе очки, принялся за чтение советской записки. Генерал Исмей, сидящий рядом, приготовился сделать то же, но Иден остановил его предупредительным жестом и начал читать вслух. Английский генерал, не обладающий, очевидно, хорошим слухом, совсем по-стариковски поднес ладонь к уху, что заставило Идена чуть-чуть повысить голос.

— «...Советское правительство считает необходимым удостовериться, остается ли в силе заявление, сделанное в начале 1943 года Черчиллем и Рузвельтом относительно того, что англо-американские силы предпримут вторжение в Северную Францию весной 1944 года...» — читал Иден, при этом значительность текста не давала ему возможности перейти на шепот. Генерал Исмайл слушал его со все большим вниманием, что можно было понять вполне, учитывая то, что этот текст имел отношение и к генералу Исмею, даже в какой-то мере больше к генералу Исмею, чем к Идену, поскольку речь шла о большом десанте.

Иден умолк и вопросительно взглянул на Исмея, тот многозначительно и кротко кивнул ему, точно хотел сказать: «Ну что ж, как следовало ожидать, и здесь эта проблема будет главенствовать».

— Готовы ли господа Хэлл и Иден обсудить наши предложения, разумеется, после того, как они их изучат? — спросил председатель.

Иден перевел взгляд на Хэлла, будто тот уполномочен был дать ответ за двоих.

— Да, мы готовы, — сказал Хэлл.

— Конечно, конечно же... — отозвался Иден, отозвался воодушевленно, будто и не обращал вопросительного взгляда на американца.

На другой день Бардин поехал с Иденем смотреть запасники Музея изобразительных искусств, в которых, как это хорошо было известно британскому министру, хранится несравненная коллекция французских импрессионистов.

Единственное, что интересовало Бардина в этом посещении музея: получил ли британский министр ответ Черчилля на телеграмму, посланную им после окончания первого заседания конференции, а если получил, то каково может быть ее содержание? (О том, что такая депеша пошла в Лондон, у Бардина не было никаких сомнений.) Но Идену, как понял Егор Иванович, в этот день решительно было не до Черчилля и его депеши. Британский министр, казалось, хотел говорить только об импрессионистах.

Кстати, к этому были основания — коллекция московского музея немало этому способствовала.

Но далеко за полдень, когда путешествие по сумрачным и изрядно сырým залам музея закончилось и одна за другой были осмотрены коллекции Ренуара и Дега, британский министр был приглашен в кабинет директора на чашку кофе. Густой темно-коричневый напиток подали не в турецких чашечках-наперстках, а в стаканах, правда хрустальных. Иден пил охотно, при этом стакан был точно оплетен его тонкими и зябкими пальцами. Казалось, чудо-напиток восстановил силы англичанина и даже заметно улучшил его настроение.

— У меня на родине бытует мнение, что в ваших нынешних требованиях большого десанта есть что-то фатальное... — вдруг подал голос Иден, когда директор отлучился из комнаты. — Вы требуете его уже по инерции, требуете, хотя он вам уже не очень нужен...

— Если есть инерция, то есть и нечто такое, что не похоже на инерцию? — спросил Егор Иванович — он был рад, что Иден заговорил об этом.

— Так, разумеется.

— Что именно, господин министр?

«Ну, дело пошло, — подумал Бардин. — Он сейчас начнет припоминать текст последней депеши премьера. У него уже есть некий рефлекс условный: привязать себя к Черчиллю. Даже когда нет необходимости, все равно привязывать. В их отношениях выработался определенный ритм: один подает идеи, другой их реализует. И в том случае, когда они не заслуживают того,

чтобы быть реализованными. То, что исходит от Черчилля, Иден не привык брать под сомнение — так и легче и надежнее. Тут ничего не утрировано. И не следует все понимать так: Черчилль — гений, а Иден — посредственность. Нет, Иден тоже может быть гением, но когда он не ставит себя в столь зависимое положение, в какое он себя поставил, зависимое даже не по должности, а по распределению функций. Английский министр должен был заметить: оставаясь зависимым, он устанавливает для себя пределы, которые во всех иных обстоятельствах он бы превзошел. Это тоже знает министр. Излишняя самостоятельность никогда не приносила людям вреда».

— Итак, русские настаивают на осуществлении большого десанта по инерции. За эти годы войны в Европе все изменилось, а они все еще настаивают. Уже не в их интересах большой десант, а они ничего иного и знать не хотят.

— Что вы имеете в виду, господин министр, когда говорите «ничего иного»?

— Ну, например, десанта союзников на Балканах?.. Да, ввести англо-американский флот в Черное море и высадиться на Балканах... Как?

«Рискованно утверждать, что Иден тут не самостоятелен, но уж очень похоже, что это так: о десанте на Балканах многократно говорил Черчилль».

— А почему Балканы, а не Франция, господин министр?

Иден должен был собраться с мыслями.

— Как это ни парадоксально, но нет лучших путей сообщения, нежели те, которые связывают разные концы осажденной крепости.

— Вы имеете в виду Европу, господин министр? Европа — крепость.

— Да, разумеется. Здесь и прежде были лучшие в мире пути сообщения, а теперь, когда Европе грозит осада, все это будет усовершенствовано, при этом, чем меньше будет осажденная территория, тем большие возможности у обороняющихся для переброски войск с одного фронта на другой...

— Не следует ли из этого, господин министр: чем меньше у Гитлера войск и территории, тем он сильнее?

Иден молчит. В этих парадоксах есть что-то от бумеранга. Они опасны не только для оппонента, но и для

того, кто их пустил в ход. Ты думаешь, что они поражают противника, а они возвращаются к хозяину, чтобы свести с ним счеты.

— Попомните, рано или поздно, а союзники придут на Балканы, при этом большой десант...

— Десант на Балканах — не идея ли это господина Черчилля?

— Идея мистера Черчилля? Нет.

Да, Иден сказал: «Нет».

Вон куда завел Идена текст черчиллевской депеши! Ну, разумеется, Иден волен сказать «Нет» и повторить: «Нет! Нет! Нет!» Он волен сказать так по той простой причине, что текст черчиллевской депеши был неизвестен и не мог быть известен Бардину. А если бы он вдруг стал известен Егору Ивановичу? Если бы Егор Иванович обрел возможность прочесть то, что пытается утаить сейчас его почтенный собеседник? Да, если бы это случилось не в октябре тысяча девятьсот сорок третьего года, а позже, когда стали известны тексты всех черчиллевских депеш? Ничто так не раскрывает сущности Черчилля, как, предположим, его депеши Идену, депеши-напутствия, быть может директивы:

«...В случае, если Германия не потерпит краха, я не думаю, что нам следует переправляться через Ла-Манш, располагая меньше чем сорока дивизиями...»

И запись в дневнике, которая, в сущности, этой депеше сопутствовала, ибо была сделана одновременно: «Иден получил мою телеграмму от 20 октября и прислал свои замечания. Он сообщил, что русские упрямо и слепо настаивают на нашем вторжении в Северную Францию...»

Итоговая строка в депеше, звучащая как формула действия: «Вы должны попытаться выяснить подлинные намерения русских относительно Балкан... Насколько они будут заинтересованы в открытии нами Черного моря для союзных военных кораблей?.. Заинтересованы ли они в осуществлении такого плана действий, или они по-прежнему настаивают лишь на нашем вторжении во Францию?»

Наверно, шифровальной службе британского посольства следовало действовать напряженно, если диалог на Спиридоновке должен быть своеобразно повторен и прокомментирован в депешах, которыми обмениваются в эти дни Иден и Черчилль.

Вот вопрос к задаче, думал Егор Иванович, пододвигая свой стул в периферийном ряду: оглядев делегатов за минуту до заседания, можно хотя бы с известной долей приблизительности определить, как развернутся события дальше.

Первым из англичан занял место за столом генерал Исмей. Он посмотрел в зал и принялся отвешивать поклоны, он это делал с радушием, которое в нем прежде и не предполагалось. Его улыбка погасла так же быстро, как и появилась. Он раскрыл папку, и его лицо, только что улыбающееся, стало озабоченным, больше того, пасмурным. На мгновение подняв глаза и увидев Гарримана, он устремил на него сумрачный взгляд, чем немало озадачил американца, — английский генерал уже не в силах был улыбнуться. Потом он вновь точно окунулся в свою папку, при этом предметом его интереса были три странички машинописного текста, которые он прочел один раз, потом второй и прочел бы в третий, если бы заседание не началось...

Из всех делегатов, которых видел сейчас Бардин, никто не выказывал такой хлопотливости, как Исмей. Весьма возможно, когда дело касалось выступления, при этом столь ответственного, он, опытный военный, чувствовал неуверенность. Смятение генерала в сочетании с нервным вниманием к этим машинописным страничкам свидетельствовало, что он готовится произнести речь... При этом размеры машинописного текста могли дать представление не только о размерах речи, но и в какой-то мере о ее температуре, что важно... Пока что только о температуре, хотя при желании можно было поразмышлять и дальше, представить, о чем будет говорить Исмей. Очевидно, его речь должна быть посвящена военной проблеме. А на конференции нет иной военной проблемы, как проблема большого десанта... Кстати, первый пункт молотовской записки, врученной Хэлли и Идену, ждет обсуждения. Но тогда почему готовится взять слово только генерал Исмей, а его коллега, американский генерал Дин, едва ли не безучастен? Не уполномочен ли английский генерал говорить и от имени американцев? А если англичанин имеет такие полномочия, значит, нынешнему заседанию конференции предшествовала сепаратная встреча

англо-американцев? Нет, истинно, природа не терпит пустоты. Если более чем преклонный возраст Хэлла создал в паровом котле англо-американского действия некий вакуум, то энергии Идена хватит, чтобы заполнить этот вакуум.

Итак, Исмей зашелестел своими страничками и произнес: «Господа». Казалось, это обращение адресовано не высокому собранию в целом, а только Ворошилову: британский генерал смотрит в зал, а видит только советского маршала. Как понять это? Знак уважения к человеку, биографию которого Исмей наверняка знает: донецкий слесарь, герой революции, вставший во главе ее стремительных конных армий? А может, признание компетентности — видный военачальник и красный министр, чье имя в предвоенные годы не могло не отождествляться с революционным по своей сути трудом по техническому переоснащению армии и совершенствованию ее стратегических начал?.. А возможно, признание военно-дипломатических данных; Ворошилов все чаще заявлял о себе и в этом качестве... Так или иначе, но если особняк на Спиридоновке способен напомнить англичанину лето 1939 года, уроки этого лета, жестокие и трижды поучительные, то воспоминания должны коснуться и маршала Ворошилова — он единственный из русских, сидящих в этом зале, кто тогда был здесь и разговаривал с английскими военными...

Итак, Исмей сказал «Господа» и, поправив очки, принялся читать свои странички. Он читал, а Бардин думал...

Оказывается, в том, что зовется наблюдательностью, человеческий глаз не столь беспомощен.

Исмей говорил о большом десанте. Нет, союзники отнюдь не берут под сомнение дату открытия второго фронта, хотя категорически и не подтверждают сейчас эту дату. Они всего лишь хотят поделиться со своими русскими союзниками, как им видится эта проблема сегодня. Чтобы отвлечь сорок немецких дивизий, о которых идет речь в требованиях русских о втором фронте, союзникам необходимы для операций в Северной Франции шестьдесят дивизий. Имеют ли они эти дивизии?.. Если даже снять все войска с итальянского фронта, то общее число дивизий не превысит пятидесяти. Но есть ли смысл снимать их с итальянского фронта, где

успех достигнут немалой ценой?.. Очевидно, такого смысла нет. В самом деле, европейские коммуникации в руках немцев, коммуникации превосходные. Нельзя надеяться на то, что немцы не узнают о переброске войск с итальянского фронта на северо-французский, а если это им станет известно, великолепные европейские дороги будут использованы мгновенно и Италия падет под ударами врага.

Следует ли из всего этого, что союзники отказываются начать операцию с Северной Франции в мае сорок четвертого? Нет, отнюдь не отказываются, но они просят русских вникнуть в существо тех расчетов, которые они изложили сейчас.

Исмей говорил, не отрывая глаз от своих записей — в них надежность единой энергомагистрали от Черчилля к Идену, от Идена к Исмею... Вот говорят, что нет более творческой дипломатии, чем английская... Предыстория речи Исмея не столько подтверждает эту истину, сколько ее опровергает. В конце концов, эта система сообщающихся сосудов может быть британским изобретением, но вряд ли она свидетельствует о творческом начале замысла... Нет, даже не Исмея, который сейчас держит речь, а Идена, — очевидно, текст речи Исмея был составлен Иденом, но истинным автором ее является британский премьер, и главные ее положения есть во вчерашней черчиллевской депеше британскому министру. Факт печальный, и прежде всего для Идена — в политике зависимость и оглушение суть процессы родственные.

Иден готовился к приему у Сталина.

Нет, вопрос о большом десанте мог и не возникнуть: русские сказали свое слово. Запад им ответил, предварительно ответил. Диалог только начался. Формула русских была в такой же мере лаконичной, в какой и умеренной. Ответ Запада, в сущности, был терпим, не обнаруживая разногласий, больше того, по возможности загоняя их в преисподнюю. Тесту надо было дать взойти. Как ни медлен был огонь конференции, он давал достаточно тепла, чтобы тесто взошло.

Но были еще вопросы, наиважные.

Первый из них, и к тому же достаточно деликатный: конвой.

У этой проблемы, как она могла возникнуть сегодня в разговоре Идена и Сталина, была своя история, достаточно красноречивая для нынешней поры советско-английских отношений.

В апреле 1943 года британское морское министерство, разумеется с согласия своего премьера, приняло решение приостановить отправку конвоев в северные порты России до наступления осенней темноты. За годы войны русские привыкли не удивляться обескураживающим решениям Черчилля, но столь неожиданного шага не ждали и они. Новая акция Черчилля, к тому же предпринятая без ведома и согласия советского союзника, ставила русских в положение своеобразное. Черчилль, разумеется, отлично представлял себе последствия этого шага, и тем не менее черчиллевское вето на отправку оружия в Россию было наложено. Советская сторона потребовала возобновления конвоев.

У Черчилля не было иного выхода, как возобновить конвой, но за это свое решение он хотел взыскать с русских возможно высокую плату. В письме, которое он направил Сталину, решение о посылке судов на русский север толковалось таким образом, будто бы британский союзник шел на некие благодеяния. А коли речь шла о щедротах, они требовали мзды, и немалой. Поэтому Черчилль решил связать посылку конвоев с требованиями, которые к конвоям имели отношение косвенное: дать разрешение на увеличение числа английских военных в северных портах России, изменить их статут и т. д.

Ответная телеграмма Сталина была полна гнева — никогда он не писал Черчиллю столь резко. Послание британского премьера он расценил как своего рода угрозу СССР. В свою очередь Черчилль прибег к средству, которое в отношениях между союзниками, пожалуй, не применялось: он возвратил Сталину его телеграмму.

Было очевидно, что этот конфликт должен быть как-то преодолен, при этом чем раньше, тем лучше, Тегеран был не за горами.

Иден направился к Сталину, полный решимости сделать все, чтобы и конфликт был преодолен и память о нем, по возможности, предана забвению. Русские не были заинтересованы в обратном, да им, как понимал Иден, было сейчас не до того, чтобы поддерживать

междоусобицу,— их внимание действительно было приковано к Тегерану, к насущным фронтовым делам — Красная Армия шла по земле Правобережной Украины, со дня на день ожидалось освобождение Киева.

Иден вышел из машины, едва она минула Спасские ворота. Он хотел было дождаться посла Кларка Керра, который, следуя примеру Идена, не без труда расстался со своим лимузином и поспешал, как мог, за министром — шестьдесят лет не такой уж преклонный возраст, но, как показалось Идену в этот раз, жестокая служба в России сказалась на Керре заметно, он стал сдавать... Иден понимал, как ответственна предстоящая беседа, и попытался обрести уверенность, припоминая некоторые детали. Как ни агрессивен был Черчилль, его порядочно встревожила распря с русским премьером. Помнится, он не однажды произнес: «Я надеюсь, что вы дадите им почувствовать как наше желание быть в дружбе с ними, так и нашу твердую волю...» Ну, разумеется, твердая воля здесь была упомянута только для сохранения престижа.

Британский премьер старался внушить Идену, что автором сталинского послания, столь возмущившего англичан, является не Сталин, а аппарат. Сталин посылает свои ответы тут же, а на это потребовалось двенадцать дней. Совершенно очевидно, что над посланием трудился аппарат, — пытался британский премьер убедить Идена. Идена и, наверное, чуть-чуть себя. Зачем это надо было Черчиллю?.. У него не было крайней необходимости портить отношения со Сталиным, тем более в преддверии предстоящей встречи. Даже наоборот, нужен был мир. Но мир был нарушен, и Черчилль в этом был виноват в немалой степени, и, как могло показаться британскому премьеру, даже по мнению Идена. В этой ситуации склонить Идена на разговор со Сталиным можно было лишь в том случае, если Черчилль считал советского премьера невиновным. Разумеется, Черчилль подвиг бы Идена на этот разговор и в иных обстоятельствах, но сейчас это был кратчайший путь к цели.

Идену было приятно, что советские военные, которых было много в этот день в Кремле, приветствовали его. Он хотел верить и, возможно, был прав, что это было не дежурное приветствие, они узнавали его. Как все-таки консервативна человеческая память! Иден

убежден, что русские не связывают его имени с именем Черчилля, которого они откровенно не любят. Да, пожалуй, никто не намерен ставить Идену в вину, что его последняя миссия в Москву была скорее неудачной, чем удачной, при этом не без вины Идена. Самым сильным оставалось первое впечатление, и его решительно не могло изменить все последующее. Никто здесь не верит и, пожалуй, не намерен верить, что Иден так зависим от деспотической воли Черчилля, в какой редко когда был зависим министр иностранных дел от премьера. Наоборот, здесь убеждены, что есть Черчилль и есть Иден, при этом второй в своих отношениях с Россией много доброжелательнее первого. Возможна степень доброжелательности и иная, и доверчивые русские ее преувеличивают, им приятно ее преувеличить. Нет, речь идет не только о народе... Вот сейчас состоится встреча со Сталиным, и это обнаружится достаточно ясно. Кстати, если говорить о миссии Идена, с которой он сейчас направляется к Сталину, той самой, деликатной, то лучшей фигуры, чем Иден, тому же Черчиллю не надо.

Иден замедлил шаг, дожидаясь Керра, но это было едва ли не безнадежно... Видно, старость приходит к человеку с походкой, вон как ее деформировало: ноги заметно скребут торец. Нет, Керр не так слаб, как показался Идену вначале, просто сработали сорок шесть иденовских лет, но и сорок шесть — это возраст...

А военные все шли, и каждый подносил руку к козырьку, приветствуя Идена... В тот зимний приезд Идена в Москву они были менее приветливы... Значит, их нынешняя доброта еще и от настроения. Вот что может сделать большой военный успех с людьми: они откровенно веселы... Иден воспринял это вновь, когда поднялся к Сталину. Как помнит Иден, в комнате секретариата прежде была тишина почти церковная, да и народу немного. Сейчас полная комната военных, и тишины как не бывало, звучит смех, какого, так думает Иден, давно эти стены не слышали. Этот смех возник не только потому, что дела пошли на лад, но еще и потому, что улыбнулся человек, сидящий в соседней комнате. У этого человека должно быть сегодня настроение доброе, что может иметь, как свидетельствуют наблюдения Идена, для миссии британского министра значение почти решающее.

Иден был приглашен в кабинет советского премьера, когда волнение, вызванное предыдущей встречей в Кремле, так показалось англичанину, еще владело Сталиным.

— Вот немцы говорят, что второго Сталинграда не будет,— заметил Сталин, приветствуя гостей, заметил так, будто бы только что в кабинете были не русские, а немцы, которые к тому же утверждали, что второго Сталинграда не будет.— А если не будет, то не будет, мол, советского превосходства,— подтвердил он — Сталин, конечно, мог всего этого не говорить Идену, но ему очень хотелось показать, что у него нет секретов от британского союзника,— в самих этих словах особенных секретов не было, но известная доверительность была.

— Немцы хотели бы так думать,— засмеялся Иден.— он воспринял тенденцию, которая была в словах Сталина, тенденцию, не смысл, и ему важно было ее поддержать.— Хотели бы думать... это помогает жить.

— Помогает... — слабо реагировал Сталин.— его первая фраза сработала, и он потерял к ней интерес, он думал о том, как пойдет беседа дальше.

— Сегодня утром немцы сообщили о перегруппировке русских войск на подходах к Киеву,— произнес Иден и внимательно посмотрел на Сталина.

— Да, борьба еще будет очень жестокой,— сказал Сталин — он стремился переключить разговор на главное.— Двести пятьдесят дивизий, что противостоят там, сила великая,— заметил он в той раздумчиво-неторопливой манере, в какой любил говорить, когда добирался до существа.— Все, что союзники могут сделать, они должны сделать не откладывая...

Видно, Сталин, догадываясь о желании Идена говорить о конвоях, намеренно пошел ему навстречу. Ну что ж, главное так главное. Иден посмотрел на Керра, точно испрашивая у него разрешения на пространную реплику, которую готовился сейчас произнести. В знак согласия Керр смежил веки.

— Мистер Сталин, я хочу говорить о конвоях,— начал Иден — очевидная прямота, с которой были произнесены эти слова, призвана показать Сталину, что

Иден намерен говорить искренне.— Как ни многоопытен наш флот, прошу верить, каждый конвой является для него операцией сложной. Четырьмя крейсерами и двенадцатью эсминцами, которые служат непосредственным щитом конвоя, дело не ограничивается — в море должен выйти весь флот метрополии...

Иден продолжал говорить и, скосив глаза, видел, как Сталин кивает головой. Это ритмичное покачивание головой и воодушевляло и настораживало. Его можно было понять так: «Да, да, с тобой нельзя не согласиться, почтенный мистер Иден...» Но можно было истолковать и по-иному: «Говори, говори, милейший, но мы-то знаем, где истина...» Идену показалось, что мера скепсиса, которая ему виделась сейчас в лице Сталина, зависит от убедительности слов британского министра, и он замедлил речь. Он говорил теперь, что большого флота Великобритании явно недостает, чтобы выполнить все задачи, стоящие перед ним. На прикрытие конвоев приходится отвлекать флот, действующий против немецких подлодок в Атлантике. Между тем, как ни велики успехи в борьбе с подводными лодками, число их не сократилось. В подтверждение Иден раскрыл портфель и жестом, в такой же мере изящным, в какой и заученным, извлек сложенный вчетверо лист кальки, неожиданно белоснежной.

Психологический фокус! Произнеси Иден эту свою фразу о немецких подлодках, не обращаясь к кальке, она бы улетучилась из сознания его собеседников как дым. А вот калька, вернее, рисунок на кальке, стоящий аппарату Идена усилий пустячных, заставил многоопытного русского премьера сдвинуть брови и произнести многозначительно: «Да, действительно!» Калька пошла по рукам, она побывала в руках и у Сталина, и у Молотова, и даже у Керра, как будто бы британский посол не имел возможности посмотреть ее раньше. И Керр в свою очередь сказал: «Да, действительно!» — всем своим видом подтверждая истину, только что высказанную министром: немецкие подводные лодки — сила серьезная. Вот он, опыт: чтобы слово действовало, надо обратиться к истинному пустяку, но так, чтобы он впечатлял. Казалось бы, вот как все-силен ум. Он-то, этот ум, должен понимать, что это всего лишь фокус, должен понимать, но понимать отказывается.

А Иден продолжал торить свою нелегкую стезю. Он мог позволить теперь назвать имя своего премьера (раньше в этом был некий риск), назвать, разумеется, осторожно, обмолвившись, что в своих обещаниях русским тот действительно должен был считаться с условиями войны на море, — то, что в иных обстоятельствах можно обещать твердо, здесь зависит от воли божьей. Назвав как бы ненароком имя премьера, Иден пошел еще дальше и отважился сказать, что Черчиллю принадлежит почин возобновления конвоев. Кстати, вот эту цифру — 130—140 судов, которые намерены доставить 860 тысяч тонн груза, — Черчилль сообщил Идену уже в Москву. Ну, разумеется, Иден не может гарантировать посылку всех этих кораблей и доставку всего груза, как не мог гарантировать это Черчилль. И именно в этой связи британский премьер говорил о доброй воле, что вызвало неодобрение Сталина.

Все шло как по маслу, если бы не это коварное слово «неодобрение», которое Иден, спохватившись, заменил «неудовольствием», хотя, откровенно говоря, и это было плохо, так как ставило английскую сторону в этом споре в неравное, больше того, дискриминационное положение. Но искать новое слово было поздно. Сталин поднял над столом ладонь, поднял невысоко. Это было в его манере: говорить вполголоса, идти пригасив шаг, если обращаться к жесту, то не во все плечо, а как сейчас — он невысоко поднял ладонь над столом, дав понять, что хочет говорить.

Он сказал, что его несогласие с Черчиллем касается не трудностей, с которыми операция связана, а вопроса о том, обязаны ли англичане ее провести. Из телеграммы Черчилля следует: если удастся провести хотя бы один из конвоев, то это будет как бы подарком. Верна ли такая точка зрения?

Иден осторожно прервал Сталина, заметив, что англичане не считали и не считают, что доставка грузов является услугой русским или, тем более, актом благотворительности. Сталин должен доверять союзникам.

Сталин сказал, что у него не было желания обидеть Черчилля.

Иден вздохнул: штормовое море, море трудное, осталось позади.

Когда над головой Идена вновь замаячили купола кремлевских соборов, он принялся по привычке вос-

становивать в памяти всю беседу (по возвращении в посольство ее надо было записать) и решил, что она прошла для англичан лучше, чем можно было ожидать: конфликта из-за конвоев уже не существует или почти не существует... Да в конвоях ли только дело? Не было бы сегодняшнего разговора Идена со Сталиным, Черчиллю, пожалуй, трудно было бы поехать в Тегеран. Сейчас такая поездка возможна...

А в работе конференции наметился известный ритм. Правда, вопрос о большом десанте — отныне десант носил кодовое имя «Оверлорд» — участники до поры до времени молчаливо обходили, справедливо полагая, что он может быть обсужден и за пределами конференции. Зато все остальные вопросы были рассмотрены в темпе, невиданном доселе, что было знаком, в высшей степени обнадеживающим. Как ни жестоки были тернии, лежащие на большой дороге взаимопонимания, они, эти тернии, казалось бы, с общего согласия устранились. Вот эта черта конференции на Спиридоновке была, пожалуй, самой обнадеживающей, тем более что за Спиридоновкой следовал Тегеран.

Один за другим решенные вопросы были внесены в секретный протокол конференции.

Новый этап войны ставил новые проблемы. Почти наверняка союзников ожидали еще суровые испытания, но критическая точка войны, видимо, оказалась позади. Внимание было обращено на послевоенную Европу, обращено осторожно — проблемы послевоенного устройства Европы не должны были подменить страданий проблем фронта. Тем не менее союзники договорились создать два консультативных центра, которым предстояло сказать свое слово о послевоенных судьбах Германии и Италии.

Американцы были озабочены тем, чтобы объединенная мощь союзников была обращена и против Японии, разумеется, после победы над Германией. Декларация, которую приняла конференция и которую должен был подписать и Китай, прямо говорила об этом.

Все новые данные свидетельствовали о том, что политика слепого и безудержного террора, которую объявляли гитлеровцы народам Европы, продолжает-

ся. — союзники решили заявить во всеуслышание, что они об этом знают и сурово покарают виновных.

Союзники не теряли надежды склонить на свою сторону Турцию. Конференция подтвердила, что СССР и Великобритания, взаимно консультируясь, продолжают эти усилия.

Министры, сидящие сейчас за круглым столом наркоминдельского особняка на Спиридоновке, разумеется, понимали, что решения конференции должны быть рассмотрены в Тегеране, поэтому конференция носит как бы предварительный характер. Можно было подумать, что документ, принятый на Спиридоновке, нуждается в штемпеле, а поэтому он так легко и был принят. На самом деле конференция обрела общий язык сравнительно легко потому, что союзники переступили новый важный предел сотрудничества, а следовательно, взаимопонимания. В преддверии Тегерана этот признак был добрым.

Бардин и Бухман отпустили машину и шли в наркомат пешком.

Егор Иванович умел «читать» московские улицы, и американцу это было интересно: чеховский дом на Садово-Кудринской, горьковский на Спиридоновке, гоголевский на Суворовском бульваре, да только ли это?

Но не всегда вопросы задавал Бухман, иногда это делал Бардин. И касались они, естественно, не истории московских улиц.

— Согласитесь, что мистер Хэлл, как мы его узнали в последние годы, сложился не сам по себе и представляет не только себя?

— Вы полагаете, что он обязательно должен представлять не самого себя? — улыбнулся Бухман, и его глаза, обращенные на Бардина, точно исторгли сухую искру.

— Нет, нет, вы не обижайтесь... Я сказал так потому, что у вас, как мне кажется, есть некая концепция: крупная фигура должна представлять не саму себя, а промышленный комплекс или могущественную гильдию железных дорог... Мистер Корделл Хэлл в первую очередь представляет, конечно, самого себя, хотя и не пренебрегает поддержкой внешних сил, например сената, где традиционно сильны южане, союз тех, кто хо-

тел и Линкольна держать в узде, да не смог... Для Рузвельта мистер Корделл Хэлл лидер оппозиции?

— В какой-то мере, но не столько легальной, сколько нелегальной,— как бы парировал Бухман.— Если вы думаете, что назначение на пост государственного секретаря легализовало его деятельность, то ошибаетесь. Наоборот, оно вынудило его уйти в подполье,— Бухман засмеялся.

— Значит, Рузвельт — Хэлл — великое противостояние?

— Пожалуй, мистер Бардин.

— Но как скажется это противостояние на равновесии сил, да еще в канун встречи глав? Различие во взглядах серьезно?

— Серьезно, разумеется, но есть могучая сила, которая это различие нейтрализует, и вы, мне так кажется, это учитываете...

— Какая сила?

— Удар по Японии. Совместный удар.

— Простите, мистер Бухман, но личное общение с мистером Корделлом Хэллом... не опровергает этого предположения?

— Нет. Больше того, Москва его умиротворила. Хэлл остался тем же, разумеется, но что-то появилось новое... — Бухман расплылся в улыбке, щедрейшей.— Что ни говорите, а он не только представитель пресловутого промышленного комплекса, но еще и человек.

— Благодарю вас, мистер Бухман.

Прогулка продолжалась, интерес к истории московских улиц возобновился.

Когда председатель, взглянув на часы, объявляет двадцатиминутный перерыв, делегаты, как бы сговорившись, уходят в сад. Есть возможность и уединиться, привести свои мысли в порядок перед решительной батальей, и завязать необходимый диалог, разведывающий, зондирующий, торящий новые пути, и отдохнуть, и даже сымпровизировать под кроной липы или дуба параллельное заседание, но, разумеется, без протокола, что тоже имеет смысл... Нет, человек, кажется, ничего более разумного не придумал, как обыкновенный сад, а для дипломатов он просто спасение...

Бардин оказался свидетелем беседы маршала Ворошилова с генералом Исмеем.

— Не считаете ли вы, маршал, что немцы стали особенно чутки к угрозе окружения? — спросил Исмей.

— Не хотите ли вы сказать, что немцы... застрахованы от окружения? — спросил Ворошилов — его резкий голос вырвался из повиновения и обрел тона почти петушинные.

— Нет, я хочу сказать, что для немцев нового Сталинграда может и не быть, — бросил Исмей не без лукавства.

— Сталинграда? — переспросил Ворошилов. — Нового Сталинграда действительно не обещаю! — бросил он и заспешил к дому, ему почудилось в словах англичанина нечто тревожное. — Нового Сталинграда действительно не обещаю, да и вам обещать не советую... — вдруг засмеялся он и исчез в дверях.

Исмей задал задачу и Бардину. Значит, англичанина интересует, возможен ли новый Сталинград? Неспроста интересует. Дело, конечно, не в таинствах битвы — что она прибавит к Сталинграду? Очевидно, суть в ином: какой урон еще могут понести немцы, — в этом существо вопроса Исмея. Ну, разумеется, в первооснове этого вопроса «Оверлорд», вожделенный «Оверлорд»! Завтра, когда союзники высадятся на континенте, насколько могущественна будет армия, которая встретит их?.. «Когда союзники высадятся на континенте...»

А они все-таки думают высадиться?

Даже когда конференция назначалась на утро (она открывалась в одиннадцать), Бардин успевал до отъезда на Спиридоновку повидать своих сотрудников, осведомившись, как идут дела, рассказав о конференции нечто такое, что они могли и не знать. Последнее неизменно принималось с благодарностью: товарищи Егора Ивановича по отделу видели в этом и знак доверия и приязни. Исключение, пожалуй, составлял Хомутов — сдержанность, чуть ироничная, не покидала его. Терпению Бардина пришел конец, когда, рассказывая о беседе Ворошилова с Исмеем, происшедшей накануне в саду наркоминдельского особняка, Егор Иванович за-

метил недобрую ухмылочку Хомутова. У Бардина возникло желание прервать разговор и спросить почтенного заместителя: «Простите, разве это так смешно?» — но он сдержал себя, решив дождаться, когда они останутся с Хомутовым один на один. Не было бы этого случая, Егор Иванович, пожалуй, не закончил бы беседу столь поспешно. Сейчас же рассказ его был едва ли не оборван, и Егор Иванович остался с заместителем наедине.

— Я вас не понимаю, — начал он весьма воинственно, — по-моему, только меня вы удостаиваете этими вашими ухмылочками, хотя именно я и не подавал вам повода...

— Нет, вы как раз и подали повод, — ответил Хомутов невозмутимо, при всем том, что он был человеком с обнаженными нервами, он умел в особо трудные минуты сохранять спокойствие завидное.

— Может, вы дадите себе труд объяснить, чем именно? — спросил Бардин, чувствуя, что он вот-вот взорвется, — все это было сильнее Егора Ивановича, явно сильнее.

— Об этом надо говорить в иной обстановке и, пожалуй, в ином тоне, — сказал Хомутов.

Нет, это было уже слишком! Он накалил Бардина, и он же требует иного тона!

— У меня нет ни времени, ни желания говорить в иное время, — едва ли не выкрикнул Егор Иванович, и вдруг шальная мысль пришла ему на ум, мысль фантастическая: «А вдруг Хомутов прав, что тогда? Как тогда он объяснит этот свой тон и эту нетерпимость, именно нетерпимость?» — Я прошу вас...

Бардину показалось, что Хомутов собрался говорить. Да, он собрался говорить, но было непонятно, чего ради он смежил глаза: быть может, устал, а возможно, ушел в себя, чтобы собраться с мыслями.

— Меня эти ваши рассказы о встречах с Иденом и Исмеем ставят в положение оскорбительное, которого я не заслужил, — произнес Хомутов, полузакрыв глаза. — Мне все кажется, что есть некий запретный круг, в пределы которого мне, например, доступ заказан, хотя я и дипломат и общение с иностранцами определено самим статутом того, что есть моя профессия... Вы это считаете естественным?

Бардин едва не взревел: вот это да!.. Значит, он

поднял бунт по той причине, что лишен возможности встретиться с Хэллом! Это же бог знает что такое! Встречи организует, разумеется, не он, Бардин. Их организуют. Никому и в голову не пришло привлечь к этому Хомутова. Коали не пришло, будь скромн и жди, тем более что ты здесь без году неделя. Будь скромн... Но как ему объяснить и с какого конца начать? Только подумать: он хочет встречи с Хэллом!

— Вы считаете это естественным? — Хомутов укоризненно-недоуменно посмотрел на Бардина.

— Да, я считаю это естественным, а порядок правильным и буду его защищать,— произнес Бардин с сознанием правоты.— Поймите, что наркомат не может подкачивать к особо ответственным делам весь состав наркоминдельцев, каждое дело требует особого круга, при этом учитываются разные данные...

Хомутов встал:

— Значит, вы полагаете справедливым держать меня на таком расстоянии от оперативных дел Егор Иванович?

Бардин вышел из-за стола: вот он, предел терпению.

— Простите, но это слишком.

Хомутов повернулся и пошел к двери. Бардину надо было бы найти в себе силы и сказать: «Погодите, давайте наберемся терпения и договорим», но в этом, как ему казалось, было признание вины, а следовательно, отступление. Нет, на попятную он не пойдет— да бардинское ли это качество?

Хомутов ушел. Бардин собрал портфель и поехал на Спиридоновку, но весь день был под впечатлением разговора. «Он злоупотребляет тем, что на войне был не я, Бардин, а он, Хомутов... Не имел бы в виду он этого, не вел бы себя так. Вот Вологжанин, например... Самый большой отдеальский воз у Вологжанина, а безотказен и безропотен, как вол. Не пример ли это скромности?.. Но вот вопрос: у Вологжанина с Хомутовым, кажется, отношения добрые? Надо поговорить с Вологжаниным...»

Егор Иванович позвонил в отдел: у телефона все та же юная душа, очевидица всех баталий Егора Ивановича с Хомутовым.

— Передайте Вологжанину, пусть запасется бутербродами и не уходит из отдела, я буду поздно...

Насчет бутербродов можно было и не говорить, но слово не воробей. Вот интересно, Хомутов передал Вологжанину утренний разговор? Вряд ли. По крайней мере, так кажется Бардину. А Вологжанин с Хомутовым?.. Да, а после того, как секретарша сказала о телефонном звонке Егора Ивановича?.. После этого говорил?.. Возможно.. И как говорил? Возразил или согласился? Да как можно согласиться, когда это лишено смысла? Начисто лишено смысла, а Вологжанин все-таки не глуп.

Бардин появился в отделе уже в одиннадцатом часу. Вологжанин не весел — видно, давно съел свои бутерброды.

— Чаю хотите? — спросил Егор Иванович, снимая пальто.

— Не откажусь.

Бардин позвонил в наркоминдельский буфет: у него была такая привилегия. В наркомате было в этот поздний час не оченьлюдно — чай прибыл тотчас. Ну, казалось, велика ли подмога — стакан чаю, но сил у Вологжанина прибавилось, да и настроение поднялось заметно.

— С Хомутовым беседовали?

— Да.

— И что?

Вологжанин ощутил неловкость — взял ложечку и, пододвинув пустой стакан, высек звон, тревожный.

— Я спрашиваю: ну и что?.. Прав Хомутов?

— Прав, Егор Иванович.

— Это каким же образом? — Бардин ожидал любого ответа, но только не этого. — Ну, говори, говори, каким образом?

Казалось, и бодрость, и настроение, которое сообщил Вологжанину чай, улетучились, и усталость большого дня, дня нелегкого, овладела им — ему не очень хотелось объясняться.

— Ну, говори, — не просил, а требовал Бардин. — Хочешь, я тебе скажу?.. Хочешь?

— Говорите, Егор Иванович.

— Весь фокус в том, что он был на войне, а я не был! В этом дело. Так?

— Нет.

— Тогда в чем?

— Можно еще чаю, Егор Иванович?..

Принесли чай. Вологжанин выпил его, не ожидая, пока остынет — точно в крещенскую стужу где-нибудь на своих Пеше, Пезе или Мезене, одолев стокилометровый санный путь по льду и насту.

— Ну, теперь скажешь?

— Теперь скажу.

— Говори... не тирань.

— Я так думаю, Егор Иванович, коли тебя пустили в этот дом, значит, ты того заслуживаешь... Вот так. Среди нас не должно быть особо доверенных, особо посвященных, особо достойных, а ежели это не распространяется на тебя, надо сказать об этом внятно почему? — произнес Вологжанин, как обычно усиленно окая — казалось, для всех слов, которые он произносил, это «о» было обязательным. — Внятно надо сказать: почему? Так вот...

— Погоди, кто это говорит, ты или Хомутов?

— И я говорю, Егор Иванович.

Всего ожидал Бардин, но такого — никогда... Значит, бунт. Взбунтовался отдел от мала до велика. Может быть, спросить Августу Николаевну? Спросить или не надо? Нет, пожалуй, не надо.

— Я, конечно, понимаю, что это исходит не от вас, но надо понять и тем, от кого это исходит: у людей есть достоинство, а если его у них нет, то они должны иметь... Вот так, — продолжал окать Вологжанин.

— Погоди, кто это говорит? Тоже ты?

— Я говорю, Егор Иванович. Так.

Бардин молчал. Да, заковал себя в латы этого молчания — стреляй, не прошибешь.

— Хорошо, я подумаю.

Ему было нелегко сказать: «Хорошо, я подумаю». Он-то, Егор Иванович, считал, что Вологжанин не прав, хотя у Бардина не было оснований сомневаться в Вологжанине, и это его настораживало. У Егора Ивановича было правило, которому он следовал неукоснительно: не надо отдавать себя во власть неприязни. И еще было одно правило, которое его не подводило: прояви добрую волю, прояви ее в полной мере — и победишь любую предвзятость.

Бардин вспомнил короткий разговор с Бухманом сегодня утром. Хэлл воспыал желанием видеть Москву, исторические памятники эпохи 1812 года. Бухман пробовал его убедить посмотреть и нынешнюю Моск-

ву, но Хэлл осторожно дал понять, что ему хотелось бы совершить своеобразную экспедицию в прошлый век. Бухман просил Егора Ивановича уважить старика.

— Вот что, друг Вологжанин,— произнес Егор Иванович твердо.— Завтра я буду Хэллу показывать Москву. Я хочу, чтобы вы были со мной: по одну руку Хомутов, по другую ты... Не хочу переоценивать значения этой операции, но, может быть, для начала и она хороша?

— Хомутов может и не согласиться,— возразил Вологжанин.— Он не очень любит вдруг... Вот так.

Но Хомутов согласился.

Они повезли Хэлла смотреть Москву.

Американец хотел видеть Москву двенадцатого года, как она вошла в его сознание, когда он юношей прочел «Войну и мир».

Обогнули Кремль и от Троицких ворот по старой Можайской дороге доехали до Поклонной горы. Потом постояли у кутузовской избы в Филях, не минули хоромы на Тверской, где московское дворянство чествовало Багратиона, спустились к дому московского генерал-губернатора и, осмотрев особняк на Поварской, где, как утверждает молва, обитали Ростовы, направили стопы в Хамовники к скромной толстовской усадьбе.

Бардину хотелось как бы отойти в сторону, доверив беседу с Хэллом спутникам, но те были не одинаково активны. В то время как Вологжанин старался быть рядом с американцем, пользуясь каждой возможностью завязать диалог, Хомутов был хмуро-сдержан, он с пристальным вниманием наблюдал за происходящим, не часто вступая в разговор, хотя Хэлл, приметив, как он скован, дважды пытался с ним заговорить.

День был ненастным, моросил мелкий дождичек, и Москва казалась тускловатой. Только и была отрада для глаза, так это лимонно-золотые листья клена и ярко-оранжевые гроздья рябины — там, где глянули деревья клена и рябины, будто солнце высветлило землю. Вначале Хэлл, казалось, не видел этого, он сидел в глубине машины, зябко ссутулившись, а когда выходил, шел по сырой земле, точно по снегу, — ему было холодно. Потом разогрелся, воспрянул духом. Ожи-

вился. То, что он видел, ему было интересно, его интерес был согрет воспоминаниями молодости. Чем дальше живет человек, тем бóльшую привилегию в его сознании обретает молодость.

Когда возвращались из Хамовников, Хэлл увидел в автомобильное окошко яркие луковицы куполов. Он попросил остановить автомобиль и вышел. Долго ходил вокруг церкви, восхищаясь ее формами и пропорциями.

— Говорят, что с войной народу в церквах стало больше? — спросил он не останавливаясь.

Бардин видел, как ухмыльнулся Хомутов — для него это было не так актуально, как для знатного американского гостя.

— Очевидно, потому, что церковь не стоит в стороне от борьбы, — сказал он.

— А не находите ли вы, что вера народа стала... человечнее?

— Нет, вы не правы, — ответил Хомутов, растягивая слова — ему явно не хватало знания языка. — Влияние церкви ограничено у нас людьми возраста... почтенного. — Казалось, он был рад, что отыскал это слово «почтенного», надо было не обидеть Хэлла, речь шла о людях его лет. — А то, что мы зовем «верой народа», определяет армия и трудовой тыл, а там погоду делает иной возраст...

Хэлл вновь поднял взгляд на церковь, в его глазах было нечто молитвенное. Независимо от ответа Хомутова он был благодарен за те несколько минут, что провел здесь, — он был человеком верующим. Но надо было отдать должное и Хомутову — Бардин полагал, он хорошо ответил американцу.

Они приготовились сесть в машины, когда Хэлл увидел зенитную батарею, охраняющую Крымский мост. Конечно, Хэлл и прежде видел зенитки на улицах Москвы, но эти были рядом.

— Американская... пушка? — спросил он, обращаясь к Бардину.

Егор Иванович испытал неловкость — он мог и ошибиться, а ошибаться ему не хотелось — Хомутов был рядом.

— А мы сейчас спросим, — заметил Бардин и пошел к батарее, у которой хлопотали девушки-зенитчицы, но Хомутов его остановил.



— Наше орудие, Егор Иванович,— сказал он и, подойдя к девушкам, сказал им волшебное слово и в два приема, заученно и ловко, как делал это многократно, расчехлил ствол и, склонив его почти параллельно к земле, обратил едва ли не к Хэлу.

— Э-э-э, теперь я вижу: у вас есть мощное оружие против государственного секретаря,— поднял руки американец.— Заранее согласен на все...— Он подмигнул Бардину, указав на Хомутова:— В вашем министерском аппарате есть и артиллеристы?

— А как же иначе, господин государственный сек-



ретарь? Если артиллерист не способен заменить дипломата, а дипломат артиллериста, мы не одолеем немцев... Не так ли?

— Хорошее правило, мистер Бардин. Хорошее.

Когда возник вопрос о вечернем спектакле в Большом театре, Хэлл улыбнулся Хомутову:

— Мне там без артиллерийской защиты не обойтись.

К счастью, Егор Иванович уже пригласил своих спутников в театр. Вологжанин дежурил, и с Бардиным поехал Хомутов. Давали «Лебединое озеро», и Хэлла,

так можно было подумать, увлек спектакль. Нет, не только тем, что это было популярное представление, которое в Москве показывали знатым иностранцам. Необыкновенно интересно было наблюдать, как столь отвлеченная тема, как тема «Лебединого озера», звучит сегодня в Москве и, что не менее любопытно, как ее воспринимает сегодня русская публика. В самом деле, этот мир добрых и злых фей, мир сказочных принцев и лебединого царства жестоко сопрягался с тем, что являл зал: гимнастерки, рабочие куртки, ватники, опять гимнастерки, вопреки октябрю, летние, белесые, ношенные, выцветшие на негасимом огне теперь уже трех июльских солнц — одно жарче другого, одно свирепее другого. Но такова, наверно, природа человека: этот рассказ о принцах и феях, красивый, но в чем-то наивный, был бы лишен для людей, сидящих в зале, элементарного смысла, если бы его не окрыляло искусство. Было даже любопытно, как люди, многие из которых в эти годы видели то, что справедливо могло называться земным адом, дали покорить себя истории столь немудреной. Да в ней ли, в этой истории, была для этих людей суть? Нет, разумеется. Сражалось добро, сражалось с тем воодушевлением и храбростью, с каким сражалось на земле, и музыка, вечная и вечная, пела хвалу этому добру...

— Вот как ваши люди потянулись к музыке, это не от усталости? — спросил Хэлл Егора Ивановича в первом антракте. — Не проявится ли эта усталость прежде, чем кончится война?

Бардин покачал головой: какими неожиданными путями может устремиться мысль человеческая!

— Мне так кажется, не от усталости, — молвил Егор Иванович. — Музыка как солнце — без нее красные кровяные шарики не будут красными...

Хэлл заулыбался — его устраивал этот ответ, он помогал рассеять сомнения:

— Не будут красными. Не будут красными...

— Простите, а вы давно смотрели этот спектакль? — неожиданно спросил Хэлл, обращаясь к спутникам.

Ну, разумеется, вопрос был не столь наивен; как мог показаться. Хэлл хотел знать: непосредственность, с какой смотрел спектакль Бардин, была естественной или нет? В самом деле, если этот спектакль показы-

вают каждому третьему иностранцу, то как тогда понять реакцию самого Бардина? Спектакль, который смотришь в десятый раз, не может вызвать такой реакции.

— Я смотрел давно, еще до войны,— сказал Егор Иванович.

— И я до войны, все не мог улучшить вечера,— заметил Хомутов с искренним сожалением.— А началась война, полетели другие лебеди...

Хэлл сочувственно и строго посмотрел на Хомутова.

Бухман, с живым вниманием наблюдавший за Хомутовым, сказал на другое утро Егору Ивановичу:

— Вы очень правильно сделали, что привлекли к участию в нашей вчерашней поездке этого дипломата-артиллера. Умный человек, и к тому же прикоснулся к огню... Мне, например, об этом никто не сказал, а я это увидел. Представьте, увидел...

Бардин ничего не сказал Бухману, он сказал себе: «Добрая воля всеильна».

Идену вновь предстояла встреча со Сталиным. Наверно, шел и радовался: не надо уже говорить о конвоях!

В самом деле, только теперь и дошли руки у британского министра, чтобы поговорить со Сталиным об истинном деле.

В приемной советского премьера, как и в прошлый раз, было полно народу, но на этот раз больше штатских.

Полувсенные гимнастерки, брюки, заправленные в сапоги, армейские ремни, у некоторых даже с портупеями, не столько портфели, сколько планшеты. Истинно армия, разве только без погон, да вот и в руках не карты, а чертежи, да, да, чертежи... Иден видел явно, как человек с рыжими усами, негустыми, но пушистыми, развернул свиток и показал товарищу, стоящему рядом, чертеж... да, чертеж... Но что это могло быть? Новые военные заводы у Полярного круга? Вон тот, горбоносый, с просвечивающей шевелюрсой, не успел даже снять мехового жилета. Возможно, при-

мчался с севера, там определенно уже метет пурга и долгий день сменился долгой ночью. Не строитель ли он? Тогда что он возводит? Заводы послевоенной поры, мирные заводы — готовое платье, меховые вещи, обувь, трикотаж... До трикотажа ли сегодня России, когда война еще бушует? Нет, трикотаж, пожалуй, еще подождет... Видно, это иная сила, чем та, что стоит лицом к лицу с врагом — могущественная армия тыла, вызвавшая великое диво этой войны: тьму танков, самолетов, артиллерийского и стрелкового оружия...

Едва обменявшись рукопожатиями, Иден положил перед Сталиным стопку машинописных страниц, которая легла на краю стола, при этом на добрую треть скрывшись под мраморной чернильницей, стоящей на невысоких ножках. Сталин прищурил левый глаз, прищурил демонстративно, точно хотел сказать: «А это еще что такое?»

— Это... письмо? — спросил он, сдерживая иронию.

— Нет, это доклад генерала Эйзенхауэра о положении на итальянском военном театре, господин премьер,— ответил Иден с почтительной готовностью.

Сталин пододвинул стопку машинописных страниц. Это имя генерала Эйзенхауэра заставило его пододвинуть эти странички, собранные воедино нарядной скрепкой,— он питал уважение к военным. Будь то не доклад Эйзенхауэра, а, например, Черчилля, лежать бы ему под мраморной чернильницей..

— Значит... Эйзенхауэра? — переспросил он, обнаружив в говоре особое «г», очень грузинское.

— Да, Эйзенхауэра и Александра...— подтвердил Иден все с той же готовностью.

Сталин взглянул на Молотова, точно приглашая его сесть поближе: он явно приготовился читать.

— «К 9 сентября, началу операции «Эвеланш» и объявлению о перемирии с Италией, общее положение противника было таково, что две дивизии оказывали сопротивление наступлению 8-й армии в Калабрии...» — начал он чтение.

Наивная страсть: любил человек, когда слушают его чтение, особенно русское чтение. Читал вслух то, что сам писал. Нет, не только стихи — прозу. Деловую. Письма-наказы, может быть, даже директивы. Командующим. Дипломатам. Авиационным и танковым конструкторам. Любил вернуть в такое письмо специаль-

ное слово. Конструкторам авиамоторов об октановом числе горючего. Конструкторам артиллерийского оружия — о калибрах пушек. Дипломатам — о паритете и духе наибольшего благоприятствования. И, странное дело, несмотря на то, что все, кому это было адресовано, могли видеть в нем непрофессионала, они воспринимали это как нечто естественное — не будь этих слов, письмо-наказ могло бы прозвучать для них даже не столь убедительно.

Но сейчас Сталин читал не свой текст, а текст Эйзенхауэра и Александера, и, странное дело, читал не без желаний.

Вряд ли этот доклад был рассчитан на то, что его прочтут русские, он был очень хорош для того, чтобы его прочли русские.

В докладе генералы не без выгоды для себя заметно преувеличили немецкие силы, находящиеся в Италии, и сопротивление, которое они оказали десанту. Соотношение сил, как оно выглядело в подсчетах генералов, должно было доказать, что союзники стоят на итальянской земле перед противником, обладающим превосходством и в живой силе и в технике. На Юге одиннадцать англо-американских дивизий сражаются против девяти немецких, зато на Севере у немцев имеется еще пятнадцать дивизий в резерве. Таким образом, немцы располагают на итальянской земле могущественной армией, которая уже сегодня насчитывает двадцать четыре дивизии. Если переброска англо-американских сил пойдет так же хорошо, как до сих пор, то в ноябре у союзников будет тринадцать дивизий, в декабре — четырнадцать-пятнадцать, в январе — шестнадцать-семнадцать... Иначе говоря, даже через три месяца превосходство будет у немцев. Вместе с тем темпы переброски техники на континент опасно сократились. Было бы у союзников достаточно десантных судов, они сумели бы более искусно маневрировать, направляя силы на фланги, но этих судов у союзников на итальянском театре нет. Таким образом, есть угроза, что немцы, которым все это, разумеется, известно, навяжут сражение, обратив союзников вспяты и, быть может, опрокинув в море. Для немцев, которые последний год терпели поражение на всех фронтах, очень нужна победа, и не исключено, что на риск такого сражения они пойдут...

В то время как Сталин читал этот текст, испытывая немалое удовлетворение и от самого чтения, Иден и генерал Исмей затаив дыхание слушали. Видно, расчет заключался в том, что Сталин должен прочесть текст до беседы, поэтому и был подготовлен русский перевод доклада, что англичане делали не часто. Не имея возможности проникнуть в поток русской речи, но хорошо зная сам текст, они следили за чтением по именам собственным, которые были рассыпаны по тексту и которые даже в русском звучании улавливало их английское ухо: Салерно, Калабрия, Сицилия.

Сталин закончил чтение и осторожно потер глаза тыльной стороной руки — глаза устали.

— Так... — произнес он раздумывая. — А по тем данным, которыми располагаем мы, к югу от Рима двенадцать англо-американских дивизий сражаются с шестью немецкими, при этом на реке По расположилось еще шесть немецких дивизий... — Он умолк задумавшись. — Но... допускаю, что генералам Эйзенхауэру и Александеру все это известно лучше.

Теперь, когда доклад генералов сделал свое и, по всему, озадачил русского премьера, надо было предпринять главное и, как это виделось сейчас Идену, самое трудное: перекинуть мост к Черчиллю.

— Так... — еще раз сказал Сталин и печально покачал головой — доклад генералов неожиданно произвел на него неприятное впечатление. — Значит, двадцать четыре дивизии?

— Премьер Черчилль хотел, чтобы вам было сообщено все новое о наших итальянских делах. Он полагает, что кампанию в Италии надо довести до победного конца независимо от того, как она повлияет на «Оверлорд»... — заметил Иден, он уже начал сооружать «мост», и каждый камень, положенный в основание, стоил ему сил. — Как видите, положение не простое... Тем более необходимо, чтобы главы правительств встретились как можно скорее... — добавил он неожиданно для себя, он хотел подготовить последнюю фразу, а она возникла внезапно.

Сталин посмотрел на Идена, ухмыльнулся — кажется, он проник в нехитрый замысел англичан с докладом Эйзенхауэра.

— Если не хватает дивизий, то тегеранская встреча не создаст их, — он продолжал смотреть на Идена, но

от его ухмылки не осталось и следа.— Означает ли только что прочитанное... отсрочку «Оверлорда»? — Он вновь умолк, но его глаза все еще были обращены на Идена — ему был очень важен ответ министра. Его так долго и столь многократно обманывали, что он постоянно ждал подвоха. О том, что подвох имел место и теперь, можно было и не думать, оставалось установить, где именно этот подвох.

Иден приподнял руки, точно хотел обнажить свои белые манжеты, скрепленные полудужьями золотых запонок, — ему был приятен этот жест, он прибавлял ему силы, перед тем как он начинал говорить.

— До того как доклад генералов Эйзенхауэра и Александера будет изучен верховным военным органом союзников, ничего нельзя сказать, — заметил Иден с нарочитой вялостью — теперь, когда инициатива беседы перешла к нему, он мог порисоваться.— Тут вот премьер Черчилль прямо пишет об этом, — заметил он и обратился к коллекции писем и диаграмм.— «Мы сделаем для «Оверлорда» все, что в наших силах, но нет смысла готовить поражение на поле боя ради временного политического удовлетворения», — прочел он с видимой бесстрастностью и добавил уже от себя: — Есть немалая трудность на пути к «Оверлорду»: переброска в Соединенное королевство семи дивизий, показавших себя в Италии.

Не надо было обладать большой проницательностью, чтобы обнаружить в речи Идена некий замысел: вначале он действовал на оппонента как бы ударом в лоб, фронтальным ударом («Учитывая положение в Италии, переброску этих дивизий следует отложить...»), однако вслед за этим возникали амортизаторы, смягчающие удар, сохраняющие какую-то возможность к продолжению разговора («Трудно сказать, как это скажется на «Оверлорде»...»).

— Значит, если говорить о стратегической перспективе, у союзников есть две возможности: стабилизировать фронт севернее Рима и все силы подчинить «Оверлорду» или ударить по Германии через итальянский Север? — Сталин был заинтересован рассмотреть проблему в «стратегической перспективе». Совершенно очевидно, что удар по Германии через итальянский Север исключался; следовательно, оставался римский вариант, что было тождественно признанию насущно-

сти «Оверлорда». — И так, первый вариант или второй? — повторил свой вопрос Сталин.

— Первый, — без энтузиазма ответил Иден. — Насколько мне известно, не было намерения идти дальше линии Пиза — Римини...

— По-моему, это верный расчет, — подхватил Сталин, инициатива разговора вновь перешла к нему, маневр со «стратегической перспективой» дал свои плоды. — Перенести военные действия в Альпы — значит пойти навстречу врагу, — быстро реагировал он. — Нет смысла...

— Нет смысла, — согласился Иден, но вынужденно.

— Если говорить об «Оверлорде», где может быть нанесен удар? — спросил Сталин, он любил разговор, развивающийся по принципу цепной реакции: в самом ответе есть ядрышко следующего вопроса.

— Насколько мне известно, параллельно операции «Оверлорд» предполагается высадить десант в Южной Франции, подключив французские дивизии... — заметил Иден. Не часто английский министр говорит по военным вопросам столь уверенно. — Разумеется, это будет... отвлекающий удар, — произнес он и, взглянув на золотые запонки в своих белоснежных манжетах, смутился, этот его взгляд, заставивший собеседников Идена тоже взглянуть на запонки, явно был сейчас неуместен.

— Отвлекающий удар — это хорошо, — тут же реагировал Сталин, показав, что золотые запонки у него в расчет не идут. — Навести врага на ложный след... у себя на фронте мы это делаем часто... Но вот вопрос: «Оверлорд» будет отложен на месяц или на два? — спросил Сталин подумав, — в цепи тех вопросов, которые он должен был задать, чтобы составить себе полное представление о будущей операции, этого вопроса явно не доставало.

— Мне трудно ответить, — признался Иден. — Единственное, что я могу подтвердить: мы сделаем все, чтобы «Оверлорд» начался как можно раньше... В связи с этим желательно, чтобы и главы трех правительств встретились как можно раньше.

Сталин взял со стола доклад Эйзенхауэра и, сложив его вдвое, отложил в сторону — нет, этот жест еще не означал окончания беседы, но был как бы первым звонком к этому.

— Да, конечно,— согласился он.— Но у президента есть некоторые колебания относительно поездки в Тегеран...

— Может быть, все-таки провести встречу в Хаббании? — тут же реагировал Иден.— В самом деле, может, в Хаббании?

— Нет, в Тегеране,— сказал Сталин и взглянул на Молотова — хотя само по себе слово Сталина было достаточно весомо, он обращал взгляд на Молотова, точно прося подтвердить — его советником тут был нарком.

— В Тегеране,— подтвердил Молотов. Было понятно, что нет смысла возвращаться к этому вопросу.

— Главное — не давать немцам передышки,— заметил Сталин, он понимал, что беседа на исходе, и хотел ее доброго конца.— Сам факт того, что немцы ждут удара с запада, заставляет их держать в Европе дивизии...— произнес он подумав,— он счел возможным сказать это, понимая, что дело идет к «Оверлорду», прежде он этого не сказал бы.— Советский Союз хорошо понимает значение этого вклада...

Это был комплимент союзникам, комплимент для Сталина необычный, и Иден не преминул обратить его на пользу своему шефу:

— Как вы хорошо знаете, премьер-министр стремится к тому, чтобы эти удары по Гитлеру были непрерывны.

Сталин рассмеялся:

— Да, но только с той разницей, что удары полегче он выбирает себе, а потруднее отдает нам.

Иден был строг — не очень хотелось обращать эту фразу в шутку:

— Война на море, господин маршал, это очень трудно.

Сталин перестал смеяться: сейчас Иден говорил не о Черчилле, сейчас он говорил о войнах моря — это был рассчитанный маневр.

— Да, вы правы,— согласился Сталин.— Люди мало говорят о морских операциях, но понимают, как они трудны.

Иден вернулся в посольство, чтобы тут же детально сообщить Черчиллю о состоявшейся беседе — у него была эта привычка, выработанная многолетней госу-

дарственной службой. Как ни жесток был стандарт этой службы в Соединенном королевстве, ценились детали, а следовательно, умение наблюдать.

Конференция заканчивалась, и англичане пригласили делегатов, а вместе с ними и русских дипломатов, участвовавших и не участвовавших в работе конференции, на Софийскую набережную. Все было как обычно в посольстве у англичан, даже в военное ненастье: крахмальный снег скатертей, матовое поблескивание столового серебра и тяжелой посуды, в меру старинной, предупредительное покряхтывание лакеев за спиной, действующих с точностью и безотказностью машин, и необильная пища; впрочем, ее необилие не имело никакого отношения к войне — так было и прежде.

Гостей принимал не столько посол Керр, сколько Иден — он хорошо вписывался в торжественно-чопорную обстановку на Софийской.

— Все хорошо, мистер Бардин, все хорошо, — произнес британский министр так, будто бы к этому выводу пришел только что. — Я сказал сегодня мистеру Молотову, что Великобритания согласна передать часть итальянского флота России, справедливую часть... — заметил он, удерживая в поле зрения характерную фигуру посла Керра, который, взглянув на входную дверь, оживился — среди гостей появился Молотов. — Не правда ли, у конференции хороший конец?

— Ну что ж, это весть добрая, — согласился Бардин, а сам подумал: не столько конец, сколько предпосылка, но уже не к Москве, а к Тегерану.

Эти несколько слов, произнесенных Иденом на Софийской, заслуживали того, чтобы их осмыслить до конца. Дело даже не в том, что после известного инцидента с конвоями Черчилль чувствовал неловкость, которую, очевидно, не устраняла до конца московская беседа Идена со Сталиным. Не только в этом дело. Предстоял разговор, которого не было с начала войны, разговор, от которого зависят такие ценности в судьбе Великобритании, по сравнению с которыми итальянский флот ничего не значил. Как ни полезна была встреча Идена со Сталиным, известная напряженность в отношениях между Черчиллем и Сталиным все еще имела место. По крайней мере, так казалось

британскому премьеру, а чутье не обманывало его и прежде. Поэтому необходим был жест, который эту неловкость снимал или, по крайней мере, умерял... Черчилль знал, что просьба русских, касающаяся итальянского флота, насущна — русские потери в военных кораблях не были восполнены. Последовала депеша Идену. Пospела она к закрытию занавеса в Москве и к открытию в Тегеране? По крайней мере, идя на это, Черчилль имел в виду такую цель. Оставалось установить: какие плоды это принесет в Тегеране.

В Лондоне ждали нового русского посла.

Перед отъездом из Москвы Бекетов видел Михайлова. Он уже успел побывать в Лондоне, упаковать библиотеку, что было в его сборах самым обременительным, отдать прощальные визиты премьеру, министру иностранных дел, коллегам по дипломатическому корпусу, парламентариям, друзьям по Обществу дружбы, писателям, художникам, актерам, с которыми свела судьба за годы многотрудного лондонского бытия. В этих сборах, которыми до предела были заполнены дни, сборах, странным образом перемежающихся с импровизированными приемами, на которых варьировалась во всех видах тема советско-британских контактов, как они сложились в эти годы, было и нечто необычное: встречи со знатоками Германии и германских проблем, экстренные выезды в Британский музей, разговоры с библиографами и библиофилами. Как ни велика была библиотека Михайлова, в ней неожиданно обнаружили пустоты: не хватало книг по послевоенной Германии, именно послевоенной. А нужда в этих книгах теперь была для Михайлова большая. Новое положение Михайлова, как его определил при встрече с ним нарком, касалось проблемы насущной: как Германия должна возместить Советской стране ущерб, который она нанесла ей в ходе этой войны. Представление об этом не составишь, если не изучишь прецеденты. На Кузнецком полагали, Михайлову и карты в руки — он историк. Ну, разумеется, поездка в Лондон вызвана не этими причинами, но почему для этого не использовать и поездку в Лондон?

Итак, в Лондоне ждали нового посла, а большое посольское колесо продолжало крутиться.

Бекетов позвонил Шошину:

— Можно к вам, Степан Степаныч?

— Если хотите меня узреть в таком виде, в каком не зрели никогда, прошу вас...

Бекетов улыбнулся: не часто столь игривое настроение овладевало Шошиным. Сергей Петрович открыл дверь шошинской обители и сделал невольное движение рукой, чтобы рассеять клубы дыма, заполнившие обитель, когда в углу, где сумерки были особенно непроницаемы, проступило нечто матово-золотое. Бекетов напряг зрение и чуть не вскрикнул от неожиданности: из тьмы победно выступил Шошин, одетый в парадный наркоминдельский костюм. На ярко-черном сукне парадного костюма, тугом, не успевшем обмяться и одновременно благородно-маслянистом и блестящем, лежало тяжелое золото. Ощутимо-рельефное в тиснении, заполненное тенью в углублениях, оно было хорошо на черном сукне. Золотом были расшиты погоны, золотой вензель лежал на обшлагах, высвечены лампасы. Будничное лицо Шошина, лицо хронически усталого человека, угнетенного ночными вахтами, которые начались у него в далекой юности и в силу метаморфоз времени не окончились с началом его дипломатической службы, будто осиял сейчас ореол. В самых смелых мечтах — да что там в мечтах? — в фантастических снах своих Степан Степанович не видел себя таким, как сейчас. Он выступил из своего темного угла, точно императорская шхуна, расцвеченная флагами, и поплыл мимо Бекетова, сановно-надменный и недоступный, и его улыбка, одновременно и покровительственная, и чуть-чуть спесивая, свидетельствовала: уж он себе цену знает.

А потом он плюхнулся в свое кресло с лежащей на сиденье подушечкой в истершемся вельветовом чехле и дал волю смеху.

— Ну, каково, Сергей Петрович, хорош ведь? — спросил он, переводя дух. — Вот говорят, на октябрьский прием надо явиться в таком виде, а?

— Если говорят, то надо, Степан Степанович.

— Но вы-то, вы... наденете это? — более чем ироническое «это» означало парадную форму.

— Придется, Степан Степанович, иного выхода нет,— согласился без энтузиазма Бекетов.

— Ну, я не такой... христосик, как вы, Сергей Петрович!.. Поднимаю бунт и зову всех идти за мной: долой!

— Простите, Степан Степанович, но тут есть... нечто анархическое или даже детское. Этот порядок не нами установлен...

— Не убедительно!.. Именно потому, что не нами установлен... долой! — Он снял форменный китель и повесил его на стул, дав понять, что готов приступить к делу немедленно.— Ну вот... Михайлов, когда вручал верительные грамоты британскому суверену, напрочь отказался надеть... эти панталоны с лентами и был прав! А знаете, как мотивировал? Не нами установлен порядок, а поэтому подчиняться не считаю нужным!

— Но в данном случае установлен нами, Степан Степанович.

— Нет, нет... не нами! Заболею, и все тут! Заболею! Ну поймите, это противно всей моей сути... Я не парадный человек. Да неужели вы не поняли меня до сих пор: не парадный!

— Не пойдете на октябрьский прием?

Шошин умолк, печально посмотрел на Бекетова:

— На октябрьский... не могу не пойти.

Бекетов встал.

— Простите, но вы пришли, чтобы взглянуть, как выгляжу я в этих... лампадах? — спросил Шошин без ехидства.

Бекетов испытал неловкость: «Да не ослепило ли и тебя, Сергей Петрович, золотое это шитье? Все пошло кругом...»

— Да, действительно, не за этим я пришел,— смешался Бекетов.— Вы Коллинза видели последнее время, Степан Степанович?

— Коллинза? — переспросил Шошин — озабоченность Бекетова передалась ему.— Последний раз... еще до вашего отъезда в Москву.

— Обиделся старик!.. Теперь я вижу: полез в бутылку Коллинз! Эта глупая история с издателем!.. Я убежден, что он не прав, но надо было с ним как-то половчее! Одним словом, вам надо поехать к Коллинзу,

и поговорить с ним по-доброму... Созвонитесь и айда — вы же понимаете, как это для нас важно!

Шошин растерялся — он стоял посреди комнаты, как-то неловко опершись на подлокотники, — золото его лампасов точно потускнело.

— Да, мне это понятно, — вымолвил Шошин, согласие далось ему не легко.

— А если понятно, сегодня же.

— Я готов.

— Вот и хорошо, — подхватил Бекетов, а сам подумал: «Все-таки необыкновенный человек Степан Степанович... Человек, конечно, странный, но по сути своей добрый, очень добрый». — Соберетесь, скажите...

Шошин возвратился около полуночи; Бекетов не пошел домой, решив дожидаться Степана Степановича.

— Замерз, как... пес бездомный, — вымолвил Шошин, появляясь на пороге бекетовского кабинета со стаканом чая, который он вымолил у дежурного по посольству — у того была чудо-плитка и можно было добыть чаю даже в столь позднее время. — Этот морозящий здешний дождь — нет от него спасения!

— Сыру хотите? — спросил Бекетов и пошел к шкафу. — Вот тут еще печенье есть, соленое...

— Согласен и на соленое! — обрадовался Шошин. — Ох этот здешний обычай обедать в семь вечера, а потом не есть до семи утра... не могу!

Бекетов положил перед собой чистый лист бумаги, нарезал сыру, выстроил стопку печенья, потом, ухватив бумагу за край, пододвинул.

— Спасибо! — Шошин взял печенье, положил на него ломтик сыру, откусил, не забыв запить чаем. — Считайте, что вы спасли меня в очередной раз от верной смерти!.. — Он умолок, задумался. — Так о чем это мы? Ах, да... Коллинз!.. Вы поняли, в чем суть проблемы?

— Очевидно, в характере Коллинза, — заметил Бекетов. — Он не привык уступать.

— Верно, не привык... но в данном случае ему было особенно трудно уступать. Знаете почему?

— Да?

— Издатель, о котором идет речь, товарищ Коллинз по университету, человек, в честность которого он привык верить... Коллинз вас понял так, что вы не

сказали ему истинной причины и как бы поставили под сомнение честность этого человека.

Бекетов обомлел: он предполагал, что дело с Коллинзом приняло серьезный оборот, но не думал, что такой серьезный.

— Почин исходил от этого издателя? — спросил Бекетов.

— Да, тот, как сказал Коллинз, никогда не обращался с просьбами, а тут обратился.

— Но ведь Коллинз должен понимать, что это дело не только не его, но и не мое, это дело общественное, и никто из нас не вправе сказать «да» или «нет»...

Шошин засмеялся — он поел, и настроение его заметно улучшилось.

— Он полагает, что тут мы не совсем похожи на них: у нас больше, как он думает, единоначалия, а следовательно, и хорошей ответственности...

— Одним словом, я чувствую, что нужна еще одна встреча с Коллинзом... — заметил Бекетов, он был обескуражен, он полагал, что Коллинз давно все понял...

— Встреча? Да, на этот раз ваша с ним, Сергей Петрович. Кстати, он обещал быть на октябрьском приеме.

Бекетов простился с Шошиным, но домой не пошел. Накинул пальто, пошагал во тьму посольского сада, за посольство. Истинно, этот посольский садик был тем местом, где человек обращался к нелегкой думе. Как в Японии: сад мысли, сад раздумий... В саду было сыро и по-осеннему светло. Те из деревьев, что не успели облететь, уже вспыхнули непрочным огнем осени. Он, этот огонь, опознавался даже в ночи. У Сергея Петровича не было сомнений, что в споре с Коллинзом он, Бекетов, был прав, но надо было пойти еще по одному, а возможно, и второму кругу, возобновить разговор и убедить. Необходимо было проявить больше терпения, чем проявил Бекетов. Надо, наконец, понять: то, что Бекетову очевидно, Коллинзу может быть и не так очевидно. Это, наверно, великое искусство — уметь перевоплотиться и в споре, да влезть в шкуру твоего оппонента и взглянуть на спор его глазами. Неверно думать, что, поступив так, ты изменишь своей сути. Нет, ты просто увидишь спор в новом свете и можешь обрести довод, которого еще не обрел. Он вошел в круг твоих друзей не потому, что его кто-то неволил,

Он солдат воли доброй. Волен войти, волен выйти. Его правда — это всего лишь производное от совести, как ее понимает он, и только он. В этом союзе, который незримо заключил ты, Сергей Бекетов, и этот подвижник от пастеровской сыворотки, смешной англичанин Коллинз, главное — его антифашизм. Пойми, что это драгоценно в нем. Как можешь, сбереги в нем это чувство.

Сергей Петрович обернулся: в окне столовой бекетовской квартиры — свет. Обычно Екатерина ждала Сергея Петровича там. Помнится, когда Бекетов спустился в сад, света не было. Значит, Екатерина проснулась и, обнаружив, что нет Сергея Петровича, зажгла свет. Бекетов пошел домой. Дома Екатерина полулежала на тахте с книгой в руках. Взяла она книгу, заслышав шаги Бекетова, или читала давно? Бекетов знал, она гасила волнение с помощью книги. Специально обрывала чтение на интересном месте и берегла это интересное место, чтобы вернуться к нему в минуту тревоги и преодолеть ее. Не иначе, она так поступила и сейчас.

— Ты был в саду? — спросила она, не отрывая глаз от книги.

— Откуда ты взяла? — Она уже заметила, что его могло повлечь в сад волнение, и он не хотел признаться в этом.

— Ты пришел, увидев свет?..

— Но ты ведь зажгла свет только что?

— Да, конечно.

— Тогда был в саду.

Она вздохнула.

— Что-то с тобой неладное — Коллинз?

«Господи, и как это она догадалась?»

— Проблема... книгоиздательского дома Смита?

— Да, разумеется.

— Вот тебе мой совет: пригласи Смита на октябрьский прием в посольство и погаси эту карту. Гарантирую, Смит будет польщен, да и Коллинзу... это будет по душе.

Бекетову стало не по себе: ведь Екатерина говорит дело. Даже неловко как-то признаваться в этом. Неловко, но никуда не денешься — надо признаться.

— Октябрьский прием... Вон еще сколько до него! Впрочем, я подумую. Я, пожалуй, подумую... — вымол-

вил он и не мог не упрекнуть себя: «Не очень ты уверен в себе, если тебя на похвалу настоящую не хватает».

Из Алжира шли тревожные вести: поединок де Голль — Жиро достиг своего апогея. Он принял форсированный характер с тех пор, как в конце мая в Алжир вылетел де Голль. Правда, первое время все, казалось, идет гладко: восторжествовал принцип паритетности, и новый орган, ставший некоей верховной властью Франции за рубежом, представлял и Жиро и де Голля. Паритет, паритетный, паритетность — эти слова стали необыкновенно модными в Лондоне и склонялись на все лады именно в связи с французскими делами. Утверждали, что хранителем паритетности является своеобразный комитет четырех, в котором каждая сторона представлена двумя делегатами. Но расчетливый де Голль по-своему спланировал этот комитет и эту паритетность. Те два делегата, которые должны были поддерживать Жиро, оказались если не скрытыми голлистами, то сочувствующими де Голлю, да это было и естественно — контуры победы союзников, которую для французов олицетворял де Голль, очерчивались все яснее. Но сам де Голль не переоценивал своих возможностей и методически наращивал силы, в частности в комитете, который был упомянут, — он ввел в него пятого участника, оказавшегося, разумеется, голлистом.

Бекетов не установил, какие стадии это соперничество прошло дальше, важна была тенденция: де Голль усиливал свое влияние и, улучив момент, пошел на соперника с открытым забралом, предложив ему пост инспектора. Это уже было для Жиро сигналом бедствия. И прежде первым признаком отставки было назначение в инспектора. Жиро восстал, но теперь на него пошли его же сторонники, склоняя к уступке, и генерал перестал понимать, что происходит.

Все как будто бы пришло к своему логическому концу, но вмешались американцы. С де Голлем встретился Эйзенхауэр и сказал, что Жиро должен остаться. Чтобы это заявление не прозвучало голословно, американцы пригласили Жиро в Вашингтон, оказав ему прием почти царский. Американцы полагали, что они

спасли Жиро. На самом деле они привели его к поражению. Те двадцать три дня, которые Жиро пробыл в Штатах, де Голль работал с утроенной энергией, реорганизовав аппарат управления и поставив на командные посты своих сторонников. В сущности, в эти двадцать три дня свершилась голлистская революция. И вот итог: празднование Национального дня республики, празднование в этот год особо торжественное, потому и было таким широким и пышным, что совпало с осуществленным переворотом.

А как дальше? Об этом должен был рассказать Грабин, уже месяц просидевший в Алжире.

Он позвонил в конце недели.

— Сергей Петрович, говорят, вы заметили мое исчезновение и захотели меня видеть? Это что же, деловая необходимость или веление души?

— Ну, разумеется, веление души, хотя деловая необходимость и не исключена.

— Если так, предлагаю такой план: под Лондоном лес необыкновенный... После африканских красот он мне прописан, тем более при желании можно себе внушить, что ты не под Лондоном, а где-нибудь на Вори или Уче... Я был как-то близ Лондона в обществе Михайлова и Шошина... Как вы?

— Я готов, но октябрь не лучшее время для такой прогулки.

— Осенний лес — прелесть, да к тому же день какой!..

Они поставили машину у грунтовой дороги, которая сворачивала в просеку, и вошли в лес. День действительно был хорош. И тишина, нарушаемая шумом ветра в ветвях да похрустыванием валежника, и прохлада, и щедрый в этой прохладе запах прели и хвои, и истинное половодье нескошенной травы в низинах, вопреки октябрю зеленой, и обилие рябины, которая горела так, точно напилась солнца с утра, чтобы отдать его в сумерках, были трижды прекрасны и желанны русскому человеку, для которого и на чужбине нет земли без леса.

— Вы заметили: тех, кто живет у моря, как и степняков, не очень влечет к лесу, а? — спросил Бекетов, когда они отошли от дороги.

— Вы хотите сказать, что англичане не любят леса? — спросил Грабин, у него была способность как бы

повернуть слово собеседника и рассмотреть его с неожиданной стороны.

— Нет, не хочу, но мог бы,— ответил Сергей Петрович.

— А что есть Лондон, если не лес? — рассмеялся Грабин — вот он, неожиданный поворот! — К тому лесу да еще этот — не много ли?.. — Он задумался, эта реплика нужна ему была для разбега. — Наверное, человек может себя приучить и к лесу, и к морю, и к степи, нельзя приучить себя к чужбине... По мне, человек, свыкшийся с чужбиной, уже не человек... — он обернулся к Бекетову, будто желая установить, как тот принял его последние слова. — Могу не принять в де Голле многого, но его страсть, почти фанатическую, вернуться во Францию... Что есть его дело без этой страсти?

— Вы видели де Голля в этот раз? — спросил Сергей Петрович — его собеседник чувствовал интерес Бекетова и как бы шел навстречу Сергею Петровичу.

— Да, и не потому, что я работник посольства, а потому, что я русский...

— В его глазах сегодня это привилегия?

— Больше, чем когда-либо прежде,— подтвердил Грабин. — Наша формула признания не просто произвела впечатление на французов, она показала им, кто есть кто...

То, что Грабин назвал «формулой признания», сделавшей чудеса, действительно с некоторого времени было притчей во языцех, и не только в кругу французов. Речь шла о признании французского комитета национального освобождения. Его признало двадцать шесть стран, но каждая вложила в формулу признания свой смысл. Быть может, потому, что к этому времени комитет возглавлялся единолично де Голлем и прямо с ним отождествлялся, в формуле как бы отразились оттенки отношения к генералу и его делу. Американцы видели в лице деголлевского комитета всего лишь орган, управляющий теми заморскими территориями Франции, которые признают его власть. Великобритания оказалась немногим щедрее, сочтя, что имеет дело с «органом, способным обеспечить руководство французскими усилиями в войне». Советская формула шла много дальше, воздав должное тому большому и прогрессивному, что делал комитет как руководитель.

борьбы за французскую свободу. Советская страна полагала, что имеет дело с представителем «государственных интересов Французской республики» и единственным «руководителем всех французских патриотов». Не надо быть очень искушенным в премудростях дипломатии, чтобы понять, сколь разным было отношение союзников к де Голлю и его комитету.

— Он вас принял на вилле «Оливия», куда он переезжает, кажется, и свою семью? — спросил Сергей Петрович.

— Да, в той части виллы, где у него происходят деловые встречи, когда есть необходимость проводить их на вилле...

— Как понять «есть необходимость»? Когда он болен?

— Да, именно когда болен, и при этом... дипломатически... Но в данном случае ему действительно нездоровилось, но об этом знал только он. О болезни не было сказано ни слова, да и весь его вид болезни не обнаруживал. Правда, один раз, взглянув на часы, он прошел в соседнюю комнату и тут же ее покинул, — время принимать лекарство, и он его принял... Ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что разговор происходит дома: возможно, семья и была рядом, но такое впечатление, что из одной половины дома нельзя попасть в другую. И в одежде, и в манере держать себя у де Голля была эта тщательность, именно тщательность, а не чопорность, потому что было радушие, как мне кажется, сердечное. Он сказал, что третьего дня проводил в Москву своего давнего друга генерала Пети, который возглавляет у нас французскую военную миссию. При этих словах он пригласил своего адъютанта и просил его дать копию письма Сталину, которое Пети повез в Москву. Когда адъютант принес письмо, он прочел его сам, возможно, полностью, а возможно, опуская какие-то пассажи. Письмо не выглядело официальным, наоборот, в нем была искренность. Я заметил, что письмо прямо обращало внимание Сталина на события, происходившие в Алжире в последние недели, особо подчеркивая, что они служат объединению французов.

— Как показывает грешная практика, письмо не может существовать само по себе, — заметил Сергей Петрович, он полагал, что даже патетичные французы

умеют состнести пафос своих посланий с делами земными.— Не явилось ли это письмо своеобразным ледоколом, который проложил путь каравану конкретных дел?..

— Письмо-ледокол? Да, возможно...— заметил Грабин.— Генерал сказал, что он дал указание Пети просить Сталина установить прямую авиалинию Алжир—Москва... и, если советская сторона имеет такую возможность, передать комитету оборудование тридцати радиостанций... Как ни непроницаемо было лицо де Голля, последнюю фразу он произнес заметно смущаясь. Я объяснил это смущение так: и первая его просьба, и вторая, как полагает де Голль, призваны сделать отношения с Россией еще более близкими. Больше того, выключить русские дела французов из общей сферы деятельности трех великих и не очень посвящать англо-американцев в эти дела...

Однако деятельный Грабин недаром привел Сергея Петровича в этот лес — то, что он только что сообщил, было действительно заповедно.

— Вы полагаете, что конфликт с англосаксами у де Голля столь серьезен, что он готов пренебречь классовой солидарностью? — спросил Бекетов; где-то здесь было солнечное сплетение проблемы.

— Классовой солидарностью?

— И не только... Не является ли этот конфликт единоборством амбиций, в своем роде дуэлью французского аристократизма, по своей сути монархического, и американского консерватизма, которому нет дела до французских нравов, как бы эти нравы не были древни?

— Дуэль амбиций?..— казалось, вопрос Сергея Петровича озадачил Грабина.— Очень похоже, когда речь идет о де Голле!.. Да, как ни рационален и целеустремлен он, его самолюбие иногда принимает размеры грандиозные, но дело не только в этом...

— Тогда в чем?..

Лес поредел, проглянул берег реки, неширокой, туго вьющейся в зарослях подлеска и кустарника, теряющего листву.

— Видно, все дело в проблеме Тихого океана и Средиземноморья,— заметил Грабин, медленно шагая вдоль речки. Бекетов задал трудный вопрос, и внимание Аристарха Николаевича ничто не могло отвлечь.—

Этой проблемы не решишь без французов, и трудный де Голль плохой партнер. Короче, с ним американцам каши не сварить, как, впрочем, и французам...

— Значит ли это, что русская каша и в этот раз будет самой вкусной? — спросил Сергей Петрович, он полагал, что тропа, идущая вдоль речки, привела их разговор к самому главному.

— Нет, отнюдь... — отозвался Грабин и встал над рекой, обратив внимание, как четко было его отражение в воде; казалось, только сейчас он и увидел реку. — Генерал был искренен, когда говорил, что Франции нужна сильная Россия, но вот вопрос: какой Франции?.. — Грабин вдруг всплеснул руками и рассмеялся: — Вот ведь... оригинальный человек!..

— В каком смысле «оригинальный»? — улыбнулся и Сергей Петрович.

— Он своеобразен уже тем, что больше всего в жизни боится... Кого бы вы думали? Американцев и коммунистов!..

Река ушла в сторону — вильнула блестящим хвостом и отпрыгнула, зарывшись в зелень, — тропа вновь устремилась в лес.

— Не знаю, как насчет американцев, а все, что касается его отношений с коммунистами, серьезно... — заметил Сергей Петрович. Он был рад, что они добрались до этой проблемы. — Взгляните на послания де Голля, которые идут сегодня из Алжира. Одна мысль там постоянна: он хочет всего лишь восстановления традиционных институтов Франции... Иначе говоря, никаких социальных перемен! Коммунисты, например, не считают эти институты столь совершенными, какими их считает де Голль, — вот где камень преткновения!..

— Но так ли необходимо де Голлю считаться с коммунистами? — подал голос Сергей Петрович; в лесу стало светлее, они вышли на просеку. — Явно ли, тайно ли, но в Лондоне его комитет избежал братания с коммунистами...

— Избежал, да не совсем, — откликнулся Грабин. — Именно из Лондона он обратился к своим сподвижникам во Франции с требованием связать его с коммунистами...

— Вы имеете в виду приезд Фернана Гренье в Лондон? — поинтересовался Бекетов, весть об этом, глужая, в свое время не минула и Сергея Петровича.

— Да, я говорю об этом,— заметил Грабин и пошел тише, трава, устлавшая лесную дорожку, скрадывала его шаги.— Ну, хроника событий, так сказать, сейчас уже известна. Полковник Рэми, посланец де Голля, предлагает коммунистам направить своего представителя в Лондон. Коммунисты отвечают согласием и уполномочивают Гренье. С этого момента Рэми и Гренье действуют вместе и как бы отдают себя во власть особой службы, которая переправляет их на британский берег.

— Де Голль принял Гренье?

— Да, конечно... Беседа прошла, как принято говорить в этом случае, в духе взаимопонимания, если бы не один момент...

— Какой, простите?

— Все тот же... Гренье сказал, как говорил до него и сам де Голль неоднократно: «Наше дело — освободить Францию, а там народ французский решит, кто и как ею будет управлять». Обычная фраза, но произнесенная коммунистом, она встревожила генерала, «Значит, на ваш взгляд, Франция будет коммунистической?» — спросил генерал. «Взгляните на списки расстрелянных французов,— был ответ Гренье.— Там рядом с именем расстрелянного часто стоит «коммунист»...»

— Гренье убедил генерала?

— Гренье сказал то, что каждый сказал бы на его месте, но реакция была неожиданной...

— Какой?

— Гренье нагнал страху на де Голля, и, так кажется мне, от этого страха генерал не освободился до сих пор... Вот так-то: с одной стороны американцы, с другой — коммунисты. Воистину между молотом и наковальней.

— Коммунисты в правительстве де Голля? Это реально, Аристарх Николаевич?

— Поживем — увидим.

— Но вот вопрос: каково должно быть наше отношение к генералу? — замедлил шаг Сергей Петрович.— Можно увидеть в нем антикоммуниста и едва ли не уравнивать с Черчиллем. А можно рассмотреть в нем сторонника нашего союза, кстати сторонника убежденного, и сделать много доброго для Советской страны и для Франции, а это значит, кстати...

— И для французских коммунистов? — мгновенно реагировал Грабин.

— Я хотел сказать: и для французов... Впрочем, готов принять и вашу формулу: в конце концов, что есть французские коммунисты, если не французы?

Они шагали по просеке. За лесом садилось солнце, и негасим был огонь рябин. Бекетов подошел к деревцу, взял рябинину на ладонь, такую же, как под Москвой. И Сергею Петровичу почудилось в этом факте нечто значительное: если эта лесная ягода так похожа на ягоду русского леса, и эта сосна, и эта лиственница, и этот орешник с этой елью, то какой нерасторжимой должна быть наша планета, а следовательно, судьба всего сущего?..

70

Михайлов выехал в Москву и тут же вернулся. Он и прежде любил зайти к Бекетову, чтобы накоротке обменяться мнениями по текущим делам, а подчас переносил сюда и разговор с коллегами по посольству. Бекетов не умел объяснить, но в этом михайловском обычае был знак добрый. Сегодня же было иное: самую церемонию прощания Михайлов решил перенести в кабинет Бекетова.

— Благодарю вас, Сергей Петрович, за все хорошее, — протянул Михайлов руку Бекетову, заметно волнуясь. — Если что не так, не поминайте лихом.

Бекетов встал, волнение Михайлова передалось и ему.

— Ну что тут сказать, конечно же все в этом мире находится в движении, тем более в такое гремящее время. Если сам не сдвинешься с места, время тебя сдвинет. И все-таки, как ни динамично время, наше сознание плохо свыкается с этим... Ни пуха вам, Николай Николаевич, на новом посту!

— Да, да, именно «ни пуха», — засмеялся Михайлов. Он искал повода придать самой церемонии расставания чуть-чуть ироническое звучание. — Когда вы видели последний раз Шоу? — тут же осведомился он. Его желание перевести разговор на другую тему было понятно — формальность исполнена, чуть-чуть печальная формальность, и решительно нет смысла задерживаться на ней.

Бекетов задумался. Когда в последний раз он видел Шоу? А не весной ли это было, в марте или в апреле, где-то на Бэйз-уотер. Был облачный день с мягким и теплым дождем, таким мягким, что он даже не ощущался, этот дождь. Небо было облачным, и деревья стояли без теней и бликов. Мгла, что заполнила парк, точно опара всходила и расступалась. И то, что из этой мглы рождались деревья, крупноствольные, с могучими кронами, было похоже на диво: какой должна была быть эта мгла, чтобы удержать такое дерево, не дерево — многоярусное строение.

Шоу совершал свою дежурную прогулку вокруг Гайд-парка. Эта дежурность была в самом его шаге, размеренном. В пальто из тонкого сукна, в котелке и кожаных калошах, с зонтиком, украшенным костяной ручкой, он был непобедимо старомоден и точно явился в нынешний день прямой дорогой из пятидесятих годов прошлого века. Вид Шоу был необычен даже для Лондона. Сергей Петрович в такой мере не скрыл своего удивления, что Шоу заметно смешался.

— Скажите правду, ради бога, сейчас вы подумали так: есть такая категория престарелых, о которых ты не можешь сказать точно, живы они еще или уже отошли в мир иной,— заметил Шоу смеясь и раскрыл зонт — пошел дождь.— Не правда ли, именно так вы подумали обо мне? Подумали, досадуя: ну чего тебе задерживаться, добрых людей смущать? Ну поторапливайся, поторапливайся!

Он вновь засмеялся, в этот раз почти беззвучно, только зонт легонько подпрыгивал. Казалось, Шоу уже перестал смеяться, а зонт все еще был в движении, не без труда Шоу остановил его.

— Я вам скажу нечто такое, чего вы никогда не слышали,— произнес он, заметно оживившись: появление Бекетова определенно прибавило ему силы.— Вы сильны в арифметике? Нет, нет, серьезно, сильны? Вот прикиньте, с той поры, что мы называем условно Рождеством Христовым, прошло почти две тысячи лет. Даже с точки зрения исторической перспективы — срок необъятный. Теперь разделите две тысячи на число лет, прожитых одним человеком, ну хотя бы таким, как я. Какую цифру вы получите? Всего двадцать, всего. Значит, эту огромность в два тысячелетия могут охватить всего двадцать человек. Таким об-

разом, все эти разговоры о скоротечности человеческой жизни — чепуха, блеф. В самом деле, жизнь человека огромна и способна вместить немалые дела, если только ее не истратить на мелочи... Мелочи — это страшно. Они способны обратить в ничто вселенную...

Они шли вдоль ограды Бэйз-уотер, по левую руку от них был Гайд-парк. Мглистое облако сместилось в город, и дома вдруг превратились в силуэты. Их точно опустили в воду, вначале сиреневую, потом — темно-лиловую, потом — бледно-синюю. Видно, прогулка, которую заказал себе сегодня Шоу, была на исходе. Почтенный собеседник Сергея Петровича заметно устал. Это сказывалось даже не в походке Шоу, а в том, что время от времени его как бы поводило, и он опасно приближался к кромке тротуара. В такую минуту он точно входил в пределы мглистого облака и, подобно домам по ту сторону дороги, превращался из Шоу в силуэт Шоу.

— Я хотел бы еще сегодня вечером выехать из Лондона. — Он извлек часы и, отстранив, долго и пристально рассматривал их, в этом взгляде была даже недоверчивость. — Шарлотта, — пояснил он, будто имя ее прочитал на циферблате.

— Госпоже Шоу... лучше? — спросил Сергей Петрович и тут же подосадовал на себя — вопрос прозвучал грубо-дежурно. Жена Шоу была больна, по слухам, которые ходили в Лондоне, тяжело.

— Ну что вам сказать, — Шоу осторожно бросило в противоположную сторону тротуара. — В жизни она только и делала, что спасала меня. Нет, белокровие я победил сам, но вот анемию, высокую температуру, которая хронически посещала меня, и переутомление, которое также было моим недугом, я одолел с помощью Шарлотты. Одним словом, она меня спасла, а вот я не мог и не могу ее спасти... Чтобы не обнаруживать моей беспомощности, она выдумала историю о том, что некогда упала с лошади и теперь должна расплачиваться за это. Что тут можно сказать? Была одна лошадь, с которой она действительно упала, и эта лошадь сейчас стоит перед вами...

Волнение обьяло его. Нет, не то что у него вдруг прорвалась обычная стариковская слезливость: он хорошо знал себя и был защищен от нее прежде всего иронией. Она, эта ирония, держала в узде его нервы.

— В природе есть один седок, которого бы следовало уронить, была бы на то моя воля,— произнес Шоу и остановился. Он точно хотел дать понять, в какой мере эта фраза ответственна.

— Какой седок? — спросил Бекетов.

— Есть один седок,— повторил Шоу,— и этот седок Британская империя. Вот кого бы я хотел уронить с лошади.

Бекетов засмеялся. У него не было иного выхода, как обратить эти слова в шутку.

— Кто же вам мешает сделать это?

— Конечно, у ирландцев тут свои интересы, но то, что я скажу, продиктовано не только благом Ирландии и ирландцев. Короче, у меня здесь есть свой план, и я не делал из этого тайны.

— Какой план? — спросил Бекетов.

— Англия выходит из Содружества наций, и одно это делает империю несуществующей. Не правда ли, пристойно вполне, а уж как благородно.

Ограда кончилась, Шоу поклонился и вошел в парк. Мгла встала над парком, на этот раз грозно-синяя, в серых отсветах. Она точно клубилась, подминая под себя и заглатывая деревья. Это было похоже на чудо, столетние дубы и клены точно проваливались в ее утробу, казавшуюся бездонной. Не было слышно треска ветвей, ударов мощных стволов о мокрую землю. Деревья исчезали в тишине. Но Шоу был точно неподвластен этой мгле. Он был виден все время, пока шел обочиной дороги, а когда исчез, исчез сам, по своей воле...

...Михайлов не прерывал Бекетова, ему был интересен рассказ Сергея Петровича о встрече с Шоу.

— Да, так и сказал: «...а уж как благородно»,— повторил Сергей Петрович.— Вы полагаете, очередной парадокс в стиле Шоу? — спросил Сергей Петрович Михайлова и обратил взгляд на собеседника — тот улыбался.

— Он принадлежит здесь к тем, с кем не соглашаются, но кого слушают. Но для нас Шоу — сфера особого интереса.

— Какого? — спросил Бекетов, хотя мог этого и не спрашивать. Он догадывался, куда ведет Михайлов свою мысль.

— Еще с той далекой поры, когда он послал свою

новую пьесу Ленину и в дарственной надписи назвал Владимира Ильича единственным среди государственных деятелей Европы, кто обладает дарованием, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту,— еще с той далекой поры Шоу наш друг...

Михайлов молчал, он сказал все, или почти все. Тут было над чем задуматься и Михайлову и Бекетову.

— А в этих словах Шоу есть свой смысл, для нас дорогой,— откликнулся Сергей Петрович,— только подумайте: «...единственным среди государственных деятелей Европы...» Значит, у них не было такого человека, а у нас он был... и это заметил Шоу. Одно слово — друг.

— Нет, он, как всегда, непобедимо бодр и остроумен, а вот она... В ожидании гостя она провела все утро у туалетного столика и была одета тщательно, но тем очевиднее была ее беспомощность. Она точно уронила голову на грудь и уже не могла ее поднять, что-то с нервной системой, что-то такое, что, страшно сказать, невосполнимо. Но то, что она вот так оделась и вышла,— в этом было мужество. Кстати, это понял и Шоу и, так мне кажется, оценил, при этом и в словах, обращенных ко мне. «Мы считали своим долгом разорвать плену лжи,— сказал он, имея в виду ложь, которой одарила Великобритания русскую революцию.— Мы только жалеем, что не могли сделать большего»,— заключил он. В обоих случаях он сказал: «мы», имея в виду и жену.

71

При встрече с Бекетовым Коллинз сказал, что на днях он видел Шоу и тот, как бы между прочим, предупредил его: «Если ваш русский друг еще намерен меня видеть, он это должен сделать немедленно, иначе наша следующая встреча произойдет уже по ту сторону рсковой черты». Предупреждение Шоу показалось Сергею Петровичу серьезным, и он поехал в Эйот Сен-Лоренс.

Двухэтажный каменный дом Шоу с круто покатою крышей и тремя массивными трубами Бекетов увидел издали. Дом показался Бекетову богатым, богаче, чем когда он переступил порог кирпичной обители Шоу. Впрочем, переступить порог было не так-то просто.

Сергея Петровича встретила женщина в фартуке, сшитом из грубого холста, почти мешковины, закрывающем фигуру женщины едва ли не от ступней до подбородка.

— Вы кто будете, простите? — спросила женщина и, приподняв край фартука, вытерла им влажные руки. — Вы кто? — повторила женщина, продолжая вытирать руки. Мешковина не впитывала влаги, руки оставались мокрыми.

Бекетову надо было ответить так, чтобы не вызвать гнева женщины. Кто-то ему рассказывал, что некий газетчик, оказавшись в таком же положении, как Бекетов сейчас, получил от миссис Лейден едва ли не пинок — по всему, перед ним была сейчас именно миссис Лейден.

«Ну, если уж на то пошло, — сказал ей газетчик, — я предпочел бы, чтобы меня выставил сам мистер Шоу». Но миссис Лейден не растерялась: «Именно за это мистер Шоу и платит мне, чтобы я не пускала вас к нему».

Очевидно, Сергей Петрович должен был сказать миссис Лейден нечто такое, чтобы не оказаться в положении бедного газетчика.

— Моя фамилия Бекетов. Я русский, — сказал Сергей Петрович, и стена в виде миссис Лейден, только что такая неприступная, мигом обратилась в руины — Бекетов вошел в дом. Да, этот дом не был богатым. Больше того, он хранил следы той поры, когда Шоу впервые вошел сюда вместе со своей супругой. Кстати, когда это могло быть? Шоу прожил здесь лет сорок. Значит, это было в самом начале века. Ну что ж, теперь легче разобраться в том, что окружало в этом доме Шоу. Вот этот круглый стол, чуть рассохшийся, — начало века, кресло с плетеной спинкой, почти дачное, — тоже той поры, комод многоярусный, покрытый кружевной скатертью, обилие фотографий, которые глядят на вас отовсюду, — все характерно для тех лет. Оказывается, за толстыми стенами этого дома, увенчанного массивными трубами, трубами, которым только колес недостает, чтобы походить на пушки, — оказывается, за стенами этого дома живет человек, который привык обходиться настолько малым, что это не похоже даже на него. Какой смысл был выстав-
лять у ворот столь строгую охрану?

Вошел Шоу. Искося посмотрел на Бекетова так, что вместе с его левой бровью точно приподнялся глаз. Да, он продолжал смотреть на Бекетова с хмурым пристальностью, и поднятая бровь все еще удерживала левый глаз выше правого. Сергей Петрович испытал неловкость, он даже подумал, что вот этот взгляд, неодолимо пристальный, даже в чем-то бесцеремонно-испытующий, наверное, давал возможность Шоу сказать о человеке нечто такое, чего не замечали другие и что, надо отдать должное Шоу, было близко к истине.

Но фраза, которая за этим последовала, ничего не значила, или почти ничего не значила:

— Моя деревня и я приветствую вас, мистер Бекетов.

Он обернулся к молодой женщине, которая вошла, держа аккуратно сложенный коврик — она готовилась постлать его у кровати Шоу.

— Мэгги, мы пойдем в сад и вернемся минут через сорок, — сказал Шоу — смысл этих слов понимала только женщина.

Они спустились в сад. Осень была в этом году необычно сухой и теплой, хотя листья давно уже облетели. Они лежали сухим и легким ковром.

Человек с деревянной лопатой, которой сгребал опавшие листья, увидев Бекетова, снял кепку.

— Надо бы помочь Хиксу, — сказал Шоу и указал взглядом на человека с деревянной лопатой. — Надо помочь Хиксу, да куда уж мне! Впрочем, прошлой зимой я еще сгребал снег, а в начале лета распилил гору дров, — он указал в дальний конец дорожки, где стояли козлы, больше обычного рогатые, с виду крепкие, очевидно сколоченные в свое время Шоу и приспособленные для пилки дров разной длины: и тех, что шли в камин, и тех, что сгорали в кухонной плите.

Он вдруг остановился у садовой скамейки, стоящей под деревом с многоветвистой кроной.

— Когда я, бывало, пилил дрова, Шарлотта сидела здесь, — остановился он опершись на палку. — Все участие в моей жизни она понимала именно так — я пилю, она охраняет меня, — его смех был всемогущим, он помогал ему совладать с горем.

Он взял вдруг свою палку подмышку и пошел едва

ли не приплясывая. Ирония придавала ему силы, в палке не было необходимости.

— Тайна счастливого супружества заключается в том,— произнес он почти весело,— чтобы супруги встретились вовремя и расстались тоже вовремя. Если говорить о нас с Шарлоттой, то наше расставание несколько задерживалось.

Очевидно, он часто говорил на эту тему в последнее время и уже не ощущал, в какой мере эта тема деликатна, по крайней мере в разговоре с таким собеседником, как Бекетов.

— Природа жестока. Она превращает человеческие отношения бог знает во что, при этом разрыв сердца не самое худшее...— Он задумался.— Последнее время она хотела, чтобы я приходил к ее постели и рассказывал, хотя она уже ничего не слышала. Я говорил так громко, что меня было слышно повсюду: и в доме, и в саду. Но она была глуха, как камень. «Ты специально перешел на шепот, чтобы я ничего не поняла»,— жаловалась она. А этим летом к ее недугам прибавился новый недуг. Ей все казалось, что в ее спальне прячутся чужие люди, и она просила их прогнать. Вот что интересно: в самый канун смерти она вдруг помолодела...— Нет, у него определенно была потребность закончить свой рассказ так, как он отложился у него в памяти, независимо от того, увлекало это его собеседника или нет.— В этом есть нечто символическое — взяла и стала молодой и оставалась молодой еще день после смерти. Потом вдруг постарела и вернулась к своим восьмидесяти четырем годам. Нет, согласитесь, природа жестока — такое проделать с человеком.

Он вдруг обернулся и посмотрел на Хикса.

— Вы только взгляните, с какой зоркостью он наблюдает за нами! А знаете, это все ее гвардия! И миссис Лейден, и Мэгги, и Хикс — ее гвардия. Вы только обратите внимание, какие они все большие — гвардия. Они стояли на часах круглосуточно, чтобы никто, не дай бог, не явился ко мне вопреки их воле. А я сидел вот в этом курятнике и стучал на машинке...

Бекетов не без труда сообразил, что перед ними был тот самый знаменитый садовый павильон, в котором, по слухам, Шоу написал многие из своих вещей. Но Шоу был более точен в своем определении

того, что официально именовалось садовым павильоном. Это действительно был курятник:— три шага в длину, два в ширину...

Казалось, этот массивный дом и охрана, которая была выставлена на незримых дозорных башнях, необходимы были для того, чтобы человек сберег столько тишины, сколько ее могло поместиться в курятнике. Но произошло нечто непредвиденное: несмотря на кончину миссис Шоу, охрана, закованная в латы из мешковины, существовала и несла свой дозор, как прежде. Впрочем, был жив мистер Шоу, при этом нередко навещался в садовый павильон и даже пробовал стучать на машинке. Но это было всего лишь инерцией; содержание было иным, если быть точным — содержания не было. Даже то немногое, что удавалось написать Шоу, не шло ни в какое сравнение с тем, что он делал прежде, — истинно, содержания не было.

— Вы не спрашивали себя, — вдруг обратился Шоу к Бекетову, — почему есть театр Шекспира и нет театра Шоу? Несправедливо, не правда ли?

— Разумеется, несправедливо, — посочувствовал Сергей Петрович.

Шоу привел Сергея Петровича к своему нехитрому обиталищу, размеры и обстановка которого были прямо пропорциональны тому, что здесь делал в свое время Шоу, и сказал без ложной скромности, что, очевидно, было свойственно ему и прежде: «Есть театр Шекспира, почему не должно быть театра Шоу?». Вас шокирует, что он поставил свое брэнное имя рядом с бессмертным именем Шекспира: ну что ж, пусть это вас шокирует — он это считает естественным. Впрочем, у вас еще будет время признать его правоту и в этом, если не сегодня, то завтра.

Вот он стоит сейчас перед своим курятником и точно призывает вас постичь смысла того, что значит для него это прибежище. Если человек обходится такой скромной обителью, то все достоинства в нем, только в нем... Как все у Шоу, в этом его утверждении есть нечто такое, что похоже на попытку разрушить в вашем сознании привычное, а следовательно, косное. Но если вдуматься в смысл этой его еретической фразы о Шекспире, то так ли она несправедлива? Бедный Шоу, его все еще волнует, может ли он встать вровень с Шекспиром!

Что же касается Бекетова, то его интересует иное. Коли есть мир Шоу, то сейчас Сергей Петрович попробует проникнуть в него с такой стороны, с какой в него проникали не часто.

Михайлов в прошлый раз вспомнил дарственную надпись на пьесе, которую старый ирландец послал Ленину. Где-то здесь существо вопроса. В самом деле, крупный европейский писатель, чье полное собрание сочинений задолго до войны вышло во многих странах мира, при этом дважды в России приветствует вождя новой России словами, которые звучат вызовом всем сильным мира сего, и не в последнюю очередь всем сильным Великобритании. В ряду тех государств, которые атаковали Республику Советов, ей принадлежало едва ли не ведущее положение. Наверное, у старого ирландца были и опрометчивые шаги в жизни — сделал такой шаг, а потом отказался. А Шоу был тверд, настолько основателен и гверд, что создавалось впечатление — тут есть своя история, давняя, в которую и биографы Шоу проникали не часто, хотя что может быть интереснее и значительнее этого в жизни старого писателя и проповедника.

— Вы стали писателем уже после того, как обрели иное призвание? — спросил Бекетов.

Вопрос был чуть-чуть витиеватым, он отстоял на порядочном расстоянии от того, что действительно интересовало Сергея Петровича, но надо же было начинать с чего-то.

— Призвание? Чепуха! Просто меня знали как уличного оратора-задиру, который мог пересилить самого опытного говорильщика. Пересилить — значит переговорить. На манчестерском мосту я говорил четыре часа, а на Спикинг-корнер в Гайд-парке увлек своей речью добрый взвод полицейских. Нет, я не шучу, действительно увлек и заставил слушать, хотя звал к революции и восстанию.

— Это что же, под влиянием английских учеников Маркса? — спросил Бекетов.

— Ну, тогда все считали себя учениками Маркса. У нас говорят — «нет более глубокого дна, чем дублинские трущобы». Я начинал как сборщик квартирной платы в этих самых трущобах. Ну, разумеется, я читал Маркса, но кроме того я видел еще дублинские трущобы...

— Дублинские трущобы — это и есть Ирландия? — спросил Сергей Петрович. Ему казалось, что у него уже не будет возможности подойти так близко к главному.

Шоу потянуло к садовой скамье, что стояла в стороне. Они сидели сейчас рядом, и Шоу молча гладил набалдашник своей палки. Странное дело, но эта палка — вроде третьей руки. Наверное, у него было ощущение неловкости, когда он оставался без палки.

— Вы слышали что-нибудь о восстании объединенных ирландцев, а потом о мятеже фениев и еще о дублинской кровавой пасхе? Вот это и есть Ирландия.

Он смотрел на Бекетова. Вновь, как в начале разговора, поднялась его бровь и вслед за нею точно сместился глаз.

— Я — ирландец, и у меня нет желания выдавать себя за британского патриота. Я не был ни скептиком, ни циником, просто я понимал жизнь как средний respectable гражданин, да к тому же я ненавижу резню и насилие. Вы говорите: Ирландия, ну что ж, вот это и есть Ирландия и, если хотите, — ирландец.

Вероятно, у него было ощущение, что он сказал все, или почти все, что хотел. Он встал и, дождавшись, когда Бекетов сделает то же самое, медленно пошел к дому. Видно, урочные сорок минут минули, и в доме уже был накрыт чайный стол. К тому же эта его способность твердо удерживать логику доводов в сознании повлекла его к дому. Его намерение закончить разговор так, как хотел этот разговор закончить он, требовало, чтобы он вошел в дом.

— Заметьте, — вдруг обернулся он к Бекетову; нет, вопреки возрасту и всем невзгодам, он не утратил способности удерживать в памяти суть разговора и развивать его, этот разговор, неодолимо развивать его, как того требовал его расчет, достаточно точный, — заметьте, в шестнадцатом году британские танки сражались с рабочими в Дублине, в двадцатом году — в России, тоже с рабочими.

— Вы сказали: в двадцатом? — спросил Бекетов — настало время задать ирландцу последний вопрос. Разумеется, иного случая не будет, чтобы вот так прямо и откровенно спросить об этом Шоу. — Вы сказали: в двадцатом? Черчилль?

Они успели войти в дом. Шоу стоял сейчас на лестнице маршем выше Бекетова и явно медлил с ответом. Можно сказать, никогда прежде ответу Шоу не предшествовала такая пауза, как теперь.

— Я сказал: как человек я ненавижу насилие,— наконец произнес он, этот ответ определенно стоил ему труда.

С силой опершись рукой о перила, он двинулся по лестнице дальше, желая показать, что ответил на то, о чем спрашивал Бекетов.

Стол был накрыт с изысканной простотой, видимо принятой в доме старого ирландца. Сливочное масло, как позже убедился Сергей Петрович чуть-чуть присоленное, желтые пластины сыра ветчина, чья свежесть была в самом цвете, чай, настолько крепко заваренный, густо-коричневый, что с этой крепостью и коричневатостью не могло совладать даже молоко, хотя оно было не снятым. Но Шоу усидел за столом недолго — он прошел в комнату рядом и вернулся с книгой. Его длинный палец был вложен между страниц.

— Признайтесь, вы наверняка подумали: «ничто так полно и так естественно не заменяет свое собственное мнение, как цитата». Подумали? — Книга в его руках затряслась: вот-вот упадет. — И еще вы подумали, вместо того чтобы ответить самому старик грозит мне цитатой из Шекспира. Не так ли? — он продолжал свое единоборство с Шекспиром, вечное единоборство. — На этот раз вы ошиблись. Я процитирую вам, кого б вы думали? Шоу. Вот вам!

Он пододвинул чашку с чаем и пригубил, убедившись в том, что чай достаточно остыл — он не пил слишком горячего чая, — отхлебнул.

— У меня есть пьеса, которая прямо адресована всем тем, кто стоит у руля империи. Нет, нет, не старайтесь вспомнить. Она не столь популярна, как остальные мои пьесы. — он положил перед собой книгу: нечто значительное изобразилось на его лице.

Бекетову предстояло узреть важное: сейчас будет переброшен мост от Шоу к его героям. Да, сию минуту должно произойти это перевоплощение. Нет, не просто Шоу предстояло надеть на себя с чужого плеча пальто — деми или доху на невесомой рыси, но и

воспринять ум человека, а следовательно, образ его мыслей, больше того — натуру, что, наверное, всегда было самым трудным. Нет, нет, перед Бекетовым сидел Шоу, но что-то в его лице было новым, некое озарение, которое осветило глаза и все его лицо. Он переселился уже в мир людей, который вот-вот должен был стать и вашим миром, старался внять их словам, с несвойственным ему послушанием согласиться.

— То, что я вам сейчас прочту, всего лишь предисловие к пьесе, — произнес он бесстрастно, ему хотелось сберечь настроение. — Есть мнение, что оно не имеет отношения к пьесе, но это, как я заметил, утверждают те, кто воспринял текст пьесы поверхностно. Итак, предисловие, при этом в виде диалога: ведь это предисловие к пьесе. Диалога? Да, при этом между лицами, в какой-то мере хрестоматийными. Иисус и наместник Цезаря Понтий Пилат. — Шоу было все труднее сохранить прежнюю интонацию, но голос его так и остался спокойно отстраненным. Теперь Сергей Петрович мог убедиться, почему старый писатель не передоверял чтение своих пьес другим. Все сдалось и признало себя побежденным перед несравненным чтением Шоу. По мере того как продолжалось чтение, голос Шоу молодец, в тартарары проваливались неисчислимые десятилетия, что отделяли начало века от его середины: наверное, так Шоу читал свою «Кандиду» перед шумливой братией труппы Гринвилла Баркера где-то в девятьсот четвертом. Впрочем, текст, который сейчас предстояло прочесть Шоу, располагал не столько к веселым хлопотам, сколько к несуетному размышлению:

«Иисус: Я пришел в этот мир и был рожден человеком лишь для того, чтобы раскрыть истину.

Пилат: А что есть истина?

Иисус: Это то, что человек должен утверждать, даже если будет побит камнями или распят на кресте за свои слова.

Пилат: Ты хочешь сказать, что истина — это соответствие между словом и фактом, истина, что я сижу в этом кресле... Мы оба признаем эту истину: что мы оба сидим в этом кресле, потому что наши чувства говорят нам об этом. И вовсе не обязательно, чтобы двум людям одновременно снилось одно и то же. Если бы ты был наместником, облеченным ответствен-

ностью, а не поэтическим бродягой, ты бы скоро обнаружил, что выбирать мне приходится не между истинностью и ложностью, которых я никогда не могу установить, а между разумным, обоснованным суждением, с одной стороны, и сентиментальным, не опирающимся на факты, побуждением, с другой стороны.

Иисус: И все же суждение мертво, а побуждение полно жизни. И вы не сумеете навязать мне ваше разумное и обоснованное суждение. Если вы захотите распять меня, я смогу отыскать десяток доводов для оправдания этой казни. И ваша полиция предоставит сотню фактов в поддержку этих доводов. Если же вы захотите меня помиловать, я найду вам столько же доводов.

Пилат: Что такого ты можешь сказать мне, чего бы не выбили из тебя мои палачи в качестве презумпции?

Иисус: Избиение не есть средство установления презумпции, как не является оно и правосудием, хотя именно так ты будешь называть его в своем донесении Цезарю. Оно есть жестокость, и то, что жестокость эта порочна и мерзка, ибо она оружие, которым сыновья Сатаны убивают сынов божьих, это как раз и есть часть той общей истины, которой ты домогаешься.

Пилат: Если бы мы позволили вам, история человечества превратилась бы в легенду, полную красивых слов и подлых поступков.

Иисус: И все-таки слово было... с богом еще до того, как он сотворил нас. Больше того, слово — это был бог».

Шоу читал со все большим воодушевлением и, как казалось Сергею Петровичу, с сознанием все большей значимости того, что он читал сейчас. Почему этот текст обрел для Шоу сегодня такое значение? Ну, разумеется, Иисус и Пилат были сегодня для Шоу фигурами аллегорическими. Но как далеко простиралась эта аллегория? Какое земное явление за нею просматривалось? С какими реальными характерами отождествлялись Иисус и Пилат? Мысль, которая прорвалась сию секунду в сознании Бекетова, можно было оспорить, но это было его, Сергея Петровича, мнение, а поэтому оно было ему дорого. Больше того, он готов был внушить эту мысль другому, отстоять ее. В образе

Иисуса, бродяги, правдоискателя, образе столь же земном, сколь и на веки веков нестареющем. Сергею Петровичу хотелось увидеть самого Шоу. Нет, тут было нечто общее не только во взглядах на жизнь, а может быть, даже и идеалах, но и в образе жизни, в чертах натуры. Бродяга, правдоискатель, бессребреник, отстаивающий справедливость, честный нищий, таким Шоу вступал в жизнь и хотел таким быть в последующие годы. А Пилат? Кто мог бы быть сегодня Пилатом, столь же могущественной, сколь и по существу своему антигуманной империей, империей, которая лишь по названию и внешней хронологии является римской. По всем своим чертам и качествам это есть империя британская. Правда, не в зените славы, а на ущербе. Итак, хранитель империи британской. Ну, кто, например? Наверно, здесь персонификация рискованна. Но в известных пределах допустима и она. Кто, например? Дизраэли, Керзон или, быть может, Черчилль? Целеустремленный Черчилль не был бы самим собой, если бы его лишили главной цели его жизни — деятельности. Шоу и Черчилль!.. Да возможно ли, чтобы их питала одна земля и оберегало одно небо?

Однако старый писатель продолжал чтение: дослушаем его. Кстати, без тех слов, которые нам предстоит услышать, диалог будет неполным. Ведь речь о спасении империи пойдет только сейчас.

И и с у с: ...и остерегайся бить мысль, которая будет для тебя новой, потому что мысль эта может оказаться основанием царства божия на земле.

П и л а т: Она может оказаться также погибелью всех царств, всех законов и всего человеческого общества. Она может оказаться мыслью хищного зверя, который жаждет вернуть свою власть.

И и с у с: Империя, которая в страхе оглядывается назад, уступит место царству, которое смотрит вперед с надеждой. От страха люди теряют разум. Надежда и вера дают им дивную мудрость. Люди, которых ты наполнишь страхом, не остановятся ни перед каким злодеянием и погибнут в грехах. Люди, которых я преисполню верой, унаследуют землю. И я велю тебе: исторгни страх, не повторяй мне суетных слов о величии Рима, «величии Рима», как ты называешь его, — не что иное, как страх, страх перед прошлым, страх перед будущим, страх перед бедняками, страх перед богача-

ми, страх перед верховными жрецами, страх перед иудеями и греками, которые постигли науки, страх перед галлами, готтами и гуннами, которые суть варвары, страх перед Карфагеном, который вы разрушили, чтобы избавиться от своего страха перед ним, и которого вы боитесь теперь больше, чем прежде; перед вашим царственным Цезарем, перед идолом, который вы сами создали; страх передо мной — бродягой, избитым и поруганным.

П и л а т: Ты обрел лишь терновый венец. И будешь увенчан им на кресте. Ты опаснее, чем я думал, и мне нет дела до твоих кощунств против бога и верховных жрецов. По мне, ты можешь втоптать их религию в преисподнюю, но ты кощунствовал против Цезаря и империи... Ты знаешь, о чем говоришь, и умеешь обращать против нее сердца людей, как едва не обратил мое, а потому я должен покончить с тобой, пока еще остался в мире закон.

И и с у с: ...Убей меня, и ты слепым сойдешь в свою пропасть. Величайшее из имен божьих — советчик. И когда империя твоя рассыплется в прах, а имя твое станет притчей на устах народов, храмы бога еще живого будут звенеть хвалой дивному советчику, вечному отцу и князю мира».

Шоу взял книгу в обе ладони, приподнял ее и тихо захлопнул. Чтение закончилось.

Часом позже Сергей Петрович простился со старым писателем. Накрапывал дождь, и сад, что был виден из окон второго этажа, потемнел. Шоу взял зонт и пошел провожать Бекетова. Он сказал, что, наверное, утомил Сергея Петровича чтением пьесы и в следующий раз обещает этого не делать. Они простились у ворот, ведущих в усадьбу. Уже когда машина отошла, Бекетов, прикинув к окну, рассмотрел Шоу. Дождь продолжал идти, но Шоу так и не раскрыл зонта. Он стоял, опершись на него, как на палку. И оттого, что упор был силен, фигура казалась более обычного согбенной. Сумерки сгустились внезапно, и сейчас уже было бы трудно рассмотреть Шоу, если бы не его седины. Сергею Петровичу суждено было запомнить Шоу вот таким — железные ворота, сваренные из тонких прутьев, белобородый старец у ворот, глядящий вдаль и пытающийся рассмотреть слабыми своими глазами нечто такое, что рассмотреть ему было уже трудно...

Все, что произошло сегодня, требовало ответа и от Бекетова. Хочешь не хочешь, а противопоставишь Шоу Черчиллю. Однако то, что разделяло этих людей вчера, разделяет их и сегодня. Наверное, у Шоу были и свои компромиссы в жизни, но есть проблема, где для него компромисс труден. Нелегко обнаружить, что думали они друг о друге. Но тут отношение Черчилля к Шоу преломлялось точно — империя, гневный и грозный знак. Только сознание того, что на одной земле с тобой живет великий правдолюб и строптивец, да к тому же ирландец, обратит в Понтия Пилата.

73

Посольство распахнуло парадные ворота — происходил октябрьский прием.

Вот он, парадокс, в его чистом виде: Англия Сити и Даунинг-стрит (и она сегодня представлена на приеме), та самая, что все четверть века, пока существует русская революция, в поте лица трудилась над тем, чтобы погубить новую Россию, сегодня чествовала эту Россию.

Ни один национальный праздник не вызывал у большой лондонской прессы такого энтузиазма, как этот. Наконец-то эта пресса обрела событие, по поводу которого нюансы во мнениях были локализованы, различия во взглядах сглажены, острота межпартийной и межгрупповой полемики напрочь устранена... Газеты вышли на час и два раньше обычного и были проданы, — не иначе, газеты в этот день сказали своим читателям то самое, что хотел этот читатель от них услышать.

Сановный Лондон выстроил свои «шевроле» и «линкольны» перед порогом советского посольства, заранее обрекая себя на муки ожидания, во всех иных обстоятельствах обидного, а сейчас даже в какой-то мере почетного, — по крайней мере, терпение, которое в этом случае явил знатный Лондон, так можно было понять и объяснить.

В советском посольстве происходил прием в честь годовщины Октября.

Бекетов встретил чету Коллинзов и, улучив минуту, направился вместе с ними к послу.

— Да, Сергей Петрович мне рассказывал о вас, — произнес Тарасов, приветствуя Коллинза и его супру-

гу; как заметил Сергей Петрович, посол был не большой мастак посольской медоточивости, но то немногое, что он говорил, звучало человечно.— Благодарю вас за труд и доброту, они нужны нашим народам...

— Именно нашим, моя страна, смею думать, заинтересована в этом даже больше вашей,— отозвался Коллинз улыбаясь, ему приятен был комплимент посла.

— Если даже в равной мере, общий язык будет найден,— отозвался посол.

— Благодарю вас, благодарю...— отвечал Коллинз — он понимал, что то доброе, что сегодня хотел ему сказать посол, было сказано. Но, пожалуй, не меньше Коллинза был этому рад Сергей Петрович — мало-помалу конфликт с Коллинзом шел на убыль.

Большой дом был явно не рассчитан на прием в честь Октябрьской годовщины сорок третьего года. Нет, не только представительские залы, традиционно открытые в дни праздника, но и служебные комнаты, в том числе кабинеты посла и советников, были предоставлены гостям. Гости распространились по всему дому, их толпы выплеснулись в коридоры и на лестничные площадки, они появились, несмотря на непогоду, на дорожках посольского сада. Русская пословица «в тесноте, да не в обиде» с той седой старины, когда она возникла, не переводилась на такое количество языков, на какое она была переведена в этот день в советском лондонском посольстве. И о какой обиде могла идти речь, когда у гостей было все для хорошего настроения: великолепный повод, радушие хозяев, добрая чарка вина, поистине бездонная, хотя умещалась на ладони да еще оставляла место для закуски... Короче, французский обычай «а-ля фуршет», что в переводе значит «под вилку», оказался на этом приеме столь эффективным, что ему могло позавидовать известное библейское лицо, обладавшее, как утверждает молва, способностью накормить единой корочкой всех страждущих.

Екатерина, которую Сергей Петрович попросил об этом специально, появилась на приеме вместе с Шошиным — казалось, никого парадный костюм так не раззолотил, как Степана Степановича, Шошин излучал не просто сияние, он распространял жар. Наверно, этому немало способствовало его лицо, которое зарделось

вдруг таким первозданным румянцем, какого у Шошина не было и в детстве. Но Шошин действительно уподобился красну солнышку, он появился и исчез — даже бдительная Екатерина не уберегла.

— С ног сбилась — не могу разыскать Степана Степановича! — сказала Екатерина мужу — ей было и тревожно и смешно. — Повела мадам Коллинз показывать посольство, а он улучил минуту и испарился. Пробовала искать — куда там!

— И не найдешь! — воскликнул Бекетов, приходя в веселое настроение. — Его теперь пушками не достанешь, он теперь далеко!

Опыт подсказывал Сергею Петровичу: большой прием — идеальное место для работы. То, что можно сделать здесь в течение получаса, не сделаешь в иных условиях и за две недели. Нет, дело не только в том, чтобы оживить знакомства, что всегда полезно, дать им новое дыхание и новую кровь, необыкновенно полезно положить начало новым знакомствам — без них самый обильный источник дипломатической инициативы способен обмелеть. У такого диалога свои законы. Лаконизм не худшее качество, которым он руководствуется. Бекетов пошел из комнаты в комнату.

— Мистер Эндрю Смит, рад приветствовать вас в этот день, — произнес Сергей Петрович; да, почтенный хозяин книжного дома счел за честь быть в этот день в посольстве, — в конце кондов, и с его точки зрения сегодня здесь лучшая часть Лондона. — Вы получили альбом нашей графики, который я послал вам позавчера?

Смит взглянул на Бекетова, и его рыжие ресницы встрепенились:

— Признателен вам, мистер Бекетов, я пригласил наших графиков и показал им — необыкновенно интересно...

— О чем это вы беседуете без меня? — благодушно-медлительный Коллинз, казалось, засек эту встречу в самый нужный для себя момент.

— Да вот я рассказываю мистеру Бекетову, как хорош альбом русской графики, который он мне прислал...

— А, вы послали альбом мистеру Смиту? Ему послали, а мне нет? Ну, это на вас не похоже! — Коллинз хочет изобразить обиду, но это плохо ему удастся —

на самом деле он рад, рад до смерти, что у русского со Смитом дело, кажется, пошло на лад. — Ну, бог с вами! Готов положиться на ваше слово, если альбом действительно будет...

Явился Иден и, сопутствуемый послom, медленно пошел из зала в зал. Он чуть злоупотреблял своим положением гостя, как и тем, что только он был в такой мере статен, только на нем так ладно сидел костюм, только ему была свойственна такая сановность в походке... Хотел он того или нет, но его взгляд, обращенный на гостей, был столь милостиво-благодарствен, а улыбка исполнена такой признательности, что казалось: гости не столько чувствуют русских, сколько его, Идена.

— За наш союз и за нашу победу! — Иден невысско поднял бокал и пригубил.

Приехал американский посол в Лондоне Джон Вайнант. Ему, наверное, за пятьдесят, но он моложав — от черной с синевой шевелюры, по всему, непослушно-жесткой, всегда чуть-чуть непричесанной. От статности и худобы. От походки — он передвигается с завидной стремительностью, при этом чуть поводит плечами — ему хорошо, что он вот такой худощавый. Наверное, играет в теннис и в поздний вечерний час ходит на Темзу, ее каменные набережные приятно ветрены, час хорошей ходьбы прибавляет сил.

Тарасов заметно рад Вайнанту. Сейчас они стояли у кадки с пальмой и, казалось, были увлечены беседой. Тень, которую дарят им жесткие листья пальмы, создает видимость того, что они одни. Вот они рассмеялись, громко, вряд ли они решились бы так смеяться, если бы понимали, что они в поле зрения гостей. Впрочем, Тарасов заметил взгляд Бекетова и понимающе кивнул...

— Мне показалось, что у Вайнанта нет посольской постности, не так ли? — спросил Сергей Петрович посла, когда тот, расставшись с американцем, подошел к нему.

— Да, он с удовольствием смеется, если даже повод пустячный, — улыбнулся Тарасов. — Мы вспомнили эпизод, который произошел в прошлую среду. Приезжаю я к Вайнанту, а он говорит: «Нет ничего вкуснее того, что ты ел в детстве... Вот пришла посылка из Штатов» — и ставит на стол... Что бы вы думали? Банку

с медом! «Вы очень точно сказали, мистер Вайнант, насчет детства», — заметил я и от меда, разумеется, не отказался. Действительно, еще с ранних лет, еще со Псковщины, с моего Закрапивенья, ничего вкуснее меда для меня не было... Вот так, не отрываясь от банки с медом, мы вели в тот день беседу... Ну, как тут не смеяться?..

— Пожалуй, перед Черчиллем он банки с медом не поставил бы? — спросил Бекетов.

— Да что Черчилль? Перед Иденом не поставил бы, а передо мной поставил! — Тарасову была приятна такая привилегия.

Тарасов ушел: у хозяина такого приема, как сегодняшней, каждая минута на учете. А Сергей Петрович все еще думал о его рассказе. Вайнант знает о родословной русского посла? И что это для Вайнанта, хорошо или плохо? Если в Вайнанте есть хотя бы капелька того, что почитается за линкольновскую традицию, должно быть хорошо... А ежели хорошо, что рассмотрел Вайнант в этой родословной: важную деталь биографии посла или подробность биографии самой Республики Советов? Что есть тогда сам Вайнант?.. И какова его жизненная позиция? Говорят, несколько лет отдал Лиге наций, его конек — проблемы труда... Еще толкуют, что в мире большой американской политики Вайнант в системе тех звезд, которые тяготеют к Гопкинсу. Ну что ж, и первое и второе скорее хорошо, чем плохо.

...Поток гостей иссякал, точно ручей в жаркое лето, и окончательно иссяк в десятом часу.

Как обычно, в посольстве остались только свои. И как это было много раз прежде, хозяева подняли бокалы за праздник и за победу.

— Сергей Петрович, вы не очень устали? — спросил посол, направляясь в кабинет. За день набралось немало дел, которые ждали решения.

— Нет, разумеется, — ответил Бекетов; среди дел, ждущих решения, были наверняка и такие, которые касались его.

Они переступили порог кабинета.

— Сергей Петрович, наркомат требует новой вашей поездки в Москву, — заметил посол, и его глаза обратились к Бекетову, точно пытались установить, что

говорит ему это сообщение.— Телеграмма лаконична, остальное, надо полагать, вы знаете, так?

— Представьте, не знаю.

— Речь идет о поездке на месяц... И это ничего вам не говорит?

— Ума не приложу.

— Тогда я выскажу предположение, но это только для вас.

— Буду благодарен.

— Конференция трех?

— Нет, нет, это исключено... Да и на какое амплуа?

— Ну, вам видней... Телеграмма о вашем выезде звучит достаточно категорически: «По указанию наркома...» Уточните с вылетом и подготовьте текст ответной телеграммы... Вижу, вы не воодушевлены, так?

— Неведенье... тяжелее плохой вести.

— Наши узнавали: в Мурманск летит «Каталина»... Полетите, разумеется?

— Был бы выбор, может быть, и подумал бы,— сказал Бекетов и не сдержал печальной улыбки.— А тут один ответ.

— Когда нет выбора, оседлаешь и ракету,— заметил посол.

— Можно подумать, что у вас был такой случай?

— Был! — засмеялся Тарасов.— Канадцы предложили нам взрывчатку. Москва срочно затребовала образцы — снарядили специальный самолет. Случайно или нет, но подоспел вызов в Москву... Хочешь не хочешь, а сядешь на ящик с взрывчаткой, тем более что самолет летит дорогой наикратчайшей: через Аляску!.. Как видите, не совсем ракетный снаряд, но нечто подобное...— Он помолчал, потом добавил без тени иронии: — Если на борту «Каталины» нет ящиков с порохом, считайте, что вам повезло...

Нет, с Тарасовым шутки плохи: в этих его паузах сокрыт немалый заряд иронии. Ненадолго сомкнет златые уста, и уж вам несдобровать. Только подумать: помолчал, помолчал и водрузил Бекетова на ракетный снаряд. Видно, есть одно средство против тарасовской иронии — не дать ему надолго умолкнуть. Впрочем, надо отдать должное Тарасову: в своем рассказе он не отошел от истины. История с полетом на ящиках со взрывчаткой — была.

— Вы видели Шошина на нашем празднике? — спросил посол, внимательно наблюдая за Бекетовым. — По-моему, он возник, страшно смутился и исчез... Ну, я вам скажу: это характер! — Он улыбнулся, не сводя глаз с Бекетова, но улыбка не передалась Сергею Петровичу. — У меня есть одна мысль, касающаяся Шошина, — работы у Степана Степановича не поубавилось, но однообразие способно и его привести в отчаяние... Хочу вашего совета — вот тема для Шошина: «Британская пресса о военных усилиях СССР». Да, за все годы войны с точной характеристикой газет и их высказываний... Ну как? — внимательно Тарасову хотелось отвлечь Бекетова от невеселых мыслей, но это у него не очень получалось, хотя тема, которую он придумал Шошину, была, как обычно, интересна. — Что же вы молчите?.. Нет, вижу, что прежний Бекетов испарился на глазах, нет прежнего Бекетова... Видно, до вашего возвращения мы тут не сладим... Ну, всего вам доброго и счастливого возвращения...

— В ту пору... от чудских берегов до берегов невских тропа была уже хожена? — неожиданно спросил Сергей Петрович и как бы возвратил Тарасова к разговору, который был у них однажды, — Бекетову было интересно открывать для себя Тарасова.

— Как для кого... «хожена»... — заметил Тарасов, не обнаруживая особого интереса к вопросу Сергея Петровича — он понял маневр Бекетова. — Она хотя была и хожена, эта тропа, но каждый торил свою: в двадцать четвертом, уже после смерти Ленина, в лаптях дошел из отчего Закрапивенья до уездного Гдова, получил в уконе из комсомольской кассы три рубля на вспомоществование и добрался до Кингисеппа — с этого все началось... Ну, об этом на досуге, а сейчас... Счастливого возвращения...

Посол сказал «счастливого возвращения», а Бекетов подумал: да неужели... конференция грех? И почему именно его, Сергея Петровича? И действительно... на какое ампула?... Ему же никто не сказал об этом в Москве. А может, сработало это правило: чем неожиданнее команда, тем выше лицо, которое эту команду отдало? А разве нарком — это недостаточно высоко?... Истинно, чем больше думаешь об этом, тем меньше понимаешь...

В середине ноября специальный поезд, состоящий из пассажирских вагонов и пульманов, покинул Москву и маршрутом, каким отродясь из России на Кавказ не ездили, направился в Баку.

Нет, поезд нельзя было назвать Наркоминделом на колесах, но он своеобразно воссоздавал большой дом на Кузнецком.

Следуя золотому правилу «лучше перебрать, чем недобрать», Наркоминдел собрал в поезде группу дипломатов, представляющую едва ли не все главные наркоминдельские профессии — от правовиков и шифровальщиков до оперативников и историков-архивариусов.

Бардин ехал в своем обычном качестве. Дипломат-оперативник — это ампула, казалось, за ним сохранено навечно.

Положение Бекетова в этой экспедиции, наоборот, было необычным. Известно, что еще нашей делегации, направлявшейся в Геную, был придан дипломатический архив. Это было сделано не без участия Чичерина, который не мыслил практики без ссылки на историю. Опыт Генуи решено было использовать и теперь. Две недели Бекетов отбирал документы, которые могли бы быть полезны делегации. Наверное, учитывался опыт Бекетова, историка и дипломата, знающего сегодняшнюю практику, когда во главе этого походного архива был поставлен именно он.

Так или иначе, а специальный поезд отбыл из столицы. Было известно, что конечный пункт маршрута — Баку. Поезд действительно дошел до Баку, но делегация проследовала дальше, в Тегеран.

— Как самый молодой из присутствующих здесь глав правительств, я хотел бы позволить себе высказаться первым, — произнес Рузвельт и оглядел сидящих за столом в надежде, что они поймут нехитрую его шутку. Тегеранская конференция началась.

Если быть точным, то Рузвельт посмотрел только на Сталина и Черчилля: как ни демократичен был американский президент, он обращался именно к главам правительств. Да и происходило нечто своеобразное: зал

был полон, и три ряда стульев, окружившие стол, едва вместили всех, а такое впечатление, что за столом сидели только трое. Даже переводчики превратились в незримых актеров китайского театра. И стремительные стенографические перья, тонкое попискивание которых при желании можно было услышать, как бы приняли во внимание только этих трех: Рузвельта, Сталина, Черчилля. Приняли во внимание и навечно запротоколировали.

Если далекий наш потомок возьмет в руки этот протокол, первое, что он скажет: «Ба, да их там было трое, всего трое!» И он, наверно, будет прав: трое... Точнее, двое — Сталин и Черчилль. Если исследовать стенограмму с той тщательностью, какой она заслуживает, то вывод будет именно таким: двое... Что же касается Рузвельта, то он как бы давал простор для единоборства этим двум, чтобы в соответствующий момент вмешаться и если не решить спор, то откорректировать его, имея в виду американские интересы. Возможно, эта тактика возникла самопроизвольно и была определена не столько Рузвельтом, сколько темпераментом и целеустремленностью его коллег, но позже определенно была усвоена президентом и стала именно тактикой.

Итак, Рузвельт сказал, что по праву самого молодого из присутствующих здесь глав правительств он хотел бы высказаться первым, и конференция началась. Как отметил далее президент, главы правительств, собравшиеся в Тегеране, не намерены публиковать ничего из того, о чем пойдет здесь речь, и они будут обращаться друг к другу, как друзья, открыто и откровенно. Президент полагает, что совещание окажется успешным и три нации, объединившиеся в процессе нынешней войны, укрепят связи между собой и создадут предпосылки для тесного сотрудничества будущих поколений. Далее президент осторожно определил суть предстоящих переговоров. Он сказал, что штабы могут обсуждать военные вопросы, а делегации, хотя у них и нет установленной повестки дня, могли бы обсуждать и другие проблемы, как, например, послевоенного устройства. Если, однако, у нас нет желания обсуждать такие проблемы, обратился он к своим соседям справа и слева, то мы можем о них и не говорить.

Это вступление, в котором все время присутство-

вала юмористическая нотка, казалось, должно было быть воспринято собеседниками президента.

Но Черчилль, и это было характерно, не воспринял тона президента. Свои несколько слов Черчилль произнес едва ли не закатив глаза. Он сказал, что мир имеет дело с величайшей концентрацией сил, которая когда-либо существовала в истории человечества. Сказал он и о том, что в руках союзников решение вопроса о сокращении сроков войны, о завоевании победы, о будущей судьбе человечества. «Я молюсь за то, чтобы мы были достойны замечательной возможности, данной нам богом,— возможности служить человечеству»,— заключил он — его глаза действительно были подняты к небу,— казалось, он говорил не столько со своими коллегами по круглому столу, сколько с богом.

В том, как Черчилль отверг интонацию президента и предложил свою, был расчет: овладеть вниманием, а может быть, в какой-то мере и инициативой.

Но Сталин, может быть, чуть-чуть в пику Черчиллю, возвратил разговору, происходящему за столом, интонацию президента. В тоне легкой иронии, которую предложил Рузвельт, он сказал, что история нас балует. Она дала нам в руки очень большие силы и очень большие возможности. Очевидно, задача заключается в том, чтобы возможности эти были использованы.

Таким образом, все, что надо было сказать, чтобы предварить собственно переговоры, было сказано. Последняя фраза короткой реплики советского премьера прямо относилась к этому:

— А теперь давайте приступим к работе.

Рузвельт не то что помрачнел, но легкая тень озабоченности легла на его лицо; он явно не предполагал, что вступление к деловому разговору будет столь коротким и оборвется почти внезапно.

— Может быть, мне начать с общего обзора и военных нужд в настоящее время...— заметил он, раздумывая. Хотя фраза была обыденной, за ней читалась растерянность президента.

Ответа не последовало, и президент начал обзор. По статуту он должен был адресоваться к обоим своим коллегам, но психологически получалось так, что он говорил со Сталиным. Его побуждал к этому все тот же проклятый вопрос о большом десанте. В самом деле, деловой разговор немислим без того, чтобы не внести

ясность в главное: почему большой десант все еще является для союзников только перспективой, при этом не столь уж близкой. А если объяснять это, то советской стороне. Может, поэтому в течение тех пятнадцати минут, пока продолжалось сообщение президента, к английскому премьеру было обращено не столько лицо президента, сколько его затылок.

Президент сделал обзор военных действий в Тихом океане, заметив, что Соединенные Штаты несут здесь основное бремя войны. Переходя, как подчеркнул президент, к более важному и более интересующему Советский Союз вопросу — операции через Канал, он отметил, что из-за недостатка тоннажа союзники не смогли определить срок этой операции...

— Английский канал — это такая неприятная полоска воды, которая исключает возможность начать экспедицию до первого мая, — заметил президент. В этот момент Черчилль протянул руку к кожаной папке и осторожно ее отодвинул, точно хотел обратить на себя внимание президента. — Если мы будем проводить крупные десантные операции в Средиземном море, то экспедицию через Канал, возможно, придется отложить на два или три месяца, — продолжал Рузвельт, не удостоив вниманием жест Черчилля. Впрочем, взгляд президента игнорировал жест Черчилля, но речь президента, так могло показаться, предостерегающий характер жеста учла, не зря же Рузвельт вдруг заговорил об отсрочке. — Но мы не хотим откладывать дату вторжения через Канал дальше мая или июня месяца, — произнес Рузвельт, подумав. — Войска могли бы быть использованы в Италии, в районе Адриатического моря, в районе Эгейского моря, наконец, для помощи Турции, если она вступит в войну... — он умолк и вздохнул, вздохнул не без облегчения; судя по тому, как улетучился к концу реплики юмор Рузвельта, было очевидно, что она стоила ему сил. — Мы очень хотели бы помочь Советскому Союзу оттянуть часть германских войск с германского фронта...

Рузвельт первым прикоснулся к сути того, что должно было стать предметом переговоров в Тегеране. О чем же свидетельствовала краткая реплика американского президента? В этой реплике он, как отмечалось, был не столько участником поединка, сколько реферн. Он точно приглашал своих коллег скрестить

шпаги и, в преддверии единоборства, осторожно определил шансы сторон. Будто в руках президента были сейчас некие весы, очень чуткие. На положение чаш могло оказать влияние даже движение воздуха, и задача заключалась в том, чтобы удержать чаши в равновесии. Задача эта требовала остроты восприятия необыкновенной. Рузвельт говорил «май 1944 года» и, заметив, что весы клонились к Сталину, поспешно вносил поправку о двух-трехмесячном опоздании. Рузвельт упоминал о десанте через Канал и, обнаружив, что равновесие нарушено, тотчас вносил поправку, перечисляя иные варианты будущих операций: Италия, Адриатика, Балканы с участием Турции. Он воздавал должное средиземноморской тактике союзников, что должно было устраивать Черчилля, но, узрев известный перекося в положении чаш, просил у русских совета по этому поводу... Приняв такую линию поведения, американец обретал преимущества, которых коллеги его, пожалуй, не имели: он ставил их в положение, когда они должны высказать свое мнение, в то время как сам уходил в сторону.

Можно было подумать, что в замысел президента проник Черчилль. Когда президент предоставил англичанину слово, тот сказал, что в принципе он согласен с президентом, но хотел бы высказаться после Сталина.

Вынужденно или нет, но Сталин должен был сейчас сказать о том, на какие опоры ляжет помост, называемый советской позицией.

— Мы, русские, приветствуем успехи, которые одерживались и одерживаются англо-американскими войсками в Тихом океане,— сказал Сталин. Не будучи русским, Сталин полагал, что имеет право, быть может даже привилегию, сказать: «Мы, русские». А в том, как он произносил это, звучала именно привилегия, привилегия, корни которой уходили даже не столько в историю, сколько в психологию. Сказав: «Мы, русские», Сталин как бы напоминал, что говорит от имени многоплеменного Союза Республик, ведущего смертельный бой с супостатом, ибо понятие «русский» все больше отторгалось от понятия «российский», становясь синонимом слова «советский». К тому же, произнесенное здесь, за столом всемирной конференции,— и это входило в расчеты Сталина! — оно, это понятие, обретало особый смысл. Оно должно было напоминать собесед-

никам Россию традиционную, больше того, классическую, которая, как свидетельствует история, уже была их союзником, а это было не бесполезно, если иметь в виду предстоящий разговор.

— Что же касается второй части речи господина президента относительно войны в Европе, то тут у меня есть несколько замечаний,— заметил Сталин и, казалось, перешел к самому главному.

Но прежде чем изложить свои замечания, Сталин сказал, что хочет произнести несколько слов, как он выразился, «отчетного характера». Впрочем, советский премьер отметил, что готов от этого отказаться, если это может прозвучать как излишняя детализация проблемы. Возражения не последовало, и Сталин обратился к пространному обзору на фронтах. Хотя конференция совпала с новыми победами русских, Сталин был скромнен в оценке этих побед. «Мы сами не ожидали успехов, каких мы достигли» — подобные определения возникали в его речи то и дело. А заканчивая речь, он произнес нечто необычное, и оно, это необычное, соответствовало общему тону выступления. Он сказал, что немцы отбили у русских Житомир и, должно быть, на днях заберут Коростень... Необычным было здесь не только то, что Сталин с такой легкостью говорит о неудачах на фронте, но и то, что он как бы планирует эти неудачи, при этом такая постановка вопроса не вызывает у него уныния... Последнее было самым важным, ибо являлось следствием новой обстановки на фронте — в сравнении со всем остальным даже огорчительная коростеньская неудача воспринималась как нечто эпизодическое. Скажи подробно Сталин о победах русских армий, это не произвело бы такого впечатления в трижды победоносный сорок третий на его партнеров, как эта строго обыденная реплика о том, что Житомир сдан и Коростень ожидает такая же судьба,— только сильному дано говорить так.

— Это отчетная часть о наших операциях за лето,— произнес Сталин и сделал паузу, короткую, дав понять, что пришло время сказать о главном.— Может быть, я ошибаюсь, но мы, русские, считаем, что итальянский театр важен лишь в том отношении, чтобы обеспечить свободное плавание судов союзников в Средиземном море,— заметил он и понизил голос. Когда он говорил о чем-то значительном, его голос становился не громче,

как это обычно бывает, а тише.— Что касается того, чтобы из Италии предпринять наступление непосредственно на Германию, то мы, русские, считаем, что для таких целей итальянский театр не годится...

Он, видимо, опасался, чтобы его замечание об Италии не прозвучало излишне категорично, и смягчил его, заметив: «Может быть, я ошибаюсь» — эта формула появлялась в его речи не часто.

— Мы, русские, считаем, что наилучший результат дал бы удар по врагу в Северной или Северо-Западной Франции,— произнес он и, скосив глаза, увидел наклоненное лицо Черчилля. Оно показалось Сталину мертвенно-белым.— Но наиболее слабым местом Германии является Франция. Конечно, это трудная операция, и немцы во Франции будут бешено защищаться, но все же это самое лучшее решение. Вот все мои замечания.

Значит, русские настаивают на прежнем варианте десанта: Северо-Западная или, точнее, Северная Франция. О сроках Сталин умолчал, пока умолчал. Забыл? Вряд ли — память его подводила редко. Мог умолчать и сознательно, сохранив возможность сказать свое слово после Черчилля, таким образом лишив его козырной карты, едва ли не самой важной.

А Черчилль уже говорил. Он сказал, что Великобритания давно условилась со своим американским союзником о десанте именно в местах, о которых говорил Сталин: Северная и Северо-Западная Франция. Союзники решили атаковать Германию в 1944 году. По словам премьера, перед союзниками сейчас стоит задача создать условия для переброски армии во Францию через Канал в конце весны 1944 года. Силы, которые союзники смогут накопить в мае или июне, должны состоять из 16 британских и 19 американских дивизий, а всего предполагается перебросить на континент миллион человек — это и есть «Оверлорд». Но, отметил премьер, упомянутый им срок далек. Он наступит через шесть месяцев...

Черчилль сделал паузу, а русские, сидящие за столом, не могли не прикинуть: сегодня 28 ноября, через шесть месяцев будет даже не май, а, по существу, июнь. Если союзники отнесут срок высадки десанта еще на три месяца, а они это умеют, то можно говорить уже не о сорок четвертом годе, а о сорок пятом. Впро-

чем, Черчилль продолжал говорить и, очевидно, только-только подступал к сути.

Как отметил Черчилль далее, первая задача союзников состоит в том, чтобы взять Рим. Союзники не думают продвигаться дальше в Ломбардию или же идти через Альпы в Германию. Они предполагают продвинуться несколько севернее Рима до линии Пиза — Римини, а вслед за этим осуществить высадку в Южной Франции и преодолеть Ла-Манш. А потом Черчилль нарисовал картину того, что произошло бы, если б в войну вступила Турция. Из его слов следовало, что это едва ли не решило бы исход войны. Открылось бы Черное море, при этом в первую очередь для грузов, следующих в Россию. Возникла бы реальная возможность занять Родос и другие острова. Появилась бы возможность атаковать Болгарию, а вслед за этим Румынию и Венгрию...

Черчилль изложил этот план не без энтузиазма, а изложив, взглянул на Сталина и спросил:

— Представляют ли интерес для Советского правительства наши действия в восточной части Средиземного моря, которые, возможно, вызвали бы некоторую отсрочку операций через Канал?

Сталин молчал. Все, что только произнес Черчилль, слишком было похоже на желание увлечь конференцию на боковую дорогу.

— Может быть, было бы целесообразно высадить десант в районе Северной Адриатики, в то время как советские армии подошли бы к Одессе...— произнес Рузвельт, с очевидным желанием прийти английскому коллеге на помощь.

Сталин промолчал и на этот раз, хотя Одесса была упомянута с намерением вовлечь в разговор его.

— Если мы возьмем Рим и блокируем Германию с юга, то можем перейти к операциям в Западной и Южной Франции, оказав помощь партизанским армиям,— дополнил Рузвельта Черчилль — партизанские армии были упомянуты едва ли не с той же целью, с какой Рузвельт назвал Одессу: англичанин и американец ждали реакции Сталина.

— Несколько вопросов,— наконец произнес Сталин, полуприкрыв глаза.

Черчилль не без готовности кивнул — то, что Сталин

реагировал на реплики своих коллег вопросами, не предвещало ничего доброго.

— Я так понял, что имеются тридцать пять дивизий для операций по вторжению в Северную Францию?

— Да, верно,— тут же подтвердил Черчилль.

— И до начала этой операции предполагается занять Рим? А вслед за этим в Италии перейти к обороне?

— Да. Мы уже сейчас отводим из Италии семь дивизий.

— И кроме этого есть предположение осуществить три операции, при этом одну из них в районе Адриатики? — Было еще не совсем ясно, какую цель преследовали вопросы Сталина, но он скопил целую обойму.

— Осуществление этих операций, надеюсь, будет полезно для русских...— произнес Черчилль и принялся объяснять достаточно пространно, сколько дивизий предполагается привлечь к форсированию Канала и сколько оставить в Италии.

Сталин повторил свой вопрос о Риме, Адриатике, присовокупив к этому Южную Францию; он хотел знать обо всем комплексе операций, которые должны были, как утверждал Черчилль, сопутствовать «Оверлорду».

— В момент начала «Оверлорда» предполагается вторжение в Южную Францию,— ответил Черчилль, он пытался уяснить, пока что безрезультатно, если не смысл, то тенденцию, которой были определены вопросы Сталина. По мере того как вопросы становились все более настойчивыми, он отвечал русскому премьеру со все меньшим энтузиазмом.

— Еще один вопрос: если Турция вступит в войну, что предполагается предпринять в этом случае? — спросил Сталин. Кажется, на этом поток вопросов иссяк и наступила пора раздумий, по крайней мере для русского премьеры.

Черчилль сказал, что понадобилось бы не более трех дивизий, чтобы занять острова вдоль западного побережья Турции и открыть Черное море, но Сталин, казалось, его уже не слушал. Вопросы, адресованные английскому премьеру, пролили достаточный свет на позицию союзников... Что было характерно для этой позиции? Желание закрепиться даже не столько в Западном, сколько в Восточном Средиземноморье и лишить русских возможности оказать влияние на поло-

жение дел в Восточной Европе, где, как полагают собеседники Сталина, русские исторически были всегда сильны, а в результате победы в нынешней войне будут сильнее, чем прежде. Все эти разговоры о Риме, Адриатике, острове Родос, Черном море и, главное, о вступлении Турции в войну были определены единственным: страхом, что русские обретут влияние на Балканах и, что еще страшнее, выйдут к Средиземному морю, а следовательно, смогут взять под удар большую дорогу империи.

Однако надо быть слишком самоуверенным, чтобы, предприняв столь нехитрый маневр, увериться, что партнер не поймет тебя.

— По-моему, было бы лучше, чтобы за базу всех операций в 1944 году была взята операция «Оверлорд», — произнес советский премьер. — Если бы одновременно с этой операцией был предпринят десант в Южной Франции, то обе группы войск могли бы соединиться во Франции. Поэтому было бы хорошо, если бы имели место две операции: операция «Оверлорд» и в качестве поддержки этой операции — высадка в Южной Франции... Что же касается Турции, то я сомневаюсь, что Турция вступит в войну, — заметил Сталин с той категоричностью, с какой за этим столом, пожалуй, сегодня еще не говорили. — Она не вступит в войну, какое бы давление мы на нее ни оказывали... — Он сделал паузу, точно раздумывая, что можно было бы еще добавить к сказанному, и заключил: — Это мое мнение.

Казалось, Черчилль был обескуражен: уж теперь он должен был понять, что его маневр разгадан. Он взглянул на Рузвельта, молчаливо взывая к его помощи, но тот продолжал безмолвствовать — диалог между Сталиным и Черчиллем сделался для американца неуправляемым, обязанности рефери, которые Рузвельт принял на себя в начале разговора, оказались американскому президенту не по силам.

— Мы полагаем, что Советское правительство заинтересовано в том, чтобы заставить Турцию вступить в войну... — заметил Черчилль — он считал, что, сообщив этой фразе такой смысл, он вынудит русского делегата сказать «да».

— Мы должны попытаться заставить Турцию вступить в войну, — согласился Сталин, хотя в подтексте

этого ответа было отнюдь не утвердительное начало.

— Я согласен с соображениями маршала Сталина относительно нежелательности того, чтобы силы разбрасывались, но если мы имеем в районе Средиземного моря двадцать пять дивизий, то три-четыре дивизии и двадцать авиаэскадрилий все-таки можно уделить Турции,— реагировал Черчилль с поспешностью, которая, пожалуй, была даже излишней.

— Это большая сила, двадцать авиаэскадрилий,— возразил Сталин, возразил не особенно настойчиво; в разговоре с Черчиллем в нем жил именно пафос несогласия, хотя он как будто бы соглашался даже по вопросу о Турции.— Конечно, было бы хорошо, если бы Турция вступила в войну,— произнес он вновь, но думал об ином. Ну, например: «Далась тебе эта Турция, старый каверза!.. Да неужели ты не видишь, этот твой маневр нам ясен?.. А если видишь, какой смысл лезть на рожон?»

Черчилль заметно помрачнел — его не радует даже согласие Сталина. Он понимал, что согласие это чисто внешнее. Сталин соглашался не потому, что считал это для себя необходимым, а потому, что не хотел демонстрировать несогласия по вопросу, который, в сущности, является второстепенным. А Черчилль продолжал говорить. Он отметил, что именно в эти шесть месяцев должен дать дело войскам, находящимся в Средиземноморье, при этом такое дело, чтобы оно было полезно русским. Иначе он рискует навлечь гнев парламента.

Рузвельт замкнулся в молчании. А о чем думал Сталин? Наверно, все о том же: что может заставить столь опытного политика, каким был Черчилль, обратиться к маневру и отдать ему так много сил, в то время как цели этого маневра столь прозрачны? По доброй воле на такое не отважишься. Видно, почтенный политик обратился к этому маневру вынужденно. Тогда что его вынудило? Раздумье о том, какими козырями ты обладаешь и каких козырей у тебя нет? Невеселое раздумье.

А советский премьер точно и не слышал последней реплики Черчилля — он говорил об «Оверлорде», как эту операцию понимает его Генеральный штаб, ему на-

верняка было известно мнение русских военных о наиболее целесообразном варианте этой операции.

— Я думаю, что «Оверлорд» — это большая операция, — сказал советский представитель. — Ну, разумеется, клин вышибают клином. Чтобы покончить с разговорами об операциях в Западном и Восточном Средиземноморье, надо вплотную заняться осуществлением операции «Оверлорд». Она была бы значительно облегчена и дала бы наверняка эффект, если бы имела поддержку с юга Франции. Я лично пошел бы на такую крайность. Я перешел бы к обороне в Италии, отказавшись от захвата Рима, и начал бы операцию в Южной Франции, оттянув силы немцев из Северной Франции. Месяца через два-три я начал бы операцию на севере Франции. — Сталин не без умысла придавал этой реплике сугубо личный характер: «Я лично пошел бы на такую крайность» — нет, он не помышляя об отступлении и не намереваясь к нему готовиться, ему просто хотелось придать своему мнению об «Оверлорде» и способах его осуществления характер, который бы, по крайней мере на первое время, никого и ни к чему не обязывал.

— Я мог бы привести более веские аргументы, — поспешно парировал Черчилль. — Но я хочу сказать, что мы были бы слабее, если бы не взяли Рима. Кроме того, для осуществления воздушного наступления на Германию необходимо дойти до линии Пиза — Римини... — В том, как он нагромождал один довод на другой, была не просто поспешность, было смятение, смятение, которое не прибавляло его словам убедительности. — Отказ от взятия Рима означал бы наше поражение, и я не мог бы объяснить это палате, — выдохнул он под конец и вновь взглянул на Рузвельта.

Рузвельт сидел, глубоко погружившись в кресло, — кроткое внимание, с которым он слушал диалог Сталина и Черчилля, застыло в его глазах. Быть может, он почувствовал на себе взгляд Черчилля, но не посмотрел на него — все, что президент услышал только что, не вызывало желания смотреть на британского премьер-министра.

— Мы могли бы осуществить в срок «Оверлорд», если бы не было операций в Средиземном море, — произнес американец едва слышно. — Если же в Средиземном море будут операции, то это оттянет начало «Оверлорда». — Он наконец внимательно посмотрел на своего

британского коллегу.— Я не хотел бы оттягивать «Оверлорд».

Эта формула, в той же мере лаконичная, в какой всеобъемлющая, подводила итог спору.

Видно, желая закрепить это завоевание, советский премьер заметил: как свидетельствует опыт русских, успех достигается тогда, когда удар наносится с двух сторон. В данном случае хорошо было бы осуществить операцию с юга и с севера Франции.

Черчилль достал платок и хотел было вытереть лоб, но потом раздумал и засунул платок в карман,— торопливость, с какой это было сделано, также свидетельствовала о смятении.

— Мы не можем гарантировать, что будет выдержана точно дата первое мая,— вдруг заявил он — казалось, эта фраза вырвалась против его воли.— Я не могу пожертвовать операциями на Средиземном море ради того, чтобы выдержать дату первое мая...— он повторил «первое мая» не без умысла, он будто хотел сказать, что у большого десанта есть вторая цель, нечто огненно-красное, революционное, что испокон веков отождествляется с первомайским днем, и не от него, Черчилля, следует требовать жертв во имя этой цели.

— Как быть с вопросом о Турции? — спросил он все так же неожиданно. В иных обстоятельствах он не позволил бы себе так атаковать собеседников. Напряженный разговор ему был не по силам, прежде его нервы были крепче.

— Надо, чтобы Турция больше не играла нами и Германией,— сказал советский премьер хмуро, он почувствовал, что этот многотрудный разговор сложился в его пользу, и мог позволить себе назвать вещи своими именами.

— Конечно, я за то, чтобы заставить Турцию вступить в войну,— произнес Рузвельт с тем бесстрастно-наивным видом, с которым три минуты назад произнес фразу об «Оверлорде», едва не вызвавшую у Черчилля сердечного приступа.— Но будь я на месте турецкого президента, я запросил бы за это такую цену, что ее можно было бы оплатить, лишь нанеся удар операции «Оверлорд».

Однако президент недаром строго дозировал свои слова в этой беседе: последние его две реплики показали, что его молчание было равноценно золоту. Если

после первой из этих двух реплик у Черчилля еще оставались некоторые надежды, что американский союзник, по крайней мере здесь, в большой гостинной русского посольства, не обнаружит своих разногласий с союзником британским, то теперь, после реплики президента о Турции, эта уверенность поколебалась.

— Мы все питаем чувство дружбы друг к другу, но естественно, что у нас есть разногласия, — заметил Черчилль и сокрушенно качнул массивной головой. — Необходимо время и терпение.

— Правильно, — согласился Сталин, не скрыв радости. У него были основания к этому и в связи с репликой Черчилля о разногласиях — говоря так, британский премьер едва ли не уравнивал для себя русских и американцев.

75

Бардин поднялся в комнату Бекетова и увлек его во тьму посольского сада. Небо было хотя и безоблачно, но напрочь черно, глухой чернотой южной ноябрьской ночи, и давало мало света земле. По крайней мере в посольском саду, оплетенном густыми ветвями старых деревьев, тьма была первозданной.

— Ты заметил, Егор, здесь небо особенное, — произнес Сергей Петрович, выбравшись на боковую аллею посольского сада. В этом углу сада ветви были не так густы и небо открыто. — Видно, сам воздух прозрачнее: вот звезды как четки.

— Именно четки, но это, я так думаю, и от особой смолистости неба... На Кавказе, я помню, небо такое же черное, хотя не в ноябре, а в августе... Все самое запредное хотелось упрятать в августовскую тьму.

— Это еще от юности — все откровения ночью.

— От юности? — переспросил Бардин и громко засмеялся.

— Ты чего, Егорушка?

— Если от юности, то мы с тобой сегодня и слово убоимся сказать, а сказать ох как хочется! — Бардин вновь засмеялся...

— Да ты... тише!

— Тише? Погоди, разве мы не на посольской земле?

— На посольской, разумеется...

Они дошли до того места, где аллея поворачивала налево, остановились. Пахнуло тем особенным дыха-

нием тинистой воды, по которому безошибочно определяется старый пруд — он был где-то рядом.

— Ну, что скажешь, старик, по первому дню? — подал голос Бардин, когда они выбрались из сумрака деревьев. — Берет... наша?

Бекетов остановился — аллея оборвалась где-то позади них, по правую и левую руку от них была поляна, но надо было еще убедиться, что поляна безлюдна, что поляна не внемлет.

— Знаешь, что меня поразило, Егор? — спросил Бекетов едва слышно, он не очень доверял безлюдной поляне.

— Не то ли, что Рузвельт отстранился, дав возможность храброму тори вести бой один на один, при этом ни разу не пришел на помощь?.. Не это? По-моему, это было самым разительным, а?

— И это, разумеется, — согласился Бекетов. Судя по всему, Сергей Петрович думал о другом.

— А что еще?

— Нет, ничего, — Бекетов явно раздумал говорить. — Действительно, Рузвельт бросил старого тори на произвол судьбы. Но вот почему?

Так у друзей бывало всегда: им хотелось нащупать в событии, которое только что произошло, нечто существенное и заварить спор — в споре добывалась истина.

— Не в интересах американцев продлевать войну в Европе, — сказал Бекетов, его рациональный ум способен был разворошить гору фактов и ухватить суть. — Поэтому возня с Турцией способна раздражить и их.

— Но почему он обратился к Турции? — подал голос Егор, он помнил все перипетии дневного сражения и хотел сейчас воссоздать их. — Не смешно ли: «Оверлорду» противопоставить Турцию?.. Тут не только русские, но и американцы воспротивятся... «Оверлорд» и Турция! Поставить вопрос так — значит, прости меня, дать распыть себя по доброй воле...

Бекетов усмехнулся — в этой тишине его смех опознавался безошибочно.

— По доброй воле на дыбу еще никто не забирался.

— Не по доброй, Сергей?

— Нет.

— Тогда почему?

Бардин хотел было идти дальше, но Бекетов удержал его:

— Ты влезь в его шкуру, тогда поймешь — дело-то его горит!.. Ты помнишь трумэновский афоризм в начале войны? Ну, насчет того, что призвание англосаксов в том и состоит, чтобы немцы и русские убивали друг друга... Эта трумэновская формула и есть формула Черчилля! Если у него и был некий стратегический план, то он к этому и сводился: немцы и русские так друг друга обескровят, что для англосаксов останется одним ударом решить поединок в свою пользу... А оказалось иное, русские выходят из войны намного сильнее, понимаешь, намного! Тут хочешь не хочешь, а обратишься к Турции. Дело-то Черчилля горит!..

— И хорошо, что горит, Сережа!..

— Я и говорю: очень хорошо, что горит, Егор!..

Да, вот она, судьба: бросила друзей под смоляное иранское небо, чтобы явить наизаветное — горит Черчилль! Да, горит тот самый Черчилль, который, как хорошо помнят Егор с Сергеем, сколько жил на этом свете, столько и лелеял мечту сжечь новый мир. Всегда лелеял эту мечту, и в нынешней войне больше, чем когда бы то ни было. Беседа за овальным столом в ноябрьский день 1943 года в Тегеране — беседа, если воспринять ее по тембру и, пожалуй, громкости звучащих за столом голосов, едва ли не умиленно-кроткая, а на самом деле жестокая, — определила, как ни крути, что есть победители и побежденные. И вот итог этого поединка...

— Я все-таки не очень понимаю, почему следующий шаг на конференции должны сделать военные? — полюбопытствовал Бекетов. — Если есть принципиальная договоренность, тогда другое дело, но ведь такого согласия нет?.. Что могут в этой обстановке сделать военные?..

— Все дело в американцах — они выгадывают время... — откликнулся Бардин. — Они, разумеется, понимают, что позиция британского премьера лишена элементарного смысла, но вот так, на людях, обнаружить это — значит нарушить нормы этикета... Пока военные заседают, Рузвельт разговаривает с Черчиллем. За столом переговоров он может всего лишь укоризненно взглянуть на него, но наедине готов рубануть правду-матку: «Прости меня, друг Уинни, но ты такое порол, уши вянут!.. Уж коли решил дать бой, то придумал бы что-нибудь похитрее...Турция!.. Да на такую наживку

карась не пойдет, не говоря о крупной рыбе. Коли ты собрался и впредь так, табачок врозь!..» Вот это, или приблизительно это, говорит сейчас старому тори президент. Так ведь?

— Не думаю,— возразил Бекетов.— Не похоже на американцев!.. Если бы они готовы были осадить Черчилля, они бы нашли средство сделать это и за столом. Очевидно, они сами не готовы... Просто партия прервана, и необходим домашний анализ.— Когда Сергей Петрович обращался к шахматным терминам, обретал уверенность.

— Между прочим, Сталин дал согласие на встречу военных,— осторожно напомнил Егор Иванович.— Как ты полагаешь: почему? И наша позиция требует домашнего анализа?

Бекетов рассмеялся — у него было хорошо на душе:

— Возможно, хотя, будь у меня такая партия, я бы, пожалуй, рискнул играть не прерывая...

Когда они вернулись из сада, освещенные окна дома были точно врезаны в ночь — легкие шторы не умеряли яркости электричества, и окна комнат Рузвельта и Сталина угадывались издали.

— Домашний анализ? — ухмыльнулся Бардин.

— Возможно,— согласился Сергей Петрович.

Итак, было условлено, что встретятся военные.

Когда возник этот вопрос, Сталин сказал: «Мы не думали, что будем обсуждать чисто военные вопросы, поэтому не взяли с собой представителей Генерального штаба».

Тем не менее небольшая, но мобильная группа военных находилась в Тегеране. Если быть точным, то Ставка на эти дни покинула Москву. Да, военный провод, который связывал Ставку с фронтом, точно был прикреплен к вагону, в котором эта мобильная группа генштабистов, составляющая рабочее ядро Ставки, пересекла Россию с севера на юг, а затем с помощью самолета перенеслась в Тегеран, воспользовавшись тем, что и туда военный кабель проложен.

И произошло беспрецедентное: бои, которые наши войска вели в эти дни за Днепром, а именно танковые рейды на Житомир, артиллерийские удары по окрестностям Коростеня, движение танковых масс с севера

на юг, на помощь нашим войскам, по которым пришлось контрудар немцев,— все это группировалось, скапливалось, перемещалось по приказу, который шел из Тегерана.

Может быть, теперь больше, чем прежде, стало ясно, что спор о том, где проводить конференцию, который вела советская сторона, для нее был отнюдь не праздным. Тянуть провод на Аляску, например, и руководить оттуда действиями войск, сражающихся за Днепром, было бы, пожалуй, труднее. Настаивая на Тегеране, советская сторона имела в виду и это обстоятельство.

Трижды в сутки, как это имело место в Москве, самая подробная информация о положении на фронтах наносилась на карту и докладывалась Сталину. Если в этом была необходимость, то к проводу вызывался командующий — из Тегерана Сталин разговаривал с Рокоссовским, который шел на выручку нашим войскам, ведущим тяжелые бои на Правобережной Украине.

Группу военных возглавлял Ворошилов, который с некоторого времени военно-оперативную деятельность сочетал с военно-дипломатической. Впрочем, рядом с Ворошиловым находился Алексей Антонов — человек, который был заметно интересен иностранным военным, съехавшимся в Тегеран, не без основания считавшим сорокасемилетнего генерала армии соавтором многих стратегических замыслов Красной Армии. Возможно, Антонову было и приятно это внимание, но не настолько, чтобы изменить своей сути: его стихией и в Тегеране было генштабистское творчество, все то, что являло поединок военной мысли,— все заметнее здесь русские брали верх над немцами, и в этом была своя заслуга Антонова.

Так или иначе, а интеллигентный Антонов, держащийся со скромным достоинством, не часто появлялся в кругу своих зарубежных коллег, большую часть времени проводя в сумрачной прохладе рабочей комнаты, склонившись над картами,— нет, это было не подвижничеством, которое стало за годы войны нормой поведения, но потребностью ума творческого. Можно было сказать, что Антонова заметила и определила на его нынешний пост практика войны, в такой же мере многоумная, в какой и многотерпимая. Все импонировало

в молодом генерале — и его скромность, и точность, и остроощутимое чувство долга, свойственное талантливому Антонову. В том, с какой тщательностью была предпринята непростая операция по переброске оперативного ядра Ставки в Тегеран, чувствовалось: без этого ядра Тегеран утратил бы для армии, ведущей упорные бои, то значение, которое он в эти дни обрел...

Встреча военных была назначена на утро, и Сталин, которому волнения прошедшего дня не давали спать, уже к восьми часам успел позавтракать и просил сообщить военным, что ждет их с докладом.

Антонов явился вместе со своим главным оперативником генералом Штеменко.

У Штеменко был опыт общения со Сталиным. Он знал, что Верховный любит в докладе краткость — качество при остром недостатке времени наиважнейшее. А краткость, как знал Штеменко, трудоемка. Поэтому четверть часа, которые уходили на доклад, требовали труда многочасового и напряженного: оставить суть и отбросить все, что сутью не является. Как ни своевластна была воля Верховного, он вдруг мог прервать доклад и спросить: «А вы что думаете?» В связи с этим генерал-оперативник должен быть еще и генералом-аналитиком: не только информация, но и анализ, а следовательно, мнение.

Сталин принимал военных в гостиной. Она была и самой просторной и самой светлой комнатой его апартаментов. Он просил разложить карты на большом столе, а пока подошел к окну и раскурил трубку.

Полунаклонив голову, он точно пытался рассмотреть что-то такое, что было за пределами того куса садовой дорожки, который можно было рассмотреть из окна. Военные разложили карты и затихли, а Сталин продолжал стоять у окна, попыхивая трубкой, занятый не столько тем, что видел, сколько своими раздумьями. Была в его фигуре, особенно в плечах, опущенных и чуть асимметричных, безнадежная штатскость, при этом она становилась тем заметнее, чем пышнее был его мундир.

Сталин обернулся, и генералы увидели, что он улыбается. У него было хорошее настроение, хотя вести с фронта все еще были плохими. Он был доволен вчерашней встречей с союзниками, а это, пожалуй, было важнее того, что получили оперативники сегодня

утрэм с фронта. Если быть точным, то он был доволен не столько переговорами, сколько собой в этих переговорах.

— Значит, Коростень может быть и отдан? — подал голос он, прерывая доклад. — А что думает по этому поводу Ватутин? — Его хорошее настроение сказывалось и в этом. Чем лучше было настроение, тем либеральнее становился он, тем больше имен возникало в беседе: что думает Ватутин?

Оказалось, что Ватутин предпринял сильный контрудар на смежном Коростеню участке и не намерен сдавать Коростень.

— Противник заметно активизировал свои действия южнее и западнее Киева, — сказал Антонов.

— Значит, южнее и западнее Киева? — переспросил Сталин. — Цель?

— Все еще Киев, товарищ Главкомандующий... — пояснил Антонов. — Им нужен этот успех.

— Нужен... успех? — его улыбки как не бывало. — Опыт нас учит: контрудар по немцам с севера и юга... — Стараясь придать своим оперативным распоряжениям весомость, он любил повторять: «опыт нас учит» — оснастив свои оперативные распоряжения этой оговоркой, он делал их как бы более профессиональными. — Одним словом, дайте указания Рокоссовскому и Коневу... — Он строго взглянул на Антонова: — А вы как полагаете?

— Мне представляется уместным усилить также войска, сдерживающие главные силы немцев, — сказал Антонов.

— Да, в дополнение к контрударам с севера и юга, — уточнил Сталин, и хорошее настроение вернулось к нему. — Можно усилить... об исполнении доложите...

Он взглянул на фарфоровые часы, стоящие на полированном столике, — на этом он хотел бы аудиенцию закончить.

Предстояла встреча военных экспертов, русских, англичан, американцев.

Когда до начала этой встречи оставалось минут десять, Сталин появился с Ворошиловым на дорожке, ведущей к главному зданию.

— Думаю, что они пойдут по второму кругу, но те-

перь уже за военным столом. Кстати, вчера этот Леги сказал мне: Ворошилов — военный дипломат. Слыхал? военный дипломат! — произнес он и не без озорства ткнул Ворошилова плечом — в этом была и знак приязни к старому товарищу, и доброе настроение, в котором Сталин все еще пребывал. — Понимаешь: по второму кругу?

— Это что же... Италия, Адриатика и Балканы? — спросил Ворошилов — он принял этот толчок плечом как выражение именно приязни. — Так?

— Возможно, и так, — произнес Сталин и замедлил шаг, дав понять, что дальше ему бы не хотелось идти. — Одним словом, наш план ясен: отвлекающий удар по французскому югу и десант через Ла-Манш... у Брука это встретит сопротивление, а как у Маршалла? — он остановился.

Три часа продолжалась встреча военных экспертов России, Англии и Америки. Председательствовал Леги, пространно говорил Брук и, как обычно, был хмур и лаконичен Маршалл, но суть того, что происходило на совещании, определяли не Леги и Брук, а именно Маршалл. Большелобый, с морщинистым и чуть скопческим лицом, он слушал коллег, полусклонив голову, с грустью взирая на свою большую руку, неподвижно лежащую на столе, которая заметно была старше Маршалла. Прежде чем Маршалл начинал говорить, рука сдвигалась с места, при этом слабо сгибался указательный палец. Движение этого пальца было всевластно: наступала тишина.

Маршаллу потребовалось меньше времени, чем всем остальным, кто выступал до него, чтобы добраться до сути. Он сказал, что преимущества «Оверлорда» в том, что здесь идет речь о самом коротком расстоянии, которое следует преодолеть в начальный период операции. Как полагает американец, открывать южнофранцузский фронт за два месяца до «Оверлорда» опасно, хотя действия союзных войск на юге Франции будут очень полезны операциям на французском севере. Мнение Маршалла: открыть фронт на юге не за два месяца до «Оверлорда», а за три недели. По мнению Маршалла, немцы пытаются разрушить все порты и снабжать армии придется через открытое побережье. Он советует также обеспечить сильное прикрытие с воздуха. Отметив весьма лаконично, как были организованы десан-

ты на Тихом океане, Маршалл умолк, как могло показаться всем, кто его слушал, неожиданно.

Слово американца было не столь обнадеживающим, как ожидали русские. Единственное, что успокаивало: он отдавал предпочтение «Оверлорду» перед иными операциями, но не сказал об этом прямо, а дал понять, обратив внимание на детали, — удар по югу за две-три недели до большого десанта, снабжение войск через открытое побережье... Можно было подумать, Маршалл заметно остерегается высказываний по главному вопросу. Очевидно, это зависело не столько от Маршалла, сколько от обстановки: военные встретились явно раньше времени. В самом деле, что можно было ждать от военных, если главы правительств не договорились? Как ни велики звания у военных, они, в сущности, являются исполнителями.

Но поскольку эта встреча состоялась, было бы неразумным ею не воспользоваться, тем более что у Ворошилова были указания на этот счет. Очевидно, задача заключается в том, чтобы продолжить усилия, предпринятые в дни конференции в Москве, и установить, что сделали союзники для подготовки десанта и какой стадии достиг этот их труд, — в конце концов, их отношение к десанту тут должно сказаться наиболее исчерпывающе.

Хотел Ворошилов того или нет, но он предельно обнажил суть своих вопросов — это были вопросы, что называется, в лоб.

— Насколько я понял генерала Маршалла, американцы имеют пятьдесят или шестьдесят дивизий, которые они хотели бы использовать во Франции, и задержка только в десантных средствах?.. — заметил Климент Ефремович, глядя на хмурого Маршалла. — Что делается для того, чтобы решить проблему?..

В грубоватой определенности, с которой был поставлен этот вопрос, были свои преимущества — вопрос исключал двусмысленный ответ, больше того, он бы эту двусмысленность обнаружил.

— В августе на британском берегу была одна американская дивизия, сейчас их девять, — сказал Маршалл с таким видом, будто бы упоминание этих двух цифр является ответом на вопрос русского делегата достаточно исчерпывающим.

— Как я понял, наши американские коллеги счита-

ют «Оверлорд» главной операцией? — спросил Ворошилов, все еще глядя на Маршалла.

Американец утвердительно кивнул.

— Из докладов генералов Исмея и Дина, которые я слышал в Москве, следует, что в Соединенных Штатах и Великобритании идет полным ходом строительство десантных судов,— продолжал свои вопросы Ворошилов.— Можно ли считать, что эти работы обеспечат операцию достаточным количеством судов и будут завершены к сроку?..

Ворошилов адресовал этот вопрос Маршаллу и Бруку, однако продолжал смотреть на американца, и могло показаться, что спрашивает он об этом только его. Может, поэтому Брук и на этот раз ответил молчанием, дожидаясь, пока ответит Маршалл.

— Если говорить о Соединенных Штатах,— сказал Маршалл,— то делается все, чтобы необходимые приготовления были завершены к началу «Оверлорда».

Американец произнес это со все тем же угрюмым выражением лица, но заметно доброжелательно — природная неулыбчивость не мешала ему быть в данном случае доброжелательным.

— Строятся десантные баржи,— уточнил Маршалл, подумав,— каждая на сорок танков...

Маршалл умолк, дав понять, что пришла очередь Брука отвечать на вопросы. На все вопросы и, в частности, на тот первый, который, как можно было заметить, встревожил англичанина и заставил его умолкнуть. Пока отвечал Маршалл, Брук имел возможность уточнить все варианты ответа именно на этот вопрос. Казалось, Маршалл пришел на помощь своему британскому коллеге, чтобы тот мог собраться с силами.

— Великобритания придает «Оверлорду» важное значение и считает существенной частью войны,— сказал Брук и принялся объяснять, достаточно пространно, что делается на Британских островах, чтобы оснастить предстоящую операцию. По мере того как продолжалась речь Брука, британский делегат забирал все дальше от Ла-Манша, а его речь делалась все более многословной, а поэтому и несущественной, а молчание русских все более ненастным. Брук успел пройти Гибралтар, пересечь Апеннины, побывать в Адриатике и достаточно углубиться в Восточное Средиземно-

морье — подобно своему премьеру, британский генерал любил укромные гавани этого района Средиземного моря и задержался здесь надолго.

Тогда Ворошилов повторил свой вопрос, при этом почти в той же интонации:

— Считают англичане «Оверлорд» главной операцией?

— Я, Брук, должен сказать, что не хочу верить в неудачу операции как в Северной, так и в Южной Франции, — заметил британский делегат, помрачнев. — При некоторых же обстоятельствах эти операции обречены на неудачу.

Ворошилов подумал, что пришло время изложить мнение русских по существу проблемы, а кстати сказать, что, на взгляд Сталина и советского Генштаба, операции в Средиземном море имеют второстепенное значение. Вместе с тем действия союзников в Южной Франции, осуществленные за два-три месяца до «Оверлорда», важны. Как свидетельствует опыт союзных войск, «Оверлорд» им по силам. Разумеется, эта операция нелегкая. Ее нельзя сравнивать с преодолением рек, даже больших. Но если все-таки сравнивать с форсированием рек, таких, как Днепр, Днестр, Сож, правый берег которых достаточно холмист и при этом тщательно укреплен, можно сказать, что «Оверлорд», если он будет подготовлен, увенчается успехом. В самом деле, немцы построили на правом берегу этих рек современные укрепления из железобетона, оснастили их мощной артиллерией, которая могла обстреливать левый низкий берег на большую глубину, не давая нашим войскам приблизиться к воде. И все-таки реки были форсированы, а враг разгромлен, — сыграли свою роль артиллерия и авиация — ничто не могло устоять перед огнем современного оружия.

В сравнении, к которому обратился Ворошилов, было одно уязвимое место: река не море. Ворошилов понимал это и оговорил, что сравнение не может быть абсолютным и он обращается к нему только в той мере, в какой Ла-Манш и Днепр являются водными рубежами. Но Маршалл возразил Ворошилову с той категоричностью, как будто бы Ворошилов не делал этой оговорки:

— Я обучался наземным операциям, и в связи с этим мне было знакомо форсирование рек, но, когда

я столкнулся с десантами на море, мне пришлось переучиваться.

Разумеется, возражение это было чисто эмоциональным и не обещало американцу никаких приобретений, но американский генерал, удерживая баланс между русскими и англичанами, не упустил случая возразить русским, полагая, что в какой-то мере это уравновешивает все только что сказанное в их поддержку.

— Поражение при форсировании реки всего лишь неудача, моря — катастрофа...

Краска, почти пунцовая, залила щеки Ворошилова — его возмутил тон американца.

— Я с этим не согласен, — сказал Ворошилов, — Все зависит от степени организации «Оверлорда». Если тактика будет соответствовать задаче, даже неудача передовых частей будет всего лишь неудачей, а не катастрофой...

Одним словом, Брук дал русскому делегату возможность скрестить оружие с американцем по такому вопросу, где у американца было свое профессиональное самолюбие и своя человеческая амбиция. Нельзя сказать, что Ворошилов сказал нечто такое, что бы американец не знал, но хмуро-скептический Маршалл вдруг стал внимательным, не без любопытства следя за системой доказательств советского военного. Если авиация, завоевав господство в воздухе, разгромит артиллерию, а передовые части отобьют плацдарм и закрепятся на нем, могут быть введены в действие основные силы, при этом вряд ли может возникнуть риск катастрофы.

— Да, но артиллерийская поддержка с моря сложнее, чем с противоположного берега реки, — возразил Маршалл, но уже это возражение, относящееся не столько к общему, сколько к деталям, показало, что американец, говоря о катастрофе, явно сгустил краски.

Ворошилов понял это и, не желая усугублять несогласия, сказал, что тут они с Маршаллом единомышленны.

— А каким будет соотношение сил в воздухе в момент вторжения? — спросил Ворошилов как бы между прочим, но вопрос этот, как легко было догадаться, касался самой сути дела.

Брук смолчал, а темпераментный Потал, полагая, что на все вопросы, имеющие отношение к авиации,

должен отвечать он, отчеканил, вызвав откровенно неприязненный вздох Брука:

— Пять или шесть к одному!

Ворошилов улыбнулся, и улыбка его точно говорила: «Вот видите: пять или шесть к одному!.. При таком соотношении катастрофа невозможна!»

Военные поднялись из-за стола, условившись встретиться еще раз и продолжить разговор.

И вновь возникло сомнение: был ли смысл его продолжать? Власть-то у военных всего лишь исполнительная. До того как проблема десанта не будет решена за большим столом, что можно решить за столом малым? Впрочем, как было уже установлено, для русских эта встреча имела некоторый смысл. Она, эта встреча, должна была показать, как далеко продвинулись союзники в своих приготовлениях к осуществлению большого десанта.

76

Когда Бардину сообщили, что Черчилль намерен вручить русским меч для Сталинграда, Егор Иванович подумал: старый тори просто хочет удержаться в седле, из которого он был накануне едва ли не вышиблен.

Ну, разумеется, златокузнецы — это не Черчилль, а та Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, что исстари отождествлялись и в сознании россиянина с обликом и умом англичанина, человека и умельца. Поэтому меч, изготовленный златокузнецами в трудный для России час, мог быть воспринят только как знак приязни, больше того, уважения к товарищу по оружию и должен быть принят с благодарностью. Но этот благородный знак, выражающий чувство одного народа к другому, не может и не должен быть средством дипломатической игры... И он бы не был этим средством, если бы меч был вручен в конце конференции и как бы венчал согласие. Но в этом случае Черчилль не был бы Черчиллем. Одним словом, вручение отнесено было ко второму дню конференции и, в сущности, призвано предварить второй тур разговора за большим тегеранским столом. Для всех, кто как-то проник в суть происходящего, это было действительно похоже на попытку старого тори укрепиться в седле. Однако разве была в этом необходимость? После первого дня конференции была. Собственно, в самом этом акте сокрыто душевное со-

стояние Черчилля. Всесильный меч должен был совершить для Черчилля чудо: не только восстановить контакты с русскими, подвергшиеся вчера немалым испытаниям, но и показать американцам, что такие контакты существуют...

Когда Бардин вошел в большой зал, тот уже был почти полон. До церемонии еще было далеко, но волнение, которое испытывал зал, сказывалось в тишине — заметно торжественной. Здесь уже были Маршалл и Брук, окруженные чинами американской и английской армий, при этом все роды оружия были налицо. В группе советских генералов Бардин рассмотрел Антонова — была в его фигуре та ладность, которая делала парадным даже его рабочий китель; как истинный генштабист, он был подчеркнуто внимателен к своей внешности. Глаза слепила медь оркестра, немилосердно начищенная.

Внимание присутствующих было обращено к столу посреди зала, где, скрытый черным футляром, покоился меч. Караул из британских и советских солдат охранял его. Советские солдаты были подобраны один к одному — роста и стати гвардейской. Их форменные фуражки, сдвинутые чуть-чуть набекрень, как и испокон веков, свидетельствовали о бедовой сути русских солдат.

Появился Черчилль в серо-синем кителе офицера британской авиации — старый тори знал, какой цвет ему к лицу, об остальном при выборе формы можно было не думать. В самом деле, не все ли равно, форма каких войск будет облегать жидковатые мышцы британского премьера — авиационных, танковых или саперных? В конце концов, биографы Черчилля не могут припомнить, чтобы их герой водил самолеты...

Вкатили коляску с Рузвельтом, и Егор Иванович увидел президента в двух шагах от себя. В комнате, из которой ввезли президента, определенно было меньше света, чем здесь: президент сощурил глаза, не забыв, однако, улыбнуться. Сработал условный рефлекс: скопление людей у президента всегда вызывало улыбку. Даже как сейчас, когда президент не успел рассмотреть, кто находится в зале, и глаза его все еще оставались закрыты, он улыбался. Не без труда Рузвельт открыл глаза и улыбнулся вновь, теперь уже осознанно — к нему шел Черчилль.

Как мог заметить Егор Иванович, в сравнении с Вашингтоном президент пополнил. Могло показаться, поздоровел. Могло показаться, если бы Бардин не знал, что это всего лишь простой загар: он коснулся лица человека, а не его недугов.

Вошел Сталин.

Он подошел к Рузвельту и поздоровался. Затем протянул руку Черчиллю.

Сталин взглянул на Ворошилова, тот — на Антонова, Антонов — на капельмейстера, стоящего подле, — эти взгляды, как сигнальные зеркала, заимствовали свет друг у друга и несли его дальше. Смысл сигналов был в следующем: «Гимн! Пришло время гимнов — с этого начинается церемония...» И грянули гимны, вначале британский, потом советский.

Бардин еще не осознал значительности этой минуты, еще не ухватил ее разумом, не расчленил ее на ветви, которые неизменно возникают с рождением мысли, но сам звук торжественной мелодии, много раз слышанной и в минуту радости, и в горький миг беды, слышанный и отождествленный с тем страдальческим, что пришлось пережить в эти годы, ворвался в грудь, и Егор Иванович почувствовал, как дыхание его становится слышимым. Ну конечно, Черчилль не без умысла отнес этот торжественный акт на сегодняшний день, ну разумеется, старому тори это было выгодно, но не об этом думалось и хотелось думать в эту минуту, а о том трижды священном, что явил союз великих народов, решивших дать бой злой силе. И Бардин видел, как побледнели лица людей, стоящих в зале. Даже Черчилль забыл на миг все недоброе, что зрело в нем эти дни, и отдал себя во власть некоему гуманному чувству, которое было сокрыто в нем и заявило о себе с такой силой, с какой не заявляло прежде, — вон как торжественно стало и его лицо... Да и голос Черчилля преобразился заметно — волнение лишило этот голос силы и сделало в эту минуту таким слабым, что он решительно перестал быть слышимым. Говорил Черчилль, и казалось, сама речь ему нужна для того, чтобы вернуть голосу прежнюю силу и совладать со стихией волнения.

— Его величество король Георг VI повелел мне вручить вам для передачи городу Сталинграду этот почетный меч, сделанный по эскизу, выбранному и одобренному его величеством. Этот почетный меч изготовлен

английскими мастерами, предки которых на протяжении многих поколений занимались изготовлением мечей. На лезвии меча выгравирована надпись: «Подарок короля Георга VI людям со стальными сердцами — гражданам Сталинграда в знак уважения к ним английского народа».

Английский офицер взял меч со стола и пошел к Черчиллю. Черчилль принял меч на вытянутые руки. Меч еще был в ножнах, но и так он был хорош, точно сотворен по росту того русского парня в сержантских погонах, что стоял подле британского премьера в карауле: да, тяжелое, двухэфесное и двухлезвийное оружие, с ухватистой, по размерам геркулесовой руки, рукоятью, с рогатой крестовиной, с каменным, так могло показаться, навершием, которое дважды неярко вспыхнуло, когда Черчилль, повернувшись, милостиво-торжественным жестом протянул меч русскому премьеру.

Черчилль передал Сталину меч, а вместе с ним и тот незримый ритм, с которым он выполнил эту церемонию вручения, и, повинаясь этому ритму и стараясь сбереечь его, Сталин церемонно-медленным жестом выдвинул клинок из ножен и, на какую-то секунду остановив взгляд на холеной стали меча, одетой в мягко разлившееся и чуть-чуть матовое золото, поднес клинок к губам. В этом жесте, который был неожидан даже для самого Сталина, было что-то древнее, может быть даже кавказское, где верность оружию отождествлялась разве только с верностью матери, ибо мать дарила жизнь, а меч эту жизнь оберегал.

— От имени граждан Сталинграда я хочу выразить глубокую признательность за подарок короля Георга VI... — он понимал, что слово «подарок» было рождено волнением, у него было достаточно развитое чувство языка, чтобы найти иное слово, например «дар», но слово было произнесено, и изменить его — значило указать ошибку, а это было не в его правилах. — Граждане Сталинграда высоко оценят этот подарок, — продолжал он. — И я прошу вас, господин премьер-министр, передать их благодарность его величеству королю...

Он произнес эти несколько слов едва ли не полупшепотом, торжественным полупшепотом, но его голос был услышан всеми, кто находился в зале. Впрочем, одно слово прозвучало внятно вполне — Сталинград. Слыш-

ком много говорило имя этого города сердцу советского человека, а у Сталина тут было и свое — начало революции, ее жестокое мужание. И не только это, а и личное, что отождествлялось в судьбе города с его собственной судьбой, — за многовековую историю человечества, наверное, немного людей на земле могли произнести название города, названного твоим именем.

Сталин перевел взгляд на Рузвельта и, держа меч прямо перед собой, пошел к нему. Не сознавая этого, он все еще берег ритм, который сообщил церемонии Черчилль. С почтительностью, не очень свойственной его натуре, он передал меч Рузвельту, и тот вскинул на Сталина глаза, в которых жила радость мгновенья, — пожалуй, язык взгляда был единственным языком, которым они пользовались сполна, особенно в те минуты, когда, оставшись наедине друг с другом, вдруг понимали, что отнюдь не всеильны, больше того, неловко-беспомощны.

— Действительно, у граждан Сталинграда стальные сердца, — сказал Рузвельт и с неторопливой торжественностью возвратил меч.

Сталин принял меч и, встретившись взглядом с Ворошиловым, точно дал понять ему, что хотел бы передать меч ему, — Ворошилов шагнул Сталину навстречу. В следующую минуту меч, опять заключенный в футляр, покинул зал — отныне он становился собственностью Сталинграда.

Сталин окинул взглядом всех, кто стоял рядом, пытаясь отыскать Молотова, и, увидев его, быстро пошел к нему с несвойственной быстротой — он точно хотел показать этой своей походкой, что не хочет долее оставаться рабом этого ритма, который он воспринял, казалось, против своей воли, и, воспользовавшись первой возможностью, сбрасывает его оковы.

Бардин оглядел заметно опустевший зал, стараясь отыскать Сергея Петровича, но Бекетова не было, — видно, у него было много дел в это утро. Предстояло второе совещание, и Бекетов был начеку: в конце концов, к заседанию готовились не только те, кто был за столом переговоров, но и те, кого в эту минуту здесь не было.

Бардин вышел в сад, надеясь увидеть Бекетова там, и, подняв глаза на веранду, где Егор Иванович заметил однажды серо-защитный китель Сталина, увидел вдруг Сергея Петровича, а минутой позже и покатые, даже в какой-то мере поникшие плечи человека в серо-защитном кителе.

Бардину показалось, что Сергей Петрович пытался в чем-то убедить Сталина, указывая на стол, стоящий посреди веранды, а Сталин шел вдоль окон, слегка наклонив голову, и, как хорошо видел Егор Иванович, улыбался чуть скептически. О чем шел разговор и что вызвало иронию Сталина — вот вопрос, который невольно овладел сознанием Бардина, когда он вошел в тень осенних платанов.

В ящиках, обшитых листовым железом и опечатанных сургучом, что были выгружены в посольстве едва ли не в день приезда делегации, находилось более чем обширное досье документов, подготовленных специально к конференции. Говорят, ничто не обладает такой силой внушения, как старая бумага. Из своего третьего ряда Бекетов наблюдал за происходящим, соотнося слово и дело конференции с документами, лежащими в ящиках, обшитых листовым железом. Ну, разумеется, многие документы лежали недвижимо и извлекались из ящичков только в случае крайней необходимости, но в сознании Бекетова они все время были в движении: он обращался к ним, как к козырным картам, и досадовал, что этого не делает Сталин. Сергею Петровичу казалось, что слово наших делегатов обрело бы бóльшую убедительность, ежели бы ящик с документами был рядом.

Там, где листва стала настолько густой, что тень обратилась в полутьму, Бардина окликнул Бекетов:

— Думал, что не отыщу... я видел тебя с веранды. Ты, как метеор, возник и исчез, даже хвоста не оставил.

— И я видел тебя,— заметил Бардин.— Как, впрочем, видел и иное.

— Что ты имеешь в виду?

— Улыбку Сталина, в которой было не столько согласие, сколько несогласие... Так?

Егору Ивановичу показалось, что Бекетов замедлил шаг,— из тени сумерек — самое тесное место было пройдено — смотрели его глаза, вопросительно-печальные. Бекетов не ответил.

— Я спрашиваю: так?.. — повторил Бардин, но Бекетов все еще молчал. — Причина: архив или.. серьезнее?

Бекетов обрадовался солнышку, которое встретило их на желтом песке аллеи, — он был порядочным мерзляком, Сергей Петрович.

— А архив — это не серьезно, Егор?

Бардин поднял толстые руки с такой силой, будто они были ему в тягость, будто хотел освободиться от них:

— Сережа!.. Ну, ты понимаешь, что я хотел сказать!

Бекетов передернул плечами — в словах друга было не много тепла.

— Понимаю, Егор... Я ему сказал: досье... обогатит аргументацию — оно подскажет ему доводы, которых, быть может, у него нет... В конце концов, и Черчилль начинает свой рабочий день с работы над документами..

Бардин засмеялся:

— А вот о Черчилле бы я помолчал!

Бекетов не без робости взглянул на Егора Ивановича — что-то грозное послышалось ему в словах друга.

— Прости меня, почему надо молчать?

— Ну, ежели ты хочешь ему внушить уважение к твоему архиву, какой смысл ставить в пример Черчилля?.. Нашел кого учить... Черчиллем!

— Ты полагаешь, не надо было?

— Чудак ты человек!.. Если бы сказал «Рузвельт», то он, может быть, принял бы, может быть...

В четыре часа пополудни в большом зале посольства открылось второе пленарное заседание конференции.

Оно началось с доклада военных, которые рассказали об утренней встрече. Вначале Брук и Маршалл, потом Ворошилов, выступление которого вызвало улыбку Сталина, как можно было понять, сочувственную: Ворошилов ничего не сказал по существу, он подтвердил, что Брук и Маршалл были точны в своей информации. Ограничив реплику этим, Ворошилов будто сохранял возможность вернуться к проблеме.

— Кто будет назначен командующим операции «Оверлорд»? — спросил Сталин, перестав улыбаться.

— Этот вопрос еще не решен, — тут же ответил Рузвельт.

— Тогда ничего не выйдет из операции «Оверлорд», — сказал советский премьер, и все, кто был в зале, подивились, как тих был его голос в эту минуту.

— Английский генерал Морган несет ответственность за подготовку операции «Оверлорд»... — пояснил Рузвельт.

— Кто несет ответственность за проведение операции «Оверлорд»? — спросил Сталин так, будто бы об этом не было речи, ответ Рузвельта был настолько несуществен, что он, Сталин, как бы не принял его во внимание.

Этот подтекст не остался незамеченным Рузвельтом. Он сказал, что известны все лица, которым предстоит участвовать в операции «Оверлорд», за исключением главнокомандующего.

Все в той же нарочито спокойной интонации, не повышая голоса, больше того, стараясь сообщить ему некую монотонность, Сталин заметил, что генерал Морган может счесть эту операцию подготовленной, а новый командующий не согласится с ним.

Черчилль, не спешивший вступить в разговор и ожидавший для этого подходящего момента, уточнил, что генералу Моргану были поручены предварительные приготовления.

— Кто поручил это генералу Моргану? — спросил Сталин.

Трудно сказать, когда у Сталина возникла эта мысль о командующем: в преддверии второй встречи или, быть может, только что, но этот вопрос сразу дал ему заметные преимущества. С откровенной настойчивостью, деятельной и, пожалуй, грубоватой, он повел наступление: «Кто будет командующим?» Ничего хитрого в этом вопросе не было, но с точностью беспощадной он устанавливал, в какой мере можно верить слову союзников сегодня. Если командующего нет, а его, судя по всему, не было, о какой серьезной подготовке к осуществлению десанта может идти речь?

Слово взял Черчилль. Пространно, более пространно, чем нужно, он принялся излагать историю назначения генерала Моргана. Черчилль обратился к истории,

явно стремясь выгадать время и овладеть ситуацией. Неизвестно, как долго он говорил бы, напрягая память в попытке отыскать истоки проблемы, если бы его не осенила идея спросить об этом Рузвельта прямо. Он это сделал весьма примитивно: наклонившись, он произнес свистящим полушепотом: «Мэй би хиз?.. Иес — десижн...»

— Как мне сказал только что президент, — произнес Черчилль, просияв — он был счастлив, что может сказать это и от имени президента, — решение вопроса о командующем будет зависеть от переговоров, которые мы ведем здесь...

Сталин улыбнулся:

— Я хочу, чтобы меня поняли правильно: русские не претендуют на участие в назначении командующего; но русские хотели бы знать, кто им будет.

Да, именно так: «русские не претендуют», «русские хотели бы знать». Он не без удовольствия держался тона, который принял в начале переговоров. «Русские хотели бы знать». Вряд ли эта формула была свойственна его речи прежде. Скорее всего, она родилась во время войны, отражая ее существо как войны отечественной. Ему нравилась эта формула, и он ею пользовался охотно. Вот и сейчас, завершая реплику о командующем, он сказал: «Русские хотели бы, чтобы он скорее был назначен».

Черчилль, заметно обрадованный, сказал, что командующий будет назначен через две недели.

Сталин заметил, что у него нет вопросов по поводу сообщений Брука и Маршалла, дав понять, что вопрос о командующем сыграл свою роль и он не настаивает на его дальнейшем обсуждении.

Вновь заговорил Черчилль. Уже первая фраза, которую он произнес: «Я немного обеспокоен количеством и сложностью проблем, стоящих перед нами», — показала, что он готовится произнести речь. И в самом деле, он произнес большую речь, такую большую, какую до сих пор не произносил в Тегеране. Но размеры этой речи, пожалуй, были обратно пропорциональны ее значимости. Черчилль просто пошел по второму кругу и, в сущности, поставил те же проблемы, что накануне: Средиземное море, Балканы и Турция. В этой речи была некая хаотичность, нарочитая. Создавалось впечатление, что он хочет так перетасовать карты, чтобы не

было никакой возможности отыскать нужную. Ну, разумеется, он говорил и об «Оверлорде», но только в той мере, в какой эта проблема соотносилась со многими иными, на его взгляд столь же важными.

Черчиллю ответил Сталин. Его заметно раздражила речь британского премьера. Слишком очевидна была ее тенденция — отвлечь внимание конференции от главного. Как и накануне, удивление вызывало одно: как столь опытный политик, каким был Черчилль, мог действовать столь примитивно?.. Сталин подтвердил: главное — «Оверлорд». Что же касается операции на французском юге, то ее можно осуществить в один из трех сроков: за три месяца до начала большого десанта, во время десанта или, наконец, двумя месяцами спустя после самого десанта. И последнее касалось назначения главнокомандующего. Разумеется, это в компетенции союзников, но русские хотят знать, кто будет главнокомандующим.

— Я прошу конференцию считаться с этими высказанными мною соображениями, — закончил Сталин. В его последней фразе была некая категоричность. Советский премьер, произнося ее, точно хотел сказать: «Там, где Черчилль пошел по второму кругу, он может пойти и по третьему — пришло время разговора по существу».

Реплика, которую произнес Рузвельт, учитывала требование русских говорить по существу — там были слова достаточно определенные.

— Я придаю большое значение срокам, — заметил президент. — Если имеется согласие на операцию «Оверлорд», то нужно договориться о сроке этой операции... — Президент сказал, что действия в Восточном Средиземноморье, действия, которые могут быть и не столь успешны, потребуют переброски дополнительных материалов и войск. — Тогда «Оверлорд» не будет осуществлен вовремя, — заключил Рузвельт.

Вновь, как это было и в первый день, Рузвельт оставлял своего британского союзника один на один с русскими. Но в отличие от первого дня, когда Сталин явил выдержку, сегодня его терпение явно было на ущербе, при этом к грани взрыва его подвела речь Черчилля. Время политесов кончилось, пришло время разговора по сути проблемы, достаточно откровенного, если надо, грубо откровенного.

Первые признаки этого разговора возникли, когда Сталин, говоря о силах противника, сосредоточенных на Балканах, привел данные разведки, и Черчилль реагировал на это корректным: «Наши цифры отличаются от этих цифр». Судя по тому, как развивался диалог дальше, Сталин искал повода к обострению разговора и ответил более резко, чем отвечал до сих пор:

— Ваши цифры неправильны.

Подводя разговор к существу — срок операции «Оверлорд», только срок! — Сталин сказал, что хорошо было бы предпринять большой десант в пределах мая, ну, скажем — 10—15—20 мая. Да, он привел эти три даты, дав понять, что отсрочка не должна превышать десяти дней.

— Я не могу дать такого обязательства, — ответил Черчилль. Внешним поводом к такому ответу было то, что Сталин назвал даты с категоричностью и точностью, которая до этого не имела места. На самом деле Черчилль всего лишь использовал этот аргумент, чтобы уйти от конкретного решения вопроса о десанте.

Создавалось впечатление, что британский премьер отважился идти по третьему кругу. Логика его рассуждений сводилась к следующему: мы не расходимся во мнениях, как это может показаться. (Его доброжелательность обычно распространялась на фразы общие.) Он готов сделать все, чтобы осуществить «Оверлорд» в возможно короткий срок. (Тут уже доброжелательность кончилась: «...в возможно короткий срок».) Он, Черчилль, не думает, что те возможности, которые имеются в Средиземном море, должны быть немилосердно отвергнуты (так и сказано: «...немилосердно отвергнуты!») из-за того, что использование их задержит осуществление операции «Оверлорд» на два-три месяца... Короче: воспользоваться моментом и начать операцию в Средиземном море. Она стоит того, чтобы «Оверлорд» был отсрочен на два-три месяца, то есть с конца весны на конец лета.

— Операции в районе Средиземного моря, о которых говорит господин Черчилль, это только диверсия, — мрачно реагировал Сталин. — Я же отрицаю значение диверсий.

— Британские войска не должны бездействовать шесть месяцев, — произнес Черчилль.

— По Черчиллю выходит, что русские требуют от англичан того, чтобы англичане бездействовали,— не весело улыбнулся Сталин — он так и сказал: «По Черчиллю», обязательное в этом случае «господин Черчилль» было игнорировано.

Совершенно очевидно, что конференция приблизилась к своему «кризису». Первый признак этого обнаружился в выступлениях самого красноречивого из участников конференции: британский премьер исчерпал себя и начал повторяться, дав повод своим коллегам, и прежде всего Сталину, не считаться с ним. Очевидно почувствовав это, Черчилль предложил передать вопрос о втором фронте на рассмотрение военных. Сталин, склонявшийся к этой мысли в начале заседания, ее отверг,— возможно, он почувствовал, что обрел преимущества, которые могут быть обращены в реальные ценности только им самим, при этом здесь, за столом переговоров. А возможно, сделал свое червь сомнения: если главы правительств не могли договориться, способны ли военные поправить положение?

То, что сделали русские на следующем этапе конференции, было похоже на таран.

— Сколько времени мы намерены оставаться в Тегеране? — спросил Сталин, не глядя на своих иностранных коллег.

— Я готов голодать, пока директивы не будут разработаны,— сказал Черчилль, он все еще имел в виду комиссию военных, которой он хотел передать разработку директив.

— Речь идет о том, когда мы намереваемся закончить нашу конференцию,— заметил Сталин, он явно говорил не о военных.

Рузвельт осторожно намекнул, что можно передать дела военной комиссии.

— Не нужно никакой военной комиссии,— сказал Сталин, он шел на упрощение проблемы намеренно.— Мы можем решить все проблемы здесь, на совещании... Мы, русские, ограничены сроком пребывания в Тегеране. Мы могли бы пробыть здесь еще первого декабря, но второго декабря мы должны уехать...

Все ясно: вопрос должен быть решен за столом конференции, при этом в течение предстоящих одного-двух дней. Все должно иметь свои сроки: и «Оверлорд», и конференция... Только так.

Рузвельт, продолжая балансировать между англичанами и русскими, балансировать не только в силу известного расчета, но и одолевающих его сомнений, сказал, что готов сделать предложение, которое упростит работу штаба. Президент предлагал передать рассмотрение вопроса военной комиссии, которая должна принять за основу операцию «Оверлорд». Это предложение было явной уступкой Черчиллю. Чтобы не огорчать русских, Рузвельт обернул хитрую пропозицию в своеобразную замшу, заметив, что комиссия должна представить свои предложения и относительно операций в Средиземном море, но с обязательным условием: эти операции не задержат «Оверлорда».

Сталин задумался. Предложение президента создавало новую обстановку на конференции. До сих пор русские единоборствовали с Черчиллем, сейчас им надо было адресовать свои возражения и Рузвельту.

— Русские хотят знать дату операции «Оверлорд», чтобы подготовить свой удар по немцам,— сказал Сталин; разумеется, в этой фразе было высказано несогласие с Рузвельтом, но высказано осторожно.

Черчилль вновь вступил в разговор: он сказал, что не понимает, как решен вопрос с военной комиссией.

— Если можно задать неосторожный вопрос, то я хотел бы узнать у англичан, верят ли они в операцию «Оверлорд»? — спросил Сталин и обратил смеющиеся глаза на Черчилля.— Или... они просто говорят для того, чтобы успокоить русских, а?..

Черчилль шевельнул губами так, как будто во рту у него была сигара,— он не принял улыбки Сталина.

— Если будут налицо условия... — ответил Черчилль строго, он напроць отсекал от себя иронию Сталина.

А дальше произошло то, что протоколы не отметили, но что было самым существенным в этот день,— Сталин встал и, взглянув на Молотова с Ворошиловым, произнес:

— Идемте, нам здесь делать нечего, у нас много дел на фронте.

Рузвельт, заподозрив недоброе, сказал, что он предлагает прервать заседание, так как его участники очень голодны. Президент по-своему был прав: раздражение, которое владело некоторыми участниками переговоров сейчас, при необходимости можно было объяснить и тем, что они голодны. Но прежде чем прервать заседа-

ние, Рузвельт сделал последнюю попытку подключить военных. Сталин повторил свои возражения. Тогда президент предложил, чтобы этим занялись Голкинс, Молотов и Иден. Сталин возразил и на этот раз. Условились, что Черчилль встретится с Рузвельтом и согласует свои предложения. Сталин не возражал.

Было ясно: если суждено быть второму фронту, то все произойдет в предстоящие сутки, не столько за круглым столом конференции, сколько за пределами его. По крайней мере, в этом был смысл паузы, которая устанавливалась... Если эти прогнозы верны, то следующее заседание может быть много короче.

78

— Вот эти посольские... затворники! — сказал Бардин другу, когда, воспользовавшись свободным часом, они покинули белый особняк, намереваясь совершить прогулку по городу. — Рядом большой город, но ты так прочно отделен от него посольской оградой, что его будто и нет в природе... Куда направим стопы?..

Поздно вечером Бардин услышал под окном голос друга:

— Одевайся, да попроторнее... Впрочем, можешь накинуть плащик.

— А ты небось при галстуке, Сергей?

Бекетов засмеялся: не упустил возможности Бардин напомнить ему о галстуке.

— Ну, одевайся, одевайся.

Бардин, разумеется, галстука надевать не стал — солнце давно село, но зной не торопился уйти из Тегерана.

— Господи, где ты отыскал этакую «Антилопу»? — спросил Бардин, заметив у подъезда машину. — Это что же... «форд-меркурий» или «фиат»?

— Всего-навсего старик «мерседес». Садись... посольские должны ездить в лимузинах, — улыбнулся Бекетов. — Можно было бы и пешком дойти, да в автомобиле как-то удобнее.

По неширокой улице, обсаженной акациями и серебристым тополем, они стали удаляться от посольства.

— Да объясни мне, бога ради, куда ты меня везешь? — взмолился Бардин, но Сергей Петрович сказал только:

— Потерпи...

Точно чадра пала на персидскую столицу — темно. Высокие платаны сомкнулись с черным небом. В арыках, выхваченная фарами, поблескивала вода, да в глубине садов, железная листва которых не хочет опадать, подсвеченные незримым огнем, голубеют стены особняков.

— Кажется... вот здесь,— Бекетов вышел.— Да, здесь.

Наверно, это сообщили Егору Ивановичу даже не слова, произнесенные Бекетовым, а сам голос, волнение, прорвавшееся наружу: предстояло увидеть значительное.

— Погоди, да не Грибоедов ли?

— Грибоедов.

Вот куда привез Бекетов друга в эту ноябрьскую ночь 1943 года. Была ночь, непроницаемая, непроглядная, сколько ни всматривайся, ничего не видно. Все можно было только вообразить: здесь это было... И казалось, что одного этого достаточно, чтобы вот так остановиться посреди тегеранской ночи и пережить...

И два человека недвижимо стояли в ночи, доверив себя тишине и воображению, которое было жестоко с ними. Воображение... Оно выхватило из ночи тот далекий февраль 1828 года, когда где-то вот здесь ревушая толпа уперлась в деревянные ворота и, взломав их, бросилась к посольскому дому. Видно, безумие толпы не имело предела — тело посла едва удалось опознать.

— Погоди, Сергей, но что тут осталось от той поры?.. — спросил Егор Иванович.— Не эта ли мечеть? — он обратил взгляд на темный ствол мечети, который неявно маячил в ночи.

— Да, только эта мечеть. Говорят, русских из посольства поволокли туда. Возможно, уже... только тела их...

Они пошли прочь — мечеть будто вздрогнула в ночи и канула в ее черной воде.

— Говорят, что толпой нельзя управлять издали, она должна видеть того, кто ее ведет... — сказал Бардин.

— Ты полагаешь, что главный убийца был в толпе? — спросил Сергей Петрович — он следил за мыслью Егора.

— А ты полагаешь: не был?

— Тот, кто убил, очевидно, был в толпе, но тот, кто направлял руку убийцы... был далеко.

— Значит, толпой можно управлять издали,— сказал Бардин и, нащупав во тьме острый локоть Бекетова, сжал его.— Признаться, я не думал, что послы могут убивать друг друга...

Они возвращались в посольство. Казалось, кроме дремучей тьмы тегеранской, ничего не увидели друзья в ночи, а что-то добралось до самого дна их душ. Ведомо ли Черчиллю, что в двух шагах отсюда есть место, которое вот уже сто пятнадцать лет Россия отождествляет со смертью одного из самых великих своих сыновей,— со смертью, к которой, как утверждает бесстрастная хроника, коварный Альбион имеет самое прямое касательство?..

Бардин спрашивал себя: каков будет Сталин на обеде, который советский премьер устраивал для Черчилля и Рузвельта, после всего, что было сказано за столом переговоров?

Но то, что произошло за обеденным столом, должно было немало озадачить тех, кто знал Сталина. Точно инцидента и не было — все шло как по маслу... Как велик традиция светского обеда, поводом к беседе явилось вино, предложенное гостям... Президенту по вкусу пришлось грузинское сухое вино, а английскому премьеру коньяк. Рузвельт сказал, что хорошо было бы высадить некоторые сорта кавказского винограда в Калифорнии, что воодушевило Сталина и вызвало монолог о виноградной лозе...

Но любопытно, с какой готовностью президент и его британский коллега обратились к этой теме! Нет, не потому, что они мигом забыли инцидент, происшедший в зале переговоров, а именно потому, что они этот инцидент помнили. Можно сказать, лоза явилась той соломинкой, за которую пытались ухватиться два почтенных мужа, ну, если не тонущие, то в какой-то мере терпящие бедствие, при этом соломинку эту бросили им в воду русские... Да, высадить лозу и, чем черт не шутит, вызвать к жизни американскую разновидность кавказских вин, хотя кахетинские земли не перенесешь за океан. Нет, в самом деле, как заставишь такую лозу

расти на калифорнийских почвах? Казалось, не было темы увлекательнее для Рузвельта, как, впрочем, и для Черчилля, чем виноградарство, хотя в подтексте было все то же: «Идемте, нам здесь делать нечего...»

А потом разговор перешел на секреты грузинской кухни, и самозабвенно закрипели перья американцев, записывая для президента необходимые рецепты.

Когда на каждое новое блюдо гости могли отозваться только восхищенным молчанием, внесли трехметрового лосося... Лосось был так упруго-могуч, полон жира и мяса, так чутко поводил хвостом при каждом движении тех, кто нес его на блюде, что окажись рядом море, он бы свился кольцом и, мгновенно выпрямившись и набравшись прыгучей силы, устремился бы в воду... У гостей вырвался рев восторга... Они были так ошеломлены, что утратили не только слова, но и силы, — Рузвельт сказал, что хочет отдохнуть, и удалился к себе. Остался Черчилль.

— Итак, времени у нас в обрез, если учитывать, что мы соберемся в последний раз послезавтра, а надо поговорить о многом... — заметил Черчилль и посмотрел на Сталина.

— Да, о многом... — и Сталин поднял на англичанина глаза, тяжелые.

Даже интересно, какую силу возымело столь могучее действие, как только что состоявшийся обед, если учитывать, что тут сыграл свою роль не столько замысел, сколько инерция: после того что произошло за столом переговоров, казалось бы, должна быть поставлена другая пластинка — без лосося, разумеется... Кашу маслом не испортишь? Ну, поглядим, как оно получится. Главное: пойдет Черчилль по новому кругу, отважится пойти?..

Он был робок на этом обеде, британский премьер, робок и тускловат... В иное время с какой бы силой взлетел к небу фонтан его красноречия, а тут... Как будто бы и не Черчилль. И остался после обеда, точно хотел замолить какой-то свой грешок. И этот вопрос о послезавтрашнем дне задал не из сознания силы. И уходил вдруг какой-то иной походкой, больше обычного шаркающей; хотя выглядел, как обычно, молодцом...

Против обыкновения, главы правительств собрались к столу переговоров не в четыре часа, а в четыре тридцать. Очевидно, эти тридцать минут не были ординарным опозданием... Наблюдательный глаз установил бы это безошибочно: когда Сталин шел в большой посольский зал, рядом с ним были Брук и Маршалл. Очевидно, у советского премьера была встреча с военными чинами союзников. Если учесть, что всего лишь накануне Сталин возражал против того, чтобы решение главного вопроса было передано на рассмотрение военных, тем более разительным были происшедшие изменения.

В четыре тридцать Рузвельт, по праву бессменного председателя, открыл заседание, и все разом разъяснилось. Президент сказал, что состоялось решение британского и американского штабов, которое было сообщено маршалу Сталину и было принято им с удовлетворением. Рузвельт предложил дать слово Бруку. Сталин согласился. Черчилль также не возражал, но не преминул заметить, что Брук будет говорить в равной мере от имени англичан и американцев.

Волнение точно опалило гортань генерала Брука: он должен был дважды кашлянуть и издать нечто похожее на писк. Впрочем, и в кашле, и даже в писке была некая значительность. Брука можно было понять: происходило долгожданное, происходило нечто такое, что, по крайней мере для русских, должно было войти в историю этой войны под знаком Тегерана. Брук сказал, что начальники штабов рекомендовали президенту и премьер-министру сообщить маршалу Сталину, что «Оверлорд» начнется в мае и будет поддержан операцией против французского юга... Итак, самое заветное было произнесено. Правда, была несколько странной сама форма этого акта: начальники штабов рекомендовали президенту и премьер-министру сообщить маршалу Сталину... Непонятно было, почему главы правительств вдруг выступили на конференции в качестве начальников штабов — ведь решение принимали они, Рузвельт и Черчилль, с рекомендациями военных, а не наоборот... Это, пожалуй, было странным, и это предстояло еще понять и объяснить, но существенно ли это было сейчас? Вряд ли. Существенным было иное — решение принято. А значит, возникла возможность сокрушающего удара по врагу, удара, который обещал победу. Да, именно это слово должно было быть про-

изнесено, когда британский генерал, еще не уразумев, какая честь выпала на его долю, сказал об «Оверлорде» и грядущем мае.

Черчиллю определенно показалось, что генерал Брук не сказал всего, что должен был сказать. Черчилль добавил, что решение предполагает координацию и еще раз координацию: удар, разумеется, должен быть нанесен одновременно с обеих сторон.

Ну, вот теперь все. Взгляды всех, кто сидел за столом, обратились к русским.

В тишине, какой давно не было за этим столом, прозвучал голос Сталина. Он говорил негромко, но внятно, с теми характерными паузами и тем придыханием, чуть астматическим, какие были свойственны ему, когда речи сопровождало волнение. Он говорил все тише, и тишина точно следовала за ним, становясь все чутче. Смысл его реплики можно было понять так: он понимает, насколько важно принятое решение. Как он полагает, опасность грозит союзникам не столько в начале «Оверлорда», сколько в процессе его. Русские хотят лишить немцев возможности перебрасывать силы с востока на запад. В связи с этим русские обещают в мае предпринять наступление, атаковав немцев в нескольких местах. Как отметил Сталин, он имел возможность сегодня уже сказать все это президенту и премьер-министру, но хотел бы повторить это на конференции...

Последняя часть реплики заслуживала внимания: да, действительно, он готов повторить это еще раз тем спокойным-бесшумным голосом, чуть бесстрастным, даже расслабленным: русские не просто приняли решение союзников во внимание, а соответственно перестроили стратегию предстоящей весны и лета. Сталин сказал это Рузвельту и Черчиллю с глазу на глаз и повторяет это за столом переговоров. Повторяет с очевидной целью: отныне существует единый план европейской войны, который может быть осуществлен, если силы, идущие на немцев с востока и запада, действуют одновременно.

● ПОСЛЕСЛОВИЕ

ИЗ МИРА ДИПЛОМАТИИ

«В чем? — повторила она вопрос Бардина. — В предвидении! Будьте внимательны к тому, что я вам сейчас скажу. В этом письме есть фраза, достойная того, чтобы с нее было начато летосчисление. Вот ее смысл: февраль — это первый этап первой русской революции, первый этап, который будет не последним и не только русским. Заметьте, что это написано едва ли не в тот самый день, когда свершился февральский переворот!..

— Говорят, что у кавказцев звезды разобраны по доблестям. Но вот интересно, звезды Предвидения и Храбрости — одна звезда...

— Предвидеть — значит быть храбрым? — спросил Бардин, улыбаясь.

— Храбрым, — подтвердила она.

Коллонтай взглянула на том ленинских писем, где было и то самое, что адресовано ей, но у Александры Михайловны уже не было сил его открыть».

Необыкновенная эта сцена встречи Коллонтай с Бардиным в Стокгольме взята нами из первой книги нового романа Саввы Дангулова «Кузнецкий мост».

Книга эта — открытие весьма сложного, своеобразного и во многом неведомого для читателя мира. В ней воссоздана многоплановая картина происходивших событий, содержится социальный анализ жизненных обстоятельств военных лет, посвященный важнейшей теме истории и современности — дипломатической борьбе. Писатель смело вводит нас в многосложную обстановку развернувшихся событий в ходе второй мировой войны. Многое в книге рассматривается под ракурсом памяти.

Роман назван «Кузнецкий мост». Большой старинный дом на Кузнецком мосту в Москве словно бы отождествляет главный штаб нашей дипломатии, своеобразный центр ее стратегических замыслов. Действенность того, что создается здесь советской дипломати-

ческой мыслью, определяется нерасторжимыми связями с живым делом народа, его борьбой против фашизма. Глубоко правдиво показаны эти связи дипломатии с фронтом, огневая линия которого пересекала и «Кузнецкий мост». Глазами героев романа, советских людей и иностранцев, читатели видят сражающуюся Москву и фронт под Москвой, Сталинград, Ленинград, Курск — главные сплетения борьбы, как она развернулась на советско-германском фронте. И если говорить о «Кузнецком мосте», то автор постоянно, особенно в первой книге романа, обращается к раздумьям о том, что есть Кузнецкий мост в жизни народа в грозную эту пору. Мы имеем в виду отступление, посвященные Кузнецкому мосту, которыми в романе открываются циклы глав. Они создают своеобразный временной ритм, делают хронологическое течение романа естественным, позволяют автору обратиться к обобщениям политическим, военным, дипломатическим, а следовательно, к тому главному, что представляет собой дипломатический аспект происходящих событий. Они позволяют сообщить повествованию то самое настроение, в каком и должен быть выдержан весь роман.

1

Правомерен вопрос: что же было характерно для нашей дипломатии в беспрецедентной по своей сложности международной обстановке, предшествовавшей второй мировой войне.

Когда мы обращаем взор к истории наших отношений с зарубежным миром, внимание наше неизменно привлекает Генуя. Именно здесь весной 1922 года во дворце Сан-Джорджо народный комиссар Чичерин обнародовал план внешнеполитических отношений Советской державы с зарубежным миром. План, автором которого был В. И. Ленин. Советская делегация, заявил тогда Чичерин, оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, считает, что для восстановления мирового хозяйства необходимо экономическое сотрудничество между Советской Россией и капиталистическими странами. В сущности, провозглашены были основы политики мирного сосуществования, определившей курс наших внешних дел на много лет вперед, включая современность. И то, что является живым делом нашей партии сегодня и столь ярко отражено в ее решениях, берет свое начало в ленинских документах генуэзской поры нашей дипломатии. Немалое значение в этой связи приобретает опыт отношений с Западом в пору, когда политика сосуществования брала верх. В течение полувека, прошедшего со времен Генуи, таких примеров было достаточно, и все-таки наиболее яркими являются те, что дают годы совместной борьбы против фашизма, годы создания антигитлеровской коалиции. Собственно, сам факт создания могучего союза держав, выступивших против фашизма, знаменовал собой и победу политики сосуществования, политики разрядки.

Нужно ли говорить о том, сколь благодарно для художника воссоздать историю тех лет, а следовательно, историю того, как наперекор злым ветрам, которые и в ту пору были жестоки, возникла, набирала силы и действовала антигитлеровская коалиция свободолюбивых народов, несшая смерть фашизму. Между тем в биографию советской дипломатии вписываются все новые страницы живых ее начинаний. Нелегко бывает путь к вершинам завоеваний. Порой проходят годы и годы в упорном сражении, прежде

чем творческая инициатива Советского Союза получает свое признание и одобрение. Тем знаменательнее становится успех борьбы, которая приносит всеобщее понимание и практическую материализацию.

Быть может, цель эта не обнимает всего замысла романа «Кузнечий мост», но она, несомненно, является главной: советская дипломатия как активная и деятельная сила в создании союза свободлюбивых народов, в создании антигитлеровской коалиции.

Неустанная и последовательная борьба советской дипломатии за создание и укрепление антифашистского фронта нашла свое практическое воплощение в заключении англо-советского соглашения от 12 июля 1941 года, советско-английского союзного договора от 26 мая 1942 года и советско-американского соглашения от 11 июня 1942 года. Все это положило начало формированию широкой антигитлеровской коалиции, к которой позднее присоединились сражающаяся Франция, патриотические силы Польши, Чехословакии, Югославии и многих других стран.

Естественно, создание этой коалиции вовсе не было беспричинным. Оно явилось результатом объективного развития международной обстановки, сложившейся вследствие фашистской агрессии. Захватнические действия гитлеровской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии создали непосредственную угрозу жизненным интересам не только Советского Союза, но и значительно числа других государств, включая Великобританию и Соединенные Штаты. Между тем хорошо известно, что к Советскому Союзу господствовавшие круги Великобритании и США долгие время относились с едва скрываемой враждебностью. Продолжением обанкротившейся «мюнхенской политики» в отношении СССР ими преследовалась одна цель — добиться его ослабления в результате кровопролитнейшей войны. Однако продолжавшаяся осложняться обстановка все более настоятельно требовала от США и Великобритании сотрудничества и совместных действий против общего врага. Создание антигитлеровской коалиции открывало практическую возможность военного сотрудничества государств, принадлежавших к различным социально-экономическим системам, в интересах разгрома агрессивных сил, избавления человечества от нависшей над ним смертельной опасности. Важнейшей задачей советской дипломатии было столь же принципиальное, сколь и гибкое претворение в жизнь курса на укрепление широкой антифашистской коалиции, на максимальное использование всех средств и возможностей союзников для быстрой победы. Это было время, когда особенно требовалось проявлять твердость в связи с постоянно возниковавшей угрозой срыва согласованных военных мер.

Неизменно уделяя первостепенное внимание дипломатической деятельности Советского государства, В. И. Ленин теоретически обосновал краеугольные принципы нашей внешней политики: мир и мирное сосуществование государств с различным социальным строем, интернационализм, солидарность с народами, поднимающимися на борьбу за национальное освобождение и независимость. Вступление в действие ленинской внешней политики означало качественный скачок в истории дипломатии. На протяжении веков война считалась продолжением политики, а следовательно, и дипломатии, только другими средствами. Сами внешнеполитические цели государств при эксплуататорском строе таковы, что для их осуществления нужны были не столько переговоры и другие дипло-

матические средства, сколько применение силы, войны. На дипломатов же, пользуясь словами английского политического деятеля Гарольда Никольсона, «во многих случаях смотрели как на придаток к военно-феодалной касте».

Георгий Васильевич Чичерин писал в 1923 году: «Методы советской дипломатии самым резким образом отличают ее от старой дипломатии и поэтому от дипломатии других стран. Она действует при помощи марксистского анализа исторического процесса и ищет поэтому основных, глубочайших течений в ходе развития политических и экономических отношений современности. За конкретными отношениями сегодняшнего дня она старается постигнуть основные двигательные силы современных событий, чтобы приоритетную свою деятельность к их поступательному движению».

Существенна и другая черта советской дипломатии. Исследователи теории и практики буржуазной дипломатии неизменно отмечают нечистоплотность этого рода деятельности. Тот же Никольсон указывает, что «дипломатия стала скорее стимулировать, чем сдерживать человеческую жадность и глупость». В самом деле, когда речь идет о дипломатии эксплуататорского общества, то и по сей день многое заставляет думать: а не действует ли еще инструкция, которую в 1480 году французский король Людовик XI дал своим послан на переговорах с представителями германского императора Максимилиана: «Они вам лгут!.. Агите им больше».

2

Тема советской дипломатии не случайна в творчестве Саввы Дангулова. Ей посвящены «Дипломаты», повесть в рассказах «Гропа», книга исследований «В дороге, в поиске», «Ленин разговаривает с Америкой», «Двенадцать дорог на Эгль». Автор сумел воссоздать в романе «Кузнецкий мост» картины не только вооруженного сражения, но и бескомпромиссной идеологической битвы советского народа за свои революционные завоевания, за спасение человеческой цивилизации.

Главная идея романа вытекает из принципиальной концепции, которую утверждает автор и которая воплощена в созданном им произведении: зрелость исторической формации всегда определяется зрелостью мысли, которая этой формацией вызвана к жизни. Говоря о мысли, ее зрелости и могуществе, мы имеем в виду мировоззрение, все то, что лежит в основе наших принципов, идеологической нашей платформы. Война явилась не только испытанием мощи, экономической и военной, но и столкновением мысли, полярных мировоззрений, противоположных философий бытия. И там, где столкнулись мировоззрения, естественно, в борьбу вступило и все то, что было производным от этого мировоззрения, в том числе, например, военно-стратегическая мысль. Если говорить о творчестве советских военных стратегов, то оно явилось миру нечто в высшей степени значительное...

Единство мысли, которое вели мы с фашизмом в этой войне, простирается шире и дальше, охватывая столь своеобразную и важную сферу, как дипломатия. Успех Советского Союза в этой сфере тем более значителен, что он характеризует торжество интеллекта и профессионального умения людей новой формации в столь многосложной сфере, как государственная деятельность.

В романе «Кузнецкий мост» дается достоверное изображение незримого фронта упорной борьбы дипломатического корпуса. Перед читателем возникает целый мир, в котором неусыпно ведется дипломатическое противоборство. Мы видим сложный этот мир в постоянном действии, в котором обнаруживается существо самой жизни.

Опираясь на принципы ленинской политики сосуществования, советская дипломатия способствовала созданию антигитлеровской коалиции великих держав. И в этом ее исторический успех в годы Великой Отечественной войны. Собственно, развивая этот успех, в какой-то мере основополагающий, наша дипломатия боролась за открытие второго фронта. Именно этому посвящен роман Саввы Дангулова «Кузнецкий мост», рассказывающий об этой битве. Роман многоплановый, дающий представление о том, как велась эта баталия, где были главные очаги огня.

Особенное место занимает в романе историческое событие. Авторское видение здесь органично взаимосвязано со способом образного воплощения. Историческое событие, как ни обширен роман, как ни велика картина, которую он обнимает, автор вписывает в роман, сохраняя все его черты и избегая опасности деформации времени, деталей, больших и малых, обстоятельств, сопутствующих событию. Более того, показывая событие, как оно возникает на страницах романа, автору удается сообщить исторической картине достоинства и преимущества, какими она не обладает ни в научном труде, ни в учебном пособии, ни просто в документе. Это должна быть именно картина со всеми свойственными ей особенностями: объемность, перипетийность, многоплановость, многоцветность. И психология, свойственная людям, событие это историческое воздвигнувшим.

Характерен в этой связи, к примеру, первый приезд в Москву личного представителя американского президента Гопкинса, «кудстоенного» чести в роковой час — слышите, в роковой! — связать две великие силы!». Не менее примечательна поездка В. М. Молотова за океан в 1942 году, когда он, выразив надежду, что «в результате сурового единоборства 1942 года русские выстоят», заявил, что пора взглянуть и на темную сторону картины и принять решение об открытии второго фронта.

Или же историческое событие, которым явилась Московская конференция министров иностранных дел союзных держав в особняке на Спиридоновке в 1943 году, когда Советское правительство сочло необходимым «кудстовериться, остается ли в силе заявление, сделанное в начале 1943 года Черчиллем и Рузвельтом относительно того, что англо-американские силы предпримут вторжение в Северную Францию весной 1944 года...». Несомненной удачей писателя следует считать портреты дипломатов или созданные им типы дипломатов — Идена и Хэлла.

Автор «Кузнецкого моста» наделен способностью по-своему видеть и общаться с участниками происходящих событий. И он может сделать других причастными к этому общению. Помочь другим увидеть мир таким, каким он сам его увидел.

В центре романа находятся его герои: Бардин, Бекетов, Тамбиев, выполняющие ответственные задания в Лондоне, Вашингтоне, Стокгольме, других городах. Это — произведение о дипломатах, их деятельности, открытой и невидимой, кулуарной, в каждодневных их тревогах, раздумьях и исканиях. И, конечно же, это — произве-

дение о людях, их характерах, поступках, столкновениях. Читатель встретится здесь и с новыми реалиями, дипломатическими, разумеется, и с языковыми особенностями. Все это неотделимо от впечатления новизны, которое несет роман, впечатления своеобразия художественного произведения.

Уместно привести слова автора. «Мне казалось благодарным,— отмечает он,— показать столкновение мысли двух миров в такой своеобразной и действенной сфере нашей жизни, как дипломатия. Как ни опытные были дипломаты старой России, красные дипломаты превосходили их — они были масштабнее, государственнее, образованнее. Их жизнью руководила идея свободной России, которой они посвящали себя. Русская революционная действительность формировала тип революционера-воителя, который одновременно был революционером-ученым».

3

Бардин и Бекетов — товарищи по дипломатическому оружию, коммунисты, единомышленники, преданные друзья. Дружба их тем более прекрасна, что прошла трудные испытания и выдержала их с честью. Но то большое, что роднит и связывает друзей, не нивелирует их характеров. Напротив, своеобразие их характеров, а в чем-то и различие, ощущается ярче, когда Бардин и Бекетов оказываются рядом. Дело, которому они верно и убежденно служат; вызывает у них живую мысль. И там, где эта живая мысль, там и борьба мнений.

И суть даже не столько в том, что Бардин возглавляет один из ответственных участков Наркоминдела, сколько в его личных достоинствах. Судьбе угодно свести его в нелегком поединке со многими из тех, кто представляет мир союзников: Гопкинс, Бивербрук, Гарриман... Беседам, которые ведет со своими оппонентами Бардин, отнюдь нельзя отказать в такте, уме, спокойной целеустремленности, а следовательно, в уверенности. Именно уверенности, которая, как свидетельствует многоопытная практика, возможна, когда есть знание предмета. Однако Бардин — фигура отнюдь не академическая. То, что можно назвать позицией Бардина, то есть системой взглядов, он готов защищать, а следовательно, многократно выверять в споре, участниками которого нередко бывают и близкие Егору Ивановичу люди. Он не прочь скрестить оружие и в споре с отцом, который считает, что нарушается известная преемственность поколений и мы недостаточно используем опыт дедов, и в единоборстве с братом Мироном, волонтером антифашистской войны в Испании, который полагает, что с американцами, не исключая президента Рузвельта, нам надо говорить языком более суровым. Отнюдь не идиллически выглядит и дружба Бардина с Бекетовым.

Егор Иванович Бардин — сын ученого-селекционера Иоанна Бардина, интеллигент во втором поколении. Преподавал русскую историю в пединституте на Подсосенском, как, впрочем, и Бекетов, и писал вместе с Другом историю русского просвещения. В отличие от братьев, старший из которых, Яков, командовал соединением в южнорусских степях, а младший, Мирон, авиационный инженер и летчик, сражался за свободу в Испании, Егор был человеком глубоко штатским: историк; он обратил свой взгляд на изучение процессов, происходивших в русском обществе в середине прошлого

лека. Человек широких знаний, так необходимых дипломату, и истинно государственного ума, спокойный, доброжелательный, чуть ироничный, он уверенно ведет свой челн. Человек идейный, верный принципам революции, прямой и храбрый, он хорошо чувствует, что необходимо Родине в ее более чем суровую годину.

Сергей Петрович Бекетов, другой главный персонаж романа, старше своего друга. Человек, для которого революция явилась осуществлением самых заветных устремлений. Он глубоко убежден в том, что жизнеспособность нашего государства зависит от того, в какой степени мы будем верны знамени Октября и насколько последовательно будем вести себя под этим знаменем. Жизненная дорога самого Бекетова далеко не была усыпана розами: трагические события не минули его. Тем непримиримее он следует своим взглядам: по Бекетову, отход от принципов даже в мелочах ведет к их нарушению. Бекетова не покидает ощущение: в силу того, что его друг младше Сергея Петровича, ему, другу, надо напоминать эту истину. Бекетов даже убежден, что это должен делать он, Сергей Петрович, солдат революции... Поэтому Бекетов видит свой долг в том, чтобы и остеречь друга, и наставить, и поощрить.

В свою очередь, дружба эта бесконечно обогащает Бекетова, радостна ему. Она является большой нравственной опорой в жизни Бекетова, в какой-то мере источником творческого начала в его труде. Можно сказать, самое дорогое, что возникает в его сердце, что волнует его ум и его воображение, он несет на суд друга, зная, что это суд совести, бескомпромиссный, честный суд. Собственно, все дипломатические события войны, в которые вторгается книга, так или иначе входят в поле зрения друзей, становятся предметом их зоркого зрения. Отчасти это дает возможность автору рассмотреть грани события, исследовать его, добраться в этом исследовании до истоков, увидеть корни.

Третье действующее лицо — Тамбиев. В книге как бы три потока глав. Они идут, сменяя друг друга. Первый — Бардин. В его поле зрения Москва, столица великих дипломатических акций в эти годы, Вашингтон, Лондон, Стокгольм. Второй — Бекетов. Его служебное положение — советник нашего посольства в Лондоне — позволяет ему в деталях рассмотреть, чем живет в дни войны Великобритания. Для романа это важно: именно Лондон в эти годы явился для союзников своеобразной обсерваторией. Если цель «Кузнецкого моста» — воссоздать дипломатическую историю войны, то этих двух вышек (Бардин — в Москве, Бекетов — в Лондоне) в какой-то мере достаточно, чтобы главные аспекты этой истории удалось разглядеть. Но в романе есть третий поток — Тамбиев. Он остождествляет своеобразный участок деятельности Наркоминдела — связь с иностранными корреспондентами. Для читателя это должно быть тем более любопытно, что позволяет увидеть тот самый участок работы внешнеполитического ведомства, где дипломатия вторгается в дела войны, а дипломаты видят фронт, армию, будни войны. Дипломаты и корреспонденты. Существование, кстати, как корреспонденты видят войну и каковы особенности этого взгляда. Суммируя это видение, мы получаем возможность рассмотреть такие грани войны, которые обычно находятся за пределами нашего взгляда. Однако не только это: исследуя события войны, как она увидена ими в России, корреспонденты обнаруживают свое отношение к событиям, а следовательно, и раскрывают себя самих. Иначе говоря, в том, как раскололся корреспондентский корпус и

какие силы пришли здесь в движение, читатель словно бы в миниатюре видит столкновения сил, происходящие в мире, их реакцию на то, чем живет сражающаяся Россия и что, в сущности, есть для нее второй фронт. Такие фигуры большого корреспондентского корпуса, аккредитованные в дни войны в Москве, как француз Галуа, англичане Баркер и Клип, американец Джерми, достаточно своеобразны присущими им человеческими чертами и политической верой, которую исповедуют. Особенно интересен Галуа: он вырос в России, по языку, культуре, даже в какой-то мере по родословной он русский, однако после революции уехал во Францию и, вернувшись в Россию, пристально ее исследует. Великолепный журналист, автор нескольких книг, посвященных России и Франции, он вынашивает замысел новой работы, призванной раскрыть простую и важную истину: как революция отразилась в душах людей новой России и как это сказалось на поведении людей в войне. Беседы, которые Галуа ведет с Тамбиевым, в сущности, должны помочь ему всесторонне уяснить эту истину. Для Галуа беседы с Тамбиевым тем более интересны, что это представитель именно того звена наркоминдельских кадров, которые составляют самую многочисленную категорию дипломатов, — ответственный референт. И не только потому. В ведомстве, которое везде и всегда было цитаделью привилегированной элиты, Тамбиев представляет один из малых народов многонациональной Советской державы. Человек ума достаточно прозорливого и точного, Галуа старается постичь тайну духовной нерасторжимости многонациональной страны, проникнуть в суть того, каким образом новая Россия решила национальную проблему. Эту непростую для себя истину он стремится постичь через Тамбиева.

Сочетание проникновенного психологического анализа поведения героев книги с исторической масштабностью развернувшихся событий, вообще характерное для писательской манеры Саввы Дангулова, пожалуй, наиболее рельефно проявилось в романе «Кузнецкий мост». Аналитический подход к изображению человека, воплощение многообразных характеров, социальное исследование образа героя в его развитии дают возможность писателю рассматривать исторические события и их участников как сердцевину сюжетной структуры романа «Кузнецкий мост».

4

История главных героев позволяет автору показать и сферу дипломатических переговоров, при этом не столько их парадные залы, сколько кулисы, фронт с его страдальными буднями, тыл с нелегким его бытом. Главное же — картина дипломатических битв, где старый мир столкнулся с новым в сфере интеллекта. В той самой области человеческой деятельности, где преимущества позиций завоевываются трудом поколений и издавна были привилегией старого мира. И хотя первая книга обнимала начальные семнадцать месяцев войны, семнадцать страдальных месяцев, отмеченных скорее не радостью побед, а горечью утрат, месяцы эти давали автору возможность показать, что есть для антифашистской коалиции диалектика доверия, диалектика взаимопонимания; возможность воссоздать сложнейшие международные условия мировой войны, в которых совет-

ская дипломатия последовательно утверждала принципы ленинской внешней политики, ограждая наше государство от изоляции.

Конечно, единоборства в сфере духа не ограничиваются в годы войны дипломатией. Тут зрелость наша раскрывалась в столь заповедной области, как наука и техника, что отразилось на качестве брони наших танков, прочности наведенных переправ; как искусство наших стратегов, венцом творчества которых были в Сталинград, и Курск, и Корсунь, и Берлин; как великое умение наших государственных и хозяйственных деятелей, взявших на себя великий труд организации жизни воюющей страны. Во всей этой сфере духа достоинства интеллекта нового человека сказались в полной мере. Особое место тут занимает дипломатия. И не только потому, что у нее самая древняя история, но и потому, что время в наименьшей степени затронуло существо того, что есть искусство дипломата, тем разительнее тут успехи, завоеванные дипломатией нового мира, в частности во всем, что касается умения вести переговоры. И в первой книге романа мы находим яркие тому примеры.

Но речь идет о книге второй и о том существенном, что отличает ее от первой. Что отличает? Любая книга представит для читателя интерес в том случае, если не только события, воспроизводимые в ней, но и характеры, которые явил автор, возникнут в развитии. А что есть развитие в данном случае, если не острота проблемы, которую несет в себе герой и которую решит, обнаруживая не в последнюю очередь и себя самого.

Повседневные занятия Егора Бардина нелегко представить в виде физически осязаемых ценностей. Маршруты бардинских поездок легли и в Скандинавию, и к Британским островам, и за океан, однако результаты ухватить трудно: характер бесед как будто расплывчат, итог неощутим... На самом деле все целесообразно и целенаправленно, все для дипломата имеет смысл. Как ни важно свидетельство письма, дневниковой записи, документа, дипломату, как и писателю, ничто не может заменить возможности непосредственного видения, прибываешь самому наблюдать жизнь. Собственно, пределы того, что есть содержание документа, могут быть раскрыты в той мере, в какой дипломат может соотнести его с собственным видением. Дипломат не имеет права отказываться от преимущества личного общения. И для Бардина возможность наблюдать и разговаривать равносильна возможности составить представление по вопросам, которое при всех иных обстоятельствах вряд ли у него было бы: в поле его зрения мнение американцев, стоящих у государственного руля, например, насчет срисков большого их десанта, как, впрочем, и иные вопросы — послевоенное устройство мира и Европы, отношения к Германии и Японии, мирный договор. Для Бардина нет проблем насущнее, но характер Бардина многообразен, в нем много граней, при этом неожиданных, — он человек, и ничто человеческое ему не чуждо...

Сам факт, что в центре романа автор поместил Бардина и Бекетова, связанных многолетней дружбой, истинной и верной, давал произведению преимущества немалые. Герои романа — единственно-единицы и антиподы. При единстве цели и в этой связи идейном и деловом согласии, они далеко не едины, когда речь идет о проблемах дипломатии, как их подсквозила жизнь. Бекетов — душа возвышенная, не чуждая того, что сообщила людям его поколения романтика борьбы первых лет революции, участником которой он был. И напротив, Бардин — человек ума практического, смотрящий

на нелегкий свой труд трезво, подчас подчеркнуто трезво. Он, несомненно, человек идейный, а когда надо, самоотверженный и храбрый, но не очень подверженный движению эмоций. Его стихия — оперативное задание, встреча с умным и опытным оппонентом, противоборство, нелегкое раздумье, желание добраться до корневых явлений, стремление найти ответ на самое трудное и насущное. Вместе с тем Бекетов точно создан для работы в посольстве. Его стихия — контакт с людьми, кропотливый труд по собиранию сил, приобщение к своей Родине всех тех, кому по душе великий смысл Октября, кто сочувствует освободительной борьбе советского народа. Бекетов — советник и уполномоченный Всесоюзного общества культурных связей с заграницей. Тот, кто имел возможность наблюдать посольских работников в те памятные годы нашей истории, знает, что это такое: подвижники, они стали знаменосцами нашей культуры, истинные пределы и богатство которой не становятся меньше, когда смотришь на нее из-за рубежа, ибо возможность сравнивать обнаруживает такие наши преимущества, к которым мы привыкли у себя дома и порой склонны недооценивать. Можно понять Бекетова, которому работа в качестве своеобразного посланца советской культуры за рубежом дарит радость даже тогда, когда плоды ее, казалось, весьма скромны. Новая книга советского автора, выпущенная известным лондонским издательством, концерт прославленного московского пианиста, статья советского военного деятеля, написанная специально для английской газеты, новое сочинение композитора — все, что удается ценой воодушевления, верности, настойчивости напечатать, поставить, передать по радио, для него значительно и несет удовлетворение. Как ни различны характеры Бардина и Бекетова, как ни упорен их спор по многим вопросам, которые ставит перед ними дипломатическая практика, их дружба нерасторжима, доброе их приятие созидательно. И там, где возникает живая мысль, там борьба мнений. В авторской палатке нашлись верно угаданные краски, чтобы полнее выразить главные черты героев. Но есть один аспект этой дружбы, бесценный для книги, а потому и для читателя. Мы говорим об аспекте нравственном.

Автор исследует и раскрывает перед нами психологию людей, наделенных нравственной силой, позволяющей противостоять обстоятельствам и, более того, воздействовать на ход их развития. Иными словами, человек и история, личность и обстоятельства, поведение героя в чрезвычайных условиях, в обстановке больших трудностей и испытаний. И мы видим, что дружба точно многократно умножила то доброе, что несут в себе и Бардин и Бекетов, сообщив им качества, которых они без дружбы, быть может, и не имели бы. И получается, что Бардин и Бекетов не во всем единодушны, но в глазах читателя отождествляют силу, которую хочется соотнести с чистотой наших устремлений, с энергией и опытом дипломатических кадров, воспитанных революцией. В этой связи полезен экскурс в историю, на наш взгляд, принципиальный.

3

Существует мнение, что деятельность нашей дипломатии и ее успехи во время войны были всего лишь производными от наших успехов военных. Верно, без успехов нашей победоносной армии

советская дипломатия действительно не смогла бы сделать того, что сделала. Из этого, однако, не следует, что дипломатические наши успехи были просто производными от успехов военных. Внимательный исследователь должен признать, что существовала стратегия дипломатических действий, как существовала стратегия действий военных. Задача заключалась в том, чтобы в условиях, которые определили армия и ее победы на фронтах Отечественной войны, добиться максимальных результатов в таких кардинальных вопросах, как создание антигитлеровской коалиции, открытие второго фронта, послевоенное устройство мира. Задача эта была настолько глобальной и в такой мере многосложной, что без стратегического замысла, обнимающего все грани проблемы, вряд ли ее можно было решить. Именно поэтому волей партии такой план и был создан. Но предначертания требовали осуществления. И тут дипломатический штаб на Кузнецком мосту сыграл свою роль, роль действительную, которая, думается мне, высоко оценена историей.

Авторская концепция романа «Кузнецкий мост» построена на основе целостного и многостороннего изображения различных факторов, влияющих на ход событий, на исход дипломатического единборства.

В том, как было организовано большое дело информации, без которого немислима дипломатическая деятельность, как подготавливались и осуществлялись дипломатические акции на всех ступенях, с каким умением и последовательностью поддерживались контакты с союзниками, как строилась работа посольств, размах и многообразие которой в ту пору, поистине были беспрецедентными, сказывалась зрелость нашего государственного мышления и опыта. И, конечно же, этот круг задач, поставленных перед нашей дипломатией войной, мог быть решен только в том случае, если живое дело дипломатии было в руках людей, в одинаковой степени идейно зрелых и профессионально высокоподготовленных. Мы об этом не часто говорим, но к моменту, когда началась война, наркомат на Кузнецком мосту располагал такими кадрами. Тут были дипломаты старшего поколения, но были и коммунисты молодые, взявшие на свои плечи, смею думать, основную тяжесть усилий, которую несла наша партийная дипломатия в годы войны. Тот, кому было известно положение дел с нашими дипломатическими кадрами, знает, что эти кадры готовились в страдное пятилетие, предшествующее началу войны. К стати, герои романа «Кузнецкий мост» — Бардин, Бекетов, Тамбиев, как и большая часть тех, кто действует в романе на «параллельных курсах», — Тарасов, Шошин, Гродко, Грошев, Воложанин — являют собой именно эту категорию наркоминдельских кадров. На их плечи, верю я, история возложила главный труд нашей дипломатии в годы войны, хотя действительны они в едином дыхании со старыми кадрами, — тут не было противопоставления, тут была преемственность, и к этой теме постоянно возвращается писатель.

Александр Дымшиц, видный советский критик и литературовед, одну из последних своих статей посвятил «Кузнецкому мосту». В ней говорится, в частности: «Я упомяну о портретировании людей, принадлежащих истории... Как правило, автор изображает их с подчеркнутой точностью, но почти никогда не видит в исторических прототипах некой «живописной самоцели». Воссоздаваемые им исторические лица написаны строго реалистически, портретирование нужно ему в основном в тех пределах, которые диктуются

интересами развития событий, конфликтов, эпизодов. Лидеры и дипломаты союзников даны писателем только в той мере, в какой они предстают в их поступках, в их деятельности героям романа... Зарисовки С. Дангулова, его красочные наброски различнейших типов союзнических деятелей сделаны с точки зрения дипломата, умеющего различить за внешними чертами того или иного человеческого облика его затаенное, а порою и нарочито «распахнутое» человеческое содержание».

Наблюдательному критику удалось здесь подметить нечто действительно характерное для умения автора воссоздавать облик лица исторического. Если возможны дополнения к этим замечаниям, столь же метким, сколько примечательным, то хотелось бы сделать одно: уже в первой книге автор написал многоплановый портрет Черчилля. Есть некая ведущая идея, которая руководит поведением Черчилля, как его представил роман: забота о будущем колониальной империи, которую раздражают грозные силы и распад которой, казалось бы, предопределен. Они имеют весьма отдаленное отношение к тому, что думает о судьбе колоний, подвластных британской короне, народ. Но все это звучит голословно до того самого момента, пока в книге не появился Бернард Шоу. Раздумья о завтрашнем дне колониальной империи не могут, конечно, определить существования Шоу, но они для образа мыслей великого ирландца характерны. Как это свойственно Шоу, его оценки здесь остры, точны, беспристрастны. По форме и строю мысли это оценки Шоу, но по существу, думается, это голос народа, плоды его раздумий, а следовательно, сомнений и надежд. Для читателя очевидно: в великом споре о судьбах колониальной империи автор на одном полюсе расположил Черчилля, на другом — Шоу. И во многом высветил образ Черчилля и, пожалуй, образ Шоу. Старая истина: твердая линия, очередность, контраст тем определеннее, чем большая у автора возможность сравнивать. Следовательно, если говорить об искусстве портретирования, то во второй книге возникло нечто такое, чего в первой не было. Кстати, во всем, что касается портрета Черчилля, это нечто новое.

Речь идет об историческом портрете, о творческом его воссоздании. Мы вправе говорить здесь об авторском принципе, который состоит в том, чтобы дать портрет, не отрывая его от действия, от сюжета в развитии, от живого существа и обстановки романа. При этом писатель непременно находит деталь, которая делает портрет естественным, помогает представить человека именно таким, каким он, смеем полагать, был в жизни. Раскрыв его характер настолько органично, чтобы историческая личность вписалась в мир остальных героев романа и портрет приобрел убедительность.

И здесь прослеживается ясно очерченная особая линия: переговоры, а следовательно, исторические персонажи — Рузвельт, Черчилль, Гопкинс, Бивербрук, Иден, Гарриман, Маршалл, Хэлл — вся плеяда видных деятелей Запада, с которыми имела дело советская дипломатия в ходе большой битвы за открытие второго фронта. Примечательно, что автор романа, как это нам видится, следовал здесь традиции русского реалистического романа, традиции, идущей от классиков. Автор вскрывает суть образа, утверждая свое отношение к нему в той же спокойной-реалистической манере, в какой написаны все остальные характеры романа. Никакого утрирования, никакого шаржа, однако истина непоколебима. Все, что надо сказать об исторических личностях, автор стремится сказать. В са-

мом деле, шаржированный портрет в произведении такого жанра может показаться и не столь органичным, а следовательно, и не столь убедительным. Можно понять верность автора средствам, вскрывающим внутренний мир героя, движения его души, психологию.

6

Пока шла битва за создание союзниками второго фронта, война приобретала все более чудовищные масштабы, невиданные в истории сражения, нещадно требовала все новых ресурсов. Возникали проблемы, усугубляясь противоречия. «...Пойти на союз с Черчиллем, — размышляет Егор Бардин в беседе со своим другом Бекетовым, — не риск ли?» «Риск? — отвечает ему Бекетов. — Ну, что ж, в каждом новом деле есть доля риска, но заставить врага революции, врага наисвиренейшего, которого, как это ни парадоксально, своеобразно вызвала на свет революция как своего антагониста, заставить этого врага работать на революцию — это и есть призвание дипломата-революционера».

Все не просто. Черчилль верно читался советскими дипломатами. Их мысли выражены автором: «На самом деле и союз и помощь будут точно соразмерены: дать России ровно столько, чтобы она, не дай бог, не протянула ноги раньше времени или, тоже не дай бог, не одолела Гитлера...»

И вот Черчилль снова перед нашими глазами. «Полный, круглоплечий, сугубоватый, с короткой шеей, что заставляло его смотреть чуть-чуть исподлобья и казаться хмурым даже тогда, когда он не хотел быть таким. Он точно хотел показать всем своим видом, что нынешний митинг отнюдь не празднество».

Тот, кому приходилось когда-либо видеть и наблюдать Черчилля, невольно задержится на штрихах к его портрету в момент выступления на рабочем митинге в окрестности Лондона. С заметным усилием Черчилль поднялся на платформу и прежде чем сесть на стул дважды приподнял его и упруго трахнул о крепкий пол платформы. «И в том, как он шел через двор, грубо уперев глаза в дальний его конец, и в том, как он протягивал руку, и в том, как он пробовал исправность стула, на который ему предстояло сесть, Бекетову была виден хозяин, привыкший к тому, чтобы прав его знали, с ним считались».

Портрет Черчилля рисуется автором романа объемно, во всей многообразности его характера и поступков. Глубоким психологизмом насыщены страницы, посвященные речи Черчилля, в которой должен был прозвучать ответ на вопрос: «Что сильнее — потомственный антикоммунизм или любовь к Англии?».

Исторический портрет, несомненно, одна из сильных сторон в живописании Саввы Дангулова, для которого творчество — способность не копировать, а создавать жизнь, особую, не обязательно похожую на действительность. С одним, однако, условием, что она должна быть столь же убедительной, как и сама реальность.

В ряду ярких и запоминающихся портретов исторических личностей, созданных в романе, помимо Черчилля, нельзя не назвать Рузвельта и де Голя, хотя последний изображен более скупо, без особых подробностей.

В изображении Рузвельта писатель преодолел главное — прямолинейность. Средства выразительности обладают у автора романа

значительной мерой свободы и непринужденности, не превращаясь, однако, в сколько-нибудь символические или условные. Они выступают и действуют как бы из глубины содержания человека. Вот зарисовка первой встречи героя романа с президентом: «Бардин ожидал увидеть крупноплечего человека, чуть полноватого и от этого кажущегося еще крупнее, с красивым, несколько одутловато-бледным лицом и ослепительной «рузвельтовской» улыбкой, выражающей полную меру радушия, а увидел седого старика, худого и заметно остроликого, с желтовато-восковым лицом, на котором тем заметнее были синевато-мгlistые круги под глазами. Его улыбка была живой и откровенно дружелюбной, но это была улыбка больного человека».

Бардин понимал, что это первое впечатление должно быть очень верным, но оно уйдет. И действительно, прошла минута, и перед Бардиным, казалось, был прежний Рузвельт, да, тот самый, крупноплечий, с одутловато-бледным лицом и солнечной улыбкой».

Ясность образа и точность мысли сочетаются здесь с отточенной выразительностью, афористичностью.

7

Касаясь того нового, что несет для читателя вторая книга, уместно сказать и о другой его особенности, кстати, имеющей отношение к главной теме, с которой мы начали рассказ, — создание союза свободных народов. Как известно, у этой политики были и сторонники. Последнее, как нам кажется, важно чрезвычайно: в капиталистическом мире среди тех, кто стоял у кормила государственных дел, вопреки воинственному антисоветизму всегда были силы, ратующие за установление лояльных отношений с Советской державой. Уж если говорить о тех же Соединенных Штатах, то тут есть исторические прецеденты. Начало этой линии американской политики положил известный Раймонд Робинс, делец и общественный деятель, которому весной 1918 года Ленин вручил план развития советско-американских отношений для передачи президенту США. В годы войны у Робинса были продолжатели: Голкинс, посол Вайнант, посол Девис, как, впрочем, и сам Рузвельт. Выдающиеся эти деятели опирались на линкольновские традиции Америки, в годы войны черпали свои силы в гигантской борьбе против гитлеризма. Во взаимопонимании, которое установилось в те годы у США с Союзом ССР, не следует недооценивать вклада, который внесли именно эти представители дальновзорких американских политиков.

Показательно, что автор заметно усилил внимание к этим проблемам во второй книге «Кузнецкого моста», воссоздал всю плеяду государственных деятелей США, стоящих на позициях взаимопонимания с СССР, нарисовав обстоятельную картину их действий, и, что не менее важно, предпринял попытку анализа. И чтобы быть свободным в своем анализе и вместе с этим сберечь средства, которыми в этих обстоятельствах он пользуется, автор ввел во вторую книгу образ Роберта Бухмана, влиятельного государственного служащего и дипломата из близкого окружения Голкинса. Возможно, что образ Бухмана собирателен, однако это не столь важно. Важно, что он историчен по своему существу, а обобщения, которые возникают в ходе диалогов, ведущихся Бухманом, напри-

мер, с Бардиным, подсказаны американской реальностью, органичны самой жизни. Линия Гопкинса, как и Бухмана, смею думать, имеет преемственность и в современной американской политике. Желание добиться разрядки не на словах, а на деле живо усилиями тех, для кого высшие интересы международного мира являются принципом и в сегодняшней Америке. Во второй книге романа тема эта занимает свое большое место, как мне кажется, место, в полной мере оправданное.

И самое существенное — автор знает то, о чем пишет. Прекрасно знает. За этим стоит труд историка, проницательного исследователя. Большой и ответственный труд. В этом, без сомнения, одно из весьма значимых преимуществ писателя. Владеет он не только обширным фактическим материалом в самом прямом смысле слова. В его распоряжении достоверные данные, документальные свидетельства, стенограммы бесед и международных переговоров, многотрудных и напряженных.

Сам С. Дангулов в одной из своих статей делится с читателем мыслями о роли документа в художественном творчестве: «...Для исторического писателя документ не менее важен, чем для учено-историка. Ошибочно мнение, что документ призван заменить то, что некогда звалось беллетристикой. Документ не несет с собой образного мышления, и никакой способностью читателя домысливать и дорисовывать этого качества документу не сообщить. Однако документ, осмысленный и эмоционально познанный, может помочь тебе рассмотреть в герое нечто новое. Именно это чувство я испытал, увидев в парижской квартире Ли Голда и Тамары Хови письмо, написанное рукой Рида. Подлинный документ обладает силой огромной — он может дать представление об интеллекте и характере человека. Лист бумаги, исписанный рукой человека, способен на веки веков сберечь тепло, которое эта рука навсегда утратила. Ничто не сберегло это тепло, а документ сберег...»

Следовательно, хотя роман «Кузнецкий мост» не строго документален, он, однако, посвящен событию историческому, а следовательно, строго документированному, достоверному. Ссылки на документы здесь не обязательны, но в самом повествовании автора присутствует ощущение виденного и пережитого. Иначе достоверность поколеблется, а убедительность может попасть под сомнение. Документальные сведения органично входят в художественный сплав различных ракурсов романа. Разумеется, всей картины происходящего обнять оком очевидца автору едва ли под силу, но в романе изображены события и значительные, которые автор воспринял именно как очевидец. Это относится, в частности, к тому, что представляла собой Наркоминдел и его деятельность в годы войны. Тут автор — очевидец. Портретные зарисовки наркоминдельцев той поры сделаны автором по личным впечатлениям. В полной мере это относится и к работе Отдела печати Наркоминдела, к тому, что представляла собой корпус иностранных корреспондентов, и, конечно же, к поездкам корреспондентов на фронт, которые описаны автором по личным наблюдениям.

Савва Дангулов, таким образом, сопричастен тому, что именно и каким образом происходило тогда в жизни. С этим непосредственно взаимосвязаны авторские наблюдения, его личное восприятие, память впечатлений и авторская экспрессия. Отсюда — реальность, достоверность повествования, убедительность поступков героев книги, слитность их поведения и слов. Именно авторская со-

причастность изображаемому придает документальную достоверность роману.

И тем не менее всего этого было бы еще недостаточно, далеко не достаточно. «Кузнецкий мост» — произведение раньше всего художественное. Одного знания материалов и документов, даже самых необычайных материалов и самого досконального знания документов, теперь уже архивных, увы, слишком мало, чтобы возникло явление художественное. В действительности на знатоков и экспертов в области дипломатии, кажется, не такой уж дефицит. Но многим ли из них удастся пойти дальше сочинения меморандумов, вербальных нот, протокольных записей? Суть в том, что сам по себе материал, каким бы он увлекательным ни был, не становится фактом литературы, произведением мастерства. Тут необходима его встреча с художником, с искусством.

В лице Саввы Дангулова редкостное соединение знатока дипломатической истории и одаренного писателя. Отсюда органическое сочетание познавательной основы «Кузнецкого моста» с его образной стихией. Именно это и сделало возможным создание волнующего произведения, в котором развитие событий показывается в многоплановой взаимосвязи действующих лиц и общественных сил.

8

Герои книги, их настроения и поведение рисуются автором глубоко реалистически, проникновенно. Нас не покидает волнение. Это ощущение эмоциональной взволнованности сохраняется при чтении всего романа, насыщенного драматическим развитием сюжета.

Многое в книге узнается легко, особенно теми, кому пришлось нести свою вахту, быть вовлеченным в гущину событий и дипломатической службы описываемых лет. Столь же легко узнаются и события, и обстоятельства, и действующие лица, хотя не всегда они называются собственными их именами либо же проходят не под своими фамилиями. Многое здесь воссоздано почти с точностью документального слежка, но без фотографичности или протокольного отображения происходящего в реальной жизни.

Не всегда и не во всем, однако, достигается автором равноценность в изображении характеров. Наибольшая трудность, пожалуй, в создании образов рядовых дипломатов, солдат дипломатического фронта. В самом деле, каждодневный их труд выглядит ordinarily, буднично, не столь уж ярко. Тут нет выигрышного света крупных дипломатических акций, большого внешнеполитического задания, видного поступка. Отсюда ограничительные рамки. Следовательно, опираясь на повседневность, творимую дипломатом, автор должен раскрыть его характер, но так, чтобы это и увлекло и взволновало читателя. Хомутов, коллега Бердина, Шошин, первый секретарь посольства, Кожавин, коллега Тамбиева, да и Августа Кузнецова — все это рядовые дипломаты. Люди подчас своенравные, даже стропивые, не очень умеющие прятать свое несогласие (Хомутов, Шошин); точно созданные самой природой для работы в министерстве иностранных дел, мастерски владеющие своей профессией, разносторонне образованные (Кожавин), не очень удачливые, склонные винить в своих промахах всех и вся, не чуждые порой корысти, но все-таки способные на истинный стоицизм, на

самоотверженный труд, на самопожертвование (Кузнецова). В романе показана трагическая гибель одного из таких рядовых сотрудников — Кожавина в степи под Харьковом. В самом факте смерти, взятом автором из жизни, — пафос бытия этого человека, одного из рядовых дипломатического нашего воинства.

У Саввы Дангулова зоркий глаз, который обладает особым качеством распознавать глубинность событий, скрытые процессы, психологию явлений. Он наделен способностью видеть большое в малом и малое в большом.

Говоря о художественных особенностях произведения, отметим также, что во многом они определены уже самой природой романа о дипломатических поединках, тем, что это книга о многосложном мире дипломатов. Небеспричинно внимание к психологическому исследованию: дипломатическое единоборство без подтекста, без второго плана, без мировоззрения не существует. Если бы это было не многоплановое полотно, его надо было бы писать от первого лица — тут простор для исповеди, а следовательно, и психологического проникновения. Но для многосложной панорамы рассказ от автора едва ли пригоден. Решение, принятое в романе «Кузнецкий мост», не отвергает преимуществ исповедальной прозы и сохраняет достоинства, которые дает жанр панорамного произведения. В самом деле в романе три потока глав, соответствующих трем его героям: Бардину, Бекетову, Тамбиеву. Все, что происходит в этом потоке глав, словно бы увидено героем, им осмыслено, лично пережито. Нет, герой тут не подменяет автора, не лишает его дара видеть, способности понимать. Своеобразие интонации именно в том и состоит, что автор живет в героях, их взгляд, как и их мысль целны и независимы. Заслуживает самостоятельного разбора вопрос о том, к каким художественным средствам обращается автор, воссоздавая дипломатический диалог, показывая дипломатическую акцию: будь то визит Бардина к британскому послу или поездка Бекетова к сподвижникам де Голя в Алжир. Так или иначе, а работа, которую осуществил здесь автор, заслуживает творческого разговора уже потому, что в своей теме он прокладывает первую борозду.

Роман «Кузнецкий мост» — несомненная удача Саввы Дангулова, с выразительной силой сумевшего воссоздать историческую эпопею не только вооруженного сражения большой масштабности, но бескомпромиссной идеологической битвы советского народа, героически боровшегося за суверенность своих революционных завоеваний, за спасение человеческой цивилизации. В романе обнаруживается глубокое авторское ощущение причастности к событиям, в которых он видит и свою долю участия, гражданского своего долга перед народом, перед будущим. И прошлое в его повествовании неотделимо от нынешнего. История и современность раскрываются автором в нерасторжимом единстве. События минувшего изображаются писателем в актуальном контексте дня сегодняшнего. Идейная содержательность книги — неразрывная взаимосвязь общественных, политических и нравственных проблем, глубинное проникновение в социально-психологический мир современника, коммуниста — раскрывается писателем с незаурядным художественным мастерством.

Как было уже отмечено в начале статьи, сила нашей революции сказалась в зрелости мысли, в частности военной и дипломатической. Роман «Кузнецкий мост» посвящен этой зрелости дипломатической мысли, ведущей суровую и, как мы видим, победоносную

битву. Для сути романа и его образной системы характерно, что фронт показан в нем через восприятие стратегов: читатель видит его глазами военных литераторов, военных ученых. Генерал Маркел Глаголев, теоретик войны, командарм Василий Кузнецов, комкор Яков Бардин — это все люди острой военной мысли, стремящиеся постичь своеобразие этой войны, уяснить причины наших неудач, найти пути к победе. Мы сказали: победоносную битву. Да, прийти в стан людей, которые исторически тебе противостояли, больше того — с тобой единоборствовали, прийти к этим людям и заставить их работать на революцию — это и есть победа. Все, что удалось сделать нашей дипломатии в своем более чем многотрудном общении с союзниками, было нерасторжимой частью этой победы.

Изображение действующих лиц, дипломатических поединков, тактики ведения переговоров, самой атмосферы встреч советских и зарубежных государственных представителей принадлежит к наиболее ярким и запоминающимся страницам книги.

Дипломатические диалоги, на наш взгляд, представляют собой высокие образцы не только писательского мастерства, артистичности. По глубине мысли, аналитической тонкости, осмысленности и политическому такту собеседников эти диалоги, безусловно, могут служить эталоном для практических работников внешнеполитической службы.

Возвращаясь к тому, с чего начал: курс на международную политическую разрядку — явление не конъюнктуры, не временных расчетов. В руках сил мира это — действенное оружие за оздоровление международной обстановки. «Утверждение принципов мирного сосуществования с различным социальным строем противополитике агрессии и диктата», — гласят решения Пленума ЦК КПСС. И здесь раскрываются немалые возможности для нашей художественной литературы. Роман «Кузнецкий мост», опираясь на материал войны, показывает, сколь благодарны тут перспективы искания и творчества.

Оптимистическая интонация повествования не покидает нас на протяжении всего романа, постоянно сохраняет в нашем сознании уверенность в могучих созидательных и ратных возможностях советского народа. И потому нарисованные автором картины воспринимаются как характерные для времени, как своего рода залогов предбудущих времен. Читатель видит мир в живой, реальной динамике, в непрестанном становлении, обновлении, преобразовании.

Н. ФЕДОРЕНКО.

● СОДЕРЖАНИЕ

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ. Книга вторая	3
ИЗ МИРА ДИПЛОМАТИИ. <i>Послесловие Н. Федоренко</i> . . .	507

Савва Артемьевич ДАНГУЛОВ

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

Приложение к журналу «Дружба народов»
М., «Известия», 1979, 528 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**
Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **В. Полонская**
Художественный редактор **И. Смирнов**
Технические редакторы **В. Новикова,**
Н. Кариаушкина
Корректор **Л. Сухоставская**



А 04556. Сдано в набор 18/X-78 г. Подписано в печать 15/II-79 г.
Формат 84×106¹/₃₂. Бумага печ. № 1. Печ. л. 16,5. Усл. печ. л. 27,72.
Уч.-изд. л. 28,57. Зак. 3400. Тираж 223.000 экз.

Цена 2 руб. 10 коп.



Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени
типография «Известий Советов народных депутатов СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1979 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник — Я из огненной деревни... Перевод с белорусского.

Ч. Айтматов — Ранние журавли. Повести.

Ч. Амирэджиди — Дата Туташиа. Роман. Перевод с грузинского.

Ю. Бэндарев — Берег. Роман. Повесть.

В. Быков — Дожить до рассвета. Повести.

А. Бэл — Голос зовущего. Повести. Перевод с латышского.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман. Книга 2-я.

Р. Ивановчук — Возвращение. Роман. Новеллы. Перевод с украинского.

А. Кекильбаев — Баллады забытых лет. Роман. Повести. Перевод с казахского.

Ю. Нагибин — Царскосельское утро. Повести. Рассказы.

Б. Оиуджава — Избранная проза.

М. Симашко — Маздак. Повести Черных и Красных Песков.

Ю. Трифонов — Другая жизнь. Повести. Рассказы.

Б. Шинкуба — Последний из ушедших. Роман. Перевод с абхазского.

Л. Якименко — И вечная, как мир. Роман. Повесть.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБА НАРОДОВ»

Сурен Агабабян
Адуар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимаятас Бучис
Валерий Гейдеко
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников-
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафазль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Борис Панкин
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Петр Серебряков
Константин Симонов
Юрий Суровцев
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камиль Яшен